Николай Бушнев

Ясак и пашня

Исторический роман

2-е издание

Петропавловск-Камчатский
Издательство «Камчатпресс»
2019

УДК 882
ББК 84(2Рос — рус)6
Б94

Рисунки художников
Татьяны Викторовны Бондаревой,
Виталия Станиславовича Блажевича

Бушнев, Николай Леонидович

Б94 Ясак и пашня : ист. роман / Н. Л. Бушнев ; худож.: Т. В. Бондарева, В. С. Блажевич. — 2-е изд. — Петропавловск-Камчатский : изд-во «Камчатпресс», 2019. — 624 с. : ил. — Поясн. слов.: с. 621–622. — ISBN 978–5–9610–0329–1.

Это второе издание исторического романа «Ясак и пашня» писателя Николая Леонидовича Бушнева (впервые книга вышла в 2004 году).

Роман основан на исторических событиях, происходивших на Камчатке в 1730–1746 годах. Первая часть под названием «Окровавленный мех» рассказывает о бунте в 1731–1732 годах ительменов против беспредела сборщиков ясака и о последствиях этого бунта; вторая часть под названием «Зяблые всходы» освещает первые попытки Российского государства завести на полуострове землепашество.

Прототипы главных героев — реальные люди: геодезист Михайло Гвоздев, ссыльный генерал-майор Григорий Скорняков-Писарев, казак Никифор Колыгов, матрос Кузьма Клочев (Щербак), казачий сын Никита Родихин, ительмены Федор Харчин, Алексей Лазуков, Камак.

Роман и интересен, и познавателен. Читатель узнает о нелегкой жизни коренных жителей Камчатки в условиях северного климата, о быте и национальных традициях ительменов и коряков, об их взаимоотношениях с русскими — приказчиками, казаками, священнослужителями, крестьянами-переселенцами.

Текст иллюстрирован рисунками художников Т. В. Бондаревой и В. С. Блажевич.

В конце книги приводится словарь терминов.

УДК 882
ББК 84(2Рос — рус)6

© Н. Л. Бушнев, 2004
© Т. В. Бондарева,
В. С. Блажевич,
иллюстрации, 2004

ISBN 978–5–9610–0329–1

От автора

Извечный вопрос: как удалось России за короткий период присоединить столь обширные земли Сибири и Востока, заселенные другими народами? Чем брала Россия? Горстками казаков — таежных флибустьеров, движимых алчностью наживы, романтизмом и безысходным стремлением к воле? Вселением ли на новые окраины крестьян — истинных носителей русского духа с присущей им добротой, человечностью и состраданием к ближнему? Либо государственной политикой к инородцам? Ведь браки русских с иноверцами повсеместно были обычным явлением (не то что в Европе или Америке той поры). Детей же от этих браков — метисов брали на службу со всеми правами, как и русских. А может, суровые условия Сибири, Крайнего Северо-Востока навязывали людям борьбу за выживание в этих краях, единили их в противостоянии суровому климату, способствуя ассимиляции наций, а не разобщению да вражде?

Роман «Ясак и пашня» — попытка осмысления этих вопросов, попытка показать, возможно, и нелицеприятную правду далеко отстоящих от нас событий: покорения и преобразования малых народов Камчатки. Также попытка заглянуть в корень народности — камчадалов. Корень, спаянный кровью, любовью и верой ительменского и русского народов.

Символы покорения — ясак, преобразования — пашня составили название романа. За основу сюжета взяты исторические события 1730–1746 годов, переломных лет в освоении Камчатки Россией. Тогда начался спад в разорении инородцев полуострова, и тогда же были сделаны первые действенные шаги в заведении землепашества, торга, промыслов и, что важно в деле единения наций, христианизации

аборигенов. То есть особо значимые годы периода ломки социально-экономического уклада жизни народов довольно шаткого порубежья тогдашней России, когда государственная машина империи активно подравнивала под свой аршин инородческие окраины.

Этот период истории мало исследован в научной и художественной литературе. Важен он и тем, что Камчатка того времени была ареной действия великой научной экспедиции России к Америке, а также местом ссылки опальных, преступников да непокорных. Потому-то социальный срез жизни той поры особо интересен. В столкновениях разных укладов жизни, в борьбе за выживание, в схлестываниях добра и зла, правды и лжи, мужества и трусости ярче проявляются характеры людей, их идеалы, а также сила духа народа – носителя своих обычаев, веры, культуры. Жизнь из века в век состоит не только из светлого и человечного, потому-то процесс слияния наций на Камчатке проходил негладко. Были моменты и взаимонеприятия, и насилия в приобщении аборигенов к новому укладу жизни, новым обычаям и вероисповеданию. Нелегкими, полными тягот и лишений были не только пути первопроходцев и заселенцев, но и сама их жизнь в новооткрытых суровых землях.

Описание невзгод и переживаний, выпавших на долю героев романа, без утаиваний и прикрас, где рядом со страданиями и человеческой драмой уживаются любовь, романтика и героика открытий, — это и есть история эпохи.

В романе воссоздаются образы несправедливо забытых, обойденных историей личностей, значимых в освоении Камчатки, Дальнего Востока и Америки в целом. Таких, как Михайло Гвоздев, Иван Федоров, побывавших у берегов Аляски на девять лет раньше экспедиции Витуса Беринга, а также предводителей ительменских восстаний — Федора Харчина, Алексея Лазукова и др.

Писать историю сложно, так как факты зачастую противоречивы, хотя бы потому, что каждый человек судит о происходящем субъективно. Кроме того, любой факт истории имеет массу обстоятельств, которые зачастую не фиксируются в документах. Потому-то, чтобы сберечь прошлое, автор старался в романе не навязывать читателю своих выводов по фактам истории, сознательно сохраняя слова и выражения, которые бытовали в те стародавние времена, чтобы сохранить, насколько это возможно, и передать дух того времени.

Прототипами героев данного романа взяты люди, реально существовавшие: геодезист Михайло Гвоздев, ссыльный царедворец Скорняков-Писарев, камчатский казак Никифор Колыгов, матрос Клочев (Щербак), казачий сын Никита Родихин, ительмены Федор Харчин, Камак, Лазуков, а также герои второго плана: ботовых дел подмастерье Иван Спешнев, капитан-лейтенанты флота Алексей Чириков и Мартын Шпанберг, штурман Якоб Генс и подштурман Иван Федоров, приказчик Чередов, иеромонах Феофилакт, архимандрит Хотунцевский.

По задумке роман многоплановый, и его композиция должна способствовать читателю через обилие героев и фактов истории войти в эпоху, раскрываемую данным повествованием.

Николай Бушнев.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОКРОВАВЛЕННЫЙ МЕХ

ГЛАВА 1

Велика матушка Россия. Тяжки и опасны ее немереные версты. Не скоро шли вести с окраинных землиц, да и не всем вестям дойти суждено было.

Крепкими морозами начался новый год в Якутии. Как обычно, Григорий Скорняков-Писарев проснулся поздно. Зябко поежился, накинул на плечи стеганый камчатый халат, сунул ноги в меховые тапочки и подошел к оконцу, затянутому бычьим пузырем. Посредине заиндевелого пузыря вделана прозрачная слюдяная пластинка. Отросшим ногтем он поскреб по толстому слою инея.

Деревья вокруг его рубленого дома покрылись изморозью. Над скованной льдом Леной стояла дымка.

«Опять жмет», — подумал он и прошел в кухонную комнату.

Здесь жарко топилась печь. Дверь распахнулась, и вместе с клубами морозного воздуха в комнату ввалился с охапкой колотых дров рыжеусый детина, холоп Степан. Грохнув ими у печки, он виновато осклабился и хотел поправить сползший на лоб треух.

— Крепок мороз? — остановил его вопросом Скорняков.

— Сегоды жмет так жмет. Зипун не держит, — сдернув треух, с поклоном отвечал Степан.

— Да, такие холода были в семьсот осьмом году, когда шведа бивали; помню я, от лютых морозов премного их пропало, тако же и в наших людях от хлада не без упадку. И вот… — хотел было продолжить Григорий Григорьевич, но, передумав, махнул рукой. — Полно, пошел вон.

А сам задумался: «И статно ли мне, бывшему обер-прокурору Сената, генерал-майору, президенту Морской академии



Скорнякову-Писареву, вот уже четыре года обретаться здесь с чернью, терпеть эту тягостную ссылку? Благо, хоть тутошнее место, Жиганское зимовье, на Лене стоит, единой дороге, связывающей эту полудикую Якутию с миром. Нет-нет да и наведывается кто из доброжелателей-любезников, новости обскажет, а не то бы…» Григорий Григорьевич нацедил из бочонка вина и не спеша опорожнил чару. «Днесь токмо Бахус мне товарищ. Ему и душу открыть не грех: извет не подаст». Наполнив чашу вновь, он присел к столу. Подпер рукой голову. «Будь проклят тот доносчик и фискал, который раскрыл заговор против прохвоста Алексашки Меншикова. Не сидел бы я в этой глуши. Неужто так и придется бесславно доживать? Это ж надо… царем обласкан был, а ныне — позорно битый кнутом изгнанник». От обид защемило сердце. Скорняков растер ладонью грудь и отпил вина.

— Э-эх, судьбина! — выдохнул он, отодвигая недопитую чару с крепким двойным вином.

В это время из своей горенки в кухню вышла Аграфена Павловна, тетка Григория Григорьевича. Она находилась здесь при опальном племяннике, так как его болезненная супруга на зимнее время всегда уезжала в Иркутск в небольшое именьице тетки. Здешним немудреным хозяйством ведала тетушка сама.

Аграфена укоризненно покачала головой:

— Каков вид-то препохабный! Допрежь так не бражничал, Гриша.

— Удручает меня сие лихолетье. Пережить такое умаление смогу ли, Аграфена?

— Сможешь, Гриша, сможешь. Годы-то немалые твои. А про зелье — сам ведаешь: не товарищ оно. Иди приодежься, срамно, — успокаивала она и вместе с тем наставляла уже седовласого племянника.

Григорий поднялся и, шаркая тапочками по полу, пошел в свою комнату. Тетушка посмотрела на его опухшее лицо, обвислые щеки, сутуловатые плечи да выпирающий живот и подумала: «Сдал совсем Григорий. А каков был бравый! Конечно, нелегко ему: с такого почета да в грязь. А уж он-то самолюбив». Давно она стала замечать за Григорием: часто он со «своим Бахусом» разговоры водит, раздражителен стал не в меру. Намедни так себя раззадорил, что пожег свои ученые бумаги, «Поучения в артиллерийском деле» и отпечатанную



книгу, что сам сочинил, — «Наука статическая и механика». А на другой день так по ним убивался, да еще бранился, что не отняли. А после того отдал ей на хранение уцелевшую ландкарту «Якутской губернии и Камчадальской землицы», которую ему бывший ученик его геодезист Михайло Гвоздев перерисовал, будучи здесь проездом в Якутск для дальнего похода.

«Жаль, редко кто наведывает его. Действительно, выдюжит ли? Такая жизнь совсем его измужичит», — сокрушалась она.

Тут в дом быстро вошел Степан и хрипло рявкнул:

— Служилый к барину! Пущать?

— Давай, давай сюды! — влетел на кухню так и не приведший себя в порядок Скорняков.

Холоп исчез за дверью, а в дом, пригнувшись, вошел рослый служилый. Его лохматая шапка, длинный тулуп с огромным воротником были покрыты морозной куржой.

Сняв большие рукавицы и сдернув шапку, детина лихо отрапортовал:

— Денщик его превосходительства вице-губернатора Иркутской провинциальной канцелярии Жолобова сержант Емельян Басов проездом в Якутскую воеводскую канцелярию. Велено вручить лично высокоблагородному господину Скорнякову-Писареву, обретающемуся в Жиганской заимке, пакет!

Он ловко выдернул пакет из нагрудной сумы, находящейся под тулупом, и подал ошеломленному Скорнякову.

— Постой, постой, братец, знать, молвишь: «высокоблагородному господину»? — переводя дух, заговорил Григорий Григорьевич. — Аграфена Павловна, слышь! Вещает сердце благостные вести! Потчуй дорогого гостя. Промерз, небось. — И, схватив пакет, скрылся в свою комнату.

— Оборони, Господи, — осенив его вслед крестом, сказала тетушка и обратилась к служилому: — Проходи, мил человек. Сымай с себя шубу-то, обогрейся. Проходи к столу, потрапезничаем, поговорим. Особо-то говаривать в этой глуши не с кем, дак мы понаскучились с Гришей.

Она споро наставила на стол жареной рыбы, пареной репы. Потом, чуть посомневавшись, достала из печи горшок с отварным мясом.

Емельян немедля сбросил с себя тяжелый тулуп и повесил его у входа на один из деревянных штырей. Потом стянул с ног меховые

верха из камуса, надеваемые в морозы поверх постолов — кожаных сапог с мягкой подошвой, и прошел к столу. От запахов пищи, наполнивших кухню, Басов беспрестанно глотал слюну. Аграфена Павловна тонко нарезала ржаной хлеб.

В душе сержант уже начал сетовать на медлительность хозяйки, когда Аграфена, управившись, сказала:

— Кушай, соколик, кушай. Небось, гоньба зимой — ох несладка?

Не заставляя себя ждать, Емельян принялся уплетать.

Набив рот мясом, но не забывая об учтивости, невнятно бормотал в ответ:

— Угу, она и летом не всласть.

— Как нонесть там с урожаями? У нас все дожжи залили, да морозы ранние хлеба прихлопнули. Благо Степан расторопный: находит, у кого что купить. Но совсем дорого стало, — докучала ему Аграфена Павловна.

— Худо, совсем с прокормом худо. А вице-губернатор изволил сказывать, что-де во многих губерниях голод. Урожай летом грады великие побили. Людишки-то от голодной смерти в Сибирь бегут, а кто там, те травою да гнилою колодою питаются. А как в зиму будут — неведомо. Лебеда-де, сказывают, там по четыре рубля за четверть пуда была. Во как, матушка.

— Пресвятая дева! Что же деется? Третий год глад в России, — запричитала было Павловна, но тут из комнаты вышел Григорий Григорьевич.

Гордой радостью светилось его лицо. В нем трудно было узнать того угнетенного бездельем Скорнякова, который недавно выслушивал наставления тетушки. Он подошел к Басову, и тот встал из-за стола.

— Вот тебе за радостную весть! — И Скорняков звякнул рублем по столу. Обняв сержанта, расцеловал его. — А теперь иди, тебе поспешать след. Пусть и они в Якутске знают. — И гордо удалился к себе под изумленным взглядом Аграфены.

Пока тетушка провожала служилого, Григорий Григорьевич достал со дна сундука свой бархатный с позументом камзол, шелковые штаны, чулки и парик. Быстро переоделся, натянув ставшие маловатыми туфли с бантами, и, расправив на груди жабо, вышел на кухню. Аграфена Павловна так и ахнула: перед ней, как и прежде, сановный муж Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев.

— Что за радость, Гришенька? Не томи.

— Кончилась скудность, — многозначительно произнес он и, подойдя к столу, продолжил: — Довольно на своих проторях сидеть. Ежедень Бога молил, услышал преблагий!

— Гриша, сказывай толком, — взмолилась, сгорая от любопытства, Аграфена.

— Невмочь мне эдак. Сердце готово выпорхнуть, — уже без напускной важности заговорил Скорняков и принялся нацеживать вина из бочонка.

— Неужто без этого неможно, Григорий? А потом брюхом болеть изволишь.

— Неможно! В такой час — неможно! — И залпом осушил чару. Потом развернул бумаги и обратился к тетушке: — А теперь слушай: «Высокоблагородному господину генерал-майору Григорию Григорьевичу Скорнякову-Писареву. Понеже доношу: по ея императорского величества великой государыни Анны Иоанновны, за подписание собственныя е. и. в. руки, состоявшемуся мая 1-го дня 1730 году, велено бывшего ссыльного Скорнякова-Писарева, вернув чины и званья, назначить командиром Охотского порта и Камчатского края, дабы те места умножил и хлеба сеял, где то возможно, а також для строения тамо судов и, буде то можно, установить торги с тамочными обретающими и прочих потреб к государственной пользе и умножению интереса Российской империи. Посему, по получению инструкции и сего ордера, вам надлежит выехать в Якуцк для принятия полномочий. Вице-губернатор А. И. Жолобов».

Так-то, Аграфена Павловна! Вспомнили, вспомнили меня сенатские крысы. Знать, еще понадобился. Шельмы! Теперь-то я развернусь, могу многое деять невозбранно под милостью самодержицы. Смотри, вот она, инструкция, за подписью самого сибирского губернатора князя Долгорукова. О тридцати трех пунктах. Ты представляешь? Простор действ-то каков! Да тут, при малейшем радении к службе, голубушка, и обогатиться, и милость государыни сыскать можно, — запальчиво наговаривал ей Скорняков, тыча пальцем в инструкцию. — Вот, вот, вишь: «Поселить пашенных крестьян в районы Охотцка, Юдомского креста, Удского и Камчадальского острогов и для заводу отправить туда же лошадей, рогатый скот, а также хлебных семян всяких». Пункт осьмой: «Иметь особое наблюдение



за камчатскими приказчиками, а для лучшего управления острогами не заменять командиров ежегодно, а назначить их на несколько лет, дабы лучше радели, и скот, и хлеб размножили, и народ приласкали». Разумеешь, милейшая? — все разгорался Скорняков. — Это же ясак, вся мягкая рухлядь чрез мое усмотрение пойдет! Погоди ужо, якуцкий воевода! От великих взяток я тебя отрешу. Наслышан я от казачьего головы Шестакова, каков правеж с ясашных людей чинят, и о всех проделках, кои несут немалую убыль казне. Зажирел на ворованном воевода! Тридцать шесть денщиков изволит при себе держать! Каково?!

Голос Григория Григорьевича все ярился.

— Мне за три года ни разу письменного вида не дал, дабы смог я хоть на время из этой глуши выехать в Иркуцк либо еще куда, полезное знакомство с кем свести. Даже бумаги для писания отказал, хотя и просил самую малость — полстопы! Ровно к лапотнику относился! Ты у меня ныне покоштанничаешь, казнокрад! — почти крикнул Скорняков в лицо тетушке.

Аграфена отшатнулась и принялась успокаивать его:

— Полно те, Гриша. Предерзостные слова. Услышит кто, оборони господи!

Скорняков, немного успокоившись, виновато ответил:

— Досадил он мне. Черт с ним! Прочтем далее: «Разместить в новом Охотцком порту триста служилых людей и далее открыть в том же Охотцке народную школу, но не одной грамоты, а для цифири и навигации, дабы могли люди к службе знающие возрастать, а не дураками оставаться». Я же говорю, каков простор деяний, а? Эх! Еще бы одного Петра Алексеевича на этот край земли! Словно на крыльях бы взлетела Россия… Да, надо большое к делам радение проявить, дабы глушь-болото тутошнее расшевелить и повернуть все дела на лучший манер, — задумчиво произнес Григорий Григорьевич.

До позднего вечера сидели они, читая и перечитывая приказ и инструкции к нему, все еще не веря счастливому повороту судьбы. Натешив свое самолюбие, Григорий Григорьевич снял с себя вельможью одежу и, опорожнив пару ковшей вина, заснул, полон смелых планов и проектов. Во сне видел он, как в Якутске трубит, созывая народ, городской глашатай-бирюч, а потом читает и читает именной указ императрицы. Скорняков поглядывает из золоченого

возка на радостный люд, подбрасывающий шапки, и на недовольную физиономию якутского воеводы.

***

А на Камчатке вьюжилась зима. Бешеными плясками пург она убелила вздыбленные горы, снежными застругами покрывала просторы тундр. У подножия курящейся сопки, среди лесистых увалов острым куполом церквушки да частоколом стен топорщился из снежных заносов Нижнекамчатский острог. Он приютился на берегу незамерзающей речушки, которая, несмотря на чистые струи вод, среди белоснежья казалась черной.

Струйки дыма из заметенных изб и землянок, лай да повизгивание собак, доносившиеся из острога, — эти признаки жизни среди холодного царства снегов каждому путнику всегда желанны. Обманчивой была кажущаяся сонливость острога: жизнь в нем шла своим чередом. Казаки несли службу на постах, своевременно хаживали на сбор ясака с инородцев, а в свободное время предавались утехам — кто браге, кто азартной игре в зернь и кости, а кто блуду, — каждый испивая свою чашу горестей и радостей в сей бренной жизни.

Сегодня в остроге тихо. Только вчера отряд казаков вернулся с верховий речки Еловки, где брали ясак у самых строптивых местных жителей — ительменов, которых казаки прозвали камчадалами. И теперь служилые, измученные дальними походами, нежились, отсыпаясь в тепле изб и землянок. Но не все. Казачий сын Никита Родихин стоял посреди приказной избы, в которой за грубо сколоченным столом сидели тщедушный приказчик Нижнекамчатского острога Иван Крыков и крепкий широколицый казачий пятидесятник Никифор Колыгов. Родихин, дожидаясь спроса, поблукал светлыми глазами по растрескавшимся бревнам стен избы, по закопченным паутинам под потолком и, предчувствуя неприятность, уставился на сухолицего приказчика.

Тот зыркнул на рослого молодца, нахмурился и заговорил надтреснутым голосом:

— Коли верить доносу, то ты, Никита, на сборе ясака нарушил заглавную казачью заповедь. А коли все так почнут?

Родихин опустил голову, глядя на свой потертый кафтан, свисающий ниже колен, на казачью шапку в руках, которой

в прошлом году одарил его отчим по случаю пошива себе новой, и подумал: «К чему это он клонит?»

— Сколь тебе годков-то? — деланно добрым голосом спросил Крыков.

— В лето два десятка стукнет.

— Так вот кумекай: тебе подушное жалованье как молодняку — казачьему сыну положили, а с лета по возрасту, знать, уже полное, как служилый, получать станешь — целых пять рублев да хлебное жалованье. И все от милости государыни нашей Анны Иоанновны, а вот ты это чтить не хошь.

— Как это «не хошь»? — удивился Никита.

— А во как! Наказы нарушаешь, знать, казачить не хошь! Был бы ты не молод, так по-другому с тобой обошлись, а не вразумляли тут, — загорячился было приказчик.

— Казачьи заповеди чту, за собой греха не ведаю, — сделал еще более удивленное лицо Родихин.

— Взятый у камчадалов санаяк бобровый с оплечьем из лис сиводушных ты утаил, а брешешь, будто чтишь все, что к всегдашнему исполнению заповедано. Учен, поди, что полученное сверх ясака — чащина — в дележ меж казаков идет. Чащины-то ныне не густо: дюжина соболишек да около двух сороков лисьих шкурок. Ты ж каков куш утаил! Аль цену бобрового меха не ведаешь? Поди, не глуп ужо? — И Крыков на миг представил себя в этом дорогом санаяке, в глазах его сразу заплясали бесовские огоньки.

«Нет, таку одежку не тебе, пентюху, носить-то. Выдеру как есть», — подумал он и посмотрел на Никиту, пытаясь понять, как повлиял на него разговор.

Родихин поправил распадающиеся на пробор светлые волосы и с открытым взглядом, как бы ища сочувствия, зачастил:

— Не чащина это. Закадычный приятель подарил, Федька Харчин. Да тот камчадал, что в соседях у нас жил, что толмачил потом тут, ныне дружба промеж нас верная. Вот и дарим друг дружке чего имеем. Так что подарок это, а не чащина.

Пятидесятник Колыгов, явно недовольный тем, как ведет спрос приказчик, из-под нависших бровей блеснул угольями глаз в сторону Никиты.

Мрачное лицо его забагровело, и, сдерживая раздражение, он пробасил:

— Чо мудришь, паря?! Неси санаяк в общий ворох — и делу конец. Одежка эта не по твоим плечам!

Потупив очи в пол, Родихин подумал: «Подарок отбирать… чего удумали… Вот к чему приказчик-то долгие разговоры водил. Речи-то его мед, да дела полынь… Не отдам санаяк, что бы ни было — не отдам подарка», — заупрямился Никита и вымолвил:

— Не отдам. Подарок это.

— Упираться! Беспуть! Чуешь, чем пахнет? — вскочил Колыгов и, сжимая кулачище, внушительно покачал им перед собой. Крыков дернул его за кафтан, Никифор сел, скрипнул зубами и отвернулся.

Приказчик заговорил лисой:

— Не похвально, а как будущему казаку — худо. Подумай ладом. Отчиму-то не в утеху будет, коль его вместе с тобой за твой норов придется… Не для того он тебя сызмальства растил, дабы ты смог ему такого возжелать… Коли сам не хошь нести, скажи, где упрятал, я за ним пошлю, и всего-то.

Родихин насупился. Он знал, что отчим его гневен и запросто так не спустит ему позор — порку за нерадивого пасынка, но обида и злоба на несправедливость придавали ему упорства, и он, подумав: «Ишь каков злохитренный. Так я и открылся тебе, жди», — ответил:

— Не отдам.

Пятидесятник заерзал на скамье, еле подавляя рык, рывавшийся изнутри, а Крыков встал из-за стола, сняв висевший на стене скольцованный кнут, подергал его за плетеный конец и заметил:

— Витень-то давно в деле не бывал. — И обратился к Колыгову: — А ну, выдь, сгаркай его отчима, поди, уж тут: я за ним давеча десятника услал.

Колыгова будто смело с лавки, и вскоре он вернулся с Василием Чупровым. Чупров — матерый казачина. Серые взлохмаченные волосы густо переходили в такую же серую с проседью бороду и полностью скрывали уши, лишь крупная медная серьга проглядывала сквозь заросли волос. Он сдернул шапку перед приказчиком и смиренно, несоответственно своей крупной фигуре, взглянул на него.

Тот кивнул на Никиту:

— Твой недоросль в походе утаил санаяк, а ныне уперся в раскаянье. — И, ехидно ухмыльнувшись, повысил голос: — Коли нас не почитает, авось ты ему указ! Где тот санаяк?

Василий пронзил гневным взглядом пасынка и, подойдя к нему, буркнул:

— Где?

Никита отвернулся.

— Кому зло творишь, непуть?! Где?!

— Не отдам! — побледнел Никита.

Размашистым ударом Чупров сбил его с ног.

— Молокосос! — И повернулся к Крыкову: — Сам принесу. Избу переверну, найду и принесу. Дома он его схоронил, матке показывал, а мне и невдомек, что утаил от всех. Пойду я. — И вышел, не глядя на поднявшегося Никиту, который дареной шапкой утирал кровь с разбитого лица.

— Этот принесет, — уверил Колыгов и посмотрел на Родихина, у которого курчавился пух усов, оттеняя разбитые губы, заметив: — Под носом-то взошло, а в башке еще, знать, не засеяно, коли власти над собой не чуешь.

Крыков подал Колыгову кнут:

— Чего же, засеем. Десяток плетей ему за упрямство, чтоб казачий верх признавал. Покажи ему власть, Никифор, да в полную силу, дабы не запамятовал.

Пятидесятнику такое напоминание было ни к чему. Он и сам возгорался при любом неповиновении со стороны подчиненных и в наказание всегда вкладывал нечто большее, чем свое радение к службе.

Казаки два раза обсыпали снегом исполосованную спину Никиты, приводя его в чувство, потом кое-как натянули на него одежку и вытащили строптивца со двора в сени, где и оставили до прихода отчима.

Отдав приказчику санаяк, Василий Чупров поднял ослабевшего Никиту, взвалил на себя и потащил домой, ворча:

— Поделом тебе, сукину сыну, вот очухаешься, еще задам.

К вечеру Никиту совсем скрутила боль. Со спины будто сдирали кожу. Он скрежетал зубами, жмурил глаза, в которых тут же возникала одна и та же картина: утоптанный вокруг козел снег с кровавыми полосками от кнута. Сутки в жарком бреду метался Никита, и только на второй день к нему вернулась

ясность сознания. Он увидел перед собой мать с заплаканными и опухшими от бессонной ночи глазами, полными сострадания. Мать время от времени мочила тряпицу в теплом отваре каких-то трав и прикладывала к его иссеченной спине.

В сердце Никиты колыхнулась горькая жалость к матери, запуганной да забитой отчимом, и он прохрипел:

— Ничо, ма, затянет, как на собаке.

И улыбнулся.

Мать всхлипнула.

— Боже, неужто лихоманка-то отпустила? Никитушка, можа, поешь малость? — И заспешила к печке.

На душе у Никиты было муторно: «Гады, гады проклятущие! Кабы не мать, ушел бы куда подале, дабы не зрить, как друг дружку из-за корысти в гроб вгоняют. Уйду к Федьке, буду с камчадалами жить. Эвон сколько русских посадских живут с ними их образом. Тошно мне от казачьих повадок, от лихоимства тошно!»

***

Вислоусый коренастый Степан Чуб еще осенью добрался из Охотска в главный на Камчатке Большерецкий острог. Большерецк — небольшое селение: люди все наперечет. Степан в тот же день заявился в приказную избу.

Полнощекий, с красным сливообразным носом уполномоченный якутского воеводы камчатский приказчик Михайло Шехурдин глазенками-буравчиками просверлил Степана:

— Торг ли, промысел каков чинить вознамерен?

Степан, смяв в руках шапку и поблескивая бритой головой, поперек которой скобой свисал казачий чуб-оселедец, чуть ухмыльнулся:

— Та ни, на каки вши. Я на посад сюды по своей охоте.

После недолгого разговора с приезжим Шехурдин, видя, что тот не лукавит и пользы с него никакой не иметь, сразу посуровел:

— Тогда брысь из острога, нищеброд. Тут и без тебя ссылочного отребья хватает. Чтобы к лету брел в Нижнекамчатский острог. Там у приказчика Крыкова в людях нужда. Ослушаешься, до сути твоей доберусь, в каморе сгною.

— Я хоть щас, хоть повтру могу попасть в тот острог, к пути свычен, — старался не обострять разговор Степан.



— Дура! Сейчас бездорожье. Тут Камчадалия, а не Малороссия. Вижу я, каких ты кровей, и чую, что за птица ты. Да ладно, в людях тут нужда великая, а то бы…

Степан Чуб хотел возразить приказчику, что считает себя больше донцом, чем малороссиянином, так как мать его донская казачка, уроженка городка Чегонаки, а отца-украинца Степан мало помнит. Давненько сложил он буйну голову в степных ковылях Задонщины.

Нелегко было небогатому человеку сразу знакомства завести с местными казаками или посадскими, и потому зиму Степан остался без жилья и почти без запасов провианта. Худо бы пришлось ему, но приютил его в своей землянке Александр Хмелевский — запорожец, сосланный в Камчатку за мятежные дела.

Степан же по своим помыслам попал в столь дальнюю окраину России. Немало лет уже минуло, как Чуб, покинув родные степи, уходил все дальше в глухие края. И не страх царского возмездия, а неистребимая вера в то, что где-то там, на восходе, все же есть она, вольная мужицкая страна, о которой с самого детства был наслышан он от беглых бродяг, попадавших на его донскую родную сторонушку. Своими сказами они зажигали сердца вольнолюбивых казаков, и не без проку. Степан до сих пор был уверен, что сделали бы Дон заветной вольницей, кабы все казаки тогда в единстве были. Кто-кто, а Степан Чуб в юности подышал волей, помогая в великом деле атаману Булавину. Будто сына, любил его атаман.

«Эх, воля-волюшка, что яд-отравушка: отведаешь — не отступишься», — частенько вздыхал о прошлом Чуб.

Избежал Степан кары лишь милостью царя Петра, который простил всех молодых смутьянщиков как несмышленышей. С тех пор и бродит Степан вольным человеком.

Коротая длинные зимние вечера в далекой Камчадалии, было что вспомнить и о чем поговорить казакам-бунтарям. За два года ссылки на Камчатке Хмелевский уже многое знал и о здешнем народе, и о казаках, живущих при камчатских крепостях-острогах для охраны окраин России, а также для сбора ясака с подвластных инородцев. Наслушался Степан от Хмелевского о дикости этих мест, об инородцах и о том, что казаки здешние обычаев строго не держат, всяк по себе

норовит, короче, не то что там, на Задонщине. Правда, несладко камчатским казакам приходится, а жилось бы тут и того хуже, кабы не их самовольства, сходившие с рук из-за отдаленности этой землицы. Хорошо сидеть в натопленной землянке, когда за стенами свирепая вьюга валит с ног да заносит снегом все строения острога и когда уверен, что можешь говорить обо всем на свете — и никто не подслушает, не донесет.

Степан Чуб и Хмелевский частенько распалялись не от жары в землянке, а от споров. Чуб убеждал, что вольная страна должна быть вовсе без бояр и царя, но упрямец Хмелевский все твердил о добром мужицком царе, дарующем волю и благо каждому.

***

Февральские стужи выжимали наледи из промерзших речек и увечили деревья глубокими шрамами мразобоин. Зима в Камчадалии — голодное время. Все живое будто вымирало.

В глубоких, врытых в землю жилищах-юртах ютились у костров местные жители — ительмены, с великим бережением доедая скудные зимние запасы пищи либо смиренно дожидаясь голодной смерти. Они были непривычны к соли, без которой запасти пищу на долгую зиму удавалось не всем. В такое время малолюдны были просторы Камчатки. Лишь изредка пробегала между селениями собачья упряжка отбывающего казенную гоньбу ительмена, еще имеющего запас пищи для себя и собак.

Не сиделось на месте Степану. Коротал бы себе до лета в землянке Хмелевского. Так нет, такая уж у него была душа: тянуло куда-то в неведомое, изнылась — нет покоя. Не давала застояться молодость. Подошло время первых устойчивых настов, по которым, имея собачью упряжку, можно добраться в любой уголок Камчатки, но трудно было найти того, кто мог продать нарту и собак — бесценное состояние в этих местах. Резную люльку с золоченым мундштуком да шитый золотой ниткой кисет — последнюю память о своем отце — отдал Степан Чуб приказчику Большерецкого острога Шехурдину. Тот покрутил трубку, разглядел на солнечном луче кисет и распорядился выдать Степану трех собак, легкую нарточку да еды на месяц: сушеной рыбы — юколы и кислой ямной рыбы, дух от которой даже в мороз был нестерпим для непривыкшего человека. Приказал, а сам посмотрел так, что у Степана похолодело внутри.

«Не верит, что у меня за душой ни гроша. Вдруг вздумает потрясти: тут я в его власти. Неосторожно я с ним в торг вошел», — укорил себя Степан, но смущения не проявил.

Шехурдин отлепил взгляд от Степана и как-то рассеянно проговорил:

— Пред отправкой зайди. Приказчику Нижнекамчатского острога мой указ на бумаге передашь. Все одно едешь, дак на государево дело послужи.

У Степана мелькнула мысль: «Я-то послужу, а денежки прогонные за неблизкий путь в твой карман осядут?» — но отказать тут разве посмеешь, и он согласно кивнул.

На нартовой упряжке из трех худобоких собак Степан еле поспевал за нартой камчадала, в которой, кроме самого каюра, сидел вестовой казак, везший такой же пакет, но с указаниями приказчику Верхнего острога. Останавливались они чаще положенного, поджидая Степана.

Казак ворчал на него:

— Ради тебя лишний день в пути зябнуть. Вот связался с тобой, а бросить — грех на душу взять.

У самого Верхнекамчатского острога, съехав на лед реки, казак вновь велел подождать Степана.

Когда тот подкатил, вестовой заговорил:

— Вот эта река по-нашему Камчаткой зовется, ее и держись. На ней-то и стоит Нижний острог. Туда десяток ден бега на хорошей упряжке, а с твоими заморышами — не ведаю. Мой те совет: в Верхнекамчатском остроге сейчас разживись нерпичьим жиром да подкорми собак, иначе в пути с ними и подохнешь.

В Верхнем остроге раздобыть ничего не удалось, и на следующий день Степан направил нарту по заснеженному льду. В долине реки Камчатки морозы держались покрепче, но наст был слабее. Проваливаясь по пояс в снег, Степан то и дело помогал своим собакам вытаскивать нарту из проломов тонкого наста. Треухая шапка якутского покроя сползла ему на глаза, полы поношенной сермяги волочились по снегу, мешая выталкивать нарты на прочный наст. Уставший, он с трудом передвигал ноги в меховых камчадальских портах, заправленных в легкие торбаса. По одежке было видно, что человек этот на Камчатке недавно.

Через несколько дней собаки выбились из сил. Они уже не могли тянуть нарту со Степаном, часто останавливались, падали

на снег, вывалив алые языки, мелко дрожали, клацая зубами. Степан понимал, что не отдых им нужен, а корм, которого осталось совсем немного, и он вынужден держать собак впроголодь. Утром одна собака не поднялась. Как ни грозил он ей — все без толку. И только тут Чуб окончательно почувствовал всю опасность своей поездки. Сначала он поносил Шехурдина: «Нечестивец, подсунул заморенных псов, ведь знал, что для дальней дороги беру. Вот несыть! Везде уворовать норовит». Потом укорял себя, что не стал ждать лета и что забоялся поторговаться насчет добрых псов, но, умерив пыл, глубоко задумался: «Придется брести пеше. Собаки хоть нарту с поклажей бы дотянули. Оно и мал скарб бродяжьего человека, а набирается. Это же сколь ден лишних в пути быть придется, а кормежки в обрез. В камчадальских острожках, куда заходил, везде голодно, не поживиться, токмо на свое и надежа». Степан тяжело вздохнул и посмотрел на подыхающую собаку и на сидящих около нее двух других худющих псов. Решившись, он снял с немощной собаки алык и, подхватив ее на руки, понес к зарослям тальника. Чуб не хотел, чтобы псы видели, как он будет свежевать.

Таким образом пополнив запас пищи для себя и собак, он из тальниковых прутьев сплел снегоступы-лапки, скрепил их ремешком и, подвязав к ногам, отправился в путь. Степан шел рядом с нартой, прихватив ее ремнем, конец которого прочно намотал на руку. Не дай бог, выскочит заяц и голодные псы ринутся за ним, тогда прощай и собаки, и все, что на нарте, а это — верная гибель.

Прошло еще несколько дней. Как ни экономил пищу Чуб, но холод и голод плохие в том помощники. Из запасов осталось несколько пластин юколы. Степан и сам чувствовал, что силы его покидают. Ему казалось, что он целую вечность бредет по этому снежному голодному простору. Все чаще и чаще он то помогал ослабевшим собакам тащить нарту, то вел их на длинном поводке, поманивая юколой, пока сам не выбивался из сил. Угадывая крутые излучины рек, Чуб уходил со льда, спрямляя путь по берегу. На очередной ночевке у костра поверх веток он бросил спальный мешок из оленьих шкур и развязал котомку. Вытащил пластину юколы, разрезал ее на три части и, взглянув на остаток, сказал, обращаясь к собакам:

— На три кормежки осталось.

«А потом как? Неужто и этих придется…» — вновь вернулась назойливая мысль, и Степан невольно оценивающе

посмотрел на голодных собак, которые в ожидании еды блестели на него глазами. От встречного звероватого взгляда Степану стало не по себе. «Фу-ты, бес! А вдруг и они о том же думают». И, пытаясь отогнать эти мысли, бросил собакам по куску юколы, а сам принялся за свою долю.

***

Никита Родихин заметно поправился и все чаще стал выходить из избы, чтобы подышать морозным воздухом. В наброшенном на плечи полукафтане он прохаживался от избы до приземистой баньки, за которой от сухого ствола кустился ивняк. Во дворе как будто чего-то не хватало. Никита покосился на пустую собачью будку, быстро огляделся, но Трезора нигде не было видно.

«Однако, холоп Тенива пса с привязи спустил пробегаться», — подумал он и поежился: зябла битая спина.

Кутаясь в полукафтан, Никита остановился у бани. Тут он заметил, как из-за угла сруба высунулась белая мордочка горностая. Ухватив дух человека, зверек стремительными скачками бросился к иве и юркнул вдоль ее ствола под снег.

«Осмелел, когда во дворе пса нет», — отметил Никита и принялся рассматривать следы верткого гостя.

За этим занятием он и не заметил, как, не разбирая тропок, напролом к избе подошел отчим и, чуть пригнувшись, пропал в проеме двери.

Раздеваясь, он с порога крикнул:

— Холоп! Ты пса спущал?!

Моложавый камчадал Тенива уже пятый год холопил у казака Василия Чупрова за невесть какие долги своих родителей. Тенива вздрогнул, поднялся с пола от лисьей шкурки, которую он скоблил скребком, и, соглашаясь, качнул головой.

— Трезор у Колыгова нартового кобеля на привязи загрыз! Теперь крышка! Не отквитаться от пятидесятника. Недосмотрел! Гад поганый, я тя научу! — гремел Чупров, ища глазами, чем бы огреть холопа.

Тенива не успел ответить в оправдание, как разъяренный хозяин хватил его попавшим под руку ухватом. С треском переломился черенок — Тенива осел на шкуру.

— Гнида! В долги мя ввергать! Выверну наизнанку! — бесился хозяин, пиная свою жертву.

Из своей комнаты выскочила Офимия Родихина, жена Чупрова, и бросилась к нему:

— Будя сатаниться-то, остынь! Человека топчешь!

Повернув к ней искаженное злобой лицо, Чупров оборвал ее:

— Замолчь, постылая!

— Оставь его! С ума спятился… — не успела договорить Офимия, как муж ухватил ее за волосы.

— Заступница! В тебе тож их кровь бродит! Космень-то те вытрясу! На! Ишшо! Ишшо! — принялся он кулаками охаживать жену.

Услышав крики и вой, Никита влетел в избу. Увидев, как отчим таскает мать за волосы, он опешил. Но крупицами копившаяся ярость вдруг всплеснулась в нем, и, не помня себя, Никита кинулся на отчима. От неожиданности Чупров отпрянул. Никита обхватил его и с силой, невесть откуда взявшейся, сдавил.

— Не трожь мамку! — шипя, выдохнул он, уставясь в отчима холодными от ненависти глазами.

— Прочь! На ково руку! Сукин сын, ослобони!.. Кому грю!

Никита знал, что отчим — жила крепкая, двужильным его кличут, свалить Чупрова будет невозможно, но гнев, вызванный обидой за мать, не давал рассуждать. Он еще поднажал и с твердостью в голосе, удивившей его самого, проговорил:

— Мамку боле не трожь!

Елозя бородой по щеке Никиты, Чупров сопел как бык, обдавая перегаром, задыхаясь от злобы и пуча побагровевшие глаза, пытался вырваться из крепких объятий.

— Ах ты звереныш, окреп, гришь! Я те дам, как задориться! Не таким башки крутил! Шалопай! — И резко наддал коленом в пах Никиты.

У того захватило дух. Вывернувшись, Чупров шибанул его наотмашь и, срамно ругаясь, пинком бухнув дверь, вышел из избы. Отдышавшись, Никита отвел на топчан избитую, будто всей грудью стонущую мать, оттащил Тениву в его балаган и полез в погреб за ягодным соком шикши, который успокаивает и прогоняет слабость. Спускаясь в погреб, Никита скрутился от резкой боли.

«Болит брюхо-то, будто потроха сорвал. Удержать такого верзилу, шутка ли», — подумал он и, поразмяв живот, спустился.

Когда поднес матери ковш с соком, она, прикрывая рукой темно-лиловые круги под глазами, слабо заговорила:

— Вот и поменялись местами, сынок: ныне ты за мной ходить станешь. С таким нелюдем нет нам ни покоя, ни тихости. Злой сатана, немочи его не берут. Господи, не гневись за такое-то возжелание, но вымучил — спасу нет.

Пока мать глоточками испила сок, Никита раздумывал: «И впрямь, сколь раз мамку смертным боем бивал, а я в страхе да в бессильной ярости кусал себе руки в кровь, пока жалость и ненависть рвали в куски мое сердце… И пошто столь злобы в людях? Особо в казаках. Верно, казаки — обычаем собаки. Токмо и творят гнусное да плачевное… Нет, не буду казачить! Все же надо уходить к приятелю своему — Федьке Харчину. И где он ныне? Чем занят? Федька-то не промах. Тойоном в своем острожке стал, а я тут все ошиваюсь при отчиме, который теперь еще пуще от меня взгляд отвернет… И уйти. А как мамка?»

Два дня не было Чупрова дома. На третий день он, пьяный, заявился с Никифором Колыговым. Подозвал еще не отошедшего от побоев Тениву и указал на него пятидесятнику.

— Вот тебе вместо пса. Крепкий, черт: все ему по рукам. Дак ты не в накладе, Никифор, не имей на мя. — И, махнув рукой, пошел в избу.

***

В один из дней, спрямляя путь, Степан остановился у кромки наледи от горной речушки. Оглядывая широкие ледяные наплывы, растекшиеся по пойменному лесу, Чуб удивился: «Каково наледье, саму речушку и не определишь где». Возвращаться назад и идти крюком по реке Камчатке при таких-то силах Степан и думать не хотел, тем более что лед сухой, воды поверх не было.

Чуб на поводке потянул осторожных собак. Его ноги в лапках скользили и разъезжались. Он выругался на упирающихся собак, привязал их к дереву, торчащему из наледи, и, сняв лапки, пошел посмотреть путь. Неожиданно, как выстрел, раздался звонкий хруст ломающегося льда, и Степан провалился. Острая боль в ноге резанула по сердцу быстрее, чем страх. Придя в себя, Чуб огляделся. Он находился в воздушной подледной яме, которая уходила вглубь наклонной скользкой

щелью. В зеленоватом полумраке была ясно различима белая полоса верхнего ледка, когда-то затянувшего эту ловушку. Пытаясь руками дотянуться до кромки пролома, Степан не смог даже развернуть свое тело, которое как клин с ходу вошло в сужающуюся трещину льда. Он пошевелил ногами, ища опоры, но сильная боль пронзила его. Холодом в душу пополз страх: неужто все? Пытаясь распереться между стенками, Чуб ворочался, рыча от боли в ноге, вновь и вновь упирался руками, которые всякий раз соскальзывали, пока не выбился из сил. Первый приступ страха и отчаяния прошел. Когда немного успокоился, блеснула спасительная мысль: «Нож!» Втягивая в себя живот, он просунул руку к поясу, вытащил нож из ножен и принялся долбить углубление во льду. Крошки и пыль ото льда сыпались на лицо, неприятно таяли. Полуголодное состояние за последние дни ослабило Степана, и он быстро уставал.

«Только бы уцепиться да из щели чуть посунуться, тогда перевернусь, а животом книзу легче будет выбираться», — размышлял он.

Много раз отдыхал, потея, и вот, воткнув нож поглубже в лунку, он уцепился обеими руками и начал подтягиваться, удивляясь своей слабости. Когда тело подалось из щели, он крутанулся, переворачиваясь на живот. Резкая боль замутила рассудок, нож, блеснув лезвием, выскользнул из рук, тело Степана вновь съехало в щель. Обессиленный, он впал в забытье. Очнулся от нестерпимого озноба. Будто иглами, кололо онемевшую щеку, которая прикасалась ко льду. Степан пытался отстранить голову, но длинный ус, вмерзший в лед, больно держал. Слабость и чувство обреченности овладели Степаном. Медленно наползали думы: «Вот и озябаю студеной смертью… Спина охолодела, не чую совсем».

Он поднял глаза к пролому во льду и заметил: «Сколь долготечен день… Кабы не выронил нож, две зарубки бы — и выбрался. А на кой бис выбираться-то? С такой ногой уже не пойдешь, на голодных псах не уедешь. Все одно — подыхать». И он стал вслушиваться. Ему показалось, что где-то подо льдом что-то забулькало. «Вода! Зальет ледяные щели да ямы — и готов: вмерзну, яко пескарь… Хотя все одно: голодом, холодом подыхать, а так-то быстрей».

Сумерки сгустились в ночь. Мороз крепчал. Выстрелами трескалась наледь, наводя жуть на сердце, которое, как казалось Степану, осталось единственно живым комочком в его бесчувственном теле. После очередного забытья он очнулся и через пролом уставился в звездную немоту неба.

— Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешного. Сколько же мучиться-то?! — медленно восклицал он.

Выматывая душу, завыл голодный пес, потом другой. Под мучительное завывание собак Степан до боли в глазах всматривался в деготь ночного неба.

И перед глазами заколыхалась степь, знойное небо, облака, и навстречу ему бежал Кондратий Булавин. Он кричал и махал казачьей шапкой: «Степан, Степа-а-ан, сюды, тут она, вольная сторонушка, тута-а всего преисполнено-о!»

Степан рванулся навстречу, распугивая птиц, бежал мимо многочисленных кошей-обозов с калачами да сухой таранью, а вокруг кошей мужики да казаки толпились.

«И впрямь вольная мужицкая страна: не видать ни земского, ни служилого начальника», — думал Чуб, и сердце его щемило от радости.

***

Черноволосый кряжистый ительмен Федор Харчин в зимней верхней одежде — парке гнал упряжку по тундрам и перелескам. Несмотря на морозец, капюшон парки был откинут; с головы на крепкие плечи спадали густые, заиндевевшие на морозе волосы. Из-под сросшихся бровей поблескивали карие глаза. Собак он не подгонял. Его пятеро псов в беге были старательны, а вожак надежный. Ныне мало у кого нашлась бы такая упряжка, так как за последние годы у камчадалов все меньше и меньше становилось собак.

Разорение и голод не покидали камчадалов. Но Харчин не голодал, запасы его соленой рыбы осенние мухи и черви не поедали, как у других. Сколько Федор ни толковал сродникам о выгоде соленых запасов, но те только плевались и морщились от соли и норовили готовить запасы по старинке. Федор к соли привык еще с детства, когда за ясашные долги его от родителей забрал казачий десятник. Вскоре десятник проигрался в зернь, и паренек достался другому казаку — Харчину.

Так и жил он при русском остроге, привык к соленой пище, научился русскому говору и получил крещеное имя Федор Харчин.

Однажды из дальнего похода на север Камчатки казак Харчин не вернулся, и Федора прибрал к рукам приказчик Нижнекамчатского острога. Подросшего Федора, как дюже понятливого, стали брать на разные ясашные дела толмачом. В этих походах и нагляделся Федор многого, отчего его сердце не раз обливалось кровью.

Удачливый в охоте, он вскоре откупился от холопства и вернулся к своим родным в селение на речку Еловку. Молод годами был Федор Харчин, но смекалист и мудрен от природы и жизни, выпавшей на его долю. Даже старые камчадалы уважали Федора, прислушивались к его суждениям. Как-никак, при русских людях не просто жил, а толмачил: знает немало.

Мчал Харчин от своего дядьки Голгоча — тойона некогда большого селения, что находилось вблизи Нижнекамчатского острога. Тайное дело, которое разжигало его душу, гнало Федора в далекий камчадальский острожек Каменный к тойону Черемачу.

Федора будоражили роившиеся мысли. Глаза его то и дело вспыхивали, выдавая волнение, он размышлял: «Примет ли Черемач нашу задумку? Хотя бунтарский дух Черемачей известен всем, как и Голгочей, моих родников. Но горд и своеволен он. И говорить с ним непросто».

За мыслями Харчин не заметил, как его упряжка выкатила к наледи. Псы, низко опустив головы, настороженно запетляли по льду. Вдруг сбоку послышались лай и повизгивание собак. Вздыбилась шерсть на холках у собак Харчина.

— Но-но, Лохмац! — окрикнул он вожака, удерживая его от броска на чужаков.

Увидев привязанных у нарты собак, Харчин повернул свою упряжку. Подъехав поближе, остановил нарту остолом, погрозил своим оскалившимся псам и огляделся.

— Эгей! Кто тут? — крикнул Федор.

Никто не отозвался. «Лапки тут, нарта тут, где же человек?» — подумал он и, взглянув на одинокий нартовый след на снегу, понял, что человек где-то на льду. Увидя проломы в наледи, Федор обломил сук с дерева и, вырубив палку, двинулся к пролому, постукивая ею.

Степан Чуб сквозь забытье услышал вначале ярый лай собак, потом суетливое повизгивание и, как гром средь бела

дня, — голос человека. Он вздрогнул, сердце гулко забилось. Рванув голову вверх, оставляя во льду клочья усов, Степан закричал, но голоса своего не услышал. Снова и снова пытался кричать, беззвучно разевая рот, но его грудь только выдавливала хрипы.

Подходя ближе к пролому, Харчин обстучал тонкий ледок и, встав на четвереньки, заглянул вниз. Увидя страшные, как пропасть, глаза, которые пучил на него человек, Федор на миг оторопел. Отпрянул от пролома, перевел дух.

— Живой, — вымолвил он и вновь склонился над проломом.

Снизу уже тянулись дрожащие помороженные руки.

— Пожди, я скоро, — бросил Федор и метнулся к нарте.

Вернулся он с веревкой-заплетушкой. Сделав петлю для затяжки на удавку, опустил ее вниз.

— Руки в петлю суй так, чтоб кожу не снес, — указывал он еле шевелившемуся бедолаге.

Силушкой Федор Харчин был не обижен и легко вытащил Степана, который вновь погрузился в беспамятство. Федор оглядел его, послушал дыхание и, поцокав языком, размыслил: «Совсем плохой, ни ехать, ни идти не сможет. Куда его? Везти к Черемачу — не-ет, не жалует он казаков, много обид натворили. Вот незадача, так спешил, и нате».

В нем вспыхнула досада на эту нелепую встречу с казаком, сбивавшую все его планы. «Чего его жалеть? Повидал я, как они, раззадорясь, не щадят сродников», — подумал Харчин и направился к своей нарте, оставляя Степана. Но мысли не отпускали его: «Что за люди, эти казаки? Иной раз зверь, а не человек, а то он же приветлив к тебе и добр безмерно». Федор сразу же вспомнил своего бывшего хозяина, казака Харчина. Бывало, тот придет хмельной, сядет за стол, уронит голову на руки и зальется слезами, жалуясь на свою пропавшую жизнь. Потом подзовет Федора и примется его лобызать, причитая: «Эх, Федюшка, всю-то жизнь я искал лучшей долюшки. Ан нет ее… Живу безрадостно среди зла и греха так, что опыстело все. Люб ты мне, Федюшка, как своя кровинушка, не дичись, зови меня тятькою».

Жалко становилось Федору плачущего доброго бородача, не верилось, что в жизни он бывал неприветлив и крут до лютости. От ласки этого, на вид сурового человека у Федора



теплело в груди, он сидел рядом с казаком, таращил на него любопытные глаза, пока тот не уснет, излив свою душу. Тут же припомнился и его дружок детства, Никитка Родихин, вернее и бескорыстнее которого у Федьки дружков не было.

Харчин оглянулся. Степан Чуб лежал, как подбитая нерпа у проруби. Дрогнуло сердце Федора. Остановился и, уже не колеблясь, быстро пошел к Степану.

Вскоре нартовая упряжка Харчина, свернув с намеченного пути, мчалась к родному острожку Федора.

Степан Чуб на короткое время очнулся и не сразу сообразил, что кто-то берет его на руки. В его сознании запечатлелось: бугрообразная крыша юрты, над которой тянул дымок в морозную стынь неба, и малиновое заходящее солнце. Как оттирали снегом, Степан не помнил и вновь очнулся уже в юрте у стены, а Федькины родники столпились рядом. Они, кто с боязнью и опаской, кто с любопытством, поглядывали, как Федор и его брат начали натирать обнаженное тело казака настоем кореньев, смешанным с медвежьим жиром. Осмелевшие ребятишки трогали за бритую щетинистую голову, за длинные усы человека, вовсе не похожего на русских бородачей. Сковывающая обитателей жилища настороженность скоро прошла. Раз принес его сюда Федька, знать, так надобно. Жизнь в юрте пошла своим чередом.

Оставив Степана на попечение родни, Харчин уехал в Каменный острожек.

Когда вернулся от Черемача, с мыслью: «Как там хворый?» — спустился в юрту. Испытавший беды человек всегда участлив в несчастье другого. Рядом с потным, метавшимся в жару Степаном камлала старушка над настоем травы, капая в него мухоморное зелье. Брат Федора к горячему лбу казака прикладывал комок снега. Любопытные мальцы и женщины во все глаза наблюдали за камланием. Шло время. Мало-помалу Степан выздоравливал. Вновь появился голос и блеск в глазах, жизнь возвращалась к нему. В жилище все привыкли к усачу, а пузатые голозадые ребятишки то и дело барахтались с ним и около него.

Федор Харчин по нескольку дней не бывал дома, разъезжая по острожкам. Иногда к нему приезжали камчадалы, но встречать их он уходил в другую юрту. Чуб еще не понимал ительменского говора и с нетерпением ждал появления Федора, чтобы перемолвиться русским словечком.

Однажды Харчин заявился и сразу подошел к Степану, посмотрел на обмотанную широким ремнем ногу и заговорил:

— Болит еще? Сидишь, как медведь в берлоге, а наверху весна. Вот, тебе привез, быстрее встанешь. — И он протянул Степану несколько бодылин сухой пучки, набитых ссохшейся икрой красной рыбы.

Степан принял странную пищу, явно не зная, как с ней расправляться, и покосился на ребятишек, с аппетитом поглядывающих на лакомство. Харчин перехватил его взгляд.

— Сам ешь. Они здоровы. Голодать мы привычные. Скоро лето, придет рыба — будем жировать.

Степан, смущаясь заботой, проявленной к нему, только улыбнулся в ответ и подумал: «Сколь лиха в жизни перенес, и никому до того дела не было, а эти — сами голодают, но лишаются последнего ради человека… Вот те и иноверцы. Теперь понимаю, почему в голодное время их старики сами уходят из жилей помирать: ради жизни своих детей и внуков».

Пока Харчин стягивал с себя верхнюю одежду, один из подростков принес в юрту березовой коры и подал ему. Федор мелко накрошил ее, из котелка, стоящего у костра, зачерпнул горячей воды и поднес Степану.

— Не все русские могут такую икру есть, а тебе надо. Это тоже ешь, когда зубы слипнутся. — И он указал на кору.

Степан усердно жевал горьковато-кислую икру, которая склеивала рот. Он морщился от дурного запаха икры и с трудом размыкал челюсти. Глядя на выражение его лица, ребятишки откровенно смеялись, и у Харчина лицо тоже разъехалось в широченной улыбке.

После непривычной трапезы Чуб спросил Федора:

— Где ты набойчился по-нашему гутарить?

Харчин присел возле Степана и незаметно для себя разговорился о своей жизни. Степан с интересом слушал его, время от времени покачивая головой.

Когда Федор замолк, Чуб задумчиво промолвил:

— Да-а, казаки тут от безнаказанья потеряли добрый нрав, холопов позаимели, яко баре, и злобствуют, останову не ведая. Потому как приказные люди усе воры, та им дел нема до жизни простолюдинов. Побувал я, Хведор, у разных местах, и везде от приказных людей несть числа обидам народу.

Харчин вприщур взглянул на собеседника:

— Степан, при каком ты остроге служишь?

— Я, Хведор, не казачу ныне. Вольный человек.

Наскучавшись по разговору, Чуб принялся обсказывать про свои мытарства, про заветную мечту, которая провела его до этих мест.

Заканчивая свой длинный сказ, добавил:

— Взманилось мне, шо здеся она, вольница, а тут, бачу, жизнь ваша вовсе не всутерпь.

Харчин внимал в оба уха, глядя на человека, сочувствующего их бедам.

Шло время. Степан совсем освоился и стал уже кое-что понимать в говоре камчадалов. Коротая время, он охотно вместе с ними предавался их незатейливым забавам.

В этот раз игра была на ловкость и меткость. Надо было двумя небольшими палками захватить из костра головешку или уголек и вышвырнуть вверх через отверстие юрты наружу. С виду просто, но редко кому удавалось это сделать. Чаще всего головешки ударялись в перекрытия, сыпали искрами и, дымя, падали вниз, улетали вбок под визги и хохот окружающих.

В один из весенних дней, припадая на поврежденную ногу, Степан по бревну с зарубками выбрался наверх из жилища. Снега уже спадали, на пригорках темнели проталины, до слез слепило солнце. Свежий воздух прояснил голову. Степан присел на холмик юрты, поглядывая, как Федор Харчин суетится у балаганов для хранения и запасов пищи и немудреного скарба.

Островерхие балаганы, с высоко поднятыми над землею полами, стояли на столбах, чтобы ни собаки, ни звери не смогли попасть к припасам. Псы, сидевшие на привязи, вдруг забеспокоились, и из-за чащи тальников лихо вывернула нартовая упряжка. Лающих собак каюр остановил у юрты Харчина.

Застопорив нарту, он подошел поближе и недоуменно уставился на Степана. После минутного оцепенения, с искаженным от гнева лицом, гость выхватил нож и двинулся на него. В два прыжка Федор оказался между ними и грозно залопотал по-своему. Камчадал, резко жестикулируя руками, злобно отвечал Харчину.

«Меня лает. Крепко насолили им, коли до ножа дошло», — подумал Степан и начал спускаться в юрту, из мглы которой пахнуло кислыми шкурами и горевшим жиром.

Когда гость уехал, Харчин спустился к Степану и заговорил:

— Обижен тойон Ор-Тавач. Принял тебя за служилого. Они его недавно крепко пороли и мучили за долги ясашные. Эх… скоро и к нам заявятся за ясаком! У нас тоже долги.

— Столь непосилен ясак?

— Ясак-то по силам, а вот чащина, та, что идет сверх ясака приказчику да сборщикам, та разная бывает: как приказчику вздумается брать, так и есть, но всегда больше ясака. Долги с прошлых лет висят, а за невыдачу их каждый раз долг тот растет.

— Откуда же взялись долги?

Федор умостился поудобнее и стал обсказывать:

— Те зимы для нас были тяжки. Всех, кто имел нартовые упряжки, собрали в далекий острог Большерецкий. Оттуда велели перевозить грузы для Большого русского тойона в Нижнекамчатский острог. У него волосы, как снег, вьются, что дым из юрты, ниже плеч спадают, с ним такие же беловолосые помощники. Сердитый очень, даже приказчик перед ним низко кланялся. Богатый, однако, был он, и людей при нем много. Всю зиму клади да их самих мы возили. Не хватало на такую гоньбу юколы собакам и каюрам. Сколько их подохло в ту зиму, никто не знает. Так в ту зиму и не брали мы зверя на ясак: некогда было. Уезжая, обещал белоголовый сказать царю о нашем старании и не брать с нас ясак за тот год. Но как только он уехал, приказчики тут же выслали сборщиков. За ясак писали в долг, а на чащину все припасы еды подчистую выгребали. Нарты и упряжки у кого уцелели — забирали. Тогда много сродников померло от голода. А без нарты за соболем далеко не пойдешь, да и голодно, как охотиться? С тех пор и катятся голод и долги, долги и голод. Так плохо никогда не жили.

— М-да, Хведор. Дивлюсь я вашему терпению.

Харчин покосился на Степана и спросил:

— Ты писать учен?

— Ни, а на що?

— Бумагу царице писать хочу. Пусть приказчиков уберет да не посылает сюда сборщиков. Они себе больше берут, чем

в казну идет. Сами будем ясак сбирать да царице отсылать, — заговорщически зашептал Федор.

— Ни!.. Зряшно дило, — встопорщил усы Чуб и продолжил: — Не одне вы чалом бивали царю, да шиш покусали. Ты умом шире раскидывай! — загорался Степан.

— Как же? — недоумевал Федор.

— Помалу творить — время терять, на большее замахивайся. Усем гамузом надо подняться. Приказчиков да непотребных — тут по пальцам счесть. Немало казаков та посадских, кои сами о том лишь мнят, враз к вам переметнутся. И вот она — вольная сторонушка! Во як треба, Хведя! Та вместе усем, не то як у нас на Дону вышло. — И Степан, разгоревшись, взахлеб начал рассказывать Харчину о том, как они добывали волю для Задонщины.

***

Приспело вешнее время, и бездорожье придержало деятельность Харчина. Он ждал, когда вскроются реки, чтобы вновь объехать все острожки и убедиться в готовности сродников к задуманному.

Пригревало солнце, задули теплые ветры. И вот наконец очистилась ото льда основная дорога полуострова — река Камчатка, которую камчадалы любовно называли Уйкоаль, что означало «большая река».

На долбленом бату Федор Харчин заспешил к своему дядьке Голгочу в камчадальский острожек, неподалеку от которого ершилась частоколом Нижнекамчатская крепость. По пути захватил с собою Степана.

Степан Чуб в Нижнем остроге разыскал невзрачного, с редкой бороденкой приказчика Крыкова и вручил ему письмо Шехурдина, управителя главного острога Камчатки — Большерецка. Крыков тут же развернул бумагу и прочел: «…Надеюсь, ныне ты совладеешь с инородцами и справишь ясак полностью, без недоимок. Как чинить правеж, не мне учить. Хоть повторно бери, но, коли к летнему приходу судна из Охоцка должного в казну не будет, — пеняй на себя. Приказчик Камчатки Шехурдин».

— Да-а… — почесал затылок Крыков, — без недоимок собрать тяжко… Задача!

Он взглянул на Степана и предложил:

— На убылое место казачить пойдешь?

— Ни, я своею волею при остроге на посад, — замотал головой Чуб.

— Как хошь, какое ни есть, а казачье жалованье — пять рублев в год. Голод не тетка. Подыхать станешь — сам придешь. Иди с глаз, — махнул рукой приказчик.

А Харчин тем временем подходил к избе казака Чупрова. Все свои знакомства и даже дружбу с Никитой Родихиным Федор старался обратить теперь на пользу задуманного.

С присущей молодости уверенностью в своих силах и замыслах он шел, взбодренный идеей, которая в его сознании, как пришедшая весна, выплескивалась подобревшим солнцем, гудела по оврагам взбешенными речушками, пробивалась мощными побегами шеломайника сквозь прошлогоднюю толщу сухотравья.

В этот день Никита Родихин еще на зорьке набродился по окрестным кормовым озерам и проточкам, где обычно отдыхают на перелете утки и гуси. Он приглядывал себе более удачное место для промысла дичи сеткой. Придя домой, Никита вывалил из котомки две дюжины уток, которых он выпутал из ранее наставленных сетей, и, стянув с себя бродни, завалился на топчан.

Проснулся он от голоса матери:

— Никитка, солнышко-то за полдень. Вставай, я поснедать собрала, не то стынет.

Никита с заспанным лицом вышел из избы и, щурясь от яркого солнца, направился к кадушке с водой, чтобы умыться.

— Ты чего там ловишь? — окликнул его подошедший Харчин.

Родихин резко повернулся, поблескивая мокрым лицом, расплылся в улыбке.

— Ба, Хведька! Как ты мне нужон-то! — раскинул руки Никита.

— Однако, и ты мне, — посмеивался в ответ Харчин.

Увидев обнявшихся друзей, вышедшая из избы Офимия заметила:

— Никак Федюшка? Давненько до нас не заглядывал, паря. Никитка, веди дружка к столу-то.

Похлопав Федора по плечу, Никита сказал:

— Здоров же ты, чертяка!

Налетевший ветерок разворошил кучу утиного пера, сваленного за избой, завихрил и нанес в сторону друзей. Одна пушинка прилипла к лицу Никиты.

— Фу-ты! Ныне весенней утки-то пропасть. Дичью и отъедаемся с зимы-то, — заметил Никита, смахивая пушинку с лица и увлекая друга к столу.

После еды они сидели на солнцепеке, прислонившись спинами к бревенчатой стене баньки, и Никита изливал наболевшее:

— Эх, Федька! Горесть душит меня. Не терпит сердце ни казачества, ни затейщиков зла. На гибель, на измор готов, а жить боле тут нету мочи. Истин бог, я бы ушел к тебе, еще когда снега не сбежали, да матушка хворала. Жаль ее. Ныне оправилась, можно и в путь, она согласна. А чего? С мамкой землянуху себе спроворим да и жить станем, как все. И ништо, что я русский. От своих-то мне зла больше, нежели добра.

— Погоди, Никитка, однако, скоро по-другому будет, — заговорил Харчин.

— Чего тут изменишь? Одно — бежать отсель надо.

— А ты погодь, увидишь. Коли хошь перемены в житье, помогай мне, делай, что буду просить, да помалкивай, — таинственно прошептал Харчин.

Никита внимательно посмотрел в глаза Федора.

Уловив тревогу во взгляде друга, Харчин успокоил:

— Не боись. Хорошим людям худа не будет.

Предчувствуя, что он стоит на пороге какой-то важной тайны, Никита тоже перешел на шепот:

— Я всей душой с тобой, Федька. Поверь. Коли для лучшей жизни, то проси, все исполню.

— Не верил бы, не заговорил с тобой о том. Ведаешь ли, когда уйдет отсюда отряд служилых, что еще с зимы собирают тут в лесах смолу?

— Как же, ведаю. За ними сюда из Большерецкого острога скоро судно придет. Они его тут просмолят, подправят и уйдут. Поговаривают, что и многие из наших казаков с ними в поход дальний собираются.

У Харчина загорелись глаза:

— Верно ли это?

— Вот те крест. Отчим во хмелю ругался: «Быстрей бы в тот поход уйти, чтоб ваши хари не видеть».

— Ладно, Никитка, обрадовал ты меня. Теперь жди от меня вестей, а пока, сколько сможешь, добывай лютое зелье да пули.

Никита знал, что инородцам строго заказано иметь и приобретать ружья, порох и всякие железные вещички, кои в случае недовольства можно будет употреблять во вред казакам, и потому засомневался.

— Ныне весьма тяжко разжиться тем зельем, особо пулями да жеребьями. Да и чем мне платить, должиться-то никто не станет. А фунт зелья — дюжину лисьих шкур, и не каждый отдаст.

— Голгоч родника к тебе пришлет, а с ним мехов — сколь занадобится, лишь доставай, Никитка, шипко надо.

— Ладно, Федь, а чего ты удумал-то? — согласился тот.

— Наперед говорить не стану, злой дух Канною прослышать сможет, не будет нам удачи. Я верю тебе, ты мне верь и помогай.

Когда Харчин ушел, Никита Родихин долго еще сидел, размышляя: «Вот те на… Федька. Однако, своих оборужить хочет да лиходеев всех за их окаянство в прах и тлен. Ну и ну! Башковит и храбр, однако, коли такое удумал. Молодец! Бают: камчадал — тьма непролазная, а он вишь каков. Ниче, и я с тобой, Федька, за правду-то».

Как ни таился Никита, а от пристального внимания матери он не смог скрыть перемену своего настроения, и Офимия вскоре стала замечать за сыном некую скрытность и озабоченность.

Однажды, когда она направилась к реке, чтобы прополоскать белье, повстречался ей отставной казак Артамошка.

Узнав ее, кивнул белесой головой и глухо заговорил:

— А, Родиха. Здорова будь. Никита-то твой дома? К нему кондыляю.

— На кой ляд ты ему сдался-то? Аль в приятелях у него? — заулыбалась Офимия.

— А вот, жеребья несу. Тут лисок на осьмнадцать их будет. — И он потряс кожаным мешочком, в котором глухо брякали жеребья.

— Сдурел ты, Артамошка! Где у него лисы-то?

— Вчерась у мово Васьки три десятка шкурок так и вывалил за два фунту пороху да сказывал, что еще есть, вот и иду.

А… не бабье это дело. Лети, куда направлялась, курица, — махнул он рукой и заковылял в сторону избы Чупрова.

Беспокойство закралось в сердце Офимии. Сразу припомнился и незнакомый камчадал, который два раза уже приходил до Никитки из соседнего острожка, и странное поведение сына.

«Неужто зелье да пули для них скупает? А ведь под строгим наказом такое продавать камчадалам. Познают — верная гибель Никитке», — со страхом за сына подумала она.

Когда к вечеру Никита появился дома, его уже поджидала грустная и тревожная мать.

Увернувшись от ее вопросительного взгляда, Никита заговорил:

— По очам вижу — забота томит, а?

— Чего ты деешь, Никитка, ить я все вижу! Живота лишишься, дурень ты этакий, — запричитала Офимия, промокая слезу передником.

Никита, поняв, что от матери ему не скрыть тайны, которую до времени не следовало бы ей открывать, заговорил:

— Иначе-то как жить, матушка?

— Терпеть надо, — всхлипывала она.

— Будя терпеть, ма! Однова живем. Пошто без светлых дней жить?! Токмо и знаем — кулак да кнут. К черту все! Для лучшей жизни мои старания, дабы всем сносно жилось и по совести. Ты уж потерпи, матушка, скоро по-другому заживем, дай срок.

— И в ково ты добр для всех, Никитушка? Тяжко тебе такому-то будет. — Закончив всхлипывать, рассудила: — Бог его знает, как нам жить-то пристало. Авось ты и прав, да боязно за тебя, сынок.

***

На угорах и падях, по весне чуть лоснившихся зеленью трав, теперь взметнулись к небу, обгоняя друг друга, мощные стебли сочной пучки, медвежьего корня и шеломайника.

Леса и тундры наполнялись голосами пичуг. Выводки всевозможной дичи зашныряли по травам, запорхали по веткам. В буйнотравье, торя тропы, тучные матухи присматривали резвых медвежат.

Подножия сопок вокруг Нижнекамчатского острога зарумянились цветом шиповника. Шел июль — макушка лета.

В остроге было тихо. Сборный отряд казаков и служилых покинул крепость и ушел к устью реки Камчатки, где их поджидало судно, готовое к морскому походу. Лишь самая малость казаков осталась для обережения острога.

Никита Родихин с полуоглохшим казаком Артамошкой, призванным вновь к службе по случаю малолюдства казачьего гарнизона, несли службу у ворот крепости. Артамошка свернулся калачом в тени от звонницы и, захлебываясь в виртуозном храпе, отпугивал мух, ошалевших от бражного духа над его ртом.

Приказчик острога Крыков и казачьи чины тоже ушли к устью реки провожать судно, и оставшиеся без пригляда служилые безбоязненно бражничали, не давая дозревать браге, сотворенной на стеблях сладкой травы.

Никита сидел в тенечке под крепостным частоколом и увлеченно вырезал свирельку. С дальнего переулка от избы казака Сорокоумова доносилась залихватская песня. По низкому голосу Никита определил, что среди гостей Сорокоумова и его отчим Чупров. Он еще с утра на опохмелье, хватив пару ковшей неокрепшей браги, подался к своему приятелю, где за жбаном и «прослужили» вот уже до полудня. Вскоре песни прекратились, и Никита увидел в проулке шаткого от браги Чупрова. Навстречу ему с бадейкой шла дородная жена подьячего Мухоплева Марфа. Около нее увивалась собака, которая кинулась к Чупрову, взбрехнула на него и отбежала к хозяйке. Чупров грозным матюгом запустил в собаку.

Марфа, покачав головой, укорила его:

— Тьфу ты, черт страшной, яко погано лаешься-то!

— А, гуляй подале, — отмахнулся казак и закачался в сторону своей избы, выкрикивая прибаутку: — А без браги, без дуды ноги ходют не туды!

Никита посмотрел вослед отчиму, подумав: «Набрался. Это неплохо, когда крепко накачан: дома завалится, копылки вверх и задрыхнет. Худо, когда недопьет, мамке покоя не даст».

Он вздохнул и покосился на храпевшего Артамошку, раздумывая: «Опостылели все. Вроде и среди людей, а как в безлюдье живу. Чего-то Федор долго глаз не кажет. Я свое слово сдержал: зелья и пуль раздобыл изрядно. Ему на меня обиды нет, а пошто не идет? Аль в сомненье?»

Услышав легкий шорох в шеломайнике, которым зарос оплывший, некогда глубокий крепостной ров, Родихин повернулся, вскочил на ноги и увидел невдалеке от себя Федора Харчина.

Тот заулыбался:

— Однако, чуток паря. Хотел скрадом к тебе, а не вышло.

— Ишь чего схотел, — заглядывая в лукавые глаза Харчина, загордился Никита. — Легок ты на помине, Федька. Токмо о тебе помыслил: где ты запропал, а он тут уже.

— Как с зельем, Никита? — перебил его Харчин.

— Достал через пьянственных казаков. Больше, чем думал, добыл жеребьев, да пуль тож посчастливило.

— Ладно, однако, совсем друг ты, Никитка. Айда быстро, забрать все надо.

Друзья заспешили к избе, переговариваясь на ходу.

— Федь, а про то, что скоро быть должно, поведаешь ныне? Я ить свое слово сдержал.

— Коли ты с нами, к ночи уходи из острога. С матушкой своей приходи прямо ко мне, на Еловку. Там все сам поймешь.

В избе матери не оказалось. Никита, подняв крышку, юркнул в подполье и подал оттуда два кожаных мешочка. Харчин взвесил на руках принятые запасы.

— Однако… — довольно промолвил он и, разрешая свое последнее сомнение, спросил: — Никитка, коли мы схватимся с казаками, ты им в помощь станешь?

— Ты чо, Федька? Знамо, токмо с тобой!

Василий Чупров лежал в полудреме. Его мутило, к горлу то и дело подкатывала горько-жгучая изжога. Поднести воды в избе было некому, а самому вставать не хотелось. Когда в избу вошли Никита с Федором и заговорили, он приоткрыл веки осоловелых глаз и хотел попросить воды, но, услышав их разговор, насторожился.

«Эка штука… Бунт уготовили?!» — отрезвляюще заработала мысль, и он затаился.

Офимия с пучками собранных трав подходила к избе, когда заметила Никиту и Федора, удалявшихся в сторону берега реки.

— Бунт умыслили! Твой олух с ними заодно! — будто кипятком, ошпарил ее муж.

У Офимии похолодело внутри.

«Никак прознал!» — подумала она и выронила траву из рук.

— Упреждал я тя: толку с него не жди, все казачьих дел гнушался. Ить почти русский, а туда же, щенок! Стал быть, ни за Бога, ни за царя! Быстрей, быстрей всполох бить! Авось не ушли еще казаки в море, воротить след!.. Да где бахилы-то?! Найди! Стоишь, вылупилась! — заорал он, потрясая портянкой.

— Брехло ты! Чего спьяну несешь? Поди, привиделось со сна-то, — опомнилась Офимия.

— Замолчи! Опрежь думал, твой выродок — недоумок, ан нет, со смутьянщиками в совете.

Офимия вытащила из-за печки один сапог, который Чупров спьяну забросил туда, и подала ему:

— Окстись, Вась, совсем с рассудка съехал.

— Ужо за косы возьму, ведьма! — доставая из-под топчана второй сапог, рявкнул Чупров и обложил жену крепким матом.

Офимия в растерянности не знала, что и предпринять.

«Для Никитки-то это погибель. Господи, как этот ирод ныне опасен для сыночка-то! Остановить! Не пустить его! Как?.. Как?..» — закружилось у нее в голове.

— Щас всполох вчиню, ужо заставим их рылом-то хрен копать! — злорадствовал Чупров, натягивая сапог.

— Вася! Уймись ты. С перепою мерещится. Ить на Никитку поклеп возведешь пьяной ересью, — превозмогая ненависть к мужу, прильнула к нему Офимия.

— Изыди! Не то вдарю, — толкнул ее он.

Она не удержалась на ногах и, опрокинув лавку, упала на пол. Со звоном с лавки свалилась и покатилась по полу медная ступа, рассыпав на полу горсть драгоценной крупы. Вывалившийся из ступы пест больно ударил по пальцам Офимии.

— Ах ты змей востроколытный! — вскочила она и массивным пестом огрела Чупрова по голове, вложив в удар всю накопившуюся ненависть.

Так и не надев второй сапог на ногу, Чупров свалился на пол.

Офимия, отбросив пест, пошла к выходу, все еще руганью вымещая злобу сердца:

— Чтоб те околеть, всю жизнь отравил, как дым едучий.

Проводив Харчина до реки, Никита подтащил к воде поближе свою лодку, осмотрел весла и вернулся домой, чтобы

разыскать и забрать с собою мать. Подойдя к избе, он увидел сидящую на крыльце бледную Офимию.

— Ты чо, ма?

— Никак убила окаянца! Господи, вишь, как от зла горе бывает-то.

Никита вошел в избу. У топчана с закатившимися глазами лежал буйноволосый Чупров.

Родихин вышел из избы и без чувства жалости к отчиму заключил:

— Умер, как жив не бывал. — И подумал: «Вот так матушка, первая взбунтовалась. Теперь нам с ней и вовсе путь един».

— Он все прознал. Собирался казаков от моря вернуть, — тихо проговорила она.

* * *

Матово-серое небо сливалось со свинцовыми водами океана в единую завесу, которая больше пугала непроницаемостью, нежели манила своей неизведанностью. И только справа мыс, вдаваясь в океан тонкой полоской, позволял разделять эту тяжелую серость на воздух и воду. Как будто из ничего вспучивались волны и, подгоняя друг друга, мчали к берегу залива.

Утром двадцатого июля тысяча семьсот тридцать первого года в каюту к штурману бота «Святой Гавриил» Якобу Генсу вошел подштурман Иван Федоров и озабоченно сообщил:

— Ветер противен. Бот переполнен: партия служилых велика, да еще припасы. Волна зело ярица. Переждать бы еще.

Штурман Генс поднял на вошедшего воспаленные глаза и молча ткнул пальцем в лежащий на столе указ, доставленный ему недавно от капитана Павлуцкого из Анадырского острога. Федоров знал об этом указе и лишь взглянул на бумагу. «В самой скорости забрать всех служилых да казаков и одной партией идти к Анадырскому устью...» — пробежал глазами первые две строчки.

Перечитывать его вновь не было надобности, и он вопросительно посмотрел на болезненно-бледного Генса, который в ответ только развел руками. Подштурман вышел отдавать команду о снятии судна с якоря.

Усиливаясь, встречный ветер гнал по заливу высокие волны, срывая с них белые гребни, и обдавал холодной водой матросов, которые отчаянно гребли, пытаясь отбуксировать

вышедший из устья реки Камчатки бот подальше в залив до благоприятного направления ветра.

Измотав вконец команду и видя бесплодность ее стараний, Генс распорядился бросить якорь в заливе.

Ветер не утихал вторые сутки. Двухмачтовый бот непрестанно отбивал поклоны каждой волне, как истовый богомолец, выпрашивая Божьего милосердия.

На нижней палубе, сидя и лежа, расположилось сборное воинство. Геодезист Михайло Гвоздев, то опираясь на борт судна, то припадая на перегородки отсеков, с трудом пробрался меж них и подошел к узким нарам, на которых лежал широкоплечий светловолосый человек.

Иван Спешнев открыл глаза. Опираясь на верхние нары, рослый геодезист склонился над ним, улыбкой смягчив свои крупные черты лица. Иссиня-бледный, чисто выбритый подбородок Гвоздева массивно выдавался вперед. Во всем облике геодезиста чувствовалась выправка офицера. Иван поднялся. Гвоздев подсел рядом и подмигнул ему.

— Как, дюжишь, ботовых дел подмастерье? Это тебе не боты рубить, а в них быть, — обратился он к Ивану Спешневу.

— Ваше лицо, господин геодезист, тоже не кровь с молоком… И пошто в заливу-то вышли болтаться? Стояли бы в реке, — ответил тот.

— В наших советах Генс не видит нужды. Да-а, сколь велики преграды от замыслов до яви. Помнишь, как, отправляясь, думали: ну года два-три — и проведаем другие земли, приведем в подданство неясашных иноземцев, а тут, посчитай, четыре года прошло, пока изготовились. И вот этот ветер. Как знамение какое, — с досадой заговорил Гвоздев.

— Господь с вами, Михайло Спиридонович. Море-то, известное дело, почтения к себе требует. А долгое приуготовление никогда впрок не шло. Вот, наприклад, соль и крупа из кормового жалованья у всех на исходе. Мука еще в апреле кончилась, благо приказчик Нижнего острогу из казны ржаную муку, что осталась от партии Беринга, нам выдал, то и вся надежа. Рыбьих припасов и тех не шибко. Что-то местные иноземцы в корму дерзко отказывать стали. Оно и ясно: замордовали их совсем. Хотя указами-то велено ясашных иноземцев смотреть и беречь накрепко, чтоб им обид и разорения никто



не чинил, а что деется? Указ, что зипун, наизнанку вывернули. — И он, спохватившись, с опаской огляделся.

Гвоздев осуждающе зыркнул на Спешнева.

— Ну, брат, мы так с тобой на «слово и дело» наговорим. — И погромче уже добавил: — Пойдем ко мне в отсек время коротать.

Пошатываясь от качки, они пробирались до офицерских кубриков. Матрос Кузьма Клочев привалился к борту судна рядом с «добрым матрозом» Леонтием Петровым, денщиком геодезиста Гвоздева.

Заметив, как Гвоздев осторожно переступал через лежащих, Клочев определил:

— Барин, а учтивый.

— Дурья голова! — вставил Петров. — Не одни баре в Навигацкой школе на офицеров учатся. Он-то сын солдатский, вот с людьми-то и по-человечески. Может, потому его Генс и недолюбливает.

— Сам ведаю, что не одне баре. Я вот тож дюже хотел в ту школу попасть. Сам-то я из-под Тобольску. В десять лет мамка отдала меня дьячку Архипу, потому как к учению востер был. У того дьячка псалтырю да церковному четью-петью я и обучался. А как стал уже в немалую помощь у Архипа, он меня и цифирям начал обучать. Как-то раз у дьячка объявился печатный листок, а на нем большими буквами обозначено: «Ведомости». С того листа я и узнал о Навигацкой школе. У матушки стал проситься, та в слезы да к дьячку. Все ему и поведала. Сначала Архип меня увещевал: «Одумайся, ты в святой церкви часослов читаешь, люди тебя чтут, матке в прокорме вспоможение даешь». Но я на своем: хочу-де в учебу, и все. Высек он меня, да токмо ту думку с башки все одно не выбил, — закончил задумчиво Кузьма.

Сидевшие поблизости придвинулись поближе к молодому матросу.

— Значит, благословил тебя дьячок? — вмешался в разговор Петров.

Кузьма только ухмыльнулся в ответ.

— Дале сказывай, как в Петербурх-то попал, я помню, как тебя еще зуйком на «Полтаву» к нам определили, — вставил «добрый матроз» Петров, — а вот откуда сам будешь — не слыхивал.

— Утек я, — махнул рукой Кузьма.

— Эхма! Путь-то не близок. Ну-кась, поведай, паря. Гораздо ты сказываешь, — заметил широколицый бородатый казак Никифор Колыгов.

— Знамо дело — грамотей, — уважительно вставил лежащий у борта служилый.

— Мне еще четырнадцати годов не было, как моровая язва мамку в могилу свела. Дьячок после отпевания и сказывает, де кабала на твоей матке за обучение, да и забрал меня к себе. Стал я как монастырский тяглец при нем. Хитер да зело проказлив был Архип. В ту пору попа нашего расстригли, и дьячок все сам вершил. И зачастила к нему на исповеданье девка Ефросинья, нашего ярыжки дочерь.

Посылат он меня раз: «Иди отроковицу Ефросинью проси, дабы допрежь вечерни пришла». Любопытство взыграло мне-ка.

«Ужели столь тяжкие грехи у девы, коль так часто исповедывается», — думаю себе-ка.

Когда дьячок уединился с ней в свою келью, влез я на скамью и стал зрить в оконце чрез щель меж занавесью. Он подводит ее к иконе Живоначальной Троицы Софьи Премудрой, а сам-то очей с нее не сводит и руку-то ее все поглаживат. А потом из вощанок святую воду выплеснул и наливат туды меду подхмеленного. Сам прихлебнул да подает ей-ка со словами: «Я буду пещись за тебя пред Богом». Ну, думаю, так не должно, да и не молитвы он ей бает. А молвит: «Девичий цвет скоротечен, не отвергай заботы до субботы да не отринь соблазн до старости. Присядь ко мне, дева». И приобнял ее. Тут она и зарделась, словно маков цвет. Дьячок же знай наговариват: «Столь ты в чести у меня». Подает ей-ка две шелковые ленты. Потом из сундука сафьяновые сапожки достал и сказыват: «Оное тож твое станет». Она ему ответствует: «Грех ведь каков!» «Един Бог без греха, дщерь, — вторит Архип, — разоблачись, Ефросиньюшка». «Стыдно ведь», — запылала еще больше она. «Кротость пристойна девству», — вкрадчиво знай наступает дьячок.

И тут сзади кто-то огрел меня вдоль спины — я и с лавки долой. Подьячий Федор Скрыба ухватил за загривок, так и отдал меня выскочившему на грохот Архипу.

«Вот, глазел, щенок!» — И кивнул в сторону опрокинутой лавки.

«Чего зрил?!» — разъярился дьячок.



«Девку», — заскулил я.

«А не помстилось тебе какое диавольское наваждение? Речи!» — наступал Архип.

«Не призрилось», — еле вымолвил я, предчувствуя порку.

«Розог ему и упрячь! Потом поговорю», — распорядился он и шепнул на ухо Федору: «Посади отдельно, не дай господь, что сболтнет кому». И уже погромче для меня: «Да будет благословенно имя Господне отныне и довеку».

— Эк как ты ему в домеху, — разглаживая бородищу, вымолвил Колыгов.

Вокруг слушатели Кузьмы Клочева дружно загоготали.

— Цыть, жеребцы! Пущай сказывает паря, легче качку коротать, — оборвал их длинновязый казак Филимон Баев.

Переведя дух, Кузьма Клочев продолжал:

— Скрыба с чернецом высекли меня розгами и заперли в клеть. До полуночи я молил Бога, дабы явил он мне-ка, где же Истина и Святость, есть ли она на земле? Даже хотел смерть принять, також тошно мне было. И вразумил меня Господь. Начал метаться я по клети с той думой, как утечь, и почуял, что одна доска в полу под ногами ходит. Взял я ее, она и поддалась. Сунул руку под пол, дабы ощупать балку для разуменья — как выбраться отсель, — и наткнулся на туесок. Вытащил его, там тряпица, а в ней печатные деньги.

— Видишь! Есть усе ж Бог, — прервал Кузьму лежащий у борта с бритой под донца головой служилый.

— Вот и я давеча так-то подумал. Кто их тама-ка хоронил, я не мыслил, токмо деньги те наипаче меня окрылили. Сорвал я еще доску, в одночасье сделал подкоп да и был таков. Со съезжего двора раным-рано уходят подводы либо возки какие в разные стороны от Тобольска. Как стало повидней, я счел деньги: осьмнадцать рубликов как есть. Два рубля сразу отдал одному возчику, дабы меня сыном прозывал на станциях. Так до Казани и добрался. Потом тако же и до Москвы.

Ужо холодать стало, как я в Москву-то попал. За последний алтын один посадский довел меня до канцелярии, где над дверьми буквами писано: «Математическая навигационных наук школа». Я туды. Вопрошают меня: «Чей будешь?» Назвался я, что с Казани, будто сиротский, а сам-то думаю: дознаются да отправят назад к дьячку. Уж я Христом Богом

молил и слезу пущал — упрямый писарь одно твердил: «Годами не вышел, да и поручиться за тебя некому». Три раза меня взашей гнали. Сел я на крыльцо да плачу от обиды: «Куды я теперь, токмо бродяжничать и есть». Тут остановился возок у крыльца, из него выскочил молодой офицер да норовит в эту же канцелярию. Гляжу, на мундире в пуговицах солнце играет. Еще пуще зависть да обида меня взяла. Эх, думаю, и я таким мог статься. Реву, сотрясаюсь. Видно, жаль ему меня стало. Остановился офицер да воспрошат: «Чего так убиваешься, малец?» Чую — последняя моя надежа. Я ему и открылся, что аж из Сибири утек, дабы в школу попасть, а они не берут. «Погодь тут да не реви. Сам я так начинал». С тем и вошел он в те двери. Ох как я его ждал! Выходит. Вижу, невеселый. Сердце мое так и оборвалось. Смотрю на него, аки на Бога. «Однако, крепко ты им досадил, — молвил он, — хочешь со мной в Санкт-Петербурх? На корабль возьму тебя юнгой». Кинулся я ему в ноги: «Дяденька ты мой! Любезный! Возьми, возьми с собой!» Сам-то все боюсь, не раздумал бы.

Оторвал он меня от сапог и повел с собой. Вот так капитан-лейтенант Василий Исаев и привез меня на корабль «Полтава». А как в эту-то партию матрозов токмо сибиряков писали, вспомнили, что и я сибирский, зачислили уже матрозом, потому как мне семнадцать лет к тому стало.

— Да-а, везучий ты, Клочев: и грамоте успел, и от кабалы утек, — нарушил молчание служилый.

— Счастье, что трястье: на кого похочет, на того наскочит, — вставил Кондратий Мошков.

Он хотел еще что-то добавить, но тут сипло засвистала дудка-сипоша, и все матросы по сигналу устремились наверх. Топот ног, скрип ступеней и поручней заполнили жилые отсеки бота. Вскоре «Святой Гавриил» снялся с якоря и направился в устье реки Камчатки.

— Пошто назад-то? — высунувшись на палубу, спросил казачий пятидесятник Колыгов.

— Леший их ведает. Приказчик с Нижнего острогу да казак при нем, однако, с вестями с берега пригребли. У Генса о чем-то совет держат. Да ты сиди, оповестят, — махнул ему рукой стоящий на дозоре с обветренным, потемневшим лицом казачий десятник Удачин.

Оттесняя Колыгова от лаза, на палубу выкарабкался Степан Чуб. Он присел у борта, чтобы не мешать суетившимся матросам, и, повернув бледное лицо к сырому ветру, выругался:

— Тьфу ты, як погано! Лихо мне.

Степан попал на бот вместе с казаками Нижнекамчатского острога. Как прослышал, что собирают казаков на судно, которое должно идти на проведывание новых землиц, так сразу и приписался к отряду служилым своею охотою.

«Кто знает — что там, за морями, не может быть, чтоб в народе зря шла молва о вольной сторонушке», — надеялся он.

Попутный ветер облегчал матросам проводку бота, для этого подняли один парус. Заход в реку был опасен. Напрягся кормщик Мошков. Он внимательно всматривался в приближающуюся песчаную кошку, отделявшую залив от широких стариц и проточек реки Камчатки. Бот будто крался, выискивая путь среди наносных отмелей-баров. И вот уже явно различима кучка людей, толпящихся около приземистой длинной казармы — берегового приюта матросов и служилых. Они с возбуждением наблюдали за входом судна, что-то кричали, махали руками, подбрасывая шапки.

В каюте у штурмана Генса собрались на совет прихрамывающий на больную ногу подштурман Иван Федоров, геодезист Михайло Гвоздев, подмастерье Иван Спешнев да прибывший на бот приказчик Нижнекамчатского острога Крыков с казаком Поповым.

Бледный, худощавый Якоб Генс, откашлявшись, произнес:

— Вести, что получил я от приказчика Крыкова, говорят, что действа тутошних иноземцев похожи на измену. — И он снова закашлялся, после чего продолжил: — Пусть они вновь поведают, тогда и решать.

Тщедушный Крыков поднялся и зачастил растерянно:

— Что ж это? Что ж это, господа, деется? Я еще давеча почуял лихое. Токмо бот начал в море выходить, все нехристи куды-то запропали. Даже мои холопы сгинули. Поглазел я округ — нет нигде. Кто же меня в Нижний-то повезет? Сам-то на бату ходить немочен. Вот задам ужо, думаю. И тут думка худая: авось не взбунтовались ли ироды? Ведь что греха таить-то — недовольны они. Но не я, не я тому виной: мое дело радеть, исполняя указы.

— Оно видно, что радеете, разорили народец, до смерти иноземцев доводите, вымогая себе чащину, кроме ясака. Указ-то гласит, дабы не учиняли разору ясашным. Ответствовать придется! — прервал его Гвоздев.

— Господа, господа! Не время пря, — остановил его Генс.

Поникший приказчик продолжил:

— Я токмо… токмо по указу Шехурдина повторительный ясак собрал, на то его воля была, господа, не сам, — начал оправдываться он.

— По делу сказывай, — встрял Спешнев.

— Дак, не дождав холопов, в другодень на заре вижу: плывет по реке спаренный бат. Я в крик. Попов-то и причалил к берегу. Глянул я и обмер. С ним в тех батах еще двое казаков… истекают кровью, а он мне сразу: «Измена! Острог пожгли, всех живота полишали». Тут я с ним что есть мочи сюды. Слава богу! Слава богу! Вы не ушли, господа! Слава богу! Спасать надыть от раззору острог. Там казна государева, женки, мальцы.

— Худо! — вскочил казак Попов. — Не щадят никого. Зело дерзкий погром навели супостаты!

— Не кричи. Обсказывай, как зачалось. Кто заводчик? Многое ли число изменщиков? — осадил его Гвоздев.

— Я в ту ночь при казне стоял, в казенке. Спать было разложился, слышу: с ворот колокол звякнул, потом еще и еще. Вышел на волю: большое зарево за частоколом. А с ворот дозоренный казак Сорокоумов названивает да кричит: «Быстрей, быстрей, изба иеромонаха Иосафа горит!» Все казаки в исподнем, кто в чем, с бадейками да черпаками из крепости повыскочили. А мне от казны неможно. В это время нехристи, яко саранча, в великом множестве, столь до днесь не зрил, так и посыпали в открытые-то ворота. Казаков безоружных там, за стеной, у пожара всех стрелами да копьями и порешили. Потом принялись баб да робят под корень изводить. Шибко озлобленные оне. Осадили казенку, я в ней затворился. А ихний атаман, бывший наш толмач, ноне тоен еловских нехристей новокрещеный Федька Харчин кричит мне по-нашему: «Отворяй казну по-доброму». А сам факелом размахивает. Не, думаю, поджарят меня тута. Стрелил я для острастки, а боле зарядов-то у меня нет. Потайным ходом, что из казенки за частокол крепости ведет, я и выполз да бегом к реке. А там, переклонясь в бат, стонет стрелами пробитый Сорокоумов.

Я перевалил его в бат — и от берега. Гляжу, а в остроге ужо все избы полымем полыхают, вой да крики.

Тут у меня думка поспела: сюдыть объявиться. А уж под утро другой бат нагнал, несет его. Думал, пустой, ан нет: в нем казак Красавцев. Без сил лежит, дух испускает. Спарил я оба бата, а утром Крыкова встрел. Вот и весь сказ.

Генс закашлялся, нарушив тревожную тишину, и спросил:

— Что думают господа?

— Без действа на такие бесчинства оставаться неможно. Жаль откладывать проведывание новых земель, но усмирить немирных надо, — произнес Иван Федоров.

— Мой сказ таков, — вступил приказчик Крыков, — надыть всех казаков да служилых под начало пятидесятника Колыгова отдать. Он им ужо побунтует!

— Злость голове худой советчик. Господин штурман, назначьте меня старшим отряда, — озабоченно проговорил Гвоздев.

— Позвольте и мне быть при том отряде, ныне более важного дела нет, — поднимаясь во весь свой могучий рост, вставил Спешнев.

— Господа, не забывайте, что у нас ордер идти в море. Команду бота и назначенных по табелю в вояж отпустить волен лишь в особых случаях. Очевидцу я верю, но у страха глаза велики, потому пошлем казаков да нашего человека — Спешнева. Будем ждать точных вестей.

Гвоздев, вспыхнув, вскочил:

— В море ли идти, когда окраина отечества в смуте слабеет?! Выходит, мы будем открывать новые землицы, укрепляя Россию, а следом по вине алчных мошенников, кои набивают себе мошну, наши старания також в прах изводиться станут. Сыск по бунту учинить надо!

Когда с бота «Святой Гавриил» опять бросили якорь в реке Камчатке, все служилые и казаки столпились на палубе судна, ожидая команды. И вот из каюты вышли Генс и остальные члены совета. Все примолкли.

Супились казаки, слушая невеселый сказ штурмана. У кого семья, у кого пожитки остались в Нижнем остроге. Что с ними сталось? Каждый думал о своем. Заволновались, затревожились крепко живущие казаки.

— Чинить репрессалию надыть! Однех баб с детишками воевали! — выкрикивали они.

— Командуй поход, штюрман!

— Лихое лихим избывается!

Степан Чуб был приятно удивлен этой новостью. У него гулко застучало сердце.

«Молодец Хведька, решился-таки. Вот теперь самое время и объединиться с ними да почистить Камчадалию от всякой несыти, кои, что пауки, со своих и иноверцев кровушку посасывают. Неужто сбудется — воля-волюшка на далекой сторонке?» — подумал Чуб, скрывая свои чувства, и стал присматриваться к казакам, прикидывая, на кого можно положиться.

К вечеру того дня дружина под началом Ивана Спешнева вышла на усмирение восставших. Через два дня, получив известие от Спешнева, Генс послал ему в помощь людей из команды бота, которых повел геодезист Гвоздев.

Подштурман Федоров, по поручению больного Генса, писал донесение капитану Павлуцкому в Анадырский острог: «Людьми вам ныне помочь неможно ради измены местных иноземцев. Для проведывания новых землиц, как будет то возможно, отправимся непременно…»

* * *

Вечерело. Степан Чуб с нетерпением ждал темноты. Он сидел в сторонке от костров, у которых расположились казаки, осадившие Нижнекамчатский острог. В остроге заперлись взбунтовавшиеся камчадалы. Степан раздумывал: «Не те тут казаки, не те. Позажирели, лишь о себе пекутся. Таку мочь: сделать тут вольницу упускают. От царей да воевод даль немерена… можно бы…» — И посмотрел в сторону крепости. И тут он заметил, что пушек на стенах острога не стало. «Что они там — дурни? Пушки со стен постащили, когда палить из них само время, пока казачий отряд мал. Придет скоро помощь с корабельными пушками, разнесут частокол — и все дела. Ах, Хведька, Хведька!» — досадовал Чуб.

Перед самой темнотой подошел отряд Гвоздева с пушками. После совета командиров к Степану Чубу подошел казачий пятидесятник:

— Сказывают: в их говоре толк разумеешь. Дак с Филимоном Баевым ночью к стене ближе прокрадись да послухай,

о чем камчадалы разговоры водят. Неплохо прознать их замыслы, перед тем как на приступ идти.

— Я зраз. Скрадом пройду, що не увидят. Нехай смеркнется, та пойдем.

Долго сгущались летние сумерки, и когда наконец стемнело, Степан и Филимон уже лежали в кустарнике перед частоколом крепости на не прогретой за день земле. Из-за стены доносились шум, гвалт и отдельные гортанные обрывки речи.

— Слухай тут, я ближе к буеракам у ворот просунусь. Як завиднеется, вернусь. Ежели чего, не жди, — прошептал Чуб.

Чуб прокрался к воротам крепости, и тут на него навалились невесть откуда, обмотали ремнями и, больно тыча под ребра, поволокли за частокол.

— К Хведьке, к Хведьке меня, — рычал озлобленный таким приемом Чуб.

Его подтащили к костру, вокруг которого расположились тойоны взбунтовавшихся родов: старый Голгоч, Итатель, Ор-Тавач и Чегеч с Харчиным.

Увидев пленника, они повскакивали с мест. Итатель ухватился за топорище.

— Хведор, вели, хай рассупонят, — заговорил пленник.

Харчин, увидев Степана, подошел и ножом полоснул по ремням.

— Сам до нас или послан? — по-русски спросил его Итатель.

— Не молчи! Сказывай! — вскочил Ор-Тавач.

— Гля, усе по-нашенски знаете? — удивился Чуб.

— Все, кроме Голгоча.

— Пушки где, Хведор? — в упор спросил Чуб.

Харчин неодобрительно хмыкнул.

— А тебе чего до них?

— Що ж ты робишь?! Куды задевали? Кажу, без них одними стрелами не отбиться. — И, уловив недоверчивый взгляд Федора, Степан добавил: — Та с тобой я, с тобой, бисова душа. Тут мне место. Сдыхать — так за волю!

Харчин расплылся в улыбке.

— Ладно, Степан, однако, ты нам нужен. Боятся мои из фузей пулять, а из пушек и вовсе. Потопили мы их в реке, чтоб не страшили они нас. А стрелами да копьями биться

умеем. Подмога еще с Каменного и других острожков идет, вот дождемся их и прогоним казаков. Я буду комиссаром. По совести, без обид ясак для царицы брать начну.

— Та погоди ты бахвалиться. Пушки на кой ляд у воду? Ах, мать твою за ногу, тьма первозданная! Казаки повтру на приступ с пушками попрут, а ответить нечем! — раздосадовался Чуб. — Фузеи-то есть? — вновь оживился он.

Харчин кивнул головой в сторону десятка сброшенных в кучу ружей, возле которых трое русских показывали камчадалам, как обращаться с ними.

— Хто такие?

— Эти из посадских. Живут средь нас нашим обычаем, а тот вон — казацкий сын Никитка.

Степан всмотрелся в моложавого молодца и, признав в нем Родихина, заговорил:

— Ой, мешкаем, Хведор. Давай и мне — кто покрепче, тож фузейному бою обучать стану прямо щас, а то спозаранку начнется сеча, як бы твои воины задницу не показалы.

Харчин не успел ответить, как подбежал камчадал с костяным копьем и, жестикулируя, гортанно о чем-то заговорил. По всему осажденному острогу пошло оживление, особенно у ворот крепости усилился гомон и шум.

Выслушав воина, Харчин сообщил:

— Черемач сдержал клятву. Привел своих. — И обратился к Чубу: — Иди к ружьям до Никитки. Людей туда пришлю. Мы — Черемача встречать.

Степан Чуб подошел к группе камчадалов, которые с опаской неловко держали фузеи. Перед ними в отсветах пламени костра Никитка Родихин показывал, как кресалом высекать искру. Чуб огляделся. Вокруг то и дело шмыгали шустрые камчадалы, одетые поверх своих одежек в русское: кто в женские платья, кто в исподники, кто в кафтаны. У некоторых на плечах были навешаны лисьи шкуры и другие меха. Шумели, пританцовывали у костров, тащили лавки, столы и бросали их в огонь.

Чуб недовольно покачал головой: «Э-э… непотребно так к бою готовиться — чисто ярмарка суетная. Надоть указать Хведьке, чтоб отобрал надежных, дабы вдоль стен на слуху стоять могли. Да и народ его все жгет и, не иначе, казну дуванит. Это худо, когда неуправно воинство!»

***

По замыслу командиров Спешнева и Гвоздева, основная часть сборного отряда, усиленного корабельными пушками, должна была наступать со стороны ворот крепости, а двум десяткам отборных стрелков с пятидесятником Никифором Колыговым надо было скрытно подойти с другой стороны острога и, как завяжется бой у ворот, взрывом бочонка с порохом сделать пролом в стене и ворваться в острог.

В густом утреннем тумане, укрываясь за молодой зеленью березняков и ольховников, казаки подбирались к стенам острога. Матрос Леонтий Петров неосторожно ступил на сушину, та звонко треснула. От удара весомого кулака Колыгова, идущего рядом, матрос упал на четвереньки.

— Раз-зя-ва… — прошипел Колыгов.

Матрос резво вскочил на ноги, готовый дать сдачи, но, увидев вокруг себя напряженные и недовольные лица казаков, сдержал гнев и молча принялся вытряхивать землю из дула своей нарезной пищали. Осторожно двинулись дальше. Колыгов подвел свой отряд незамеченным. Неподалеку от стены острога, вымокшие от росы, они затаились в кустарнике. Сквозь муть тумана просматривались заостренные бревна частокола крепости, из-за которой доносился камчадальский говор.

— Бдят, однако, ироды, — прошептал пятидесятник. — Знать бы, о чем ведут речь. Баев ни с чем вернулся, а Степку, поди, живота лишили.

— А чего знать-то? Пальбу Спешнев затеет, они от этой стены враз отвернутся, — отозвался долговязый казак Филимон.

Но Колыгов, уже решив, повернулся к казачьему десятнику Удачину, понимающему камчадальский говор:

— А ну, метнись поближе. Послухай.

— Так ить сухой нитки на мне нет, — шлепая по мокрому кафтану, буркнул тот.

— Ништо, мокрей не станешь, — захмурился Колыгов.

Удачин недовольно поднялся и исчез меж росистых кустов жимолости.

Когда служилые отряда Спешнева вышли на открытое место перед воротами крепости, с угловой башни раздался выстрел фузеи.

— Усмотрели. Да и таиться уже ни к чему, — заметил Спешнев и подозвал к себе толмача. Через него затеяли переговоры.

Толмач приблизился к воротам на безопасное расстояние и зычно прокричал в сторону острога:

— Слухай!.. Призываем повиниться и без боя разойтись по своим жилищам. Не то силой умирим да побьем на приступе.

Из острога грянули выстрелы фузей да с недолетом полетели стрелы. Толмач невольно попятился.

«Строптивцы», — подумал Гвоздев и к толмачу:

— Объяви им время на раздумье.

Тот опять приложил руки ко рту:

— Думайте… Как вскипит вода в котле, дадите ответ.

Туман заметно рассеивался. Уже ясно виден был частокол крепости, поверх которого мельтешили головы осажденных.

Установив пушки, канонир обратился к Спешневу:

— Каков заряд забивать?

— Одну под картечь, другую под ядра.

В остроге, пока тойоны держали совет, любопытные камчадалы сгрудились у ворот острога, где камлал старейший шаман рода Черемачей. Они заполнили мостики и переходы у стен, толпились на них, отталкивая друг друга, высовывались, рассматривая ощетинившийся ружьями лагерь неприятеля, и вновь наблюдали за действиями своего прорицателя.

Вскоре к воротам пробрался Харчин и поднялся на звонницу, где под навесом с фузеями на изготовку примостились трое камчадалов со Степаном Чубом.

Увидев Харчина, Чуб заговорил:

— Хведька, що воины частокол облепили, яко воробьи гумно! Пушки пальнут — враз пометут усех. Кажи, пусть ховаются.

Федор кивнул ему и что-то крикнул вниз. Тойоны заспешили к своим людям. Харчин всмотрелся в сторону казаков и с силой выкрикнул: «Ах-хва-а!» — что означало для противников «внимание», а для своих воинов «готовься к бою». Камчадалы засуетились, разбираясь по означенным местам, выбирая удобные позы для метания стрел и копий.

Тревожным гулом зашелся большой бубен в руках шамана, который запрокинул голову, дрожащую в такт частым ударам колотушки. Из впалых глазниц его мутный взгляд устремился в небо. Он призывал духов.

Резкий удар в бубен, и шаман, будто ужаленный, подскочил вверх и принялся носиться по кругу, диковинно кривляясь, повторяя облики злых духов. Седые, давно не чесанные космы волос метались, били в сутуловатую спину беснующегося шамана, будто подстегивали его в этой дикой пляске. Он неистовствовал, с гудящим и стонущим бубном кидался к воротам, направляя злых духов в сторону врагов.

На голос Харчина от казачьего отряда отделился толмач и спросил:

— Чего надумали? Отворяйте острог!

Федор высунулся по пояс из-за укрытия и заговорил:

— Хотим жить без приказчиков и казаков, как в былые годы — своим разуменьем! Смерти не страшимся! Не нужна такая жизнь, коли нет нам чести! Сами будем царице ясак посылать. Уходите! Иначе вас всех побьем!

Громыхание бубна и вскрики шамана бодрили воинов, вселяли уверенность в победе.

Не успел Харчин спуститься вниз, как вместе с грохотом пушки шибануло первое ядро, оторвав угол у ворот, и тут же смертельным градом полоснула по частоколу картечь, повалив неосторожных защитников. Боевой клич и вопли раненых слились в один вой. Полетели стрелы, захлопали фузеи, редкий туман загустел от синевы порохового дыма…

Михайло Гвоздев помог пушкарям приподнять лафет пушки и, глядя на ворота крепости, подумал: «Слабы. Знать, не против пушек деланы. Этакие-то враз в щепы разнесем». Третьим ядром сорвало ворота, и очередной залп картечи пришелся в гущу воинства, толпящегося во дворе острога. Казаки, видя смятение камчадалов, бросились к воротам крепости. В это время с другой стороны острога взрыв, сотрясая землю, разметал часть частокола, и Колыгов со своим отрядом ворвался в пролом стены. Это решило исход боя. Большая часть камчадалов с тойонами, перемахнув частокол крепости, бежали в лес. Другие, обороняясь, укрылись в ясашной избе, отбиваясь от наседавших служилых. На уговоры сдаться — в ответ летели копья и стрелы.

Вскоре из окон ясашной повалил дым, стали высовываться языки пламени, потом вытягиваться все длиннее, облизывая бревенчатые стены, и охватили всю избу. Вместе с огнем

из окон и двери в сторону казаков летели последние стрелы непокорных самосожженцев.

Михайло Гвоздев заметил:

— До чего же непреклонны, коли злость в них всколыхнуть.

— И впрямь упорны, — поддержал его Спешнев.

Степан Чуб очнулся. Неимоверная слабость заполнила тело. Трудно было дышать, в груди все булькало и клокотало. Степан с трудом поднял голову. Рядом с ним, у лаза в пороховой погреб, разметав седые окровавленные волосы, лежал шаман, прикрываясь изрешеченным бубном, как щитом. Неподалеку догорал костерок, над которым висел котел со смолой для огненных стрел. Теплой волной липкая кровь обдала грудь Степану и скатилась к животу. Он уронил голову. В глазах круги… круги… и вот он босоногим мальчишкой бежит по пыльному шляхту в свой родной хутор. Белые хатки, подсолнухи за плетень похилились. И тут же батько идет из шинка, как всегда, куражится да уздечкой покручивает. Опять Степку норовит высечь, но за хатой конопля высокая: есть где сховаться… Потом ночная степь, звезды, табун лошадей, костерок из кизяка да дым от него мягкий, духмяный такой: всем дымам дым…

Сознание опять прояснилось, исчезли видения, и Чуб подумал: «Счас предстану пред Господом, спросит: „Как жил? Что содеял?“ А я так и не нашел… Похоже, что тут должна быть вольная земля Беловодье. Сколь повидел, а такого, чтоб все вместе в одной сторонке сгустилось, — не зрил. Тут и бескрайние дикие тундры, тут и высокие камни со льдом да огнем, и дебри лесные да чистые реки. Зверья разного — бери не ленись, а рыбы… Вон как прет: спинами реки вспенивает… Лишь вот людям — и тут от зла житья нет!»

Шум в голове Степана все усиливался, путая мысли. Истекающий кровью, он предчувствовал, что стоит на пороге важного для себя открытия. Усилием над собой он вновь обрел ясность мысли. «Вовсе нет такой земли Беловодья. Лишь в думках да в добрых душах людских таится эта вольница… Господи! Поздно вразумил, счас истеку кровью, и… все. Подыхать не хочется…» Ветерок нанес дымок от костра, Степан встрепенулся от блеснувшей мысли: «Сдыхать, так с торжеством о прозрении! Шалишь, костлявая, Степку Чуба этак тихо не взять!» Из последних сил он дотянулся до костра. Макнув

головешкой в котел, осмолил ее и, когда она запылала факелом, бросил в лаз погреба.

Оглушающий взрыв потряс окрест.

— Эх, погреб с зельем проворонили! — выругался Колыгов и распорядился: — Обыскать все задворки, никого в живых не оставлять.

Казаки рассыпались по острогу.

Степана Чуба подобрали они неподалеку от обуглившейся ямы порохового погреба. В азарте боя никто и не подумал, что Степан мог быть на стороне изменщиков-иноверцев.

ГЛАВА 2

В усмирении бунтующих камчадалов пролетели лето и осень. И только с приближением зимы настало перемирие. Повсюду восстанавливались разоренные жилища. В устье реки Камчатки, у места отстоя бота «Святой Гавриил», служилые готовились к зиме. Неподалеку от казармы подгоняемые морозами люди спешно устраивали землянки.

Двое служилых в потрепанных мундирах засыпали бревенчатый накат промерзлыми комьями земли. Из казармы вышел, хромая, штурман Генс. Сощуренными глазами он посмотрел в сторону бота и сильно закашлялся.

Долговязый солдат, увидев штурмана, недовольно заметил:

— Себе хворобу нажил и нас до последнего издыхания доведет, однако.

— Жилей-то понаставим, а вот без провианту в зиму как есть дух-то испустим, — добавил другой.

Постояв немного у дверей, как бы решаясь — идти или нет, Генс направился к боту, опираясь на суковатую палку. Давно уже штурман не поднимался на судно, и сейчас его поразил беспорядок на палубе наспех приспособленного к зимовке бота. С трудом пробрался он в каюту подштурмана Ивана Федорова, который из-за приступов ревматизма совсем слег.

— Как здоров, Иван? — с порога прохрипел Генс.

— Живу. Коль от дыма не удохну, дак от хлада околею, — приподнявшись, пожаловался тот.

Сквозь сизый дым разглядывая небольшую печку, Генс заметил:

— Каменку малу поставили. И впрямь зябко у тебя.

— Мала да дымна. Боюсь, не узимую тут.

— Эх! — тяжело вздохнул штурман и, будто не расслышав жалобу Федорова, заговорил: — Опять ордер из Анадырского острога доставили. Недоволен капитан Павлуцкий, торопит в морской вояж. А ныне даже от команды нас устраняет. Вот. — И, вынув из кармана пакет, подал Федорову.

Подштурман повернул лист к свету, пробивающемуся из оконца, и всмотрелся в указ: «…Велено тебе, штюрман, имеющихся при тебе команде солдат и служилых людей и всяких припасов и провиант, что имеется налицо, с распискою отдать в команду геодезисту Гвоздеву. Тебе, штюрман, с подштюрманом ни в какие дела не вступать. Понеже известно нам, что ты ныне весьма слеп и ногами болен и врученное дело тебе справлять невозможно… Быть вам в Нижнем остроге до указу, дабы вы от болезней своих выздоровели. Что геодезисту отдано будет и какого числа, и о том в Анадырский острог репортовать в немедленном времени. Капитан Дмитрий Павлуцкий».

— Да, можа, и впрямь, как основных изменщиков побили, дак и идти бы след. Ныне бы уже при Павлуцком обретались, а то не в честь угодили, — рассудил Федоров.

— Как идти-то? Служилые по всей Камчадалии разбрелись, за изменщиками гоняючись. Судно без ремонта. Ясаку всего на девяносто рублев собрано с восьми десятков душ. И это при великом числе камчадальских иноземцев. Разве усмирение это, коли ясака нет? Каково ответ держать? А к зиме в море не сунешься: места студеные, — возразил Генс.

После разговоров с Федоровым смирившийся с судьбою Якоб Генс покинул бот.

С трудом подбросив сыроватых дров в каменку, Федоров принялся писать в свой дневник: «…А ныне у меня в зимнее время рыбного корму и никакого не имеетцо ни малого чего. Также и ныне живу я на боту „Гаврииле“ вельми тяжко, болен правою ногою, сам собою еще и ныне владеть и ходить не могу, а приходит студеное зимнее время, а такой стужи и мразов в болезни своей без теплаго покою и без фатеры

терпеть не могу, отчего нойпаче болезни моей вред и пущей чинитцо…»

Он захлопнул шнурованную тетрадь с титулом на обложке: «Морского флоту подштюрман Иван Федоров» — и подумал: «Кабы мне без корму зимним временем з гладу не помереть».

***

На пустынном месте стоит Якутск. Отлютовала зима. Вот и март пришел, но весны здесь не чувствуется. Холодный с поземкою ветер разгуливал по его заснеженным кривым улочкам меж деревянных изб да рубленых стен крепости. Островерхие башни, будто прищурясь, пристально смотрели бойницами, вглядываясь в снежные просторы да в чахлые кое-где торчащие лиственницы.

Неожиданно свалившиеся на Скорнякова-Писарева заботы нарастали, как снежный ком, бегущий с угора. Известие о камчадальском бунте застало его в Якутске. Вначале оно омрачило радужные надежды и потаенные мысли Григория Григорьевича.

«Бунт не при мне начался, — успокаивал он себя. — Коли хорошо помыслить, то, может, оно и во благо. Можно немалую выгоду своим думкам и делам возложенным извлечь. Ради бунта людей да припасов просить, оттого и быстрее порт в Охоцке возвести споможения может статься. И опять же, раз бунтуют, то с ясаком поблажку какую испросить, а уж тут с инородцев да прочих виновных после усмирения за все сполна и сыскать. Токмо правильно отписать иркутскому губернатору да верно розыск на месте чинить», — совсем успокоил себя Скорняков.

Не имея полной власти тут, на северо-восточной окраине державы, Скорнякову-Писареву приходилось большее время жить в Якутске, решая дела Охотско-Камчадальского края. Все его решительные действия, направленные на замирение в Камчадалии, сдерживались волокитой в Якутской воеводской канцелярии да и самим воеводой, которого в любом деле нельзя было обойти.

Вот и теперь Скорняков спешил к воеводе. Быстро прошел мимо съезжего двора, уставленного узкими длинными телегами на низких деревянных вальцах-колесах, и скрылся за воротами крепости. Над башней воеводского приказа кружилось

воронье. У высокого крыльца стояло несколько оленьих упряжек. В стороне бранились два казака-полукровка, охраняющих склады-магазины.

Сбросив шубу и не обратив внимания на приветствие денщика, рванул дверь.

— Милостивый Фаддей Исаич! — с порога начал он. — Я не могу более ждать! Бунт на Камчатке не усмирен! Ясак не собирается! Сборщиков бьют. Вы же помочи в людях не оказали, да и тех, что я превеликой тягостью из Иркуцка испросил, вы в Охоцк для пересылки на Камчатку не шлете, а тут к службе понуждаете!

— Позволь, Григорий Григорьевич, безлюдство в службе у меня, сам ведаешь. В караулы посылаю казаков, кои за старостью и увечьем к службе не годны. А в Манжагарскую и Ямконскую волость третий год смену служилым не делаю, некем. Посчитай, уже четыре года, как весь Якутский полк в команде Павлуцкого в Анадырском остроге обретается, тамошних немирных усмиряя. А в Камчатке — там партия Генса, зря изволишь так пужаться, — спокойно отвечал воевода Жадовский.

— Кабы ныне не мне ответствовать за сбор ясака, а тебе, — другие бы речи вел, воевода. Пошто не выдают комиссару Эверстову из казны припасов для ремонта в Охоцке шитика «Фортуна» и для пущего снаряжения отряда сотника Амосова? Ведь в Камчатку они собираются на вспоможение. И прошу-то я малость: всего четыре тюка холстины, один тюк фитилей, один парус да три бочки пороха. Железо, веревки и другое мне с Иркуцка уж подвезли, а ты — рядом, но препятствуешь. Ведь ведаешь ты, воевода, что у Генса совсем иной ордер: земли новые проведать, а не усмирять. Полагаясь на инструкцию Сибирской канцелярии, ты должен вспомогать мне отослать отряд до Охоцка, а ты нарт не хочешь собрать нужное число. Хотя бунт начался при твоем вершении дел камчадальских и не без твоей нерадивости! — распалился Скорняков.

— Эка куда залетел! — вскочил на ноги воевода. — Думай, что сказываешь. На нарты в казне денег нет. Посчитай: каждая по рублю да за каждую собаку по полтора. Итого: упряжка пятнадцать рублев обходится, а тебе под сотню упряжек надо, дабы дружину Амосова да его провизию перебросить. Я и так для твоего воинства сверх положенного триста пудов сухарей да двести

пятьдесят пудов овсяной муки выдал. А с собаками связываться не стану. Что же, я со всех волостей сюды упряжки сгонять должон? Накладно! Лошадей же да оленей в снегах без корма гробить не дам! Жди лета! — перешел на крик Жадовский.

— Как «жди»?! Мне государево дело доверено! Спрос-то с меня учинят за твое медление. Казенных денег нет, свой кошель малость тряхни. Ведь немалые приносы от ясашных дел поимел, так изволь для государевых дел расстараться! Я ить губернатору отпишу о причинах бунта! Все ведаю! — не отступался Григорий Григорьевич.

— Как смеешь?! Извет! На меня! Забыл, как ссылочным был!

— Был! Да жалован вновь! — перебил его Скорняков.

— Прочь! Прикажу тебя не впущать сюды впредь! — взревел воевода.

— Попомнишь еще свое нерадение! — пригрозил Григорий Григорьевич и устремился к выходу.

Жалобы и доносы друг на друга отсылали в далекий Иркутск: командир Охотска и Камчатки Скорняков-Писарев да якутский воевода Жадовский. А время шло.

И только к концу лета в Охотске полностью собрался отряд вспоможения на Камчатку. Туда же прибыл и новый комиссар по сбору ясака Эверстов, который на то имел особые инструкции от Скорнякова-Писарева.

Довольный тем, что наконец-то сбываются его замыслы: и шитик «Фортуна», хорошо отремонтированный, уже готов совершать регулярные плавания от Охотска до Камчатки, и что теперь он может уже действительно управлять этой далекой землицей, — Григорий Григорьевич отодвинул на край стола недописанный им проект «О возведении новых острогов и церквей в Камчатке», решив написать письмо в Иркутск губернатору, с которым он уже успел завести хорошие отношения.

Взяв гербовую бумагу, он старательно вывел: «Милостивейший князь» — и, помедлив, добавил: «Прелюбезный мой Андрей Иванович! Весьма удручает меня то, что воевода Жадовский норовит в суперники мне объявиться. Он есть ограбитель казны и сребролюбец знатный, но дюже нерадив к государственным делам. Мною же дела творимые к твоему благоустремлению вознамерены, поелику я счел, что твои поучения к общему благу употребляти — вещь есть

зело благоприятна. А что изволишь упоминать, чтоб мне камчатский ясак взять на свои руки, я за такую ее императорского величества высокую милость, что меня, уже погибающего душой, воскресил, с радостью сие исполнить хочу, токмо якуцкими обывателями некем. Ибо иные тут приобвыкли к лихоимству, что ничем вскоре отвратить невозможно. И ежели ко мне пришлешь из ундер-офицеров добрых человека хотя бы два да повелишь им быть при мне, то я, придав им из партии людей в помочь, сколько надлежит, — камчатский ясак, надеюся, за Божиею милостью, не токмо с недобором выбрать, но и вдвое может собраться…»

Дописав письмо, Скорняков-Писарев вложил его в пакет для отправления в Иркутск. Затем он прошелся по небольшой горенке, потирая руки, и, внезапно озаренный новой идеей, снова сел за стол. Но остро заточенное гусиное перо уже плохо писало. Кончались чернила. Он порылся в сундуке, развязал узелок из шелковой тряпицы и бросил чернильный орешек в костяную чернильницу, плеснул туда воды и, попробовав на густоту, удовлетворенный, принялся писать: «Приказчику Охотцкого острога штурману Илье Биреву. Отныне тебе надлежит крепко смотреть, дабы все едущие в Камчатку платили за проезд по пятьдесят копеек, а за кладь при себе с каждого пуда по пятьдесят копеек же. А по возврату кого с Камчатки — брать по лисице с души. За провоз же мягкой рухляди с сорока соболей брать одного, с пуда же разной рухляди — лис, бобров да выдр — брать по красной лисице. С пожитков разных — платья, також посуды разныя — с двух пудов по лисице. Исправно вести записи и с оными сборами те записи представлять незамедлительно…» Закончив писать, он хотел положить распоряжение в пакет, заготовленный для отправки в Охотск, но на глаза ему попался незаконченный проект «О возведении новых острогов и церквей на Камчатке».

Скорняков придвинул бумаги и чертеж к себе и, повернув голову к двери, гаркнул:

— Степан!

В дверях появился денщик Григория Григорьевича.

— Слухаю! — выпалил он.

— Покличь там этого, разжалованного, как его… Казанцева, — вспомнил Скорняков.

— Морского ахвицера? — переспросил Степан.

— Да, да, болван, — не оборачиваясь, подтвердил Григорий Григорьевич.

Вскоре вошел Василий Казанцев, бывший капитан-лейтенант, сосланный для службы в Охотск. Выслушав положенное приветствие от Казанцева, Скорняков указал на грубо сколоченный стул.

— Наслышан я, милейший, что ты в фортеции несколько разумеешь, — подавая капитану чертеж, сказал он и продолжил, тыча пальцем в него: — Нижнекамчатский острог мыслю поставить вот тут, ниже по реке Камчатке. До разора острог тот в опасном месте стоял, близ огнедышащей горы, которая огонь часто выбрасывает и трясение земли часто дает.

— Да и от моря далековато, — подметил Казанцев.

Посоветовавшись еще о строительстве, Григорий Григорьевич удовлетворенно произнес:

— Так вот, любезный, надлежит тебе все, что тут написано, — он постучал пальцем по бумагам, — да говорено, в деле применить. Радением своим милость сыскать можешь. Выезжай в Камчатку незамедлительно. Сии пакеты вручишь в Охоцке Биреву, а в Камчатке — Генсу да Гвоздеву. Так что собирайся в путь.

***

После голодной зимовки Иван Спешнев вновь повел сводный отряд казаков и служилых приводить к ясашной повинности неусмиренных камчадалов, а матросы команды Генса уже под началом геодезиста Гвоздева готовились к морскому плаванию для искания новых землиц с неясашным народом. Ясак! Ясак был нужен ненасытной царской казне!

Гвоздев не ожидал такого поворота судьбы. Командовать морским походом он счел за великую удачу. Еще во время своей службы в Адмиралтействе он слышал много разговоров о восточных морях и о загадочных землях де Гамы и Америки, которые недоступно таились где-то за морями да переливами, грезил видеть себя в дальних странствиях. Ради этой мечты он покинул столицу, терпел лишения и ныне. Когда такая ответственность вдруг взвалилась на него, он не дрогнул, а с еще большим рвением готов был не щадить живота в своем целеустремлении. Его окрыляла возможность побывать там,

где еще никто из россиян не бывал, открыть неведомые земли во славу державы.

С приходом весны команда тщательно готовила бот к далеким странствиям. Смолили и конопатили судно, заготавливали свежей провизии.

Перед отправкой в море к Гвоздеву на грубо сколоченных костылях подскакал подштурман Иван Федоров.

Измученный болезнью, он из впалых глазниц блеснул на геодезиста и, подавляя самолюбие, заговорил:

— Я все же морского флоту чин. Статно ли мне тут, на берегу, в тоске-обиде подыхать?.. Возьми, сгожусь по мере сил. В походе всякое бывает.

— Болезнь свою и тяготы морских вояжей ты знаешь, коли решился, я с охотой тебя возьму. Две головы завсегда лучше, — добродушно улыбнулся Гвоздев.

В конце июля судно вышло в море. В устье реки Камчатки остался небольшой отряд под командой больного Якоба Генса для охраны ясашной казны, аманатов и пленных вождей бунтовщиков.

Неумолимое время сматывало в один клубок дни, недели, месяцы, невзирая на лишения, с которыми они были прожиты.

За время плавания открыли два доселе неведомых острова. Гвоздев сам выезжал на шлюпке к берегу и составлял подробное описание холмов и речушек. Острова были безлесы и малообитаемы. Пополнить запасы свежей пищей не удавалось, это беспокоило Гвоздева, так как у некоторых из команды стали появляться явные признаки цинги.

Обходя второй остров, Гвоздев увидел на берегу выброшенные морем лесины елей. Это приободрило его и придало решимость — двигаться дальше на восток.

Скудная пища и постоянная сырость не шли на пользу больному Ивану Федорову. Он сильно сдал. Федоров совсем уже не мог передвигаться. Во время своей вахты необходимые команды он передавал через вестового матроса. Болезнь точила его. Боль в суставах ног озлобляла, а недвижность иногда приводила в отчаяние. Лежа на кровати, он раздумывал о том, что на эту экспедицию положил все свое здоровье, а впереди всегда кто-нибудь, но не он: то Генс, теперь этот сухопутец Гвоздев. От частых таких дум сердце захлестывала злобная

зависть, и угнетенное честолюбие ярило его душу. Он язвил себя: «Хм, помыслы… о чужедальних прелестных странах, о милости царской, о славе да роскошной жизни в потехах… Все это мираж, коей ныне исчез. Доберусь ли жив домой к знающим лекарям, поднимусь ли с постели? Эх! Ноги, ноги! Подкосили меня, мою славу, честь и помыслы!»

Обида и страх за свое будущее и на сей раз еще бы долго удручали его, если бы он не услышал, как мимо его каюты с криками: «Земля! Земля!» — прогромыхали по трапу возбужденные матросы. Столь желанные в море возгласы не обрадовали Федорова, а наоборот, он почувствовал, как будто желчь разлилась по его жилам.

«Надо же… Опять… Везуч этот выскочка из непородной сволочи, крепко фарт-удачу за гриву уцепил. Токмо бестолочь он: ясак!.. ясак с инородцев рвать надо, а не бумаги марать. С описания ни прибытков себе да казне, ни почестей царских. Лучше с чукоч ясаку домочься бы, чем по безлюдным островам куролесить. По всему видно — безъясашно сходим. Острова тут голые, как зад нищего, да в столь суровых местах землицам лучше и не быть. Быстрей от сих студеных мест назад вертаться след», — заключил он.

Из-за сильного встречного ветра к вновь открытой земле подойти не удалось, и «Святой Гавриил» бросил якорь в нескольких милях от берега. Из-за горизонта низко волоклись тучи.

Ветер не стихал. Гвоздев второй день не выпускал из рук подзорную трубу, рассматривая уходящие за горизонт берега. Он то клял ветер, то призывал Господа Бога утихомирить погоду и дать возможность высадиться на берег. Но Бога почему-то совсем не трогало, что время плавания и остатки провианта до безысходности поджимали команду бота. К концу дня Гвоздев зашел в каюту к Федорову.

Мрачный подштурман умостился поудобнее в постели и первый заговорил:

— Матрозы донесли о сильной течи днища: такова, что не успевают воду уливать.

— Верно, но подождать след. Авось стихнет — и сунемся к берегу. Уж больно ветер-то сухой с суши несет. Сдается мне: Большая земля перед нами, о коей чукчи говаривали, да и наш толмач — камчадал Буслаев по своим особым приметам уверяет, что-де это — матерая земля. Уж не Америка ли?

Федоров ехидно усмехнулся, подумав: «Рано себя в открыватели мнишь. Чуть отвалил от берега, и Америку ему подавай», и холодно ответил:

— Нерусям веришь? Никчемному тутошнему народцу? Плутни все это!

— Разные люди есть в любом народе. Я признаю лишь одно различие: правильные человеки и подлые людишки. Так как же мне не верить человеку, в коем надежен?

Рассуждения Гвоздева пришлись не по нраву Федорову, и он с нескрываемым раздражением зачастил:

— Верь! Всем верь! Токмо один! Не тяни за собой всех! А ну как и этот остров малолюден, проторчим тут зряшно, время возврата потеряв. Чего ждать?! Судно с течью, команду цинга валит, кормов малое число, осень на носу! Штурма пойдут. Бот порастреплет. — Зло зыркнув в сторону Гвоздева, добавил, словно яд плеснул: — Знать море надо! Это тебе не по сопкам окарачь ползать!

Гвоздев сдержанно перенес обидный упрек, чуть задумавшись: «Нервы сдают. Все еще не может смириться с тем, что не его Павлуцкий старшим определил. Беда, когда человек много мнит о себе. Плевать я хотел на твои знания, коли они не к делу идут. Кормщик Мошков получше тебя морем учен, а со мной согласен, потому как понимает цену риска. Ведь столько стремиться к цели, лишения и невзгоды претерпевая, а теперь, когда неведомая землица и слава для России почти в руках, бросить? Коту под хвост! Нет, брат, у меня не так тонка кишка, погодим. Все же я тут начальственный человек».

Потом внимательно посмотрел на Федорова, пытаясь заглянуть в его отведенные в сторону глаза, и негромко сказал:

— Подождем еще.

У подштурмана заходили желваки. Когда Гвоздев выходил из каюты, сорвавшийся на крик голос Федорова резанул слух:

— Я против! Против сего!

Он сгоряча вскочил на ноги и тут же со стоном рухнул в постель, в зубном скрежете превозмогая боль: «Эх! Быть бы здорову, разве позволил бы я командовать ботом какому-то землемеру, кой из лаптей да в мундир попал. Будь ты неладен!»

Чуть успокоившись, размыслил: «Подыхать ради твоей прихоти никто не схочет. По чину матрозы меня, чай, больше чтут. Не бывать по-твоему!»

После такого разговора Гвоздеву было не по себе, и он вновь поднялся на палубу. Погода не улучшалась. Небесная хмурь сбилась в темные тучи, которые будто утюжили морской горизонт.

«Уж не к штурму ли заходили тучи? Надо успеть отдохнуть, ведь вторые сутки не спал», — подумал Гвоздев и, назначив матроса Петрова вестовым к вахте Федорова, спустился спать…

Вечерело, когда Федоров вызвал к себе Петрова и приказал:

— Скомандуй поднять якорь и идти вдоль берега.

— Ветер крепкий, риф — марселевой и волнение великое, снесет дальше в море, — попытался возразить Петров, но, увидев, как багровеет лицо подштурмана, выскочил давать команду.

Вскоре «Святой Гавриил» пошел под парусами. Федоров, выглянув в окошечко, записал в вахтенном журнале: «Ветер марсельный, времянем сияния солнца, погода пасмурна».

Неведомая сила подбросила Гвоздева. Он почувствовал, что судно идет. Не чуя ног вылетел на палубу в одних исподниках. Бот шел, постепенно удаляясь от земли.

Увидев Петрова, он бешено заорал:

— Кто позволил?! Свистать всех наверх! Паруса долой! Якоря за борт! — И побежал в каюту Федорова.

— Зачем?! Потайно от меня! Паруса распустил! Зачем?! — задыхался от гнева он.

Федоров с пренебрежительным видом ответил:

— А как ты без общего согласия стоять у острова вознамерился?

— Не остров то, а земля великая! Потому и стоять велю, ради дела, к коему многие годы шли. А ты не по уговору нашему живешь! Дела правишь как нерадивец. Не все свои вахты в журнал пишешь, как зейкарту составлять будем? — разошелся Гвоздев, выговаривая наболевшее.

Федоров злобно ощерился:

— Не тебя, а меня… меня!.. писать зейкарту Адмиралтейств-коллегия назначила. Разберусь сам. Знай сверчок свой шесток!

Силясь сдержать гнев, Гвоздев процедил:

— Криком разума не добавить. Поймешь ли?! Чем кичишься? Делом, а не родословной человек полезен отечеству!

А навигацкие науки и мне не чужды, чай, в той же академии обучен. Так что не очень заносись, обойдусь без тебя, коли не смиришь гордыню! — И, хлопнув дверью, покинул нервно трясущегося Федорова.

Весь следующий день, выматывая команду на смене парусов, Гвоздев заставлял кормщика лавировать судно против ветра, подбираясь ближе в земле. Федоров, посматривая в открытое оконце, угадывал маневры бота и от недовольства на неправильные, как ему казалось, действия кормщика Мошкова нервничал, ревнуя бот и всех матросов к виновнику этих маневров — Гвоздеву. Отборной бранью он костерил то одного, то другого, пока судно не стало на якоря.

Когда к нему в каюту матрос Сметанин принес к ужину сухарь, кусок солонины да медную кружку чая, Федоров указал на стул.

— Важный разговор есть, — и, чуть посунувшись с кровати, начал: — Ты, Сметанин, — добрый матроз, я — подштюрман. Неужто в морском деле я тебе не первый командир, нежели эта сухопутная крыса? Неужто он в море больше меня толк имеет? Смекай, кого слушать: подштюрмана, с коим страстью к морю крещен, или геодезиста-лаптежника. Приходит время позднее, станут ветра усильчивые, а с такой течью кабы зимовать не пришлось на острову необитаемом, где ни зверья, ни пропитания не будет. Это — погибель! Обратно в Камчатку, да не мешкая! Как бы сей упрямец не сгубил команду. Матрозам мой сказ шепни, меня-то Гвоздев не слушает, я с ним в ругательстве да в лае.

Когда Сметанин ушел, Федоров злорадно усмехнулся, раздумывая: «Супротив команды не попрешь! А то — закусил удила, мореход липовый. Славы захотел! Давай-давай, упирайся, упрямец, журнал-то с исчислениями я веду, без коево ни месторасположения землиц, ни описания их не составишь. А журнал-то я тебе не дам! Докажи тогда, где ты бывал, чего видел. Кукиш, а не славу получишь, землемер». Среди его размышлений молнией блеснуло: «А вдруг и впрямь Америка?! Господи! Прибыток, слава!» Но на это сомнение обрушился рой здравых, по его убеждению, рассуждений. «Нет! Не-е-ет, профессор де ля Кройер еще в академии не раз утверждал, что Америка в более теплых широтах, как пишут о том гишпанцы.

А уж в Европии-то люди не дурнее, поди, Гвоздева. Остров это. Остров и есть, как все никчемные земли в льдистых морях», — успокоил себя Федоров.

Матрос Сметанин, выйдя от подштурмана, направился к матросам, раздумывая: «Худо, как в верхах согласья нет. Чего их мир-то не берет? Ишь как он родом его попрекает. Как ни крути, а господину с простолюдином вовеки не сжиться. Коли посудить, нам, матрозам, проку мало с того, что позрим, — остров это, земля ли великая, а вот жратва на исходе да бот потек, то это касаемо нас пуще всего. Стало быть, братву подбить надобно на возврат из похода. Кабы и впрямь на корм рыбам не попасть».

Будто завороженная, вновь открытая земля противными ветрами да штормами не подпускала к себе пришельцев. Недовольный Гвоздев который день уже ходил по палубе раскачивающегося бота, изводясь от бессилия высадиться на берег.

Он подошел к худощавому, осунувшемуся во время похода кормщику Мошкову и подал ему подзорную трубу:

— Я все глаза высмотрел, позри ты, Кондратий. Кажись, юрты жилые различаю, и вроде как вдали сопки лесистые за горизонт уходят. Пески у речек желтые, ну чисто земля великая! Эх, подойти бы ближе!

— Куды ближе, десятисаженные глубины пошли… А трубу дальнозоркую не нужно, в моем возрасте зрение таково, что и так вижу, да и нутром чую, что земля-то матерая, — ответил Мошков.

— Вот-вот, а Федоров уверяет, будто остров и торчать тут не след. Да и матрозы прошение подали, возвращения просят. А мне сдается, что еще бы пособного ветра подождать. Как думаешь, сдюжат еще матрозы?

Мошков сомнительно пожал плечами:

— Жаль — в позднее время в плаванье пустились. Погода и впрямь в такие времена уже буйственна. Да и обчеству матрозов долго перечить в столь дальнем походе небезопасно. А коль тропу сюда проложили, можно еще и в лучшие времена наведаться.

— Ясно. И ты с ними заодно — вертаться.

— По совести сказать, уважают тебя, Михайло Спиридонович, а то бы давно взбунтовались. Я бы еще подождать согласен, кабы вчерашним штурмом мачту не надломило. Назад

ведь не близко, а впереди не лето — зима грядет. Надо вертаться. Не обессудь. — И чуть улыбнулся, обнажив пухлые цинготные десны.

Вскоре бот «Святой Гавриил» снялся с якоря и, подняв паруса, начал удалятся от неизведанной земли.

Кончался сентябрь. Изможденная дальним плаванием полуголодная команда матросов, с трудом управляя парусами на одной уцелевшей мачте бота, с нетерпением ждала окончания похода. Истрепанные паруса наполнялись ветром, бот тяжело переваливался через морские валы.

За штурвалом стоял сам геодезист Михайло Гвоздев. Морехода Мошкова, как и других матросов, свалила цинготная болезнь, а остатки команды поочередно вычерпывали воду из трюма. Судно шло вдоль выступающего в море скалистого мыса, обогнув который должно попасть в долгожданный залив, к устью реки Камчатки.

«Как там штурман Генс? Всех ли иноверцев в Камчатской землице доусмирил Спешнев?» — думал Гвоздев.

Как только бот обогнул мыс, ветер сразу стих. Заштилело. Перед Гвоздевым открылась нерадостная картина.

Почти весь залив и берег в сплошном тумане.

«Ориентиров не видно. Попасть в устье мудрено. Не обойтись без морехода», — подумал он и крикнул матросу Леонтию Петрову, который вместе с другими безрезультатно травил шкоты, пытаясь парусом уловить хоть слабое дуновение ветра:

— Морехода сюда, живо!

— Он же немочен, — напомнил Петров.

— Ноне мало кто зело здоров. Веди! Весьма нужон!

По крутому трапу Петров сбежал на нижнюю палубу бота и прошел за перегородку, где находились дюже цинготные.

Кондратий Мошков лежал на одной подстилке рядом с молодым матросом Кузьмой Клочевым.

Петров попытался подбодрить их:

— Ничего, братушки, ужо, считай, подошли. Тама, на земельке-то да на вольной траве-ягоде, подыметесь. Коли в море совсем не доконала клятая, на земле-то отступится.

— Ась? — повернул к нему пылающее жаром лицо Кузьма.

Его распухшие красные десны не давали сомкнуться сухим растрескавшимся губам.

«Ишь как раскраснило-то парня», — подумал Леонтий и, не ответив Кузьме, обратился к Мошкову:

— Кондратий, ты наверху больно спонадобился. За тобой прислан.

— Какова погода? — повернув бледное лицо, спросил Мошков.

— Пасмурна. Туман велик да малая морось. Вставай, мореход, пособлю. Без тебя в устье не войти.

Кондратий Мошков по только ему ведомым приметам ухитрялся определять течение в заливе, ориентируясь по нему, подавал команды матросам, гребущим на шлюпках впереди бота.

Через некоторое время, выбиваясь из сил, матросы буксиром втащили судно в устье реки Камчатки и бросили якорь в заводи — одной из ее проток.

За время отсутствия судна в стане людей Генса построили еще одну просторную избу, рядом с казармой. В ней держали аманатов и зачинщиков камчадальского бунта.

Даже недолюбливающий геодезиста Якоб Генс сегодня был рад видеть его и всех вернувшихся из дальнего плавания. Генс на берегу встретил Гвоздева и трижды обнял его, потом подошел к носилкам, на которых несли подштурмана Федорова, и, нагнувшись, расцеловал его.

— Плох ты, братец, но, слава богу, жив. Как поход? Чего проведали? — сразу начал выспрашивать он.

— Я мало чего видел. Хворобой к постели прикован был. Всем Гвоздев вершил, право, советы со мною держал. Он и поведает, — вяло ответил изнуренный болезнью подштурман Федоров.

— Да, здесь в казарме худо тебе будет. В Нижнем остроге казаки из остатков от погрома несколько теплых изб собрали. Видно, тебя туда и отправим. Без фатеры тебе не след, — пообещал Генс и вновь направился к Гвоздеву.

Присевшего на топчан геодезиста Гвоздева Генс буквально засыпал вопросами.

— Постой, постой, — остановил его Гвоздев, — скажу главное. На Большую землю, что нашлась против Анадырского носа, мы так и не вышли. На то многие причины. Из-за скудости в провизии да великой течи бота матрозы письменную просьбу мне дали за своими руками. И с обчего нашего с Федоровым согласия пришлось вернуться, тем паче что цинга повалила многих.

— Морские льды в пути препятствовали? — прервал его Генс.

— От островных жителей известился, что приходят туда льды великие с севера, но позже.

— Вот-вот! — оживился Генс. — Значит, может быть проход со Студеного моря в Теплое. Может! А к ясаку призывали кого? — не унимался он.

— На островах малолюдство. Кабы поход с весны учинить, как было задумано, да с нужным запасом кормов, то на Большую землю объявились бы и ясак был бы непременно, — недовольно ответил Гвоздев.

Сбив любопытство, Генс сообщил:

— Приуготовлением провианта для команды занимайся сам. У нас, кроме рыбы, ничего нет. Спешнев еще усмиряет ясашных в Курильской землице, а отряд солдата Змиева на реке Иче объясачивает уже вновь покоренных. Аманатов вон полна изба. Так что половина Камчадальской землицы усмирена.

Истосковавшись по свежей пище, матросы команды Гвоздева, готовясь к зиме, усиленно промышляли зверя и рыбу. Поджимали холода. Первый снег пошел внезапно. Из-за горного мыса перевалилась сизая туча, и сразу же полетели отдельные снежинки, потом все гуще и гуще закружил снег, забиваясь в сухую траву тундры. Видимость заметно пропала.

— Полно. Возвертаться время. Все одно проку более не будет, — крикнул Гвоздев копошившемуся у шлюпки денщику Леонтию Петрову.

Тот, сунув два пальца в рот, пронзительно свистнул. Ему отозвалось сразу несколько матросов. Вскоре сквозь снег замаячили их фигуры. Матросы подволакивали добытых нерп. Загрузив туши в шлюпки, отплыли со спокойной глади вод Нерпичьего озера. Матросы дружно гребли, стараясь не терять из вида берег. Гвоздев смотрел, как потемневшие воды озера будто притягивали к себе, поглощая рой снежной завесы. Выйдя по проточке из озера, промысловый отряд начал осторожно переправляться на другой берег реки Камчатки, к казарме. Река несла шугу, которая шарпала о борта шлюпок, замедляя их ход.

Не успели промысловики причалить, как Петров крикнул:

— Смотрите! — И показал рукой вверх по течению.

Из-за поворота вместе с белой массой шуги река вынесла несколько спаренных батов с устроенными на них жердевыми настилами. На настилах были навалены тюки, узлы, а по краям — служилые с шестами в руках. Увидев у берега людей, служилые замахали руками и кто-то выпалил вверх из ружья.

— Наши, наши! — заорал Петров.

На переполох из казармы, толкая друг друга, повалили любопытные. Заработав шестами, служилые подгоняли к берегу баты. Им помогли причалиться.

Узнав, что они подвезли провизию, которую из Охотска на Камчатку доставил прибывший в Большерецкий острог шитик «Фортуна», обитатели казармы оживились:

— Хлебушко прибыл!

— Кормовое жалованье! Наконец-то!

— Поживем ищо!

Спрыгнувший на берег Иван Спешнев увидел Гвоздева, подошел к нему и обхватил его сильными ручищами.

— Спиридоныч! Здоров ли? — заговорил он. — Я-то, вишь, жив еще, хотя уже немало служилых схоронил. Ну, брат, новостей я привез и тебе, и Генсу. Да вот и сам гонец от нонешнего командира Камчатки и Охоцкого края Скорнякова-Писарева. — И он указал на прибывшего с ним капитана Казанцева.

— Как Скорняков Григорий Григорьевич? — переспросил Гвоздев. — Значит, пожалован вновь. Знавал я его. Ученый муж сей Григорий Скорняков.

Казанцев по привычке отрапортовал, как положено, и вручил геодезисту пакет. После чего осведомился о здоровье штурмана Генса.

— Жив, но болезнен. Весьма ослаб глазами. Потому на волю редко ходит. Там, в казарме, найдешь его, — указал в сторону жилищ Гвоздев.

— А теперь сказывай, как морской поход-то, — поинтересовался Спешнев.

— Потом, Ваня. Скажи, поди, смертушке в глаза-то насмотрелся?

— Всякое было. В отчаянии инородцы-то, дерутся убиенно! Не щадя живота. Бывает, и наши лютуют. Правильно казаки

говорят: «На Камчатке проживешь здорово семь лет — что ни сделаешь, а семь лет проживет тот, кому Бог велит». Ничего, ноне сотник Амосов отряд вспоможения из Охотска привел. По западному побережью усмирит он иноверцев, а там и на зело строптивых авачинских обчим походом сходим. Давай о делах я тебе тож потом поведаю. Читай, что в указах-то, да пойти потрапезничать бы не грех, — сказал Спешнев.

Михайло Гвоздев тут же распечатал пакет и прочел: «Господину геодезисту Гвоздеву обче с ботовых дел подмастерьем Иваном Спешневым, который во взятье пущих изменников службу свою показал. Не теряя времени, вести розыск о непорядочных поступках и лихоимственных взятках. Всех, кого надлежит, допрашивать. Також вспомогать при нужде комиссару ясачного сбора Эверстову да давать служилых на строительство новых острогов Казанцеву…»

— Вот так, Ваня. Розыск… чем уже не занимались тут! — заключил Михайло Гвоздев.

— Розыск дак розыск, — ответил Спешнев и добавил: — Вот токмо доусмирить немирных допрежь того надобно.

— Авось и доусмирять не будет надобности, коли увидят, что не токмо с инородцев, но и со своих виновных спрос учинять начнем, перестанут зря кровь-то проливать.

— Дай-то бог, как миром все обойдется. Пойдем, дружище. — И Спешнев увлек Гвоздева к казарме.

* * *

Звездная ночь окутала спящий Якутск. Сквозь зарешеченное окошко камеры воевода Жадовский неотрывно смотрит на яркую, отдающую синевой звезду. Ему не спится.

«Интересно, куды это потом души-то отлетают?» — подумал он.

Воевода сощурил глаза — звезда сразу же брызнула длинными лучами, приоткрыл их — она вновь без лучей. Несколько раз таким образом он заставлял звезду лучиться, потом отвернулся от окна и, уставясь в черноту потолка камеры, удобнее умостился на нарах, после чего погрузился в невеселые думы: «Сколько народишку в оных-то застенках было рвано ужо да поломано, сколько душ строптивцев из этих тюремных узилищ к звездам взлетело? А днесь вот и я сюды угодил. Да и как… злокозненно

заточен. Оговорил все-таки меня нечестивец Скорняков: бунт в Камчадалии не усмотрел, приказчикам потакал. А черт их ведает, чего они там творят, лишь бы ясак сполна везли да уважали воеводу. Чего с них боле-то надо?»

Зло и обида закипали внутри у Жадовского, и он ворочался, стараясь отвлечься от тяжких дум, но безуспешно. Горестные мысли полностью завладели им.

«Посчитай, ужо сорок ден тута томлюсь. Зима на исходе, время подходит ясак собирать. Скорняков-то не упустит момента. Комиссаров во все уголки Якуцкого воеводства назначит по-своему высмотру. Плакали мои прибытки, все Гришка, сукин сын, огребет. Теперича от него гонцы с подносами не токмо в Иркуцк и Тобольск, а до самого Петербурха поскачут. У всех в чести станет, прохвост. Тогда не выбраться мне отсель. Токмо на родителя свово вся и надежа, авось в Тобольске-то от его денег не отринутся… Господи… внемли моим молениям…»

Еще помечтав о том, как он отомстит Скорнякову, когда выйдет на волю, воевода начал было дремать.

Гулкий топот по коридору насторожил его. Донеслись возбужденные голоса:

— Где он? Живей веди!

— Тьфу ты, смрад-то каков. Повыше свечи! Не видать ни зги.

Шаги приближались. Воевода встрепенулся и сел на нары.

«Ужель за мной? Опять же, коль в Иркуцк отсылать, так пошто ночью?» — встревожился Жадовский.

— В какой каморе-то? Кажи! — нетерпеливо повелевал кто-то.

Топот оборвался. У его камеры зашаркали подошвами, звякнул запор, болью отозвавшись в сердце воеводы, и со скрипом отворилась кованая дверь.

«Господи, уж не к погибели?» — мелькнула мысль.

Со свечой в руке, пригнувшись, в камору вошел казачий голова Аргунов. За ним толпились казаки.

— Фаддей Исаич! — кинулся Аргунов к испуганному Жадовскому. — На волю! Немедля на волю! Сам указ зрил из Иркуцкой канцелярии. Того Скорнякова, сказано, сослать в прежнее место, где ссылку отбывал. Да-да, у губернатора я с прошением был, там-то и узрил сей указ с титулом ея величества самодержитцы Анны Иоанновны. Вот те хрест! — И он, усердно перекрестившись, продолжил: — Я как про то узрил, сразу сюдыть, думаю,

пока вице-губернатор Жолобов соизволит указ тот отправить, а можа, и попридержит его, ить со Скорняковым-то он любезен.

Испуг и недоуменность Жадовского постепенно таяли.

Он, облегченно вздохнув, злорадно усмехнулся:

— Отвластвовал Гриша… — И принялся спешно натягивать постолы. — Кляузник! Питух! Ужо я ему задам власть! Ужо покажу, как из-за дикарей-инородцев меня, воеводу!.. В заточенье! Ужо будут ему прибытки от ясака. В чепях у меня посидит… в чепях, сволочь! — ярился воевода.

Взяв свечу у Аргунова, Жадовский, у выхода отшвырнув ключаря, быстро направился по коридору, казаки двинулись следом.

Вскоре сопровождающие воеводу и Аргунова казаки, связав караульного и денщика у дома Скорнякова-Писарева, ворвались к нему.

Григорий Григорьевич на секунду замешкался, соображая — запалить ли светильник либо нащупать тапочки.

— Вяжите его! — крикнул Жадовский.

Пока Аргунов зажег жировик, казаки навалились на растерянного Скорнякова и принялись крутить ему руки.

— Супостаты! Ироды! Караул, сюды! Запорю кнутом! Степка, всполох чини! — надрываясь, кричал Григорий Григорьевич.

— Ори громче, а то чей-то ухи мне завалило. Поори, поори, споможенья не будет, твою рогатку-то повязали тож, — злорадствуя, подошел к Скорнякову воевода.

Только тут Григорий Григорьевич увидел Жадовского и с ним казачьего голову Аргунова.

«Неужто бунт в Якуцке?» — пронеслась мысль, но, все еще уверенный в своей власти над этим краем, он, зло уставясь на воеводу, угрожающе крикнул:

— Бунт чинишь! Самоволишь! Не по регламенту! Указ! Указ кажи!

— Забыл, как ты меня давеча силодером в казенку упрятал, указ мне казал?! Чего вылупился, аль головой оглупел? Тварь презренная! — И воевода с размаху заехал в ухо Скорнякову.

— Как смеешь? Пошто бьешь-то, пошто?! Ответствовать придется!

— Не выкобенивайся, нонесть опять ты чин-то невелик. Зновь ссылочный! Так кланяйся днесь в ноги воеводе! — И он схватил привставшего с полу Григория Григорьевича за шиворот

и, пригибая его голову к своим ногам, приговаривал: — Кланяйся, змей подколодный! Кляузник! Рыло!

Запалившись, Жадовский оставил Скорнякова и подошел к столу.

Заглянув в глиняный кувшин с остатками вина, он отпил прямо из него и, переводя дух, распорядился:

— Накиньте на него одежку — и в ту же камору, где я обретался. Да в смыки его до указу. — Потом, криво усмехнувшись, заметил: — Пущай блох покормит.

«Неужто откупился, прохвост?» — думал Скорняков и, подавляя в себе ярость, побрел к выходу, видом своим выражая: «Погодь же, я так не оставлю…»

Спустя две недели обросшего и изрядно похудевшего Скорнякова-Писарева привели к воеводе.

Жадовский с презрением посмотрел на сникшего Григория Григорьевича и, подав ему бумагу, приказал:

— Осведомись да руку приложи.

Скорняков быстро прочел ордер, присланный воеводе: «…понеже сообщаю, что указом ея и. в. Анны Иоанновны… капитан-командора Беринга отправить на Камчатку… с полномочиями… и оному Берингу вспоможения чинить сибирскому губернатору с товарищи и иркуцкому вице-губернатору. А определенного в Охоцк Скорнякова-Писарева вернуть в прежнее место, где он содержан был…»

Григорий Григорьевич все еще смотрел на листок невидящими глазами, а мысли его уже роились, кружа голову: «Кому не угодил? За что в прежнее место?.. Нет, надо писать в Сенат да и к самой императрице. О моем радении и в Иркуцке подтвердят…»

— Пишись, — прервал его мысли воевода.

— Скажи смыки-то снять, — громыхнул цепями Скорняков и потянулся за гусиным пером.

— Пождешь. Веничком бы тебя поджарить на дыбе, а не кандалы сбить, — забирая у него указ с подписью, доканывает Жадовский.

— Что ж, ныне твоя взяла, воевода, — огрызнулся тот, ожидая дальнейших указаний.

— Пожитки твои я конфисковал в казну государству, денщиков назначил в другие службы. Казну и протчее твои целовальники сами передадут Берингу либо кого укажут.

Вот тебе письменный вид: из Жиганску ни шагу. Пшел вон. — И крикнул через дверь денщику: — Смыки с него снять да под присмотром в Жиганск отослать.

Скорняков сник, побрел к двери и уже без ярой злобы на воеводу выплескивал мыслями горечь сердца: «Вот она — милость царская. Ссылка вновь. Ну, я не угоден, а зачем же нерадивца опять к власти?.. Право дело против денег — ничто. Стоит ли тогда себя рвать?.. Во имя чего? России? Царицы? Нет ныне ни того, ни другого: под пятой наметчины держава-то. Вот чем обернулось возведение Анны на престол...»

* * *

За прошедшее лето и осень монахи сожженной Успенской пустыни поставили на ноги многих раненных на приступе служилых. Снадобья богомольцев да молодость Степана Чуба одолели смерть. Ослабевшему от крепкой немочи Степану все же пришлось поверстаться в казаки, чтобы в зиму не сгинуть голодной смертью. Прав оказался приказчик Крыков: хоть и нет желания казачить, а голод — не тетка. После штурма острога Степан сдал и физически, и духовно. Заметно поугас в нем жгущий душу свободолюбивый огонь, приведший его на край земли. Хотя и уяснил себе Чуб, что тщетно искать вольную сторонушку, но сердце все еще не хотело поддаваться разуму. Нет-нет да и вспыхивало в нем желание бросить все и вновь пуститься в поиски вольницы, но подорванное здоровье и отрезвевший разум быстро остужали пыл. С великим трудом перенес Степан долгую камчатскую зиму.

К концу мая с заснеженной Камчатской землицы медленно, но сползали снега. С приходом весны вновь оживали разоренные острожки камчадалов.

Хотя основные «заводчики» бунта вместе с Федькой Харчиным пойманы уже и сидят эти «воры и изменщики» под крепким караулом, связанные по рукам и ногам, но смута еще не кончилась: разбрелась по бескрайним тундрам, схоронилась в глухой тайге, заползла в отдаленные жилища камчадалов, выжидая своего часа.

Сводные отряды казаков и служилых все еще усмиряли последние очаги «противления». После взятия сильно укрепленного камчадальского острожка Авача первый отряд казаков

Большерецкого и Верхнекамчатского острогов повернул на юг полуострова. Второй — из служилых людей партии Генса и уцелевших казаков Нижнекамчатского острога, объединенный под команду ботовых дел подмастерья Ивана Спешнева да казачьего пятидесятника Никифора Колыгова, готовился преследовать немирных, остатки которых бежали на побережье Бобрового моря к своим сродникам.

На берегу бухты, зажатой со всех сторон островерхими горами, у устья речки Авачи кипела работа.

Подготавливали к походу двенадцатиместные морские байдары, брошенные в спешке камчадалами. Кроме того, тут же наскоро приспосабливали к плаванию выброшенный когда-то на берег разбитый штормом коч. Шли последние приготовления.

Никифор Колыгов — бывалый казак. Еще в тысяча семьсот двадцать пятом году он поверстался в казаки. За семь лет жизни на Камчатке ему не раз приходилось и в походах бывать, и за ясаком хаживать. Черная лохматая бородища, постоянно нахмуренные густые брови, из-под которых поблескивал колючий, холодящий душу взгляд, делали его лицо угрюмым и неприветливым. Нравом Колыгов крут, человек старой казачьей закваски.

Он поторапливал служилых:

— Поспешай, поспешай, пока Бог погоду дает. Чего рыло-то по сторонам воротишь? Ловчее стягивай, ловчей!

Неподалеку от воды, разложив на берегу медвежьи шкуры, матросы Кузьма Клочев и Кондратий Мошков сшивали из них парус.

На окрик Колыгова Кузьма заершился:

— У нас и так ладно-то выходит, и без твоего вспоможения. Ты вон конопатчиков торопи-ка.

— Нишкни! Щербатый! — рявкнул Колыгов и замахнулся было на Кузьму.

Потом, бешено зыркнув, отошел в сторону байдар.

Кузьма не любил, когда на него кричали не по делу. Работал он всегда ловко и споро, поэтому окрик пятидесятника вызвал в нем вспышку ярости и обиды.

Он в злобе ощерил редкозубый рот и разразился бранью в адрес уходящего Никифора:

— Тьфу ты. Песий сын! Никому житья с ним нет! Ирод! Злой на всех, окаянный. Глазищами-то бесовскими ворочает

как, а? Готов своего разорвать, не то что нехристя. Ох, не совладаю когда-нибудь.

— Не волен ты над ним, Кузьма, не волен. Молод ты еще, горяч. Усмирись. А злобствует человек не от добра, — наставлял его Кондратий.

— Все одно. Не по сердцу он мне, худой человек, служба с таким не в радость, — не унимался Клочев.

— Что подеешь? Премоги. Для меня тож эта служба тягостию становится. Вот окрепну, стану получше гож в мореходы, уйду в Большерецкий острог. Там чаще корабли случаются, — задумчиво произнес Кондратий.

Прошло больше полугода, как вернулись Кузьма и Кондратий из плавания к островам, что напротив Анадырского носа, где были жестоко одержаны цинготною болезнью. Не без помощи добрых людей, «через великую возможность» выздоровели. И вот теперь, за неимением морских дел, вынуждены ходить в походы, отрабатывая свое жалованье.

Кузьма Клочев — узколицый, худощавый, с копною русых прямых волос, срезанных «под горшок», здоровьем намного слабее своего старшего товарища Кондратия Мошкова. Из-за болезни Кузьма потерял часть зубов, за что и получил прозвище Щербатый. Оно так прилепилось к Кузьме, что сейчас мало кто знал его настоящую фамилию, да и сам он все больше стал окликаться на Щербатый или просто Щербак.

Кондратий Мошков еще в тысяча семьсот четырнадцатом году попал в Охотск вместе с другими мореходами, переселенными туда по указу Петра Алексеевича для помощи в мореходных делах. Мошков — потомственный мореход. В молодости хаживал на карбасах с рыбарями и по Белому, и по Студеному морю. Много раз бывал он с партиями по Ламскому и Теплому морям вокруг Камчадальской землицы и к Курильским островам.

Кондратий, жилистый светловолосый добряк, уравновешенный, он всегда действовал успокаивающе на вспыльчивого Кузьму.

Через день отряд Спешнева, загрузив клади и снаряжение на суденышко и деревянные байдары, обшитые кожами морских зверей, был готов к походу в Бобровое море. Байдары, покачиваясь на зыби вод, уже ходили вокруг коча, все еще стоящего неподалеку от берега. Кожаный парус его беспомощно

свисал, не наполняясь ветром. Иван Спешнев прошел на корму к Мошкову, который был определен кормщиком.

— Чего думаешь делать? — недовольно спросил Спешнев.

— Бухта-то нутристая, надо верповаться до брамселевого ветра. Скажи: пусть байдары нас до середины бухты к ветру вытащат.

За время похода Кондратий давно понял, что Спешнев — степенный мужик, рассудительный, обладает твердым характером, но зла на людей не держит.

Иван Спешнев замахал рукой, подзывая казаков на байдарах. А мореход Мошков в это время отдавал команды.

— Поднять плехт-анкер, — крикнул он Кузьме, стоящему в носовой части коча.

Клочев и еще двое матросов начали поднимать на борт судна деревянный якорь с привязанными к нему камнями.

— Отдать перлинь, — последовала следующая команда, и с борта коча на байдары бросили ременные канаты, закрепленные за его носовую часть.

Дружные взмахи весел, и байдары потащили коч по бухте. Через некоторое время парус колыхнулся, наполнился ветром. Суденышко, заметно обгоняя байдары, вышло из бухты в открытое море.

Отряд двигался вдоль берега с крутыми, размозженными морем утесами. Уступы многоступенчатых скал облеплены длинноносыми белогрудыми птицами — кайрами. Тут же, отдельными колониями, теснились черные, светлочубые, с большими красными носами — топорки да серые чайки. А над скалами тучами носились их сородичи, с боем добиваясь излюбленного места на камнях. Невообразимый гвалт стоял над птичьим базаром. «Арр-арра, арр-арра» — раздражал крик кайр.

По расчетам Спешнева и Колыгова, подлатанный коч должен идти впереди отряда, а команда с него проведывать и подготавливать места для общего ночлега.

Покачиваясь на волнах, суденышко шло, беспрестанно вспенивая набегающие волны. Несколько раз убирали парус и ложились, поджидая оставшиеся байдары.

Скалистые берега кое-где сменялись низинами, которые вдали бугрились и переходили в поросшие лесом серые сопки;

сопки — в покрытые еще снегом большие горы; большие горы — в громады, отражающие ледниками вечерние солнечные лучи, отчего их остроносые вершины однобоко румянились.

— Как раскрасило-то, — глядя на берег, заметил Спешнев, подошедший к Мошкову. Постояв немного, добавил: — Не пора ли стан разбивать? Пока они дойдут, и темень станет.

— Да, время приспело. Вон, в пади, речушка из-за бугра бежит, там и заливчик малый, от волн коч упрятать. Чем не место? — предложил Кондратий.

Бросив якоря за выступающим в море мысочком, небольшой шлюпкой поочередно все перебрались на сушу.

Песчаный берег заливчика завален обломками тесаных досок, выброшенных морем, полузамытыми карчами. Тут же, неподалеку, нашли пустой бочонок, обломок реи и торчащие из песка китовые ребра.

Оглядев останки когда-то растрепанного штормом суденышка, Иван Спешнев распорядился:

— Чуркин да ты, Щербак, — и он ткнул пальцем в грудь матроса Кузьмы Клочева, — пойдите вверх по ручью, проведайте. Агей, а ты со Степкой вон ту низину на правом угоре осмотрите. Да гораздо смотрите.

— Эт мы зараз, — поправил отвислые усы Чуб.

Разослав дозорных, Спешнев давал указания служилым:

— Преж сего не шалаши ставить надо, а оградить стан засекой со стороны тех кустов, полукругом. Да поспешайте!

Он посмотрел, как определенный в кашевары долговязый Филимон Баев стаскивал в кучу сухой плавник да ветви для костровища, и подумал: «Этот свое дело знает».

Вскоре от ручья, куда пошли Щербак и Чуркин, донесся выстрел. Быстро похватав свои фузеи, на берегу насторожились.

Через несколько мгновений из-за холмика, откуда вытекала речушка, выскочил Щербак.

Он подбежал к собравшимся и запальчиво заговорил:

— Однако, место тут медвежисто. Версту не прошли, а трех повстречали. Убегают больно забавно, а этот прямо на тропе встал на дыбки. Пришлось положить. Андрей Чуркин тамака уже свежует. Айда, братушки, за провиантом. — И уже для Спешнева добавил: — А примет иноверцев нету-ка.



— Щербак, а как в портах-то? — подначил его Филимон Баев.

— Не знаю… сухо… — замялся Кузьма, не поняв сначала подначки.

Все вокруг загоготали.

Ухмыльнувшись, Спешнев махнул рукой:

— Будя. За работу… Филька, воды в котлы неси. Пока сварим, и байдары подоспеют.

После сытного ужина в устроенном шалаше Кузьма согрелся и крепко уснул.

— Да сколько тебя пинать-то можно, дух испустил, что ли? Лежишь, аки колода. Вылазь, — ворчал пятидесятник, — твой черед в караул. Вот с Агеем пойдешь. — И, кивнув на рядом стоящего служилого, продолжал: — Слышь, что ли? Глаза-то продрал?

— Как же, все разумею, — промямлил тот, лупая на Колыгова заспанными глазами.

— Так вот, там на бугре в схорон сядьте. Держите ухо востро. Чуть что, всполох учините. Да помните: сон — смерти брат, — наставлял их Никифор.

Ежась от ночной прохлады, они побрели в сторону пригорка.

— Какой же там схорон? Там и кущей-то нет, — зевая, обратился Щербак к Агею.

— Посмотрим, где те завалились, да и сами туда. Надо бы тебе шкуру с собой взять, ить сыро, — ответил он.

— Нет-нет. В шкуре со сном не совладаешь, — возразил Щербак.

За разговором они взошли на пригорок.

— Кого же сменять тут, — начал было Кузьма, как неподалеку от них из небольшой впадины поднялись две темные фигуры дозорных.

— Плететесь, как дохлые. Кого менять? Повылазило, что ль? Продрогли напрочь ужо, — напустился на них один из поднявшихся казаков.

— Вот тута садись, место сухее, — сказал другой.

Кузьма и Агей присели на примятую подстилку из прошлогодней травы да веток, потом умостились поудобнее и принялись озирать окрест. Вокруг непроглядная темень. Со стороны моря слышен грохот волн, разбивающихся о мысок. Морской ветер наносит туманную морось, отчего обветриваемая сторона лица покрылась холодной влагой.

Агея проняла дрожь, он плотнее прижался к Щербаку и заговорил:

— Зябко ноне дозорить-то. Слышь, Щербак? Кондратий-то сказывал, де в походе морском навидались вы тамошних инородцев. Поведай, все время скоротаем.

— Было дело. Не врет Мошков. Насмотрелись разных. На островах, что у Анадырского носа, обретаются там мужики, видом бледны, собою рослые и знатно здоровы. С татарами схожи. Бород у них ни у кого нет, все как есть босомордые. А прозываются они зубатыми чукчами. Себе для красы губу верхнюю дырявят да костяшки вставляют, — начал Кузьма.

— Неужто так? — удивился Агей.

— Отчего нет? А вот на самом Анадырском носу, дак там живут просто чукчи, люди уже другого роду-племени, и язык особый. Ростом невелики, а зело воисты. Бой у них токмо лучной. Кого в полон возьмешь, сами себя умертвляют, закалывают ножом. Смирить их неможно.

— Неужто? — вставил опять Агей.

— Воистину. Помнится, пошли мы от бота на шлюпке к их берегу, хотели объясачить. Они от юрт своих-ка все на утес-камень убежали, а там поют, да так согласно, а шаман их прыгат и скачет, заклинат, видно. Стало быть, нас за наваждение приняли. Погребли мы на шлюпке ближе до них-ка, объявились тут они во множестве и стали стрелять из луков. Полетели в нас стрелы, а как против их противления со шлюпки из фузеи выпалили, они тут и поразбежались. Так без ясака и вернулись мы назад к боту. Ты не спишь ли, Агей? — спросил Кузьма.

— Нет. Сказывай дале.

* * *

Холодная и сердитая нынче весна — Угаль. Не радостен почему-то и бог солнца — Коач. Редко выглядывает он из-за туч слабо греющими, как бы виноватыми, взглядами-лучами.

Во многих местах по падям еще лежит белый ноздреватый снег, хотя по южным сторонам пригорков проклевывается первая зелень сквозь толщу прошлогодней грязно-желтой травы. Но не пришло еще то время, когда ительмен-камчадал сменяет верхнюю одежду — парку на летнюю кухлянку.

Вот и сегодня Коач, краешком высунувшись из-за плотной завесы облаков, будто с любопытством подсматривает, как у излучины реки с берегами, поросшими ивняком да тополем, словно дымящиеся холмы, сгрудились к друг другу выкопанные в земле жилища камчадалов — юрты, как суетятся между ними в теплой меховой одежде люди. Они то исчезают в дымовых отверстиях юрт — входах в жилище, то появляются оттуда вместе с клубами дыма. Своими лучами он высветил свору собак, резво носившуюся вокруг островерхих, неподалеку от юрт, двухъярусных балаганов.

Любопытный Коач попытался заглянуть внутрь зимнего жилища через дымовое отверстие, но, не разглядев ничего из-за дыма, скрылся вновь за облаками.

Как обычно, селение камчадалов обнесено неглубоким рвом да непрочным жердевым тыном, из-за этих нехитрых укреплений они-то и прозываются острожками.

В просторной, врытой в землю, с бревенчатыми стенами юрте, вокруг костра на плетеных подстилках расположились почетные гости вождя — тойона Талача. Он тойон самого большого на побережье Бобрового моря селения Оретынгань. Этот острожек стоит у устья речки Шопхад, впадающей в море.

Талач по-ительменски — тюлень. Толстые обвислые щеки тойона, белесые волосы редких усов, его сутуловатость и полнота действительно придавали ему сходство с тюленем. Но не было мудрее Талача на всем побережье Бобрового моря, поэтому часто другие тойоны приезжали к нему за советом.

Уже прошло зимнее время Чужлингачь — очищение грехов. И вот новый, вырезанный из дерева идол Хантай охраняет огонь жилища. Хантай имеет вид человека-рыбы. Опираясь на свой мощный хвост, стоит он неподалеку от очага, и в лупоглазом лице с засаленными щеками отражается играющее пламя костра. Неподалеку лежит груда таких же хранителей-одногодков, отслуживших свое время. Теперь они не в почете, их не «кормят» и даже ставят на бывших хранителей посуду. А служат теперь эти идолы лишь для определения возраста жилья и обитающего здесь рода.

Хантай безразлично уставился на костер своими невидящими глазами, и ничто его не волнует. Не печалят его горести людские, не веселят их радости. Ничто не дрогнет в его

застывшем рубленом лице, безучастном к жизненной суете. Своей непроницаемостью и величием он выше земного бытия, он — дух. Невозмутимость и спокойствие идола передается и обитателям жилища. В его присутствии страх отступает, страсть успокаивается, бурная радость сдерживается.

Гости неторопливо беседуют с тойоном, а вокруг них, подвернув под себя ноги, расселись мужчины рода.

Молодой камчадал Тырилка в длиннополой парке, опушенной мехом росомахи, забывшись, сунулся было в первый ряд мужчин, поближе к гостям, но, получив тумака от рослого крепыша Камака, безмолвно ретировался. Камак старше Тырилки и имеет на это право.

У деревянных стен жилища на лежанках, покрытых шкурами морских зверей и отгороженных плетенными из трав занавесками — чирелами, расположились женщины рода и дети. Хоть и в неспокойное время собрались гости, но обычай встречи соблюдается строго. Первый кусок тюленьего мяса поднесли гостю Васко Вахлычу — пожилому тойону Авачинского острожка. Потом поднесли гостю Чекаве — брату тойона Талача. Чекава со сродниками участвовал в защите острожка Авачи, помогая Вахлычу, и вместе с ним еле ушел тайными тропами сюда с немногими уцелевшими от битвы камчадалами. Потом взял мясо и сам Талач. Около долбленной из дерева посуды лежит вырезанная из чурбака скуластая физиономия еще одного божка — идола Ажушака — хранителя посуды, величайшей ценности камчадальского быта.

Не всем удается костяными да каменными топорами выдолбить большую семейную чашу-корыто, сохранив ее от растрескивания и сколов.

Талач куском мяса потер лик идола. В это время старая женщина, которая усердно нашептывала заклинания, взяв горсть священной травы — тоншичь, бросила ее в огонь. Костер вспыхнул, и от отблесков пламени щеки идола покраснели и ожили. Только тогда все остальные принялись за мясо, запивая его прихлебкой, настоянной на сладкой траве. Прихлебка горячила кровь, бодрила. Расправившись с мясом, они принялись ковшами вычерпывать из корыта похлебку — опангу.

Талач подал знак, и женщины поднесли толкушу — любимую еду камчадалов. Редко у кого сохранились до весны луковицы

сараны и разные ягоды, идущие для приготовления этой пищи. Поэтому ели толкушу с большою охотою, причмокивая в знак особого удовольствия. Уже приступили пить настой, крепко заваренный кипреем, когда по наклонному бревну с зарубками на нем, ведущему к дымовому отверстию, кто-то начал спускаться в жилище.

Мужчины насторожились, но когда дым, окутавший пришельца, рассеялся, в нем узнали Пишкаля — сына Талача. Это удивило и озадачило обывателей. Ведь он вместе с другими охотниками рода недавно ушел за Большой мыс Бобрового моря к лежбищам тюленей заготавливать там жир.

«Почему так быстро вернулся? Ведь сейчас в самом разгаре месяц Кууль, когда лахтак щенится и его легко брать», — подумал Талач.

Пишкаль, переведя дух, быстро заговорил, размахивая руками:

— Там, там брыхтатын — огненные люди! Идут сюда на байдарах и на большом бате с кожаным крылом.

Все встревожились, а Пишкаль продолжал рассказывать, где и сколько он видел казаков.

Талач сидел сгорбившись и уже не слушал рассказчика, задумался, глядя на огонь: «После бунта еловских сродников не были здесь эти ненасытные брыхтатын. Или забыли, или не до того им было, чтобы идти сюда через перевалы в закрытую со всех сторон горами долину реки Шопхад. Когда прибежали сюда Чекава и Вахлыч после разгрома их на Аваче, думал, обойдется, но теперь ясно: идут сюда».

Он с содроганием вспомнил ту горькую весну, когда приходили в последний раз огненные люди. На ясак они забирали все: меха, одежду, сарану, юколу, жир, отбирали молодых жен и подросших детей. А если кто противился, то вылетал злой дух из диковинной палки, умертвляя все живое. У него самого забрали все, что было, и, затребовав еще, привязали к березе. Били кнутом, потом, убедившись, что ничего не утаил, забрали с собою его дочь Канучь и угнали нарту.

Талач тяжело вздохнул: «Где ты теперь, дочь, красавица Канучь? Самый ловкий охотник рода Камак почти два года отрабатывал долг сватовства, да не пришлось им быть вместе: перед обрядом соединения молодых нагрянули эти брыхтатын… Канучь…



Канучь… дочка моя. Как быть с ними? Миром? Сколько сродники крови пролили, а от ясака не освободились, только беду на свой род навлекли».

Его мысли прервал Васко Вахлыч:

— Пускать их сюда нельзя!

— Надо воевать, — добавил Чекава, и они выжидающе посмотрели на Талача.

Старый тойон ответил:

— Чтобы не сгубить род, надо принять их с миром.

Камак вскочил и разгоряченно заговорил:

— Лучше в битве уйти к подземным людям, чем терпеть такие обиды! Ясак платить нечем, опять разорять да за долги увечить будут!

— Отец, он прав. Надо воевать, — поддержал его Пишкаль.

— Молод ты еще. Все можно устроить миром. Ведь род Божоша с реки Уйкоаль всегда в теплом мире с огненными людьми живет, и его люди самые сытые из всех сродников.

— Род Божоша почти обрусел, а Божош — трус. Это его люди помогли изловить Голгоча, дядьку Харчина. Пусть теперь бережется еловских сродников. А нам надо вместе не дать им тут на берег выйти, — загорячился Вахлыч.

— Не трус Божош, а мудр. Разве можно победить народ, которому служат злые духи? Я все сказал. Вы молоды, вам и решать, но помните: напрасная кровь рода с совести не смывается никогда.

Чекава обвел взглядом всех мужчин и обратился к Талачу:

— Стар ты стал, брат. Тебе теперь только со старухами камлать, а не копье держать. Я приведу сюда своих людей из Олокино, люди Пишкаля да Вахлыча — видишь, какая сила на горстку брыхтатын. А если огненные люди пройдут мимо, дальше по морю, как иногда проходят большие баты с белыми крыльями, то и хорошо. Народ сюда собирать все равно надо для обряда жертвоприношения морскому богу Митгу, так как приходит время хода рыбы.

* * *

В день жертвоприношения утро выдалось солнечное. Несмотря на морской прохладный ветер, бог солнца Коач согревал косыми лучами собравшихся на обряд камчадалов. Жители Оретынганя и других близлежащих острожков столпились на поляне, неподалеку от жилищ.

Здесь, под одинокой высохшей березой с причудливо скрученными ветвями, на шкуре медведя навалены внутренности недавно добытых морских зверей.

В крашенных ольхою, нарядно отделанных мехом одеждах, в расшитых камусовых обутках — торбасах толпились камчадалы, ожидая праздника. И вот, когда тень от корявой березы коснулась шкуры с жертвоприношениями, длинноволосый Камак, наблюдавший за тенью, принялся ловко колотить в бубен, оповещая о начале обряда.

Тойон Талач и две старые женщины, одетые в праздничные парки, опушенные мехом белой собаки, вылезли из лаза зимней юрты и подошли к шкуре.

По знаку тойона старухи принялись ходить враскачку под гул бубна. Сгорбившись, они держали в руках священную траву тоншичь, которую переминали, и нашептывали в ладони: «Митг, пошли нам рыб-икрянок, подгони к нам зверя жирного, не бросай волну крутую на байдары наши…»

После заклинания они разбросали размятую траву по жертвенным дарам. Тогда мужчины дружно подняли шкуру с содержимым и понесли к морю. Следом важно вышагивал Талач с двумя старушками. За ними двинулись женщины рода. Они несли сушеные стебли сладкой травы и напевали веселые мотивы без слов — ходилы. Потом пристроились к шествию и все остальные.

У моря жертву положили в небольшую обтянутую шкурой тюленя байдарочку и оттолкнули от берега. Но волны выбрасывали байдарку обратно. Все притихли.

«Не берет морской бог Митг подарка, видимо, мало», — подумал Талач и приказал принести еще.

Вскоре из селения поднесли кости с остатками тюленьего мяса и другие объедки, которые не успели выбросить собакам. Все это уложили в байдару. И тогда два молодых камчадала с силой вытолкнули ее на набегавшую волну. Байдарка покачалась у берега, словно раздумывая, потом постепенно стала отдаляться и относиться течением вдоль косы-лайды в залив.

Иловатая лайда вдалась в залив до опрядыша — торчащего из воды каменного утеса, который был опоясан со стороны моря небольшой рифовой грядой. Морские волны вскипали на рифах, пенились, покрываясь бурунами, и уже льстиво несли эти белые шапки к подножию утеса.

Толпясь вокруг тойона, щуря глаза и беспрестанно указывая руками в сторону байдарки, камчадалы внимательно следили за ее ходом.

Байдарочка, кланяясь волнам, упорно шла вдоль лайды к утесу.

«Так и есть! Злой дух Сосочелк, живущий на торчащем утесе, опять лукавит: хочет присвоить себе жертвы, и тогда Митг останется без подарков. Обидевшись, он не пошлет в реку много рыбы, а к берегам — морского зверя. Нет-нет! Этого допустить нельзя», — подумал, нахмурившись, Талач.

Окинув взглядом мужчин, которые уже сотрясали луками и копьями, проклиная Сосочелка, тойон взмахнул рукой, и они бросились к утесу — жилищу духа. Не добегая до скал, каждый выпускал стрелу из лука, запугивая лукавого, и возвращался обратно.

Невдалеке от утеса на байдарку с жертвой налетела крутая белоголовая волна, захлестнула ее и поглотила.

— Ах-ва-а! — сотни возгласов радости слились в один крик.

Люди запрыгали, закружились на берегу. Весело смеясь и приплясывая, женщины начали раздавать сладкую траву. Ничто не может быть лучше обычаев предков! И камчадалы, несмотря на надвигающуюся опасность, полностью отдались веселью.

Коренастый, с выгнутыми ободом ногами, Камак высоко подпрыгивал, сотрясая луком. Он увидел, как Тырилка, перекувыркнувшись, с разбегу подскочил, руками и ногами обхватил танцующего рядом Ивара и повалился вместе с ним на песок.

Принял, принял дары морской бог Митг! Будет рыба и зверь морской. Не будет голода!

Во время всеобщего ликования к Вахлычу пробрался Пишкаль и отвел его в сторону.

— Близко, совсем близко брыхтатын. Обошли уже Большой мыс и стали лагерем. Когда бог Коач после ночевки снова выйдет светить и пойдет по второй половине своего пути, они будут здесь, если волна стихнет.

— Иди расскажи все это Чекаве. Пусть побольше стрел готовит. А сам опять туда и глаз не спускай с них. Предупреди вовремя, — наставлял Вахлыч.

От шума и суеты праздника Талач отошел на пригорок и опустился на сухие космы прошлогодней травы. Довольный всеобщим весельем сродников, размыслил: «Хорошо… Так бы



и жил вечно, да вот ноги перестают слушаться. Видно, устали носить».

С пригорка он всмотрелся в залив. Ветер с моря, все усиливаясь, гнал крутую волну. Несколько китов зашли в залив. Эти исполины обнажали из воды темные спины с отблесками солнца, громко фыркали, выпуская высоко вверх фонтаны, и оглушительно шлепали по воде хвостами. С разгону они наскакивали друг на друга, шаркались боками и трубили от удовольствия.

«Раз киты играют — быть буре. Бог ветра Балакидга не упустит момента, как увидит игрища китов, всегда спешит позабавиться с ними да с Волною морскою — дочерью Митга, — отметил Талач и подумал: — Вот и подошло время жирового ветра. Нагонит Балакидга льдов с моря, забьет ими залив, тогда можно прямо здесь промышлять морского зверя и заготавливать жир, а не ходить далеко к Большому мысу, где сейчас остановились огненные люди».

При воспоминании о казаках хорошее настроение сменилось беспокойством, которое сразу же овладело думами старого тойона.

«От духов откупиться можно, а от них — никак. Каждый раз все больше им надо. В мире бы с ними жить, но они обозлили многих сродников. Ныне еще и дух еловских тойонов Харчина и Голгоча горячит кровь молодых, туманит всем разум, да так, что перестали слушать меня. А может, они и правы?.. Откупимся от русского бога-царя ясаком сами, без этих жадных людей, и он пришлет нам ножей, котлы, топоры крепкие. Ведь морской бог Митг за наши подношения посылает нам в реку и зверя, и рыбу, и никто от него не приходит вымогать у нас жертвоприношения… Да-а, но как устроить так, чтоб без крови, без боли, без голода?..» — раздумывал Талач.

Он сидел сгорбившись, погруженный в раздумья, а ветер трепал его седины. «Плохо жить стало. Пора уходить к подземным людям. Вот только как лучше уйти туда? Сквозь воду или как обычно, чтобы после смерти растерзали собаки либо звери? Нет. Звери — это плохо. Лучше, чтобы растерзали собаки, тогда подземный бог Гаеч даст нам хороших собак для нартовой упряжки. Но для этого придется ждать смерти. А ждать в такое время не хочется… Может, все же сквозь воду? Так быстрей. И надо обязательно в бедной кухлянке, тогда Гаеч даст



новую, и можно будет в ней встретиться там со своими вперед ушедшими сродниками и родниками… Да, хорошо там, под землей. Не бывает пург и дождей, нет комарья и, конечно, огненных людей. А в реках там, видимо, изобилие рыбы круглый год. Голода не бывает. Ведь никто обратно сюда не идет».

Долго сидел Талач на берегу, занятый невеселыми, тяжкими думами. Он отвлекся от них лишь тогда, когда солнце закрыли плотные тучи, принесенные ветром.

Рассердилась, видно, Завина — жена бога ветра, и погнала она черные тучи, полные слез обиды, на своего кудлатого бродягу Балакидгу, заигравшегося в стороне от нее с Волною — дочерью Митга. Талач смотрит, как тяжелые брюхастые тучи выползают из-за гор. Острые пики вершин вспарывают их утробы, из которых обильно посыпал мелкий плотный дождь.

* * *

Неприветливо Бобровое море. Двое суток крутые морские волны с грохотом разбивались о скалы небольшого мыска, не давая отряду покинуть укромную бухточку. Ветер гнал и гнал с моря мощные валы, штурмуя прибрежные утесы.

Наконец к исходу третьего дня заслон облаков поредел. Будто плесневелые, громады туч рвались, расползались по сторонам, обнажая тускловатое небо.

— Господи! Неужто проходит? Обрыдло тутошнее место. Кругом скалы, приуготовить свежего корму нельзя. От соленой провизии хоть на воду лай. Вот ловушка-то, — ворчал Колыгов. — Эй, кормщик! Как думаешь, стихнет? — крикнул он, высовываясь из-под полога, устроенного из шкур с подветренной стороны скального выступа.

Кондратий еще раз всмотрелся в море, потом на небо и ответил:

— Однако, быть нам завтра в пространном море. Вроде как стихнуть штурму.

Утром крутобокий коч покинул укрытие и, распустив паруса под попутный ветерок, продолжил путь к цели по присмиревшему Бобровому морю. Казаки Колыгова на байдарах тоже поднимали небольшие, устроенные из шкур да шестов, паруса, облегчающие движение. Берега горного мыса, далеко выдающегося в море-океан, круто спадали к воде. Повсюду

из воды торчат одинокие камни-опрядыши и длинные скалистые гряды. Еще издали слышится гул дико бушующих волн, разбивающихся в белую пену на рифах.

Обходили мыс, держась от камней на почтительном расстоянии. Шум вскипающих волн у камней заглушает разговоры. Кондратий Мошков, надрываясь, кричит, подавая команды о развороте паруса, и коч послушно меняет направление движения. Волны бьются о его борта, обдавая брызгами служилых. При каждом развороте парус вновь рывком наполняется свежим ветром и, упругий, поскрипывая кожаными снастями, несет суденышко наперерез набегающим волнам.

— Успеть бы к месту до прихода льдов дойти, — заметил Мошков.

— Каких льдов? — удивился Спешнев.

— Сразу видно — не мореход ты, Иван. Вишь, ветер-то морской задул на берег — знать, скоро льды с моря погонит. Время такое: не успеешь, забьет все заливы льдом, тогда токмо пеше добираться, — пояснил Мошков.

— Оно, может, и лучше. Надоела эта болтань.

Изнурительно однообразная качка действовала на не привыкших к морским походам казаков и служилых по-разному. Укачавшийся Агей обессиленно привалился к борту. Из-за приступов тошноты Филимон Баев уже который раз, оставляя гребное весло, переваливался через борт судна.

Вот и сейчас Баев повернул побледневшее лицо навстречу ветру и, хлопая заслезившимися глазами, молвил в адрес Кондратия:

— Будь неладен, мореход, пес непотребный! Ввел в соблазн своими плавучими ушатами. Терпежу нет. Лучше бы пеше шли. Вчерашний корм уже повывернуло. Не ровен час, до последнего издыхания доведет.

Обогнув мыс, байдары проходили вблизи торчащих из воды высоких скал — пристанища серых чаек, желтоносых глупышей и черных топорков, которые кричали, суетились, кружили над скалами. «Кья-а-ак, кья-а-ак!» — пронзительно горланили чайки, пикировали на байдары, заглушая многоголосый шум птичьего базара.

— Эка сколь водяной птицы. И все как есть краснолапые, будто в красных сапожках, — восхитился сидевший за веслом

казак Варфоломей Чудинов, и при этом его весло, скользнув, шлепнуло по воде.

Казачий десятник Удачин, находясь в корме байдары за рулевым веслом, вздрогнул от холодных брызг, обдавших его, и громко ругнулся:

— Эй ты! Коль шары по сторонам пялишь, дак греби как след! Не то так огрею! — Пригрозив веслом, принялся утирать лицо.

На грядах рифов расположилось стадо сивучей — морских львов. Широкогрудые, с гривами, они светло-рыжими пятнами выделялись на темных скалистых грядах. Множество их распласталось на камнях, часть же качалась на волнах прибоя. С появлением отряда крупные самцы бросились со скал в волны. Подплывая близко к байдарам, они громко ревели, высовывая из воды ощеренные морды.

— Ишь рык-то каков. Не зря их львами кличут. Можа, пужнуть? — беря фузею на изготовку, спросил Колыгова сидящий рядом казак.

— Для ча?! Попусту порох жечь, — остановил его Никифор.

На подходе к устью речки Шопхад суденышко легло в дрейф, поджидая отставших. С головной байдары перебрался на судно Никифор Колыгов для совета со Спешневым.

— Думаю, не стоит сразу в устье ходить, а пристать вон к отмели у камня. Не по нраву мне эта безлюдность. Кабы чего не задумали инородцы, — начал Спешнев.

— Знамо дело: идешь на ясак — припаси тесак, — поддакнул Колыгов и добавил: — Токмо разумею я: поспешать нам след, поелику после погрома их на Аваче не скоро-то с силой собраться им. Вот и надо с ходу прямо в реку-то заходить, а там до острожка ихнего рукой подать. Не то спохватятся, разбегутся, да и рухлядишко, какое есть, припрячут. Ясак-то не с кого сорвать будет, не то что чащину для себя.

— Спешишь рухлядью амбаришки свои пополнить, живота не жалея, — упрекнул его Спешнев.

— Запас мешку не порча, — отговорился Колыгов.

— Ну, знаешь, на погост из-за прибытку я не спешу. Помни, наше первое дело — вернуть к ясашному платежу иноверцев под ея императорского величества самодержавную руку. Будет так, как я сказал. Пристанем у камня да проведаем — как и что, а там решим, — твердо сказал Иван Спешнев.

— Что ж… Атаманом артель крепка, — сдался недовольный пятидесятник.

Обойдя рифы у утеса, байдары и суденышко ткнулись в иловатый песок лайды, соединяющей скалистый утес с берегом залива.

— Отсель, однако, версты три будет до острожка Оретынганя, не боле, — сообщил Спешневу толмач Андрей Чуркин.

Не успел отряд высадиться, как со стороны устья реки послышалось разноголосое улюлюканье. С полторы сотни вооруженных луками камчадалов на батах и байдарах устремились к месту высадки пришельцев. А из-за берегового увала к лайде подступало, не опережая лодочной армады, другое сухопутное воинство, подбадривая друг друга криками и размахивая копьями.

Иван Спешнев командовал четко и ясно:

— Провизию и порох в камни! Байдарами перегородите лайду. Никифор, за ними укрой десятка два казаков, остальные все на утес. Оттуда способней.

Матрос Кузьма Клочев, уже взобравшись на утес, крикнул сверху:

— Вон из-за мысочка еще байдары вышли, сюда-ка норовят!

Иван посмотрел в ту сторону.

— Откуда здесь столько их? Знать, поджидали! Благо с ходу в реку-то не сунулись, — сказал он и поглядел на Колыгова.

— Ладно, не зуди. Пусть, пу-у-усть идут! Перебьем, аки псов! — зыркая исподлобья, отрубил тот.

— Побьем, говоришь? Скажи казакам, дабы первый выстрел делали по байдарам. Пужнем, начнут тонуть, одумаются — с кем имеют дело, — распорядился Спешнев и полез на утес.

Пятидесятник метнулся к казакам, притаившимся за перевернутыми байдарами, которыми они перегородили подступы к утесам, со злобой сказал:

— Подпущайте ближе и бейте нехристей, дабы неповадно было. — Потом вернулся назад к утесу.

Течение воды в губе намного слабее, чем в самой речке, и кричащее на все лады войско стало продвигаться помедленнее. Более сильные гребцы вырвались вперед на своих байдарках, опережая плывущую армаду. Таким образом, наступающий по воде отряд камчадалов стал растягиваться вдоль

лайды. С первых байдар уже летели стрелы, но они еще не достигали цели. Одним из первых, ловко орудуя длинным шестом, гнал свой большой бат крепкий гривастый Камак. В бату находились еще два молодых камчадала и Чекава — брат Талача. Они, постоянно выкрикивая боевой клич, метали стрелы из боевых луков, усиленных костяными пластинками. Тырилка выпустил несколько стрел не целясь. Только потом заметил, как Чекава, крепко сжав лук, целится, спокойно вытягивая тугую тетиву, с которой вдруг невидимой слетела стрела, оставляя за собой легкий посвист. Немного успокоившись, Тырилка стал тоже не спеша ловить цель. Разгоряченный Камак, выхватив у Тырилки лук и молча ткнув ему в руки шест, принялся яростно метать стрелы.

— Вот вам ясак! Вот вам Канучь! — злобно выкрикивал он вслед срывающимся с тетивы стрелам.

Сухопутный отряд тоже не отставал и неотвратимо надвигался. После первого ружейного залпа несколько камчадалов попадали — кто в баты, кто в воду, но воинственный пыл у остальных не ослаб. Уже посвистывали стрелы над камнем, за которым укрылись Спешнев и Колыгов. Один казак с криком вывалился из расщелины скалы и упал вниз с торчащей в шее стрелой.

— Ты смотри, найзоливо лезут, — удивился Спешнев.

— Вот ироды, побьют здесь, ровно лахтаков! Пали, робяты! С богом! — крикнул Колыгов.

Загремели выстрелы. Но воинство все еще упорно надвигалось. Сквозь сизый пороховой дым, как молнии, мелькали стрелы, выискивая в камнях жертву.

Степан Чуб посмотрел, как Щербак, не глядя, выстрелил из фузеи в сторону наступающих, и обратился к нему:

— Плохой из тебя фузилер, Кузьма. Робеешь? Гля, сколь байдар уже тонут. А инородцы плавать не приучены. Будя их бить: зараз сами на тот свет отойдут.

— Не робею я, Степан, не могу творить то, чего не по сердцу мне. Да и не по-божески это — губить друг дружку.

— И мне жаль бедолаг. В сечах не хоронятся. Взноровятся, сгуртуются да под пули и картечь прут. Погано, що попусту, без цели великой на гибель вознамерены.

Казаки, вошедшие в азарт, палили без промахов. Среди плывущих поднялась паника. Мешая продвижению других,

тонущие хватались за борта плывущих лодчонок, лезли из воды на них, переворачивая и эти. Боевой клич иссяк. Отовсюду послышались вопли и отчаянные крики погибающих.

— Смотри, смотри — отходят, — крикнул пятидесятник, показывая на повернувшие назад уцелевшие баты и байдары да бегущих по лайде в сторону берега камчадалов.

— Теперь за ними! Но не дать уйти! — горячился Колыгов.

— Не злобствуй, Никифор… Они хоть и нехристи, а тоже божья тварь. Зря губить грешно. Показали силу, и будя. Теперь и так объясачим, усмирятся, поди, — рассудил Спешнев, сдерживая его.

Они спустились со скалы. Песок возле утеса был усеян сотнями стрел с костяными да каменными наконечниками. Сверху из расщелин спускали раненых. В сторону перевернутых байдар, утыканных стрелами, снесли и положили в рядок убитых. Сняв шапки, казаки и служилые толпились вокруг мертвых, тихонько переговариваясь.

Кузьма Щербак присел на корточки у изголовья светловолосого служилого, сломил древко стрелы, торчащей из шеи, осенил его крестом и закрыл усопшему веки голубых уставленных в небо глаз.

— Вот и отходил по земле-матушке Агей. А какой добрый паря был, — сказал Щербак и отошел в сторону, пряча повлажневшие вдруг глаза.

Со стороны песчаной косы, из-за байдар, казаки подволокли к стану камчадала с черной копной скатавшихся волос. Ноги его волочились, оставляя на песке бороздки.

Бросив его к ногам Спешнева и Колыгова, стоящих неподалеку от убитых, Филимон Баев, переведя дух, сказал:

— Вот, толмач Чуркин признал в нем Ваську Вахлыча, авачинского заводчика ихнего. Вишь, пуля скользом по черепку прошла, зело оглушила, однако. Космы-то в кровишши. — И указал на окровавленную часть головы.

Удачин принес в шапке воды и выплеснул пленному в лицо.

— Щас очнется, — заверил он.

— Гля, латы-то какие на себя напялил, — разглядывая одежду Вахлыча, удивился подошедший к ним Кузьма Щербак.

Спину и грудь лежащего камчадала прикрывали деревянные доски, скрепленные толстой кожей лахтака. После того

как на него еще плеснули воды, Вахлыч приоткрыл глаза и обвел окружающих мутным блуждающим взглядом.

— Ожил, юродиво семя! Так это ты прошлым летом в верховьях Авачи у сборщиков ясака с живых кишки выматывал? Сказывай! — злобно набросился на него Колыгов и, уже обращаясь к Спешневу, посоветовал: — Негоже тащить его до Большерецка. Не приведи господь — утечет изверг! Стрелить тут либо башку свернуть.

— Постой, Никифор, — остановил его Иван и нагнулся, заглядывая в глаза Вахлычу: — Ты кто?

Толмач Чуркин тут же перевел его слова.

Пленник посмотрел на Спешнева прояснившимся взглядом, приподнялся на локтях и с презрением ко всем ответил:

— Кчамзалх!

Иван Спешнев взглянул на Чуркина.

— Человек, — перевел тот.

— Вор-разбойник ты, а не человек! Вишь, где объявился! Не чаял я, что заводчика тут имать придется. Твои-то дружки-помощники, братья Каначи, еще в островном острожке, на Аваче, себя порешили, а ты, аки бешеный волк, смуту разносишь! Досель добег!

Не успел Чуркин дотолмачить слова Ивана Спешнева, как пленник, словно отбивая пощечины, заговорил:

— В нашем народе воров не было! Зачем без меры ясак брать приказываешь?

Не выдержав его взгляда, Спешнев отвел глаза в сторону и подумал: «Кабы то я…»

Колыгов кивнул Удачину:

— Повяжи его да крепко присматривай. Честь и хвала за такой улов. В острожек войдем — под добрую колоду его. Надежней будет.

Как растревоженный улей, гудит острог Оретынгань. Кто пеше, кто на батах и байдарах собираются уцелевшие камчадалы. Растерянные и напуганные, они толпятся у старой кривой березы на поляне, отделяющей селение от берега реки, и нетерпеливо ожидают решения тойонов.

Талач за последние дни совсем сгорбился.

Он сидит сейчас, как кочка, обросшая мхом, и глухо говорит:

— Тебя, Чекава, и тебя, Пишкаль, брыхтатын не простят. Ты, Чекава, уходи с остатками своих людей. А ты, Пишкаль, отпусти людей Вахлыча. Наших женщин посылай к заливу встречать огненных людей. Пусть возьмут сладкой травы побольше да веселящей прихлебки и угощают их. Скажи людям, пусть отдадут все, но род сохранят. Потом оба поступайте по обычаю. Я буду вас ждать в подземном царстве.

Талач грузно поднялся и не спеша прошел сквозь молчаливую толпу собравшихся на берегу реки. Так уж принято. Молча провожали камчадала, решившего уйти в столь неведомый, оттого страшный и потому не всем при жизни доступный путь в подземное царство. Удерживая равновесие, он вошел в неустойчивый бат и оттолкнулся шестом от берега. Течение милой его сердцу реки Шопхад быстро понесло долбленку. Тойон стоял в ней и в последний раз выцветшими глазами впитывал до боли родной берег со сгрудившимися у воды близкими родниками.

Потом, бросив шест, он взмахнул руками и вывалился из юркой лодчонки. Перевернутый бат, чернея намокшим днищем, покачнулся на всколыхнувшейся воде, как бы передавая последний поклон вождя, и, подхваченный стремниной, скрылся за излучиной реки.

Когда отряд Спешнева осторожно подходил к Оретынганю, со стороны реки донеслись отчаянные крики.

Иван посмотрел в сторону береговых зарослей ивняка, потом, взглянув на рядом идущих Кузьму и долговязого Филимона, приказал:

— А ну, проведайте-ка!

Кузьма и Филя, перемахивая на ходу через кусты шиповника, побежали к реке. Густая чащоба преградила им путь, и они начали обходить заросли с двух сторон. Пройдя немного, Щербак вдруг очутился на прогалине, ведущей к берегу. И тут он увидел, как рослый, с заплетенными в косичку волосами камчадал тащил к воде двух женщин. Они отчаянно сопротивлялись и кричали. Кузьма бросился к ним, держа фузею наизготове. Чекава, а это был он, увидев подбегающего Кузьму, выхватил топор и с силой обрушил его на голову пожилой женщины. Щербак на секунду опешил и выстрелил не целясь. С поднятым топором в замахе, предназначенном для другой, совсем еще юной камчадалки, Чекава рухнул на песок.

Испуганная и ошеломленная случившимся, оставшаяся в живых камчадалка уставилась расширенными глазами на пробитую голову матери.

Щербаку стало не по себе. Он, опустив ружье, остановился в смятении перед застреленным Чекавой. В висках Кузьмы гулко отдавалось биение сердца.

«Вот и убил… все же убил человека. Теперь и я грешен. Душегуб! Не избежать кары Божьей. Господи!.. Но ведь он, тать, их бы обеих погубил! — шевельнулась оправдательная мысль. — Выходит, что я спас одну душу… но лишил живота другого… Господи! И пошто так-то?!»

Тут подбежал запыхавшийся Филимон Баев и, увидев растерянно стоявшего Кузьму около убитого камчадала, перевел дух.

— Ух!.. Ты чего, Щербак? Стоишь как истукан. Аль нехристя жалко? Можа, панихиду закажешь? — ехидно усмехнулся он. Потом выдернул из рук мертвого топор и, показывая Кузьме, удивился: — Гляди-тко каков. Костяной, а шибко бриткий.

Потом Баев перевел взгляд на убитую женщину и рядом стоящую в потрясении, с застывшим выражением ужаса на лице молодую камчадалку. Под длиннополой, с широким опушением паркой угадывался стройный стан девушки, и Филимон обратил внимание на длинные, черные как смоль ее волосы, на бледное лицо.

— Девку-то добрую отбил. Слышь, Щербак? Видно, у нехристя поганый норов был: сам умри и семью живота лишай. Однако, утопить он их сюды вел-то, — рассудил Филимон и опять докучал Кузьме: — Можа, девку мне отдашь?

Кузьма его не слышал.

— Не задарма, сговоримся, — настаивал тот.

— Отстань! — отмахнулся Кузьма и направился было к реке.

— Девку-то забирай. Твоя ведь, можа, потом обменяешь с кем. — И Филя, схватив ее за руку, подвел ее к Кузьме: — Вот твой хозяин отныне. Разумеешь?

Она смотрела на Баева отрешенным взглядом.

— Филька, оставь ее. Сам разберусь, — оборвал его Кузьма.

Щербак посмотрел на стройную и поникшую камчадалку. Ему стало жаль эту беззащитную, убитую горем еще совсем девчонку. Кузьма проникся сочувствием и захотел как-то утешить,



пожалеть ее, но присутствие Баева и какая-то неловкость удерживали его.

Он подступил к ней, осторожно тронул за плечо и негромко сказал, делая жест рукой:

— Пойдем ужо.

Филимон Баев и Щербак почти нагнали отряд, когда, увидев их, десятник Удачин гаркнул:

— Погляньте! Вот храбрецы: двое одну бабу отвоевали. Не боялись, знать.

Все оглянулись и загоготали.

— Вот и первый ясырь. Кто же из них взял-то? По рожам не видать: оба смурные, — встрял пятидесятник Колыгов.

— Все одно, общим кругом чащину да охолопленных делить будем, — заявил посадский Обухов.

— То охолопленных, а это ясырь-добыча! Что с бою взято, то свято! В дележ не идет. Кстати, ты-то рот не разевай на чащину. Тебе, как и другим гулящим людям, что своею охотой при острогах, чащина не причитается, а токмо что сам добудешь. Так-то: кому полтина, а кому ни алтына, — разъяснил Колыгов, знаток казачьих уставов.

— Мне много не надо. Не жаден я. Жадна душа, что без дна ушат. Мне лишь бы волен был я. Ноне здесь, а завтра — куда сердце поведет, — ответил тот.

Перед селением отряд Спешнева повстречал женщин Оретынганя. Они несли сушеную сладкую траву, туеса с настоянной на ней бодрящей похлебкой.

— Ну и слава богу, смирились. Встречать по обычаю выслали. Скажи казакам, дабы не насильствовали. Острожек, знать, богат: зверь тут морской да лесной обретается, — наставлял Колыгова Иван Спешнев.

Никифор Колыгов обернулся к отряду и, придав строгость и без того суровому своему лицу, гаркнул:

— По-божески чтоб! Не самоволить!

Посмотрев на гарнизонного пятидесятника, Обухов, ухмыльнувшись, подумал: «Тоже мне, богочтивец. Помилуй господи, а за поясом кистень».

Спешнев что-то тихо сказал толмачу, и тот, подступив к подошедшим женщинам, предложил, чтобы они сначала сами отпили из туесов, перед тем как угощать.

Камчадалки, лица которых были завешаны плетенками из трав, отхлебывая из туесков, ставили их на землю. На каждый туесок они укладывали стебли сладкой травы и отходили в сторону. Настороженность служилого люда постепенно таяла.

— Гля, сквозь плетенку-то очи блещут. Зело глазаста, — указал на крайнюю камчадалку десятник Удачин.

— Что за дурь: красу за занавесь хоронить, — заметил приземистый крепыш Обухов.

— Вон та, во-он, — через головы казаков указывал рукою длинновязый Филя на стройную женщину, — вместо парки да в сарафан бы ее обрядить. Однако, статна, ровно лозина, статна будет, — заморгал прилипчивыми глазами он.

— Да, воистину: подальше от Фени — грехов помене, — сложив руки к груди и подняв глаза к небу, нарочито гнусавым голосом изрек Тишка Удачин.

Вслед за женщинами отряд вошел в селение камчадалов. У причудливой березы на поляне начали разбивать стан. Иван Спешнев к жилищам послал толмача Чуркина и двух служилых объявить обитателям, что государевы люди ждут ясака за два прошедших года и по два аманата с каждого жилья.

Служилый Максим Бекетов, присягнувший в целовальники, чтобы принимать ясак, да прихрамывающий писарь Борисов быстро оборудовали место для приема мягкой рухляди. Вокруг одинокой березы они вбили колья, натянули ремни и, накрыв эти ремни шкурами, соорудили просторный полог. К жердевому настилу, скрепленному сыромятными ремешками, приспособили чураки-ножки и к этому подобию стола подтащили из прибрежных зарослей тальника колодину вместо скамьи.

Теперь Борисов с деловым видом размещал на столе письменные принадлежности, а целовальник Бекетов привязывал жерди для развешивания ценных мехов.

Для охраны собранной казны Спешнев назначил матроса Петрова. За короткое время поляна перед острожком превратилась в лагерь. Иван Спешнев опустился на сухую траву возле устроенного для него шалаша с наброшенной поверх веток большой шкурой сивуча, которую взяли еще в Авачинском острожке после разгрома там немирных камчадалов. Он посмотрел в сторону устроенного наподобие шатра полога приемщиков меха, где уже толпились любопытные служилые,

рассматривая подносимые камчадалами меха: лис, соболей, морских бобров — каланов и прочих зверей. От любопытствующих отделился пятидесятник Никифор Колыгов и с мрачным лицом подошел к Ивану.

— Что хмур-то? — спросил его тот.

— Тут дело пошло, ан все одно, не след время терять. Пусти меня в соседний острожек Олокино. Не ровен час — разбегутся, схоронятся от ясака. В две-то руки оно быстрей и объясачим этих жупановских нехристей.

— А что, пожалуй, дело сказываешь, Никифор. Токмо толмач-то мне тут надобен, — засомневался Спешнев.

— Обойдусь. Десятник у меня, Удачин, посчитай, двадцать годов в Камчатке, в их толке разумеет, — настаивал Колыгов.

— Согласен. Бери часть казаков и, дабы поступал как должно быть, возьми с собою для письма Кузьму Щербатого. Он в грамоте смышлен, — согласился Иван.

Взяв два десятка казаков, Колыгов быстро повел отряд вдоль берега речки.

Замешкав у своего шалашика, Кузьма бросился вдогонку отряда, надевая на ходу котомку. Пробегая мимо Спешнева, он запнулся и растянулся на траве перед ним.

Спешнев улыбнулся, глядя на смущенного молодого матроса, который поднимался под хохот служилых, и заметил:

— Ты не забывай там: за ясак каждому отписку давай, как положено. Видал, как писарь Борисов деет?

— Угу, — бросил в ответ Щербак и припустил вслед за отрядом.

Догнав казаков, он зашагал сзади, рассматривая тронутые красками заросли пойменного леса. Нежно-зеленые стволы ветвистых великанов-тополей возвышались над розоватыми чащами тальников, под которыми кое-где еще лежал ноздреватый снег. Чистым синим небом отсвечивалась вода в речке, бегущей навстречу отряду. На перекатах, извиваясь меж валунов, блестящих на солнце, река шумела, словно журила эти камни за их неподвижность. Воздух, напоенный тонким запахом весеннего леса, действовал на молодого Кузьму бодряще. Его хорошее настроение чуть встревожила мысль: «Как там девица-то?» — и тут же успокаивающе подумалось: «Кондратий Мошков — мужик надежный. Обещал — присмотрит.

Чудное имя у нее — Наусчичь. Толмач сказывал, что по-ихнему — мышка означат».

Три зимние юрты да с десяток балаганов острожка Олокино находились в верстах двадцати от Оретынганя. Олокинцы, не ожидая столь быстрого прихода казаков к их острожку, только на околице обнаружили отряд пришельцев. Растерянные жители, не успев оказать положенного обычаем гостеприимства, быстро скрылись в зимних жилищах.

— Вот и ладно. Цацкаться с ними не будем, — пробурчал Колыгов и тут же принялся командовать: — Филька, поставь караул у каждого дымохода. Кто сунется оттуда, палите из фузей, пусть там сидят пока.

— Куды палить? В них, аль чтоб пужнуть? — уточнил Филимон Баев.

— Как хочешь. Их не убудет, — отозвался пятидесятник и продолжал распоряжаться далее, обращаясь к десятнику Удачину: — Все, что в балаганах, выбрасывайте наземь. Тут разберем, что в ясак, что в чащину пойдет. Да поживее!

Вскоре из высоких балаганов полетели вниз узлы шкур, связки сушеной рыбы — юколы, охапки стеблей сладкой травы и прочие припасы.

Удивленно глядя на Колыгова, Кузьма думал: «Вот оно как выходит-то: Господи, прости, в чужую клеть пусти, пособи нагрести да вынести. Что же он деет-то?»

Заметив удивленный взгляд Щербака, Колыгов недовольно буркнул:

— Считай все, потом отпишешь.

— А как я определю, с кого что взято и какому инородцу отписку давать? — с подозрением поинтересовался Кузьма.

— Колода безмозглая! Считай, коль умен. А с кого и как — сам ведаю! — вспылил пятидесятник и продолжил, сдерживая себя: — Коли мы их половину перебили в заливе, а ясак-то с них не бран за два года, с кого те долги брать? Кто тебе из живых за них-то поднесет? Вразуми.

Кузьма заупрямился:

— Все одно, так не должно. По совести ясак брать надыть, да с положенной отпиской.

— Делай, что говорено! Не то последние зубы выхлещу! — рявкнул Никифор и перенес свой гнев на казаков, которые

не спеша выталкивали очередной узел из ближайшего балагана: — Живей скидовай, сволочи! Копошитесь, яко дохлые!

Филимон, стоявший на страже у лаза в зимнюю юрту, услышал брань Никифора и, повернув голову к балаганам, начал смотреть на расходившегося строгого пятидесятника.

«Все сердитует», — подумал Филька.

В это время в дымном отверстии юрты показалась седовласая голова камчадала. Старик, увидев грабеж, ловко выскочил и с воплем побежал к балаганам. Филя замешкался, и еще трое камчадалов кинулись за стариком. Опомнившись, Баев пальнул вверх, и сунувшиеся было из юрты другие камчадалы скрылись обратно.

Успевшие выскочить тщетно пытались помешать казакам. Ударами тяжелой фузеи их сбили с ног и повязали ремнями. Пока казаки управлялись с ними, Колыгов, подскочив к опешившему Филимону Баеву, ударом кулака опрокинул его.

— Паскуда! Ворон здесь считаешь?! Я те покажу, аки караулить след.

Сорвав зло и немного успокоившись, Никифор подошел к связанным хозяевам балаганов. Старик приподнял голову, принялся что-то выразительно говорить Колыгову, сотрясая космами.

— О чем он? — спросил Никифор у Удачина, который здесь же рядом сортировал меха.

— Известное дело: просит не губить с голоду. Оставить юколу, а взять, что положено в ясак.

— Не подохнут, — прервал его Никифор, — весна на дворе, скоро рыба попрет, да морской зверь тут рядом.

Не сдержавшись, матрос Кузьма закричал:

— Так токмо воры-разбойники деют! Я не стану считать, не хочу татем быть! Не должно, не должно так!

— Заткнись, пока цел! Без тебя обойдемся. Знать, казачье дело не про твою честь! Чащины с этого пая не проси, слюнтяй! — оборвал его Колыгов.

Вспылив, Кузьма Щербак развернулся и побежал в сторону Оретынганя.

«Донесет, ирод, — подумал ему вслед Колыгов и тут же успокоил себя: — Дорога казна — соболиный мех — поприкроет вину, позолотит грех. И не таких, как этот выскочка подмастерье

Спешнев, клонил в нужную сторону. Главное, набрать рухлядишки поболе, а там поглядим».

Таким образом усмирив и объясачив камчадалов у Бобрового моря, отряд Ивана Спешнева пробирался к горному перевалу, чтобы попасть к истоку речушки Повычи и по ней спуститься в долину большой реки Камчатки — Уйкоаль. По ней отряд и намеревался сплыть до низовий к Нижнекамчатскому острогу.

Почти на две версты растянулся пеший отряд. Взятые в холопы камчадалы горбились под тюками пушнины и шкур морских зверей — дорогой ноши казенного ясака да казачьей чащины — вознаграждения за поход.

На недлинном прочном ремне, привязанном за пояс казака Удачина, брел полоненный авачинский тойон Васко Вахлыч, сгибаясь под тяжестью деревянной колоды, стягивающей шею и руки.

ГЛАВА 3

Быстро, с норовом несет воды река Камчатка, подмывая лесистые берега. В верховьях она испуганной оленухой мчится по дикому краю дремучей тайги, натыкаясь на частые заломы из карчей, и, недовольно клокоча, забрасывает злобной пеной эти преграды.

Выбегая из тайги, в низовьях она упирается в крутолобый горный хребет и, продираясь меж скалистых берегов, как загнанный зверь сквозь чащобу, все труднее дыша, умеряет свой бег, а вырвавшись, широко разливается по приморской тундре.

Отдохнув и разнежась в ее мягкой цветастой постели, она лениво, как бы нехотя, подносит свои воды буйному океану. В долине реки намного теплее, чем на побережье, и весна тут уже полностью вступила в свои права. По берегам у черемух и тополей топорщатся первые клейкие листочки. У величавых лиственниц лопнули почки и брызнули нежной хвоей, отчего лес подернулся легким налетом зелени. На солнцепеках сквозь толстый слой прошлогодней травы вылезла долгожданная черемша, и теперь от каждого жителя Камчатки несло крепким устойчивым запахом этого дикого чеснока.

Мутная весенняя вода хлынула в реку, затопляя обнаженные песчаные косы, понесла вывороченные с корнем деревья да речной плавник, щедро облепив их белой пеной.

Шла середина мая, когда отряд Ивана Спешнева сплавом добрался к месту строения нового Нижнекамчатского острога. Многочисленные лодки, баты, плоты разноликого отряда Спешнева причалили к берегу устья светлоструйной речушки Орат, впадающей в многоводную Камчатку. Орат бежит из-под горного хребта, за которым возвышается чисто-белая громада вулкана. Куда ни глянь — всюду горы. Строящийся новый острог будто окружен их зубчатой стеной.

— Доброе место выбрали для острога, — заметил Иван Спешнев.

Увидев подплывших, побросав топоры и пилы, сбежались к берегу строители.

Туда же подошел и Михайло Гвоздев, обнявшись с Иваном, он заговорил:

— Вижу, вижу. С ясаком возвращаешься, знать, доусмирили последних. Мы тут тоже не сидели. Вишь, крепость начали да ясашную избу рубить. Кабы не голодно, то более бы успели. Но уже рыба — нет-нет да и сюды с низовий поднимается. Хоть худо, а помалу ловим ее. Ну, пойдем, позри — какову приказную избу уже поставили. Там и наговоримся. — И он повел Спешнева за собой.

Пройдя немного, Гвоздев заговорил вновь:

— Благо ты с народом вовремя подошел. Теперь дела споро пойдут. Людишек-то я почти поразослал: кого — лес готовить, кого — угли жечь да мох собирать. Два десятка служилых с кузнецом Саламатовым в низовьях рыбу промышляют да зверя. Из-за кормовой скудости даже колодников выпускаю для прокормления на поруках. Так что — нелегко нам тут, Ваня. Нелегко голодным острог поднять. Но, слава богу, зиму пережили. А тут Генс донимает — никак не может ремонт бота без тебя умыслить.

— Не беда, Спиридоныч. Главное — живы, а дела все справим. Вот токмо передохну с походу, да со всеми матрозами подамся к нему бот чинить. Пусть мореходит. Глядишь, и нас вскоре домой доставит, а? — не унывая, подмигнул ему Иван.

— Где он теперь — дом-то наш? — вздохнул Гвоздев.

С приходом отряда Спешнева дела по возведению нового острога пошли веселее, и Гвоздев отправил к устью реки Камчатки ботовых дел подмастерья Спешнева и матросов для ремонта бота «Святой Гавриил». В день отправки Кузьма Клочев расставался с мореходом Кондратием Мошковым. За время похода они сдружились, несмотря на разный возраст. И вот, сидя у берега на здоровенной тополевой колодине, невесть когда принесенной сюда половодьем, они беседуют.

— Значит, твердо решил — не мореходить? — спросил Мошков.

— Покуда здоровьем хлипок, осяду на земле. Избу поставлю в новом остроге. Сам знаешь: трех холопов молодых взял, помогут срубить. А пока на пешей службе пообретаюсь. Худо будет — терпеть не стану, — ответил Кузьма Щербак.

— Ну а с девкой как мыслишь? Отдашь кому? — поинтересовался Кондратий.

— Жаль ее, горемышку. Пусть побудет, харч нам готовить станет. Ягоду какую, траву собирать тоже надыть, — рассудил Щербак.

— На вид-то приглядны оне, да шибко грязны да вшивисты, — вставил мореход.

— Верно. К чистоте несвычны еще. Поживет — обвыкнет. А вошью нас не спужашь: самого, бывать, заедают.

— Бог с ней, Кузьма. Коль решился — пущай корни в землю, а я опять в устье, в команду Генса мореходить. Да и не могу я иначе, токмо по морю скучаю.

— Где-то теперь свидимся? — задумчиво произнес Кузьма.

— Един Бог ведает, какие они — пути людские. Долги ли, коротки? Смертушка-то, она всегда за плечами ходит, — ответил Кондратий и посмотрел на стоящие у берега спаренные баты, на суетившихся в последних приготовлениях к отплытию матросов во главе с ботовых дел подмастерьем Иваном Спешневым. Потом поднялся и, крепко, по-отечески обняв Кузьму, сказал: — Бывай, паря. Отведи господь от тебя лихой час. — И пошел.

Забытые для Кузьмы чувства вдруг всколыхнулись в груди, и он захлопал повлажневшими веками глаз. Спазмы сжали горло, как будто туда из сердца подкатил горький ком. И он

глухим голосом выдавил напутствие человеку, ставшему для него дорогим:

— Бывай, любезный. Мореходь, Кондратий.

* * *

Непомерно мудрая штука — жизнь. Течет, уготавливая судьбу каждому в особицу. Вот и ныне новый сюрприз поднесла она Скорнякову-Писареву. Доносы в Сенат о наживах якутских воевод на ясашных сборах возымели действие, и Скорнякову вновь было велено вернуться из ссылки к управлению делами Охотска и Камчатки.

Почти смирившись со своей пропащей, переломанной под старость судьбой, Григорий Григорьевич уже без радости принял это известие и без особого рвения выехал в Якутск к новому воеводе. Там, узнав, что по всей Сибири тянутся к Охотску обозы с провиантом, людьми и грузами партии Беринга, что все это многолюдье бредет туда для строительства порта и верфей, на которых будут делать суда для далеких плаваний, Скорняков, смолоду привыкший откликаться на дела достойные, вновь загорелся деятельностью, постепенно заглушая в себе обиды.

«Порт построим, торг с иноземцами заведем. Купцы потянутся сюды, промышленные люди, чтоб поближе к торгу мануфактуры да дела какие заводить. Знать, сюды взоры всей России повернутся, как при Петре, то и город надо ставить, да под стать Петербурху. Ведь, посчитай, вторые врата государства будут. Это ли не дела, ради которых не токмо прилежное исполнение полномочий, а и, не щадя живота своего, радение надобно», — думал он, с головой погружаясь во вновь навалившиеся заботы.

* * *

А на Камчатке торопливые летние деньки спешат друг за другом вереницею. Не успеешь привыкнуть к теплу, а лето уже на закат пошло.

Туманный с утра день разведрился. Михайло Гвоздев, осмотрев работы на строительстве крепостных стен острога, направился к приказной избе.

После пасмурных, с прохладным сырым ветром дней сегодняшний выдался на редкость солнечным и теплым. Таких

дней в году здесь по пальцам пересчитать. Хороший денек бодрил, небо радовало голубизной, четко просматривались горы, со всех сторон обступившие новый Нижнекамчатский острог. Гвоздев огляделся.

Низкие заросли кустарников и листва кудлатых каменных берез поражали сочной зеленью. Синие ирисы, желтые сгустки низкорослой пижмы, розовые цветения княженики рассыпались по падям и угорам вокруг острога. Поляны березового редколесья окрасились оранжевым цветом лилий сараны.

«Вот и июль на исходе, а тут зацвели цветы, и все враз», — подметил Гвоздев.

Глядя на разноцветья здешнего лета, он невольно забывал непомерно длинную голодную зиму с ее свирепыми пургами.

В приказной избе Михайло Гвоздев принялся собирать деловые бумаги для отправки их в Охотск Скорнякову-Писареву. Аккуратно укладывая рапорты и донесения в кожаную сумку, он еще раз пробежал глазами поименный реестр вверенных ему людей: «…Служилый своею охотою Федор Паранчин — фузея своя, 10 патронов с пулями, пороху нет; служилый из ссыльных Илья Скурихин — палаш с портупеей, фузея, 12 жеребьев, пороху нет; казак Андрей Верхотуров — фузея, 20 жеребьев, один фунт пороху; матроз I статьи Леонтий Петров — винтовая пищаль, 16 пуль, 3 фунта пороху…».

«Да, худо все же. Отписать надо Григорию Григорьевичу, как есть», — подумал Гвоздев и вскоре уже писал в письме:

«…Служилый люд нашей со товарищем Спешневым партии, да тутошние казаки и казачьи дети, також посадские промышленные люди, обретающие при острогах, терпят великие лишения. Многие до весны жили в снежных ямах, все в пищу приемля, дабы выжить, резали ремни и варили их для еды. Денежное да хлебное жалованье матрозы не получали с 730 году. Потому пришли во всеконешную скудость. Припасов пороху нет, одни жеребья да пули, а без того нам, несвычным к дикой добыче, промыслить зверя зело тяжко. Камчадалы же в ближней округе после усмирения их из своих жилей разбрелись, и когда вновь осядут, неведомо. Токмо летом мы и ожили ради прокормления рыбой. Считаю нужным чем-то занять инородцев, дабы отринуть их от дикой жизни и голода. Пахарей бы сюда на земли к тому пригодные посадить, многие пользы

от этого камчадалам и служилым тут станутся. Оттого и прошу, любезный Григорий Григорьевич, коли не будет на то воли вашей о нашем возвращении, оказать нам споможения провиантом да порохом. Бот „Святой Гавриил“ уже откилеван, и штурман Генс готовит его к плаванию в Охотск. С ним и высылаю сие».

Грохнула тяжелая дощатая дверь, и в приказную избу вошел Иван Спешнев.

— Вот ты где от комарья упрятался, — с порога начал он, — на дворе-то парко, гнусье заедает. Не хошь зимы, да о морозце вспомнишь, — посетовал он.

Предугадывая цель прихода Ивана и отодвинув письмо, Гвоздев спросил:

— Никак дознался чего от солдата?

Иван Спешнев уже второй день проводил дознание по делу солдата Змиева, злоупотреблявшего при взятии ясака. Из-за неустроенности казенных построек нового острога все дела сыска вершились на съезжем дворе. Там, в просторном рубленом амбаре, устроили прочные клети-темницы, в коих содержали узников следствия.

— Крепок, дьявол! Дюже пороли — не признался. На очной ставке с доносчиками Семеном Трофимовым да Петром Гуторовым — и то все едино запирался. Окарачь ползает, клянется, отговаривается. Лишь когда его товарищ Босиков указал, где схорон с мехами, тогда сознался, окаянный. А токмо я отвернулся, они тут же измордасились, черти! — обсказывал донесение Иван.

Гвоздев вышел из-за стола и, заложив руки за спину, заходил по избе.

Немного помолчав, рассудил:

— Алчность! До чего же доводит она! Черной кровью вытесняет из сердца все человечное… Вот они, плоды невежества российского. Одни дремучи от лености, другие звереют от алчности, третьи мрут в гладе да лишениях. Потому как народ наш в нужде и темени прозябает! Беспризорен. Не доходят до него царские милости, а до инородцев — и того паче! Хотя они-то больше других в царскую защиту верят. И поверь, Иван: тут усмирили — поднимутся в другом.

— Иногда и указ дельный случится, но на месте-то воевода сам себе хозяин, что прыщ на заднице: вроде и невелик,

а чешется — спасу нет, — поддержал крамольный разговор Спешнев, а сам подумал: «Не подслушал бы кто».

Гвоздев с горечью продолжал:

— Народ-то осатанел. Друг дружку готовы сожрать… Вот, опять жалоба. — И он ткнул пальцем в лист бумаги на столе.

— Засыпали доносами. Сыск не успеваю чинить, токмо бумагу мараем. И что делать? — сочувственно вопрошал Спешнев.

— Такое время. Избумажилась Русь. — Он похлопал по стопке исписанных бумаг и добавил: — А жалобу ты все ж прочти, Ваня.

Спешнев взял и принялся читать: «Господину геодезисту Михайле Спиридоновичу. Ища истины, показую: пока я был в отъезде с репортом и указами от вас из Нижнего в Анадырского острог и обратно, добрый матроз Петров мою жену принудил к блудному греху, також разбойник присвоил медный котел ценой в три десятка красных лисиц, два мешка сладкой травы стоимостью в два десятка лисиц и другие оставшиеся у меня пожитки. И по ноне живучи у меня в дому матроз продал моих всех собак, кормы все рыбьи издержал и во всем меня раззорил. Прошу, справедливости ради, из причитаемого ему жалованья оплатить мне чинимый раззор. Казачий десятник Крупышев».

После прочтения Иван Спешнев посмотрел на Гвоздева, и тот ответил:

— Вот прохиндей! С виду-то горазд, а по сути не токмо плут, но и подлец.

— Чудно выходит, Михайло. Я-то к тебе с доносом Петрова на того Крупышева пожаловал. Донос сей он мне недавно вручил. Вот, смотри. — И вынул свернутый лист.

Гвоздев быстро просмотрел исписанный лист бумаги: «Ботовых дел подмастерью, господину Спешневу, высокопреданному вседержавнейшей государыне нашей Анне Иоанновне. Ревностно служа Российской державе, я, матроз I статьи Петров Леонтий, доношу, что казачий десятник Крупышев во гневе кричал поносные слова, кои писать невозможно, понеже как они назначены не токмо мне, а всем служилым ея императорского величества, и також саму императрицу похулил зело нелестными словами, за кои злой смерти предавать положено. А дабы он не учинил пущего вреда, показую на него „слово и дело“».

Гвоздев брезгливо поморщился и подошел к двери, приоткрыв ее, крикнул Петрова. Матрос сидел на крыльце вместе с ключарем Чудиновым и крадучись играл костяшками в азартную игру зернь.

— Кто тебе донос писал? — строго вопрошал Гвоздев.

— Подьячий Яким Мухоплев, — нехотя ответил тот.

— Рука письма что в жалобе, что тут, в доносе, и впрямь едина, — подметил Спешнев.

— Значит, Яким тебя осведомил, что Крупышев жалобу на тебя подал?

— Нет, — пожал плечами матрос.

— Не ври! Не то в застенок велю, — напирал Гвоздев.

Сообразив, что запираться не стоит, Петров сознался:

— Он. Сам прибег ко мне и поведал да тут же за три лисицы, токмо на моей бумаге, вспомог извет составить.

— Бумагу-то отсель спер, — вставил опять Спешнев, но не сдержавший себя Гвоздев, перебивая его, закричал:

— Сам беспутства да обиды чинишь, а за правдивый отпор тебе человека под петлю изветом гонишь?! В рожу тебе сей клеветой, в рожу!

Разгневанный геодезист, скомкав донос, бросил его в лицо Петрову. Иван Спешнев увидел, как зажмурился, сморщив лицо, матрос, отшатнулся от неожиданности и, насупившись, уставился под ноги на скомканную бумагу.

«Не удалось, — пронеслась мысль у Петрова. — Надо его не гневить, а там видно будет».

— Пошто не мне извет подал, а сотоварищу моему Спешневу? Или я для тебя не начальный человек? — не успокаивался геодезист.

— Потому как жалуете вы его, Крупышева, — пробурчал Петров.

— Вишь, каков ты подлец! Радеет в службе он, вот и жалую. — И Гвоздев подошел к скомканной бумаге, наступил на нее и растер на полу, приговаривая: — Вот тебе ответ на изветкляузу. Да высечь бы надобно.

— Михайло Спиридонович, позволь повинную принести, — заспешил с просьбой матрос, а сам подумал: «Так-так, бумагу с титулом ея императорского величества растоптал, и на тебя управу найдем, дай срок».

— Иди, смотреть тошно. Потом решу, как с тобой, — холодно ответил Гвоздев.

После того как матрос вышел, Спешнев обратился к геодезисту, который ходил из угла в угол:

— Да присядь ты. Чего маешься?

— Изветы, кляузы, жалобы, алчность и подлость людская вся наизнанку. Опостылело! Не для того в нужде и лишениях на край России ехал. По делу полезному томлюсь, Ваня! Скорей бы кто приехал да сменил, — остановился Гвоздев.

— Мне тоже любезней корабли строить, чем с фузеей бродить да в застенке кнутом размахивать. Токмо из-за любви к матушке Руси и поступаешься. Так что не ропщи, Спиридоныч, — рассудил Спешнев.

— Знаю и верю тебе, Иван. Да не все так мыслят. Вон, Илья Скурихин, из ссыльных, «слово и дело» на тебя доносит. Возьми там, прочти. — И он кивнул в сторону бумаг, лежащих на столе.

— Вот те на… Тут мне, однако, помолчать способнее, — озадаченно проговорил Спешнев.

— Так-то. Отныне всех кляузников забивать в колодки след и сажать в каморы. Потом в Охоцк переправим, для сыска. А честному, Ваня, кляуза не страшна.

Как ни тяжек труд, а строительство нового острога заметно продвигалось. Куда ни глянь, всюду тащат увесистые бревна, шкурят их, протесывают. Весь световой день не умолкает стук топоров мастеровых: служилых, казаков да их подручных — охолопленных камчадалов, которые рубят стены палисада крепости и ее башен.

В середине будущей крепости венец за венцом укладываются толстые бревна вековых лиственниц в стены церкви, которую ставят здесь во имя Успения Пресвятой Богородицы. Берег реки Камчатки и места построек завалены свежей щепой и желтоватыми стружками, от которых, особенно в жару, стоит в воздухе смолянистый терпкий запах. Для построек острога заготавливают лиственницу неподалеку от богатого рыбой озера Ус-кыг, которое казаки окрестили по-своему — Ушки. Потом эти высоченные лесины сплавляются в плотах вниз по реке к месту строения острога.

Перед главными воротами крепости разровняли площадь, вокруг которой понаставлены избы обитателей острога: казаков,

служилых и разного рода охочего люда — посадских. Их разномастные свежерубленые дома стайкой желтых цыплят жмутся к крепости-наседке. Обыватели строят избы без особой вычурности, и поэтому их вид носит отпечаток временности. Крыши — обычный бревенчатый накат, покрытый сверху травой или дерном. Под крышей оставляют отверстие для выхода дыма от беструбной печки-каменки.

Крепко живущие казаки, имеющие в холопах свыше десятка камчадалов, ставят себе просторные избы и амбары, а холопам — балаганы да зимние юрты во дворе.

Достраивается новый Нижнекамчатский острог, и жизнь в нем уже бьет ключом кипелым. Священник своевременно правит службу во временной часовне, и все чаще со звонницы, устроенной над главными воротами крепости, медноголосый колокол сзывает народ к площади на казачий круг либо на суд над повинными. Строго следят за ходом стройки — быть острогу крепче прежнего.

Похудевший и осунувшийся от забот Михайло Гвоздев сидит за длинным столом в приказной избе и беседует с казаком, коего прислал с важными вестями из Большерецкого острога Спешнев, отбывший туда по сыскным делам.

— И впрямь сам зрил, как выгружали из судна провизию да припасы? — переспросил казака Гвоздев, распечатывая сумку с почтой из Охотска.

— Вот те хрест! Покуда все из «Фортуны» не снесли на берег, не токмо я, все глазели. А как штурман Бирев пакет передал Спешневу, так он меня сюды и направил. А сам-то он, однако, с теми припасами и подойдет, — еще раз пересказывал казак.

Вынимая бумаги, геодезист подумал: «Не спешат вести в Камчатку. Лето в разгаре, а бумаги еще февралем означены».

Потом взглянул на казака и махнул рукой:

— Полно, иди. — И принялся читать указ.

«Нижний острог. Имеющему команду господину геодезисту Гвоздеву. Отныне, совместно со Спешневым, кроме сыска, принять все три острога и тех острогов жителей, как служилых людей, так торговых да промышленных, и командовать обче. Как токмо станет возможно, штурманам Генсу и Биреву выйти в море на судах „Св. Гавриил“ и „Фортуна“, дабы идти в Охотцк.

На Камчатке в каждом остроге оставить по двенадцать служилых людей, а остальных им привезти с собой. Кроме того, захватить служилых, написанных в поселении Охотцк (реестр приложен). Доставить комиссаров Эверстова, Трофимова и пищика Борисова вместе с собранным ясаком.

Привезти всю сборную ясашную казну, которую збирал Змиев и другие зборщики, а также полученную вами мягкую рухлядь от сыска служилых и участников измены.

Допросить тех служилых людей, кои ходили на забор ясака: по скольку мест чащины с ясашного человека они брали.

По доносам злоупотребляющих зборе ясака пятидесятника Андрея Штинникова, солдата Александра Змиева совместно с заводчиками-изменщиками Харчиным и другими, оковав в кандалы, прислать в Охотцк вместе с описью их пожитков…»

Чтение указа прервал вошедший в избу казачий пятидесятник Никифор Колыгов.

— Господин геодезист, — низким басом начал он, — там плоты от Ушковского озера пригнали, а людишек приставить на вытаску того леса некому. Фортеции дел капитана Казанцева полдни сыскать не можем. Сказывают, бражничает он где-то с иноземными женками, а лес в воде киснет. Дак позволь сам на то людишек с других дел поснять.

Гвоздев о чем-то призадумался и вслух сказал:

— Ленивому всегда праздник.

Потом встал из-за стола и вышел из избы вслед за Колыговым.

С крыльца приказной избы он огляделся. Строящийся острог напоминал муравейник.

— Над-дай! Над-дай! — неслось со стороны, где воздвигалась угловая башня.

Там с десяток человек, раздетых по пояс, с почерневшими на солнце телами, веревками затягивали очередное бревно на стену башни. Поблескивая от пота, служилые команды Степана Чуба копошились у стен церкви.

Степан становился общительней. Будоражившие его идеи отошли, затаились в глубине сердца. Повседневные насущные заботы все больше поглощали его, и он делался жаднее к жизни той, от которой многие годы пытался отстраниться в поисках призрачного Беловодья. Разочарованный в своей идее, Чуб

находил покой душе в тяжелой физической работе. Веселый по натуре, сноровистый не только в казачьем деле, он оказался неутомимым и в работе. Казалось, что Степан без устали то поигрывал топором, протесывая бревна, то пилил так, что выматывал двух меняющихся напарников. Михайло Гвоздев, видя радение Степана, стал назначать его старшим в разных делах.

— Никифор, забери команду Степана от храма, из кузни Саламатова с подручными да целовальника Полякова с прислужниками из кабака, пока и довольно. Я к плотам тоже подойду, — распорядился он.

Вскоре Гвоздев вышел из ворот крепости и, проходя мимо съезжего двора, увидел Ефима Пермякова и Алексея Поливанова — казаков, приставленных к сыскным делам. Они сидели на лежащем бревне и мирно беседовали. Гвоздев подошел к поднявшимся казакам.

— Ефим, дознайтесь да сыщите капитана Казанцева. Доставьте ко мне. Я буду на берегу у плотов, — озадачил он.

Ефим согласно кивнул головой:

— Сыщем. — И они направились через площадь.

Михайло Гвоздев еще издали увидел причаленные к берегу плоты, на которых устроены шалаши для жилья плотовщиков. Ряды длинных бревен, стянутые жердями да ременными вязками, полукругом огибали выступающую в реку Камчатку песчаную косу, намытую речкой Орат, или Радугой, как по созвучию называли ее казаки.

Плотовщики расположились на косе, неподалеку от воды. Веселый огонь костра языками пламени вылизывал закопченные бока котла, в котором булькала уха. Ветерок срывал запашистый парок и наносил его на идущего к ним Гвоздева.

«Кабы не рыба да порох, не выжить здесь недикому человеку — как худо здесь без землепашества», — подумал геодезист.

Поздоровался с плотовщиками и, присев рядом с их старшиной, спросил:

— Много ли леса еще до морозов приплавишь?

Старшина поскреб у виска и, нахмурив лоб, ответил:

— Как знать… Зело тяжко бревна к берегу волочить. Собачками-то много не потянешь, сами пупы надрываем. А тут еще Спешнев давеча наказал, дабы промышленные дерева зарубать для постройки судов.

И он показал рукой на деревья, приплавленные с корнем.

— Вон, в последнем ряду, вишь, корни какие торчат? Дак то — копань. Ее, клятую, выкопать еще полбеды, а к воде с несносной тягостию волочить надобно, цеплят за все и токмо. Для мачт и прочих корабельных штук, то особый лес выбирать след, да и размер дабы соблюсти. Вот по тайге и выискивай лесины, да неблизко, опять же, к берегу таковые растут. Теперь сам посуди, господин геодезист, много ли спроворим леса аль нет. Опять же, осень подойдет, прокорм в зиму приуготовить надыть.

Никифор Колыгов с собранной командой шумно подходили к берегу. Они несли длинные ременные веревки, крючья и пилы.

Принюхиваясь к ухе, Степан Чуб ощерился в хитрой улыбке:

— О, спаси вас бог, братки, за угощение! А мы-то, дурни, думали натощак бревна волочить. Зараз и похарчимся.

— Этот квас не про вас, — прохрипел босоногий плотовщик, помешивая уху большой деревянной ложкой.

Он порылся в висевшей через плечо сумке-лудянке и, достав пучок какой-то травы, бросил в уху.

— Сладко съешь, да горько отрыгнется, — добавил хмурый, заросший до самых глаз рыжей бородищей казак, ломавший через колено сухой тальник.

— Ништо, я смирен духом, да не горд брюхом, усе всласть будет, — не сдавался Чуб под улыбки служилых.

— Будя зубоскалить, принимайтесь! — скомандовал Колыгов, а сам подсел к костру.

Кузьма Щербак и Филимон Баев по лесине, переброшенной с плота на берег, начали перебираться на плот, чтобы там цеплять бревна на брошенные с берега веревки. Кузьма уже подходил к плоту, балансируя руками, как идущий сзади Филимон Баев оступился и, падая в воду, увлек за собой Щербака.

Секунда — и Кузьма, отфыркиваясь, стоял по грудь в воде рядом с Филимоном. Дружный смех эхом отозвался на другом берегу.

— Гля, гля! — указывал на них смеющийся Тишка, — сунулся в брод по самый рот, ха-ха-ха, — заливался он.

— Где Щербаку по шею, там Фильке по колено. — И новый взрыв хохота сотрясал плечи служилых.

Высокий худой Баев выбрел из воды. Холщовая рубашка прилипла к его тощему животу и впалой груди.

— Филька-то зараз потолще стал, размок, поди, — ввернул Чуб.

Вокруг все еще смеялись казаки.

— Ведает токмо бог, пошто его живот усох, — вставил босой плотовщик.

— Ясное дело, с двумя иноземками живет, а на третью поглядывает, — донеслось из толпы.

— Будя, будя! Лишь бы не работать, — начал приводить их в чувство Колыгов.

Гвоздев обернулся на берег и увидел, как понуро идет Василий Казанцев, а следом за ним Пермяков с Поливановым. Поднялся и пошел им навстречу.

— Где пропал? — сухо спросил Гвоздев.

— Могу и не ответствовать: мне под каждой елью есть келья, — пьяным голосом ответил Казанцев.

— От дел отрешился! Как последний питух! Достойно ли это? — наступал на него геодезист.

— Не хочу здесь боле! — И добавил: — Тем паче с сумнительными людьми у одного дела стоять.

— Ты это о чем?

— На Спешнева «слово и дело» подано, и на тебя твой денщик Петров тоже донос Генсу в устье увез. А я с Генсом в Охоцк уйду. Ты мне не указ. Оба вы с Иваном в подозрении. Вот такто! — пояснил капитан.

Он хотел, но не мог отвести глаз от упорно-мрачного взгляда Гвоздева и почувствовал проницательность и силу этого человека.

— Не имей желания спрятаться за людей. Не того ты боишься — тягостей! — тяжело ронял слова Гвоздев.

— Да! Да! — сорвался Василий Казанцев. — За год, окромя рыбы, ничего вдосталь не ел! Где брать харчей? Вокруг не сеяно, не пахано. На корье жить?! Терпежа нет! Подыхать тут, как подштюрман Федоров, в хладе да дерьме! Уволь! К черту все!

Он еще что-то кричал вслед уходящему Гвоздеву, который зашагал к приказной избе, думая: «Федорова с тобой не равнять.

Тот с тяжкою немочью, а морской вояж не оставил. Его болезнь да гордость сломили. Не мог он унять в себе ту гордыню, за что простому люду был особо не люб. Иван Спешнев не раз порол хозяина избы, где квартировал подштурман, за то, что тот спьяну бивал больного Федорова. Но упрямый казак Карташевцев твердил одно, что не потерпит в своем хлеву того, кто кашляет по-дворянски. И в зиму оставил больного без запасов провианта, так как в бочку с рыбой для Федорова справлял нужду… Не-ет, Васька, ты-то быстро сломался! Худо, когда человек не по своей воле к делу приставлен».

Ему припомнилось, как в тысяча семьсот двадцать седьмом году после окончания Морской академии его, новоиспеченного геодезиста, затребовали в Военную коллегию, где он еще студентом работал четыре года в составе особой команды, проводившей проверку подушной переписи. В Петербурге-то и узнал о готовящейся экспедиции на окраину России для проведывания и описания новых земель. Сколько стараний и трудов приложил он, чтобы попасть в эту партию! Многие отговаривали его от рискованного похода, где легко можно лишиться всего: положения, учености и даже жизни. Но выбрал он только эту судьбу и терпит лишения на благо отечества.

За мыслями он быстро дошел до приказной избы и, войдя, сразу же принялся писать: «Штюрману бота „Святой Гавриил“ Якобу Генсу. Из-за новых указов из Охоцка благоволите от Камчатки не отваливать и обождать. Аки управлюсь с рапортами да с загрузкой на бот ясака, а також колодников, за ними же и отбудешь. Михайло Гвоздев».

В один из дней отзвонил, скликая народ, колокол. Все столпились, внимательно слушают. Не дай бог пропустить, не понять чего — от царицы указ объявляется. Глашатай, преисполненный важности, подошел к перилам высокого крыльца приказной избы и, развернув грамоту, громко объявил:

— Указ ея императорского величества самодержицы, государыни Анны Иоанновны. — И, прокашлявшись, начал читать: — «Известно нам учинилось, что в отдаленных наших Сибирских владениях, в Якуцком воеводстве и на Камчатке, как от воевод, так и от посланных для збора с ясашных людей ясаку комиссаров и других зборщиков чинится нашим подданным как в платеже излишнего ясаку, так и от взятков чащины

многое разорение, наипаче ж приметками жен и детей отнимают и, развозя, перепродают. Того ради мы, императорское величество, в заботе о ясашных народцах, домами и юртами живущих и кочующих, всемилостивейше повелев и сами нашими печатными указами объявить им, княжцам и прочим ясашникам нашу высочайшую милость и призрение. А також, что отправлены нарочные и особо знатные люди сыщики, которым повелено в вышеупомянутых раззорениях и обидах не токмо жестоко разыскивать, но пущих раззорителей и смертию казнить, а взятые лишние зборы и пограбления, сколько отыскано будет, возвращать. Також, которые некрещеные ясашные неволею побраны в холопы и распроданы, отпустить их в прежние места… Анна».

Заговорила, загудела толпа, затронутая за живое. Зашныряли в народе фискалы, приставленные к сыскному делу, чтобы услышать, узреть недовольного и вовремя крикнуть всемогущую фразу: «Слово и дело!» — да схватить, повязать, одеть в железы сумнительного. Понурые, расходились казаки. Не по нраву им указ государыни.

Никифор Колыгов брел домой чернее тучи. Он прошел между холопскими балаганами до просторного своего дома. Навстречу с крыльца соскочила собака и, виляя хвостом, запрыгала перед хозяином. Никифор поддал ей пинка, собака взвизгнула, отлетев от него, и нырнула под крыльцо. Вошел в дом, пропахший дымом очага и копотью жировика, хлопнул дверью, отчего колыхнулась холстяная занавеска в переднем углу над образом Николая Чудотворца. Зыркнув в сторону иконы, хотел было перекреститься, но передумал и опустился на лавку. В этой комнате никого не было.

«Попрятались, черти», — подумал он и крикнул:

— Тенива, где ты?

Но холоп не отозвался.

— Подь сюда! Басурман, убью! — неистово заорал он.

Из-за перегородки боязливо высунулось скуластое лицо холопа.

— Я ждеся.

— Пошто не идешь, коль говорено? Пес смердячий! Браги занеси, да быстро, — приказал он, сверкая недобрыми глазами.



Тенива тут же скрылся за дверью и, притащив со двора деревянный жбан, поставил его на стол. Никифор зачерпнул крепкой браги в ковш и махом выпил. Посидел немного, уставившись на засаленные доски стола, поблуждал взглядом по бревенчатым стенам, потом обратил внимание на ждущего новых указаний камчадала Тениву в потертой кухлянке.

— Тьфу ты, черт! Перемолвиться не с кем. Изыди с глаз, сатана! — рявкнул он на холопа.

Тенива шарахнулся за перегородку. Колыгов хотел было пройти в женскую половину дома, где находились его жена Меланья и две юные прихолопленные камчадалки. Меланья из местных полукровок, детей от Колыгова ей бог не дал, и с камчадалками она обращалась, как со своими дочерьми. Передумав, Никифор наполнил брагой берестяной туес и понес его к соседу Филимону Баеву.

— Как здоровится, Филимон? — кивнул с порога Никифор. Зыркнув по сторонам, вновь пробасил: — А где твоя челядь? — И уставился на узкогрудого, с костистыми лопатками Филимона, который настороженно встретил мрачного Колыгова.

— Да там, по балаганам ошивается.

— Как тебе новости царские?

— А-а… — махнул рукой Баев. — Теля умерло — хлева прибыло, — попытался отшутиться он.

— Я к тебе на сурьезе поговорить пришел. Свой своему — поневоле друг, должно.

— Ну говорь, коль доверишься, — ответил Филимон.

Колыгов подсел на лавку, поставил туес с хмельным на стол.

— Ну и времечко ноне: со своим же питьем, аки вор, таишься. Неси ковш-то, — обратился он к хозяину и продолжал: — Не раз еще попомним царя Петра Алексеевича. А эта царь-баба казацкий род под корень рубит. То запретила вино сидеть, теперь чуть что, беги в кабак, неси рухлядишко в казну — один разор. Дак мало ей! Указ выдумала: не брать инородцев в холопы, еще и отпустить уже охолопленных на свободу!.. Не-ет! Смерть — свобода для холопа! — И он бухнул кулаком по столу. — Они мне тож не просто достались. И в лихие времена подати рвать приходилось, а сколь животом рисковал ради ясака? А?! — распалился он и, допив брагу из ковша, вопросительно уставился на Баева.

— Да куды им без нас. Ведь лодыри несусветные, пока не ткнешь, сами не подумают. Без кнута, аки без пряника, — никуды. Поотвыкли, небось, от своей жизни дикой-то, отпусти их — погибнут, — поддакнул долговязый.

— Бабья власть треклятая! Ведьма! В скудость ввергает! Что же, мне ноне самому все делать? Провизию на зиму припасать, на пять жалованных рублев в год жить, когда и в сорок тут не уложишься? Какая тогда польза-выгода в службе? А в походы когда хаживать, ведь хозяйствовать надыть?! Чего деется-то, а? Вот супостатка, — все больше ярился он, злобно тараща глаза.

— Тише ты! Не ровен час — услышит кто да извет подаст — беда. Я вот что мыслю. Коли нехристей нельзя холопить, то крещеных-то, однако, возможно? В указе говорено: «которые некрещеные», про крещеных не поведано, — глядя в глаза Никифора, вставил Филимон.

— Где же ты крещеных-то наберешь? — не понимая, хмыкнул Колыгов.

— Дак этих и окрестить надыть завтра, и будут они не холопами, а вроде как крестники.

Нависающие брови Колыгова поползли вверх, просветляя его глаза, нижняя губа чуть отвисла, и он тихо произнес:

— Ну и лукав ты, паря! — И, резко хлопнув Баева по плечу, гаркнул: — Молодец, Филька! Завтра будет поздно: прознают об указе нехристи, не захотят, небось. Надо токмо днесь. Душу вытрясу, а заставлю их, — зажигаясь идеей, зачастил Никифор.

— Вот токмо кто похрестит? Отец Ермолай в отъезде ноне до Верхнекамчатского острога, а старец Исайя еще с весны в Святую пустынь, что у ключей разорена была, подался. Ноне тут токмо подьячий Мухоплев. Этот грамотей при церкви и дьячит, и пономарит. А с ним слад нужон, — засомневался Баев.

— Подьячий Мухоплев за соболишек и черта окрестит, — прервал его Никифор.

— Не богохульствуй! — осенил себя крестом Баев, озираясь на икону.

— Я ить меха в кабак не ношу, как другие. Найду оплатить услугу. Значит, так: ты достаешь вина, сколь занадобится, а я с ним столкуюсь. Ночью и окрестим, — заторопился Колыгов.

У входа он покачал головой и, обернувшись, пробормотал:

— Утешил… Ну и лукав ты, Филька.

Добрую избу выстроил себе Кузьма Клочев-Щербак. Разделил ее перегородками на три горенки, а в центре сложил печь-каменку из крупного речного галечника. Печь была без трубы, и дым, клубясь у потолка, выходил наружу через оставленное в стене волоковое оконце.

«Все же лучше, чем костер. Каменка тепло держит и избу греет, лучше бы с трубой печь, да лишнюю подать платить за трубу мне не с чего», — думал Кузьма, лежа на топчане, застеленном росомашьими шкурами.

Из запасов пушнины немного осталось у Щербака. Полученная в прошлом походе чащина почти вся разошлась то на постройку дома, то на мену у приезжих купцов. Вот и недавно купил он за меха два медных котла, ножи усольский да якутский, сермяжного сукна шесть аршин с запасом на новый кафтан. Взял для хозяйства большое огниво, но никак не научит холопов высекать искру. Они так и добывают огонь по-своему, суча руками палочку в дырке на сухой дощечке, да так ловко, что у них иногда сухая трава пламенеет быстрее, чем от огнива. Увидев красный шелк, взял его да забавных корольков мелкого бисера.

Купленный шелк и корольки поспешно завернул в сукно, чтобы не вызвать лишних расспросов любопытных, и тут же засомневался: «Нужон ли ей шелк? Сарафан, что давеча купил, уже с месяц лежит, а она и не притронулась. Хотя на других казачьих женок, красующихся в сарафанах, поглядывает вроде как с завистью. Сама же все одно то в кухлянке, то в летнем платье — хоньбе», — думал Кузьма.

С покупками домой пришел он тогда под хмельком. Может, и чаще бы он заглядывал в кабак, да не с пустыми руками туда ходят. Подозвав Наусчичь, насыпал ей в ладони цветных корольков. Давно не было так хорошо и благостно у него на сердце, как в тот час, когда радовалась она. Зажав бусы в поднятых руках, бурно выражая свой восторг, Наусчичь подпрыгивала и смеялась с повизгиванием. Потом разглядывала их поблескивающими черными глазами и снова смеялась. Кузьма смотрел на нее и думал: «Господи, радуется, ну чисто дитя. Бог весть сколько ей лет. Счет годам вести-ка у них не принято». Хороша собой Наусчичь. Черные как смоль глаза, волосы



заплетены во множество косичек, собранных в две тугие косы, перевязанные волокнами выделанной крапивы. Чуть раскосые глаза, смуглые щеки, отдающие румянцем молодости. Быстрая и ловкая в движениях, она нравилась Кузьме, хотя он себе все еще не признавался в этом.

За то время, что Наусчичь жила у него, выучил он ее варить пищу в котлах, толочь зерно в ступе, умываться. Ему припомнилось, как поначалу она взялась готовить толкушу и, по привычке, луковицы сараны, ягоду и кусочки юколы, залив медвежьим жиром, принялась толочь рукой, после чего эта рука стала намного бледнее другой. Тогда Щербак вышел во двор, вытесал топором пест и заставил ее приготовить толкушу заново. От многого пришлось ее отучать и многому учить. Так и привязался, что уже не мог представить свой дом без нее.

Наусчичь оказалась намного способнее своих сродников. Она уже знала много русских слов, но еще сильно коверкала их.

Когда сегодня ударил колокол, созывая жителей острога, она подошла к Кузьме, задремавшему на топчане, и, указывая в сторону крепости, заговорила:

— Кул-кул сафет. Бог-бог кафарить хоцеть.

— Сколько тебе-ка толковать: не кул-кул, а колокол, и не бог-бог, а поп. Ну, повтори: ко-ло-кол, — протягивая слово, наставлял он ее.

Наусчичь с сосредоточенным лицом, выпятив трубочкой полные губы, произнесла: «Кул-кул», после чего, махнув рукой, юркнула в свою горенку.

После схода Кузьма не пошел сразу домой, а решил уединиться и свернул на тропу, ведущую к речке Радуге. Поднялся на пригорок, продуваемый ветерком, и опустился на траву. Взяв в рот сорванную травинку, уставился на плавное течение речки.

«Вот те на, — подумал он, — знать, отпущать камчадалов… Ничего, самое трудное перемог, изба есть, и без холопов не пропаду. Жалко вот, если Наусчичь уйдет. Она уже пообвыклась, многому научилась. А из трех холопов жалко расставаться только с юркоглазым Тырилкой. Хотя молод, а уж видно: знатный зверовщик, за лето сколь разного зверья добыл. Одно не нравится: уж больно часто Тырилка таращится на Наусчичь.

Ну да бог с ним, скажу завтра, что отпущаю, коли схочет, пусть уходит. А вот как с ней? Однако, время поспело, надо поговорить. Останется — окрещу и тогда повенчаюсь, можа… Имя ей дам — Настасия, а то Наусчичь ведь — мышка. Это не по-христиански», — размышлял Кузьма, отмахиваясь от назойливых комаров, которые, несмотря на ветреное место, беспрестанно лезли в лицо, сбивая с мыслей.

Солнце закатилось за высокий частокол гор, и только желтеющая часть закатного неба предотвращала сумерки.

— Вот гнусье проклятущее. Донимат, и все! — беззлобно ругнулся Щербак и побрел в сторону дома.

В избе уже засвечены жировики и пахнет печеной на огне рыбой. На столе стоит деревянная чаша с кусками приготовленной красной рыбы, а в ковше чернеет жимолостный сок. Кузьма молча принялся за еду. В проем приоткрытой двери он видит, как в своей горенке Наусчичь рассыпала по полу собранные за день луковицы сараны для просушки.

«На зиму готовит. Однако, и впрямь, словно мышка, эта Наусчичь», — подумал Щербак.

Его мысль прервал вошедший в избу Тырилка.

Он замялся у порога, глядя на Кузьму, и, переминаясь, сказал:

— Хожаин, я штавни жакрыл, однако, пойду шпать.

— А где Ивар и Кашуга? — поинтересовался Щербак о других холопах.

— В балаганах, однако.

— Иди, — кивнул Кузьма и, задув коптящий жировик, пошел следом во двор.

Выходя, он еще раз посмотрел на дверь горницы Наусчичь и подумал: «Ладно, послухаю, о чем в кабаке бают, потом с ней решу».

Во дворе было темно. По черному, как деготь, небу желтоватыми крапинками разбрызгались звезды. Избы тускло светились подслеповатыми окнами, которые были затянуты выделанными медвежьими кишками. То в одной, то в другой стороне селения заходились от воя собаки.

Щербак вдохнул сырой ночной воздух и прислушался. Со стороны площади, от кабака, доносились обрывки фраз, хохот и брань.

Зазывают настежь распахнутые двери казенного кабака, прижавшегося к винокурне, невдалеке от главных ворот крепости. В нем прислужник под присмотром зоркого целовальника всегда поднесет ковш хмельного меда, настоянного на сладкой траве и заправленного орехами кедрача для пущей крепости. А коли желаешь, не обойдет тебя и чаркой крепкой раки. Знай не жалей соболей да лисиц — рухлядишка пушистого, печатные деньги здесь не в ходу.

«Нонче в кабаке, а раньше-то все в ясашной избе вечеровать да гулеванить собирались», — подумал Щербак и направился в сторону кабака.

Пройдя немного, он услышал истошный крик, донесшийся со стороны смолокурни.

«Чего тама-ка? — насторожился Кузьма, но вспомнил, что рядом усадьба Колыгова, подумал: — Опять Никифор, видно, лютует. Денно и нощно порет своих, а днесь тем паче: за указ, однако. Зло срывает. Непомеренно алчен Колыгов, и как токмо под богом ходит?»

За раздумьями он чуть было не наткнулся на идущего из кабака Филимона Баева.

— Тьфу ты, дьявол! Испужал, — сказал Кузьма, узнавая Филю.

— Стой, погоди! Я со спеху-то тебя не приметил. Ты чего в ночи бродишь, как шалый? Али указ не по сердцу, али по камчадалке своей жалкуешь? А, Щербатый? Я ведь просил ее у тебя давеча. Не хотел продать, уперся, да еще по рылу меня хлестал. А ныне-то, как сказывается, ни павы ни вороны не узришь. Теперь отпущать придется, — с откровенной насмешкой хмельным голосом выговаривал Филька.

«Так и подначиват, долговязый. Все не может успокоиться, что не отдал ему Наусчичь», — подумал Кузьма.

Он хорошо помнил ту стычку с Баевым, когда возвращались они со своими прибытками из похода от Бобрового моря.

Тогда Филька бесцеремонно обратился к нему: «Слышь, Щербак, отдай мне девку. За нее вон любого моего нехристя бери».

Кузьма недружелюбно посмотрел на него и не ответил.

«Чо, в сердце запала иноверка, али больно сладка, что двух за нее хочешь выторговать?» — подмигивая другим казакам, захохотал Филимон.

«Уйди-ка от греха, долговязый», — сдерживаясь, огрызнулся Щербак.

Но Филя не унимался, подбадриваемый смехом собравшихся: «Ведь все одно в новом остроге-то прображничаешь ее аль в зернь проиграешь. Лучше меняемся по-хорошему, не то я с ней полюбовно дотолкуюсь. Ей, небось, твоя щербатая морда надоела ужо?»

Ударом кулака по физиономии Фили Кузьма прервал хохот. Сцепившись, они катались, подминая сухой шеломайник, пока их не растащили.

Подскочивший на шум Колыгов погрозил кулачищем: «Вам что, кнута? В походе смуту чинить! Я вот…»

Поэтому сейчас, чтобы заговорить о другом, Щербак спросил Баева:

— Там недопил, дак домой баклагу с зельем тащишь? Тоже, видно, с великой радости загулеванил?

— А можа, и в радость будет, — загадочно изрек Филька.

— Филя, чего они там гогочут, аки жеребцы?

— Да над «попом поганым» потешаются, — ответил тот.

— Каким еще «поганым»?

— Над камчадалом Савиным, тем, что молебен в честь изменщика Федьки Харчина отслужил. В старом еще остроге, когда его нехристи-то захватили. А Федька, стервец, возомнил себя комиссаром и Савину за то служение два десятка лис из казны выдал да в ясашной книге пометку поставил о том. Да ты поди туды, сам все прослышишь, а я побег. — И Филимон заспешил в сторону смолокурни.

После разговора с Баевым Кузьма раздумал идти в кабак и долго бродил по закоулкам острога, тревожа собак. Наконец решился и свернул домой. Войдя в избу, засветил жировик и прошел в комнату Наусчичь. Она спала. Щербак остановился, теряя решимость. Блики племени от огонька жировика играли на ее румяных щеках, на плотно закрытых веках с длинными ресницами.

«И впрямь приладна иноверка. Эх, матроз, матроз… И жизнь вроде как повидел ужо, а все робеешь», — корил он себя и тронул ее за плечо.

Наусчичь встрепенулась, увидев Кузьму, вскочила и, поджав ноги, села на топчане, прикрываясь мягким покрывалом из заячьих шкурок. Она спросонья смотрела на него удивленными

глазами, беспрестанно хлопая ресницами. Глядя на ее безгрешно чистый взгляд, Кузьма заулыбался.

— Испужалась, небось? Моргашь-то, ну чисто сова.

Он подсел к ней на топчан, поставил жировик на столик.

— Наусчичь, — начал он, заглядывая ей в глаза, — со мною тута жить останешься? От меня не уйдешь?

Она посмотрела на него, не понимая, о чем он говорит.

— Ну если Тырилка, Ивар и Кашуга опять в Оретынгань пойдут жить, ты с ними пойдешь? — старался разъяснить он.

Она подумала немного и, покачав головой, ответила:

— Наусчичь Оретынгань не хочешь. Щербак, ты добрый. Наусчичь тут будут.

— Неужто правда?! Господи преблагий! Наусчичь, я тебе худа не сделаю. — И он хотел добавить «любушка моя», но что-то его удержало и вместо этих слов он добавил: — Мил дружок.

После чего он быстро прошел в свою спаленную комнату, вытащил из-под топчана сундук, порылся там и опять забежал к ней.

— Вот, тебе. — И положил перед ней цветастый шелк.

Наусчичь потрогала скользко-гладкую цветастую материю, улыбаясь, принялась рассматривать яркие цветы на рисунке, трогая их рукой.

«Все-то ей в диковинку», — подумал Кузьма и сказал:

— Одевайся-ка. Я гостя приведу, он за священника служить будет, а ты еду приготовь. По такому случаю кашу ячменную завари. Тырилка вспоможет. Я скоро возвернусь.

Щербак, радостный, словно вылетел из избы и, подойдя к лестнице, приставленной до двери невысокого балагана, дотянулся рукой и стукнул в дверь.

— Тырилка, подь сюды, — крикнул он.

Дверь отворилась, и оттуда показалась взлохмаченная, с заспанным лицом голова холопа.

Тырилка, вытянув шею, просунулся всем телом сверху вниз и, глядя на Кузьму, спросил:

— Цево?

— Тьфу, черемши-то наперся, на версту вонит! Слухай, бери два соболя и быстро в кабак. Принесешь малую баклагу раки и жбан медку. Буди-ка Кашугу с Иваром, пусть рыбы к столу приготовят, гость будет, да Наусчичь пособи по дому. Разумеешь?

— Латна, я сцас, — мотнул головой Тырилка и скрылся в проеме двери.

Быстрым шагом Кузьма подошел к дому подьячего Якима Мухоплева и постучал. Никто не отозвался.

Он посильнее громыхнул дверью, и из избы донесся голос жены Якима:

— Кого еще черти носят в этакий час?

— Марфа, Яким нужон.

— Нету его, еще давеча ушел.

— Куды ушел, в ночь-то?

— Дело его, куды похочет, туды и пойдет.

— Марфа, ну сказывай же. Шибко нужон Яким!

— Чего это сегоды у вас терпежу до утра нету? То и дело стучат, весь сон порушили, окаянные. Колыгов давеча за ним приходил, вот и пошел, а куды — не ведаю.

— Ну господь с тобой, благодарствую, — ответил Щербак и заспешил в сторону смолокурни, где жил Колыгов.

Из-за горного хребта выкатилась неяркая луна, подернутая красноватой пеленой. Словно злобным глазом, смотрела она на землю, заливая ее скупым мутноватым светом. Луна высвечивала в темноте кривые проулки острога, бревенчатые строения. Даже ночью большая изба Колыгова выглядела приглядней других. Около избы Кузьма различил стоявших у балаганов людей. Подьячий Яким с кадилом и церковной книгой в руках стоял рядом с долговязым Баевым, которого уже покачивало от выпитого. А впереди них с плетью в руках набычился Никифор. Он зло уставился на трех холопов, привязанных к сваям балагана.

— Можа, тебе хватит уже окрещенных, а этих упрямцев отпусти, сколь их пороть-то можно. Зело упрямы. Из двух-то десятков трое — невелика потеря, — сказал Яким Колыгову.

— Нюни-то не распущай, «отче»! Пошел в попы — служи и панихиды. Тем паче не задарма, — оборвал его Никифор и, подступив к привязанному коренастому камчадалу Камаку, грозно спросил: — Одумался?.. Ну, согласен?! Говори, ирод! Не то воистину черева отобью. — И наотмашь ударил его.

Камак упрямо вздернул голову и несогласно помотал ею, с ненавистью глядя в бурое от злобы лицо Никифора.

— Басурман! — неистово заорал Колыгов и с силой пнул его по оголенной и распухшей уже от битья ноге. Вопль отчаяния

и ярости вырвался из глотки Камака. Сверкнув глазищами, он рванулся, пытаясь освободиться от ременных обвязок, накрепко притянувших его к столбу.

— Христос с тобой, Никифор! Грешишь! — крикнул ему подошедший Кузьма.

— Не в свои сани не лезь! Вон отсюдова, паскуда! Расшибу! — пьяным голосом заревел Колыгов, поворачиваясь к Щербаку.

— Не больно-то ершись! Не к тебе пришел — за Якимом я.

— Чево стряслось? — поспешил встрять подьячий, которому уже явно надоело затянувшееся крещение.

— Зело нужон, — ответил Кузьма.

— Дак вот, казачки, я свое дело сладил, как обговорили, а этих на привязи крестить — беса тешить. Дак я пойду, знать, другим спонадобился, — стараясь быстрее распрощаться, засуетился Мухоплев.

— Можа, по чарочке еще, отче? — промямлил Филимон.

— Не можа боле. Довольно. Трезвым бог правит, пьяным — черт шатает, — отказался подьячий.

Кузьма повел Мухоплева к своей избе.

По дороге подьячий спросил:

— Тоже насильно крестить, аль как?

— Зачем же силою? Своей охотою. Чего возьмешь-то за служение? — поинтересовался Кузьма.

— Как за спешное — возьму по четыре соболька да лисоньку за душу. Всего-то!

— Побойся Бога, отче!

— В церкви-то втридорога обойдется. Да и время не терпит. Не скупись, отрок. Не то я — домой, ужо за полночь, — обиженным тоном произнес подьячий.

— Не взыщи, Яким. То к слову пришлось. Это я так, дабы по совести. Сам ведаешь, кто я: ни богат, ни знатен. Но что просишь — грех отказывать. Пойдем, пойдем.

Щербак с Мухоплевым вошли в избу. Печь-каменка жарко топилась; в котле, стоящем на печи, побулькивало варево. В избе — дымновато и пахло паленым. Два жировика освещают дощатый стол, на котором расставлены глиняные миски с ломтями красной рыбы и соленой черемшой. Рядом с баклагой раки стоят деревянные ковши и жбан вина, которое

казаки называют медком. Вид в горнице уютный и располагает к застолью. Но подьячий, чтобы побыстрее покончить с заботой, распорядился:

— Пусть поднесут чистой водицы из живца. Для окропления вместо святой водицы сгодится.

Щербак тотчас послал за водой к берегу Радуги, где бил мощный чистоструйный родник. Схватив бадейку, холоп Ивар убежал по воду. Пододвинув лавку ближе к столу, Яким присел, развернул книгу, снял с пояса металлическую пороховницу, в которой он носил чернила, откупорил ее и поставил на стол. Взял гусиное перо, лежавшее меж страниц церковной книги, и приготовился писать.

Хлопотавший у печки Тырилка смотрел на приготовления Якима удивленными глазами. Он так увлекся диковинными вещами, что потихоньку стал пододвигаться к столу.

— Чево рот раззявил? — осадил его Яким.

Тырилка, вздрогнув, отошел опять к парившему котлу.

— Ну, кого и как звать-величать станем? — обратился Яким к Кузьме.

— Пиши: Настасья, — ответил тот.

— Молода? Сколь годов? Где она? — засыпал вопросами подьячий.

— В своей горенке. Знать, нас завидя, ушла, а годов — не ведаю, сам позри. — И Кузьма направился к двери горенки Наусчичь.

Тырилка недоброжелательно посмотрел ему вслед. Кузьма вошел к ней и остолбенел. Она стояла в сарафане, давно подаренном ей. Льняной с синим оттенком сарафан подчеркивал ее статную фигуру.

Щербак, полупав глазами, невпопад спросил:

— А где хоньба?

— Тама. — И она указала на печь.

— То-то паленым пахнет, — любуясь ею, ответил Кузьма и, взяв Наусчичь за руку, улыбнулся ей: — Славно тебе сарафан. Приладно. Там подьячий ждет, пойдем. Не бойсь.

Она взглянула, словно прожгла его лучистым взглядом, и покорно пошла за ним. У стола присела поодаль на лавку и, засмущавшись, поджала губы.

Мухоплев удивленно вздернул брови и уставился на нее.



— Ну, сколько?

— Чего сколько?

— Годков-то, как мыслишь? — напомнил ему Кузьма.

— А-а… молода еще. Ишь глазаста… запишем — осьмнадцать.

— Фамилию-то твою, аль какую другую писать?

— Мою, как же. Пиши мою.

— Знать, Щербакова Настасья, — уточнил Яким.

— Как это? Клочев я. Щербаком-то меня кличут, — возразил Кузьма.

— Вон чего, — остановился подьячий, — знать, Клочева… Щербакова-то звучит поблагостней, — засомневался Яким.

— Коли так, пиши Щербакова, — махнул рукой Кузьма и налил в ковш раки. — Давай, отче, за святое дело подымем чарку. — И пододвинул к нему ковш.

Крякнув после выпитого и закусив рыбой, Мухоплев спросил:

— Следующего как писать?

— Другого нету, — пожал плечами Щербак.

— Как? Одну? — обескураженно произнес Яким, явно огорчаясь малой выгоде от захода в этот дом. — А пошто этих не крестишь? — И указал на Тырилку и пришедшего с водой Ивара. — Можа, не ведаешь: не окрестив нонесь, более холопить их не будешь. Указ-то слышал? Это я тебе как подьячий сказываю.

— Я все ведаю. Захотят — останутся, неволить не стану, — ответил Щербак, подливая вина, желая задобрить Якима. — Настасья, поднеси-ка каши, — обратился Кузьма к Наусчичь.

После этой выпитой чарки Яким заметно охмелел.

Наусчичь поставила миску с дымящейся ячменной кашей и сказала:

— Кашу отведай, отце.

Подьячий скосил посоловевшие глаза на нее и подивился:

— Ишь к разговору как навыкла. Гор-раз-да.

Потом запустил деревянную ложку в отдающую парком кашу.

Налив из жбана хмельного вина, Щербак улещивал Мухоплева:

— Ты, мядком, мядком запивай-ка, отче. Скуснее, и не обожжешься.

— Зело приладна девка, Кузьма, пяток соболей да пяток лисонек набросишь, и обвенчаю сразу. Покрещу и обвенчаю тут же. На крещеной-то не грех. А девка — ну краса, да и токмо, — учтиво с лукавством в голосе заговорил Яким, вопрошающе поглядывая на Кузьму.

Щербак молча добавил нерпичьего жира в жировик, а Мухоплев продолжал его склонять к женитьбе.

— Одному-то жить, токмо грешить. Поелику ты однимедин, то тебе сам Бог велит. Токмо решиться всегда робко, по себе помню, а как во вкус войдешь да обвыкнешь, ну — милое дело. Молодка ладна. Соглашайся, Кузя, разом все и управим.

«Гораздо выходит. Я-то мыслил, как о венчании разговор завесть, а он сам», — подумал Щербак и поддакнул вслух:

— А ты прав, отче. Согласен я. Служи, одарю, как просишь.

* * *

Темные низкие тучи заполнили чашу долины. Срезав вершины окружающих гор, придавили своей тяжестью недостроенные башни крепости Нижнекамчатского острога и засеяли частым дождем. От этого вздулась речка Радуга. Желтой глиной с размываемых берегов закрасила светлые воды и понесла их в помутневшую многоводную Камчатку. Лишь к вечеру второго дня дождь прекратился, исчезли тучи, вновь обнажив красоту горных пиков.

Утром на берегу собрался отряд служилых для сопровождения казенного ясака и колодников, которых надо было доставить в устье Камчатки на бот «Святой Гавриил» для отправки в Охотск. Тут же причалены несколько плотиков, устроенных из спаренных батов, и грузовые лодки, заваленные тюками с пушниной. Рядом толпились служилые, поджидая, когда подведут колодников — заводчиков бунта да обвиненных по разным делам прочих разночинцев.

Щербак стоял рядом с Гвоздевым, который еще раз наставлял старшину отряда — Степана Чуба:

— Мягкую рухлядь сам целовальник Босиков пусть сдает, тебе до того дела нет. А вот колодников сдашь под отписку штюрману Генсу. Особенно — Федьку Харчина смотри. Будь

начеку. Не ровен час — в воду сиганет, греха не оберешься… В устье всех займи промыслом дичи да зверья. Все, что имаете, обменяешь у тамошних монахов в Успенской пустыни на соль. Да нерпичьего жиру заготовь для казны. До рекостава не тяни. Управляйтесь так, дабы по воде и вернуться.

— Зараз зробим, як уговорено, — заверил его Чуб и увидел идущих к берегу колодников, которых сопровождал конвой казаков.

Первым брел в колодке Змиев, за ним матрос Петров и служилый Скурихин, а следом приставленные к сыску Пермяков и Поливанов вели зачинщиков бунта. Ефим Пермяков сжимал в руках длинную позвякивающую цепь, что тянулась к колодке Федора Харчина, а Поливанов вел других — Родихина, Чамуру и Вахлыча. Сбоку от них — вооруженные казаки. Чуть поодаль шли другие колодники, а за ними двигалась толпа любопытных обывателей острога и сродников камчадальских вождей.

Служилые, стоявшие у берега реки, оживились.

— Позри, гривы-то поотрастили.

— Почитай, два года в неволе томятся.

— Вон, тот, — Федька и есть.

— По виду крепок, однако, Харчин-то?!

— Поговаривают — на воле-то оленя, бывало, настигал. Во каков!

Степан Чуб посмотрел на Федора Харчина, который вышагивал вперевалку, высоко держа голову. Из-под густых сросшихся бровей поблескивали карие глаза. Длинные волосы свисали на колоду, которая охватывала его мощную шею и запястья рук, согнутых в локтях. Колода опиралась на широкие плечи Федора.

Их взгляды встретились. Лицо Харчина на миг выразило удивление, и он задержал взгляд на Степане.

«Не чаял меня в живых узрить… Что ж, так судьбина повелела. Тем паче должное тебе воздать, Хведор, та и дружкам твоим, що за столь долгий сыск моего имени не упомянули. Иначе быть бы мне под колодою також», — подумал Чуб.

Перед заходом на плотик Харчин чуть нагнул голову — колода мешала смотреть под ноги, — ловко зашел на настил плотика. Потом обернулся к берегу, гордо посмотрел на своих сродников, толпившихся на берегу. Постояв так, он, не сгибая

спины, опустился на жердевой настил, подвернув под себя сильные ноги, и стал наблюдать, как усаживались на плотике остальные колодники.

Ефим Пермяков пристегнул к настилу длинную цепь, свисающую с колоды Федора, и буркнул себе под нос: «Береженого бог бережет», после чего сошел на берег.

В выступающие из-под настила концы батов встали камчадалы с длинными шестами в руках. Камчадалы отрабатывали повинность — гоньбу.

Когда все разместились, Степан Чуб подсел на плотик к Харчину и гаркнул:

— Отчаливай! — И уже потише сказал камчадалам-батовщикам, изготовившимся к отталкиванию плотика: — Погодь, погодь. Нехай вперед лодки с ясаком. — Выждав, когда сильное течение реки один за другим подхватило и вереницей понесло вниз направленные шестами и веслами плотики да лодки отряда, он махнул рукой: — Теперича трогай!

Федор спокойно взглянул на Степана. Он, конечно, был доволен, что Степка остался жив, но ничего не хотел ждать от этой неожиданной встречи с сообщником, так как за время отсидки по каморам у Харчина сложилась цель оставшейся жизни, и этой цели он твердо решил достигнуть. Чтобы отвлечься от набежавших дум, Харчин принялся смотреть, как на седой голове вулкана Шивелуч отражается румянец богини зари — Завины, как с горных низин невидимо снимает белое покрывало тумана всемогущий Билюкай. Потом, взглянув на мутные воды Уйкоаль, Федор подумал: «Чудно: два дня Завина так плакала, что всю воду в реке замутила, а ныне совсем радостна да красна».

Степан Чуб придвинулся к Харчину:

— Не тужи, Хведор, як и встарь, мы не в супротивниках. Поотстанем от отряда, нехай батовщики в кусты плот уткнут та с тобой и уходят. Я найду, що сбрехать.

Харчин взглянул ему в глаза и, чуть скривив полные губы, мотнул головой — нет.

Чуб повел бровью:

— Глупой, ведь на погибель тебя ведут. Где видано: голову бунта в живых оставлять?! Беги, пока момент!

— Хоть бежать, хоть уйти в подземный мир — это просто, как ни карауль. Давно бы решился, но как я буду



там глядеть в глаза сродников? Пошли за мной, поверили: лучше будет… Не-ет, Степка, однако, ехать надо. Большим тойонам русских скажу о наших бедах. Услышат все — решат по справедливости.

— Нет правды! — взорвался Чуб. — Нигде нет! Сколь я побродил, сколь искал, Хведор, нет ее, хочь убей! Поверь, сгубят тебя там, не инако.

Горячность Степана подействовала на Харчина. Он глубоко вздохнул и призадумался, вперив взгляд за плечо сотоварища. Выкатившийся из-за гор ласковый Коач брызнул лучами по мокрым листьям каменных берез, и вокруг сразу все повеселело. У Федора сильно защемило сердце, и он подумал: «Верно, куда и зачем ехать? Тут мои близкие и сродники, мои реки, леса и горы… Как хочется только тут, в своих местах, пожить и уйти в царство Гаеча, как все…»

Он чуть помолчал и, будто уверяя себя, отрезал:

— Нет!.. Ехать надо.

Чуб в сердцах махнул рукой:

— Уперся, як бугай. Теперича ясно, що не дюже тебя слухали, та и не все за тобой сгуртовались: в добренького царя да воевод веришь. Сон дурацкий! Я тож того не приемлю. Так и подмывает отбузовать тебя.

Харчин блеснул яшмой глаз и отвернулся.

Поостыв, Степан Чуб расправил усы и спросил:

— Решился?

Федор Харчин, не оборачиваясь, буркнул:

— Ехать.

— Очухаешься, та поздно, Хведор, — укорил его Чуб и повернулся к батовщикам: — Нажми на шесты!

Вскоре плотик с Харчиным и Чубом нагнал отряд.

Когда они поравнялись с таким же плотиком, на котором Варфоломей Чудинов с фузеей в руках сопровождал Черемача, Степан Чуб спросил:

— Тихо сидит?

— Смирен.

— Мой тоже, — язвительно бросил Чуб.

Варфоломей Чудинов, заметив мрачный взгляд Харчина, кивнул в его сторону:

— Ишь, однако, гложет злодей-тоска бедолагу.

— Ясно дело: в безвестные места ехать, а там лишь петля по нему и плачет, — рассудил Чуб.

— Да, горька долюшка. Поневоле свет не взвидишь, — вздохнул Чудинов.

Долго река несла отряд, петляя меж утесистых берегов. Скалы и поросшие березой склоны гор отражались в водной глади. Потом река вырвалась из каменных теснин на приморскую тундру. Течение ее стало неспешным, а со стороны моря потянуло сырым прохладным ветерком. Баты и лодки сблизились и пошли медленнее.

Немного погодя сидящий спиной к ветру Варфоломей Чудинов заметил:

— Свежо, однако.

— Холодно, та не оводно, — тут же отозвался Чуб и продолжил: — Не от холода зябнешь, время-то к полудню: похарчиться пора. Вон, вишь, Щербак та Обухов какову торбу развязали, надо к их лодке причалить.

Варфоломей махнул рукой и крикнул:

— Щербак, погодьте нас! — И бросил батовщикам: — Нажми пошибче.

Быстрее замелькали шесты, и спаренные баты догнали лодку, в которой Кузьма и Артем начали трапезничать.

— Чего это я тебе приглянулся? — спросил Кузьма.

— А как же, хоть рожей неказист, да мешком харчист, — осклабился Варфоломей.

— Да у вас самих-то вон сколь харча. — И Щербак указал на связки свежей юколы, лежащие на плотике перед Харчиным и Черемачем.

— На чужую кучу неча глаза пучить. То на прокорм колодникам. Да не жадись, у нас свои котомки тож есть. Совместно способнее, а чужое завсе слаще, — привязывая ремнем плотик к лодке, приговаривал Варфоломей. Потом он кивнул Чубу: — Нукась, где там твоя котомка? — и добавил уже для камчадалов: — Колодников сами покормите, колоды снимать не будем.

Харчин, глядя на юколу, сглотнул слюну.

«Далеко, однако, Охоцк, иначе столь рыбы в путь не дали бы», — подумал он и посмотрел на рядом плывущий бат, в котором везли исхудавшего до неузнаваемости Никитку Родихина.

Будто придавленный тяжелой колодой, ссутулившийся, он отрешенно смотрел в воду. Харчин глубоко вздохнул: «Никитке-то совсем худо. Казаки его изменщиком кличут, порченую еду дают. А ныне проведал он, что матку его, Офимию, плетьми забили на правеже за казака Чупрова».

К вечеру река принесла отряд к устью. Подправляя веслом, Кузьма смотрел на новый купол часовни Успенской пустыни. Раньше Успенская пустынь стояла неподалеку от старого Нижнекамчатского острога у речки Ключевки, но во время бунта была разгромлена. Теперь на старом месте остались лишь огороды, где монахи и ныне выращивают ячмень да репу. Пустынь же заново построили здесь, у устья реки Камчатки, поближе к морю да богатому Нерпичьему озеру. На берегу построили они варницу, где варили соль из морской воды, да совместно со своими крестниками-камчадалами промышляли тюленя, нерпу и прочего морского зверя.

Неподалеку от Успенской заимки виднелись приземистые казенные строения устьевой пристани: казарма для служилых и изба для хранения ясака да разной поклажи.

Течение вынесло отряд из-за последнего кривуна реки, и Щербак увидел синеющее Теплое море с белыми бурунами волн по прибойной кромке залива. Сразу же пахнуло просоленной сыростью.

— Вот и добрались, — устало произнес Артем, в такт работая с Щербаком веслами.

— Вон, позри, красавец-то стоит, — указал Кузьма на стоящий в проточке бот «Святой Гавриил».

Встречать подплывших к берегу реки сбежались все находившиеся у казармы матросы и служилые. Подошел и Якоб Генс. Поношенный мундир морского офицера сидел на нем опрятно. Высокие ботфорты были густо намазаны медвежьим жиром, а надраенные пуговицы мундира поблескивали от вечернего солнца.

Степан Чуб вручил ему пакет с почтой для Охотска, потом добавил:

— Мне указано колодников сдать под отписку.

Прищуренными глазами из-за отечных век Генс осмотрел сидящих на плотиках колодников и молвил:

— Потрудитесь все это доставить на бот. Там начальник вахтовой команды мореход Мошков, он и примет.

Чуб распорядился, и отряд поплыл под борт стоявшего неподалеку бота.

Когда они подошли, с него через борт переклонился Кондратий Мошков и, узнав своего друга, крикнул:

— Кузьма! Никак мореходить надумал, ась?

— Кондратий! Погодь, приятель, счас взберусь до тебя, все обскажу, — обрадовался встрече Кузьма.

Тоже признав Мошкова, Артем Обухов гаркнул:

— Гля, думали, свежи, а здесь все те же! Не худо вам тута?! Острог не строят и в море не ходят, все сбираются.

— Оно и выходит: кому и лежа работать, а кому — стоя дремать, — поддакнул Варфоломей.

— Эх, голова — два уха! Знать, не ведаешь: море — торопыгам горе, — назидал им Мошков.

— Колодников як подам? Руки их скованы, а крыл Бог не дал, — крикнул Чуб.

Кондратий сбросил к ним веревочную лестницу и посоветовал:

— Поснимай колоды на время, а веревкой за пояс схвати для надежи, дабы в воду не булькнули.

Пока готовили колодников, Щербак ловко взобрался на борт судна, где и попал в объятия Мошкова.

— Поздорову ли живешь, Кузьма-матроз?

— Все ладно, Кондратий. Знаешь, повенчался-ка я ноне с ней, Настасьюшкой окрестил. Зело понятлива она, да и люба мне, — спешил выложить новости Кузьма.

— Давай-давай выкладывай, мил человек, своих новостей короб. Позрю, накрепко ли якорь в землю бросаешь, — подбадривал его мореход.

— Избу горазду поставил. Холопы зело пособили, а ныне я их отпустил. Ивар и Кашуга ушли, а Тырилка не захотел. Так и живет у меня, мне да Настасье в помощь. А все тутошние иноверцы смекалисты, и что чудно: вовсе не врут. По сердцу они мне.

— Можа, в том их и беда, что не могут лукавить, — задумчиво произнес Кондратий, глядя на поднимавшегося по веревочной лестнице Федора Харчина.

— Вот так, все у меня и приладно, — продолжал Щербак и, перегнувшись через перила, крикнул Обухову: — Кидай!

Привстав в лодке, Обухов взмахом руки забросил конец веревки на судно. Кузьма потянул за нее и поднял на борт мешок, набитый прокопченной на костре медвежатиной.

— Это тебе. Дымленки приготовили с Тырилкой. Там у нас ведмедей этих — токмо не ленись промышлять.

— Ну-у ты, брат, слишком одариваешь. Неловко мне, — отнекивался Кондратий.

— Бери, бери-ка. Тебе промышлять-то не с руки, а я на земле-кормилице остаюсь. Знаешь, я вина с собой прихватил. Вот сойдешь на берег, и свидимся, мы здесь еще долго будем-то. А днесь не буду тут опинаться, не до меня тебе ужо.

Щербак, перевалившись через борт, спустился в лодку.

* * *

В начале сентября бот «Святой Гавриил», нагруженный пушниной, забрав колодников и прочих назначенных в Охотск людей, вышел в залив.

На прибойной полосе залива, неподалеку от устья реки, на лесине, выброшенной морем, сидели три монаха Успенской пустыни. Рядом суетились несколько камчадалов. Они подбрасывали дрова под большие котлы-цырены, парящие на огне кострищ. Каждый монах присматривал за своим котлом и, по выпаривании воды, соскребал соль в кожаный куль.

Увидев вышедший в залив бот, один из них изрек:

— Пущен корабль на воду — сдан Богу на руки.

— Эка суета мирская. Нигде от нее не утаишься, — прогнусавил второй, и опять молча продолжали смотреть, как на боте один за другим распускались паруса.

Служилые отряда Чуба стояли у казармы и долго смотрели вслед паруснику, пока тот не вышел из залива в открытое море.

— Вот и ушли. А когда нам смены-то ждать… — задумчиво произнес Варфоломей Чудинов.

— А чо ждать. И тут жить можно. Вон, вишь, те-то ничо не ждут. Расселись, яко черны вороны, — сказал Обухов, кивая в сторону монахов.

— Ну что, братушки, приуныли? — спросил Степан Чуб, усаживаясь на завалинку казармы. — За три седмицы шесть кулей соли отработали. Мало… — И он обратился к Щербаку: — Много ли жиру-воравни из нерпы натопили?

— Все осьмь кадок. Пустых боле нету-ка. В казенке щас стоят. Мяса тюленья жаль. Вспомню, как ту зиму сыромятны ремни жрали, а днесь тако добро бросам. Были бы пусты кади, засолить то мясо, зимой к прокорму подмога, — рассудил Кузьма, который был старшим среди жиротопников.

— Откель кадок взять? Зараз усе плотники острогом заняты. Коль с жиром поуправились, теперь на лов дичи навалимся. Ты, Варфоломей, выдай им сети. На всех тутошних кормовых озерах понаставим. Не дело нам до рекостава околачиваться. Наменять соли. Да по домам. Дров к зиме приуготовить, не то будет нам: Покров — натопи хату без дров.

— Поспешать-то след, да уж обдирают черноризцы: тридцать кулей опаленной дичи на куль соли, по-божески ли? Дичь… она, конечно, есть. По утрам — дак полна сеть, токмо знай выбирай, а вот пушить ее — морока. Ты бы, Степан, сходил к самому настоятелю, отцу Агафангелу, небось, цену сбавит. Однако, под одним Богом-то ходим, — высказывался Варфоломей.

— Бог-то один, да молельщики разные. Ладно, схожу, а вы — за дело.

Чуб поднялся и пошел в сторону Успенской заимки. Вот он, молитвенный дом, — Божий храм с приплюснутой куполообразной крышей, которую венчает большой деревянный крест. Молельница возвышается над остальными постройками пустыни, обнесенной плотным забором.

Чуб подошел к деревянным, на кованых петлях воротам и через калитку прошел во двор. Средь двора были вкопаны два сторожевых столба с перекладиной, на которой подвешено серебряное тарелкообразное било, заменяющее колокол. Рядом свисал серебряный пест, от удара которого било издавало чистый мелодичный звон.

С одной стороны к молельнице примыкала длинная рубленая пристройка, где находились иночьи кельи, а с другой стороны двора вдоль забора тянулись деревянные амбары, кузница, омунишник и псарня.

«Не худо приласканы у Бога под крылом, а все прибедняются», — размыслил Степан и тут увидел, как, пригревшись на скупом сентябрьском солнышке, дремлет, сидя на лавке, толстомордый инок. Он сидит, распустив губы и склонив голову, на которой чудом удерживается высокий клобук.

«Эдак и я бы служил Богу хочь двести лет», — подумал Чуб и проговорил нарочито жалостливым тоном:

— Ой, сердешный, службой умучен, леняга несчастный!

Монах вздрогнул и, уставясь на Степана маленькими свинячьими глазками, изрек:

— Пош-што тут?

К архимандриту Агафангелу. Срочное дело, — придав серьезность лицу, отрезал Чуб.

— Там, — махнул рукою в сторону храма Божьего монах и откровенно зевнул.

Степан подошел к резной двери церкви и, сдернув с головы свою потрепанную шапку, открыл дверь.

Едва сделал шаг в коридор, как с боковых лавок поднялись два дюжих монаха и, заслонив ему вход, засыпали вопросами:

— Куды? Кто пустил?

— К настоятелю я. Дело есть!

— Все дела решает иподьякон Василий в духовном приказе. Там, во дворе. Изыди, — ответил один из них.

— Да бывал я у Василия, мне к отцу Агафангелу дело, можа, государственной важности, — начал напирать Чуб.

— Ты, паря, глотку не рви! Изыди подобру-поздорову. Пущать не велено, — насупились монахи.

Тут в дверном проеме храма появился старец Агафангел с заостренной седой бородкой и белыми, спадающими на плечи волосами. Одет старец в пеструю парчовую ризу, на голове камилавка.

Иноки отступились, и старец молвил:

— Пусть пройдет.

Перекрестившись и поклонившись, Степан прошел в просторную моленную дома и сразу уловил сладкий запах ладана. Сверху через узкие оконца солнечные лучи падают на богато украшенный иконами и резьбой по дереву иконостас, который красуется у восточной стены моленной. Лучи солнца высвечивают из полумрака бледный лик Георгия Победоносца

с иконы-одиночки, установленной над приоткрытой дверью иконостаса — входом в алтарь. Весь иконостас в живописных иконах разных размеров. Тут и иконы-людницы, и трерядницы в золоченых рамах.

Подавленный величием и богатым убранством молельницы, Чуб невольно остановился, не сводя глаз с иконостаса.

Агафангел подошел к изумленному казаку и спросил:

— Любо?

— В столь диком краю оное… — вымолвил тот.

— Дикий край — богатый край. Сие смиренный инок Игнатий Козыревский еще в тыща семьсот двадцатом от Рождества Христова привез на Камчатку. Якуцкий иконщик Иван Новограбленный зело мудр в иконописании. А эта икона еще в годину освящена, сей Успенской пустыни жалована от Киевско-Печорской лавры, о том и надпись на ней гласит, — объяснил Агафангел и прошел в боковую дверь, ведущую в его келью.

Степан поспешил за ним. Усадив прихожанина на лавку у стола, заваленного молитвословами и святцами, Агафангел присел напротив него на деревянное кресло и повел беседу:

— Каково тебе житье-бытье у служилых?

— По-разному: часом с квасом, а порою с водою.

— Бог добр и воздаст достойным.

— Да. Бог не без милости, казак не без счастья, — согласился Чуб.

Агафангел посмотрел внимательно, узнавая бывшего когда-то на излечении у монахов казака, и подумал: «Экий лукав, прохвост, оклемался, на язык бойкий стал» — и, погладив тонкую бороденку, продолжил беседу:

— Поведай, что привело тебя ко мне?

— Уповая найти защиту, бью челом от всех сотоварищей. Отче Агафангел, поборите алчность иподьякона Василия. Непомерную цену за соль заломил, а не для себя мы ту соль просим — для казны государевой, — заявил Чуб.

— Что ж, всякому о своем житии да пещись. В казну государеву отовсюду деньги, что галье, в стаю сбиваются. А мы, слуги боговы, сохнем от глада да печали, дни бесцветные влачим, приводя в веру Христову иноверцев. Нам слабость иметь — антихристу на потеху, — озаботился сразу старец.

«Можа, и так, да инородцам от того проку нет», — мелькнула мысль у Степана, и он, предчувствуя отказ, упал духом.

— Сколько у тебя людишек? — спокойно спросил настоятель.

Спокойствие старца вдруг заронило искорку надежды, и Степан поспешно выпалил:

— Полтора десятка.

— Миром-то любое дело правится. Снизойдет вам Божье утешение да благодать.

— Знать, останется, как есть? — растерянно уточнил Чуб.

— Разные пути у нас, разные думы, — заканчивая беседу, поднялся Агафангел.

Он посмотрел на склонившегося перед ним Степана и подумал: «Все пошло в России не для Иисуса, а для хлеба куса». И тут же отогнав эту мысль и осенив уходящего Степана, напутствовал:

— Да не оскудеет Божья долонь.

Выйдя из монастыря, Степан Чуб, хмыкнув, подумал: «И впрямь у святых отцов не найдешь концов».

На смену голубым денькам сентября пришли короткие октябрьские. Даже в воздухе чувствовалось приближение холодов. Небо над тундрой выцвело. По берегам кормовых озер появился утренний легкий ледок. Под налетом инея скрыла свою блестящую черноту тундровая ягода — шикша.

Отряд Чуба возвращается в Нижнекамчатский острог. Загруженные солью и нерпичьим жиром лодки уже второй день тяжело поднимаются вверх по течению Камчатки. На впереди идущей лодке размашисто гребут веслами Щербак и Артем Обухов.

— Передых бы, — признался Кузьма.

Направив лодку к берегу, они подналегли на весла и, сходу ткнувшись в галечный берег, стали поджидать отставших.

«Посчитай, два месяца не был дома. Как там моя Настасьюшка? Чем-то занята? Ягодный сезон отошел. Обрадуется, поди, как возвернусь», — подумал Кузьма.

Думая о жене, он вспомнил и подарок, который выменял у монаха: несколько желтоватых шкурок бельков. «Ладные, однако, торбаза выйдут женке».

Вторая лодка, шаркнув днищем, приткнулась рядом.

— Уф-ф… маета, — вздохнул Варфоломей Чудинов.

— Еще два кривуна — и будем дома, — успокоил его Кузьма.

Тут из-за поворота вынырнул бат, и Обухов вскочил на ноги.

Он поднес руку ко рту, громко закричал:

— Э-ге-гей! Плыви сюды!

Тут же повскакивали все с мест и вместе с Обуховым замахали руками, подзывая плывущих. Их заметили, и идущий под шестами бат, быстро приближаясь, вскоре ткнулся рядом. Это Филимон Баев с двумя крестниками-камчадалами шел на ловлю гольца к своему месту. У каждого жителя острога имелось на реке свое излюбленное улово.

Узнав служилых, казак Филька осклабился:

— А-а… Други любезныя, заждались вас. Соли в остроге не сыщешь. А как назло, к осени рыбы дивно. Прет до сих пор. Так что поспешайте.

— И так спешим. Вишь, руки-то раскровенили, — огрызнулся Щербак, показывая на кровоточащие мозоли.

— Может, чего нового поведаешь? — спросил Артем Обухов.

— Новостей целый короб, — начал Филимон. — Намедни из Охоцка сыскная канцелярия с солдатами да с якуцким офицером Мерлиным сюды пожаловала. Словно волки, зарыскали его люди. Вновь хватают сумнительных, все вынюхивают, дознаются. Никифора Колыгова свели в камору, — выплескивал новости Баев.

— Взяли-таки! — встрял Артем.

— Поделом сей сволочи, давно по нему петля плачет. Каменный он человек. Мздоимец и лиходей, — загорячился на известие Щербак.

— Чего несешь, дурья голова, — оборвал его Филя.

— О том и толкую. Забыл?! Как в походе сколь раз он тебя, да и других, по рылу хлестал? А сколько камчадалов живота лишил ради прибытку?! — заершился Кузьма.

— Полно, не для того сошлись, дабы лаяться, — вмешался в перепалку Обухов и обратился опять к Филимону:

— Еще-то что деется там? Сказывай.

— Многих уже в каморы попрятали. Матвея Новгородова, брата бывшего приказчика; подьячего Мухоплева Якима

и ключаря Гаврилу Чудинова — твоего брательника. — И он повернулся в сторону встрепенувшегося Варфоломея.

— Во дела! Не врешь? — удивился Обухов.

— Вот те крест! — осеняя себя, побожился Филимон.

— И подьячего за загривок… Однако, всурьез сыск чинить станут, — обеспокоился Чуб.

ГЛАВА 4

Июнь. Над Якутском палило солнце. Скорняков-Писарев пришел раньше, чем уговаривались, присел на лавку, стоящую в тени под дощатым навесом у входа в канцелярию воеводы. Огляделся. Вокруг царит обычная полуденная дремота. Под крыльцом канцелярии пятнистый приблудный пес, высунув дрожащий розовый язык, жмурит глаза и изредка, клацая зубами, отгоняет назойливых мух. В тени под стеной крепости на земле сидят куры. Раскрыв клювы и растопырив крылья, они, время от времени трепыхаясь, купаются в пыли и опять затихают.

С новым воеводой Скорняков в хороших отношениях: или из-за покладистого характера того, либо еще не успел зазнаться воевода и старался прислушиваться к советам Григория Григорьевича, а может быть, и побаивался столь влиятельного в прошлом столичного мужа, который вновь заручился крепкой поддержкой не только в Иркутске, но и в самом Петербурге.

Пронзительный скрип деревянных катков привлек внимание Скорнякова. Он посмотрел в сторону ворот крепости: оттуда въезжали груженные поклажей длинные повозки.

Волы переселенцев понуро тащили их по пыльной немощеной площади. Верхом на них сидели погонщики и стегали толстыми хворостинами равнодушных волов, сдабривая свои усилия забористой руганью, безрезультатно пытаясь ускорить их неторопливый ход. Мимо них на полном скаку, поднимая клубы пыли, буквально влетели в ворота верховые казаки. Осадили коней у коновязи, спешились и направились в караульное помещение приказной избы. Поднялась пыль, заполнила площадь, забиваясь во все щели и оседая серым слоем на крепостных постройках.

После явно затянувшегося полдника из воеводского дома, который стоял тут же, неподалеку от канцелярии, появился воевода Заборовский. Сын богатого тобольского купца, жалованного в свое время по велению царя Петра Алексеевича дворянским званием. Скорняков видел, как не по годам располневший низкорослый бородач Заборовский будто катился, часто и мелко семеня ногами, в длинной навыпуск рубахе с пояском, в холщовых портах на мужицкий манер и мягких кожаных сандалиях.

«Ну чисто простолюдин», — подумал Скорняков и встал с лавки.

Воевода увидел его, и улыбка засветилась на красноватом полном лице.

— Ужо поджидаешь? Заходь, заходь, — сказал он и вошел в канцелярию мимо вскочившего на ноги заспанного денщика.

Григорий Григорьевич пошел следом за ним в думную комнату. Заборовский грузно грохнулся в деревянное крепко сбитое кресло.

— Уф!.. Жарища-то, — выдохнул он.

— Да, наслышан я: сухмень стоит по всей России, все напрочь повыгорело, — поддержал разговор Скорняков, выдергивая из манжеты летнего камзола платочек, чтобы подать его потному воеводе.

Но тот рукавом рубахи вытер пот со лба и, заметив намерения Скорнякова и его удивленный взгляд, ответил:

— Лучше по-нашему. Не любы мне все эти выкобенивания; в обтяжку стыдкие штаны, с бород красу мужскую посняли, а на головы мочала завитые нацепили, ленточки, платочки. Эдак и обабиться можно… В Европиях я не учен, в политесах особо не разумею, так что сказывай — с чем пожаловал?

«Не учен, оно и видно. В этом-то и беда России: пни болотные к власти приставлены», — подумал Григорий Григорьевич, но, любезно улыбнувшись, заговорил:

— Что мне нравится в купецких людях, так это простота их и смекалка о пользе выгоды. И когда ту смекалку человек к государеву делу приложит, то полезней его трудно сыскать. Вот взять, наприклад, батюшку вашего. На таких Россия и держится! Кстати, как он? При силе еще?

— Стар, но дюж. Делами-то заправляет, — самодовольно ответил Заборовский.

— Пожаловал я не токмо просить вспоможения общия ради пользы, но и оказать почтение за премногое радение твое в исполнении указов, идущих на благо России. На Алданреке и на Каменном перевале, в местечке Юдомский крест уже поселены, и не без твоей помощи, якуцкие и прочие людишки. Есть теперь кому смотреть за столь тяжкой окраинной дорожкой России. Об этом я известил даже в Сенат. — Скорняков замолк, поглядывая на скамью у стола, но не дождавшись приглашения, сам присел поближе и заговорил вновь: — Теперь бы в тех местах и в Камчадалии хлебопашество завести… Бывший воевода не желал внимать столь важному делу, так и не смог переселить туда пашенных крестьян, но в тебя я верю. Токмо не упустить бы время, переселить до зимы. Надо подобрать, кого переселять. Худых хозяев брать не след, лишь добрых пахарей. Дабы не сгубить дело.

— На кой ляд это пахарей-то, да в Камчадалию? — недоуменно похлопал глазенками воевода и, озаренный другой мыслью, оживился: — А правда, Григорий, что ты руку приложил, дабы сковырнуть тутошних воевод Полуэктова и Жадовского?

Скорняков поморщился от прямого вопроса и недовольно ответил:

— Полуэктов-то был сребролюбец знатный. Посулы брал за отпуск в Камчатку на сбор ясака. С комиссара Новгородова Ивана взял за то семьсот рублев. На другой год Михайло Шехурдин за то же передал ему двести лисиц, три десятка соболей да четыре бобра. Так что сам виновен. А Жадовский гонорист был. Все поперек. — И, желая сменить тему, Григорий Григорьевич продолжил: — Ты уж присмотри, дабы крепких крестьян переселили. Тогда-то в дороге не токмо лошадей поменять можно будет, но и на местах прокорм поиметь. Помысли: в таких диких местах — и тракт «Якуцк — Охоцкий порт». А тракто — ой как нужен нонче! Ясак-то опять пошел с Камчатки, казна немалая. А коли торговать с Охоцка вскоре начнем, так еще важней дорога станет.

— С кем это торги вести задумал? — удивленно поднял бровь воевода.

— Коли есть море, знать, и страны далекие найдутся. Неспроста партия Беринга опять к этим морям идет. Пораскинь умом сам: ну что у нас за хозяйствование: собирать ясак либо

за бесценок спускать иноземцам лес, пеньку, а то и руду. Да так безголово еще при царе Горохе правили. Для чего, думаешь, царь Петр Россиюшку перетрясал, учил добрые холсты свои ткать, железо и прочее творить, чего у нас не делалось? Потому как он-то с дальним поглядом был, вперед многих понял, что по-другому надо хозяйствовать: не собирать, а создавать! Вот и нам надо обживать окраину: хлебопашцами заселим, люди в этих местах держаться будут, промыслы какие заведем. Тогда по морю торгуй себе с иноземцами, богатей, коли ум есть. Поездил я по Европе, повидел. У них своих богатств в странах — кот наплакал, разбазаривать-то нечего. Так они давно за ум взялись. Вот так-то.

— Чего нам Европия. Нашу Русь за год не обойдешь, лесам да зверю несть числа, а в земле — токмо Богу известно, сколь там богатств несметных: целые горы горюч-камня да железной руды из земли так и дыбятся. Чего тут мудрить, заводить что-то, пыжиться-думать, как обогатиться. Торгуй себе. Чем богат, пусть иноземцы берут. Коли деньги водятся. Лес вновь нарастет, зверь наплодится. Тем и могутна Русь, что землю такову от Бога имеет.

— Неисчислимы богатства, говоришь? Не-ет, как только торг бойко пошел, так в Московии лесок быстро стаял. Посчитай, весь флот в Европе с нашего леса построен, да и многое чего. Думаешь, зря тогда Петр Алексеевич заставил там весь лес перечесть, до каждого дерева, да под страхом смерти запретил зарубать лес у рек, дабы было откуда лесам вновь зарождаться. А возьми соболишек. С каждым годом все меньше в ясак идет, сам ведаешь. Вот тебе и неисчислимы. Сидишь тут в глуши и не ведаешь многого, а вот отдушина для России с Востока отыщется, тогда, как свет с окна, твою темень и прояснит. А пока порт строить надо, поклажу и протчее в Охоцк доставлять. Но бездорожье сему зело помеха.

Заборовский с вниманием выслушал Скорнякова и, не обижаясь на упрек в невежестве, подумал: «Говори, говори, много вас таких башковитых. Да токмо денежки-то счас нужны, а не потом» — и, ухмыльнувшись, заметил:

— Знать, все, как в Московии, устроить хошь? Лошадей в дороге да возки менять? Эк куды хватил! Думок у тебя, Григорий, ровно на собаке блох.

Скорняков немного сконфузился и про себя отметил: «Чурбак и лапотник сей Заборовский, но лишь бы дело правил, как мне угодно».

* * *

Камчатку лето жарою не балует. Совсем недавно перестал сеять нудный дождь. Нижнекамчатский острог нахохлился островерхими башнями достроенной крепости. Неподалеку от ясашной избы из добротного листвяка срублен государев дом — жилье для приказчиков, в котором обосновался ныне новый приказчик Иван Добрынский, принявший управление острогом у Гвоздева.

Посредине двора крепости у входа в новую церковь стояли Гвоздев, Добрынский и священнослужитель отец Ермолай. Они поглядывали, как казаки и церковные служники заносили в храм Божий богато украшенные иконы, кресты, хоругви, чаши для мира, вощанки с ладаном и прочее церковное убранство. Все это привез из Якутска отец Ермолай, прибывший в Камчатку с сыскной канцелярией Мерлина, чтобы обращать в веру христианскую строптивых инородцев.

— Как, по душе тебе церковь? — спросил Гвоздев у Ермолая.

— Знатно строена, слов нет.

— Так пожаловал бы по чарочке ради нового святилища. Вроде как и момент-то важен.

— Не грешно это, токмо как причащение… Не инако, — согласился поп.

— Пойду на плотбище да покличу Ивана Спешнева, не то он днями от постройки судна не отходит. Я спехом, — вспомнил о сотоварище Гвоздев.

— Тогда и Мерлина след причастить, оттого сыскным делам-то не убудет. Забеги в приказ, оповести его тож, — посоветовал Гвоздеву оживившийся приказчик Добрынский.

— Давай и Мерлина. По приходу не стыдно и расход держать, — одобрил отец Ермолай.

На пологом берегу Камчатки устроены небольшие стапеля, на которых достраивалось суденышко. Тюкали плотники, постукивали конопатчики, взвизгивали ленточные пилы в руках дюжих матросов, распиливающих бревно, лежащее на подмостках. Работа на верфи шла полным ходом. Спешнев что-то объяснял

пожилому мореходу Сметанину, который согласно кивал головой. Увидев Гвоздева, Спешнев направился навстречу.

— Так-то, Ваня. Свои дела по возведению острога я сдал. Поспешай и ты, да пора думать о возвращении из сей дальней землицы, — заговорил Гвоздев.

— Родная сторона — мать, чужая — мачеха. Десяток ден — и я управлюсь, коли новой службы не зададут, — заметил Иван Спешнев.

— Не зададут. Есть указ у Добрынского отправить нас в Охоцк и далее для сыска по навету Скурихина да Петрова. А ныне, по случаю вступления в новую церковь, отец Ермолай причастить нас вздумал. Грех отказать, тем паче забот наших тут положено немало, — с тревогой и грустью в голосе проговорил Гвоздев.

— Пойдем, коли званы. В Тобольске не хлебом-солью нас встретят, коли на нас «слово и дело» замолвлено. Так уж пойдем, Михайло.

Настало время отъезда Гвоздева и Спешнева. Почти все жители острога вывалили к берегу речки провожать начальных людей, с которыми были пережиты самые трудные годы. Отряд сопровождения уже расселся по лодкам, а Гвоздев со Спешневым все еще на берегу в окружении казаков да служилых вели разговоры, выслушивали напутствия.

Михайло Гвоздев, обняв на прощание рудознатца Гардеболя, приговаривал:

— Здоровья тебе и удачи в поисках руд. Авось, даст бог, да прибыль государству сыщется, не то, как варвары, данью живем. Народец бы больше в дело вовлечь.

Когда они подошли к назначенной им лодке, места им уже не было. Между гребцами все завалили котомками и узлами с провизией, которую подносили им на дорогу жители острога. Гвоздев еще раз оглядел доброжелательные лица провожавших и подумал: «Вот русская душа! Ведь и пороть кого приходилось, а они тута все и зла не держат».

Пока раскладывали котомки по другим лодкам, к берегу протолкались Щербак с Тырилкой. Запыхавшиеся, они подтащили куль с медвежьим мясом и принялись умащивать его на корму лодки.

Увидев, как осела лодка, Гвоздев взмолился:

— Кузьма, да полно уже, утопите меня своей добротой.

Тот в улыбке обнажил щербины свои и развел руками:

— Уважь, Михайло Спиридоныч. Тырилка-то у меня дюже мастак дымленку делать. Такой ни у кого не сыщется. — И направился было от лодки, но Гвоздев остановил его:

— Вот за что ты мне люб, Кузьма, так это за доброту к людям, особо к инородцам. Ты с сердцем к ним и с женкой своей по любви, а не для похоти, как многие. Такими, как ты, укрепляется Россия, на окраинах корни пущает. Живи в здравии, Щербак.— И, пожав ему руку, подумал: «Поболе таких сюда, быстро бы ожила Камчадалия. Глядишь, кроме огородов, и хлеба тут бы взрастили… А на хапок нельзя: оберешь народец, а дале что? Корня-то у них нет: рыбы да зверя мало — смерть».

Когда лодки отчалили от берега, отец Ермолай осенил крестом отплывающих и повернулся к Василию Мерлину, стоящему рядом:

— Рады, поди, что от сей скудной жизни домой путь держат?

В ответ Мерлин, сочувствуя Гвоздеву и Спешневу, вздохнул и, помолчав многозначительно, добавил:

— Мало радости там, куда им приписано.

Для человека, осознанно идущего на лишения ради достижения цели, чем труднее путь в этом стремлении, тем дороже та цель и время, посвященное ей.

Гвоздев, понимая, что покидает навсегда дело, которое не исчесть этими пятью многотрудными годами, полными голода, крови и холода, в которое вкладывал себя без остатка, с щемящей душу тоской смотрел на удаляющийся новый острог — свое детище; чувствуя, что оставляет в этом суровом краю часть своей души, он до боли в сердце удерживал в себе накатившийся порыв сентиментальности.

* * *

В темной каморе с отсыревшими от дождя стенами стояла духота. Из узкого коридора тусклый свет, как и воздух, пробивался в темницу только через щели двери. Несколько узников валялись на охапках веток. Из дальнего угла донесся болезненный стон казака, приведенного с допроса. В соседней каморе кто-то надрывно закашлялся.

— Кашляй потоне, потянешь подоле, — зло пошутил кто-то, и опять все стихло.

Только сквозь комариное зудение слышалось, как переговариваются, сидя на крыльце, караульщик и ключарь:

— Парит, однако.

— Знать, опять к дожжу.

Последнюю ночь Никифор Колыгов провел не смыкая глаз: одолевали мысли. Вот и сейчас он в раздумье: «И чего держат? Посчитай, год, как взяли. И вопрошали-то не раз, даже пороли, а где схорон с рухлядью, так и не дознались. Чего-то не тревожит меня Мерлин. Небось, забыл про меня, аль других дел уйма? Вон, каморы битком набиты, а сколько уже дух испустили от порок да скудного пропитания. Глаза-то, поди, от солнышка отвыкли. Сколь же себя думами да ожиданьем изводить?! Однако, измором берет, ирод! Ну как отдать скопленное по крупице?! Сколь лет затратил в лишениях да бедах. А не отдашь — сгноит подлый Васька. Околеешь тута, яко стерву, выбросят. Тогда кому рухлядишко это?! И что за напасть-беда привязалась, господи! Как быть? Ни единой надежды, дабы окрепить изнемогший дух… И что за душа у человека: колотись, бейся, а все найдется».

Неподалеку от двери, не обращая внимания на досаждавших комаров, лежал худощавый подьячий Мухоплев. Он жадно вдыхал струившийся из-под двери воздух и размышлял: «В великих поборах я не замешан. Что Мерлин мне, ну выпорет еще. Так и Спешнев порол, ан не добился. Кто правду хранит, того бог наградит. Ну обирал людишек, так за услуги, сами шли — подносы делали. Дак и прожил ужо все, мало что люди набрешут. Нет у меня схорона, нет, не добьетесь. Кто я потом без мехов? Нищехлебина!»

Шкрябание сапог об пол коридора прервало их горькие думы. Ключарь позвякал затвором, и дверь отворилась.

— Мухоплев да Колыгов, выходь!

Несмотря на пасмурный день, глаза узников слезились, привыкая к свету. У крыльца их поджидали трое казаков. В одном из них Колыгов узнал соседа Филимона Баева. Казаки одеты по всей форме. Колыгов с удивлением рассматривал на Филимоне новый кафтан, свисающий ниже колен, пороховницу на ремне через плечо, на таком же ремне

висит палаш. Шапка с меховой отделкой, начищенная до блеска фузея.

Потом полюбопытствовал:

— Чей-то вы повырядились?

— Строго ноне. Во всем крепко-накрепко приказано, одежда и протчее. Не то что вино сидеть, даже в зернь играть запретили, дабы азарда не иметь. А куды пойти от острога, дак гумагу пишут — пачпорт. Без оного схватят — да в приказ на сыск. Как майор Павлуцкий прибыл в помощь Мерлину, дак порядки да строгости во всем. Мерлин ноне допрошает с усердием, — осведомил соседа Филимон и, посмотрев на опухшего Мухоплева, заметил: — Каково рожу-то разбарабанило — не признать.

— Гнусье досадило, спасу нет от злыдней.

— Известное дело — комарье, — посочувствовал Филька, — велено вас в застенок доставить к Мерлину. Пойдемте, господь с вами.

Входя в распахнутую дверь застенка, Колыгов больно ударился лбом об ободверницу. Мелькнула мысль: «Фу ты, дьявол, однако, примета какая?» Но к чему эта примета, он не успел осмыслить: увиденное завладело им полностью. Посредине застенка с земляным полом на раскаленных углях лежали клейма и щипцы. Бревенчатые стены с паутиной по углам увешаны разными веревками, коваными крючьями, сжимами. У дальней стены на высокой лавке-козлах лежал, свесив руки, с исхлестанной спиной, бывший ключарь Гаврила Чудинов. Он был в бесчувствии. Несмотря на выставленные окна, в застенке духота и пахнет паленым мясом. Раздетый до пояса детина-палач из бадейки окатил Чудинова. Тот застонал. Два помощника палача тут же поволокли его через боковую дверь в другую комнату. Колыгов стоял у двери. Рядом с дверью — стол, за которым писарь ведет запись в шнурованной книге. Неподалеку от него сидел подполковник Василий Мерлин. В белом парике, в расстегнутом мундире и в светлой шелковой рубахе, прилипшей к груди. На голенищах его высоких сапог играли отблески пламени костерка. Не успел Мерлин оглядеть вошедших, как Мухоплев грохнулся перед ним на колени и, причитая, принялся неистово отбивать ему поклоны.

— Прелюбезный мой, милостивейший господин, словом Божьим клянусь — нету у меня боле рухлядишки. Все, что имел, еще Спешнев выдрал с меня! Нету боле, ей-ей, клевета сие, подла ябеда! И так уже за прегрешения второй год токмо молитвою и живу.

— Речист, да на руку нечист, — прервал его Мерлин. — Не там ты речь о Боге заводишь. Ладан на чертей, а тюрьма на татей. Зажрались вы тут вдали от ока государыни. Воровскими делами не токмо ущерб казне, но и конфузию в отечестве сотворили: таков бунт разожгли делами подлыми. На козлы его!

Палач с подручным, схватив Якима, быстро сдернули с него рубашку. Колыгов увидел, как съехали с чресел Мухоплева порты, обнажив его тощий зад. Через минуту он лежал уже на лавке, прихваченный ремнями.

— С десяток для начала, — махнул рукой Мерлин.

Свист и щелканье кнута, визг Мухоплева заполнили застенок. После восьмого удара Мухоплев стих.

Мерлин посмотрел на усердствующего палача и заметил:

— Легше, легше, не выбей душу.

«Ловок драть, сукин сын», — подумал Колыгов и, представив себя на месте Мухоплева, невольно поежился.

Закончив порку, блестящий от пота палач заявил:

— Больно хлипкие ноне все. И этот без чувств ужо. Авось придуряется?

Он окатил Якима водой. Тот вздрогнул и громко засопел. Василий Мерлин подошел к нему.

— Что, больно? — не дожидаясь, сам ответил: — Ништо… дело подневольно, — и принялся наседать на Якима: — Неужто рухлядишко пуще живота жалеешь, ведь паршами ужо зарос, сидючи в клети. Не дури! Сказывай! Не то на крюк, — строжился Мерлин.

— Ябеда сие, клевета, — прокряхтел Яким.

— Что ж, подьячий — пес смердячий. На дыбу его! — осердился Мерлин.

Веревками через блочки в потолке распяли Мухоплева так, что он как бы воспарил над полом застенка. Взяв короткий кнут, палач звонко хлестанул Якима, оставляя на теле кровоточащий синий рубец. Тот взвыл, оглушая Колыгова.

— Не вой! Правду говори! — рявкнул Мерлин.

Под ударами Мухоплев извивался, выкручивая себе суставы рук. Видя, что предстоит и ему, Колыгов тревожно вслушивался в учащенное биение своего сердца.

«Забьет напрочь», — подумал он, глядя на вошедшего в азарт палача.

Вдруг Яким обвис на руках, прогнув исполосованное тело.

«Никак отходит, господи… Всурьез, окаянные, взялись. У этого — не скажешь добром, окочуришься. Ишь рожа-то от злобы красна, хочь онучи суши», — взглянув на Мерлина, подумал Колыгов.

Снятого с дыбы подьячего поволокли в боковую дверь.

— Придет в себя — железом каленым спытаем, другожды помыслит, как запираться, — бросил вдогонку Мерлин.

«Против огня-то и камень треснет», — мелькнула мысль, и Никифор, окончательно решившись, шагнул навстречу Мерлину и негромко произнес:

— Потайно от него хочу поведать. — Он кивнул головой в сторону писчика.

Мерлин в упор взглянул на заросшего Колыгова и скомандовал писарю:

— Пойди на волю, при нужде кликну.

Писарь вышел.

Пока палач в другой комнате отливал Якима, Никифор тихо заговорил:

— Гляжу я: через оные способы все дознать можно; для ча время на вздоры тратить, скажу по-истинному. Есть схорон, и не пуст. Но жаль в казну отдавать: цена там немалая. Лучше, думаю, доброму человеку за услуги любезные к общей пользе применить. Не глуп я, ведаю: перо в суде, что топор в лесу, — чего захотел, то и вырубил. Прикажи, пусть отпишут мне положенную грамотку, дабы впредь меня не докучали. А я схорон укажу тебе либо твоему доверенному человеку. На том и замиримся. Думаю, с того проку больше, чем забьешь ты меня, а схорон-то никому и не достанется.

— Похвально, коль так. Со смышленым человеком и толковать всласть, — ухмыльнулся Василий Мерлин.

На смену дождям пришли солнечные дни лета-«запасихи». В такие дни жители острога разбредались по тундрам, лесам

и рекам, добывая и заготавливая себе пищу на долгую зиму-«приберихи».

Неподалеку от острога у берега многоводной Камчатки стоял шалаш. Рядом с ним устроены несколько юкольников. Жерди прогибались под висящими распластанными рыбинами, которые краснели сочными жирными пластами, поблескивая на солнце.

Тырилка нагревал на костре камни и бросал их в большое долбленое корыто, заполненное свежей рыбой и залитое доверху водой. Раскаленные камни шипели, шкварчали в булькающей воде и, как бы успокоившись, умолкали. Остывшие камни Тырилка вынимал и клал в огонь, нагревая вновь.

«Забавно, — размышлял он, — чем дольше подержу в огне камень, тем больше вселяется в него дух огня, а потом он в воде шипче ворчит, улетая белыми облачками в небо. Однако, шипко не любит дух огня воду».

Кузьма Щербак, мурлыча себе под нос какую-то песенку, взвалил на спину бочонок, приготовленный под рыбий жир, и понес его к берегу реки. Следом за ним увязалась Настасья с маленьким Степашкой. Она взяла его за ручонку и повела за отцом. Степашка резко выбрасывал вперед босые ножонки, отчего его заносило по сторонам. Отчаянно шлепая по пыльной тропинке, он семенил рядом с матерью. Отстав от Кузьмы, Настасья подхватила сына на руки и быстро зашагала вдогонку.

После того как у Настасьи появился ребенок, Тырилка стал реже находиться в доме, а когда появлялся, то бесшумно прошмыгивал в свой балаган. Стал малоразговорчивым и замкнутым. Вот и сейчас, хотя и недалеко от острога, Тырилка занимался вываривaнием рыбьего жира и заготовкой юколы, а ночевал тут же — на берегу. Он только что отчерпал плавающий в корыте жир и, слив его в туески, стоящие рядом, присел на карчу, разглядывая, как из булькающей воды появлялись красно-желтые пятнышки жира, которые накапливались сначала по краям посудины, потом все больше затягивали всю поверхность воды. Он не заметил, как подошел Кузьма, и, когда тот бухнул бочонком об землю, Тырилка вздрогнул и, обернувшись в его сторону, поднялся. Вслед за Щербаком, плавно покачиваясь при ходьбе, шла Настасья. Она, счастливо улыбаясь, смотрела на Степашку, который беспрестанно звонко смеялся и размахивал ручонками.

— Сколько натопил? — поинтересовался Кузьма, подходя к туескам и заглядывая в них. — Гораздо! Жирна рыбка-то.

Тырилка уставился на приближающуюся Настасью. Он стоял как завороженный, не слыша голоса Щербака.

— Огонь надыть пожарче, поскорей камни калить будет, — опять обратился Кузьма.

Не услышав ответа, Щербак взглянул на остолбеневшего Тырилку, потом на смутившуюся от его взгляда Настасью и, сдерживая шевельнувшуюся ревность, произнес:

— Ты чо на чужу женку пялишься?

Тырилка чуть встрепенулся, пряча глаза.

— Бог Коач дивно светит на них, — нашелся он.

Щербак еще раз взглянул на жену и сына, которые были как бы позолочены вечерним солнцем.

«И впрямь дивно», — подумал Кузьма.

Немного успокоившись, он принялся хлопотать у костра, возле Тырилки. Потом, навязав вязанки из готовой юколы и подвесив их на толстую палку, словно на коромысло, Щербак со своим семейством двинулся в обратный путь. Касаясь вершин горного хребта, начищенным медным котлом горело закатное солнце. Отражая его, река казалась огненной.

Они ушли, а перед глазами Тырилки все еще стояла освещенная ласковым Коачем его любимая Наусчичь. Ее глаза всюду чудились Тырилке. Он посмотрел на багряное небо, но и там увидел искристые глаза Наусчичь, потом перевел глаза на воды Уйкоаль — и вот они вновь смотрят прямо в душу. Он встряхнул черноволосой головой, отгоняя наваждение.

Как появился ребенок, Настасья совсем перестала замечать Тырилку. А для него она стала еще краше, еще желанней.

«Как, как сделать ее своей? Одна надежда — угождать Кузьме. Пройдет время, он возьмет себе еще жен, как и другие. А Наусчичь тогда отдаст», — думал Тырилка, глядя на темнеющую реку с искрящимися из нее глазами его любимой.

* * *

Приморский острог Охотск — унылое, продуваемое ветрами место. Ранее прибывшие команды матросов и служилых экспедиции Беринга с начала лета строили казармы

для офицеров и разночинцев. Возвели уже верфь для постройки морских судов. Лес для строений сплавляли сюда по реке за тридцать верст. В небольшом остроге было многолюдно и суетно.

Возлагая большие надежды на процветание Охотска, командир Охотска и Камчатки Скорняков считал себя полным хозяином в подвластных ему владениях. С присущей ему гордыней и самоуверенностью он навязывал свои решения по устройству верфи и жилья в новом порту. Но Мартын Шпанберг, командир первого отряда партии Беринга в Охотске, не менее самоуверенный и своевольный, делал все по-своему, резко пресекая все попытки Скорнякова распространять свою власть на дела, касающиеся экспедиции. Поэтому с первых дней знакомства они невзлюбили друг друга и во всех делах старались уязвить один другого.

Неподвластность Шпанберга ярила бывалого вельможного мужа Скорнякова, а указы, шедшие от Беринга, наделенного большими полномочиями, были полностью на стороне Шпанберга и рушили все замыслы Григория Григорьевича. Это ввергало его то в гнев, то в апатию, постепенно вытравливая рвение к делам. Но не так просто сломить человека, смолоду привыкшего дерзать, закаленного делами Петра Великого. И Скорняков постоянно шел на стычки со Шпанбергом, сыпал доносами во все инстанции, добиваясь своей правды.

В день, когда прибыл второй отряд партии Беринга из Якутска, в канцелярию Охотского порта заявился вестовой и вручил записку Скорнякову-Писареву. В ней значилось: «Милостивейший государь! На прибывшем боте „Святой Гавриил“ поступило с Камчатки смолы для строения судов всего двадцать ведер и двадцать пудов серы, а також осьмь пудов бараньего сала для выгонки жиру. Сие не составляет и половины положенного. Имея в полной своей власти управление Камчаткой, следует тебе употребить всю власть, как надлежит делам государевым, а не чинить великих помех своим нерадением. Коли к началу холодов не доставишь предписанное — донесу в Сенат, а до решения Сената властью, данной мне в такой дальности, возьму тебя под арест. Мартын Шпанберг».

— Обнаглел, ирод! От всех планов и дел моих отрешил своими заботами! Грозит — под арест! А шиш не хошь?! Выскочка заморская! Писать-то и я учен, — вскричал возмутившийся Скорняков.

Он вскочил из-за стола и заходил по комнате, разговаривая сам с собой. В этих расстроенных чувствах его и застал гонец из Иркутска сержант Басов.

Выслушивая рапорт, Григорий Григорьевич признал гонца вице-губернатора и, не дав ему представиться, заговорил:

— Присядь с дороги да давай бумаги взгляну: с чем пожаловал ныне.

Прочитав письмо, Григорий Григорьевич сделался пасмурным и подумал: «Эх, Жолобов, Жолобов, упустил надежных людей подсылать. Днесь уже Васька Мерлин в Камчатке состояние себе сбивает. Под шумок всех перетрясет, а что в казну с того попадет, о том лишь ему известно».

Он озабоченно посмотрел на бравого сержанта и заговорил:

— Коли сам Жолобов изволил за тебя поручиться, знать, токмо к важным ясашным делам тебя приставить след. Есть у меня одна непростая задача. В Камчатке ведет сыск по делу бунта и разорения ясашников майор, да ныне он уже подполковник, — Василий Мерлин. Но вот честно ли он дело правит, того не ведаю. Все ли изъятое в казну идет, берет ли посулы? Все это надо прознавать с пометками, сколько и чего недодано казне либо присвоено им да его помощниками, и записывать. Пересылать те известия мне через штюрмана шитика «Фортуна» Бирева.

— Знать, фискалом статься? — перебил его тот.

— Не в званиях и чинах суть, а в деле. Как говорится: гораздо службу справишь, дела свои поправишь. Ясашное дело не простое, на крови замешано. Слыхивал, поди, каков бунт в Камчадалии сотворили? Все ясашные дела… А что, как в таком отдалении и сыск не по закону чинить станут, опять ущерб не токмо казне, но и вере в Россию. Потому-то око государево, особо в ясашных делах, и нужно. А ты — «фиска-ал»!

Басов размыслил: «Что ж, неволен я, деваться некуда» — и согласно мотнул головой.

— Так вот, намедне отходит в Камчатку шитик «Фортуна», уедешь с ним. Доставишь Василию Мерлину лично пакет,

присланный мне прямо из Тобольска. Это конфирмация — приговор виновным в бунте, утвержденный свыше. Знай: бумага особо важная и может кое-кого зело интересовать. Потому о сим пакете никому ни слова: вези тайно. Вручишь пакет и останешься служить в Нижнем остроге при приказчике, ему я бумагу отпишу.

Когда сержант вышел, довольный Скорняков, потирая руки, молвил:

— Ну, Васька, теперь-то я тебя, как мышку из норы камчатской, стеречь буду. Токмо побольше нагреби, дабы было чем поживиться. Эх, как вовремя сей молодец подвернулся. Думал я, что упустил Мерлина, ан не-ет, дудки! Мозгов-то у Скорнякова хватит.

Похвалил себя Григорий Григорьевич и задумался: «Мерлин с виду-то служака ретивый, но руку в казну все одно запустит, а иначе кто, кроме самого, в должной мере оценит всех лишений, кои он претерпит там в дикости? Царица?.. Как не так! Мои старания при Петре помнит ли кто ныне? Нет! Так и идет: дела никому не нужны. Погрязли все во взятках. Вот не пошлю подносов в Иркуцк, враз неугодным стану. Так и Мерлину: своим начальным людям угождать след».

Его мысли прервал вошедший казачий пятидесятник Черных. Только ему Скорняков дозволял входить к себе без стука.

Привычным жестом тот смахнул с головы шапку и доложил:

— Все колодники по сыску «слово и дело» к посылке в Якуцк и далее изготовлены. Токмо геодезист Гвоздев да подмастерье Спешнев в колоды не забиты: зело противятся… Сюды в канцелярию к вашей милости прорываются, меня все устращают. Посему и решился известить о том прежде, чем сломить силой. Как быть?

Скорняков задумался: «Михайло Гвоздев да Спешнев великий бунт усмиряли, новые землицы проведали… в иное время им бы ордена вешать, а ныне — колода» — и распорядился:

— Оставь без колодок… хотя… постой, — засомневался он.

«А вдруг в сыскном приказе Тобольска и впрямь их вину усмотрят. Там-то мастаки признанья домогаться, лишь попади… Тогда как?.. Дружбу с ними узрят, а этого ли мне ныне надо?» — рассудил он и вслух произнес:

— В колоды, как всех.

Черных вышел, а Скорняков-Писарев приблизился к распахнутому оконцу, в которое вместе с бодрящим приморским воздухом вливалось солнце.

«Ко мне рвутся… а что я сделаю? Ведь „слово и дело“ на них молвлено. Окажи поблажку, дак найдутся любезники, кои токмо и ждут, чего бы противу меня повернуть», — убеждал он в себе того, второго Григория Скорнякова, который всю жизнь таится в глубине его души. Того, все еще совестливого, справедливого и сердобольного, теперь уж изредка, но все же нарушающего душевный покой Григория Григорьевича… Вот и сейчас этот неугомонный рвется из души, укоряет: «Негодяй ты, Гриша! Трус! Ведь не веришь же в их вину! К чему невинным в колодах столь долгий путь влачить?!»

— Тьфу ты, черт! — выругался Скорняков, усилием воли загоняя вглубь себя этого слабака-непокорца, и проворчал: — На то и разум, дабы внять, что плетью обуха не перебить.

***

Солнечная камчатская осень расцветила горбатую даль тайги. Запламенели багрянцем осины да рябинник. С березок-растреп ветерок небрежно рвал желтые клочья их нарядов. Величавые лиственницы засорили свои корневища и землю светло-рыжими иглами хвои. Зардели листья кипрея, и вот уже на лесистых сопках грязно-фиолетовыми лоскутами обозначились поросшие им поляны.

Слепило солнце, кидая лучи вкось, до истомы прогревая угоры. Сентябрь перекраивал дни, удлиняя ночи.

В приказной избе Нижнекамчатского острога Василий Мерлин, довольный полученными с сержантом из Охотска вестями, беседовал со своим помощником Дмитрием Павлуцким. Глядя на худощавого, с бравой выправкой Павлуцкого, он заговорил глуховато и не спеша.

— Все же отрадно, что, пожаловав нам повышение чинов, тем оценили нашу ревность в сыске по измене инородцев и злокозням на сборе ясака. И конфирмацию утвердили, как мы просили. Знать, так и след: казнить девять камчадалов — пущих заводчиков да четверых наших разночинцев,

а остальным кнут да батоги. Вот, позри сам. — Мерлин подал ему лист с приговором.

Новоиспеченный майор Павлуцкий взял бумагу, провел рукой по широкой залысине, как некогда откидывал роскошный чуб, а сейчас, поправив свисающие на лоб волосинки, принялся читать: «…Виновных в измене и зажигании острога да церкви Святой и побитии служилых — сборщиков ясака, пущих заводчиков казнить через повешивание — в Нижнекамчатском остроге новокрещеного Федьку Харчина, некрещеных: Тадея, Иурина, Черемача, Чамуру, Ор-Тавача. В Верхнекамчатском остроге — некрещеных: Ганля, Харлакана. В Большерецком остроге — новокрещеного Васко Вахлыча. А також: за великие обиды и разорения ясашным людям казнить через повешивание служилых разночинцев: в Нижнекамчатском остроге — бывшего комиссара Ивана Новгородова, а також изменщика — казачьего сына Никиту Родихина. В Верхнекамчатском остроге — ясашного сборщика Михайло Сапожникова. В Большерецком остроге — казачьего пятидесятника Андрея Штинникова.

Чинить телесное наказание кнутом согласно приложенного реестра: сорок четыре человека камчадалов и шестьдесят один человек русских разночинцев. Замену кнута батогами на ваше усмотрение…»

Его чтение прервал Мерлин:

— Я вот мыслю: с командой подымусь по реке до Верхнего острога, а там в Большерецкий. Заберу Харчина и прочих виновных, коих вернули из Охоцка, а на обратном пути в тех острогах и учиню, как прописано. Ты же пока тут лобное место наладь да оповести всех инородцев не токмо в ближних, но и в дальних острожках, дабы сбирались сюды к концу октября. Пусть зрят — впредь неповадно будет.

Павлуцкий выслушал внимательно, уставясь в крупные глаза грузноватого не по годам Мерлина, согласно кивнул головой, ответил:

— Тогда тебе поспешать след, дабы к рекоставу возвернуться. Да и заждались, поди, узники конфирмацию. Истомленному человеку всякий конец люб.

— Вот и ладно, — поднялся из-за стола Мерлин, давая понять, что разговор окончен. Намереваясь выходить из приказной избы,

он снял парик с болванки, натянул на голову, прикрыв рыжие с проседью волосы.

Через два дня отряд служилых казаков, сопровождающих сыскную канцелярию подполковника Василия Мерлина, на батах и лодках направился вверх по смиренной осенней воде реки Камчатки. Баты и лодки, обходя стремнину, жались к мелководьям у песчаных кос да к низким берегам. Их вереница, петляя от берега к берегу, растянулась почти на версту.

На головной четырехвесельной лодке удобно примостился Василий Мерлин в пышном белом парике и в зеленом с красными отворотами на рукавах мундире. Рядом, выставив клиновидную бороденку, весь в черном одеянии восседал отец Ермолай. В носовой части, посматривая за слаженной работой солдат-гребцов, находился сержант Басов. Взглянув на разодетого подполковника и попа, сержант подумал: «Эка угнездились, что пивень с вороном».

Следом за ними плыли писарь и палач. Их лодкой правили тоже солдаты из следственной команды Мерлина, а в остальных — гребли служилые и казаки Нижнекамчатского острога. Кузьма Клочев и Артем Обухов дружно наваливались на весла, стараясь не отстать от лодки, где, раскачивая спинами, гребли бородатый Варфоломей Чудинов и Степан Чуб.

— Вот черти, полегше идут. Однако, клади у них помене, — заметил Обухов.

— Это ты, Артем, от дома отрываться не хочешь. Как твоя заимка с глаз скроется, так и разработаешься, — подначил его Кузьма, мотнув головой в сторону Обуховской заимки, которая приютилась в распадке гор неподалеку от берега.

Длинный бат, ведомый двумя крепкими камчадалами, обойдя лодку Обухова, нагонял Чудинова. Молодые крестники Филимона Баева, стоя в корме и носовой части бата, ловко орудовали шестами. Их долбленка была загружена провиантом и котлами. В центре ее чинно сидел длинновязый Филька, походный повар.

Когда бат поравнялся с лодкой, Чуб крикнул:

— Филя, ты с харчом-то шибко не отрывайся. Без тебя скука в животе бурчит.

Баев повернул голову на длинной шее, словно гусь, ухмыльнувшись, откликнулся:

— Чей-то рано ты о харче заскулил. Харчу — мера, времечку — счет. Знай!

К полудню теснины гор, сжимающих реку, расступились, и перед взором плывущих открылось широкое раздолье. Просторная долина реки, поросшая тайгой, окаймлялась далеким горным хребтом с одной стороны и мощными огнедышащими сопками — с другой. Вулканы белели свежевыпавшим снегом, отражаясь в речной глади. Приласканные осенним солнцем полусонные рябины заглядывали с крутого берега реки в зеркальные омуты и с удивлением рассматривали свои красно-желтые наряды на фоне белых шапок вулканов.

Малоразговорчивый поп Ермолай, покачав головой, изрек:

— Натворил Бог чудес. Вид-то каков… Благостно!

— Да, у моря-то Камчатская землица посуровше будет, а тут краса и для житья привольна. Недаром, почитай, при каждой речушке камчадальские острожки стоят, — согласился с ним Мерлин.

К вечеру отряд подплыл к безлесому берегу. На небольшом взлобке, продуваемом ветром, бугрились три земляных жилища камчадалов, обставленных высокими летними балаганами с острыми крышами из кольев. Их верхние ярусы были плотно увешаны янтарной юколой, вокруг белели недодолбленные баты, нарты для собачьих упряжек, разбросаны колодины для поделок. То был небольшой острожек Пеучев.

Лодки одна за другой прилипли к глинистому берегу. Любопытные камчадалы толпились поодаль, наблюдая за причаливанием отряда, и время от времени поглядывали в сторону своих балаганов. От жилищ навстречу Мерлину и отцу Ермолаю, прихрамывая, шел коренастый, с длинными черными волосами, убранными в две косички, тойон острожка Камак. Ногу ему повредил еще в холопстве бывший его хозяин Колыгов, когда пытался окрестить холопа. Широкая грудь камчадала, мощные узловатые руки выдавали недюжинную силу тойона.

В прошлом году Василий Мерлин сам назначил Камака тойоном острожка, как больше всех из жителей Пеучева пострадавшего от царских ослушников. В соседний же острожек Коанный назначил тойоном оправданного при сыске брата Федора

Харчина — Степана, подчеркивая тем самым справедливость императрицы и благосклонность ее к пострадавшим иноверцам. Им Мерлин поручал собирать ясак с жителей острожка, чем их возвысил среди соплеменников. И это не замедлило сказаться на поведении назначенных. Они стали услужливее относиться к властям и более властно — к своим подчиненным. Камак на ходу давал какие-то указания, и камчадалы один за другим, отделяясь от зевак, убегали в сторону жилищ заниматься приготовлением к встрече столь высоких гостей.

Подойдя к Мерлину, он остановился и склонил голову в знак покорности, исподлобья кольнул попа взглядом и заговорил, приглашая подполковника в свое жилище.

Мерлин, перехватив недобрый взгляд Камака на отца Ермолая, подумал: «Вот бестия. Притворяется, что покорен. Так что дружиться — дружись, а за саблю держись… Ничего, пройдет время, обвыкнут к власти», а сам ответил:

— Ладно, разобьем стан, зайдем к тебе. Готовься. — Похлопав Камака по плечу, добавил, уже обращаясь к писчику: — Отпиши ему медный котел из казны да три фунта бисера ради покорности и радения.

Поп повернулся к Мерлину и недовольно заметил:

— Сила и лукавство покорит на время, а вера — навсегда.

Получив звонкий котел, довольный Камак искренне разулыбался и под завистливыми взглядами сродников заторопился к жилищам.

От любопытствующих камчадалов отделились двое и не спеша подошли к лодке, которую Артем Обухов и Щербак пытались подальше вытащить на берег.

Кузьма оглянулся на подошедших, узнав в них бывших своих холопов Ивара и Кашугу, заметно обрадовался:

— Други любезные, былые помощники! Прижились тута-ка?

Он обнял Кашугу, потом Ивара.

Кашуга молча улыбался, а Ивар поинтересовался:

— Тырилка, однако, где?

— Дома Тырилка, рыбу к зиме припасает. Осенний кижуч-то, сам ведаешь, в зиму особо гож.

Артем Обухов прервал их разговор:

— Давай дернем, не то говорню вашу не переждешь. — И вновь взялся за борта лодки.

Кашуга и Ивар помогли.

Добродушно улыбнувшись, Кашуга сказал им:

— Айда к нам. Толкуша есть, рыба.

Кузьма вопросительно посмотрел на Обухова:

— Можа, и впрямь пойдем?

— Сыт я по гостям бродить. Лучше на приволье у костерка. Ан случись чего с кладью… Мерлин голову-то снесет.

Кузьма, чтобы не обидеть Кашугу, вытащил горсть сухарей.

— Угощайся. Не могу я идти. Начальник не велит, — указал он на стоящего невдалеке Мерлина.

— Камак тоже злой стал, — вставил Ивар.

— Дак оставайся с нами, разводи-ка огонь, чаевать будем.

Довольные камчадалы направились в сторону чащобы заготавливать сушняк для костра.

К исходу второго дня отряд причалился у устья Ключевки. Речушка берет свое начало от мощных ключей, бьющих из-под холмов подножия огнедышащей Крестовской сопки. Щербак бывал здесь, но его снова поразила красота и величие этого места. Береговые лощины и увалы переходили вдали в расцвеченные осенью холмы. На склонах холмов располагались растрепанные частыми ветрами причудливо-кряжистые каменные березы. А в низине у родников и речушки теснились полуголые тополя да шершавые чозении. Попыхивая клубами дыма, Крестовская сопка с собратьями-вулканами довлела над всем в округе, отчего все, что ниже, казалось маленьким, незначительным. Игрушечной виделась часовенка, отстроенная у ключа под холмом. Небольшой амбар, собранный из обгоревших бревен, одиноко возвышался среди монашеских огородов и пашен.

Расторопные служилые уже ставили вокруг строения пологи. Отряд готовился к ночевке. Амбар оказался закрытым. Хозяйственные монахи, собрав урожай, тщательно заколотили двери, убираясь восвояси в низовья реки Камчатки.

Василий Мерлин, выдав необходимые распоряжения сержанту, заметил:

— Схожу до пожарищ разоренного острога, полюбопытствую, заодно ноги разомну.

— Одному-то не след: версты две лесом идти.

— Возьму кого, — согласился тот.

Вскоре Степан Чуб вслед за Мерлиным шагал с фузеей наперевес по заросшей тропе, ведущей от монашеских огородов к старому Нижнекамчатскому острогу. Они вышли на затянутую травой улочку, вдоль которой чернели пепелища да обуглившиеся поторчины столбов от изб. Припекало солнце. Василий Мерлин направился в тень от полусгоревшей башни острога.

Остановился у стены и, оглядевшись, вымолвил:

— Крепко пожгли.

Подошедший к нему Чуб, не успев перевести дух, скорее почувствовал, чем увидел, что на них валится обуглившееся бревно.

— Сторонись! — выставил фузею Чуб, пытаясь отбить его.

Выбив фузею из рук Степана, оно все же чуть изменило направление падения и, скользнув по спине отшатнувшегося Мерлина, сбило его с ног. Вслед за бревном сверху спрыгнули камчадалы. Чуб инстинктивно увернулся от копья и, очутившись рядом с лежащим Мерлиным, выхватил у него из ножен саблю. Сверкнуло лезвие: перерубленное копье вместе с отсеченной головой камчадала упали перед Мерлиным, который все еще не пришел в себя, голова уставилась на него удивленными глазами. Мерлин с трудом отвел взгляд и увидел, как Степан Чуб волчком крутится меж трех нападающих. Вот и еще один осел, располосованный невидимкой-саблей. Двое дрогнули и бросились прочь.

— Зараз не утечь! — кинулся вдогонку Чуб и с криком: «Мать твою, черт!» — рубанул настигнутого.

Оставшийся в живых замелькал в зарослях. Степан длинно ругнулся ему вслед. Ухватив горсть травы, он вытер лезвие сабли.

— Мордувать себя не дам, — тяжко дышал Чуб, направляясь к поднявшемуся Мерлину, который, потирая бок, вымолвил:

— Знатен рубака, знатен.

Отдав саблю, Степан вытащил из-под бревна фузею с раздробленным прикладом.

— Доброе ружье было. Ишь — в щепы!

Приходя в себя, Мерлин принимал властный вид.

— Я этого не забуду, казак. Кабы не ты — верная гибель. Спас, можно сказать. Властью, данной мне, обещаю: быть тебе казачьим десятником. А теперь в отряд! Скоро!

Чуб, захватив фузею и разбитый приклад, пошел за ним, думая: «Не тебя спасал, себя: не терплю разбой из-за угла». Проходя мимо сраженного камчадала, Степан, взглянув на него, отметил: «Усе… смерть в глазах… Эх, темень! Не учены воевать. Волю добыть не смогли, ни к чему и разбойствовать, злобой застивши дух человечий».

Василий Мерлин все больше распалялся:

— Сыщем, чьего рода иноверцы были, так не оставим ужо. Жаль, время не терпит — сам бы занялся.

По возвращении их в отряд гонкий бат понес сержанта Басова с письмом от Мерлина к Павлуцкому в Нижний острог.

Вечерело, когда Кузьма Щербак обратился к Обухову, который копошился в котомке:

— Артем, пойдем-ка до часовни к святику, водицы святой испьем да на скитника-страдальца Исайю позрим. Сказывают: он тут при часовенке и обретается.

— А что, пока темени-то нет… токмо оборужимся как след, а то Степка-то свой палаш второпях не одел, благо нашелся да саблей Мерлина отбился.

Печорский старец Исайя по сути своей знахарь-ведун. Травами да кореньями излечивал разные недуги, чем и обрел уважение не только служилого люда, но и камчадалов. Поселился у святика, когда его, как вероотступника, сослали в Камчатку. Сколь же отчаянных головушек и опасных мыслью, с неукротимым и пытливым разумом людей выталкивала взашей на свои окраины Россия, не ведая о том, что этак засевает русским непокорным духом благодатную целину.

Пройдя монашеские огороды-репища, они вышли на жнивье. Вид хлебной пашни на миг всколыхнул в душе Щербака тоску по родному краю. Вспомнились поля с колосящейся рожью, словно заплаты на косогорах, сбегающих к родному Иртышу. Тут Обухов прервал его мысли.

Найдя на поле колосок ячменя и разглядывая его, со знанием дела заключил:

— Неплох ноне ячмень-то… Удался. Да и слуги божьи толково хлебушек пожали: чисто, и жнивье коротко. Пашен бы тут поболе, дак и хлеб могли видеть бы.

Щербак смотрел на величавую Крестовскую гору и задумчиво заметил:

— Отчего все же эти горелые сопки? Взглянуть бы в нее.

Обухов ухмыльнулся:

— Чуден человек: чего не знает, то и разуметь хочет.

Не доходя до часовни, набрели на кладбище. Далеко не все заросшие холмики имели кресты. Но и те, где они имелись, покосились в разные стороны и почернели от времени. У одного из холмиков к небольшому кресту привален деревянный якорь с привязанными камнями.

— Зри, никак со «Святого Гавриила»? — указал на якорь Щербак.

— Однако, могила подштюрмана Федорова. И где токмо не лежит русский человек. — Обухов стянул с головы казачью шапку.

Солнце уже касалось вершин западной горной гряды, и служилые заторопились. Подойдя к святику, в котором, будто в котле, бурлила бьющая из-под земли вода, они увидели туески, висящие на воткнутых в землю рогатульках, и тут же, у ключа, скамью для отдыха. Напившись, они подошли к рубленой часовне. Окованная дверь в нее была приоткрыта и жалобно поскрипывала от дыхания ветерка. Неподалеку от часовни, в склоне увала, виднелась землянка. Оконце, затянутое медвежьим пузырем, и приоткрытые двери выходили прямо к роднику.

— Зайдем, на старика позрим, — позвал Кузьма и направился к двери.

Приоткрыв дверь, Щербак отшатнулся от ударившего его в нос спертого запаха склепа.

— Чего там? — спросил Артем.

— Мертвечиной несет.

Подошедший Обухов ногой растворил дверь пошире. Вглядевшись в полумрак, различил торчащие из-под лохмотьев белые ноги.

— Преставился твой старец, видно, давно: вона как вонит. Не по-христиански так. Беги к Мерлину да отцу Ермолаю и поведай им. Пусть людишек подошлют, а я могилу начну рыть. — Артем, вынув из ножен палаш, направился к кладбищу.

Закончив похороны по полной темноте, все вернулись к стану. Потрапезничав, Обухов влез под полог, который они с Кузьмой ставили на двоих, а Щербак остался сидеть у костра.

Спать ему не хотелось. Он задумчиво глядел поверх огня. Его цепкая память являла перед глазами картины прошлого. Доброе лицо старца Исайи, его выцветшие глаза, проницательный, с грустинкой взгляд… Тонкими бледными пальцами старец словно обвил ковш с хвойным отваром кедрача и подносит его к поваленному цинготною болезнью Щербаку. Полный сочувствия взгляд скитника запомнился на всю жизнь. Если бы не его забота и врачевание над никому не нужным тогда, дюже хворым Кузьмой и Кондратием Мошковым, которых после морского похода снесли с бота «Святой Гавриил» при их последних издыханиях, то кто знает — сидел бы сейчас Щербак у костра? Кузьме опять послышался пронзительно-жалостливый скрип двери часовни и привиделись торчащие из темноты бледные ноги старца с пожелтевшими длинными ногтями.

Щербак, отогнав наваждение, вздохнул: «Для ча все ж живет человек? Один добро деет, другой — зло. Для ча сносит всякие лишения? Чтоб вот так безвестно кануть, как тот же подштюрман Федоров, кой ради интереса, обезноженный, пошел в такой поход к дальним островам и лишился живота вдали от родной сторонушки; как этот старовер старец, творивший добро людям, а живший в великой нужде, претерпевая лишения? В чем жизнь-то? Вот… захоронили старца в спехе, без обряда, без кутьи, даже крест, какой след, из-за темени не сладили: так… из двух кольев».

И тут Щербака осенила новая мысль. Он поворошил в костре головешки, которые, вспыхнув, осветили береговые камни. Кузьма приглядел камень наподобие плиты и подтащил его к огню. Наставив на плиту лезвие ножа, ударил по нему другим камнем. Посмотрел: получилась насечка. Ударил еще — полоска углубилась.

«Нож пропадет… да чо там… наживу», — пронеслась мысль.

И он принялся выстукивать на камне крест.

К нему подошел караульщик из капральства сыскной канцелярии Мерлина:

— Ну-ка, паря, пойди подале от стана, не то капрал живо надолбит те.

Щербак, захватив несколько головешек, перенес костер дальше по берегу реки и, утащив туда плиту, застучал вновь.

Кузьма проснулся, небо лишь засветилось синим утренним светом. На берегу у больших котлов суетились кашевар Филька Баев с крестниками. Щербак взвалил на спину каменную плиту и направился к кладбищу. Сбросив камень и расправив онемевшие плечи, Кузьма поправил холмик свеженасыпанной земли и сверху уложил свою ношу, на которой под выбитым крестом надпись: «Страдалец Исайя». Перекрестившись, побрел к стану.

Небо светлело. С вершины кладбищенского угора островками виднелись макушки холмов, торчащих из тумана, заполнившего все низины и пади. Березы цвета слоновой кости, замысловато искривив ветви-руки, призраками стояли в ночной тишине, словно забылись в дурманном, сказочном сне. Ближе к речушке эту дремотную тишину стал нарушать чуть слышный всплеск воды. И вскоре до Щербака начал доноситься стук и говор пробудившегося стана.

Лодки отряда настойчиво продвигались вверх по течению реки Камчатки. В полдень завернули на передых в устье реки Еловки и, пройдя немного, причалили у острожка Коанного. Пока Мерлин посещал острожек и обменивался подарками с тойоном Степаном Харчиным — братом бунтовщика Федьки, служилые, разминаясь, бродили по берегу проточки, соединяющей речку Еловку с озером. Большое озеро отражало синь неба с одиноко затерявшимся в нем облачком. Осенний ход кижуча был в разгаре. Валом шла рыба по рекам и ручьям, чтобы попасть в родное озеро или горный ключ для нового зарождения жизни и тем самым завершить свой жизненный круг.

Щербак смотрел, как через небольшую проточку в озеро устремился многочисленный косяк рыбы. Проточка вмиг будто вскипела. Плотная трепещущая масса, обнажив из воды темные спинные плавники и вспенивая хвостами воду, рвалась встречь течению мелководной проточки к нерестовому озеру. В тесноте, потеряв ориентир, здоровенный горбоносый кижуч выбросился на береговую отмель прямо под ноги Кузьме. Похрипывая, самец, резко извиваясь, мощно подскакивал, пытаясь вновь попасть в воду. Щербак хотел поддеть его сапогом, чтобы помочь бедолаге, но кижуч лишь скользнул по сапогу, очередной раз упав на галечник, в бешеной отчаянности захлопал хвостом и, преодолев отмель, слился с потоком сродичей.

— Окаянный, обутку обсопливил, — ругнулся ему вслед Щербак.

Сорвав пучок сухой травы, Кузьма принялся вытирать носок сапога.

От острожка вернулись Мерлин и Ермолай в окружении служилых и провожающих камчадалов.

Тепло попрощавшись с тойоном, довольный подношениями подполковник уселся в лодку и махнул рукой:

— Трогай.

Камчадалы потолпились на берегу, пока отряд не скрылся из виду, и исчезли в зарослях ивняка.

Мерлин стянул с ног свои кожаные сапоги, вытащил из узла подаренные тойоном Степаном Харчиным крашенные ольхою сапожки, натянул их и, любуясь ими, заметил:

— Козловые, а сколь легки: нога не чует!

— Похвально сработаны. Обутку да одежку ладно деют антихристы, — завистливо поддакнул поп.

Работая веслами, Варфоломей Чудинов между делом заметил:

— Лукав, бес его задери, Ваську Мерлина. Вначале у всех имущих людишек повытряс сыском, а днесь лестью подарки рвет.

— Башковит, небось знает, с кого подарки брать. А за голым гнать — нече взять, — отозвался Степан Чуб.

— Не с пустыми руками с Камчатки-то возвернется, коли так хваток, — рассудил Варфоломей.

— Дык при власти, вот и гребет. Будет ли еще такой фарт в его жизни. Кумекал я: впрямь поистине за дело радеет, ан нет, и ему свой интерес допрежь всего. Тьфу ты, нет правды-матки. — Чуб смачно сплюнул в воду.

— Не плюй направо — там ангел-хранитель, плюй налево — там дьявол, — приметил Варфоломей.

— В воду вообще грешно плевать, дык… — замялся Степан и добавил: — Сбрехнул бы словечко, та волк недалечко.

* * *

Через две недели отряд Мерлина приближался к самому большому острогу камчадалов Машурину. В этих местах обитает многочисленный род тойона Божоша, который не поддержал

бежавшего к нему грозного Голгоча — дядьку бунтовщика Федьки Харчина. Не без наущения старого Голгоча началось великое возмущение камчадалов, охватившее всю Камчатку. Но род Божоша оставался покорным высокодержавной руке ее императорского величества императрицы Анны Иоанновны.

По прибытии на Камчатку в тысяча семьсот тридцать третьем году Василий Мерлин был в гостях у преданного тойона. Среди подарков, которыми он одарил старого Божоша, был портрет императрицы и именной палаш с резной ручкой и расписными ножнами. В знак особого расположения к тойону Мерлин окрестил его сына Начика, дав ему имя Егор Мерлин, и назначил его тойоном вместо отца.

Камчатка в районе Машуры больше похожа на горную речку с многочисленными шиверами и галечными косами. На шиверах лодки приходилось тащить бечевой. А долбленые баты не спеша наискосок преодолевали эти перекаты, обгоняя основной отряд.

Вездесущие сродники Божоша уже предупредили, что едет к нему большой гость — белоголовый авачх. В остроге засуетились с приготовлениями. Срочно затопили печь в большой просторной избе, чтобы просушить и прогреть ее, так как по ночам нет-нет да и случались уже заморозки. Эту избу новый тойон поставил специально для часто приезжающих к нему гостей: приказчиков, сборщиков ясака да хожалых с вестями и указами служилых и казаков. В летнее время Егор тоже жил в избе, которую срубил себе неподалеку от этой, заезжей, а на зиму все же перебирался в юрту.

Тойон подошел к заезжей избе в то время, когда двое молодых камчадалов поднесли охапки можжевельника для ее окуривания в честь высокого гостя. Дав им указание, он направился к кострам, вокруг которых суетились женщины. На прутяной настил, устроенный поверх костра, была уложена свежая рыба. Женщины следили за высотой огня, часто переворачивая ее, сразу поджаривая и коптя. Егор посмотрел на аппетитно запекшуюся корку и подумал: «Однако, ладные чуприки будут» — и пошел к проточке. На берегу мужчины разделывали недавно добытых горных баранов. Проходя мимо балаганов, он увидел стайку молодух. Распустив волосы, они смазывали их тюленьим жиром.

«Вот козы, блеск наводят. Пусть нравятся гостям. Много лет мирно живем: людей в нашем роду много стало, по всем ближним речкам острожков наставили. Много жен казаки себе в большие остроги увезли отсюда. Дети у них пошли. Сродников все больше и больше. Хорошо жить, когда мир», — подумал тойон.

Острожек Машурин расположился на берегу Камчатки рядом с таежным озером, которое узкой проточкой истекает в реку. Вокруг глухая тайга, уходящая до хребтов, увенчанных белками ледников. На окраине селения, у озера, высится большой, в три бата, тополь с обшарпанной корой и дуплом. Ствол вокруг дупла утыкан торчащими стрелами. Как истукан стоит тополь, разинув мохнатый от стрел рот, взирая на суету в остроге. Хитрый лесной дух Канною живет в дупле этого тополя. Уходя на охоту, каждый, выпустив стрелу в тополь, запугивает лукавого, чтобы тот не кружил охотника по лесу, уводя его от птицы и зверя.

К исходу дня уставшие гребцы с радостью увидели на берегу высокие островерхие балаганы, струящиеся дымом костры, толпящихся у берега людей.

— Речка-то тута-ка шибко текет… Приустал я изрядно, — сказал Щербак.

Обмакнув в воду отполированную до блеска мозолистую ладонь, он смочил ею рукоять весла.

Обухов отозвался:

— Ясное дело — верховья. Я вот зрю: солнцесядь-то каков, ишь как гольцы гор зазорил! Что ни вечор, то разный.

— Чудна осень тута-ка. Посчитай, завсегда ведро, — заметил Кузьма.

— А вот завтра быть замятью. Вона, темные лохмы посунулись, — кивнул Артем на далекую облачность.

Пока лодки причаливали одна за другой, Мерлин подошел к стоящему в окружении камчадалов тойону Егору. На руках тот держал большое деревянное блюдо, уставленное угощением: берестяной чумашек с солью, туес с пьянящей похлебкой и целиком зажаренная рыба. Подполковник, отщипнув кусочек рыбы, макнул им в соль и съел.

«Добре усвоили христианскую встречу, добре», — подумал он и, взяв из рук тойона блюдо, передал рядом стоящему

седовласому Божошу, а сам обнял Егора и расцеловал. Отец Ермолай последовал примеру подполковника, но от объятий воздержался.

По знаку Мерлина писчик из поднесенных сум принялся одаривать камчадалов. Как и в острожке Пеучев, тойону вручили большой медный котел с демидовским клеймом. А каждый из собравшихся камчадалов получил кто щепотку корольков, кто яркий лоскут или ленту, отчего они приходили в восторг.

Получив подарки, мужчины двинулись к небольшой пустоши у проточки, где женщины прямо на траву расставляли корыта с вареным мясом. На широких деревянных блюдах лежала полужареная копченая рыба, сушеная мякоть кипрея — приправа к рыбе; долбленые миски доверху были наполнены толкушей, а глубокие глиняные чашки — кислой рыбой с устойчивым запахом.

Вдоль поставленных угощений молодые камчадалки расстилали плетеные чирелы. Щербак заметил, что некоторые женщины заплели свои волосы на русский манер, а молодые камчадалки вместо легких кухлянок были одеты в длинные русские рубахи с пояском. Старый Божош, подпоясав кухлянку опояском с ремешком через плечо, важно ходил, покачивая свисающим с пояса палашом с красивой рукоятью. Вместо берестяной умбракулы на его голове красовалась казачья шапка с собольей опушкой.

— Ишь вырядился: не то казак, не то скоморох, — кивнул в сторону Божоша Щербак.

— Особо девки горазды по-нашему убираться. Вон, гля, — в сарафанах. Не отличишь: наши аль их женки, — указал Обухов на двух камчадалок, которые, умостив на голове емкие деревянные чаши, грациозно шли к месту приготовления праздничного угощения.

— Наши так не свычны тяжести носить, — заметил Артем.

Когда Щербак с Обуховым подошли к месту пиршества, казаки и служилые уже рассаживались на подстеленные чирелы, не зная, куда девать ноги. Два крепких камчадала поднесли тополевую колоду и уложили ее рядом с местом тойона. Мерлин и поп Ермолай присели на колоду. Капрал помялся немного и, опустившись на колени, присел. Рядом с Божошем приземлились седовласые старейшины рода, а поодаль —

остальные мужчины. Женщины бойко наполняли деревянные миски пьянящей настойкой, поднося их гостям с особой учтивостью.

— Молодок тута довольно. Надоть, каковы любезницы, — заметил Степан Чуб и подмигнул Филимону Баеву.

Тойон Егор подал ковш настойки Василию Мерлину.

Тот поднялся, оглядев длинное застолье, произнес:

— Во здравие императрицы нашей, государыни Анны Иоанновны, за верноподданный гостеприимный род Божоша осушим чары. С богом! — И взглянул на толмача.

Толмач Чуркин громко, чтоб слышали все камчадалы, перевел:

— Пусть сытно и долго живет всемогущий Кутх, его дочь Анна и добрый тойон Божош с сыном Егором!

— Ах-хва! — радостно вскричали хозяева и принялись за настойку.

Проголодавшиеся гости споро расправлялись с закусками. Чуб, увидев, как Филимон старается ложкой поддеть крупный кусок мяса, посочувствовал:

— Що, Филька, ложка узка: не таскает два куска?

— А сам-то, вижу, жмешь на дармовой кусок, — огрызнулся Баев.

Женщины, заметив пустую чашу, тут же наполняли ее настойкой. Неподалеку от длинного ряда восседавших за трапезой подростки начали разводить костры для освещения. Одни подтаскивали сушняк, другие, усердно суча руками палочку, проткнутую в отверстие плашки, добывали огонь.

— Оно и верно, огонь нужен, не то спина охолодела. Ихней бражки не мало надо, дабы угрела, — сказал Чудинов.

Вездесущий Чуб тут же предложил Чудинову:

— Дык ты мухоморной настойки хватни чаплагу — вмиг закуролесишь.

— Рехнулся я, что ли?! Это они к ней свычны, да и то — по чуть хлебают, — отверг предложение Варфоломей.

Моложавая камчадалка, подавая полную чашу хмельного, сверкнула блестящими очами на Степана и, наткнувшись на его взгляд, смутилась, отчего полная чаша чуть дернулась, выплеснув через край на кафтан немного настойки. Чуб встрепенулся, проводив ее прилипчивым взглядом.

Потом, довольный, рассудил:

— Оно и впрямь ладно, когда с ними хлеб-соль водишь.

Неосторожный взгляд молодухи, словно высеченная из огнива искра, упавшая на сухой мох, разжигала в сердце подхмелевшего Степана беспокойный огонь. Теперь новоявленный десятник выискивал глазами ее фигуру среди суетившихся женщин, пытаясь еще раз встретиться взглядом.

Варфоломей наклонился к Филимону Баеву и заговорил тому на ухо:

— Нонесь Мерлина-то не узнать: добр с инородцами. А на сыске в зло войдет, дак рожа нальется, яко клюква, глаза, что луковки, так и ядят. Днесь же ла-асков!

— Все одно: глядит лисой, а пахнет волком, — не согласился с ним Баев.

Отец Ермолай, выбрав удобный момент, тихо проговорил Мерлину:

— Муторно от духа кислой рыбы — мочи нет, не то что отведать. Пусть уберут корыто.

— Полно, отче. Убрать — знать, похулить. Господь заповедал: за добро — добром, а не хулой. Испей браги еще, авось запах и отринет, — наставлял Мерлин, а сам, улыбаясь, кивал головой тойону, который что-то пытался растолковать ему.

Неподалеку от Божоша сидел, скрестив ноги, седовласый камчадал. От выпитой настойки мухомора покачиваясь, он, удивленно вытаращив глаза, пристально рассматривал прилипшую к руке сухую травинку. Затем с великим ужасом принялся поспешно смахивать ее с руки. Тойон посмотрел на очумевшего от мухомора сродника и, подозвав молодого камчадала, что-то сказал ему. Парень быстро подхватил захмелевшего и потащил его к балаганам.

Вскоре запылали костры и послышался ритмичный глухой бой бубна. Сидящие спиной к кострам развернулись, потирая онемевшие ноги, и в ожидании смотрели на освещенную огнями костров поляну. В такт бубну на нее, пританцовывая, чередой выходили камчадалы, ряженые в большие травянистые маски — умляу. Крепконогие, в узких, подобие портов, штанах, заправленных в кожаные чулки — чажи, они, притоптывая, расположились в круг. И тут выскочил низкого росточка камчадал в маске особо свирепого вида. Вбежав в круг, он

принялся передразнивать идущих по кругу ряженых. Пожилые сородичи довольно заулыбались, подталкивая друг друга, и заговорили: «Умляу! Умляу!» Вот одна маска принялась ловить мальца, который ловко увертывался и петлял меж танцующих, вызывая тем самым одобрительный смех жителей острожка. На смену этой «маске» пришел другой ряженый. Проделывая неимоверные скачки и выпады, он гонялся за «страшной маской». Повизгивали женщины, сочувствуя ловцу; пожилые мужчины, прицокивая языком, покачивали головами.

— Эка каков: чутошный, а увертлив, — удивился Варфоломей.

— Преужасну маску нацепил. Така во сне привидится, дак не приведи господь, — отметил Щербак.

— Мастаки они до забав-то, — встрял Филимон.

— Всякая душа празднику рада, — заключил Чуб, допивая из чаши брагу.

Танцующие в масках все больше веселили народ. В конце концов под частые удары бубна все умляу принялись безуспешно ловить мальца. Смешно натыкаясь друг на друга, они валились с ног. Смех, визг, подбадривание окружающих заставляли плясунов приседать, прыгать, кривляться. Даже всегда чинный поп Ермолай, выставив вперед клиновидную бородку, скрывая любопытство за недовольным выражением лица и глядя на танец, приговаривал:

— Эка… Бес вас задери! Что грешно, то и потешно.

Толмач, нагнувшись к Мерлину, пояснил ему танец духов:

— Все имают самого лукавого духа Пихлача. Он пуще других охотным людям проказы чинит.

После ухода ряженых бубны сменили ритм. К кострам вышли женщины и, разбившись по парам, встали друг перед другом, медленно водя бедрами. Вот с бубном в руках показался танцор, согнувшись и переваливаясь по-медвежьи, прошелся по кругу под удары гулкого бубна. Под издаваемые хриплые гортанные звуки танцора «Ух-же! Ух-же!» и под звуки бубна женщины резче задергали станом и, плавно изгибая руки, затянули протяжную мелодию-ходилу. Бубны постепенно наращивали темп. Уже мужчины из толпы стали выкрикивать тот же резкий, с придыханием звук «Ух-же! Ух-же!» — который хрипом медведя врывался в плавный напев женщин.

Степан Чуб, высмотрев среди танцующих камчадалку, одарившую его жгучим взглядом, наблюдал, как она красиво, в такт мелодии водила плечами и вместе с тем ритмично, под бубен, подергивала бедрами.

— Вроде и не пляс, а как зажигат, — обратился к нему Щербак.

— Ладно у них выходит, — вместо Степана ответил Щербаку Филимон Баев.

— В игре да в беде и познаются люди. Не худой, видно, этот народ, нет, — встрял Варфоломей Чудинов.

— Особо женки… Да, Степка? — ввернул Филимон, толкнув локтем засмотревшегося десятника.

Чуб, не поворачиваясь, ответил:

— Была у меня девка: кругла, бела, яко мытая репка…

— Брешешь. Ладная девка на твою рожу не позрит, — прервал его Баев.

— Аль вывеска моя худа?

— Нос больно наружу прет, багра не надо, да и усы, что у сивуча, свисают, — усмехнулся Филя.

— Позрю я, дурень ты, Филя. Борода у тебя с ворота, а ума с прикалиток нет. Нос всю красу и деет. По нему даж породу узрить можно, — возразил Чуб под смех рядом сидящих и добавил: — Вот ихний голова позрит на мою породу та одарит милахой какой, а нет, так сам словлю.

— Так лови, дабы опосля самому уйти-то, — хохотнул Филька.

Под все убыстряющиеся ритмы бубна танцоров заметно прибавлялось. Казалось, уже все присутствующие, напевая мелодию, подергивались в такт.

Мерлин взглянул на отца Ермолая, который блестящими глазенками уставился на плясунов, и лукаво спросил:

— Никак по сердцу женку приглядел, отче? А я-то мыслил тебя на опочив звать.

— Пойдем, пойдем, — встрепенулся отец Ермолай и подумал: «Задор-то берет, да-а…» — а вслух добавил: — Божьей воли не переможешь.

Общее веселье камчадалов задорило, горячило раненное жгучим взглядом сердце Степана.

Он подтолкнул локтем моложавого казака, который тоже рыскал глазами, высматривая кого-то в толпе танцующих:

— Приятель, пошто сиднем сидеть-то, пойдем тож в пляс?

Тот удивленно взметнул брови на Чуба, усмехнулся:

— Поди сам, коль ноги резвы.

— Я зраз.

Филимон Баев, услышав их разговор, вставил:

— Каков то пляс! Токмо для чертей потеха.

Чуб, махнув рукой, вскочил и, покачиваясь в такт бубну, скоро смешался с танцующими.

— Эка раззадорило его, — посмеивался над его неловкими движениями Варфоломей Чудинов.

Степан приблизился к тронувшей его сердце молодухе, рыкая, как и все, подергивался перед ней и, смешно вихляя задом, принялся оттеснять ее от костров. Юркоглазая камчадалка, увидев возле себя рыкающего Степана, поняла его намерения. Пританцовывая, она удалялась с людного места.

И вот они уже пробираются сквозь чащобу. Легко ориентируясь в темноте, избранница вела за руку натыкающегося на ветки Чуба. Удары бубна отдалялись.

Он остановился, притянул ее к себе и почти выдохнул:

— Пошто далече-то хорониться? Темень же.

— Счас, счас, — вырвалась она.

Подойдя к еле приметному в темноте шалашу, юркнула туда, увлекая за собой Степана. От предчувствия близости пенной брагой заколобродила кровь уединившихся, захлестывая их души томной желанной страстью…

Утром отец Ермолай тяжело пробуждался ото сна. Мерлин, уже умывшись в проточке, зашел в избу, покрякивая и растираясь холщовым полотенцем.

— Голова трещит. И испил-то чуть, — пожаловался поп.

— У меня тоже одурь. Видно, перестарались: таволги много нажгли для благовония. На воле продышишься — отступит.

Отец Ермолай вышел из избы. Не таясь зевнул, перекрестив при этом рот, и оглядел притихший острожек. На месте вчерашнего пиршества хозяйничали собаки. Насытившиеся, они лениво догрызали кости.

— Однако, великое угощение давеча завели. Ить сколь добра враз истребили, — негромко пробурчал поп и направился к проточке.

Острожек просыпался. То там, то здесь появлялись женщины, которые шли к пустоши разбирать свою посуду.

Степан Чуб проснулся от теплого прикосновения к его губам. Он открыл глаза. Она сидела рядом, боязливо и ласково смотрела на своего избранника.

— Що, глазастая?

Она улыбнулась:

— Избавитель ты мой. Счас меня и замуж брать можно.

— А пошто раньше-то неможно? Ты срамная, поди? — насторожился Степан.

— Ни-ни! Мужик мой, тойон Валага, к богу Гаечу ушел. Грех на мне был. В женки не берут, пока тот грех не снимет кто. А на себя грех никто не хочет брать. Ты добрый, взял мой грех.

— Чудно, понадумали себе черт те шо и маетесь. Знать, вдова ты? А где по-нашему гутарить навыкла? Яко тебя звать?

— Канучь я, из рода Талача, его дочь. Охолопили и увели меня из Оретынганя в Верхний острог. В ту весну отец мой Талач хотел отдать меня в жены самому ловкому охотнику нашего рода Камаку. Тогда он был на Бобровом море и не смог откупить меня у казаков.

— Бывал я в Оретынгане-то, уж не тот ли Камак, который холопил у Колыгова?

«Может, и впрямь он ведает о моем Камаке», — екнуло сердце у Канучь, но, не посмев спросить, продолжила рассказ:

— Досталась я казаку Тимошке и жила у него. Добрай он, но беднай: продал меня в женки Валаге — тойону острожка Кирганик. Тойон уже имел две женки и взял меня. Прошлай зимой духи гор — Гамулы — разожгли большой огонь в далекой горе-печке так, что с горы пошла огненная река. Тогда задрожала земля, снег пошел с гор и засыпал Валагу да других охотников: они ходили за бараном. В Кирганике на нас, грешных женок, никто не хотел смотреть. Пришла в Машурин, а тут тож грешных боятся. Этот барабарь, — она окинула взглядом шалаш из кольев да травы, — я поставила с самого лета и покрывало спрятала тута.

Только сейчас Степан обратил внимание, что укрыт покрывалом из заячьих шкур.

«Наша жизнь не сладка, а их еще горше… Надоть, прикрыла, дабы не озяб. Толкова, поди, женка. А що… сердечным

теплом я не обессилен, авось и впрямь, взять ее? По-нашему смышлена и на вид ладна… Нет, не с руки зараз: ни кола ни двора», — подумал Чуб.

— Разгулялись мы с тобой досветла, итить надо, поди, поджидают ужо, — заметил Степан. — Ты потом пойдешь либо сейчас?

— С тобой, — заторопилась с ответом она.

— Чудно, у вас все в явь деется, у нас совестятся этого, потайно деют. Обзубоскалют меня, — помолчав, добавил: — Пойдем, нехай зрят, коли тебе так надо.

Чуб пошел к берегу, когда уже суетились около своих лодок служилые и казаки.

Сержант, заложив руки за спину, поторапливал:

— Хватит вошкаться, аки сонные. Ишь погодье: поспешать след.

Василий Мерлин и поп Ермолай не спеша чаевали в избе с Божошем и Егором. Старый тойон учтиво преподнес подполковнику связку соболей и длиннополую зимнюю гагаглю.

Мерлин, отложив эту одежку, тряхнул шкурками соболей, погладил мех рукой, дунул на него и, довольный, заметил:

— Мех отменный.

Подарки сложили в кожаный мешок, поставив рядом с Мерлиным. Поп Ермолай явно завидовал. Запивая копченую баранину чаем, он посмотрел в восточный угол почерневшей от копоти избы. Ничего, кроме пыльных паутин, в углу не было.

«А ведь и крещеные в избе тут же живут, а ни образка в углу», — подумал он и обратился к Мерлину:

— Не худо бы веру к общему делу применять, да и дело к вере.

Поняв намек попа, Мерлин шепнул толмачу, а тот, нагнувшись к Божошу, сказал:

— Большой вождь авачх просит одарить русского шамана.

Тойон, согласно мотнув головой, дал распоряжение Егору. Тот быстро вышел из избы и вскоре занес бубен с расшитым ободом и колотушку с искусно вырезанной ручкой. Взяв принесенное, старый тойон подошел к отцу Ермолаю и, потрогав блестящий золоченый крест, висевший на шее попа, начал расхваливать ему бубен, явно предлагая обменяться подарками.

Святой отец, недовольно поморщившись, с достоинством изрек:

— Богово дорого, бесово дешево. — И, обиженный, заторопился уходить.

Мерлин, сдерживая улыбку, направился следом.

У дверей поп обратился к толмачу:

— Поведай ему, что икону в угол ставить надо. Сын-то его крещен. Коли в избу влез, пусть не гонит бога в лес. Соболишек поднесет к лодке, икону ему отпущу. — И вышел.

Он направился к берегу. Под навесом одного из балаганов сидели три женщины. Из плетеных травяных чаш камчадалки брали поблескивающую краснотой рыбью икру и набивали ею трубки высохшей пучки. Отец Ермолай приостановился около большого корыта, в котором замачивались оскобленные шкуры диких баранов. Настой коры ольхи, смешанный с брусникой, придавал кожам окраску. Тут же висели выкрашенные шкуры. Поглядев на них, отец Ермолай отметил: «Каков жаркий цвет» — и быстрее зашагал к берегу.

Тойон Егор вызвался проводить гостей. Несколько батов стайкой шли рядом с лодкой Мерлина. Когда поравнялись с высоким обрывистым увалом, подмытым рекой, сидящие в батах камчадалы стали стрелять из луков вверх. Стрелы взмывали ввысь и, теряя стремительность, беспомощно на миг зависали, потом, жалко покручиваясь, безобидные, падали вниз на воду. Если стрела достигала до высоты обрывистого берега увала, стрелки громко и радостно вскрикивали.

Глядя на их забавы, Кузьма Щербак заметил:

— Однако, ворожат на фарт-удачу. Чья стрела долетит до верха, знать, у того задумки сбудутся.

— Да, любо им потехи разные чинить, — поддакнул Обухов.

Лодка, в которой гребцами сидели Варфоломей Чудинов и Степан Чуб, шла в конце отряда. Пот каплями скатывался со лба Степана.

— Небось, тяжко ноне-то. Это не Бахию тебе выплясывать, — подначивал его Варфоломей. — Ну и наморил ты нас давеча со своим вихляньем, до слез насмеялись. Рыкал-то знатно ты, ну чисто ведмедь, а вот зад у тебя неслух, чужой, да и все.

— Да-а… Где бы еще на такой ужин наехать, — осклабился Чуб.

* * *

Как ни долги версты камчатских дорог, но и они не без конца. Отряд Мерлина прибыл в Большерецк. Приведя здесь в исполнение казни и телесные наказания, забрав остальных узников для расправы в других предписанных указом местах, подполковник Мерлин поспешал в Нижнекамчатский острог. Для более быстрого продвижения с приговоренных сняли кандалы и, заковав им руки, вели на длинных цепях под конвоем.

На первую ночевку расположились у заимки бывшего посадского, а ныне купца Трапезникова. Просторная изба да амбары, окруженные несколькими балаганами на камчадальский лад, приютились у речки Конад, которую казаки за ее стремительность прозвали Быстрой.

— Знать бы, что с купецкой заимкой рядом будем, дак взял бы с собой рухлядишко какое на мен. Нож-то я свой совсем загубил, старцу Исайе надгробье делая. Щас бы выменял, — пожаловался Кузьма Щербак Артему Обухову.

— Худ тот купец, кто под запись не дает. Все одно, как будет нартовый путь, он в Нижний пожалует, там и плату возьмет, — ответил Обухов.

— И впрямь, Артем, дойдем к нему, ить рядом, — попросил Кузьма.

Они подошли к заимке и, обойдя балаган, за столбы которого привязана свора бесновавшихся собак, повстречали вышедшего к ним однорукого пожилого человека. Тот внимательно оглядел их и спросил, с чем они пожаловали.

— Вот незадача, нож приобрести надыть, а не за что. Хотел под долговую запись испросить.

— Откель и куды идете?

— На Верхнекамчатский острог, а там дале водяным путем до Нижнего. Кандальников ведем, дабы в тех острогах им казнь приять.

— Вот как? — заинтересовался однорукий и, обернувшись, крикнул: — Евтишка! Сымай защиту — народ-то свойский.

Из-за дома вышел светловолосый парень, прислонив фузею к избе, свистнул. Появилось трое вооруженных людей, которые

вновь принялись за свои хозяйственные дела: зажужжала двуручная пила над поваленным кряжистым деревом, затюкали топоры.

Евтихий подошел к гостям.

— Поздорову ли живете? — поприветствовал их.

— Коли ружьем встречать везде будут, дак не токмо здоровья, а и живота лишишься, — упрекнул Обухов.

— Место глухое, а народец разный, — отговорился Евтихий.

— Берегись бед, пока их нет, — вставил однорукий. — Чего тута собак травим: пойдем в избу да поговорим ладком.

Подслеповатые оконца да закопченные верха стен создавали в избе полумрак. У каменки кто-то возился, пытаясь растопить печь.

Однорукий с порога скомандовал:

— Зазори жировик-то!

Худощавый паренек поджег лучину на ленивом пламени и засветил жировик над столом.

— Отрок мой, — представил паренька хозяин и тут же к нему: — Тимошка, набросай-ка на стол заедок, а я бражки гостям поднесу.

Испив браги, все разговорились. Однорукий оказался на редкость словоохотливым: рассказывал он обстоятельно и подробно.

— Кличут меня Михайло Поротов. Родной братец мой — Иван Поротов еще в тысяча семьсот восемнадцатом году на Камчатку попал. Пушкарем при казаках я был. Руку-то мне во время бунта нехристи, язви их, топором оттяпали. Днесь-то я вдовый. Вот с Тимошкой при Трапезникове и служим. А он редко тута бывает: за всем мы и блюдем. Право, вот Евтихий, товарищ хозяина, ноне нам в помощь. — Он указал на светловолосого парня.

Евтихий, воспользовавшись паузой в разговоре, спросил Щербака:

— Ты там, в Нижнем остроге, не встречал ли Емельяна Басова?

— Как же. Зрил. Он в приказной избе при приказчике обретается. Крепкий такой.

— Да-да, он это. Поклон ему от меня. Скажи, что зимой свидимся, как товары туда повезем, — обрадованно заговорил Евтихий. Чуть помедлив, добавил: — Без хозяина мы ничего

дать не можем, а в пути без ножа — худо. Возьми мой пока. А как буду в Нижнем, так и поквитаемся.

За удобную рукоять Щербак вынул из ножен сверкающий нож. По отточенному лезвию провел ногтем, пощелкал пальцем по его боку и одобрил:

— Зело остер и звоном чист. С великой радостью приму.

Наговорившись с гостями, Михайло Поротов вдруг решил:

— Евтишка, однако, поутру и я с ними до Верхнекамчатского подамся. Кузнец Лукашка еще с весны обещал навесы выковать, а и поныне нет. Двери-то в амбаришках чуть навешаны. Никифор вернется — недоволен будет. Схожу, с народом-то в пути сподручнее, да и Тимошку с собой возьму: пусть к казацкой жизни походной навыкат.

Лохматилась осень. Один за другим гасли тусклые дни. На третий день из узкого ущелья отряд вышел в долину, с одной стороны которой огромным морским валом нависали над ней востряки Ганальского хребта.

Отряд спешно продвигался. Михайло Поротов с сыном Тимошкой, как и все, с увесистыми котомками, бодро шагали по заиндевелой тропе. Тимошка с любопытством осматривал окрест. Тут уже отцветала осень. Пожухлая трава в заморозки поседела. В долине кое-где одиноко торчали чахлые низкорослые деревца боярышника, а голые березы стыдливо жались к сопкам.

— Налетят скоро ветры-снеговики, и вот она — тута, зима-матка, — затеял разговор однорукий Михайло.

— Да-а… Стужи да нужи… — отозвался Варфоломей Чудинов.

Идущий неподалеку десятник Степан Чуб обратился к Михайлу:

— Гляжу я: малец-то у тебя вытянулся, выше батька. Будет, яко Филька, жердят. Вишь, вон он, торчит меж людей, що пугало в огороде. — И указал вперед на возвышавшегося среди других Баева.

— Пущай растет. Вскорости на мое убыло место в казаки заступит. Одно худо: верченый он у меня, неслух. Сколь твержу, что дело не в росте — в разуме сила-то, — косясь на Тимошку, отвечал Поротов.

— Казаку смекалку, хваткий взор да памятливое ухо преж сего надыть, — вставил Варфоломей.

Услышав разговор о себе, Тимошка потупил взгляд и подумал: «Уж не мал я, поди, сам ведаю» — и с напускной бодростью зашагал, обгоняя говорящих. Он с нетерпением ждал, когда же объявят привал, — тогда он сможет опять поближе подойти к кандальникам и рассмотреть этих воров-разбойников. Тимошка никак не мог понять, почему они так спокойны: переговариваются меж собой, иногда даже улыбаются, будто идут не на смертную казнь. «Можа, не ведают, что их казнят, либо мыслят утечь? Ан нет, караул крепок!» — так раздумывал он, глядя, как гуськом идут кандальники, привязанные друг за друга, позвякивая цепями.

Отряд шел вдоль речки Конад, бегущей по пади. Совсем низко над землей тянули клином лебеди. Важные, они, будто переговариваясь, изгибали шеи, поглядывая в сторону отряда.

* * *

Ночь. Над мощным Ганальским хребтом, изрезанным глубокими каньонами, подвешенной лампадой засветила луна — казачье солнышко. Любуясь своей красотой в отражении вод двух речушек, журчащих неподалеку друг от друга, но бегущих в разные стороны, она заливала бледным светом тронутую осенью высокогорную тундру, мерцающие костры и людей, расположившихся на ночлег у одной из этих речушек.

Тимошка никак не мог заснуть. Его донимали мысли: «И пошто этих разбойников-воров так далече ведут на казнь? Ведь казнили же в Большерецком остроге одного из них, Васко Вахлыча, авачинского тойона. А этих ведут в столь дальний путь. Особливо разбойничий вид у двух гривастых камчадалов — Черемача и Федьки Харчина. Их впалые темно-карие глаза страшно поблескивают из-под лохматых бровей».

Поначалу Тимошка шибко боялся их, но со временем пообвыкся и стал подходить ближе. А когда присмотрелся к ним, то и вовсе ум за разум зашел у него: как же так, глаза-то у них вовсе не разбойничьи, без плутовства, смотрят на всех беззлобно?

Тимошка отвернулся от костра и выковырял из носа волосинку, попавшую туда с покрывала. Потом, легонько ткнув отца в бок, спросил:

— Тять, а пошто их в Нижний-то ведут?

— Не крутись, лежи спокойно.

— А кандальники не утекут?

— Небось, караульные-то чутко дозорят, да и железы на них крепки, не враз-то осилить можно… Эх, сынок, в чепях не побегаешь. Днем намаются так — спят бесчувственно, — порассуждал в ответ отец и улегся поудобней.

— Тять, а не злые разбойники бывают? — не унимался Тимошка.

— Спал бы ты ужо. Совсем донял спросом-то. Несмышленыш, зелен еще, коли сам того не разумеешь. Поболе надо кумекать, а то неладен из тебя казак выйдет, — укоризненно произнес отец, но все-таки ответил: — Люди разбойниками не родятся. Как говорится: на грех мастера нет. А вот как судьбина повернет — от такого житья-бытья человече либо добрым, либо озлобленным деется. Жизнь-то разная: кому на диво, кому на грех. Крепкий для жизни характер нужон, а коли кто безволен, тот ни злым, ни добрым быть не способен, одним словом — червь.

Тимошка плотнее прижался к отцу, натягивая на бок покрывало.

— Озяб, небось? Не открывайся, смотри застудишься, горячкой занеможешь. Хладны тутошние ночи. Везде еще теплые, а тута, в Ганалах, завсегда студеные.

— А пошто так?

Родитель, хмыкнув, недовольно подумал: «Вот варнак, не спится ему: пошто да пошто» — и, вздохнув, сдался:

— Ладно, поведаю, коль не спится никак, токмо после сказу, мил-дорог, сразу почивать.

Он приподнялся, взял палку, через Тимошку дотянулся до костра и сдвинул затухающие чурбаки в кучу. Пустив в небо рой огненных комаров, костер разгорелся, огонь весело заплясал, освещая вповалку лежащих казаков.

— Михай, ты пошто не спишь? — донесся голос дозорного Варфоломея.

— Да вот, с мальцом калякаю, — ответил Михайло и прилег. — Ну, слухай. Знавал я одного святого отца, Агафангела. Давно он тут на Камчатке, посчитай, лет двадцать, без малого, будет. Тогда он еще был дьячком, а ныне сказывают, архимандрит при Успенской пустыни в низовьях Камчатки. Зело

мудрен и любопытен старец, а с нехристями сам, без толмача, разговоры водит по-ихнему. Многое он ведает и до сказов охоч. Так вот, сказывал он мне как-то старину-былину, которую у камчадальских памятных бывальцев выведал.

Много с тех пор воды утекло. Крепок да высок был тогда горный камень Ганальский. Таков, что птице соколу не перелететь, тучки ходячие и те за его востряки, словно за колья, цеплялися. А под ним внизу бежала речка Кедровая. Ласково журча, омывала она его камни и зрила на него синими очами озер сквозь ресницы — заросли дремучего кедрача. Веселый нрав был у речки-говоруньи. По зеленым увалам спускались к ней березы-хохотушки, дабы тут, на бережку, поводить хороводы с длиннокосыми ивами. И тогда Кедровая озорно врывалась в их потехи, обдавала студеными брызгами так, что цветными лентами распускалась радуга. Повеселясь, торопилась прочь в низину и оттуда вновь любовалась гордым Ганалом.

Люб ей был спокойный и крепкий Ганал. И как токмо солнышко выглядывало из-за его вершин, радостью искрились очи — озера Кедровой, отражая в них его белые в снегу камни, синее небо, золотистое солнышко. От такого взгляда теплело в каменном сердце Ганала, подтаивали его льды-снега и пополняли Кедровую серебристыми струями.

Она же щедро поила ими корни кедрача да хвойного леса, растущего по берегам и по всей дивной Ганальской раздоли. На лесных полянах буйно цвели лазоревы цветы да высокие травы. На речку то и дело выходили косматые матухи с медвежатами и бултыхались в ее чистых водах. Любо-дорого посмотреть, как жили Ганал и Кедровая: от их счастья всем была польза-выгода.

Шло время. Вскоре появились у них две дочери-проточки. Старшую нарекли Уйкоаль, а младшую — Конад. Из-под шапки облаков седой Ганал растроганно посматривал на красавиц-дочерей.

Но однажды, на беду, горные духи Гамулы поведали подземному богу Гаечу о крепкой любви Кедровой и Ганала. Разгневался, рассвирепел Гаеч.

— Как посмела она полюбить седого горбатого кряжа?! Меня, Гаеча, отринула! — завопил он.

От злости подземный бог так затопал ногами, что мать сыра земля застонала, закачалась под речкой, вздыбилась угорами на ее пути.

Заметалась в страхе бедная Кедровая, а любимые дочери с испугу бросились в разные стороны и потерялись из виду. От великого горя стала река мутной. На виду Ганала — все высыхала она, превращаясь в небольшой ручей. Потом истекла в небольшую падь Ганальской раздоли да умерла. И по сей день стоит она Мертвым озером — ни рыба, ни птаха не нарушат ее безмолвного покоя. Вымер вокруг пригожий лес, заросли да замуравили все тропки. Чахлый кустарник да хилые травы растут ноне в неприютной Ганальской раздоли — пристанище бродяги-ветра.

От бессильной злобы на бездушного Гаеча и неутешного горя содрогнулся мощный Камень-Ганал, завострился острыми пиками, нахлобучил на них лохматую шапку облаков, стал угрюмым да неприветливым. И поныне подстерегает он каждого путника то ущельем-ловушкой, то лавой снегов, то лютым холодом.

А дочери его… Младшая, Конад, бурлящая, похожая на говорливую мать Кедровую, ища спасения, ринулась, продираясь с великим шумом меж скал, к морю Ламскому и оборотилась в речку Быструю. Старшая же, Уйкоаль, в отчаянии метнулась в глухой таежный край и, став рекой Камчаткой, важно и гордо, под стать родителю, потекла в объятия окиян-моря…

Завороженный сказом, Тимошка притих, прижавшись к отцу, и вскоре заснул.

Крепкие заморозки торопили Мерлина, поэтому лишь на сутки отряд задержался в Верхнекамчатском остроге. Наспех провели порку означенных по реестру сыска камчадалов и русских служилых и повесили бывших тойонов Ганля и Харлакана.

С утра отряд загрузился на лодки и заспешил к Нижнекамчатску. Подполковник распорядился не останавливаться в острожках. Причаливаться на ночевку там, где застанет темнота. На другой день баты и лодки отряда проходили мимо острожка Машурина. Высыпавшие на берег жители селения удивлялись, что гости не причаливают. От берега отделился небольшой бат и стал догонять уходящий отряд. Батом правила

женщина. Ловко орудуя шестом, она обгоняла одну за другой лодки и внимательно всматривалась в лица служилых.

— Ходко идет. Однако, кого-то высматривает, — заметил Щербак.

— А можа, кандальников позрить хочет, — рассудил Обухов.

Увидев казачьего десятника Чуба, камчадалка зачастила шестом. Ее бат быстро нагонял лодку Степана.

— Мотри, краля, с какой ты выплясывал давеча, сюды жалует. Никак ты, Степка, девке-то в сердцо запал? А? — лукаво подмигнул Варфоломей.

Признав Канучь, Чуб удивился. Убирая весло, Варфоломей приготовился принять причаливающий бат, который, шаркнув бортом, притерся к лодке.

От соседей донеслись выкрики и свист:

— Чо, Степка, откобелился, робеночка подвезли?

— Ништо, Варфоломей за деда снянчит! Ха-ха-ха! — разносился над водой смех.

— Тебе що? — выпалил Степан, чувствуя неловкость.

— Ты про Камака сказывал. Где он холопит?

— С холопов-то он отпущен. Ныне тоен Пеучева острожка. Того, что на реке стоит.

— Пеучев? — переспросила она.

— Та неподалеку от Хапиченского острожка. Сыщешь, коль надоть.

— Угу, — мотнула головой. — Я — к Камаку. — Она оттолкнулась от лодки.

— Прямо счас? — удивился Степан.

Но Канучь, не слушая его, мощными движениями шеста уже разгоняла бат, направляя вниз по течению реки.

— Чумная! Без харча в такую даль, — заключил Степан.

— Ан не-ет… Не чумна — девка-то отважна. Не много таких, — возразил Варфоломей. Помолчав, рассудил вслух: — Люб ей… А вот кто? Либо Камак тот, либо она тебе, дурню, в укор? Чувства у женок, какого бы народу они ни были, всегда загадка, мраком крытая.

Выносливы камчадальские женщины. Вот уже и день на исходе, а Канучь все гнала и гнала легкую долбленку, петляя меж мокрых каменьев на вспенившихся шиверах реки. Быстро проплывали берега, поросшие голым тальником да черемухой,

среди которых иногда нет-нет да и мелькнет желтая с огнистым отливом лиса.

Чем ниже по течению, тем мощнее становилась ненасытная Уйкоаль. Она жадно поедала крутые яры, которые рушились, обнажая корневища деревьев. Холодно поблескивала свинцовая вода, отражая пасмурное с мокрядью небо. Куда ни глянь, повсюду чувствовалась поздняя осень.

«Огонь бы раздуть да обсохнуть. Вот беда, плашки с собой нет», — подумала Канучь и вновь, усердно отталкиваясь, гнала ходкий бат.

К исходу второго дня она причалила у небольшого острожка. Чуть выдернув на берег долбленку, решительно направилась к жилищам. Неподалеку от берега Канучь нагнала трех мужчин. Они катили к балаганам здоровенную тополевую колодину — заготовку для бата. Один из них показался ей знакомым. Он тоже узнал ее и распрямился.

— Однако, Канучь? Ах-ва. Тце-тце-тце, — зачмокал языком, и физиономия его растаяла в улыбке.

Узнав своего сродника Кашугу, она застенчиво спросила:

— Камак где?

— Тама… тце-тце… — указал на один из балаганов Кашуга, все еще улыбаясь и ощупывая проворными глазенками ее ладную фигуру.

Канучь заторопилась. У островерхого двухъярусного балагана сидел Камак. Волосы его не были заплетены в косички и черной гривой спадали на широкие плечи. Сыромятными ремнями он стягивал копылья нарты, не обращая внимания на подошедшую. Свисающие волосы закрывали его лицо. Канучь остановилась в нерешительности.

«Он или нет?» — подумала она и окинула взглядом балаган.

Нижний ярус завален алыками и прочей собачьей упряжью. У верхнего яруса на кольях насажены черепа медведей, подчеркивающие знатность охотника.

«Это он», — мелькнула мысль, и тут она заметила подвешенные травяные мешочки для хранения сушеной мякоти кипрея и прочих кореньев да трав. У Канучь похолодело внутри. Впервые за годы мечтаний о желанном Камаке только сейчас ей подумалось: «Вдруг я ему не нужна?» Она растерянно уставилась на увлеченного делом тойона. Почувствовав на себе

взгляд, Камак кивком головы откинул свисающие на лицо волосы и взглянул на нее. Глаза недоуменно расширились.

Не веря увиденному, он поднялся и протянул:

— Ка-а-анучь?!

Она заулыбалась, сдерживая радость. Трепещущее сердце гулко отстукивало время редкого счастливого мгновения.

Опомнившись от первых чувств, Камак степенно подошел к ней и пристальным вопросительным взглядом смутил ее. Тогда из-под кухлянки она достала небольшой пучок священной травы тоншичь, сняла висевший на шее нож и подала его Камаку. Траву разделила на две части. Одну прикрепила себе на голову, а другую, растерев на ладонях, съела и, опустившись на колени, обняла ноги Камака. Он взглянул на нож, удобный в руке, потом на прижавшуюся в ожидании решения Канучь и задумался: «Эх, Канучь… Как была ты мне желанна. Переломали нашу жизнь. Твоей вины тут нет. А перед Кутхом ты чиста, коль по обычаю вверяешь мне жизнь». Он поднял ее на ноги и, вложив нож обратно в ножны, отдал ей. Взяв с головы Канучь траву, тоже съел, нашептывая при этом: «Великий Кутх, отведи злых духов от моего жилища. Пусть жены живут в мире и будут у меня силы для добычи зверя да продления рода».

ГЛАВА 5

После первых заморозков наступило время холодных нудных дождей. Ветер беспрерывно месил моросящую хмурь. С ближних и дальних острожков, присудных к Нижнекамчатскому острогу, под присмотром служилых казаков сошлось и съехалось множество камчадалов, прибывших к месту казни. Опасаясь их большого скопления, Мерлин распорядился усилить караулы на стенах крепости, а в ночное время вокруг стен держать скрытые посты-рогатки. Днем возле шалашей камчадалов — то там, то здесь — можно было заметить переодетых в одежды посадских обывателей — фискалов, которые под видом мелкого торга все приглядывали, запоминали, выведывали: нет ли замыслов тайных у нехристей.

Все служилые и казаки, по приказу осторожного подполковника, ночевали только в крепости. На угловой башне

постовые — десятник Удачин и Кузьма Щербак. Прохаживаясь под навесом башни, Кузьма оглядывал сверху кривые улочки острога. Глаза сами собой отыскали избу, мало чем отличавшуюся от других таких же плоскокрыших построек. Он пошарил взглядом по двору: не копошится ли где-нибудь его Настасья или малец Степашка. Не увидев никого, подумал: «В такую мокрядь сидят, поди, у печи».

Потом посмотрел на многочисленные пологи и шалаши камчадалов, полукругом охватившие селение острога, заметил:

— Людишек-то уймище нагнали.

— А как же, пущай зрят, дабы неповадно было. Ить народец-то не вприклад стал озористей. И когда оно, смутное времечко, тута кончится? — отозвался Удачин.

— Когда по совести с ними да по-людски, тогда и смут не жди. Помню я, как ты с Колыговым ясак в Олокино рвал. Помню...

Удачин, недовольно хмыкнув, махнул рукой:

— А если б с ними цацкались, давно бы тут с голодухи или у них на копьях животы положили.

Кузьма ничего не ответил.

Миновал подслеповатый октябрьский полдень назначенного дня. С колокольни Успенского собора бухнул колокол, спугнув стаю ворон, облепивших одну из стен крепости. Сразу же весь окрест присмиревшего Нижнекамчатска потонул в тугом медном звоне. Тревожный гул размеренных ударов колокола расплывался, эхом отдаваясь в крутолобых сопках. Тут же со звонницы, устроенной над воротами крепости, как в предсмертной агонии, забился тонкоголосый вечевой колокол.

Захлопали двери изб, засуетились обыватели и прибывшие камчадалы. Потянулись к площади людские ручейки. Неподалеку от ворот крепости торчали виселицы. На деревянном с приступками помосте под каждой петлей, свисающей с перекладины, стояли грубо сколоченные подставки. Тут же устроены козлы для порки. Рядом с помостом возвышался длинный стол, застеленный темным сукном. Лобное место от самых ворот крепости оцеплено солдатами и служилыми, а на крепостной стене, обращенной к площади, у пушек в торжественно-устрашающей боевой изготовке выстроились казаки. Не доходя до отцепления стражников, народ сбивался в толпящуюся массу, с любопытством посматривая на ворота

и на отрешенные лица служилых да солдат походной канцелярии Мерлина.

Щербак стоял в отцеплении рядом с Варфоломеем Чудиновым вблизи ворот и издали посматривал на все нарастающую толпу народа.

Задрав голову вверх на звякающий вечевой колокол, заметил:

— Этот-то, супротив церковного, что побитый щенок поскуливат.

— Да, всполох-то учинили немалый, — отозвался Чудинов. — Эвон, сколь миру толпится.

От звона колоколов камчадалы испуганно втягивали головы в плечи, озираясь, сбиваясь кучнее.

Колокола стихли, оставляя звон в ушах, наступила гнетущая тишина. Из ворот крепости вышел подполковник Мерлин в окружении свиты и охраны. В белоснежном парике, оттеняющем его рыжеватые брови, Василий Мерлин степенно вышагивал. За ним, чуть отставая, двигались: худощавый Павлуцкий, приказчик Эверстов, поп Ермолай со служителями, которые несли иконы и хоругви, толстощекий судья походной канцелярии — обер-ландрихтер, палачи с набором кнутов, писари, бирюч и денщики.

Поп Ермолай в черном бархатном с длинными рукавами саккосе, в наброшенном поверх него омофоре, украшенном золочеными крестами и кистями, свисающими по концам, шествовал впереди своей братии с крестом в руке. Побрякивали медными подвесками хоругви, а печальноликие служители в скорбном молчании бережно несли иконы Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца.

Как только Мерлин, судья и писари разместились за столом, из ворот показались кандальники. В изодранных одежках под перезвон цепей они мрачной тучей надвигались к лобному месту. Их выстроили неподалеку от стола, окружив стражниками. Капрал, что-то уточнив у Мерлина, дал команду. Тотчас мелкой дробью звучно сыпанул барабан. Толпа притихла. Солдаты подвели к первой виселице Ивана Новгородова, который в тысяча семьсот тридцатом году был комиссаром на сборе ясака. По приступку поднялся на настил и, повернувшись к народу, встал, понурив голову. У него еще теплилась

надежда, что все же возымеют действие былые подношения, кои он делал в Иркутске, Якутске, да и чистосердечное покаяние при сыске, что его — так, для острастки других — помучили, ну еще авось и выпорют всенародно для успокоения иноверцев. Мерлин-то подвластен, поди.

«Но не вешать же за дела, кои творили и другие. Ведь не бунтарь же», — успокаивал себя Новгородов.

Чуть приободрив себя, поднял голову. Сразу же сотни камчадальских глаз ядовитыми стрелами пронзили его. У Новгородова похолодело внутри — он потупил взор.

Бирюч, важно выступив вперед, монотонно принялся читать приговор:

— «Бывшего камчадальских острогов комиссара Ивана Новгородова казнить смертью для того — будучи он при сборе ясаку чинил ясашным иноземцам всякие обиды и разорения, а именно: посылал от себя на разные реки за ясашным сбором подьячего Якима Мухоплева да брата своего Матвея Новгородова и служилых людей, которым приказывал брать от ясашных иноземцев лихоимством своим сверх ясаку в чащины по три и по четыре места с каждого человека собольми и лисицами, а у которых того нет, у тех брать жен и детей и последние их парки и кухлянки да бить батожьем на правеже…»

Глашатай прервался, поджидая, пока толмач переведет сказанное. Камчадалы, слушая толмача, приободрились и согласно закивали головами.

— «За великие разорения ясашных и обиды, учиненные им, казнить Ивана Новгородова смертной казнью через повешение…»

Голос бирюча, будто поленом, шибанул Новгородова. У него захватило дух: «Виновного! Виновного нашли! Сами потакали во всем, а ныне подсунули для показу! Это все! Смерть!» Подавляя гнев, оцепеняющий страх ворвался в его душу.

Федор Харчин стоял, отягощенный думами. Чувство неловкости перед сродниками душило его: «Смутил народ, а своего так и не добился. Поймут ли, для чего старался… Но ведь многим большим начальным людям, тут и в Охоцке, я беды своего народа все же поведал. Дойдет ли до царицы, будет ли полегчание сродникам… Коли меня не отпустили, вряд ли ждать им поблажки тож. Теперь лишь в подземный

мир, но без этих русоголовых. Не хочу, чтоб они попали туда, к моим предкам. Нужно первым попасть к Гаечу, и я упрежу его — не пущать их».

Увидев, как к Новгородову направился поп для предсмертного исповедывания, Харчин попытался прорваться сквозь охрану:

— Меня вперед! Меня!

Стражник наотмашь ударил его прикладом фузеи в грудь. Боль и на миг остановившееся дыхание заставили отступить назад, но вспышка ярости придала ему силы. Ударом головы он сбил с ног солдата, но сам запутался в гремящих цепях и упал рядом.

— Меня… Меня вперед! — злобно хрипел Федька.

Стражники набросились на него и, награждая за дерзость увесистыми ударами, принялись поднимать смутьяна.

Загудела толпа, глядя на сумятицу. Налилось гневом лицо Мерлина.

Он недовольно прошипел:

— Неужто одного смирить тяжко?

Павлуцкий метнулся к месту стычки.

— И откуда в нем силушка водится? Ведь не на вольных — на тюремных харчах четыре года прозябал, — удивился Щербак долгому сопротивлению Харчина.

— То не сила — отчаянье в нем бьется, — рассудил Варфоломей Чудинов.

Четверо солдат прижали Харчина к земле, но он не успокаивался.

— Меня! Меня! — рычал он.

Павлуцкий, подойдя к Мерлину, посоветовал:

— Авось и впрямь первого вздернем? Упрямое семя — не успокоится!

— Ну так кнута ему еще перед смертью! На козлы его! — зло скомандовал Мерлин.

Федора Харчина поволокли к козлам. Обер-ландрихтер, поправив локоны парика, свисающие на глаза, удивился:

— Не боятся смерти, нехристи, будто за радость чтут.

— Федька-то не нехристь, крещен, еще когда толмачил в старом остроге. Да токмо проку в том, что крещен, никакого, своих бесов чтит, — ответил Павлуцкий.

Помощники палача ловко стянули с Харчина кухлянку и притянули его ремнями к сырым козлам. Палач следственной команды со знанием дела наносил удары: с протягом кнута, чтобы при ударе кнут рассекал и срывал кожу. Размеренно и хлестко щелкали удары, в такт им вздрагивало тело. Напряженные мышцы взбугрили широкую исполосованную спину. Хоть и тяжек кнут, и удар силен, но тверд характер Федьки Харчина. Вновь размах и… удар! Черным соболем брови выгнулись и метнулись вмиг к переносице. Мечут молнии очи карие, губы сжаты, зубы стиснуты, пока память есть — стон не вырвется. Столь упрям народ Камчадалии.

Откупившийся казачий десятник Колыгов, стоя на крепостной стене с казаками, угрюмо посматривал вниз. Он чувствовал всем нутром, что сейчас свершается что-то необычное в этих местах — не просто лишение жизни, коим здешний народ не удивишь, а казнь, ставящая многие устоявшиеся понятия здешних обывателей и служилых с ног на голову и заставляющая по-другому, непривычному для них, смотреть на свои прошлые и нынешние деяния. И это тревожило и пугало его.

— Ты ноне, я гляжу, невесел, — обратился к нему десятник Удачин. Увидев, как у Никифора нахмурились брови, добавил: — Оно, конечно, в казенке-то тебе не мед было, так все ж от петли аль козел открутился. Палач-то свычный к своему делу: у такого дух ненароком испустишь на козлах.

Колыгов молча одарил Удачина тяжелым взором. Тот, вздохнув, замолк и уставился на площадь, где пошатывающегося Харчина вели к виселице.

Приговор зачитывал глашатай, Федька Харчин не слушал. Его донимала лишь одна мысль: «Устоять надо! Что подумают они? Сломили… Не-ет, насильно не согнусь».

Это заставляло его преодолевать навалившуюся на все тело неимоверную слабость. Он не слушал и то, что говорил подошедший поп, а смотрел поверх головы отца Ермолая мутноватыми глазами. К его сознанию пробились лишь некоторые слова приговора: «…виновного в измене… пожоге… и побитии…». Собирая последние силы, чтобы устоять, Харчин подумал: «Зачем они столько говорят? Какая измена? Нас жгли да били — и мы их. Быстрей, быстрей к Гаечу». Он попытался сам взобраться на подставку. Помощники палача хотели

воспрепятствовать ему, но, уловив знак Павлуцкого, помогли встать на подставку. Харчин спешно продел голову в петлю. Вложив остатки сил в улыбку, обращенную к сродникам, не дожидаясь барабанной дроби, оттолкнул ногами опору. Чуть трепыхнувшись, тело Федьки Харчина повисло.

Камчадалы спокойно отнеслись к этому зрелищу, зато посадские люди, охнув, принялись креститься, приговаривая:

— Ныне отпущат.

Щербак, осенив себя крестом, заключил:

— Вот и отделила петля: тело — земле-матушке, душу — небу-батюшке. Такова воля Божья.

— Воля Божья, да суд царев, — ввернул Варфоломей.

Степан Чуб перекрестился и, глядя на успокоившееся тело Харчина, подумал: «Эх, Хведька, Хведька! Гутарил же тоби — казнят. На милость царскую уповал, та задумка худой оказалась. Народец твой без бар и воевод жил: мало лиха еще повидал. Взбунтовались, а про що, сами не ведали. И ты не виной тут. Видно, рано твоему народу атаманов иметь, не натерпелись вдосталь. Прости уж меня, Хведор».

Потом все пошло своим чередом. Поп исповедал сначала будто окаменевшего Ивана Новгородова и подошел к казачьему сыну Никитке Родихину.

Тот мотнул головой:

— Не буду.

— Пошто так?

— Нету Бога! Сколь же молить попусту?! Сколь просить его — услыши да услыши! Где он?! Знать, тоже на стороне неправды? Плюю я на него, плюю! Лучше с камчадалами к Гаечу, чем к такому! — отчаянно выкрикивал Никита.

— Сдурел… Сатана! В ад, в ад попадеш-шь! Будь ты проклят, — прошипел отец Ермолай, отходя от Родихина, и загнусавил: — А днесь молитесь Богу, прощаясь с жизнью. Бог милостив. — И посмотрел, как с обреченным видом, подавленный предсмертным страхом Новгородов дрожащей рукой вдруг неистово закрестился.

— За что меня-то? Меня-то за что? Другие больше рвали — их обошли. Господи! Повернись ко мне, охрани! Охра-ни-и! Охрани-и! — с причитания перешел на крик бывший комиссар.

Божьи служники зычными голосами затянули:

— Господи по-ми-и-илуй…

Из набежавшей тучки стал накрапывать дождь. К виселицам подвели некрещеных камчадалов. Бирюч поспешно зачитал приговор. Висельников подтолкнули к подставкам. Рассыпалась барабанная дробь. Пока палач поочередно выбивал подставки из-под ног Новгородова и Родихина, камчадалы сами попрыгали с них, убыстряя свой уход в подземный мир.

— Аллилуйя, ал-ли-луйя, — тянули отпевание священнослужители.

Смолкла молитва, и снова выступил вперед бирюч. Зачитывая приговор, он перечислял фамилии приговоренных к телесному наказанию: бывшие ясашные комиссары Михайло Шехурдин, Михайло Петров; управитель острогами Михайло Борисов, подьячий Яким Мухоплев; сборщики ясака — Петр Гуторов, Евдоким Колесов.

Щербак, прислушиваясь к доносившемуся голосу бирюча, считал про себя: «Осмь… дцать… два на дцать… четыре на двадцать…»

Глашатай, чуть передохнув, продолжил:

— «…А також за учинение смуты и противления ясашным зборщикам бить кнутом некрещеных иноверцев: Быргача, Ор-Тавача, Чегеча, Имаркина, Начика, Ганала, Брюча, Тимуча…»

Кузьма, стараясь не сбиться, вторил про себя за глашатаем: «Два на дцать… осмь на дцать… тридцать…»

Когда бирюч закончил перечислять наказуемых, Щербак подытожил:

— Четыре на двадцать да шесть на тридцать ровно шестьдесят душ. Однако, до вечера палачу не управиться.

— На четырех-то козлах быстро отхлещут, токмо оттаскивай. А днесь дожжит, дак и отливать не надо: сами очухаются, — возразил Варфоломей.

Под барабанный грохот первую четверку потащили к козлам. Засвистели, защелкали кнуты, заглушая взвывания и стоны наказуемых.

Никифор Колыгов, наблюдая сверху за Мухоплевым, извивающимся под кнутом, обронил:

— Жидкий телом, а живуч Яким-то, порку снесет, посчитай, тож на волю вынулся из каморы… И рухлядишко цело…

Удачин горестно вздохнул. И отозвался:

— Не скажи, Васька Новограбленов в Верхнекамчатске на козлах дух испустил. Пытошные вона как усердствуют. Вот уж поистине: душа согрешила, а спина виновата.

После порки битых снимали с козел и, придерживая под руки, отводили к толпе жителей. Родственники и близкие принимали их, укладывали тут же на принесенные шкуры, отдирали рубахи с окровавленных спин и принимались врачевать.

Больше часа длилась порка разночинцев. Потом, после небольшого передыха, пришел черед камчадалов. С них сдергивали кухлянки, обнажая смуглые спины, прихватывали сыромятными ремнями, и с неугасимым радением палачи приводили приговор в исполнение.

Тойон Пеучева Камак спокойно наблюдал за казнью. Но когда под ударами кнута начали извиваться тела, ему стало не по себе. Сын природы, он не мог смотреть, когда бьют привязанного. От каждого хлесткого удара кнута Камак внутренне напрягался и с трудом гасил в себе поднимающуюся ярость. Он отвернулся и увидел лица сродников, на которых тоже отражалось сопереживание. Не выдержав, стал пробираться подальше от лобного места.

Издревле на Руси-матушке кнут хаживал по натруженным спинам, насаждая правду владык, так как битым еще не ведома была та правда-истина, которая смогла бы поднять, распрямить их во весь могучий рост, да так, что никаким кнутом ни согнуть, ни сломить не удастся. А пока корчился под кнутом, содрогаясь от боли, правый и неправый, уповая лишь на свою лихую судьбину.

На следующий день трупы повешенных сняли и предали земле. После казни будто непомерный груз свалился с плеч многих служилых и казаков, живших эти годы в страхе, но не попавших под сыск, для которых после этой казни — вершины сыска начался новый отсчет времени. Столь важное событие на далекой окраине державы, которое должно было явить могущество и справедливость императрицы, взбудоражило умы обывателей и служилых, породило множество разных толков, нарушило размеренную жизнь в остроге.

В этот ненастный субботний день пронизывающий ветер после полудня вместо мороси стал наносить снежную крупу. Сменившись с караула, Кузьма и Артем Обухов вышли за ворота крепости.

— Дмитриева суббота по снегу-то и святая. Завсегда со снегом должно быть, так старики сказывают.

Обухов поежился от ветра, скользнув взглядом по чуть побелевшим обочинам улочек, площади, и посмотрел на кабак:

— В Дмитриев день и птаха под кустом брагу варит. Можа, угоститься нам в честь праздника, а? Не то до заимки своей не добреду, околею напрочь.

Щербак, поразмыслив, ответил:

— Вроде как и не грех ноне.

— Дак днесь ты за рухлядишком-то сходи, а другорядь я с собой прихвачу — и поквитаемся, — предложил Обухов.

Пройдя тесноватый коридор кабака, в котором коптил жировичок, вошли в душное помещение. Винные пары, смрад от жировиков, кухонный чад смешались в единую одуряниваю щую духоту. Разговоры, хохот, брань неслись со всех сторон. Жаждущие выпить отыскали свободные места у стола. Обухов занял место, а Щербак пошел к стойке, за которой стоял целовальник и время от времени давал распоряжения прислужникам, суетившимся по кабаку. Кузьма вынул из-за пазухи соболя и положил перед ним.

Тот встряхнул его, протянул через свою ладонь, дунул несколько раз:

— Неважный. Четверть раки да заедки на выбор.

— Господь с тобой! Обижаешь, крупен ведь. Иных два надо. Да и цветом вышел, — возразил Щербак.

— Подшерсток слаб. Осенний. — И перекинул соболя Щербаку.

— Ладно, — согласился Кузьма.

Целовальник невидимым движением смахнул соболя и, сразу проявляя интерес к посетителю, спросил:

— Чего к раке поставить? Заваруху из репы, бурдук ячменный, жареху из гуся, баранинки аль рыбу какую? — Помолчав, он с ухмылкой добавил: — Все ноне есть. Хошь пей, хошь ешь, хошь токмо поскреби да прочь бреди.

— Баранины да заваруху неси, — заказал Кузьма и, взяв четверть раки да чарки, направился к столу.

Пока Артем Обухов наливал раки, Щербак в соседе по столу признал сержанта Басова.

Окинув взглядом скромную пищу перед ним, состоящую из соленой рыбы да похлебки, Щербак поинтересовался:

— Чудно, в кабаке сидишь, а без раки, да и заедок-то чуть. Аль непьянственный?

— Мало чего хошь, да где взять грош. За печатные деньги раки не дает, а рухляди не имею. Браги чуть взял, да больно уж она непотребна. Ну а рыба-то не вредительна, да и дешева она.

— Тогда не обессудь, — сказал Щербак.

Он выплеснул на пол остаток недопитой браги из ковша Емельяна Басова, налил ему раки.

Прислужники скоро поставили на стол заказанную еду. Осушив чарки, Щербак и Обухов принялись осматриваться.

Артем, аппетитно уплетая баранину, сказал:

— Гляди-тко, ноне густо в кабаке. Даже Колыгов тут. — И кивнул головой на соседний стол.

— Приуныл пятидесятник. Гонор ему посбили в казенке-то.

— Сказывают, Васька Мерлин-живоглот амбарушки-то у него почистил. Поневоле закручинишься, — засекретничал Обухов.

— А-а... По татю клещи, по вору кнут. Сколько иноверцев разорил да погубил, греха за собой не чуя, — махнул рукой Кузьма.

Басов, поглядывая на соседей, отметил себе: «Знать, и в народе слух пал: нечист на руку Мерлин». Он стал прислушиваться к разговорам.

За соседним столом Удачин предлагал Никифору Колыгову:

— Ну, еще плеснем?

— Погодь, должон Филька подойти, успеешь нализаться-то, — осаживал его Никифор.

Пламя светильников вздрогнуло. Колыгов с Удачиным обернулись на дверь. Но вошел не Филимон.

— Авось не придет Филька. Так, брякнул, дабы отвязались, а не придет... Кабак-то на охотника: кто хочет — идет, кто не хочет — мимо бредет, — не унимался Удачин и, прерывая речь звонкой отрыжкой винных паров, продолжил: — Брось печаловаться. Радуйся, что кончину живота не узрел, яко оные. А убыток, дак то уму прибыток.

— Наука хороша, да в кармане ни гроша. Неужто Бог не видит, как однех разоряют, а другие обогачиваются?

— А ты не разорял инородцев, когда меха к себе сбивал? — усмехнулся Удачин.

— Тогда была моя сила.

— То-то, а ныне — его. У кого сила, того и правда, — заключил подхмелевший десятник.

— А и впрямь, — согласился Колыгов, — под клином плахе куда деваться: трещит, но колется. Ведь в раззор вошел, дабы спасти буйну голову! А как все наживал, живота и хребта не жалея!

— Мне твоя ретивость в службе известна.

— А что я поимел за ретивость? За то, что государеву казну с усердием пополнял? В казенку бросили, пытать принялись! А не будь рухлядишки, отпустил бы меня Мерлин? Шиш! Петля! Вот и суди, как дале жить-то?

— Да-а, знать, не просто Васька за тебя заступил.

— «Заступи-и-ил»... А сколь рухляди слупил! Как вспомнишь — еда в глотку не идет и душу разрывает.

— Мех и греет, и много деет, — заключил Удачин.

Басов поддерживал разговор с новоявленными дружками, чутко вслушиваясь в разговор за спиной. Он старался не пропустить ни одного слова, но мешал сосредоточиться окружавший их шум.

— Куды так тянешь — кафтан издерешь. Очнется, да и сам вынется вон!

— Утешь, сокол, не забуду вовек тебя, утешь! Душа песни просит, — слезливо гнусавил кто-то.

И покатился по кабаку низкий бас:

— Среди торгу-базару, средь площади,
У того была крылечка, у перильчатого.
Уж как бьют-то добра молодца на правеже,
Что нагова бьют, босова да без пояса...

В темном углу кабака сидел Степан Чуб. Он подпер голову кулачищами и уставился в угол, где от ходячего воздуха кабака колыхалась пыльная паутина.

«Так бы и ввалил себе кнута... Угрызает совесть за Хведьку. За то, що я жив да служу супротив дела, которое зачинали с ним...» — думал Степан. Отпив из ковша, он вновь погрузился в тяжелую думу. «Эх!.. Що, зараз, убиваться, совесть моя чиста перед Хведором. Я всей душой, а они сами не ведали, що им надо. Да и поныне больше в них разбою, чем помыслу. Вот и меня чуть на копья не взяли». Как ни уговаривал себя Степан, а чувство виновности не покидало, оно ввергало его в мрачные думы.

Чуб то и дело наполнял ковш пенистой брагой, будто с запалу, осушал его, пока не заговорил сам с собой:

— Не чалом бить, а полосой вострой. Лавой, усем гамузом надо бить, щоб доразу не очухались… И-эх!.. Народец — темень несусветная…

Щербак посмотрел на бормотавшего Степана и спросил у сержанта:

— Не ведаешь, висельников-то, сказывают, вместе захоронили?

— Да ну, брешут. Неужто Святая Церковь позволит христиан вместе с нехристями?! Пустое.

— А чего? Любой веры всех едино земля «покры и соравни», — возразил Артем Обухов.

— Казнь-то все же остепенит инородцев, поусмирятся ноне. Их возмущение и нашим-то не в пользу вышло: сколь посекли за то, да и петлей кого наделили, — рассудил сержант.

— Пожалуй, оно, можа, и к лучшему: по-божески обходиться с инородцами хоть будут, — отозвался Щербак.

— Ой ли! Казаки-то наши старинного закалу. Не просто враз старинушку повытрясти.

Уже изрядно захмелевшие Колыгов и Удачин спорили за спиной сержанта.

Удачин бухнул кулаком по столу и громко заявил:

— Ан есть Бог! Кабы ты не согрешал своей лютостью, авось бы все обошлось. Немало лет мы вместе, вспомни, сколько раз упреждал я тебя, Никифор? Добром не кончилось. Бог видит.

— Будя! Заладил — «грешил, грешил». Сам ведаю. Ныне откупился за все, — ворчнул Колыгов.

— Не скажи, деньгами души не выкупишь, — наседал Удачин.

— Сам-то чист ли? Радуйся, что Васька тебя обошел, да не возносись, — раздраженно отмахнулся Никифор.

— Не возношусь я! А знай ты, что всякое может случиться: богатый к бедному постучится.

— Вона куды гнешь. К тебе-то на поклон не пойду. Не жди! Поживем ишшо! — презрительно хмыкнул Колыгов.

Удачин, молча наполняя чарки, подумал: «Знать, не все с него повытрясли. Однако, верно: у доброй лисы по три отнорка» — и примирительно проговорил:

— Будя, будя.

Басов, распрощавшись с новыми товарищами, начал пробираться к выходу. Перед сенями он еще раз оглянулся на веселившийся народ. Роем гудит кабак. От чада и винных паров тяжелеет полумрак. Крепчает брань, заливистей и бесшабашней становится хохот, сопровождаемый повизгиванием непотребных женок, спутниц казачьих веселий и горьких попоек. Расплескивалась брага стоялая на липкий пол, осушались ковши, заливая душевные раны, да клонились к столам хмельные головы служилых и казаков, будто на смертную плаху.

Сержант Басов из кабака ушел рано, так как интересующие его разговоры прекратились, а вслушиваться в пьяную ересь захмелевших служилых, выуживая по крупицам сведения, у него не было времени. Он спешил. Надо было к утру собраться, чтобы завтра гнать с почтой для Охотска в Большерецк. Оттуда вскорости должен уходить шитик «Фортуна», который загрузился медвежьим и бараньим мясом, нерпичьим и рыбьим жиром, бочками с ягодой, соленой рыбой — провиантом для терпевшей голодную нужду многочисленной партии служилых, ссыльных колодников, которые в Охотске строили порт и судоверфь.

Бывалый в частых разъездах Басов не спеша, обстоятельно уложил котомку. Сверху положил теплую поддевку и камусовые верха для сапог. Он знал, что до Большерецка ему еще удастся добраться по незамерзшим рекам, а оттуда придется ехать по зимнику. Помня наказ Скорнякова о передаче вестей через штурмана шитика «Фортуна», он сел писать донесение: «…Доношу — моя служба при приказчике такова, что дозволено мне бывать невозбранно во всех острогах, а при том могу вести сыск не токмо разговорами со служилыми да казаками, но инда и следить Мерлина при спопутности, понеже он сам часто разъезжает по острожкам. Хотя и провели тут по острогам казни да порки людишек, повинных в смуте, но все едино, до ныне службу служить тут беспокойно. О Мерлине слух пал как мздоимце и что он вещей ихних да мехов разных довольно ужо ради посулов имеет. Також его волей отпущены от сыска крепкие казаки, кои могли знатным выкупом его состояние пополнить…» Басов, низко склонившись над столом, старательно выводил фамилии, чины причастных к взяткам служилых. Закончив перечислять факты, он, подумав немного,

приписал еще: «Прошу обещанную прибавку к окладу посылать не деньгами, а мукой да крупою, поелику зимою тут питаться с великой нуждою придется…»

* * *

В воскресное утро Колыгов встал поздно. За ночь землю запорошило снегом. Порывистый ветер дробно барабанил снежной крупой, бросая ее на тускловатые оконца, затянутые мочевыми пузырями зверей. Ненастно и на сердце у Никифора. Нерадостные мысли роились в голове, тяжелой от вчерашней попойки.

С тех пор как откупился от наказания и пришел домой, Колыгов стал более замкнутым. За время его отсидки в каморе приказа его «крестники» были отпущены властями. В доме осталась лишь жена Меланья с двумя повзрослевшими молодыми камчадалками, которые в сиротстве привязались к ней, как к своей матери. Вслушиваясь в шум штурмующего окно снега, Колыгов размышлял: «Со всех сторон обобран. Несладко ноне может статься жить. В доме одне бабы, а с них прокуто… Зима-бела промысел пушной привела, а кого послать? Вот Щербаку, язви его, дак фарт-удача сама в руки прет. Тырилка ему ни холоп, ни крестник, а не ушел, прижился у него, да тут еще и бывший холоп Ивар вернулся к нему. Днесь на промысел собираются. Отосеневали они похвально: медвежатины на всю зиму надымили. А зимой пушнины нанесут ему. Одне прибытки Щербаку. И че оне к нему льнут? Вот бы переманить их. Да как? Кабы кто из них посватался за моих молодок, тогда другое дело: по обычаю, два года на меня бы горбатил. А два года — не един день. Ивар-то вроде как частенько у моей хоромины похаживает, авось впрямь приглядку каку тут заметил. Надыть у Меланьи повыведать. Да пусть она почаще девок-то с собой по острогу поводит…» От этих думок Колыгову стало чуть полегче, но ненадолго. Грустные думы вскоре вновь овладели им: «Текет время… Годы мои немалые. Держалая женка тож ужо в годы вошла. Брал-то ее на время, ан приобвык к ней… Для ча сам живу? Добра собрал, да и то для чужих рук пошло. Осталось чуть — токмо для потребы рта. Эх, жизнь! Все яко псы: всяк до себя рвет. Допрежь того Удачин против меня был нищехлебина, а днесь уже заносится. Чуть попустить, всяк готов

стоптать. Былой моей силы-крепости простить не могут. Жаль, попусту все явилось, а ведь стокмо годов ради будущего жил… Нет, как-то инако пожить надыть. Вон Щербак — вроде бы ни рыба ни мясо, а прибытки к нему сами прут… Чудно-обидно…»

* * *

День ото дня крепчал мороз, сковывая в торосья шугу, которая еще вчера, шурша заберегами, лениво продвигалась по реке Камчатке. Сегодня мороз взял вверх, и только кое-где, на самой быстряди, еще дымились туманом полыньи.

Весть о том, что река стала, быстро облетела острог. Даже отсутствие необходимого охотникам снега не могло удержать их дома. Теперь каждый камчадал понял преимущество металла над камнем, костью и деревом. Разве может он ныне устоять от соблазна: любой ценой приобрести нож, котел и прочие необходимые удобные вещи? Поэтому меха для камчадалов приобретали новую значимость. Теперь не только ради ясака они устремлялись в тайгу на пушной промысел, но и ради приобретения меной за мех.

Место охоты Тырилки и Ивара на той стороне реки, за Шантал-озером. Там, в тайге, они еще с осени начали готовить себе зимовье. В склоне небольшого увала, увенчанного щетинистой гривой леса, вырыли землянку на казачий манер, с оконцем, шитым рыбьей кожей. Между оконцем и дверью Тырилка подвесил голову орлана. Теперь лесной дух Канною будет доволен подарками и станет оберегать их жилище.

Наготовив дров к зиме, они несколько дней устраивали кулемы — ловушки для соболей. Неподалеку от озера поставили жердевые вешала, чтобы вялить заготовленную впрок рыбу. Из медвежатины припасли дымленки — копченого мяса. Рядом с избушкой на высоких столбах срубили плотный небольшой сруб-шайбу, куда уложили дымленку и настрелянных к зиме глухарей.

Вдоль будущей охотничьей тропы-путика, для привады соболей, развесили на ветвях медвежью и глухариную требуху, ободранные тушки зверьков, уже добытых меж делом. У озера выкопали яму, набили рыбой и сверху по сухотравью засыпали землей. Заложив ее дерном, поверх нажгли кострище, чтобы отбить запах зверю, да и для приметы. К заморозкам зимовье

было подготовлено. Друзья поспешили отогнать в селение бат, чтобы потом вернуться по первопутку.

И вот сейчас они с увесистыми котомками за плечами, поверх которых торчат подбитые камусом лыжи, идут по кривой с застывшей грязью и лужами улочке острога, которая, огибая смолокурню, выходит к реке. Ивар мечтает выкупить «крестницу» Колыгова, круглолицую полногрудую Аглаю. Присмотрел он ее давно, ради нее и вернулся в Нижнекамчатский острог из Пеучева. Тырилка знал об этом: Ивар беспрестанно твердил ему о своей задумке. Тырилка же глубоко упрятал свою мечту. Простоватый Ивар так и думает, что вторую «крестницу» Колыгова, Улиту, непременно выкупит его друг Тырилка. Он часто раздумывал, как они с Тырилкой обзаведутся семьями, найдут рыбную реку, на берегу которой поставят юрты, и будут жить в сытости, занимаясь любимой охотой, вдали от суетливых острогов.

Вот и опять Ивар надоедает другу:

— Сам узришь, встретим их. Часто с Меланьей то к реке, то к площади хаживают. А то и одни, — уверял он Тырилку, спотыкаясь о мерзлые кочки.

Свернув за смолокурню, улица повела мимо усадьбы Колыгова.

— Вон, вона они! Я те говорил! — зачастил Ивар.

На пустыре, напротив избы Колыгова, Тырилка увидел Аглаю и Улиту, которые смаковали прибитую морозом ягоду шиповника.

Подходя ближе, Ивар сошел с дороги, выскреб меж кочек забитый в траву снег и слепил комок. Своей полнотой похожие одна на другую пухлощекие девицы, увидев идущих, грузновато перебежали улочку и остановились у избы, с любопытным смущением поглядывая на парней.

— Видишь, видишь? Вон Аглая! Сейчас я ее снежком помечу, — засуетился Ивар.

Он размахнулся, но поскользнулся на небольшом зеркальце льда и неловко грохнулся на стылую землю.

Звонкий смех рассыпался над улочкой. Тырилка покраснел за друга, а тот без смущения поднялся и, дурашливо посмеиваясь, беспрестанно оглядывался на девиц.

— Жди с промысла, — крикнул он в их сторону.

Девчата на миг умолкли, переглянулись, будто спрашивая друг друга: кому предназначены эти слова, — и вновь принялись смеяться.

Перейдя реку, охотники скрылись в неровном частоколе леса. Обезголосилась к зиме тайга. Стылая, оголенная, неуютно-бесснежная.

Изо дня в день Тырилка и Ивар, захватив луки со стрелами, уходили каждый своим путиком проверять кулемы, а вечером обдирали соболей и сразу же натягивали шкурки на правилки. Сегодня Тырилке не везло. Проверил третью кулему, и тут приманка съедена, а ловушка пуста.

«Жаль — снега нет, не то по переноге быстро бы выследил, где этот хитрец живет, да выкурил бы его», — подумал он, вновь настораживая кулему.

Когда он направился дальше, из-под валежины черной тенью соболь стремглав взлетел на лесину со сгустками веток — вороньих гнезд.

«Так и есть — дневной соболь. Уж не этот ли денщик чернохвостый напрокудил», — мелькнула мысль, и Тырилка быстро выхватил стрелу из колчана.

Лук у него был тугой, пристрелянный. На изготовке охотник подошел к дереву, зверек затаился за стволом. Тырилка начал обходить лесину, чернохвостый тоже принялся перебирать лапками, хоронясь за вершину. «Однако, пуганый, хитрец». Тырилка, сняв кухлянку и шапку, развесил их на нижние ветки, а сам стал вновь обходить дерево. Соболь тоже подался было за ствол, но, увидев пугало, остановился и растерянно закрутил головой. Мелькнуло оперение стрелы — зверек шлепнулся под дерево. Прижав его голову обуткой, Тырилка рукой до хруста сдавил грудку, остановив его сердечко. Бросив соболя в сумку, направился дальше.

Вечером дым костра совсем плохо выходил из землянки, слезил глаза охотникам. Тырилка засаленным рукавом кухлянки вытер повлажневшие глаза и вышел наружу. Вечерняя синева заполнила окрест. Небо подернулось мглою. За соседним увалом гулко прокаркал ворон.

«К снегу», — отметил Тырилка.

Совсем стемнело, когда, крадучись, пошел снег. Потом хлопья стали крупнее, гуще. Вот ветерок колыхнул снежную

завесу, и завертелась, закружилась карусель. Два дня не унималась метелица, завалив сугробами все таежные тропы. Переставлять и настраивать засыпанные кулемы друзья отправились вдвоем. Подвязав к ногам плетенные из прутьев снегоступы-лапки, они пошли по свежему с синими тенями снегу, на котором следами зверей была написана ночная жизнь леса.

Вернувшись домой, охотников поджидала первая неудача. Еще издали Ивар заметил, что к избушке из оврага тянутся чьи-то следы.

— Окно, окно, — указал Тырилка на темное пятно выставленного оконца.

Они, изготовив луки, заспешили к жилью.

— Росомаха, — определил следы Ивар.

— Однако, еще тама? Ты дверь распахни, а я постерегу, — посоветовал Тырилка.

Ивар снял лапки, отвалил приваленный к двери кол и резко распахнул дверь. Немного постояв с изготовленным луком, Тырилка, выхватив нож, вошел в землянку. Послышалось его громкое проклятие. Ивар, заскочив внутрь, увидел растерзанный мешок из нерпичьей шкуры, в котором хранился жир. В растекшемся по полу загустевшем жиру валяются их растрепанные котомки и нехитрая посуда.

— Вот тварь, и окно съела, — рассматривая следы, заметил Ивар.

«Чем-то недоволен лесной дух Канною, надо еще принести ему подарок», — думал Тырилка, собирая с пола жир.

Наутро окно заделывать не стали. Ивар насторожил самострел из своего лука, а сам решил выследить росомаху, чтобы определить место ее обитания. Он весь день гнал запутанный след росомахи, но он все кружил по тайге. От вывороченной лесины, под которой, видимо, отлеживался сытый зверь, следы вновь запетляли по лесистому распадку. Увлекшись следом, он поднялся на крутой увал и удивился, увидя под ним свое зимовье. «Так, значит, гостья уже там». Выломав рогатину, он подбежал к жилью и отпер дверь. Оскалясь и рыча, росомаха перебирала передними лапами. Волоча недвижный зад, она отползла от двери. Крепкая стрела торчала в холке зверя.

«Не уйдешь теперь», — подумал Ивар и, сжав рогатину, шагнул к зверю.

Вскоре утробное рычание росомахи перешло в хрипы и совсем стихло.

Когда Тырилка вернулся с обхода, Ивар уже распялил шкуру шестами и поставил ее к костру на подсушку, а сам растирал золою кишки зверя, чтобы ими зашить окно.

— Отпакостилась, — заметил Тырилка.

— Рогатиной додавил. Это я Аглае поднесу. Рада будет, — кивнул в сторону росомашьей шкуры Ивар.

Тырилка бросил в угол сумку с соболями.

— И я не пустой. По переноге выследил гнездо зверька. Завтра дымарь с собой возьму. Выкурю дымком.

Под потрескивание костра Ивар лежал на нарах рядом с Тырилкой и мечтал. Перед глазами — желанная Аглая в праздничной нарядной кухлянке, отороченной длинношерстным мехом росомахи, а на голове у нее — из той же росомахи шапка с двумя белыми хохолками. Все с завистью смотрят на нее, похожую теперь на самую красивую птицу — мачагатку.

Тырилке тоже не спалось. Он притих, погрузившись в думы. «Нынче осенью глухаря тут много было, знать, соболь здесь будет держаться. Побольше собольков бы добыть. Ох как нужны. Только от них теперь зависит мое счастье». Он представил, как заполучит свою любимую и на собачьей упряжке умчит ее подальше от Нижнего острога.

«Как тама мои цуцки? — вспомнил о щенках, которых еще весной принес к Щербаку. — Подросли, однако. К будущей весне в упряжку ставить можно. Наусчичь обещала кормить их зимою и присматривать за ними. Эх, Наусчичь...» — вздохнул тяжело Тырилка и повернулся к костру. Огоньки догорающего костра засветились вдруг смеющимися глазами любимой. Тырилка крепко зажмурился.

* * *

В канун нового года в заметенный снегами Нижнекамчатский острог со стороны реки резво вбежали четыре собачьи упряжки. Груженые нарты, ныряя по сугробам переметенной улочки, направились к съезжему двору.

Лохматая шапка, ворот шубы и борода первого каюра забелены толстым слоем куржи. Он время от времени зычно подает команды вожаку упряжки, крупному патлатому кобелю, который,

пригнув голову, бежит и искоса зло поглядывает на дворы, где ярятся на привязи собаки обывателей острога. Вскоре все в остроге уже знали о прибытии купца Трапезникова.

На следующий день с утра у избы съезжего двора столпились покупатели и зеваки. Чтобы не было толкотни, Трапезников приказал своему помощнику Евтихию впускать в избу к товарам по два-три человека, а сам в приталенном, покрытом узорами кафтане со стоячим воротом и зауженными рукавами важно присел за дощатый стол.

Пододвинул к себе долговую книгу в переплете из телячьей кожи и, поправив недлинную, вперед торчащую бородку, крикнул Евтихию:

— Запущай!

За покупками Щербак пришел вместе с Настасьей. У двери избы он увидел крепыша с выбивающимися из-под шапки светлыми, словно кудельки льна, волосами.

— Евтихий! — узнал Кузьма.

— А-а, — протянул тот и с улыбкой спросил: — Поздорову ли живешь, паря?

— Да, бог милует. А я должок тебе прихватил, помню твою доброту.

Щербак вытащил из холщового мешка восемь соболей.

— Бери! Нож-то стоит того: крепок, спасу нет. Бери, бери, — сунув шкурки в руки замявшегося было Евтихия, продолжил: — А я вот женку привел, пущай на товары поглазеет, авось присмотрит.

— Что ж, рады будем, — вылетело в ответ у Евтихия, будто это его товар собирается приглядеть Настасья.

Даже у видавшего торжища Щербака разбежались глаза на обилие товаров, выложенных на лавке. Тут и крашенка — лощеный и крашеный холст, и разного рода подбои — ткани для подкладов, и даже редкая в этих местах ткань с напечатанными на ней узорами — выбойка. С другой скамьи свисают к полу шелка: камка с цветными разводами и полосатый мухояр. Настасья как завороженная смотрела на поблескивающую золотым отливом персидскую парчу — атлабас. Кузьма же прощупывал новые, до сего небывалые, дешевые бумажные материи — бумазеи. Потом, вспомнив, что обещал купить Тырилке ружье, пошел в другой угол комнаты, где лежали топоры, ножи, котлы и ружья.

Выходя с покупками, довольный Кузьма обратился к Евтихию:

— Ты заходь вечорить. Мальца моего позришь, скучать не станем. А изба моя по этому проулку пятая. — Он указал на улочку, ведущую к речушке Радуге.

— Я себе не волен. Коли Никифор отпустит, то враз зайду, — согласился тот.

* * *

Снежным комом прокатились скованные морозцем зимние дни. В замиренной Камчадальской землице почти везде жизнь вошла в спокойное русло. Камчадалы заканчивали промысел пушного зверя, чтобы вовремя выдать положенный ясак. Жива еще в памяти строгость царская. А служилые да казаки готовились к ясашному сбору: подошло лучшее время для нартовой гоньбы, когда жесткий наст панцирем кольчуги прикрыл убродные бескрайние снега.

Оставив Ивара с добытыми мехами, Тырилка шел в сторону Пеучева острожка. Лыжи по насту разъезжались в стороны, он спешил, часто переходя то выдутые ветрами торные заячьи тропы, то пятна путаных следов лис. С безоблачного неба, прогревая на склонах наст, довольно щурился на Тырилку Коач, будто знал о его удачной охоте. Скоро, скоро весна Угаль начнет манить охотников к побережью за морским зверем, но другие помыслы у Тырилки. Радостью и добрыми предчувствиями наполнено его сердце. Видимо, справедливый Кутх внял его просьбе и не дал лесному бесу Канною помешать охоте, а нагнал соболей в его кулемы, потому как видит всемогущий Кутх, что и впрямь поспело время Тырилки к женитьбе. Вот придет он к Камаку, своему сроднику, и тот не откажет ему. Даст свою нарту вывести пушнину из тайги и, конечно, поможет выпросить у Щербака Наусчичь. Никакой другой не надо Тырилке в жены. Теперь-то пушнины хватит. Не устоит Щербак перед такой уймой соболей да рыжехвостых лис. Коач, конечно, знает об этом, иначе зачем бы так ласково улыбался. Вдруг Тырилка вздрогнул от неожиданности. Стайка белых куропаток с шумом вспорхнула, будто рассыпался снежный ком, оставив чуть покачивающиеся ветки кустарников.

— Фу-ты, лукавый, — выругался на лесного духа Тырилка и подумал: «Не унимается Канною, так и норовит огорчить. Промысел закончен — теперь все твои проделки не страшны». Тырилка подмигнул сверкающему в небе Коачу и бодро покатил дальше.

Вечерело, когда до Тырилки донесся визг, лай и завывание собак.

«Перед кормежкой всегда так бесятся», — отметил он и сразу почувствовал, что и сам голоден.

В жарко натопленной зимней юрте у костра сидел Камак. С усердием строгал ножом сухую чурку. Он вырезал пухлые щеки идола и громко сопел. Изредка отстраняя от себя чурку, глядел на свое творение и вновь принимался строгать. Очередной раз взглянув на идола, Камак подумал: «Если Ажушак охраняет огонь, может, он возьмет под защиту и весь острожек. Надо только вкопать посреди селения, и пусть отводит беду. Ведь совсем вяжет по рукам и ногам этот белоголовый начальник». Воспоминание о Мерлине испортило настроение Камаку. Он отложил идола в сторону, поднялся от костра и стал прохаживаться по юрте. Камак ступал косолапо и тяжело. Он припомнил, как недавно в острожек приезжал Мерлин со своим шаманом в черном одеянии. Они потребовали от Камака, чтобы все люди его острожка приняли крещение до того, как зазеленеет трава. За крещение надо отдать русскому шаману соболей — за каждую душу столько, сколько пальцев на трех руках. Долго тогда улещал Мерлина и попа Ермолая, выпрашивая отсрочки крещения для своих сродников. Когда же их богато одарил, то незваные гости согласились подождать, но за это каждый житель выплатит до весны соболей — сколько пальцев на руке. Не у многих в острожке имеется столько пушнины. У некоторых едва на ясак наберется. Поэтому тойон всех, от мала до велика, выгнал на промысел, и в острожке мужчин сейчас почти не было.

Сам Камак в эту зиму на промысел не пошел. Запасами он с двумя женами обеспечил себя, пушнина была — подарки, коими он обложил сродников. Тойон имел две собачьи упряжки, без которых мало кто мог обойтись. За упряжки тоже получал меха, создавая запас. Не будь этого запаса, вряд ли он смог бы ныне отвести крещение от сродников. Побродив с невеселыми думами по своей небольшой юрте, Камак

через проем в стене прошел в другую юрту, побольше. Здесь женщины суетились у огня. У стен на нарах копошились и повизгивали дети. Неподалеку от костра, разложив перед собой кости оленя, гадали две старухи. Камак окликнул одного из старших мальцов. Тот мигом подскочил, быстро засобирался. Вслед за Камаком мальчуган вылез наружу и быстро по бревну вскарабкался на второй ярус высокого балагана. Сбросив оттуда несколько связок юколы, юркнул обратно в дымящее отверстие зимнего жилища. Разбросав беснующимся собакам по пластине юколы, Камак хотел было спуститься в юрту, как увидел идущего к жилью человека. Вгляделся… и узнал своего сродника Тырилку. Камак хорошо относился к смышленому и расторопному парню, но не мог понять — что держит его у Щербака; ведь такой охотник, как он, мог бы давно жить своей семьей. Уважал его Камак и за то, что не принял он ненавистного для тойона крещения, хотя живет среди русских в остроге.

Согревшись у костра, Тырилка снял парку и сидел в холщовой длинной рубахе, подаренной Щербаком, Камак — рядом, раздевшись до пояса. По случаю гостя вокруг них на чирелы женщины наставили разного кушанья. Тут и отдающие парком отварные головки рыб, и копченая над костром оленина, горячая опанга, подернутая слоем топленого жира, и вязкая розовая от ягод толкуша. Камак подложил в костер сушняку, и от вспыхнувшего пламени у Тырилки начало припекать лицо и коленки. «Покормив» идола жирным куском оленины, тойон придвинул все кушанья к гостю.

Зная обычаи, Тырилка неспешно принялся расправляться с угощениями. Появилась вторая жена тойона — Канучь и поднесла полный котел парящего чая, крепко заваренного в честь гостя не кипреем, как обычно, а настоящим китайским чаем, который Камаку удружил за собольков расторопный денщик Мерлина. Канучь зачерпнула ковшом чай и полила раскаленные камни, окружающие очаг. Запашистые облака чая заполнили юрту. Следующий ковш чая она поднесла Тырилке. От горячей пищи и духоты гость взмок и начал стаскивать с себя прилипшую рубаху. Камак довольно поцокал языком и, подбросив в огонь еще дров, принялся вновь угощать родственника, поблескивающего потным телом. Через некоторое время Канучь внесла мороженую печень оленя и, зачерпнув чая, облила камни у огня.

Нестерпимая духота заставила раздеться хозяина донага. Обливаясь потом, Тырилка тоже сбросил с себя камусовые штаны, взмолился о пощаде. Но Камак, разворошив костер, бросил еще охапку веток и настойчивее продолжал угощать гостя. От переедания и духоты Тырилку начало мутить. Он полез к своей котомке и начал доставать выкуп. Перед тойоном появилась связка лисьих шкур. Камак, держа наготове ковш чая, отрицательно помотал головой. Тырилка добавил две шкурки соболя. Тойон, выжидая, медлил. Гость крепился изо всех сил, но от жары подступала слабость. Камак медленно стал поливать на камни. Тырилка, поспешно выхватив связку соболей, подложил тойону. Тот сразу же выплеснул чай в костер, сбивая пламя, тем самым давая знать, что выкуп принят и обычай встречи гостя закончен. После этого для проветривания он открыл жупан — запасной вход в юрту, и они, потные, прихватив одежду, отошли от костра и повалились на лежанки. Теперь можно было и побеседовать.

Прикрыв наготу и отдышавшись, первым заговорил Камак:

— Щедрый ли ныне Великий Кутх?

— Добр всемогущий, отвел козни Канною. Мехов столь, что нарту надо.

— Нарту получишь, но зачем одинокому столько? Однако, Кутх хочет, чтоб Тырилка помог родникам дать ясак огненным людям. Место Тырилки в нашем остроге всегда есть, — старался выведать мысли гостя Камак.

— Если родник Камак поможет засватать Наусчичь, то Тырилка рад жить тута в помощь сродникам.

— Наусчичь? — переспросил тойон и задумался. Он сменил позу на лежанке, потом ответил: — По закону родной крови, чего хочет Тырилка, того хочет Камак. Когда Угаль зазеленит гору и сдернет покрывало с рек, Камак будет говорить с Щербаком. Тырилка не верит русскому шаману, и Кутх поможет ему.

ГЛАВА 6

Надежды Скорнякова на то, что царица и Сенат повернулись лицом к Востоку, окончательно стаяли. Он видел, с каким медлением и волокитой доставлялись разные грузы, оснастка для судов и даже провизия с жалованьем для команды, строящей

Охотский порт. Еще хуже шла посылка людей на поселение в Охотск. Оставшись без судов, не имея поддержки от воеводы и губернатора, он практически был нейтрализован даже в своих делах, отчего все чаще стал впадать в меланхолию и уходить в запои.

Рано утром в спальню к Скорнякову-Писареву ворвался запыхавшийся денщик Степан:

— Григорий Грч, бяда! Жуть приужасна, чо деется!

Скорняков подскочил с кровати, растер ладонью заспанное одутловатое лицо и тут только услышал, как со стороны порта доносится призывный звон билы.

— Бяда, грю, бяда! — опять рявкнул Степан.

— Чо орешь, дура! Толком сказывай.

— Вода в Охоте прет страшная. Кошку, где строят порт, смыват. На глазах берег жрет! Бяда, и токмо!

— А-а… Фу-ты, ирод, спужал… Что ж, пойдем, позрим половодье, позрим… все позрим. Сапоги поднеси, да живо! — начал одеваться Скорняков.

«Необычайно теплая ноне весна. Ишь за неделю такие снега согнала, однако, быть беде», — думал Григорий Григорьевич.

Явная обеспокоенность денщика и тревожный звон, доносившийся со стороны портовых строений и верфи, вызвали в нем временное замешательство: он не знал — печалиться ли ему о случившимся, либо радоваться. Много жестких споров было у Скорнякова со Шпанбергом по поводу места для строения Охотского порта. И вот его правота подтверждалась.

Переполненная водами от быстрого таяния снегов река Охота вздулась и, взломав лед, понеслась к Ламскому морю. У самого устья она создала мощный затор в правом русле, и вся вода устремилась в почти замытое — левое. Размыв его, река двинулась к морю и, встретив на пути преграду, низкую наносную кошку, намытую у самого моря, принялась слизывать легко поддающийся грунт.

Когда Скорняков и Степан подошли к размываемому берегу кошки, вода уже добиралась до штабелей леса, заготовленного зимой для построек. За штабелями леса находились: верфь, где для строения судов хранились напиленные брусья и прочие заготовки; казармы для служилых. Меж штабелей заполошно носились люди команды Шпанберга.

Без шляпы, в расстегнутом мундире Мартын Шпанберг метался меж кучек служилых и работных людей, властно покрикивая:

— Брусья, брусья наперед спасайте, бестолочи!

Видя явную угрозу запасенному лесу и казармам, Скорняков, саркастически хмыкнув, заговорил:

— Ну что, выскочка заморская, не слухал совета. После сего ты тут не удержишься. Не усидишь, слава тебе господи!

От ненависти к Шпанбергу Григорий Григорьевич даже с какой-то радостью наблюдал, как мощный напор реки, легко размывая берег, добрался до первого штабеля леса. Через несколько минут подмытый штабель накренился, и с плюханьем посыпались бревна в бешеную круговерть воды. Бревна ныряли, крутились в бурном течении и уносились в море.

«Недо-о-лго еще, и казармы там будут», — отметил себе Скорняков и решительно направился к Шпанбергу.

— За мной! — бросил он Степану.

Григорий Григорьевич подошел к Шпанбергу в тот момент, когда он давал распоряжение сотнику Лукашевскому:

— Забери ссылочных и все, что есть в крайней казарме, вытаскивай, да подале, и спехом ко мне!

Сотник побежал к суетившимся на верфи людям. Шпанберг развернулся, чтобы идти, и… увидел подошедшего Скорнякова. Полоснул Григория Григорьевича недобрым взглядом и хотел было уйти, но Скорняков опередил его.

— Погодь, погодь… — неспешно забасил Скорняков.

— Тебе обывателей всех с острога сюды гнать надобно, а не лясы точить, — ощетинился Шпанберг.

— Больно занозист, а на дело-то своей мозги не хватило. Ныне хоть так, хоть эдак, а твоя дурья голова сама в петлю просунулась.

— Не тебе, плут, поучать. Брысь отсюда! В беде — и то наособицу править норовишь.

Скорняков вспыхнул: его лицо и шея сразу побагровели.

— Я те покажу «брысь»! Таков ущерб государевой казне по строптивой безмозглости доставил! Да я тебя за то… сполна ответствуешь! Степан, в путы его!

— Ах ты пес! — сжал кулаки Шпанберг.

Степан недоуменно уставился на Скорнякова.

Раздосадованный медлительностью денщика, тот зло окинул его взором и прикрикнул:

— Что зенки пялишь, крути его!

Степан растерялся еще больше:

— Как же… ить енто… а порт спасать?..

— Что! И ты петли захотел?! — в бешенстве заорал Григорий Григорьевич.

Степан вмиг опомнился и кинулся к Шпанбергу.

Ударом кулака Шпанберг отбросил его от себя и, выхватив шпагу, пошел на Скорнякова:

— Выпотрошу! Дабы неповадно было!

— Но-но, татьбу чинишь! — испуганно прокричал Скорняков, отступая назад.

К месту ссоры уже бежали матросы команды Шпанберга. Видя полный провал своего замысла, Скорняков резко развернулся и неуклюже припустил в сторону острога. Вслед за ним побежал и денщик.

После позорного бегства Скорняков сразу же направился в канцелярию. Обида и зло в буйной пляске заполнили ему грудь, надсмехаясь над ним, ярили Скорнякова, требуя действий. У ясашного амбара казачий пятидесятник Черных проводил смену караула.

Запыхавшийся Скорняков подошел к нему и скомандовал:

— Этому сукину сыну — двести плетей! — И кивнул на бредущего сзади Степана. — Супостат, ослушник, в срам вверг! Тащите его на козлы!

Вскоре кнут засвистел, обвивая вздрагивающее тело денщика.

— Так, так ему! Поучи радеть в службе, — приговаривал Григорий Григорьевич под удары кнута.

Скорняков, немного удовлетворенный, отошел от козел и отправился в канцелярию. Пощелкивание кнута да стон, вырывавшийся из распластанного тела, доносился до него. Он обернулся.

— Дюжее, дюжее дери! — крикнул пятидесятнику.

В канцелярии Скорняков сразу сел за стол и, протирая гусиное перо, подумал: «Все. Все припомню Шпанбергу. Да уж много о нем писано, а сибирский губернатор Плещеев отмалчивается, видно, не хочет соваться в дела экспедиции Беринга. Ничего, я в Сенат донесу». Взяв бумагу, принялся быстро писать.

Дверь приоткрылась, и Черных, просунув голову в проем, доложил:

— Степан-то вроде как и не дышит. Можа, хватит?

— Сколь всыпал?

— Двадцать за сто.

— Что ему не добьешь, тебе всыплю. Отлей и вновь пори.

— Плескали… не одну бадейку.

— Раки немного дай — очухается, снова бей, — отмахнулся от него Скорняков, продолжая писать дальше: «…Этот Шпанберг самовольно взял из моей команды штюрмана Бирева и других мастеровых и жестоко их наказывал. Також сверх меры уже набрал двести пудов провианта, через что будет оскудение казны. Водит дружбу с присланным на вечную работу бывшим лейб-гвардии поручиком Борятинским и князем Василием Долгоруковым, не посылает их на работы. Також имеет при себе писаря ссылочного в Охоцк Колмогоровского. В промемориях своих да указах пишет о себе, яко который князь: мы повелели, мы разсмотрели — а не как партикулярные персоны пишут о себе единственным числом. Взял и держит без работы ссылочного за разорения ясачных иноземцев сотника Лукашевского. Боты „Св. Гавриил“ и „Фортуну“ самовольно забрал в свое ведение и мне не отдает для того, дабы все едущие на Камчатку и обратно были ведомы одному ему, Шпанбергу, для корысти».

В дверь вновь просунулся пятидесятник и виновато сообщил:

— Дак это… Степка-то того… душа отлетела…

— Царство ему небесное, неслуху. Захороните его как след. — Скорняков махнул рукой, давая знать Черных, чтобы тот прикрыл дверь.

«Вот черт, с мысли сбил. Так… о жестокости его прописал, про заносчивость — тоже», — подумал Скорняков и начал осмысливать, как бы ловчей написать об ущербе, нанесенном наводнением, и обвинить Мартына Шпанберга.

* * *

Вместе со снегом весна Угаль согнала апатию с обитателей Камчатки. У моря, в заливах стали появляться их байдары и утлые баты. Затолпились у берегов вскрывшихся рек камчадалы. Радость и смех стали чаще посещать их жилища.

Праздник первой рыбы Тырилка и Ивар встретили в острожке Пеучев среди сродников. До сих пор так и стоит перед глазами Тырилки пойманная чавыча. Крупную серебристую рыбину внесли в острожек под радостные возгласы жителей. Счастливец, а им оказался Кашуга, был горд и рад вдвойне. Теперь он прослывет лучшим рыбаком в селении до следующей весны, когда вновь все жители будут показывать свою удаль и смекалку, чтобы выловить первую красную рыбину — дар великодушного Митга. Кашуга важно, с видом победителя, поглядывал на высыпавших ему навстречу обитателей острожка. Подойдя к тойону, он с деланной небрежностью свалил с плеча чавычу в крупную деревянную чашу, поставленную по такому случаю у юрты Камака. Священная чаша украшена заплетенной в косички травою тоншичь.

— Хвала морскому богу Митгу и его всемогущему отцу Кутху! — воскликнул Камак и ловко отрезал голову чавыче.

Под одобрительные возгласы соплеменников тойон распластал рыбину и принялся резать ее на кусочки. Две старые женщины рассовывали эти кусочки в тянущиеся к ним руки жителей, приговаривая заклинание:

— Пускай жирны будут дары Митга. Пускай часты и многи будут его подарки.

Камчадалы с великим удовольствием поедали полученный кусочек свежей рыбы, наскучавшись за долгую зиму по столь необходимой пище. Прыгали, повизгивая от радости, ребятишки, довольно почмокивали языками мужчины, женщины оживленно переговаривались, мечтая, — какую вкусную жареху они будут теперь готовить.

Кончилась, кончилась надоедливая зима, и с этим кусочком вкусной, тающей во рту рыбы пришло к Тырилке ощущение весны. Общее настроение передавалось и ему: хотелось обнять всех своих сродников и закричать о весне, чтобы слышали все: «Угаль! Угаль! Уга-а-аль!»

Он повернулся к счастливому Ивару, обнял его и закружил, смеясь и крича:

— Хвала Митгу! Уга-а-аль пришла!

Голову чавычи Камак торжественно вручил Кашуге, теперь он головной, лучший рыбак острожка Пеучев. Кашуга

с наслаждением смаковал рыбью голову, старухи по хвосту чавычи тут же предсказывали:

— Добрый Митг за этим хвостом шлет косяки рыб — плотные, жирные, как оперение этого плавника.

Радостные возгласы разнеслись по острожку, и жители дружно направились к реке, чтобы развлечь, повеселить Митга меткой стрельбой из луков. На берегу из шумной толпы отделились лучники. По команде тойона в воздух взлетели берестяные тарелки-мумх, которые, описав полукруг, падали на воду. Лучники старались пронзить мумх стрелой, получая в награду одобрительные возгласы.

После праздника верный своему слову Камак направился в Нижнекамчатский острог к Щербаку. Батом, в котором он находился, управляли Тырилка и Ивар. Стоя по концам длинной долбленки, они орудовали шестами, направляя бат по полноводной Уйкоаль.

Работая шестом, Тырилка подумал: «Хорошо, когда праздник! — И поглядел на сидящего в бату задумчивого Камака: — От него зависит, будет ли у меня праздник всей моей жизни. Камак сильный, умный, одним словом, тойон. Да еще… моя пушнина. Хоть бы сбылось!» От радости у Тырилки защемило сердце. За мыслями он упустил момент, и на перекате бат стало заносить на разворот. Получив недовольный взгляд Камака, Тырилка ловко заработал шестом и выровнял ход.

Полуденное солнце припекало. Подросшие за зиму щенки, увидев Настасью, радостно запрыгали, облизываясь. В длинном сарафане и наброшенном на плечи суконном зипуне она вынесла собакам кости. Следом за ней выкатился Степашка. Догнав мать, ухватился за подол сарафана и пошел рядом. Взглянув на широкогрудых, крупнолапых собак, повизгивающих от нетерпения, она подумала: «Тырилка не узнает своих цуцек, совсем выросли. Где-то запропастился Тырилка, с осени не появляется. Кузьма в конце зимы забеспокоился — уж не попал ли он в беду, — да сказали ему, что видели его в Пеучев. Конечно, жив. Что ему станется? Вот собак на лето надо ужо с привязи отпускать для свободного пропитания, но Тырилки нет, подождем еще». Побросав кости собакам, Настасья смотрела, как Степашка манит к себе лохматого серого кобеля.

— Мухаска! Мухаска! — звонко кричал он.

Настасья, улыбаясь, присела рядом и поправила:

— Не Мухаска, а Мухнашка.

Степашка вновь звонко выкрикнул:

— Му-хас-ка!

Она засмеялась и, подхватив сынишку на руки, поднялась. Тут, к своему удивлению, увидела идущего к избе Тырилку. Он сгорбился под большим узлом и шел рядом с крупным прихрамывающим мужчиной.

«Однако… Камак…» — узнала она соплеменника.

Тырилка тоже увидел Настасью. Приталенный коротконспинный зипун и цветастый сарафан — эта необычная для камчадалок одежда шла ей.

«Еще краше стала Наусчичь», — мелькнула мысль.

Удивленным и, как показалось Тырилке, радостным взглядом одарив его, она заговорила:

— Вернулся. Долго не был.

Тырилка, еле отводя от нее взгляд, смущенно молчал.

Камак окинул взором ладную фигуру Настасьи и спросил:

— Кузьма где?

Она погладила по головке Степашку, который от незнакомых людей спрятался за сарафан матери, кивнула головой на избу:

— Тама-ка.

Кузьма Щербак мастерил стульчик для сына, когда Камак вошел в приоткрытую дверь избы. Тырилка замешкался в дверях, и Камак помог ему протиснуть узел с мехами. Кузьма обернулся на возню у входа и увидел их.

— Бог гостей послал. Проходи, проходи-ка, пропащая душа, — узнав вошедших, пригласил он. — Вижу — ты с пеучевским тойоном. Уж не переселяться к нему удумал? Садись-ка с дорожки да сказывай — что и как, — оставил занятие Щербак.

Он смахнул со стола баклушки, которыми играл Степашка. Выдвинув из-под стола лавку, подумал: «Сложен на славу этот Камак, а уж черен, аки жук. И чего он ко мне?»

— Говорить пришли к тебе, — начал было Камак.

— Вот и хорошо, поговорим. Садись, садись — какой разговор-то стоя.

Он усадил гостей на лавку, сам присел к столу и обратился к Тырилке:

— С промыслом тебя. Слышал, сказывают, ныне в зиму зверька-то немало было?

Тырилка осклабился и согласно кивнул:

— Было.

— А я мыслю, чего ты глаз не кажешь, уж не оженился ли в Пеучев?

— Пришло время Тырилке взять женку, — встрял Камак, отбрасывая со лба прядь темных сальных волос.

— Вот и я про то толкую: пора ему, повзрослел паря на славу.

Тырилка заулыбался. Камак встал, развязал узел и вывалил перед Щербаком пушнину. Красными языками запламенел лисий мех из-под многочисленных связок черных собольих шкурок.

— Вот. Тырилка хочет все это отдать Щербаку. За это можно купить трех женок, — заявил Камак.

«Надыть, в один сезон этакую прорву промыслить; впрямь с такой казной и под венец не грех», — подумал Щербак и ответил:

— В сватах я не хаживал еще, но для Тырилки постараюсь. Кого приглядели-то?

— Наусчичь! — ошарашил его Камак.

— Че-го? — захлопал глазами Кузьма.

— Наусчичь. Щербак купит себе других, — пояснил тойон.

Кровь хлынула Щербаку в лицо. Он вскочил, в замешательстве не зная, что сказать.

«Чего удумали! Вот басурманы!» — подстегивала мысль.

— Чего мелешь, колода безмозглая?! Да я вас… — забрызгал слюною Кузьма и покосился в сторону фузеи. Он с размаху поддел связки с пушниной и заорал: — Пошли вон!

Тырилка вскочил с лавки и встал возле Камака. Они с удивлением уставились на рассерженного Кузьму и недоумевали: «Неужто мало?»

Тойон, взглянув на поникшего сородича, поинтересовался:

— Камак хочет узнать, сколь же мехов Щербак хочет за одну Наусчичь?

Как холодной водой с ушата окатил его тойон. До Кузьмы вдруг дошло… «Не понимают, что аки скотину покупают. Нехристи, чего с них взять», — начал успокаивать себя Щербак, сел на лавку, видя их откровенные и бесхитростные

лица, на которых отражалось явное непонимание, чего он ярится.

— Тырилка, убирайте рухлядь. Жена она мне перед Богом. Сын у нас. Настасью не отдам. Эх и темень!.. Ведь не все продается-то. Уходите. Не сердите меня.

Щербак встал, отпихнув ногой связку соболей, принялся за стул для Степашки, успокаивая себя: «Без веры живут, дьявол их и путает. А Тырилку все одно на порог больше не пущу. Ишь чего задумал».

Ивар сидел в бату и поджидал возвращения Камака с Тырилкой. Вода в реке прибывала. Чуть вытащенный на берег бат вскоре колыхнулся и начал разворачиваться по течению. Ивар выскочил на сушу, поддернул его выше на береговой песок и опять влез в долбленку. От безделья он наблюдал, как плывущий по реке мусор, шаркая по борту, сносится к корме, где закручивается течением в небольшие водовороты. Стайка мальков из мутной глубины реки шустро метнулась под днище бата и, постояв под ним, вновь ушла вглубь.

«Мулявки в низовья скатываются», — подумал Ивар и тут услышал приближающиеся шаги.

К берегу шел Камак, за ним еле поспевал Тырилка с узлом. Жених недовольно сбросил с себя поклажу, которая шмякнулась в бат рядом с узлом Ивара, присел на песок, явно опечаленный. Тойон заговорщицки оглянулся. Убедившись, что их никто не слышит, заговорил. Тырилка внимательно слушал, согласно кивая головой, и заметно повеселел.

Теперь Камак обратился к Ивару, который внимательно посматривал на него:

— Ненависть Камака больше кровного родства. Камак не пойдет к Колыгову. Тырилка поможет Ивару. Я буду ждать тут.

Взвалив свой узел на плечи, Ивар с Тырилкой направился к дому Колыгова.

Во дворе усадьбы пятидесятника пылает костер, у которого суетится Меланья, запекая на огне свежую рыбу. Ветерок нанес запах жарехи. Ивар, словно пес, покрутил носом и, определив: «Однако, тама чуприки», прибавил шаг.

Увлекшись делом, хозяйка не заметила подошедших.

— Никифор где?

— Ай! — вздрогнула Меланья, выронив деревянную лопатку, которой перевертывала рыбу. — Песовы дети, откуда вы свалились? — напустилась она.

— Свататься пришли, — заулыбался Ивар.

— Ай! Ай-ай-ай! — запричитала хозяйка и поспешила в избу.

— Чо она? — Ивар вопросительно посмотрел на друга.

Из избы вышел Колыгов. Меланья встала в дверях.

Увидев Тырилку и Ивара с узлом на плече, Никифор сразу раскинул умом: «Коли она не ослышалась, то лучшего и нече желать».

Он попытался улыбнуться и учтиво заговорил:

— А-а… Молодцы пожаловали… рад. — Оглянулся на жену: — Малашка, брысь за девками, да прибери их.

— Счас, счас, они по воду ушли. — И скрылась за избой.

Гости в нерешительности замялись, и Никифор жестом указал на открытую дверь.

Усадив друзей, Колыгов спросил:

— Дак свататься пришли?

Ивар толкнул в бок Тырилку.

У Тырилки враз вылетели из головы все приготовленные для этого случая слова; припоминая, что говорил Камак, начал:

— Ивар отдаст всю рухлядь, а Никифор на них возьмет три женки…

— Чего? Чего? — захмурился Колыгов, глядя на смутившегося Тырилку.

Ивар рванул узел и высыпал меха.

— Вот, за Аглаю.

Никифор облегченно выдохнул и не мог оторвать взгляда от груды меха.

«Не зря правая рука с утра свербила. Так и есть — взясти. Я-то думал — к чему бы? Вот оно, само в руки прет», — забегали мысли.

— За Аглаю, говоришь? — притворно нахмурился. — И это все?

— Соболь хорош и лиски — что надо, — зачастил Ивар.

Быстро подхватив черного соболя, принялся дуть на мех и потрясывать перед Никифором.

«Хлопотный паря», — отметил для себя Колыгов.

— Мех неплох, да и у меня товар-то, сам позришь… Не то что из берлоги какой себе женку берешь, а из избы. — Он

прислушался к суматохе, доносившейся из-за перегородки, где Меланья прихорашивала невесту, громыхнул кулачищем в стену и рявкнул: — Веди!

Тут же Колыгов ловко принялся пересчитывать соболей и лис.

Меланья, которую Никифор сразу не признал, завела полногрудых девиц, причесанных и наряженных на русский манер. На бледных лицах у всех трех ярко краснели нарумяненные щеки. Они проплыли мимо Колыгова, ошалевшего от такого вида жены, и сели на лавку напротив гостей.

— Вишь, каковы чистотки, — показал хозяин, косясь на Меланью, и обратился к ней: — А ты-то чего, дуреха?

Про себя усмехнулся: «Раньше не умывались, а днесь белятся да румяна наводят».

Он повернулся к женихам:

— Ну как? Хороши девки-то?

— Шипко, — отозвался Ивар, не сводя глаз с Аглаи.

Она покосилась в его сторону, и Ивар расплылся в улыбке, перехватив ее взгляд.

Заметив, что Тырилка не смотрит на девиц, Никифор спросил:

— Ты чего-то тож про женитьбу молол? Дак, можа, вот Улиту и сватай. Женка будет — что надо, я их в строгости держу. Сватай, да будем все обчеством дело править.

— Не-не, — замотал головой Тырилка и потупил взгляд.

«Однако, плутует, сатана. Жаль такого зверовщика упускать».

И бросил Меланье:

— Уводи, будя.

После торгов с бойким женихом Колыгов вытер вспотевший лоб и заявил:

— Ладно, коль эдак, давай по совести рассудим. Если бы ты брал по своему обычаю, то два года горбатил бы в ее семье. Она у меня крещеная, а ты — нет. Тогда отбудешь у меня всего год. За эти меха я тебе целый год сбросил. И женитьба зато по-вашему обычаю будет. Год отбудешь при мне и, истин хрест, проведешь хватание. Последний раз говорю: думай!

Ивар не хотел ждать целый год, он сейчас хотел заполучить желанную Аглаю, но, как камень на пути, уперся этот Колыгов.

— Ладно, — сдался Ивар.

— Вот это гоже, — вздохнул довольный Колыгов.

Радостно Ивар посмотрел на друга: «Недоволен сегодня Тырилка. Из-за отказа Щербака хмурится, однако». Представив, что каждый день он теперь будет рядом с Аглаей, он захотел побыстрее побежать на берег и обрадовать Камака. Он — не обиженный Тырилка, он-то разделит его радость.

Ивар собрался было пойти с Тырилкой, но Колыгов возразил:

— Уговор — святость. Тырилка сам дорогу не забыл. Тебе девку отрабатывать след. Дел-то поднакопилось. Пойдем покажу — где жить будешь.

Тырилка один побрел к берегу, явно завидуя Ивару. В недоумении он рассуждал: «Не такой, как все, этот Щербак. Сколько мехов — больше, чем у Ивара, а не взял… Да. Совсем не такой». И он стал припоминать, что во время холопства Кузьма их никогда не порол, как другие; работал вместе с ними, вместе чаевал, со всеми он всегда по-доброму. Поэтому никто на него зла не держит. Вот и сейчас, хоть и обидно Тырилке, что не получил он Наусчичь, но зла на Щербака у него нет.

«Конечно, такую, как она, и я бы ни за что не променял», — подумал Тырилка.

За мыслями он не заметил, как подошел к бату, в котором поджидал Камак.

Вскоре, забрав у Щербака собак, Тырилка исчез неизвестно куда.

* * *

Совсем незаметно подкатил хлопотный для обитателей Камчатки август, когда тайга и тундра щедро одаривают ягодой, грибами, дичью.

Аглая с Улитой ходили по ягоды. Возвращаясь, петляли меж деревьев по высокой траве и несли увесистые плетенки, доверху наполненные голубикой. Аглая первая вышла на чистый от леса склон холма. Сверху хорошо был виден Нижнекамчатск. Кривые улочки паутиной раскинулись перед четырехстенной крепостью острога.

Подождав Улиту, Аглая подтянула ремешок на лбу, поправив чуть сползшую с головы кожаную подкладку, установила плетенку с ягодой на голову и, плавно покачиваясь, стала спускаться по едва приметной тропинке, которая сбегала к речке Радуге и далее вдоль нее выводила к селению.

В это время Никифор Колыгов со своим работником Иваром заготавливали дымленку и жир на зиму. Пока медвежье мясо дымилось над слабым огоньком, Никифор на другом костре топил сало и сливал жир в кадушку. Ивар подтаскивал осиновые дрова для дымления и сушняк. Приметив сушину, торчащую у берега неподалеку от места, где стояла их долбленка, он поспешил туда. Только было принялся выворачивать сушину, как взгляд его упал на безлесый склон холма по ту сторону речки.

«Да это ж они… Впереди Аглая…» — радостно забилось сердце жениха.

Он оглянулся на хлопотавшего у костров Колыгова и, юркнув к бату, осторожно оттолкнул его. Переехав на другой берег, спрятался под иву у тропы и стал поджидать. Аглая не спешила. Беззаботно напевая веселую ходилу, она шла, рассматривая первые желтые клочья на зеленых нарядах березок, фиолетовые заросли кипрея, все приближаясь к притаившемуся Ивару.

— Уф-ф! — пугнул, выскакивая, Ивар.

— Ко-ко! — отпрянула Аглая.

Плетенка с головы тяжело упала между ними, выплеснув синюю россыпь ягоды.

— Ха-ха-ха, — залился шутник.

Аглая, сломив ветку ивы, принялась нахлестывать его, приговаривая:

— Вот тебе, вот тебе!

Вскоре ее пыл прошел. Глядя на счастливую рожицу жениха, она тоже рассмеялась.

Выбрав момент, Ивар обхватил ее, но она вывернулась, отскочила; придавая строгость лицу, зачастила:

— Ни-ни! Не подходи! Ягоду вон собирай.

Ивар, не переставая посмеиваться, поднял плетенку и стал пригоршнями загребать ягоду. Она присела напротив, споро выбирая ее из травы. Улита издали наблюдала за влюбленными. Ивар, не сводя глаз с Аглаи, раздавил ягоду и мазнул ею по лицу невесты. Она попыталась сделать то же самое, но Ивар, резко отпрянув, не удержался на корточках и свалился назад. Довольная, Аглая рассмеялась. Улита с завистью смотрела на их забавы.

«А меня никто не сватает… И пошто Иварка не берет сразу две жены? Засватал бы и меня. Однако, буду и я ему улыбаться», — размыслила она и подошла к ним. Решительно

сняла с головы ношу и присела около Ивара. Нелепо посмеиваясь и поглядывая на него, начала подбирать ягоду.

С лица Аглаи улыбка быстро улетучилась.

— Ива-а-арка-а! — донеслось с того берега Радуги.

Жених подскочил и стремглав кинулся к речке, запрыгнув в долбленку, резко оттолкнулся.

— Где запропастился? Песий сын! — гаркнул Никифор, увидя несущийся на всем ходу бат.

От растерянности Ивар сделал неверное движение шестом, и долбленка, проскочив место стоянки, сходу влетела под ветки нависшего над водой дерева. Словно метлой, его швырнуло в воду.

«Вот лешак, потонет ить, плавать-то не приучен», — мелькнула мысль у Колыгова.

Он увидел, как работника подхватила быстрая струя реки. Безумно выкатив глаза, Ивар то и дело высовывался из воды и, почти не барахтаясь, молча погружался вновь.

Много смертей довелось повидать Колыгову, приходилось и самому грех брать на душу. Почти никогда жалость не посещала зачерствевшее сердце матерого казака, но на сей раз будто что-то надломилось в нем, и, подчиняясь непонятному безрассудству, идущему из самой глубины души, Никифор бросился к речке, крича:

— За кущи! За кущи хватай!

Когда Никифор, исцарапав ветками лицо и руки, вытащил нахлебавшегося воды парня, тот был без движения. Тяжело дыша, Колыгов перевернул утопленника через колено и тискал его до тех пор, пока не пошла из него вода. Вскоре на бледных щеках заиграл румянец, и только тогда спаситель облегченно вздохнул и успокоился. Но, поглядев на свою промокшую одежду, которая облепила его тело и еще сочилась водой, он насупился, сорвал пучок травы и, вытирая кровь с изодранных пальцев, подумал: «Вдруг кафтан сядет да мал станется?.. Убью ирода! И на кой черт я его спасал-то?!»

* * *

Исчезнувший Тырилка появился только зимой в период самых коротких дней. Собачья упряжка подкатила к жилищу Камака. Тырилка не спеша отвязал мешок с дарами для тойона

и, окунувшись в клубы выходящего из отверстия юрты дыма, исчез, будто растворился в нем. Вскоре из того же отверстия появился легко одетый малец. Стремглав перебежав на конус другой дымящейся юрты, он ловко зашмыгнул в нее. Вернулся не один. Следом за ним шел Кашуга. И вот уже из юрты повалил густой пар — признак гостеприимной встречи.

На следующее утро две упряжки собак понеслись в сторону Нижнекамчатского острога. Достигнув селения, они не въехали в острог, а остановились на окраине — в распадке, поросшем густым тальником. Сквозь оголенные ветви деревьев хорошо просматривалась заснеженная тропа от поселка до проруби, куда жители ходят за водой. Повыждав немного, Кашуга отправился пешком в селение.

Тырилку охватило непонятное волнение. Его бросало то в пот, то в озноб, сердце тревожно билось. Неуверенность в задуманном сменялась вдруг отважной решимостью. Тогда он еле сдерживался, чтобы сейчас не помчаться самому, — не украдкой, а в открытую отбить любимую. Чтобы отвлечься от этих мыслей, он принялся проверять: прочны ли нартовые устуги-ремни, хорошо ли укреплен потяг — тягловый ремень нарты. Потом, оглядев собак, подумал: «Молоды мои беговые. Сейчас бы им до сытости ворвани выдать, да вдруг сей день не выйдет, зря жир скормлю раньше времени».

Быстро догорал куцый декабрьский день. Тырилка совсем забеспокоился, когда увидел на тропе Кашугу.

— Проведал. Щербак с другими казаками для казенки дрова рубит. Вернется затемно.

— Само время, — загорячился Тырилка.

Посовещавшись немного, Кашуга вновь заспешил в селение. Изобразив на лице беспокойство, он вбежал в избу Щербака. Настасья, хлопоча у каменки, удивленно повела бровями.

— Тама, у речки, Тырилка шибко плохой. Его из тайги я тащу — устал. Помоги, Наусчичь. Околеет, однако.

«Кузьма сердится на Тырилку, да уж отошел. Как же не помочь ему?» — подумала и быстро засобиралась.

Она взглянула на увлеченного игрой Степашку, который сидел в другой комнате на перевернутом стульце.

Изображая каюра, он прикрикивал на мнимых собак:

— Мухаска, кугг-кугг!

Настасья хотела что-то сказать ему, но, подумав: «Пусть тешится, не то увяжется следом», крадучись вышла за Кашугой. Еще издали увидев, что за прорубью, неподалеку от кустов, на снегу лежит распластанный человек, она представила, как страдает от немощи добродушный Тырилка, и ее сердце переполнилось жалостью.

— Быстрей, быстрей, — поторапливала приотставшего Кашугу.

Подбежав к Тырилке, Настасья принялась тормошить его.

Кашуга проворно накинул ей на голову кожаный мешок и подхватил на руки. Тырилка вскочил, сгреб растерявшуюся на миг женщину за ноги, и они скрылись в зарослях тальника.

Скрученная ремнями и замотанная в оленьи шкуры, она, словно прихваченная к нарте кукла, катила по перелескам, все дальше удаляясь от дома.

Из кожаного мешка глухо доносились крики отчаяния:

— Пустите! Пустите!.. Степашка мой!

Тырилка посмотрел, как бьется в плаче крепко привязанная Наусчичь, размыслил: «Наконец-то моя… Однако, никто не видел. Снег ныне тугой, непровальный, ходко пойдем, а следы-то двумя нартами спутаем… Не зря я так далеко поставил жилье. Только после третьей ночевки можно добраться к долине духов, где никогда не бывает зимы. Там злые бесы с ревом и шипением вылетают из расщелин скал и белыми шапками носятся над долинами, охраняя лебедей да уток на теплых озерах Великого Кутха. Никто не станет искать в той долине. Даже всемогущие русоголовые опасаются тех мест».

Совсем стемнело, когда Щербак вернулся домой. Заросший рыжеватой щетиной, заиндевевший на морозе, он большими меховыми рукавицами обхлопал камусные верха постолов, стряхивая снег, и только тут заметил, что оконце его избы не светится. Кузьма шагнул в дверь и услышал хныканье сына. Запалил фитиль жировика. На свет из горенки вышел с заплаканными глазенками Степашка.

— Пошто росу-то пустил?

— Мам… и… нету…

Кузьма внимательно огляделся, остановив взгляд на остывшей каменке с затухшими головешками. На печи стоит котел

с недоваренной бараниной, которой намедни поделился с ним удачливый в охоте Артем Обухов.

«Можа, засиделась у кого? Хм…» — удивился Щербак и стал растапливать печку.

— Днесь обогреемся, слезы осушим, я тебе такой лук смастерю, как у знатного зверовщика будет, — успокаивал он сынишку.

Шло время, а Настасья не появлялась.

«Уже и мясо доспело», — недовольно подумал Кузьма и сказал Степашке:

— Пожди, я за мамкой-то враз обернусь.

Обежав всех, к кому могла зайти жена, он не на шутку обеспокоился и начал заходить в каждую избу, заранее предчувствуя, что и там ее нет. Как ни хотел посещать последнюю избу, Филимона Баева, но все же зашел.

— Настасьи моей нет?

— Коль давеча не отдал, пошто ей сейчас быть. С этими-то еле совладаю. — Он кивнул в сторону трех держалых женок и шумной гурьбы ребятни.

— Пойду я, бывай, — заторопился Щербак.

— Отволосуй раз-другой — из избы шагу без ведома не шагнет.

Удивленный пропажей жены Кузьма не заметил, как пришел домой.

«Однако, что-то стряслось», — одолевала мысль.

Он вновь оглядел избу: «Бадейка с водой тут, значит, не в реке; лопать теплая тут — налегке вышла. Куда? Пошто?»

Кузьма усадил сына на колени и, заглядывая в глазенки, спросил:

— Сынок, куда мамка пошла? Чего говорила?

Уловив тревогу в голосе отца, Степашка тяжело задышал и приготовился плакать:

— Мам… и… нету…

Кузьма совсем растерялся: «Знать, малец тут не в помощь. Как так? Была и нету-ка!» Недоумение и беспокойство завладели им.

* * *

Перед утром, усиленно покормив собак и не давая им отдыха, похитители вновь гнали нарты мимо курящихся сопок. Настасья уже не кричала и не билась, как поначалу. Она лежала,

не чувствуя своего одеревеневшего, туго перетянутого тела. И только заиндевевшее по краям отверстие в кожаном мешке, которое проделал Тырилка, чтобы она не задохнулась, да выходящий из него парок говорили о теплящейся в этом клубке шкур жизни. Тырилка спешил к скрадку, который он устроил на полпути. Еще летом соорудил прочный шалаш из кольев, обложив его дерном, рядом поставил лабазок — на тонких сваях настил из прутьев, куда уложил немного провианта. На случай непогоды в шалаш нанес сушняку, притворил калитку — тоже из кольев — и подпер ее. «Тама и собачки отдохнут, и Наусчичь развяжем. Конечно, вся бы дорога была такая каткая, как у Нижнего острога, то быстрее добежали бы. Но сафа — черный пепел из сопки засеял тут снежную долину. Совсем плохо пошла нарта». Он посмотрел на уставших собак, которые, вывалив красные язычищи и с хрипом дыша, вытаскивали нарту на пригорок.

— Ну, чиво захарчали?! — прикрикнул хозяин и помахал остолом.

Настасья не чувствовала ни холода, ни боли в занемевшем теле. Ей казалось, что от бессильной злобы у нее разорвалось сердце, а душа онемела вместе с телом. Только в сознании слабо еще пульсировала, не сдаваясь потрясению, мысль: «Как там Степашка, сынок ненаглядный… Что подумает Кузьма?» Но и эта мысль не могла всколыхнуть никакие чувства в ее опустошенной, раздавленной хитрым вероломством душе. «Тырилка — сын злого беса. Заживо рвет мое сердце. Лучше бы отец Чекава тогда забрал меня вместе с матерью в подземный мир…»

***

Щербак не находил себе места. Уложив сына, он сбегал к проруби, сходил в караулку, поговорил с казаками, стоявшими в карауле на башне, и стал с нетерпением ждать утра, чтобы побродить по окраинам.

«Можа, ведмедь задрал? Ныне с осени худо зверь ложился. Частенько шатуны к острогу подходят… Не бывать так, дабы ни слуху ни духу… Хоть след какой отыскать», — раздумывал он.

Весь следующий день пробродил Кузьма в окрестностях острога, по зарослям ивняков и березняков. Нет следов медвежьих, только многочисленные следы нарт, разлиновав сугробы, подходили со всех сторон к острогу.

«Эх, Настасья, Настасья, где же ты делась? В дом идти неохота. Где тя искать?» — тяготили думы.

Он огляделся. Заметив струившийся дымок из распадка, решил зайти на заимку Артема Обухова.

Прислоненная к стене избы нарта указала на то, что хозяин дома. Подойдя ближе, Щербак остановился в нерешительности: свора нартовых собак, стараясь сорваться с привязи, подняла неимоверный лай.

Вышел хозяин.

— Цыть, черти! — выхватив из снега остол, пригрозил разъяренным псам.

Кузьма сбросил лыжи и прошел в избу, пахнувшую в лицо теплом и копотью.

— Чайку с морозца-то? — после приветствия предложил Артем и шумнул на юрких ребятишек, которые высыпали из соседней комнаты и уставились на гостя: — Кыш, любопытники!

— Ништо в душу не идет. Бедую я.

— Чего так? А ну, присядь да обскажи, — заинтересовался Обухов. Заглянув за перегородку, распорядился: — Фима, собери-ка почаевать.

Щербак обстоятельно рассказал о своей беде и, помолчав, добавил:

— Степашка-то совсем малец. Чего делать-то?

— Да-а… закручинишься тут, — посочувствовал ему хозяин.

Жена Обухова, время от времени утихомиривая ребятишек, тоже слушала печальную историю Щербака.

Она подсела к мужу на лавку и, вытирая руки фартуком, заговорила:

— Господи помилуй! А малец-то твой где?

— Да вот, поспешать надыть, один в избе. Зазяб, однако, топить каменку еще не смышлен, — встрепенулся Кузьма.

— Вел бы к нам, пока что образумится.

— А и впрямь, Кузьма, давай его сюды. Вон, с ними пусть будет, кто их тут считать станет, — кивнул в сторону шумной гурьбы Обухов.

— Спаси бог за доброту вашу. Так-то мне способнее, а за мной не станется. Не то я — совсем ум на раскоряку. Колыгов токмо денек на поиск дал. С наряда не отпущат. Орет — пока снегами лес не завалило, рубить, и все. Тем паче под вытаску

дров нарты согнали со всей округи. А мне мальца брать с собой — мал еще.

* * *

После отдыха в скрадке Тырилка и Ивар вновь закутали Настасью в шкуры, поверх надернули мешок, чтобы не видела дорогу, и пустились в путь. На четвертый день упряжки въехали в просторную чашу — котловину в горах. Кашуга огляделся: посредине чаши местами поблескивала незапорошенная гладь озера, вокруг которого торчали островерхие снежники. В небольшом распадке прижалась к склону землянка, а рядом с ней балаган, увешанный вязками юколы и травяными веревками-заплетушками. Неподалеку от штабелька дров лежала колодина, недовыдолбленная под бат. Распадок, заросший низким листвяком, переходил в склоны гор, непроходимые из-за густого ольхача, кое-где прореженного стволами каменных берез.

«Дикое место выбрал Тырилка», — подумал Кашуга и принялся помогать разводить костер.

Вскоре из отверстия землянки заструился дымок. Развязав Настасью, они ввели ее в жилье. Обессиленная утомительной дорогой пленница повалилась на низкий топчан и, чуть согревшись, забылась тревожным сном.

Утром Кашуга засобирался обратно. Тырилка посмотрел вслед удаляющейся нарте и, взглянув на небо, отметил: «Задул верховой ветер. Деньки, однако, ясные будут. Пособолевать самое время, но надо с Наусчичь побыть, пока усмирится».

Тырилку угнетали ее холодные, с ненавистью взгляды, которыми она покалывала его вчера, когда снимал с нее защитный мешок. Ничего в них не осталось от тех искрящихся радостных взоров любимой, истомивших его сердце. Он вошел в жарко натопленную землянку и посмотрел в сторону все еще спящей Наусчичь. Она тяжело дышала и металась во сне, капельки пота выступили на лбу.

Ей виделись Кузьма и Степашка. Они стоят на крутом обрыве и смотрят, как она падает вниз. Земля под обрывом постоянно расходится. Кузьма кричит: «Вернись, Настасьюшка!» — но она проваливается все глубже и глубже и вот-вот достигнет подземного царства Гаеча. Удаляющийся сыночек, плача, звонко кричит: «Вернись, мам... а-а! не умирай... а!» Она барахтается,

пытаясь задержать свое падение, от безысходности до боли сжимается ее сердце. В отчаянии кричит: «Сы-но-о-ок!»

Подернув руками и застонав, Настасья проснулась. Вскочила на топчане и обвела мутным взглядом землянку, костер и обеспокоенного Тырилку. Все вспомнив, горько вздохнула и повалилась вновь.

Он подошел к ней и заговорил:

— Тут будем жить. Хочу видеть тебя всегда. Зверя и дичи здесь много, жировать будем.

Настасья глядела поверх костерка и не слышала, о чем ей говорит Тырилка.

Все больше смелея, он продолжал:

— Детенок твой у Щербака пусть. У тебя будут дети, много детей, как того хочет Кутх и я.

Настасья все еще находилась под впечатлением сна. Ее слух вновь резанул голос сына: «Не умирай, мам… а!» — и слезы скатились по ее щекам. «Как, как отсюда выбраться?! Зима… Да и в какую сторону бежать? Только на погибель. Нет-нет, ради сына не сгинуть».

Тырилка подсел к ней на топчан и попытался прильнуть. Яростью вспыхнули глаза Настасьи. Она с силой оттолкнула его.

Он вскочил и, распаляясь, заговорил:

— Буду держать взаперти. Живи, как я хочу, — ты моя!

«О Великий Кутх, — взмолилась она, но, вспомнив о своем крещении, на всякий случай добавила: — Господь Бог, помогите мне перехитрить Тырилку, иначе живой мне отсюда не уйти».

Медленно тянулись дни отрешенной жизни. В один из дней хозяин снял с костерка котелок, подставил ближе к огню чашу с кислыми рыбьими головами и вышел. Занес мерзлую рыбину и стал строгать ее. Четверо суток Настасья ничего не ела и только сейчас почувствовала сильный голод, подошла к костерку, присела и принялась за рыбу. Тырилка пристально поглядел на нее и заулыбался, подумав: «Все, однако, наладится».

* * *

После удачного сбора ясака Степан Чуб своей исполнительностью пришелся по душе майору Павлуцкому, и для Степана настало беспокойное время. Уже два раза он добирался с указами Павлуцкого на север — до Тигиля, и вот вновь его

назначили наблюдателем за сбором ясака по ближним острожкам, присудным к Нижнекамчатскому острогу. Собрав ясак в Шантальском и Хапиченском острожках, его отряд вереницей нарт растянулся по перелескам, бросающим синие тени на снег. Упряжки двигались к острожку Пеучеву. В середине вереницы на длинной нарте Артема Обухова привалился на тюк с казенной рухлядью Кузьма Щербак. Мартовское солнце, отражаясь в настах, слепило глаза.

Придерживая фузею и щурясь, Кузьма заметил:

— Денек-то весенний удался.

— Подержит ишо. Сверху угревает, снизу холодит, — отозвался Артем.

— Наст-то как хребастит да чигиркат неумолкно.

— И мне не по сердцу это шкрябанье: полозья-то враз стешет, — ответил Обухов.

Отряд подъехал к дымящимся холмикам юрт острожка. Разноголосым лаем наполнился окрест. Из жилищ стали появляться обыватели. Пинками и ударами палок они с трудом угомонили собачьи своры. Степан Чуб с толмачом направились к юртам, а изрядно проголодавшиеся служилые остались помогать долговязому Филимону разводить костер, чтобы поскорее принять положенную порцию горячего харча. В центре расставленных полукругом нарт запылал костер.

Не успела еще в котлах вода взяться парком, как вернулся недовольный Чуб.

Он подозвал к себе целовальника:

— Домеха тут вышла. Тойон Камак не вернулся с верховий Еловки. По новому ордеру ясак с камчадалов теперича он выдать нам должон.

— Чо его черт понес на ту речку-то? — встрял целовальник.

— Гутарят, за третьей женкой укатил. Должон со дня на день объявиться.

— Вдруг он с них еще ясак не собирал, а мы ждать примемся? Можа, самим и собрать? — предложил целовальник — детина с плутоватым лицом.

— Знатных мужиков-то ихних в острожке негусто. Двое с ним уехали. Кешлея, Быргач да Лемшинга подались ужо к Бобровому морю, Кашуга — невесть куда укатил. С кем толмачили, дык те гутарят, шо Камак мех для ясака собрал,

ждать его след, — возразил Чуб и распорядился: — Ты на ночлег усех наших ставь в одной юрте, да нехай наверху дозорят после того, как похарчимся Филькиным варевом.

Экономя провизию, Филимон приготовил жидковатую ячменную кашу и деревянным черпаком накладывал в поставленные миски, боясь проделиться. Кузьма Щербак, получив парящей каши, отошел к нарте, присел и не спеша стал есть, поглядывая, как над острожком, сбившись в стаю, вороны то с криком носятся друг за другом, то дразнят беспокойных собак. Потом задумчиво уставился в одну точку.

Доставая миску из котомки, Степан, посмотрев на грустную физиономию Щербака, заметил:

— Щербак, зараз ешь, аль воронам счет ведешь? Не тужи по бабе, Бог девку даст. — Про себя подумал: «Не признать Кузьму, будто неприкаянный. Это ж надыть, из-за женки також надломиться».

Артем Обухов выждал, когда повар остался один, и подошел со своей миской. Филимон выдал ему треть пластины юколы и плеснул два черпака каши.

Казак сделал недовольную мину и мягко заговорил:

— Жалеть кашки — не видать гостей Ивашке. Не скупись, братец, плюхни еще черпачок. Дюже брюхо подвело. — И, подумав: «Всяк человек падок на льстивые речи», добавил: — Не обидел Господь Бог тебя, Филимонушка, разуменьем в кашеварстве, как и добротой.

— Нету боле, — отрубил тот.

— От «нету» люди-то не толстеют. Скуп ты, Филька!

— Скуп — не глуп, себе добра хочет, — ответствовал повар.

— А-а… — махнул рукой Артем и побрел к нарте.

— Чо, Артем, не пофартило? Ишь какой лисой подкатил, — подначил его Варфоломей Чудинов.

— В худе-городе и Филька господин, — скорчил гримасу тот.

Целовальник, разложив на двух нартах бусы, ленты, иглы, дешевые бумажные ткани, предлагал товары толпившимся вокруг жителям острожка. Изредка он тряс приносимыми мехами, дул на них, тщательно просматривая шкурки со всех сторон, всячески стараясь удешевить пушнину.

Степан Чуб пробрался к целовальнику и поинтересовался:

— Пошел торг?

— Какой то торг?.. Мелочь одна. Ножи, топоры, котлы просят.

Степан посмотрел на небольшую кучку мехов и задержал взгляд на крупной шкуре росомахи. Он взял ее, тряхнул и заметил рваное отверстие со срезанной шерстью. Потрогал то место и показал целовальнику:

— Гля, кожу как сварило. Никак жеребьем стрелян зверь.

— Ясно дело. Ишь как шерсть-то снесло.

«Значит, тут у кого-то есть ружье, а инородцам ружья не велены. Надо проведать», — отметил себе Чуб.

Уходя, бросил целовальнику:

— Мотри, дабы молью траченные меха не подсунули.

Степан с отрядным толмачом облазили все юрты камчадалов, подбирая место для ночлега. Наконец подошли к жилищу тойона. Первым в лаз юркнул толмач, а вслед за ним спустился Чуб. В жилище полумрак. Слабый костерок освещал топчаны у стен, груду деревянной посуды, вязанки дров. Через проем в стене толмач прошел в другое, такое же жилище, откуда доносились голоса. Вместе с толмачом к Степану вышла женщина и удивленно уставилась на него…

— Канучь! — признал Степан.

— Мужиков никого, одне бабы да мальцы тут, — доложил толмач.

«Самое место для ночлега», — пронеслась мысль, и Степан обратился к Канучь:

— К тебе на постой. Пождем, когда твой Камак вернется. Да ты не пужайся — нас всего-то дюжина. Тут все и поместимся, мальцам домехи не будут.

— Угу, — зыркнула на него камчадалка и исчезла в проеме.

Канучь обрадовалась, что на постой служилые станут в их жилище. Сожалея, что Камак сжег ее русские наряды, принялась готовить румяна. Размяла гнилушку от дерева и натерлась. Набелив таким образом лицо, смазала щеки нерпичьим жиром.

«Жаль — нет морской травы: как бы ярко пылали щеки», — подумала она.

Первая жена Камака, глядя на нее, тоже стала натирать лицо. Две пожилые камчадалки, наблюдая за ними, сначала покачивали головами, но, увидя, как лица молодух сразу

побледнели и преобразились, подошли к чаше и начали втирать труху гнили в свои дряблые лица.

Свечерело. Морозец усиливался. Служилые подтащили нарты ближе к жилищу тойона, вывели из упряжек собак, привязали неподалеку и, оставив караул, спустились в теплую земляную юрту.

Степан Чуб умостился у костра рядом с Филимоном, который хотел было опять варить кашу, но Степан тронул его за плечо:

— Филька, побереги припасы. Отвечеруем чаем с сухарями, та вон, вишь, каку гору юколы хозяева поднесли. Зараз не оголодаем.

Повар развязал котомку с сухарями и принялся отсчитывать их.

Набеленные камчадалки попеременно подносили служилым сушеную сладкую траву к чаю и, кокетливо улыбаясь, уходили.

Степан Чуб занял дальний топчан, который стоял у проема, ведущего в другое помещение. На разбросанном поверх лежанки тулупе Степан разомлел от теплоты и прислонился к стене. Он наблюдал, как устраиваются на ночлег служилые. Одни развешивали портянки вокруг уже слабого костерка, другие мостили под голову все, что попадало под руку.

Артем Обухов, посмотрев на Чуба, у которого сна ни в одном глазу, хохотнул:

— Степан, ты, словно кот у норки, насторожился.

— Он завсегда: где ползком, где тишком, а свово не упустит, — поддержал Филимон.

— Будя зубоскалить-то, — огрызнулся Чуб.

В это время в проеме мелькнула тень, и появилась Канучь. В легкой хоньбе, она прошла до костра, забрав деревянную чашу из-под юколы, направилась обратно. Степан ухватил ее за руку и потянул вниз. Она присела.

— Приходи, надоть погутарить, — прошептал он.

Она кивнула головой и высвободила свою руку.

Вскоре густой храп наполнил теплую дымную юрту, и отдающая теплом Канучь сидела на топчане и наговаривала ему:

— Опять ты появился, когда мне плохо. Камаку я не нужна. Он говорит, что Кутх наказал меня за русского мужа, потому нету у меня детей. Плохой стал Камак. Еще женку брать поехал.

Ты, Степка, добрай. Я хороша женка буду. Камак шибко не любит русского шамана и всех вас.

— Худо тебе, коль не кохает Камак. Зря к нему спешила, — посочувствовал он.

— Ох, зря, — горько вздохнула она.

— Дык уйди от него да живи вольно.

Она блеснула на него недоуменным взглядом и ухмыльнулась в ответ:

— Ни-ни. Я ему не нужна, а все одно живота лишит. Шибко не люблю его. Я знаю, за что Камака можно в острог забрать. Если ты, Степка, возьмешь меня в женки, я все скажу.

— Авось и возьму, — заинтересовался тот.

— Я знаю — Камак учил Тырилку и Кашугу скрасть Наусчичь из Нижнего острога. И она уже в горах. А Кашуга за то Камаку от Тырилки меха возит. На те меха Камак и купил еще женку. Кашуга скоро от Тырилки тут будет, — заговорщицки шептала она.

«Вот дела-а…» — обрадовался вести Степан и, прильнув к ней, спросил:

— У Камака ружье есть?

— Ни-ни. У Тырилки ружье. Все тебе поведаю, токмо Камака в острог спрячь и забери меня.

Утром другого дня Чуб подозвал караульного Щербака к себе.

— Дык вот, Кузя, жива твоя Настя-то.

Щербак сменился в лице:

— Как?

— Слухай. Тырилка и Кашуга скрадом ее уперли. Зараз в горах обретается Тырилка тот. А Кашуга сюды скоро от него меха подвезет для Камака. Тойон их и надоумил на то.

— Убью! Убью напрочь! — закипел, округляя глаза, Щербак.

— Погодь ты, Кузя, уймись! Пороху много в тебе, а проку — чуть. Надо виду не давать, выследить да изловить Кашугу, та с ним туда. Дык у Тырилки, гутарят, ружье при себе. Голыми руками его не имать. А Кашугу побить зараз, но хто туда, окромя его, путь укажет. Вразумел? — наставлял Чуб Щербака. Немного помолчав, добавил: — Коль о ружье Тырилкином прознают, смекай сам, худо тебе. Я доносить не стану.

«Знать бы, разве одарил Тырилку фузеей», — мелькнула мысль у Кузьмы.

— Камак на меха Тырилки женку себе брать поехал. Небось, немало рухляди должник шлет.

— Зверовщик-то он отменный, — скрипнул зубами Щербак.

«Поди, место зверовое нашел», — отметил себе Чуб и сказал:

— Дык виду не подавать и никому ни гугу. Покумекаем, як перестреножить Кашугу. Та меха не лишние будут. А тебя, Кузьма, с радостью! Все ж мать твоего мальца нашлась. — Степан хлопнул его по плечу.

Щербак мотнул головой, ловя себя на том, что почему-то не особо радует эта запоздалая весть, которая, словно уголек, упала на уже выгоревшее место. Вместо радости в нем поднималась обидная злоба на разлучников. «Всегда с ними по совести — и вот мне за то. Неужто, как Колыгов, надо их бить да убивать?»

* * *

Кашуга подъехал к землянке ночью. Услышав лай собак, Тырилка насторожился. Быстро оделся и, захватив фузею, выскользнул наружу. Вскоре донесся мирный разговор. Настасья узнала голос Кашуги и подошла к костру. Разворошив угли, подбросила дрова, взяла котел и вышла за водой. Тырилка отвязывал узлы, а гость выводил собак из упряжки. Настасья спустилась к озеру, раздолбила обледеневшей палкой затянувшуюся ледком лунку проруби и зачерпнула воды со звонкими льдинками. Морозец бодрил. Она огляделась. Окаймленную горами чашу озера накрыл океан лунной ночи. Прямо над сопкой, в которую врыта землянка, ярко мерцают звезды, как будто кто пошевеливает далекими горящими угольками. Она всмотрелась в созвездие Большой Медведицы, и ее осенило: «Кронхаль — небесная нарта Кутха… Сам Великий Кутх явит мне воспользоваться нартой». Поглядев еще раз на мигание звезд в этом созвездии, взволнованная, она направилась к избушке.

— Ставь чай — Кашуга большой чаевщик, — окликнул Настасью Тырилка.

Кашуга вошел в землянку первым. Он повесил на стену свой промысловый лук, колчан со стрелами и подсел к огню, потирая озябшие руки. Над костром, рядом с парящим котлом, появились нанизанные на палочки куропатки.

На другой день Кашуга помогал Тырилке снимать шкурки зверьков с правилок, подсушивать пушнину и упаковывать ее в сумы.

Настасья уже несколько раз в мыслях совершила побег и всегда ловила себя на том, что затея ее не получится: она не сможет собрать в упряжку собак. Не всякому они послушны. Она то терялась, то нервничала, упрекая себя в бездействии. «Как, как ухитриться?» Собак обычно кормят вечером, а перед дальней и трудной дорогой дают корм и утром. Но еще в полдень она вынесла остатки от еды и, подойдя к собакам Кашуги, бросила сначала вожаку — черному длинношерстному псу, потом — остальным, постояла около них.

«Пусть привыкают», — думала она.

Вечером перед кормежкой Настасья попыталась погладить черногривого, но он, не сводя глаз с юколы, настороженно отвел голову от ее руки и оскалился.

Она ласково упрекнула его:

— Не балуй, Черногривка. — И подала крупную пластину юколы.

В эту ночь Настасье не спалось. В ней разгоралась надежда, что она сможет вновь увидеть сына, по которому совсем истомилась. «Как же они там? Не ведают, что я жива еще. Давно бы ушла в другой мир, кабы не искорка надежды, которая всегда теплится в душе».

Мысль убежать на собаках Тырилки она давно отогнала, потому что знала: где бы ни были ездовые собаки, они всегда прибегут к своему дому. А упряжка у Тырилки из молодых собак, и они знают свое место только у землянки. В этом она уже убедилась.

Однажды Тырилка поехал на нарте за перевал, чтобы перевезти убитого в том месте барана. По дороге вывалился из нарты, и собаки, оставшиеся без каюра, на полном ходу примчались к избушке. Лишь поздно ночью, вымотанный ходьбой по снегу без лыж, хозяин вернулся домой. Привязав собак, поучал их палкой, срывая зло за свою неосторожность, чуть не приведшую его к гибели.

А вот упряжка у Кашуги не дает ей покоя: «Его-то собаки обязательно побегут домой, в Пеучев острожек, а там и до Нижнего рукой подать. Но как? Как обхитрить Тырилку и Кашугу?» Ночью

она долго не могла заснуть: все строила планы. Решила бежать, когда Кашуга подготовит упряжку к поездке.

Утром, пока Тырилка с гостем чаевали, Настасья снова пошла кормить собак, которые уже нетерпеливо тявкали. Завидя ее, они вставали на задние лапы, пытаясь освободиться от привязи. Кормление она хотела было начать с собак Тырилки, но Черногривый, стоя на задних лапах, натянув алык, не сводил глаз с Настасьи и, облизываясь, перебирал в воздухе передними лапами. Она, повернув от собак хозяина, подошла к Черногривому и, смело погладив его, подала юколу. Пес, оскалив клыки, осторожно взял из ее рук рыбу и, гордо окинув взглядом собак, прилег, чтобы расправиться с пищей.

Тырилка с Кашугой вынесли узлы с пушниной и котомку с провизией. Кашуга сильным ударом вонзил остол в снег, застопорив нарту, начал пристегивать алыки собак к потягу.

Увязав груз на нарте, родники хотели уже распрощаться, как из землянки в открытую дверь Настасья крикнула:

— Тырилка! Вот еще крепкая настойка нашлась. Угости да в дорогу дай: путь-то долог.

Они оглянулись и пошли к землянке. Отдающийся в ушах стук ее сердца заглушил слова Тырилки, который принял у нее из рук небольшой туес с пьянящей настойкой.

Настасья, выскользнув за дверь, быстро подперла ее заранее приготовленным колом и, задыхаясь от волнения, бросилась к нарте. С отчаянным усилием вырвала остол, освободив нарту, и почти выдохнула команду приготовившимся к бегу собакам:

— Кей! Кей!

Вожак Черногривый послушно рванулся, увлекая за собой подвластную свору собак. Нарта легко заскользила по снегу.

— Кей! Кей! — помахивала остолом беглянка и на без того резво бегущих собак.

«Не догонят, нет… пока соберут упряжку. У Тырилки семь собак, тут одиннадцать», — успокаивала она себя, не веря еще в удачу.

Друзья не успели осушить чаши, как услышали окрик Настасьи: «Кей! Кей!» После некоторого замешательства Тырилка, сообразив, в чем дело, бросился к двери. Но она не поддавалась.

«Так и есть!» — взъярился он и крикнул Кашуге, который все еще непонимающе смотрел на его суету:

— Уходит!

Они вдвоем навалились на дверь. Кол чуть вдавился в утоптанный снег, и образовалась небольшая щель между дверью и косяком. Просунув руку, Тырилка сдвинул кол от перекладины двери. Она распахнулась. Выскочив наружу, увидели все уменьшающуюся нарту с Настасьей.

— Скорей! Скорей! — торопил хозяин, хватая за шиворот собак и подвязывая их к потягу нарты.

Гость помогал ему.

Настасья оглянулась и заметила у входа в землянку суетившихся сородичей.

«Эх, открыли уже дверь. Плохо, однако, кол уперла в спешке. Надо было потяг у нарты той подрезать», — мелькнула запоздалая мысль, которая начала распалять еще не угасшее в ней беспокойство. «Нарту, нарту надо облегчить», — обрадовалась догадке и, достав нож, висевший на груди под кухлянкой, начала спешно резать ремешки, придерживающие тюки с мехами. Цепко держась за дугообразный баран нарты, она сбросила один тюк, второй, третий…

— Кей! Кей! — время от времени взбадривала собак, предоставляя самим выбирать только им ведомый путь.

Ее нарта мчалась вдоль берега по прибрежному льду озера, окаймленного крутыми снежниками. Собаки выбирали более безопасный путь.

Тырилка не зря торопился. Он знал, если не успеет перехватить неопытную в нартовой гоньбе Настасью тут, до перевала, где окаймляющие озеро горы отступают, освобождая выход в долину, то там, на снежной равнине, его молодым собакам ни за что не угнаться за матерой упряжкой Кашуги.

Схватив стоящую в углу фузею, которую когда-то подарил ему Щербак, он вскочил на нарточку и пустился вдогонку.

— Хугг! Хугг! Хугг! — покрикивая, поворачивал он своих собачек, направляя их по льду озера наперерез ходу нарты беглянки.

Середина озера была незамерзшей, и собаки норовили прижаться к берегу.

Тырилке приходилось одергивать их командой: «Хугг! Хугг! Хугг!» — заставляя прижиматься к полынье, чтобы сократить путь.

Кашуга стоял у избушки и, прищурив глаза, следил за погоней. Он увидел, как Тырилка рискованно близко от незамерзающей середины озера гонит свою упряжку. Отсюда, с возвышения, хорошо просматривалась упряжка Настасьи. Она черной цепочкой движется под вздыбленными снежными востряками, огибая озеро.

«Однако, догонит», — подумал он.

Тырилка в бешеном азарте все спрямлял и спрямлял ход своих собак, уставясь глазами в нарту Настасьи, которая постепенно приближалась.

«Ходко бегут ее собачки. Успеть бы до перевала, успеть!» — подстегивала его мысль.

— Скорей, худомозглые! Кей! — яростно подгонял он своих собак.

— Кей! Кей! Черногривый, родной! — сквозь слезы выкрикивала она.

Вожак, услышав свою кличку, напрягся сильнее и, обернувшись, угрожающе рыкнул на собак. Пригнул ниже голову и быстрее повел упряжку.

Кашуга видел, как упряжка Тырилки сближается с нартой Настасьи. Захваченный зрелищем, он незаметно для себя стал переживать за своих собак: «Нет, Черногривый не сдастся. Хотя и крюк вдоль берега проделал, а все одно не взять Тырилке моих собачек. На перевал выйдут, а там…»

Когда упряжки приблизились так, что можно было различить лицо каюра, Тырилка заметил, что собаки беглянки прибавили в беге и ходко входят в ущелье перевала.

«Все. Не достанут мои. Теперь уйдет Наусчичь. А я? Как же я?» — закипело в душе, и в злобной обиде он невольно потянул за фузею.

Сначала Кашуга увидел, будто задымился крутой склон горы, под которой двигалась нарта Настасьи, и только потом до него донесся треск выстрела. В считанные секунды лавина снега, клубясь, накрыла обе упряжки… Глухой раскат гула заполнил чашу меж гор. У Кашуги похолодело внутри. Он на некоторое время оцепенел, глядя, как расходится снежная пыль над местом обвала.

— Ко-ко, — выдохнул со страхом и подумал: «Забрал Гаеч Тырилку и Наусчичь. Говорил я ему: не селись в этих заветных местах духов… Быстрей отсюда. Жаль упряжку… на лыжах, однако, придется идти».

Кашуга заспешил в землянку собираться. Натолкав в котомку еды, которая попалась под руку, он направился в балаган, чтобы добавить провизии из запасов. Распахнул дверь — и обомлел. Две собаки из упряжки Тырилки крутились у избы. Кашуга тут же захлопнул дверь.

«Неужто за мной Гаеч прислал?» — испугался он.

Выждав некоторое время, стал наблюдать в щелку: собаки с оборванными алыками постояли у двери и подошли к месту привязи. Обнюхав свои места, они улеглись.

Кашуга приоткрыл дверь и увидел, что по льду озера бредет человек.

«Ко-ко, однако, Тырилка?! Нет… Тырилка уже у Гаеча. Это злой дух переоделся в его одежду…» — размышлял он.

Снял со стены свой лук, потрогал тетиву и вытянул из колчана стрелу.

Выждав, когда «пришелец с того света» подошел на вылет стрелы, он резко распахнул дверь и крикнул:

— Стой! Кто ты?

Тырилка поднял почерневшее от горя лицо и, увидев Кашугу в боевой изготовке, сразу же вспомнил обычай. Когда Гаеч берет к себе и вдруг отпускает с того света, то нельзя даже подходить к жилищу в той одежде, что побывала в царстве Гаеча. Тырилка стянул с себя кухлянку и, отшвырнув ее, продолжал снимать оставшуюся одежду.

Когда разделся донага, Кашуга, признав в нем человека, а не духа, снял стрелу с тетивы, уверенно произнес:

— Тырилка. — И пошел навстречу бредущему нагишом сроднику.

Целые сутки Тырилка сидел в землянке как истукан, не разговаривая, уставясь в угли кострища. Как ни пытался товарищ заговорить с ним, но тщетно.

На второй день Тырилка заговорил:

— Отобрал Гаеч любимую Наусчичь. Меня не взял к себе.

— Такую, как она, каждый захочет, — заспешил поддержать разговор Кашуга.

— Ты забери моих собачек и уходи. Однако, грех на мне за кражу Наусчичь. Буду снимать грех по обычаю. Пусть Кутх сам решает, как быть со мной.

Кашуга знал, что сорок дней и ночей надо пробыть Тырилке в одиночестве без огня и пищи, чтобы снять грех. Он с жалостью посмотрел на сродника: «Мало кто доживает до конца срока очищения».

На следующий день Кашуга впряг двух собак в наспех устроенную нарточку для поклажи, надел лыжи и распрощался с Тырилкой.

* * *

В похищении жены у служилого Щербака Дмитрий Павлуцкий, который сидел на приказе в Нижнекамчатском остроге, узрил искорку бунтарского духа инородцев и придал сыску особую важность и строгость. В застенке приказа под пытками Кашуга сознался в содеянном и обещал провести до места, где таился Тырилка. Его сказу о том, что Настасья погибла, не поверили, считая это вымыслом, сбивающим с толку.

Как ни спешил Щербак податься на поиски жены и своего обидчика, но весна, грянув бездорожьем, заставила выждать вскрытия рек — летних дорог Камчадалии. Уже исплакались на нет сосульки на избах острога, сошли снега, обнажив прошлогодние космы трав, приняли перелетную дичь полыньи, а река все медлила расставаться со льдом. Щербак по нескольку раз в день заворачивал на берег, поглядывая на ноздреватый лед реки, и, облегчив душу руганью, уходил.

В один из ветреных дней река все же взломала потемневший лед и без особых заторов, как-то незаметно очистилась. Но и это радостное для всех жителей острога событие не ускорило поиски. Назначенные в помощь на поимку Тырилки служилые Артем Обухов и Варфоломей Чудинов убедили майора Павлуцкого в отсрочке хотя бы на одну-две седмицы, чтобы успеть промыслить свежей рыбы и дичи для прокорма остающихся семей, — ведь уходят не на малое время.

Пообронили цветочные сережки ольховники, зеленой дымкой нераспустившихся почек окутались заросли черемух и боярышников. Потянули к солнцу зеленые стебельки черемша и крапива. Заливисто, до хрипоты, затоковали в перелесках глухари, воспевая весну жизни.

В день отхода отряда в приказной избе острога Щербаку выдали подорожную грамоту. Кузьма быстро пробежал

глазами витиеватый почерк письма: «…Служилый Нижнего острогу Кузьма Щербак со товарищи, имея во власти вожа именем Кашуга из камчадальского народу, посылан в места дикие за сопки горелыя, ради сыска важного. Майор от сыскной команды Дмитрий Павлуцкий».

Упрятав грамотку в кафтан, Кузьма подождал, когда приведут Кашугу, которого поручают под его присмотр на срок похода. Исхудавший за время отсидки в каморе, в изодранной кухлянке, без шапки, Кашуга показался Кузьме жалким и убогим. Он виновато остановился около Щербака. Чувство жалости шевельнулось в душе Кузьмы, заглушая злобу к своим обидчикам.

— Ладно ужо, пошли-ка, — тихо сказал он.

В боевом снаряжении Обухов, Чудинов, Щербак и с ними Кашуга разместились в двух длинных узкобортных батах. Отбывающие казенную гоньбу батовщики направили свои долбленки вверх по реке Камчатке.

К исходу второго дня отряд Щербака чаевал на высоком сухом берегу реки, готовясь к ночлегу. На ночь Кашугу пристегивали длинной цепью к дереву неподалеку от костра, где он наспех устраивал себе небольшой шалашик.

Щелкнув замком окова, Варфоломей подсел к нему и заговорил:

— Хоть и на чепи, на воле — не то что в каморе томиться. В эту ночь я состоять при тебе определен, дак ты опочив держи смирно: не выкобень пакость каку. Не то дыбы не избежать.

Кашуга понимающе кивнул головой и поудобнее умостился у березки, поглядывая, как Щербак и Артем Обухов, наполнив берестянки чаем, мирно беседуют.

Через день, отпустив батовщиков, отряд двинулся по тайге, к подножию огнедышащих гор. Кашуга вывел путников на сухое русло речки. Наносами песка и пепла она забросала деревья и заросли кустарников, обрекая их на высыхание. Только густые шапки кедрового стланика зеленеют на песчаных наносах. Чем ближе к подножию гор, тем больше жизни подает сухая речка. Сначала она превращается в ручеек, скачущий по обкатанным галькам, затем в бурный поток, шумящий меж ломаных скал. Проводник поневоле, Кашуга отвернул от речки, пытаясь провести отряд в обход двух огнедышащих гор, которые, словно огромные юрты, упирались в небо своими

дымоходами. Боясь горных духов Гамулов, он не осмелился вести служилых через перевал-седловину. Но нетерпеливый Щербак настоял на этом переходе, стремясь побыстрее попасть к жилищу Тырилки. Путники свернули к перевалу и вошли в узкое ущелье, как в раскрытую волчью пасть, готовую вот-вот сомкнуться острыми скалистыми зубами. Ущелье вывело на серое шлаковое нагорье, которое упиралось в снега, еще покрывавшие вершину — узкий извилистый гребень.

По крепкому насту поднялись на перевал. Обухов остановился: дух захватило от открывающейся за перевалом дали. Внизу, за ледником, пепельные осыпи переходили в зеленые сгустки стлаников, а далее бледнел просыпающийся после зимы лес, буроватые тундрочки, озера и вновь — морщины гор с забеленными снегом вершинами.

Приотстав от товарищей, он стал нагонять их. На самом гребне, обходя скалистый выступ по наклонному леднику, он неосторожно шаркнул котомкой по выступу, покачнулся и, не удержав равновесия, упал. Его тут же потащило вниз. Распластавшись на чуть оттаявшем снегу ледника, Артем успел одной рукой уцепиться за непрочную кромку следа своих товарищей. Кромка немного подалась, но удержала. Чувствуя ненадежность опоры, Обухов хотел крикнуть уходящим вперед служилым, но боялся даже глубоко вздохнуть. Пальцы руки онемели от напряжения и холода. Набатом били мысли: «Снег подтает — рука соскользнет… Тогда… в пропасть — и…»

Осознавая свою обреченность, он боялся шевельнуть головой, исподлобья уставился вслед удаляющимся спутникам.

«Ну, обернись кто-нибудь… Кузьма, друже, гибну попусту!» — в отчаянии мысленно взмолился он.

Кисть руки от напряжения побелела. Артем ее не чувствовал. Чужая и непослушная ему, она будто вросла в снег надежным корнем, еле удерживающим его в этой жизни. Он уже и мысленно перестал призывать на помощь, но со все угасающей надеждой сверлил взглядом спину своего дружка Щербака.

И тут Щербак осторожно, нехотя оглянулся и остановился. Увидев распластанного на склоне ледника Обухова, не успев подумать о том, как спасать товарища, он проворно бросил котомку, рванул связку ремней. Пройдя по оставленным следам, быстро выдолбив палашом во льду углубления ногам

для устойчивости, стал спускать ремень Артему. Боясь шевельнуться, Обухов вцепился зубами за ремень и лишь потом резко ухватился за него свободной рукой. С помощью Кузьмы вскарабкался на гребень ледника. Угнетающая слабость разлилась по всему телу. Артем сел.

Щербак молча сел рядом.

Выждав, пока Артем пришел в себя, ни о чем его не спрашивая, мягко предложил:

— Пойдем помалу.

С высоты Кашуга указал Щербаку на крупное темнеющее озеро, зажатое хребтами гор. Попасть к нему со стороны вулкана можно было только через закрытое туманом ущелье.

После очередной ночевки путники вошли в него. Пройдя немного вдоль ручья, они услышали гул, доносившийся из-за поворота обрывистых стен ущелья. Кашуга, испуганно посматривая на Щербака, умолял выбраться наверх, обойти по горам это место злых духов. Пригрозив проводнику и взяв на цепь, служилые заставили его идти дальше. Завернув за выступ скал, путники поразились увиденному.

С оглушительным ревом из расщелины в скале вверх вырывалась струя горячего воздуха, клубясь на высоте большим облаком и сея по ущелью радужную морось.

— Ко! Ко! Билюкай! — завопил Кашуга и упал ничком, закрыв голову руками.

— И впрямь диво! — вырвалось у Варфоломея. Подергав за цепь, он сказал Кашуге: — Будя дурить-то. Где тут Билюкай твой?

Проводник полежал немного, но, слыша, как спокойно меж собой переговариваются служилые, приподнял голову и, с опаской поглядывая на облако пара, указал на радугу:

— Вона, опушка его кухлянки.

— Э-э… глупой, то — радуга, — ухмыльнулся Варфоломей, хотя и самому было как-то не по себе от столь злобно ревущей скалы. Он оглянулся и с удивлением крикнул Обухову: — Артем! Гля, спад воды-то чуден как!

— Небось, вижу, — отозвался тот и перебрел на другую сторону ручья, где с многометровой высоты падала отдающая парком вода, выбив внизу углубление. Часть этого теплого

ручья стекала по скалистой стене, покрытой разноцветными лентами натеков.

Артем Обухов дотянулся рукой до воды в выбоине:

— Тепла да ласкова водица. Кузя, пошто не искупаться в боговых банях. Какой день без доброго отдыха ноги бьем.

— И впрямь, — поддержал Кузьма Щербак.

Когда нагие служилые полезли в теплую воду к водопаду, Кашуга от удивления и страха закрыл руками глаза, но веселый смех и плескание заставили снова открыть их. Пораженный тем, что видит их живыми, Кашуга подумал: «Что за люди, эти русские, никакие духи им помешать не могут». Щербак стоял под струями водопада: теплые, они приятно давили, били по плечам и спине.

Обухов взглянул на удивленного Кашугу, крикнул ему:

— Подь сюды, окунись.

Тот испуганно замотал головой.

— Тогда из портов-то хоть вытряхни, уж не от тебя ль тухлым наносит после Билюкая-то, — загоготал тот.

Щербак давно уловил резкий запах:

— То вода, однако, так вонит.

Отдохнув, путники двинулись дальше. Со временем Кашуга поддался общему спокойствию, с трудом заглушая мир своих переживаний. Они шли по диковинному ущелью, постоянно удивляясь увиденному. Сбоку от ручья Обухов заметил парящую низинку, которая вся булькала и разноголосо клокотала. Вязкая масса ее постоянно выпускала паровые струйки, грязевые фонтанчики и с хлюпаньем разрывала пузыри. Рядом с низинкой в скалистой стене зияло отверстие пещеры. Свод, стены и рядом лежащие камни ее покрыты ярко-желтым кристаллическим слоем. Из пещеры с небольшим перерывом выходили клубы желтоватого дыма.

— Накипень-то какова на каменьях, — изумился Артем.

— Чему токмо не надивишься тута. Не то ад кромешный, не то рай господен. Оно вроде и любопытно, а все одно страхто погуливат, — отозвался Щербак.

— Ништо, скоро вынемся из этого перехода. Сопки-то вразбег пошли, — заметил Обухов.

На следующий день угрюмый Кашуга вывел их к жилищу Тырилки. Еще издали они увидели, что дверь землянки распахнута.

Щербака охватило волнение. Он обсудил с друзьями, как лучше подойти незамеченными. Артем по заросшей сопке обошел землянку и начал пробираться к жилищу с другой стороны. Враз с обеих сторон Кузьма и Обухов ворвались в землянку и на мгновение опешили. Еле сдерживаясь от запаха сырости и смрада, они осмотрелись. На полу землянки были разбросаны лоскуты и клочья от одежды, мешков, в беспорядке валялась посуда, а около топчана — растерзанный труп.

«Тырилка», — определил Щербак и первым выскочил наружу, чуть не сбив у дверей Артема.

Тот поморщился и отошел.

— Муторно как. Кто тама?

— Тырилка сгиб. Зверье его погрызло. Верно, стало быть, Кашуга сказывал-то. Знать, и впрямь беда постигла Настасью, — сник сразу Кузьма.

Варфоломей подвел Кашугу. Тот встал и ожидающе потупил взор.

Обухов тряхнул его за плечо:

— А ну, сказывай, где Настасья сгинула?

Кашуга принялся подробно рассказывать о ее побеге. Кузьма, слушая, с болью в сердце глядел на ту высокую сопку с осыпями до самого озера и думал: «Сгибла, сердешная, и косточки-то ужо под воду ушли». Перед глазами явился образ улыбающейся Настасьи. Темные до синевы волосы, сверкающие угольки глаз. У Кузьмы защемило в груди, и горький ком заклинил горло. Он направился по берегу озера к месту гибели любимой. Варфоломей пошел было следом, но Обухов остановил его.

Щербак долго сидел на берегу озера, уставясь на слегка колыхавшуюся воду. Он держал в руках найденный копыл от нарты, грустные думы одолевали его: «Вот и оборвался мой якорь, брошенный на землю. Пойду опять мореходить, как Кондратий Мошков. Где-то он сейчас?.. А и матрос-то ныне с меня каков? Нету-ка у меня такой страсти к морю, как у него. Да и ни к чему ныне стремленья нет, без коего в жизни, словно лист опавший: чуть поносит ветер — да в грязь кто хошь втопчет. Эх, Настасьюшка! Как с подрубленным корнем, без тебя-то мне со Степашкой. До сих пор в надеже был, что жива ты… И как дале-то?..»

Когда Кузьма вернулся к товарищам, они уже приготовились к обратному пути и поджидали только его.

Чтобы тьма не застала в диковинном ущелье, на ночевку остановились, не доходя до него.

У костра за чаем Обухов и Чудинов негромко переговаривались, сочувствуя товарищу:

— Отрубишь — не приставишь.

— Надыть, за опасные еретичные места упрятали сердешную. Отсель и знаючи-то непросто выйти, закружить по тайге да околеть, не к слову будь сказано, можно, — посетовал Варфоломей Чудинов.

— Тырилка без нее тож смерть принять удумал. Да-а, дело чудное, мраком крытое, — добавил Обухов.

Дальше шли молча. Щербака одолевали тяжелые мысли: «Однако, мореходить пойду, лишь бы скорей с этих мест, где все о ней вещает. За мальца платить Артему стану, а подрастет — заберу».

Вскоре после прихода отряда Щербака в Нижний острог Павлуцкий писал приказчику Большерецкого острога: «…Имеющего на то желание, служилого Кузьму Клочева, в миру Щербака, направляю в Охоцкий порт на суда флота матрозом, коим он и обретался ранее на боте „Святой Гавриил“».

* * *

Начало лета разливом молодой зелени захлестнуло Якутский край. Долгожданная зелень повсюду радует глаз, но в самом Якутске въедливая пыль с немощеных улиц да множество мухоты досаждают жителям.

Последняя партия служилых людей экспедиции и сам капитан-командор Беринг собирались в трудный путь из Якутска до Охотска, откуда Скорняков еще в прошлом году уехал сюда, в Якутск, не вынеся соседства своенравного Шпанберга. Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев хотел присоединиться к партии, чтобы с Берингом вернуться опять в Охотск, потому как управлять Охотско-Камчадальским краем из такой дальности трудно.

Григорий Григорьевич сегодня проснулся легко. Он еще вчера задумал перебрать, пересмотреть давно заброшенные им деловые бумаги, чтобы обновить в памяти указы и инструкции, требующие от него действий. Он не стал даже завтракать, вспомнив, что одно дело не терпит отлагательств:

боярскому сыну Колесову, которого он шлет новым приказчиком в Камчатку, нужно написать инструкцию. Скорняков сел было, но по улице мимо избы прогромыхала пустая телега, потом вторая, третья, не давая сосредоточиться.

Григорий Григорьевич затворил распахнутое окно, ворча под нос:

— Куда спешат, ироды, пылюку как взбили…

Один за другим откладывал он исписанные листы инструкции новому приказчику. Вспомнив о своем обидчике, немного подумал и вновь принялся писать: «…Капитана Шпанберга и прочих, до кого порученное дело канцелярии Охотского порта не касается, до предерзостей не допускать и смотреть того накрепко. Он же, Шпанберг, в Камчатке предерзостные дела чинит и богатится… Того ради тебе, Колесову, по всей Камчатке проведать, не учинил ли капитан Шпанберг, будучи в Камчатке, каких обид и взяток себе с тамошних обывателей. Не брали ли также оных и подштюрман Родичев и прочие люди его, Шпанберговой команды, ибо на вышеписаных с Камчатки в рапортах написали, что вино курили и тем вином и табаком торговали и что находящегося у себя табаку конфисковать не дали…»

Положил перо, довольно потер руки и злорадно помыслил: «Погодь же, выскочка Шпанберг, я те покажу еще, как раньше времени-то хвост задирать… Ныне с Берингом попаду в Охоцк, там-то потихоньку и прижму тя.

Командор Беринг, правда, тоже ко мне не благоволит: при встрече рот кривит да, аки мору, чужится. И даже упрекал: тыде в Камчатке не токмо пашни не завел, но и людьми ее особо не умножил. Вместо того чтобы с Камчатки вспоможения на прокорм партии брать, мы должны многое число хлебного жалованья туда слать в ущерб государственным замыслам… А сам пять десятков землепашцев, собранных с якуцких волостей на переселение в Охоцк и Камчатку, оставил в Якуцке на обслугу своей партии. Кричать-то мастак, а того не зрит, что своей партией он во всех делах моих, словно палка в колесе, и не в моей мочи то перевернуть. Какими людьми умножать-то? Токмо ссылочных и посылают сюда, а нет чтобы древорубов, бочкарей, кожемяк. Работных людишек-то где брать? Три десятка служилых от партии Шестакова — Павлуцкого еще в год

семьсот тридцать пятый вернулись с Камчатки, да и с них-то что сталось? Семь человек по указу самого же Беринга к себе забрал Шпанберг, шестеро сразу умерли, а кои были поспособнее — Спешнев, Гвоздев, Генс, — их в Тобольск по важному сыску укатили, до сих пор слуху о них нет… Хлебопашцев, коих и собрал было к переселению, дак этот прохиндей Шпанберг все суда загреб, и не на чем крестьян тех переселить. Куда ни кинь, такая вот мешкота…»

Скорняков отвлекся от мыслей и стал перебирать ворох бумаг, раскладывая их в стопки. На глаза попался ему донос на Василия Мерлина. Он быстро пробежал глазами «доношение» и отметил: «Молодец сержант. Этими-то вестями Ваську по рукам и ногам повяжу».

Эта бумага задела самое больное место командира Охотского порта и Камчатки: его доходы, о которых он так мечтал. Григорий Григорьевич откинулся в кресле и вновь раскинул умом: «Обогатиться мыслил около ясака, да пути к прибыткам Васька Мерлин и проныра Шпанберг перебежали. Ныне ж такой наплыв людишек в Камчатку… будь она неладна, эта экспедиция… И чего же Мерлин с Камчатки не едет? Таится? Выжидает? Видно, во вкус вошел?! Не проглядеть бы, не то посуху свои пожитки спровадит. Нагреб уж немало… Пусть едет, ополовиню — не то на плаху упеку. Хорошо извещен о его проделках…»

Стемнело. Дневная духота отступала. Якутск погружался в блаженную зимнюю свежесть.

Григорий Григорьевич вышел на крыльцо и облегченно вздохнул:

— Уф-ф… ну и денек работный выдался. Сколь дел переворошил.

Подышав прохладой, озаботился вновь: «Куда же пойти вечерить? К Афелисе или еще куда?.. Не уйду, так опять эти хороводить нагрянут, не дай бог, в запой впадешь. И так ту седмицу без просоху гулял с ними. Эх, Григорий, Григорий, до чего укатился: с непотребными женками хороводить начал… А как не опустишься? Второй год, как вдовый остался, Агрофена тож совсем плоха, в Иркутске годы доживает. Одному-то тож… Нет, этих веселых женок прикажу денщику гнать в шею. Вот Афелиса, вдова кузнеца… токмо ее с собой в Охоцк заберу, а тех взашей».

* * *

Сменяя друг друга в вечном карауле, всегда непохожие, закаты и зори исправно ведут отсчет неумолимого времени. Как ни тянул пятидесятник Колыгов с женитьбой Ивара, ему пришлось назначить день хватания невесты, когда жених должен будет показать свою ловкость и напористость, пробиваясь сквозь женскую охрану, вооруженную увесистыми палками. И нужно не просто пробраться, а раскутать невесту, облаченную во множество одежд, и дотронуться до «стыдкого места», снося удары, способные не только остудить пыл, но и покалечить.

После согласия Колыгова в его семье все ждали назначенного дня. Ивар частенько перехватывал согревающие взгляды Аглаи, все больше уверяясь в себе и в том, что невеста не очень будет противиться и облегчит его участь. В трепетном волнении пребывала и Аглая: в тот день все должно измениться. И это неведомо другое будущее немного пугало и вместе с тем манило ее, торопя время. Она совсем не хотела, чтобы Иварку колотили во время хватания, поэтому часто посматривала на него ласковым жалеющим взглядом: что поделаешь — обычай.

Накануне дня хватания Никифор Колыгов ввалился в женскую половину дома.

Оглядев присмиревших женщин, заявил:

— Чего, толстомясые?.. Хватанье хватаньем, но коли Ивар доможется своево, я с вас шкуры спущу. — Покосился на Аглаю и бросил ей: — Погодишь, поди, не приспело. Ну чего губы-то поразвесила? Сказал — рано! Иль распохотилась ужо?! Токмо распутайся сама — порешу! — наседал он на ошеломленную девицу. — Никуды не денется, еще годок-другой погорбатит, а там и время приспеет. — Скрипнув зубами, он повернулся к жене: — Малашка, сама батожья завтра наруби поувесистей да баб покрепче в охрану проси. С тебя спрос особый. Под одежкою еще сетей намотайте. Мотрите мне, бесово семя! — предупредил он и вышел, бухнув дверью.

С утра к усадьбе Колыгова потянулись любопытные обыватели острога в надежде позабавиться зрелищем камчадальской свадьбы. Пока женщины в дому укутывали невесту, мужчины кучками толпились на улочке. У самой избы Колыгов беседовал с Варфоломеем Чудиновым.

Кузьма Щербак успокаивал бывшего своего холопа:

— Ништо, Иварка, напрочь не забьют.

Ивар нетерпеливо поглядывал на двери избы, согласно кивнул головой.

Одетую в несколько одежд Аглаю вывели во двор. В окружении женщин, угрожающих палками, она постояла, словно пугало, с оттопыренными от одежд руками и медленно стала продвигаться в сторону улицы. Засуетились, загалдели зеваки, сбиваясь ближе к свадебной процессии.

У Ивара от решимости расширились ноздри, заходили желваки на скулах, он трепыхнулся было броситься в атаку, но Варфоломей ухватил его за руку:

— Годи, стоялый жеребец. Пусть походят по улице — выжди момент.

Но жених, чуть остепенившись, все же кинулся к невесте. Разметав воинственных женщин, повалил Аглаю и принялся рвать меховую одежду. Под истошный крик охраны на него посыпались удары. Кто-то больно драл его за волосы, царапал шею. Из-за гулкого биения сердца и оглушающих ударов Ивар боялся, что не расслышит от невесты такого желаемого: «Нини» — знака его победы.

Вокруг суматошной свалки обряда толпились жители острога, сопереживая по-своему.

— Иварка, пожалей свои ребра!

— Спину-то ему вчешат!

— Во потеха! — неслось из толпы.

Криками Колыгов подбадривал жену:

— Малашка! По теменю дюжей! По теменю, дура!

Задевая друг друга палками, женщины стали опасаться и сбавили ярость. Ивар, разодрав уже вторую хоньбу, добрался до сетей.

— Эко, черт, умыкнет девку! — не стерпел Колыгов.

Взъярясь, выхватил из рук жены палку и с криком: «Укороти норов» — ударил Ивара. Оглушенный жених на миг обмяк, женщины отступили.

В наступившей тишине кто-то робко произнес:

— Никак убил?

Но Ивар зашевелился. С трудом поднялся и, окинув мутным взглядом палку в руке Колыгова, шатаясь, отошел от невесты. Толпа загудела.

— Со свиным рылом в чужой обряд неча соваться!

— Не по чести! Отдавай девку парню! — подскочил к Колыгову Щербак.

Колыгов зло повернулся к нему. И в это время опомнившийся от удара Ивар с размаху всадил нож в спину Колыгова и юркнул в толпу.

— Эк! — крякнул Никифор и с недоумением на лице стал приседать, отворачиваясь от Щербака и пытаясь взглянуть на врага.

«Шалишь. У нас так: задел рукой — поплатишься головой, ирод», — пронеслась у него мысль.

Щербак подхватил Колыгова под руку и кивнул Филимону Баеву:

— На его. Держать такого душа не лежит.

— Ай! Ай-ай! Убили! — заголосила Меланья, выводя людей из оцепенения.

Засуетились, заговорили обыватели и, не вынимая ножа из раны, повели под руки хозяина в избу.

— Поделом: не лезь не в свои сани, — донеслось вслед Колыгову.

— Поневоле конь гужи рвет, коли мочь не берет, — проворчал вслед уходящим Варфоломей Чудинов.

В суматохе никто не заметил, куда девалась невеста.

Полная опасности жизнь в столь далекой окраине России быстро выветривает из памяти жителей такие обыденные для них явления, как стычка Колыгова с Иваром. Крепкое здоровье, травы да свежий медвежий жир вскоре подняли пятидесятника на ноги. Не думать об Иваре он не мог и каждый день придумывал своему врагу страшные кары.

В один из дней он прослышал, что Аглаю видели в острожке Шантальском.

«Знать, и он где-то рядом обретается. Пошлю туды Малашку, будто Аглаю домой воротить, пусть хорошенько прознает об нехристе», — решил Колыгов.

За Шантал-озером в тайге Ивар поправлял землянку, в которой когда-то они с Тырилкой зимовали, добывая меха на откуп за любимых. Только что уложил на крыше слой дерна и присел у входа на валежину. Увидев, как из-под нее юркнула мышь, он сдвинул колодину и обнаружил гнездо, наполненное клубнями сараны. Выгреб луковицы из гнезда и, оставив

«хозяйке» несколько штук, понес добычу в жилье. Высыпал сарану на топчан, из-под которого серой тенью мелькнула еще одна полевка.

«Однако, мышей ныне много: хороший промысел на лис будет, — отметил себе Ивар и вышел, раздумывая: — Да, промысел… Успеть надо пропитание к зиме наготовить. Аглая пока в Шантальском острожке у сродников побудет. В случае больших поисков — упредит. Все тут слажу, и заживем с ней вдали от всех, как мечталось…»

И Ивар снова ощутил себя окруженным родным ему миром — миром свободы и вольности в своих желаниях и поступках.

Через несколько дней беглец приступил к заготовке дичи на зиму, не подозревая, что по его следам хитрой и коварной росомахой крадется смерть.

В осенний синенебый день Ивар пробрался на таежный прогал, некогда появившийся от лесного пожара, а теперь поросший редковатым березняком. В солнечные дни из темных дебрей тайги слетались сюда окрепшие уже выводки глухарей, чтобы погреться под ласковыми лучами солнца. Доверчивые рябые птицы рассаживались на нижних ветвях и с любопытством поглядывали вокруг. Ивар бесшумно вышел на фиолетовый от цветения кипрея косогор и огляделся. Как будто злой дух Канною нарочно исковеркал стволы и ветви каменных берез, которые, изгибаясь в причудливых позах, стояли среди высокой травы. Внизу, под угором, поблескивала речушка. Ивар, вспомнив, что хотел починить разорванную кухлянку, спустился к воде. Небольшая и тихая с виду, речка чуть ниже серебрилась и шумела перекатом, на котором, растопырив лапы, сидела в воде взлохмаченная матуха. Время от времени она их резко сводила и выбрасывала на берег горбоносых кижучей. Два озористых медвежонка тут же набрасывались на трепещущую рыбину. Урча и отбирая ее друг у друга, оттаскивали от воды, но, услышав шлепок следующей добычи, забывали про эту и неслись к новой жертве-забаве…

«Кабы не осердить лохматину», — подумал Ивар и направился в верх ручья, подальше от соседей.

Речушка вытекала из небольшого лесного озерка, куда с весны до поздней осени заходит на нерест рыба. Время от времени

вода несла красногорбые, с белесыми плавниками рыбьи туши, забивая их под коряги и камни на тиховодьях.

Ивар подошел к месту, где речка упирается в поваленную поперек березину и, будто недовольна этим, пришептывает камлание речному духу Кырга-И, чтобы тот убрал непрошеную колодину с ее пути. Он выхватил из воды отнерестившуюся дохлую рыбину, швырнул ее в траву. Со стволов деревьев нарвал сухого мха и принялся разводить костер. На сей раз Ивар долго потел, суча меж ладоней палочку, пока из отверстия в плашке закурился дымок. Как только пламя заплясало по сушняку, он завернул шматки рыбьей кожи в бересту и стал поджидать. Неподалеку отрывисто закрякала утка, нарушая безмолвие. Вскоре вновь раздалось ее призывное кряканье.

«Э-э… плохи твои дела. Все утки уже сбились в стаи, а ты, однако, немощна… одной совсем худо… по себе знаю», — рассудил Ивар.

Сушняк быстро прогорел, и он сунул берестянки с рыбьей кожей в горячую золу. Выждав время, принялся клеить рваную кухлянку приготовленным клеем.

Вечерело. Ивар видел, как уставший за день бог-солнце Коач, спускаясь за горизонт, спешил в свое подземное жилище. Тускнеющими лучами он все еще пытался согреть осенний лес, но только слабо освещал верхушки деревьев да слепил идущего с охоты Ивара. Вскоре сверкнул его последний луч и враз, будто чиркнув, поджег небо. Ярким заревом заполыхал небесный пожар. Облака у горизонта окаймились светло-золотистыми кромками. Блики зарева охватили полнеба. Торчащие верхушки деревьев уперлись в красноту неба и притихли, боясь обжечься о раскаленные облака.

Очарованный закатом, Ивар присел на замшелую лесину и размыслил: «Потешается, однако, Коач. Большой огонь в подземной юрте развел. Видно, в добром настроении на ночевку ушел. Быть славному дню завтра». Он глядел на игру все сгущающихся красок заката.

Безмолвную картину нарушил бродяга-ветер — Балакидга. Налетел невесть откуда и сразу же наполнил тайгу звуками. Заскрипели деревья, замотали вершинами, с хрустом обламывая сухие ветки. Пошумев над лесом, Балакидга быстро разметал по небу облака — догорающие головешки.

«Надо же, этот Балакидга и Коачу не дает у костра посидеть», — подумал Ивар и вспомнил, как однажды он сам долго не мог разжечь костер. Только запалится мох, баловник-ветер дунет, и нет огня. Тогда снова мелькали руки Ивара, покручивая меж ладоней палочку огнива, и вновь ветер гасил огонь. Дабы ублажить Балакидгу, Ивар выдернул несколько перьев из крыла добытого им глухаря и бросил по ветру, приговаривая: «На, поиграй, да меня не замай».

Но ветер не отступался: все гасил и гасил зачинавшийся огонек, будто издеваясь над охотником. Тогда Ивар в сердцах принялся быстро ощипывать дичь, разбрасывая пух и перья, с обидой приговаривая: «На! На! Все забери. Совсем жаден стал, как плохой человек».

Ветер тут же подхватил перья, крутил их меж деревьев, цеплял за густой кустарник и забивал в траву. Только наигравшись вволю, постепенно отступился Балакидга и стал утихать.

Ивар еще раз взглянул на погасшие облака, и ему стало обидно за Коача.

Он вскочил на ноги и, погрозив кулаком ветру, крикнул:

— Ух! Балакидга! Ты всем чаевать не даешь. Проказник стал, как лесной дух Пихлач.

Потом прислушался к шуму тайги и отметил: «Нет, не утихает, не угомонился еще, бездельник».

Закинув на плечи связку добытых глухарей, Ивар заспешил к землянке и не заметил, как мягколапой лисой подкралась темнота.

Вскоре желтым бубном выкатилась луна, и под ее светом выгорбатился дальний хребет гор.

Под утро Ивару снились облака в форме лис, которые бегали по небу. «Знать, много лис нынче будет», — снова отметил он во сне. И вдруг на светлую полосу закатного неба, словно призраки, выползли черные облака то с кряхтением медведя, то с голодным рыканьем росомах. Ивару стало страшно, и он забежал в юрту к матери. В юрте от сырых лиственных дров дымно, а мать облезлой полой парки помахивает, раздувая несмелое пламя костерка, и не обращает на него внимания. Охваченный каким-то неясным предчувствием, Ивар проснулся и вышел из жилища.

Серое, как некрашеный холст из крапивы, небо еще не тронулось зарей. Он решил пойти на место глухариной охоты,

послушать, как на зорьке молодые петухи выводят перестук, пробуя голоса, чтобы по весне звонко оглашать тайгу, созывая соперников на поединки. Захватив лук и стрелы, он направился к заветному месту.

Рассвело, когда он добрался к березняку. Там сразу же заметил глухаря, который неуверенно пощелкивал: «Тэк… Тэк… Тэк…» Ивар остановился и начал прислушиваться. Внизу косогора другой голос выдал более уверенную трель. Сбоку послышались шаги и тут же затихли. Ивар насторожился: «Уж не косолапый ли бродит?» Но вновь затоковал ближний петух и прошелся по разлапистому суку березы. На этот раз ему откликнулись сразу два голоса. Ивар успокоился.

Немного послушав глухарей, решил сбить одного на завтрак. Пущенная стрела прошла мимо. Глухарь вновь затоковал и чуть отошел от ствола. Вторая и третья тоже не достигли цели. Охотник удивился.

«Э… такого не может быть. Уж не этот ли глухарь возит возок Пихлача? Однако, Пихлач прячется где-то тут, чтобы заманить, заплутать меня в тайге, а глухаря выпустил на кормежку… да и шорох шагов я слышал… — начал размышлять он. — А ну, еще проверю», — решил Ивар и потянулся за стрелой.

Разорвав тишину, блеснул выстрел.

«Точно — глухарь Пихлача», — брызнула мысль, и с обожженной грудью Ивар повалился наземь, отразив глазами, как из-за гор кроваво-красной глухариной бровью занимается заря.

С последним вздохом мелькнула догадка: «Злой человек», и в помутненном сознании расплылся образ чернобородого лица Колыгова.

* * *

Осень — дремотная старость лета. Но все же живое не поддается его сонливости: птицы, сбиваясь в стаи, отлетают в теплые края, грызуны пополняют запасы в своих закромах, медведи колесят по дебрям, высматривая места для берлог. И людям не чужда осенняя суетливость, их сложные взаимоотношения, повседневные заботы, радости и печали не дают им покоя.

Аглая пробиралась через густые молодняки леса, продираясь сквозь чащобы ольхачей, петляя по буреломам меж поваленных лесин, держась еле приметной, знакомой лишь

ей тропки. От быстрой ходьбы вздымалась грудь. Аглая поднималась на лесистый холм, устало присела под лиственницу на коренища, присыпанные пожелтевшей хвоей, и, переведя дух, невольно залюбовалась увиденным.

Сентябрь — златоцвет на Камчатке — разгар бабьего лета. От низкого солнца горелые сопки сонно щурились на росплески красок осенней тайги. Вдали лазурным небом улыбалось Шантал-озеро. Стебли высоких трав да отцветшие кустарники заседели сетками паутин.

Но тревожные мысли цепко держали Аглаю. Вчера вечером, вернувшись с рыбалки, Тенива — бывший холоп Колыгова — предупредил ее, что видел, как Никифор переправлялся через озеро на бате и пошел в тайгу. Аглая так и обмерла: ищет Иварку. Идти на ночь в тайгу не решилась. Едва дождавшись рассвета, кинулась туда, к Иварке, чтобы упредить любимого об опасности… Чуть передохнув, она вновь заспешила к таежной землянке.

Солнце катилось еще вверх, когда Колыгов подошел к увалу со вкопанной в него землянкой. Он приостановился, прикидывая в уме: «Не спугнуть бы Аглайку. Она, поди, тут… поджидает Ивара с охоты». Вспомнив недавнюю сцену в березняке, подумал: «Хорошо, что без свидетелей с ним разделался… пуля — дура, а виновного завсегда сыщет… А ее, самовольщицу, высеку да домой… нет, сперва домой сведу, а потом высеку. Ишь кормил столь лет и задарма упущать… Не-ет, ужо — шиш!»

Никифор крадучись подошел к землянке и распахнул дверь. Внутри никого. Заглянул под нары: «Неужто узрила и выскользнула?» Он поставил фузею в угол и огляделся. На бревенчатых стенах подвешены мешочки с сараной, пучки кипрея и сладкой травы.

«На зиму сушит, — отметил он и прилег на нары. — Не буду высовываться, авось незамеченным сюды пробрался, дак и она объявится, коли тут, недалече, припасами занимается». Колыгов повернул голову и увидел через полуоткрытую дверь колодину у входа в жилище. Его взгляд упал на что-то серое, висевшее меж сухих веток валежины.

«Никак полевка удавилась? Однако, зимние закрома ее повыгребли. Тварь, а чувственна», — удивился Колыгов.

Вскоре навалившаяся усталость сморила его, и по землянке поплыл глухой храп. Сон являл видения: то Никифор долго крался за Иваром, который, словно глухарь, улетал от него и токовал далеко в стороне… Потом вдруг Колыгов выкопал ямку, вынул с рогатулины ветвей удавившуюся мышку и уложил ее туда…

«И впрямь, без провианта в столь длинную зиму… куды ей, бедолаге…» — пожалковал он.

И припомнились ему мытарства в каморе сыскного приказа, когда злодей Васька Мерлин вытряс-таки пушистое рухлядишко из его амбарушки. Горькая жалость нахлынула на Никифора, тугой удавкой захлестнула сердце, и он зарыдал. Так плакал только в далеком детстве, когда не донес краюху хлеба умирающей матери… Два дня работал он у барина за этот кусок, но барчонок с двумя такими же недорослями натравили на него пса, когда радостный Никитка несся сломя голову домой. Отбиваясь от собаки, он выронил ту краюху… Все сильнее и сильнее рыдал Колыгов, облегчая душу и приговаривая над могилкой полевки: «Горемычная! Така кроха, а до чего чувственна!»

От всхлипываний во сне Никифор проснулся. Вскочил, потряс черной с проседью шевелюрой и, чувствуя щемящий озноб сердца, ворчнул:

— Ты гля, дело-то к вечору. Не худо заснул…

«Будя таиться: Ивар, однако, один тут обретался. Похарчиться да в обратный путь собираться след, — размыслил Никифор и направился к лабазу. — Позрим, чего к зиме он наготовил».

Вскоре Колыгов внес в землянку кусок дымленого мяса и одного из глухарей, которых Ивар заготовил для прикорма соболей. Никифор собрался было развести костер, как в приоткрытую дверь увидел, что кто-то приближается к жилищу. Он присмотрелся: «Аглая! Вот и чудно… Сам Бог ее явит, все не искать-то».

Никифор схватил было фузею, но, упрекнув себя за нелепость, снял со стены ремешок, чтобы скрутить для острастки ради неслухмянную девку, и затаился. В легкой хоньбе, краснощекая, Аглая быстро приближалась.

«Ядреной стала Аглайка-то», — мелькнула мысль.

Она без предосторожностей вошла в землянку и попала в цепкие объятия Никифора.

— Ослушница! Я те покажу — из дому убегать, — забасил Колыгов.

На миг обомлев, Аглая вдруг с неимоверной силой стала вырываться.

— Нет! Нет! Ивар! — отчаянно закричала она и уперлась руками, больно вцепившись в бородатое лицо Никифора.

— Шальная! Не трепещись, пока ребра целы.

Он до хруста костей стиснул Аглаю и почувствовал испуганный стук ее сердца.

Из последних сил она рванулась, пытаясь вывернуться, хоньба на ней лопнула, оголяя белизну не видавших солнца грудей. Близость молодухи замутила разум Никифора, всколыхнула былую казачью удаль. Взыграла в нем кровушка, теплом наполняя грудь и огнем озаряя глаза.

— Норову твоему укорот-то будет, — прохрипел Колыгов, не слыша себя из-за гулкого сердцебиения.

Все слабее отбиваясь, она грудным манящим голосом отрицала:

— Пусти… пусти…

Потрескивал костер. Насадив куски глухариного мяса на прутики, Никифор умостил их над огнем. Аглая отрешенно лежала на топчане.

Поковырявшись за отворотами кафтана, Колыгов вынул иглу с тонкой жилкой и протянул ей:

— Одежку-то чини… И будя… девка-то ты похотливая — ввергла в соблазн. — Он опять засуетился у костра и заговорил вновь: — Утром домой пойдем. Мотри, об этом попусту молоть не след. Тама разберемся… Дале-то об Иварке не думай. Ведмедь задрал. Тама, в тайге, его и схоронил. — Никифор, отведав пахнущее дымом мясо глухаря, угнетенный ее молчанием, с раздражением ворчнул: — Будя, грю, будя истуканом-то лежать. Чинись да вечорить время. Нежному мясу-то огня много не надыть.

***

После затяжной зимы в приморье лето не особо радовало обывателей далекого Охотска. Морские туманы и дожди оттеснили от побережья Ламского моря потепление, пришедшее было с солнечными деньками июня. Несмотря на то что шел уже июль, лета здесь почти не чувствовалось. Постоянная морось и сляча действовали на обывателей угнетающе.

Полуверстовая пустошь разделяла Охотский городок на две части. Пять казарм, шесть складов-магазинов с припасами экспедиции Беринга, кузница да три десятка курных изб теснились у верфи Охотского порта. А государев двор с канцелярией, один амбар с казармой, три мастерских да пяток лавчонок и церковь в окружении сорока невзрачных хибар посадских людей жались к крепости Охотского порта.

Часть экспедиции Беринга на трех судах под командой Шпанберга еще с начала лета ушла в сторону Курильских островов к неведомым берегам «Апонского» государства. Плохая погода и отсутствие столь значительной части людей делали Охотский городок малолюдным и неприветливым.

Тут, под боком у капитан-командора Беринга, который ныне полновластно командовал постройкой новых судов и подготовкой будущей экспедиции в сторону Америки, Скорняков-Писарев оказался и вовсе принижен и ущемлен в своих действиях. Оставшись без мореходного судна, связывающего его с Камчаткой, без абсолютной власти в этом краю, он сник от своей безысходности, положась на волю судьбы. Лишь время от времени чинил козни подвластным ему людям, утешая свое самолюбие. Скрашивая серость бытия, он все чаще устраивал утехи-попойки.

В один из таких пасмурных дней Скорняков-Писарев в исподней рубахе сидел за столом, уставленным вчерашними закусками. Подперев кулаком обвисшие щеки, он, с трудом размыкая набрякшие веки, посматривал на трех широкоскулых в национальной одежде эвенок. Они пели протяжную мелодию, поблескивая черными раскосыми глазами.

Григорий Григорьевич повернулся к казачьему пятидесятнику Черных, но увидев, что тот уронил голову на руки и сладко посапывает, недовольно буркнул:

— Так и не продрал глаза, глотка ненасытная.

Перевел взгляд на разомлевшего у каменки денщика и кивнул ему головой:

— А ну, поднеси им еще. Славно поют, слов не ведаю, а тоска берет.

Потом поманил одну из певиц и, усадив ее себе на колени, проговорил:

— Любо мне у иноземок покорство.

Пока денщик суетился у стола молодух, дверь распахнулась, и в горницу вошла, мокрая от дождя, Афелиса. Скорняков вздрогнул, увидя ее, но, не подавая вида, пуще прижал девицу и смачно поцеловал, думая: «Пришла все же, чертовка… Пусть позрит, что и без нее обхожусь…»

Афелиса, упав на колени, запричитала:

— Смилуйся, Григорий Григорьевич, отпусти из каморы Авдея. Казаки-то забьют его напрочь. Третий день плетьми угощают ни про что.

Обида и зло всколыхнулись у Скорнякова.

Он ссадил с колен эвенку и угрожающе прошипел:

— Не вой, дура стоеросовая. Я тебя сюда вез не для Авдейки, а себе! — И уже громче, ярясь, крикнул: — Сука ты! Лиходельщица! Меня променяла на бочкаря?!

Притихшая было Афелиса взмолилась с новой силой:

— Гриша! Ты же стар ужо. Блудниц у тебя на то хватает. А с ним полюбовно я, для жизни сошлась. Отпусти Авдея, ради всех святых!

— Тишка, выставь вон вертихвостку. Пущай ныне где хошь подолом трясет.

Денщик сгреб Афелису и, кричащую, потащил во двор.

— Отпусти Авдея! Отпусти! Христом Богом молю! — донеслось со двора и стихло.

«Ишь ты — стар для нее. Старый гребень лучше чешет», — успокаивал себя Скорняков.

Во второй половине дня денщик еле растолкал Скорнякова. Тишка долго еще разъяснял, глядя в бессмысленные глаза Григория Григорьевича, что ждет его сам командор Беринг и что пришел отряд служилых из Якутска, который, видимо, и принес важные вести. Скорняков подошел к кадке с водой.

— Уф-ф… муторно, — окунул голову в кадку.

Отфыркиваясь, принялся утираться, затем с трудом оделся и направился в канцелярию.

У входа в канцелярию стояли Беринг, его денщик Хметьевский, а третьего Скорняков издали не признал. Тишка припустил вперед, чтобы отпереть канцелярию.

Каково же было удивление Скорнякова-Писарева, когда в третьем человеке он узнал Антона Девиера, бывшего обер-полицмейстера Петербурга.

«Да это он, он, черт побери! Тот самый Девиер, который в один день вместе со мною принял позорное биение на площади и сослан тоже в Сибирь в том памятном тысяча семьсот двадцать седьмом году», — закружили мысли у Григория Григорьевича.

— Граф! Какими судьбами?! — приготовился к объятиям Скорняков.

Но Девиер учтиво склонил голову и осадил его:

— Не место, Григорий.

От пронзительного взгляда Беринга у Скорнякова похолодело внутри. Он жестом пригласил гостей войти в канцелярию.

Не впервой судьба бросала Скорнякова-Писарева из огня да в полымя, но ранее как-то легче он переносил внезапности, а ныне, читая указ, который ему вручил бывший его соратник Девиер, Григорий Григорьевич не мог совладать с собой. Руки его тряслись, глаза слезились. Он медленно продвигался по строчкам, больно ранящим его самолюбие: «…Ныне дела Охотцкой провинциальной канцелярии в строении порта и переселении хлебопашцев на окраинные земли пребывают в конфузии. Весь скот, предназначенный для завоза на Камчатку, от недоставления кормов пал дорогою до Охотцка. Крестьяне, ожидая переселения, оголодав, разбрелись из порта в места безвестные. Казна пуста». Он несколько раз перечитал то место, где было писано: «…держать Скорнякова под арестом, накрепко расследовать все его доносы на Беринга, Шпанберга, Хметьевского…».

Прочитав в конце магическое слово «Анна», он сразу сник, стал жалким, растерянно взирая то на Беринга, то на Девиера.

Перед глазами Григория Григорьевича замелькали картины прошлого.

Вот он, молодой, с таким же юным князем Иваном Урусовым в горластой шумной Италии обучаются кораблестроению да морскому делу… Потом Берлин — и опять обучение математике, артиллерии… Память носила его по великим делам царя Петра, к коим и он был причастен. Бравый генерал-майор Петровской гвардии, ведающий всей артиллерией. Потом — царедворец, под началом которого все цифирные школы России, ученый муж и строитель Литовского и Ладожского каналов и, наконец, президент Морской академии, обер-прокурор Сената.

А потом… тот позорный кнут в Петербурге.

— И впрямь, зачем такого в командирах края чтить, коли во всем нерадение. Ясак за два года в Камчатке до сих пор, а не в казне государевой. Кои помощниками в делах могли бы статься, так лжами несносными мнишь им повредить, — упрекнул капитан-командор и продолжил: — Покличь писаря да передай дела графу, как в указе прописано, а мне — в порт: дела не терпят, — распорядился Беринг и направился к выходу, оставляя старых знакомых наедине.

— Пишись, что указ читал, — придвинул к Скорнякову бумагу граф.

Скорняков окунул перо в чернила, но писать сразу не стал, увидев на кончике пера грязь. Непривычным для себя жестом вытер гусиное перо о волосы и, обмакнув вновь, подписался.

— Да, Антон, канули те времена, когда мы с тобой кофей да вина заморские с покойным Петром Алексеевичем пивали… Ныне при всей чехарде у престола и сивуха всласть, — заговорил Скорняков.

— По сказу Беринга о твоих действиях — тебя не признать. Правда ли, Григорий, что стал ты бузотер, заносист, непокорен да гуллив не в меру? Отринул заботы? А главное, что из казны уворовываешь, а со сборщиков свою вину взыскиваешь?

— Уж командор противу меня расстарается, — отговаривался Скорняков. — Как не сломишься? При Петре Алексеевиче я чувствовал, что нужен России делами своими, ныне хоть живот положи, радея к делам, отечеству потребным, а все едино: взятку вовремя не пошлешь, тебя вновь в грязь втопчут… Доношу о нерадивости других — кляузником чтут. Со Шпанбергом да Берингом за что грызусь? Так посуди: считай, шесть лет началу их похода, а и поныне лишь пару суденышек срублено. Но сколь жалованья да корму за эти годы из казны изведено? Нет, не по мне таков разворот. Да разве так, по-сонному, при Петре Великом дела зачинали? Да разве блистали бы в викториях?!.. То-то и я мнил, что тут, на Востоке, вновь воспарю с делами великими, уверовал, что повернулись взоры России на восход, вторые врата государству занадобились, — да где там! Ни Сенату, ни Анне до Руси ныне нет дела!.. А ведь как мы в свое время не хотели ее к престолу, помнишь! Кабы тогда Меншиков не взял верх, авось поиначе бы дела шли… Ненужность меня гнетет! Так стоит ли тут, в дали и дикости,

пупы зря рвать, добывая доходы не во славу державы, а для прихлебателей царицы? Так чем же я хуже, Антон?

Девиер сочувствующе покачал головой и, не выдержав открытого вопрошающего взгляда Скорнякова, заговорил:

— Учтя старое, даю тебе сутки. Придумай, голубчик, как сокрыть свою вину в главном, — камень с души моей свалишь. Не хочется старую дружбу душить. Советую: пожитки свои, что в избах при Якуцке и Охоцке, с аукциона продай на жалованье служилым. А счас устрой меня где: переход дальний все силы источил.

Как опущенный в воду, Григорий Григорьевич добрел до своей избы-светелки, которую ему подняли в прошлом году, вошел во двор и остановился у качели. Качели и горки для катания устроили во дворе для потехи гулливых женок, кои водили компанию со Скорняковым.

Он присел на одну из качелей и, подозвав денщика, упавшим голосом распорядился:

— Тишка, гони из дома всех в шею. Видеть никого мочи нет. Да в избе почисть-прибери.

Пока с визгом и бранью от расторопного денщика вылетали из избы молодки, Скорняков, обнажив под мелкую морось седую голову, задумался.

«Некому стало Россию тормошить. Опять дремучая леность наверх всплыла. Ныне — кто я? Дерьмо! Хоть и не по своей воле, но — дерьмо!.. Вину сокрыть?! Нет, не сокроешь уже ничего. Казны, считай, нет. На Мерлина надеялся, ждал, что вот-вот прибудет, прохвост, — и возмещу мною выбранную казну. Ан нет, не вышло. Это конец… Вот и докатила жизнь к петле, — вздохнул горестно Григорий Григорьевич, — бес попутал с прилипчивой к рукам государевой казной, поистине ловушкой, сверху прикрытой искрометной пушистой рухлядью, на дне коей кровь да безысходная смерть. Что ныне делать? Токмо и есть: вновь освинеть во хмелю, а завтра прямиком в камору — ждать последнего часа. Вот и моя погибель чрез ясак».

Очи его затуманились, и он не видел, как мимо него денщик проволок бесчувственное тело пятидесятника. Вытащив его за ворота, он закрыл их, заложив орясиной.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗЯБЛЫЕ ВСХОДЫ

ГЛАВА 1

Не нажить тех дней, кои прошли-прокатились. Смерть императрицы Анны Иоанновны породила неразбериху в правлении Россией. В азартной чехарде у трона замелькали сановные особы: регент Бирон, царь младенец Иоанн IV, регентша Анна Леопольдовна. Опасение, таинственность овладели придворными, пребывающими в распрях и заговорах. То и дело неугодных волокли в Тайный приказ, а при дворе возносились новые лица. Жизнь в столичном Петербурге все еще не может войти в обычное русло.

Президент Адмиралтейств-коллегии высокопоставленный граф Николай Федорович Головин стоял у окна, вглядываясь в густой лес обледеневших мачт на судах и суденышках, сгрудившихся на зимовку в Неве, но мысли его были далеко от этого унылого пейзажа. Поджидая советника коллегии Захария Мишукова, он раздумывал о далекой восточной окраине России.

Его и раньше одолевали сомнения: там ли Берингу надо искать Америку. И вот сегодня сомнения эти утвердились, когда он прочел «репорт» с опросным листом из дела по сыску на матроса камчатской команды Леонтия Петрова, который показывал, что в морском походе с геодезистом Гвоздевым и подштурманом Федоровым еще в семьсот тридцать втором году он бывал у открытых ими новых островов да у неведомой Большой землицы, где якобы лес великий растет и зверь пушистый водится.

Бесшумно вошел обер-секретарь и доложил:

— Контр-адмирал Захарий Мишуков.

Головин важно развернулся и, отражаясь в паркете, направился к карте российских владений, приглашая к ней вошедшего советника.

— Милейший, вы готовили сей репорт? — И кивнул в сторону бумаги на столе.

— Да, ваше сиятельство.

— Где ныне Петров?

— За ложный извет на геодезиста Гвоздева в Тобольске был гонян шпицрутены сквозь строй в пятьсот солдат и отправлен на службу в Кронштадт.

— А Гвоздев?

— По сыску оправдан и послан вновь в команду Охотского порта.

— Как мыслишь, где Большой берег они могли встретить во время того плаванья?

— На норд-ост от предполагаемой земли Иан де Гама, показанной профессором де ла Кроером.

— Да… м-м… Отправь указ в Охотск: опросить геодезиста Гвоздева и с опросом прислать сюда журнал того плаванья. В делах Тайного приказа все, что касается морских походов на Восток, выбрать, и, коли тому подтверждение сыщется, надо дать Берингу поправку на курс поисков Америки. Займитесь, милейший.

* * *

Новый воевода обширного Якутского воеводства, майор Дмитрий Иванович Павлуцкий, как никто из предыдущих правителей этого края знал нужды Камчатки. Потому-то, приняв назначение, он всячески пытался ускорить поселение крестьян в Камчатку. Но из-за великой нужды в людях для обеспечения морского похода к Америке всесильный в этих краях командор Витус Беринг задерживал всех и вся для пополнения отрядов обеспечения своей экспедиции. Таких людей только в Якутске содержалось уже за тысячу, и из них почти семь сотен крестьян. Теперь, когда командор, покинув Якутск, перебрался в Охотский порт, воевода Павлуцкий стал собирать переселенцев в Камчатку. Подходило удобное летнее время для переходов из Якутска в Охотский порт.

Дмитрий Иванович в расстегнутом мундире сидел за массивным столом, перебирая челобитные. Вынув платочек, он

промокнул вспотевшую лысину и, взглянув на витиеватый неразборчивый почерк писаря, отметил себе: «Шельма, спешно писал, без усердия. Знать, взятка невелика была с челобитчика» — и вчитался: «…выбрали меня, Ивашку Олешева, на поселение в Камчатку по заочью, но не по жребию, а я одним глазом крив и, кроме жены, детей не имею. Человек я что ни есть самый бедной. А выбрав меня, с народу в подмог для моей бедности ничего не дано, и ныне в пропитании своем с женою терпим великую нужду, не то чтоб идти в края далекие. Бью челом отпустить в свою слободу Илимского уезда Ядринской волости».

Павлуцкий сморщил лоб.

«Что негожи, тех слободские общества от себя и шлют. На такое дело голь — зубная боль не годится», — подумал он и начертал поперек челобитной: «Вернуть в слободу, заменить на переведенцев годных, прожиточных. Старосте — кнут».

Перечитав еще несколько челобитных, он взял писцовую книгу, куда думный дьяк ежедневно вписывал для воеводы течение дел канцелярии, и, пробежав глазами по странице, нашел нужное: «…согласно освидетельствованию вновь приписанных землепашцев шесть человек явились на поселение негодны… За болезнью и негодностью к работе пашенной крестьянин Чечуйского уезда Иван Вострецов, а також за увечьем Лука Ушаков отпущены в домы свои… Григорий Малышев и Никита Кирилов — непришедшие, так как умерли в пути».

Павлуцкий размашисто написал указание дьяку: «Отпиши в Илимскую воеводную канцелярию: взамен негодных спешно определить в переведенцы десять душ. Молодых, здоровых, семейных пашенных крестьян з женами, з детьми да семянным хлебом. Ежели оные вскорости высланы не будут или хотя вышлютца да явятца к поселению негодны, быть воеводе в полном ответе». Дописал и откинулся на резную спинку деревянного кресла, подумав: «Весна на дворе, а истопник-прохвост дров не жалеет, духоту развел», вновь вынул платочек.

После сыска геодезист Михайло Гвоздев лишь к весне добрался до Якутска — главного города северо-восточных владений России. Воевода Павлуцкий встретил старого знакомого тепло. Выслушал сказ Гвоздева о мытарствах, кои он перенес в Тайном приказе сибирской столицы — Тобольске, и просьбу о пересылке его в Охотск к месту назначения.

— Твое радение к делам мне известно. Помочь тебе рад. Но сослужи и ты. Сведи переселенцев до Охотска и далее в Камчатку, и мое призрение тебе будет во всем.

От воеводы Гвоздев вышел довольный. Все у него складывалось пока удачно.

Наконец-то назначенные к переселению семьи крестьян собрались в Якутске. Они запрудили подводами и скотом съезжий двор. Лето торопило. Шли последние приготовления к переходу. Гвоздеву надо было проверить, чтобы переселенцы не везли с собой лишний скарб, чтобы хватило провизии людям и скоту, определить по пожиткам; сколько кому дать вьючных лошадей: из расчета на пять пудов поклажи — одну. Не все с легким сердцем расставались с привычными им вещами, старались упрятать их в переметные сумы, поэтому часто вспыхивали перебранки и скандалы во время проверки, которую учиняли два казака из отряда, приданного геодезисту для сопровождения. Стук, скрипы, ржание, брань, крики ребятни неслись со всех концов съезжего двора.

— Ульяна, куды заквасу-то дела?

— Та вона, лагунок за кулями-то.

— Пошто в суму не сунула? Аль в руках до Охотску попрешь? Чтоб те пусто было.

— Ва-а-а, пусти! Ва-а-а, не буду!

— Я тя выучу уросить-то! — настегивала жидким прутом белобрысого неслуха осердившаяся мать.

Михайло, облокотившись на телегу, еще раз перечитывал «реестр разрешенного к перевозу за казенный счет груза… на каждого переселенца… по три пуда сухарей, по полпуда круп, по полпуда толокна и масла, по три пуда овсяной муки… пряжа и пенька на сети да неводы, холст тонкий — крашенина, топоры, скобели, долота, котлы, железо лемешное…». Потом свернул реестр и, сунув в карман, направился к рыжебородому кряжистому крестьянину Савелию Рыкову, который согнулся, зашнуровывая переметную суму. Тот из-под кустистых бровей окинул подошедшего усталым, но цепким взглядом и распрямил спину.

Гвоздев спросил:

— Тебя средь пахотных на место передовщика избрали?

— Да.

— Позри еще сам, дабы муку и зерно в кожаные пудовики упаковали, не то в простых сумах замокнет.

Тот поправил огнистые волосы, спадающие с головы на две стороны, и ответил:

— На это у мужика мозги-то хватит.

— Смотри. Там-то места бесхлебные… А мне к воеводе время.

С непокрытой жидковолосой головой худощавый майор Дмитрий Павлуцкий в легком, без рукавов камзоле с белым галстуком на шее сидел за столом, из-под которого виднелись его длинные ноги, до колен обтянутые красными офицерскими чулками, в серых тупоносых башмаках. На стене висел зеленый мундир с медными пуговицами и красным подворотом, трехцветный шарф с кистями, шерстяная шляпа да шпага с витиеватой рукоятью.

Михайло Гвоздев собрался и, выпятив грудь, доложил по форме.

Павлуцкий улыбнулся его браваде:

— Пустое, геодезист. Как сборы?

— Мыслю, что поутру и выходить след.

— След, говоришь? Пожалуй, можно, тем паче содержание такой оравы тут, в Якутске, для казны денежно обходится, и провианта на них немало исходит. Коли подсчитать, что для заохочивания их к переселению по две лошади на семью да по корове дали, от податей всяких освободили, семена в счет казны на три года да охотский командир Девиер денежную прибавку на каждую душу положил, то траты казны на переселение велики.

— Но не зря. Иноверцы в Камчадалии ничего сеять не знают. А как хлебушек там разведется, при том звере да рыбе — рай, а не Камчадалия станет, — заметил Гвоздев.

— Ты уж, Михайло, того… дорога, сам ведаешь. Скот не загуби и за сошными людишками посматривай: мало ль какая блажь кому в голову взбредет. Путь тебе знаком, припасов да лошадей довольно. Так с богом! — И тут спохватился: — Тьфу ты, чуть не забыл: до Охотска под твой присмотр еще ссыльного посылаю. Бывший офицер, на вечное поселение в Камчатку. Девиеру его в Охотске сдашь. Забери бумагу к нему. — И он шагнул к столу за пакетом.

Звездилось ночное небо. Под тесовым навесом съезжего двора прямо на мешках и переметных сумах, укрывшись зипунами, полушубками, спали бородатые хозяева пожитков — крестьяне, а их жены и дети единой тесной семьей залепили весь пол заезжей избы Якутска. Вдоль забора съезжего двора, подобрав под себя ноги, темными глыбами бугрились коровы. Лошади же были в ночном выпасе. Но коротки летние ночи: не успеет конь насытиться, а казак выспаться — и вот уже от зорьки теплеет восток, прогоняя куцую ночь. У тлеющих углей костра неподалеку от ворот двора спали двое: Савелий Рыков и Лука Попов, которого чаще называли Дранкой за его лицо, увеченное шрамом от медвежьих когтей.

Савелий проснулся первым. Сел на охапку травы, зябко поежившись, зевнул и, ткнув соседа в бок, пробасил:

— Дранка, будя дрыхнуть-то. Иди будить мужиков, щас коней пригонят. Пока навьючим, время-то пройдет. — И принялся раздувать угли.

Лука нехотя поднялся и молча побрел к навесу. Гулкий стук копыт известил, что табун с ночного уже близок. Вскоре суета, хрипы и ржание лошадей, шум, говор вновь заполнили съезжий двор Якутска.

Перед отправкой в путь Савелий Рыков вышел на средину двора и зычно крикнул, заглушая шум:

— Браты! Пора! В новые места. Христос с нами! — И, глядя на восток, осенил себя крестом, потом на четыре стороны отбил низкие поклоны.

Крестьяне угомонились, шепча: «Господи всеблагий, помилуй и не покинь нас».

Проводник, низкорослый сухой якут, ехал впереди отряда на небольшой косматой лошаденке. Поджидая растянувшийся отряд, змейкой выползающий в степь из Якутска, проводник остановился у торчащих столбов, изрезанных затейливой резьбой. На столбах развевались ленты, лоскутки, пучки волос. Тут недавно якуты справляли свой праздник возрождения жизни — Ысыах, и праздничное убранство столбов не успело еще выцвести. Из узких щелок глаз проводник зорко окинул безлесую равнину, уходящую до далеких лесистых гор, степные курганы с рублеными ящиками якутских могил на них и подумал: «С таким обозом, однако, долго идти будем».

Вслед за вьючной лошадью, груженной пожитками малоразговорчивого угрюмого крестьянина Потапа Брагина, шел его пятнадцатилетний сын Гринька. Он вел прихваченную за рога корову и с завистью посматривал на своего сверстника, веснушчатого Ивашку Рыкова, который привязал длинный поводок своей коровы за вьюки впереди идущей лошади и теперь свободно бегал сбоку от обоза, вспугивая из травы серых куропаток. У Гриньки отец строгий и этого не дозволит.

«А Ивашке недолго так вольничать, как в лес-то войдем, поводок от коровы путаться станет, это не в степи», — утешил себя Гринька и стал вглядываться в старую якутскую крепость.

Покосившаяся башнями, без окон и дверей, она была угрюма, как здешняя неприветливая степь. Эта крепость стояла чуть поодаль от Якутского городка с новой взъерошенной частоколом стен твердыней.

Брагины и Рыковы — крестьяне из приленского селения Качуга. Гринька привык к тем местам, и все другие, которые он уже видел за этот неблизкий путь от Качуги до Якутска, ему не нравились. В Качуге сразу за плешинами полей, распаханных на лугах у Лены, начиналась глухая тайга, где они с рыжим Ивашкой ягодничали да зверовали все свободное время.

Рядом с Гринькиной коровой шла лошадь, вьюченная двумя плетеными корзинами, в которых сидели востроглазые сестренки-двойняшки по шести лет. Из-за большого разрыва в возрасте Гринька недолюбливал их за слезливость по пустякам, да и сколько времени он потерял впустую, приглядывая за ними, когда Ивашка свистом вызывал его по неотложным ребячьим делам. Сестренок везла пегая кобыла — савраска, принадлежащая их семье.

«Теперь-то мы побогатее: кроме спокойной савраски, еще две лошади от казны дали. А три коня — шутка ли», — размыслил Гринька и посмотрел на савраску, которую под уздцы вела Гринькина мать.

Рядом с ней шла моложавая тетка Акулина, жена Дранки, со своей взрослой, глазастой, как и мать, дочерью Виринеей. На плечах у них висели холщовые переметные сумы, а на поводке шла следом их пятнистая комолая корова. Позади, с двумя лошадьми, брел лысый тщедушный мужичок Лука

Попов-Дранка. Еще там, на съезжем дворе Якутска, Гринька не раз исподтишка пытался поближе рассмотреть шрамы на лице Луки. Тремя пунцовыми бороздками идут они от макушки до щеки, проходя через левую бровь и пустую глазницу, отчего Лука всегда будто ухмыляется, а единственный глаз его смотрит с хитринкой.

Михайло Гвоздев, шедший впереди отряда рядом с Савелием, свел свою лошадь с тропы и остановился, оглядывая проходящий мимо него обоз. Бородачи в подпоясанных рубахах до колен, в крашенных кожурой лука портах да в лаптях; вьючные лошади, бабы в низко, до бровей, повязанных платках и в сарафанах с душегрейками, унылые коровы, подростки, снующие между всеми, да мальцы, покачивающиеся в плетенках на вьючных конягах. Этот разношерстный отряд завершал табунок казенных лошадей, предназначенных для пахарей. Их не вьючили, чтобы хватило сил преодолеть весь путь, так как вьючных лошадей в дороге до Охотска предстояло менять. Вместе с вольными лошадьми гнали и двух бычков, купленных всем обществом на пропитание в дорогу. Мимо Гвоздева, покачиваясь, проплыли две глубокие притянутые к лошади корзины, из которых высовывались юркоглазые светловолосые девочки, похожие друг на друга. Следом невысокого роста девица вела корову. От взгляда Михаила она немного смутилась и, брызнув из-под белесых бровей синими холодками глаз, отвернула лицо с чуть вздернутым носом. Гвоздев пристально посмотрел ей вслед, обратив внимание на тугую косу с вплетенной лентой.

«Знать, незамужня: вон, воля-то не снята, вплетена еще в косу», — подумал он и перевел взгляд на кривого Луку, который бросил ему:

— Девку-то мне не сглазь. Невеста ить.

Гвоздев ничего не ответил. Мимо прошел молчаливый ссыльный, погруженный в свои раздумья. Он даже не обратил внимания на Гвоздева.

Пропустив стадо скота, которое гнали верховые казаки, Михайло дождался замыкающего:

— Ты вот что, Афоня. В тайгу вступим — будьте начеку. Лето, известное дело, беглые да гулящие лихие людишки по тайге шныряют. Кабы не встренулись. Чуть что, пали вверх, всполоши. Не дай бог, скот отобьют.



— На таку силу кто сунется. Коль чего, обожгем. Будь спок, — заверил казачий десятник.

После полудня переселенцы вошли в лес. Если в степи на ветерке комары не особо досаждали, то тут они тучами набросились на идущих. Лошади и коровы защелкали хвостами по своим бокам. Люди ветками яростно отмахивались от кровососов. Даже привыкший к комарью проводник, покачиваясь в седле, время от времени обхлестывал себя волосяной метелкой, напоминающей конский хвост с ручкой.

— Готь-готь, — изредка понукал он и без того проворную лошаденку.

Оторвавшись вперед от отряда, проводник соскочил с лошади и, убедившись, что никто не видит, начал выдергивать волосы из гривы и хвоста лошади. С небольшим пучком подошел к деревцу и принялся навязывать волосины на ветки для ублажения духов.

Еле приметная тропа поднималась все выше и выше, петляя меж березняков да редких лиственниц.

Савелий Рыков, идущий рядом с Гвоздевым, поглядывая на заросшую тропу, заметил:

— Замуравила прямоезжая дорога-то.

— Служилые все по речкам ныне норовят ходить, — отозвался Гвоздев.

— Налегке бродить… не то что нам… Сегоды хоть бы до кормовища какого дотянуть, ужо до ямского стана не дойти засветло-то.

День ото дня переселенцы углублялись в дремучую тайгу. Постоянные подъемы и спуски по тропе, увитой корневищами деревьев, назойливое комарье постепенно изнуряли людей и животных. От недоедания в пути лошади и коровы худели на глазах. Ночевки стали делать там, где росла хорошая трава, но и она попадалась все реже и реже. Приходилось ради кормовища скота идти до позднего вечера, тянуть до речки либо до озерка, окаймленного зеленью.

В конце седьмого дня подошли к ямской станции, поселению нескольких якутских семей. Неподалеку, верстах в четырех, на привольном пастбище якуты пасли сменных лошадей. На станции у небольшого ручейка поставлены четыре юрты и рубленая изба, в которой жил смотритель, служилый из Якутского полка.

Тут и меняют вьючных лошадей, запасаются в дорогу мясом: дальше таких удобных мест больше не будет. Чтобы набраться сил, решили сделать стоянку на два дня. Животных отогнали на пастбище, а на поляне перед юртами вскоре задымились костры. Гостеприимные якутки вынесли из юрт туеса с кумысом и угощали утомленных с дороги переселенцев. Бычков, которые в пути заметно похудели, крестьяне решили забить, а мясо обдымить и взять с собой. Вечером после сытного, по случаю забоя, ужина лагерь переселенцев быстро затих.

В день выхода в путь долго вьючили свежих лошадей из-за их неукротимости и одичания. И все же, когда солнце, прыснув лучами под кроны деревьев, высветило стройные стволы лиственниц, отряд двинулся в путь. Вновь армяки, сермяги, лапти, платки замелькали среди деревьев. Тайга становилась все глуше: стали появляться заросли ельников, чаще попадались речки, которые надо было переходить вброд. На третий день после смены лошадей переселенцы подошли к большой угрюмой реке Алдан.

Стоя на берегу, Савелий Рыков запустил пятерню в густую рыжину бороды, заметил:

— Пять десятков сажен будет.

— Да, тут не побредешь. Плоты рубить след. Благо хоть дождей нет: вода спокойна, не то совсем худо, — заключил Гвоздев и принялся развьючивать лошадей.

— Одним днем не управимся. Коровы, лошади да поклажа. Все ж сорок семей. Не один плот устроить след. И место переправы выбрать. Благо тут ельника довольно рядом, а он само гож к строению плотов, — рассудил Рыков.

Заструились дымом костры и дымокуры, застучали топоры. Неподалеку от коров, хрумкающих траву вдоль речки, Гринька с Ивашкой загнали на дерево бурундука и кидали в него сучьями, стараясь согнать вниз. Зверек таращил глаза, ловко перебирая цепкими лапками, прятался за ветки дерева. Вдруг он молниеносно скользнул вниз и бросился наутек. С гиканьем друзья устремились за ним вглубь тайги. Бурундук будто заманивал их: то заскочит на ветровалину и, топорща хвост, остановится, поджидая преследователей, то юркнет на невысокий ствол дерева, увлекая их за собой. Вдруг Гринька словно споткнулся, встал как вкопанный. Он схватил Ивашку

за руку и указал глазами. В просвете деревьев виднелась поляна, на которой медведь что-то усердно рыл.

«Муравейник зорит», — мелькнула мысль у Гриньки, и, таща за собой друга, не чуя под собой ног он бросился к стану.

— Ведме-е-едь! — всполошили они лагерь.

Похватав ружья и топоры, ватага служилых и крестьян двинулась по указке парней.

Увидев мирно пасущихся коров, мужики облегченно вздохнули, но Гринька настаивал:

— Тама, тама. Скоро до коров дойдет.

Крестьяне дальше идти не захотели и, решив для обережки скотины оставить двух служилых с ружьями, повернули было обратно, заткнув топоры за пояса. Но старший — Афоня — знаками стал показывать на заросли кустарника, неподалеку от которых спокойно щипала траву корова. Медведь явно увлекся охотой. Прижимаясь к земле, он крался к буренке. Служилые навели ружья.

— Чуть ниже холки бери, — шепнул Дранка под руку Афоне.

Испуганные выстрелами коровы, задрав хвосты, бросились к стану. С диким ревом медведь подскочил в неимоверном прыжке и замертво шлепнулся навзничь. Гринька и Ивашка чувствовали себя героями. Вечером среди переселенцев только и велся разговор об убитом медведе да о том, что, если бы не ребята, коровушек бы недосчитались. Ветерок разносил от костров запахи жареной медвежатины.

Дранка, увидя проходившего мимо Гвоздева, пригласил:

— Присел бы к нашему огоньку, хлеб-соль-то у нас еще водится. Да и обсказал о тех местах, куды нас ведешь. Велика Россия, а кажись, вся из тайги да буераков. Неужто еще и места для землепашества есть?

Михайло окинул взглядом лысоватого Луку, рядом с которым его пригожая дочь усердно толкла в ступе овес на толокно, и согласился:

— А что, мне, вольному-то, можно и сесть, коли невеста есть. — И покосился в сторону Виринеи.

— Не женат в зрелых-то годах — это безбожье, — бросил Лука, наливая в ковш чаю для гостя. Оглянулся на копошившуюся у узлов жену и в сердцах прикрикнул на дочь: — Вирька, ешьте-корень, а ну, подсоби матке патоку достать. — И снова

обратился к Михайлу, как бы оправдываясь: — Душу усластить удумал, а оне так упрятали в сумы, что не добраться.

Вскоре Акулина с дочерью поставили к костру миску с патокой и подсели вечоровать.

Акулина, с любопытством поглядывая на Михайло, поддержала разговор:

— После ведмежатины-то чай так и пьется. Второй чайник за вечор спивам.

Виринея вовсе не глядела в сторону гостя, робко макнула сухарем в патоку и маленькими глотками попивала чай.

Хозяин, просверлив Гвоздева единственным оком, спросил:

— А чего, ешьте-корень, и впрямь в Камчадалии инородцы разбойные обретаются?

— Сказки веры не достойны. Таки ж человеки там, токмо замордовали их люто, потому и случается, что руку подымают на обидчиков.

— А еще сказывают: туды ссылочных татей разных видимо-невидимо нагнали. И этот-то охвицер, что с нами бредет, с виду ниче, а всю дорогу слова не обронил. Знать, тож нелюдь какой?

— Чем же говорить ему, коль языка нет.

— Боже, бывать ли тако? — ужаснулась Акулина.

— Вырвали язык-то за воровские речи против государыни, — вполголоса поведал Гвоздев.

— О-ох, так и есть, тать, — перекрестясь, зашептала Акулина.

Виринея плотнее придвинулась к матери.

Михайло, стрельнув взглядом, спросил девицу:

— Знобко, поди?

— Ни… ноги одеревенели, — нашлась она.

Ночь заворожила окрест. Вокруг стана и лужайки, где находился скот, пылали костры, отпугивавшие зверей.

Когда Михайло покинул гостеприимных Поповых, Лука, зыркнув на дочь, проговорил:

— Ты, Вирька, поласковей с ним, волчонком-то не зырь, ешьте-корень. Все ж он начальный человек, непростой, коль всеми ведат.

— Чего мелешь? Робенок ишо, — встряла жена.

— Хм, робе-е-енок… Невеста! В ее годы-то родители меня ужо к тебе подвели.

— Так если б не оне, я бы с тобой…

— Но-но! Ешьте-корень, — посуровел сразу Дранка.

Ночью переселенцы несколько раз просыпались от выстрелов, которыми сторожа отпугивали медведей.

Утром долго редел туман. Переправу выбрали на длинном плесе реки между перекатами, и каждый понимал, что удача будет зависеть от гребцов: успеют ли они перегнать плот до того, как его снесет к бурлящим шиверам переката. Крестьяне и служилые уже загнали коров на плоты и ждали команды. Но сперва решили переправить лошадей. Казачий десятник Афоня разделся до исподников и, взяв под уздцы жеребца, сошел с берега. Все с интересом наблюдали, как они погрузились в холодную воду Алдана и стали постепенно удаляться от берега. Вслед за ними в воду погнали остальных лошадей. На утлой берестяной байдарочке проводник греб за лошадьми, подгоняя отстающих. Две молодые лошаденки, чуть сунувшись в речку, сразу же выскочили на берег и не хотели возвращаться к воде. Пока служилые гонялись за строптивыми животными, Лука Дранка, поглядывая на плоты, покачивающиеся под неспокойными коровами, подумал: «Ой, сумнительно и ненадежно, пуп на гребях порвешь, пока такой плотище переправишь. Надо было б на малые плоты напроситься, коими баб с ребятами да скарбом везти, все полегше». Боязливых коняг словили и решили переправить на малом плоту.

Привязав их мордами к середине плота, Савелий Рыков крикнул Дранке:

— Ты, Лукашка, да вон молодец из казачков этот плотик и сгоните. Тут двое справитесь.

— Кабы не забрыкались эти сволочуги на плаву-то, — засомневался Лука.

— Так спутали ж их, — отозвался Рыков и крикнул гребцам, стоявшим наизготове у длинных плотовых весел-гребей: — Отчаливай!

Плоты медленно отвалили от берега, плюхая по воде гребями. Первым шел плот со сгрудившимися на нем коровами.

Михайло Гвоздев навалился грудью на длинную рукоять гребби, надрывным голосом командовал в такт работе гребцов:

— Пуще, пуще, наддай!

Поскрипывали весла плотов, время от времени протяжное коровье мычание оглашало округу. Выждав, когда большие плоты отчалят, Дранка и коренастый крепыш пустились в путь. Крепыш подналег на весло. Он явно перегребал Луку, и плот стало разворачивать течением.

— Куды попер! Назад, назад гребани, развертат! — закричал Лука, налегая на гребь.

Казак заработал веслом назад, тщетно пытаясь развернуть плот. Течение все же развернуло его поперек и начало быстро сносить вниз. Видя, что их снесло намного ниже, чем предыдущие плоты, Дранка, растерявшись, перестал грести. «Вот ешьте-корень, надо бы супротив воды не грести, авось бы не развертало».

— Да греби ты, черт драный! Ить вмиг… — Он не успел договорить, как плот покачнулся и взбугрился одним боком.

«На карчу налетели», — хлестнула мысль Луку.

— Враз, враз загребам! — крикнул казак.

Отгоняя беспокойство, Лука надрывался, упираясь в весло. Плот вместе с карчой подался вперед и начал сноситься вниз.

«Еще, еще!» — взбадривал себя Дранка, но уже отчетливо слышался шум переката.

Чем ближе к нему, тем быстрее несло течение. Он взглянул на блестящие лбы камней, на пенящую меж них воду — похолодело внутри: «Все — гибель!» Зыркнув на берег, он не раздумывая сиганул в воду, с отчаянием заработал руками и ногами. Когда Дранка, запальчиво дыша, уцепился за береговой куст, оглянулся, плот входил на перекат. Крепыш упорно работал гребью, как кормилом.

«Чумной», — подумал Лука и увидел, как плот с разгона налетел на большой валун.

Закувыркались, переворачиваясь через камни, бревна, замелькали меж камней крупы лошадей. Лука искал глазами казака, но все беспорядочно мельтешило, уносясь вниз. Растерянный, Дранка выкарабкался на берег и, враз обессиленный, плюхнулся в траву, тупо смотря на уже чистый перекат.

Топот, треск сучьев раздавались за спиной Михайла Гвоздева, бегущего вдоль берега.

— Чего человека не спасаешь? — бросил он, добежав до Луки. — Бежим, авось за перекатом выберется.





— Коли об каменья не побило, — отозвался догонявший Гвоздева Афоня.

После безуспешных поисков все собрались на сход.

— Утоп, ой, бабоньки, уто-о-оп! — заголосила жена Рыкова — Ульяна.

— Сердешный, да как жо, ить таков молодо-о-ой, — запищала следом Акулина.

— Будя выть! — крикнул на них Савелий.

Бабы замолкли, шмыгая носами, и теснее столпились. Луку Дранку никто не ругал за то, что в последнюю минуту бросился в воду, спасая себе жизнь, но отчуждение он чувствовал. Общество решило: одну из погибших лошадей засчитать за Дранкой. Лука молча сидел в невысохших еще портах и прилипшей к телу рубахе, понуря голову. Его мокрая бороденка свисала, словно клок пакли, прилипшей к лицу.

Только после полудня вереница переселенцев снова двинулась в путь. Тропа петляла уже вдоль берега таежной реки Маи. Могучие разлапистые ели теснили стройный лиственничник, чаще стали встречаться заросли смородины, можжевельника и поляны кислого ревеня. Гринька и Ивашка вели своих коров рядом.

Проходя мимо темной елки, с которой свисали сухие мочалки мертвых ветвей, обросших светловатыми лишайниками, Ивашка заметил:

— Гля, таежный берендей космы поразвесил.

— Угу, — отозвался Гринька, отмахиваясь от наседающих комаров, и буркнул: — Гнусье заедат.

— Потому как парко в этой черной тайге, вот и лютуют, — обмахиваясь веткой, рассудил Ивашка.

Два дня переселенцы продирались сквозь глухую тайгу. На третий день пути стали появляться редины леса, кочкарники и топкие места. С кормежкой скота становилось все труднее. Останавливались там, где встречалась ложбина с молодой зеленью, сочно окаймляющей родничок либо ручей. Несколько раз приходилось поворачивать обратно и обходить болотистые моховища.

Вот и сейчас проводник, тыча посохом в болотину, осторожно переступил с кочки на кочку и, покачав под ногами почву, определил:

— Зыбун. Ходить кругом надо.

Гвоздев, оглядев обширную болотину, подумал: «Дотемна не обойдем» — и оглянулся на усталые лица крестьян и понурый скот. Но позвал Савелия и указал на лесистый мысок, вдающийся в болото: — Легче гать положить с того вон мыска, нежели округ тащиться. Да и передых всем нужон.

— Верно, там два десятка саженей, не боле. Жердями да ветками забросам, — поддержал Рыков.

Остаток дня переселенцы провели в работе. Отовсюду стаскивали срубленные лесины, жерди, ветки и лапник. Несколько человек ветками переплетали жерди, готовя гати. Перебираться начали с утра. Поначалу перевели коров и более спокойных лошадей. Гринька тянул за поводок боязливо ступающую корову. Под ногами болото дышало: из-под гати сопело, чавкало, пускало пузыри.

Савелий, поглядывая, как под животными прогибается вместе с гатью почва, заметил:

— Ишь как зыбит моховище-то.

— Вот пропасть: поверх травка-обманка, а шагнешь — топь. Как этих уросливых коняг потащим-то? — вставил казачий десятник, кивая на молодых лошадей.

— Заставим — пойдут, — ответил Гвоздев и, взяв под уздцы молодого жеребца, решительно направился к гати.

Почуяв зыбь, конь заупрямился. Раздувая ноздри, втягивал воздух и, низко склоняя голову, обнюхивал почву у ног.

Михайло крикнул через плечо:

— Савелий, стегни сзади. Осмелеет, небось.

Савелий хлестанул коня и, чуть приотстав, направился следом, подбадривая криками:

— Пошел, пошел, ретивый! На руках носить ня будем!

Жеребец испуганно косил глаза, топорщил уши, вздрагивая на каждое чавканье и хлюпанье трясины. Уже перед берегом вдруг остановился, увидев под ногами Гвоздева большой вздувшийся пузырь.

— Ну, смелей, — потянул за уздечку Михайло.

Но конь уперся и, когда Рыков вновь огрел его плетью, взбрыкнул и задними ногами угодил в топь. Бешено выкатив глаза, он с отчаянным ржанием забился в трясине, все больше погружаясь в темное жидкое месиво, которое расплывалось

вокруг него. Подбежав на помощь Гвоздеву, Савелий ухватился ручищами за уздечку и уперся в гать, постепенно погружающуюся в болото.

Сообразительные казаки быстро подвели к гати вьючную лошадь. Привязав веревку, другой конец ее подали Гвоздеву.

— Мужики! Жерди, жерди рубитя, живо, да под грудь коняге! — кликал Савелий Рыков, пока Михайло связывал веревку с уздечкой.

«Быстро засасывает», — мелькнула мысль у Гвоздева, и он крикнул:

— Тяни! — И, выскочив на берег, стал подавать Савелию жерди, сучья, ветки — все, что спешно подтаскивали переселенцы.

Конь, взбивая передними ногами черное вонючее месиво топи, подминал все, что подсовывал Рыков, и заметно продвигался к спасительному берегу. Почувствовав опору, конь буквально вывалился из вязкого болота — и рухнул. Измученный, он лежал на траве, дрожа всем телом, и, еле поднимая голову, удивленно косился, не узнавая себя, покрытого толстым слоем грязи. А люди уже вновь подмащивали гать для переправы остальных строптивцев.

Ежедневно, выбиваясь из сил, переселенцы карабкались на подъемы, прорубали в молодняках леса заросшую тропу, тащили за собой исхудавший скот. Все ближе и ближе надвигались отроги гор и ранее казавшиеся недосягаемыми вершины гольцов Джугджура.

Реку Маю уже не узнать. Тут она бежит в ущелье, на излучинах подтачивая каменистые стены берегов. Шаг за шагом тайга отходила и уступала место криволесью березняков да ольхачей. Реже стали слышны нежный посвист рябчиков и нахальное крэканье соек, сопровождающие шумливый многоголосый отряд переселенцев.

В один из дней после полудня чернота туч, вывалив из-за гор, закрыла небо — и вмиг разразилась гроза. В небесной хмури сверкали молнии, раскатисто громыхал гром. Кучно сбившись в лесочке, люди ютились под деревцами, прикрывая собою детей. Животные тоже жались друг к другу, покорно пережидая ливень.

— Каков косохлест, не на шутку взялся, — заметил Савелий.

— Не враз-то и пройдет, — вставил Лука Дранка.

— Так громыхат — знать, скоро, — возразил из-под полога Брагин.

Гроза так же внезапно закончилась, как и началась. Пришлось разводить костры для просушки одежд. Чуть обсохнув, Гринька с Ивашкой незаметно шмыганули к обрыву взглянуть на гудящую внизу средь хоровода скал речку. От дождя Мая вздулась и бешено неслась, расшибаясь о камни. Мальчуганы с удивлением рассматривали мраморные скалы. Голубая, розовая, черная, неподалеку друг от друга они торчали из бушующего чрева реки.

— Ух ты! Кто ж их красил-то? — изумился Ивашка Рыков.

Подошедший к ним проводник, вынув трубку изо рта, зачастил:

— Худо там, иди-иди от Мая. Сатана там, совсем худо.

Он отгонял их от обрыва. Они нехотя покидали берег, следом молча шел якут, заложив руки за спину, пыхтел вонючей трубкой.

Весь остаток дня Ивашку донимало любопытство.

Перед ночлегом он, улучив момент, подсел к костерку проводника:

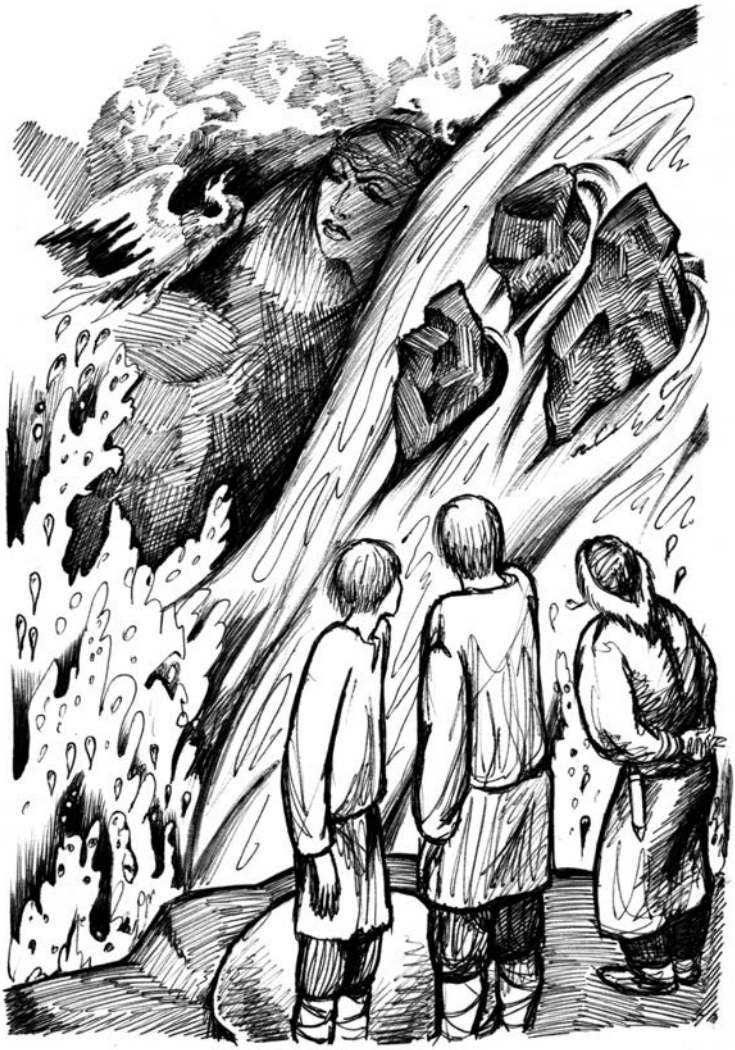
— Дядь, а пошто камни крашены?

Тот удивленно взглянул на юнца и опять уставился на огонь.

— Скажи, а, — умолял он якута.

Проводник набил табаком трубку, раскурил ее и хрипловато заговорил, глядя поверх огня:

— Давно это было… В Кангаласских землях Якутии жили три брата-боотура. Старший — Тэтэйбит, средний — Хончой, а младший — Тыгын. Однако, не было сильнее их и ловчей. В одном улусе у рыбака была дочь-красавица — Мая. Слышали о ней братья, а увидели — совсем полюбили. Всем хороши боотуры, а Мая ни одному из них согласья не дает: не хочет обидеть других братьев. Так вот, паря… Прознал про это злой дух — Сатана и шипко захотел взять красавицу Маю. Да не пойдет она за такого страшного. И замыслил Сатана зло. Подослал он красавице кровожадную Илбисову деву. Прилетела она к дочери рыбака, оборотилась доброй и говорит: «В начале лета самый богатый властелин якутов Дойдуус-дархан на холме у озера Сахсары соберет всех боотуров на праздник Ысыах,



где будут они меряться силой да ловкостью. Победителю царь подарит волшебную птицу счастья — Сар. Кто из братьев получит ту птицу, за того ты и выходи замуж».

Послушала ее Мая, так и сказала братьям-женихам. Сатана только того и ждал. Ночью, когда боотуры шипко спали перед дальней дорогой, он вселился в душу младшего, Тыгына. Настал день, когда со стойбищ и улусов Якутии съехались боотуры на праздник Ысыах. Семь дней угощал Дойдуус-дархан, а потом вывел всех меряться силой-ловкостью. Сам умостился на высокий, рубленный из березок трон и повелел начинать.

Первый день шипко боролись. Всех победил ловкий младший брат-боотур Тыгын и, однако, за это получил стадо волов. Второй день были гонки верхом на оленях и скачки на лошадях. Первым стал средний брат, самый быстрый боотур Хончой. Одарил его царь табуном лошадей. Третий день была стрельба из лука. Старший брат-боотур Тэтэйбит попадал во все мишени, да так, что его стрелы наполовину входили в деревья. Довольный властелин признал его победителем и, на зависть всем, отдал ему птицу счастья — Сар.

Поскакали братья домой. Что-то худо стало в душе Тыгына. Выхватил он стрелу, пустил в спину старшего брата. Не успел тот упасть, как другой стрелой он пронзил и среднего брата. Схватив птицу Сар, помчался он к красавице, мечтая о счастье. В душе его совсем был рад Сатана. Он верил, что теперь-то Мая будет его.

«А где братья? Неужто они не рады за тебя?» — прямо в сердце ранила Тыгына дочь рыбака.

Перед любимой дрогнуло сердце боотура. Стыд и горечь одолели его, он и сознался во всем. Нахмурила брови гордая Мая и прогнала его с глаз долой.

В душе Тыгына шипко взбесился Сатана на его честное сердце и вылетел из боотура с криком: «Коли не мне, то никому!» — и превратил красавицу Маю в речку, а братьев-боотуров в камни.

Так и стоят они у реки в ущелье: старший — розовым камнем, средний — голубым, а младший — почернел. С тех пор Сатана со злым ревом все мечется по ущелью, проклиная людей. Кого ни встретит на реке Мае, всех погубит.

— А пошто младший стал черным? — робко вставил Ивашка.

Проводник сделал глубокую затяжку из трубки и, выпуская дым, заговорил:

— Смекай, паря… Найдут люди осколок розового камня, и дарит он им тепло. Голубого — красоту, а черный — печаль.

— Да, все ж не обхитрил дьявол Маю, — задумчиво размыслил Ивашка.

Якут покосился на него и заметил:

— Шипко молод ты… Коль в человеке любовь, доброе сердце и совесть есть, никакому бесу его не одолеть… Однако, спать иди, паря.

***

Тропа уходила все выше и выше. Из зелени леса торчали то горы с крутыми осыпями, то, словно из плит сложенные, скалы. Живой цепочкой тянулись вьючные лошади, коровы, люди. Бабий говор, крик детей постоянно заглушались ревом голодной скотины. Комолая корова Поповых еле тащилась позади всех.

Виринея тянула веревку, привязанную за шею коровы, а Акулина сбоку поглаживала безрогую по впалым бокам, приговаривая:

— Кормилка наша, иди-иди, Звездочка. Ведаю: тяжко те по каменьям да по крутягам-то брести. — И, посмотрев на кровоточащие сбитые копыта, с жалостью подумала: «От ран кровавых изойдет скотина. Не дай господи!»

Подъемы и спуски сменялись долинами, сплошь забитыми валунами. Лишь кое-где средь этого хаоса голых глыб ютились островки с чахлыми кустами берез. Все чаще стали попадаться скелеты павших лошадей. Холодные ночи в горах были спасением для путников и скота от мучителей-комаров.

На ночевке у большого костра, над которым с жердевой треноги свисали котлы, собрались мужики. Их лица были серьезны и озабоченны.

Безбородый приземистый усач Потап Брагин заговорил:

— Перву ночевку скотина без кормовища осталась. Совсем тут травы нет, лишь брусница кое-где стелется. А дале одне каменья.

— Да, таков тяни-гуж до самого перевала, — поддакнул Гвоздев.

— Чей-то спина охолодела, — поежился Лука Дранка и недовольно продолжил: — Две седмицы, словно мытари таежные, бредем на свою погибель. Видали: тропа костьми усеяна?

— Ништо, мало-помалу продеремся, — буркнул Савелий Рыков.

— Куды продерешься-то?! Чего там, хлебно? Неголодно?! Спроси его, — вспылил Дранка, кивая на Гвоздева.

Все повернулись к Гвоздеву, и тот спокойным тоном ответил:

— Совсем бесхлебица… Для того-то и пахари в тех краях нужны. Столь уж перетерпели в пути ради того ли, чтоб ныне горлопанить тут да дорогу костьми скота умножить? Я вот что скажу, коли в два дня не одолеем перевал, останемся без скота. Глаза навыкат, душу наизнанку, а перевалить Джугджур за это время!

Солнце высунулось из-за каменных нагромождений вершин Джугджурского хребта и осветило дикую картину царства гольцов, лысых гор, поблескивающих сухим, цвета высохшей кости кедровым стлаником. Восстановив силы за прохладную ночь, вереница переселенцев продвигалась к перевалу. Лука Дранка перед выходом в путь-дорогу обмотал израненные коровьи ноги тряпьем и кожами и теперь сам вел ее, передав дочери поводок вьючной лошади.

Солнце катило к полудню. Томила жажда. Русла истоков, встречающихся на пути, оказывались сухими. Животные еле передвигали ноги. Дранка далеко отстал, тащась с комолой.

Он и сам выбился из сил, в сердцах ругаясь на свою Звездочку:

— Упрямая, под нож пущу, ешьте-корень!

В небольшой ложбинке под сплетением корней кедрового стланика проводник обнаружил родничок.

Первыми к роднику с криками: «Живец, живец сыскался!» — бросились ребятишки.

Они с жадностью припали к тусклому глазку источника.

Вдруг крик отчаяния с конца вереницы:

— Помогите! Забьет, забьет насмерть! Остановите его! Господи-и-и!

Михайло Гвоздев и Савелий Рыков, оставив лошадей, поспешили вниз. Разъяренный Дранка что есть мочи хлестал

упавшую корову, которая делала слабые попытки подняться. Вокруг них, боясь подступиться, металась Акулина, громко призывая на помощь.

Савелий подбежал и ухватил Луку за руку:

— С ума спятил!

Дранка с побагровевшими лицом и лысиной злобно ощерился, выдергивая руку и неистово крича:

— Отлепись! Кажной мне не указ! На гибель, на измор сюды притащили! Пусто округ, а впереди — тьма да бесхлебье! Леший бы вас драл!

— Скотина-то тут при чем? К чему так яроститься? — вмешался Гвоздев.

Лука сплюнул и отошел от коровы, сматывая кнут.

Акулина припала к ней, обняла ее натруженными руками и запричитала:

— Ой, постигла нас беда-невзгода! И пошто за льдистые моря итить за смертушкой? Что ж с тобой делать-то, голубушка-а-а? Господи Иисусе, Сын Божий, помилуй, отведи пагубы от на-а-ас…

— Не реви, баба, слезьми беды не избыть, — бросил ей Савелий и приоткрыл влажное веко коровьего глаза, потом недовольно взглянул в сторону угрюмого Дранки: — Чуть не забил. Брыклив ты, паря. С виду-то телок телком, а вон как оскалился-то. — И обратился к Гвоздеву: — Чего делать-то? Слаба его комолая, пойдет ли? Да и все коняги худы, а коровы ишь ревут почем зря от глада.

— Эх, Савелий, как в Камчадалии эти коровенки да пашни нужны, — вздохнул Михайло и добавил: — Вели привал у живца сделать да коровам болтанки из муки навесть, а лошадям овсу из хлебного запаса выдать. Сами-то на рыбе да звере прожить сможем, а без скота крестьянить нельзя.

Акулина, услышав Гвоздева, оживилась. Она приподняла лицо со впалыми глазами, в которых засветилась надежда.

Гладя по бугристой шее корову, приговаривала:

— Сичас, сичас, Звездочка, напою тебя, потерпи.

Уже смеркалось, когда изнемогающие от усталости переселенцы поднялись на перевал к местечку Юдомский крест. Тут они увидели две тунгусские юрты, одну казарму, в которой обитали четверо служилых из команды Беринга, охраняя амбары,

рубленные под поклажу и провиант для партии командора. Грузы для них время от времени доставляли сюда из Якутска, а отсюда эту поклажу специальная команда переправляла в Охотск.

Добравшись до людного места, переселенцы взбодрились. За долгую дорогу мало-помалу все выговорились, и в последние дни редко кто заговаривал без нужды; теперь же разговорились, подбадривая друг друга.

— Ништо, теперя дорога вниз пойдет, как на колымаге скатимся, так что не хмурься, Лукашка, — бросил Дранке Савелий, снимая с лошади сумы с зерном.

— Скоро и лукоморье, а там-то не пеше, на кочах враз чрез Ламский ход вас перебросят до Камчадалии-то, — вставил казачий десятник Афоня.

Лука, не оборачиваясь к ним и развязывая суму, пробурчал:

— А… Слыхано ли дело: людей со скотиной отселять чрез таки дебри да моря. Кто ж то удумал? Будь он трижды клят!

— Подь ты к черту, недовольщик! — отмахнулся Савелий и пошел мимо Акулины, намешивающей болтанку для своей коровенки.

У костра Гринька, чуть задрав штанину, прикладывал жеваный дикий лук к ссадине на ноге и, морщась, терпел. Отец ушел куда-то в темень на поиски дровишек, а мать под пологом укладывала сестер, недовольно бурча на них.

Она высунулась и крикнула:

— Гринька, окаянец, иди к сестреницам, не то боятся одне. Я хоть кулеш сготовлю.

— Сичас, — отозвался он и, повесив лапти на рогатульку у костра, направился к пологу, поглядывая, как в черноте неба перемигиваются ясные звезды.

Утром, чуть свет, Емельян и Савелий поднимали переселенцев. Они спешили: надо было спуститься побыстрее с перевала до пастбищ, чтобы дать пищу и отдых смертельно измученным животным. Теперь проводником шел тунгус с редкой седой бороденкой. На поводке он вел оленя со спиленными рогами. Тропа спускалась вниз. Постепенно туман рассеялся, и прояснилось крутопадающее днище горной долины да внизу зеленеющее море тайги. Из-за тонких мглистых

облаков, окаймляющих горизонт, блеснуло солнце, окрасив и оживив все вокруг. Оглядывая сверху безбрежный простор, Савелий Рыков вздохнул полной грудью, и душа его наполнилась неведомой для него силой, зовущей вперед.

Он даже на миг приостановился и, полыхая на солнце рыжей бородой, вымолвил:

— Просто-о-орна Россия…

После полудня воздух начал наполняться запахами трав и близкого смолистого леса. Когда переселенцы спустились на зеленую лужайку и развьючили лошадей, двое служилых и Михайло Гвоздев отправились на охоту. Перевалив взлобок, они очутились в ложбинке, где звенел ручеек.

Оглядывая траву, Афоня заметил:

— Гля, свежие поеди трав. Недавно были тут.

Осторожно поднялись на вершину следующего холма и увидели седого рогатого оленя, а чуть ниже — пепельных, с белыми пятнами на шеях оленух, меж которых взбрыкивали оленята.

— Ближе не суйся: саджой чуток, враз снимется, — зашептал Афоня.

Раскатом громыхнули выстрелы, стадо растеклось по редколесью, оставив на склоне седого рогача.

Когда охотники появились с добычей, довольный Савелий сказал:

— Тут не токмо скотина, но и мы отъесться сможем.

— А что, олешки тут водятся, можно дня два-три пострелять. Еще дней десять топать до Охоцку. Силы будут нелишни, — согласился Гвоздев.

Обилие травы, зверя и дичи в горных хребтах на пути к Охотску приободрило людей. С вершин холмов уже различимо было Ламское море, на берегу которого столь близкая, ощутимая цель, отобравшая многие силы. Перед выходом переселенцев на приморские тундры им встретился отряд вооруженных казаков, которые сопровождали караван вьючных лошадей с ясашной казной. Гвоздев, оглядев служилых и не признав никого, подумал: «Пошел ясак, ишь сколь мехов да рыбья зуба прут».

Чем ближе к морю, тем скуднее становилась растительность. Лишь жухлая трава и низкие кустарники под сырым морским ветром. Оглядывая прибрежную скудную траву да невзрачный вид темных приморских скал и блеклого неба,

запасмурнели лица крестьян. Гринька с Ивашкой, впервые увидевшие море, не сводили с него глаз. Они только и мечтали: быстрей бы выбраться до столь заманчивого чуда — «окиян-моря», где ходят «агромадные» киты и несть числа всякой рыбе. Они не понимали заметно опечалившихся родителей.

«И чего они так? Ведь здорово-то как! И дух-то морской свежий, бодрый», — думал Гринька, глядя, как морская зыбь ходит на прибрежных мелях.

Он ткнул в бок Ивашку и кивнул:

— Гля, взводень-то каков. Балует море. Туда бы на карбасе да покачаться.

— Ага, враз утонешь.

— А позри, птицы-то там… какова прорва, — указал Гринька, всматриваясь, как над прибойкой с истошным криком кружат, мечутся, ломая на ветру крылья, чайки. Конечно, на Лене такого множества чаек видеть ему не приходилось, и, скорчив гримасу, он заключил: — В таку гущу пальнуть бы… да-а.

Переселенцы уныло вошли в Охотск. Мимо приземистых, исхлестанных ветрами бараков-казарм да изб обывателей, под взорами зевак прошли в ворота деревянной крепости с почерневшими стенами, за которыми спряталась канцелярия Охотского острога да государев двор.

Дранка, надвинув шапку на глаз и почесав затылок, изрек:

— Тута токмо невольно сошлым с родных мест и обретаться.

— Да, не глянется мне эта сурова землица, — поддержал его Потап Брагин.

Довольный, что в своих суждениях он не одинок, Лука Дранка заговорил с Потапом:

— Камчатка-то к сиверу отсель аль нет? А то не зря бают, что сиверные земли пусты и бесчеловечны. Ради мразов и тяжких воздухов никто там обитать-то и жительствовать не сможет. Ужо не в таки ли места нас спровадили?

Вскоре, развьючив лошадей, переселенцы табором заселили двор, наполнив его шумом многолюдья. Михайло Гвоздев, Савелий Рыков и сосланный офицер направились к охотскому командиру Девиеру. На кострах, разведенных во дворе, не успела еще дойти каша, как к переселенцам вернулся их

выбранный староста Савелий. Его невеселый вид сразу же притянул к себе окружающих.

Рыков обвел взглядом крестьян и выдохнул:

— Невесело, браты. До места ныне не попасть нам. Велено тут обустроиться.

— Как?!

— Зимовать тут?!

— Человек здесь не сдюжит зимой на голом месте, не то что скотина. Это же гибель!

Рыков, перебивая выкрики, заговорил вновь:

— Речами дел не делают, а дело наше державное. Командир Девиер отдает нам одну казарму и еще на одну дает лес. Сами сработать должны. Казармы эти обустроим перегородками в расчете на один дым по две-три семьи. Всем по отдельно не хватит. А за оную работу будет нам выдано из казны либо плакатными деньгами, либо табаком. Другого в казне тут нету.

Видя какой-то выход из создавшегося положения, крестьяне чуть оживились:

— Лучше табаком брать: его хоть в мену пустить можно, а плакаты тут не употребишь.

— В такой мокре у моря-то без крепкого мядку да без баньки не выжить. Баньку бы поставить след.

— Коль лес имеется, то поставим. Сами-то в казармах зимушку перегорюем. Все тут в таких казармах да землянках обретаются, лишь лучшие люди в избах добрых, — продолжал Савелий. — Одно худо, браты: помощи в заботе о скотине нам не будет. Сами должны конюшню и коровник устроить и лес для того заготовить, а поблиску от острога дров и то нет. Також корм для скотины и для себя — на наши плечи тож. Надо подобрать охочих людей до рыбной ловли и готовить ее на зиму. Я сведал: на тутошнюю рыбу сельдятку само гожа сетка в три перста. Коли не лениться, то для себя еды припасти еще сможем. В краях этих ушкан, медведь, олень и прочий едемный зверь водится. Можно насторожить луки, наставить петли да пасти, а то и фузейным боем когда воспользоваться. Для скота же добыть прокорм тяжко придется. Наиприлежайшее старание надо. Прямо завтра, где можно, и начинать косить. Думайте, браты, кто чем заниматься будет. До концу дня к той работе и изготовиться след: время на отдых нету.

ГЛАВА 2

В долине реки Камчатки стоял теплый июнь. Лоснилась на солнце сочная зелень. Заросли черемух густо облепились запашистым снегом цветов. Прибрежные камчадальские селища отражались в воде островерхими пирамидками балаганов-летников. Струйки дыма от костров тянули в небо. Пришла пора, и семьи перебрались поближе к местам рыбалки — летовать. В такие дни всегда в острожках суетно. Мужчины чинили сети, вязанные из крапивы, смолили и замачивали потрескавшиеся долбленки — баты. Для женщин начинался сезон заготовок. Они беспрестанно сновали с вязанками съедобных трав, раскладывали их на продуваемых местах для сушки либо пучками подвешивали под крышей высоких балаганов. Всюду царило оживление. В округе летников воздух был напоен запахами свежей ухи, костровым дымком да ядреным духом черемши.

В один из таких дней к острожку Пеучеву на нескольких батах причалил отряд. Новый камчатский приказчик — боярский сын Колесов с попом Ермолаем, под охраной небольшого отряда, высадились на берег. Их тут же окружили любопытные, помогая выдергивать баты на берег. Камчадалы разглядывали важного попа, пышно разодетого приказчика да настороженно косились на тускло поблескивающие на солнце фузеи служилых. В ожидании подарков они добродушно улыбались, суетились, стараясь угодить пришлым. Но подарков не последовало. Толмач Лазуков уже дважды посылал камчадалов за тойоном острожка Камаком, но тот все не шел.

Колесов ворчнул, обращаясь к попу:

— Разбаловали нехристей. Перестают чтить. — И махнул рукой казачьему пятидесятнику Никифору Колыгову.

Тот с двумя служилыми, отстраняя с пути любопытных, повели приказчика и попа к жилищу Камака. Толмач Лазуков шел следом.

Лазуков — уроженец верховий реки Еловки. Отец его — коряк из рода тойона Уммевы, мать — ительменка из рода Голгочей, камчадалка, как прозывали ительменов русские. Еще когда Василий Мерлин бывал в верховьях реки Еловки по делам сыска о великом камчадальском бунте, то в небольшом камчадальском острожке приметил бойкого паренька, который

кроме ительменского и корякского говора понимал чукотский. Так и попал в толмачи этот полукровка-камчуг по имени Тавач. Вскоре в Нижнекамчатском остроге его окрестили, дав имя Алексей Лазуков. Способный парень быстро обучился русскому говору, да так, что теперь свободно толмачил при новом камчатском приказчике Колесове.

Отряд в сопровождении шумной ватаги камчадалов двигался в сторону жилища тойона. Около углубленной в землю юрты в летних длиннополых одеждах — хоньбах, подвернув калачом ноги, обутые в торбаса из крашеной замши, сидели две жены Камака. Из глины, замешанной с хвостами соболей, они лепили посуду. В одной из них камчадал Лазуков признал сестру, которую Камак привез себе с верховий Еловки. Лазуков сразу же вспомнил мать, которую не видел два года. Живет ли при ней младший брат или бродит где с оленными людьми — коряками, оставив мать одну? Увидев среди идущих Тавача, сестра, сдерживая радость, улыбнулась ему и, смущаясь мужчин, опустила на лицо плетенку из трав — чирелу. Зато соседка Канучь, завидя в толпе казачьего десятника Степана Чуба, зарделась и, не прикрывая лица, улыбалась, ловя взгляды знакомца.

Камак, путавшийся в сетях, оставил занятие и, недовольный, вышел навстречу из-под навеса балагана.

Приказчик повернулся к Лазукову:

— Толкуй ему: пошто не встрел?

Тойон, холодно оглядев вопрошающего приказчика, перевел взгляд на священника и ответил:

— Камак всегда встречал светлоголового тойона Мерлина, а к незнакомцу и к русскому шаману у него дела нет.

Когда толмач перевел, Колесова передернуло от задетого самолюбия, и он взревел:

— А я тебе кто?

В ответ Камак пожал плечами и рассудил вслух:

— Ясак выдал вовремя. Зачем в пору хода рыбы прибыл незнакомец? Долгов у нас нет.

— Как нет? Все подданные России должны быть крещены, — наседал приказчик.

— Откупились мы.

Стараясь направить разговор в нужное русло, поп Ермолай изрек:

— Отдарились вы от того начального человека — Мерлина, а ныне новый начальник Камчадалии велит крестить — и все тут. Вот он! — И священник с почтением указал на Колесова.

Вспыхнули глаза-угли Камака, раздулись в гневе ноздри, и, не сдерживая злобы, он зачастил:

— Всемогущий Билюкай и его дети — боги Коач, Митг, Балакидга и Завина — есть! Вот они! — И он обвел рукою окрест. — Пока они есть, не нужен нам шаман светлоголовых.

Толмач замялся на миг, кумекая, как бы сгладить резкий отказ сродника, но присутствие бывалых казаков, понимающих камчадальский толк, удержало его, и он столмачил как есть.

От ярости на непокорного тойона Колесов пришел в замешательство, и тут встрял Ермолай:

— Отдарись вновь.

— У Билюкая много рыбы и зверя — берите сами!

— Бунтуешь! Христу яро противишься! Нехристь зловредный! Повязать идола! — прорвало приказчика.

Служилые бросились на Камака.

— Стойте! — вышагнул Лазуков и обратился к Колесову: — Упрямство камчадалов ведомо всем. Схватить тойона проку мало. Я сам поговорю с ним. Выкуп за крещение будет.

— Дело сказывает толмач, дело. Отпусти нехристя, пусть потолкуют. Все же откуп лучше, чем его живот, — поддержал Лазукова священник.

Насупившись, Колесов нехотя проворчал:

— Ладно… пусть. Пождем еще.

Лазуков отвел в сторону Камака и заговорил:

— Мой тебе совет: прими крещение, чем каждый раз откупами сродников разорять.

— Тебе Камака не понять. По отцу ты — оленный коряк, по матери — ительмен, а по вере — русский. Всем ты сродник, камчуг. Так кто ты? С кем же разговор вести мне, потомку Кутха? Когда ты, Тавач, будешь думать так, как я или как сродник твой, тойон оленных людей — Уммева, тогда и будет тебе вера и почет при встрече.

— Ты обижаешь меня. Бывая при казаках, я знаю больше и вижу дальше — потому и даю совет. Не губи себя раньше времени. Будь осмотрительным, как осторожный охотник. Собери откуп либо прими крещение. Да знай: Уммева и тойон

Палан уже в сговоре. Они станут довольны, если Камак будет с ними.

Камак взглянул в глаза Тавачу и, наткнувшись на многозначительную откровенность его взора, сдаваясь, согласно мотнул головой.

Толмач подошел к Колесову:

— Будет откуп.

Тот, облегченно вздохнув, сухо проговорил:

— Да пусть поспешит собрать. — И, подумав: «Еще их острожков-то сколь объезжать. Хотя б к Ильину дню поспеть управиться», дал команду угрюмому с виду пятидесятнику разбивать стан.

Вняв совету Лазукова, тойон укротил свой норов и вечером прямо на берегу реки, неподалеку от лагеря служилых, угощал нежданных гостей, развлекая их камчадальскими танцами. Пылали костры, гулко бухал бубен, над берегом плыл мелодичный напев. Лазуков, отяжелев от трапезы и зная, что бубен теперь не смолкнет до утра, отправился спать в дальний шалаш.

Он умостился поудобнее и тут услышал шепот, донесшийся из тальника за шалашом:

— Жизнь моя тута горкнет, как юкола, засиженная мухами. Только и живу, ожидаючи тебя.

— И мне с тобой любо, Канучь.

— Ой, вся ожглась крапивой… Когда же заберешь меня, Степан?

Лазуков громко закашлял, обнаруживая свое соседство. Шепот прекратился.

«Канучь? Однако, это бездетная жена Камака? Угу…» — размыслил он.

***

Через несколько дней отряд казаков, сопровождающий Колесова, добрался до острожка Каменного. Первой шла лодка служилого своею охотою, посадского Артема Обухова, на которой среди мешков с пушниной умостился надменный приказчик Колесов. Он с любопытством оглядывал приближающийся берег с шалашами да балаганами на пригорке.

За веслами с Артемом сидел казачий десятник Степан Чуб. С тех пор как дружок Обухова Кузьма Щербак ушел мореходить, Артем сдружился с донцом-десятником и во всех походах был неизменно с ним…

Скрежет днища о гальку — и лодка приткнулась к берегу. Пока баты да лодки отряда причаливались рядом, Обухов с Чубом, выдернув свою повыше от воды, направились за тойоном. Но пожилой камчадал — управитель острожка уже спешил им навстречу.

Остановились и направились было назад, но Обухов вдруг тронул Степана за рукав.

— Гля, Щербакова женка… Истин хрест — она, — перекрестился Обухов.

Десятник вгляделся в сидящую у ближнего костра молодуху, заключив:

— Схожа, дык она сгинула ить. Тебе ли не знать о том. — И направился к берегу до Колесова.

Обухов шагнул за Чубом, но, оглянувшись, уже не смог преодолеть сомнение, цепко ухватившее его.

— Настасья, — окликнул он.

Не обратив внимания на зов, женщина продолжала смотреть в костер, будто обремененная тяжкою думой.

Обухов опустился на корточки около нее и заговорил:

— Чего не отзываешься, ить Настя ты? Щербакова. Аль не признаешь? Артем я, сынишка-то твой у меня в детях.

От его слов что-то неясное знакомое глухо отдалось в ее сознании, она растерянно подняла взор на докучавшего ей человека и с удивлением всмотрелась, будто силясь что-то разглядеть в его глазах. Потом, словно спохватившись, что так откровенно смотрит на мужчину, вдруг прикрыла лицо руками и отвернулась вновь к костру.

Сердце Артема так и ворохнулось.

«Она, женка Кузьмы, но пошто молчит? Ить душа-то ее так и тянется, глаза вон как о том явят. Надо о ней сведать», — решил Артем и заспешил к берегу.

После взятия откупа с каменских камчадалов служилые устраивались на ночлег, умащиваясь кто в лодке, кто под пологом у костра. Обухов упросил толмача Лазукова выведать, откуда тут появилась камчадалка, в коей ему несомненно мнилась Настасья.

Вечером у того же костерка, где днем Артем беседовал с ней, сидели моложавый камчадал и толмач Лазуков с Обуховым.

Толмач, слушая гортанный голос крепыша, пересказывал Артему:

— От Бобрового моря я вез нерпичий жир. Когда уже третий раз Коач вышел, засветил над головой, собаки мои вдруг понеслись в сторону. И тут я увидел, как черный большой пес зубами тянет какой-то мешок. Разглядел: не мешок это. Удержал свою свору, но тот, худющий, оскалился и не подпускал меня. Вижу: человека он пытался тащить. Думаю: помочь надо, авось жив еще, ведь мертвого пес тормошить не станет. Юколой кобеля приманил. Откинул капюшон с человека — она. Напугался сначала: откуда тут, невдалеке от бесовских мест у озера, ей взяться. Послушал — еле дышит. Думаю: может, духи в подарок мне женку прислали, чтобы не нарушал я в этих местах их покой. Тогда обрадовался, забрал их подарок — и домой. Долго отхаживал ее, но надсмеялись надо мной духи. Жизнь мне ее оставили, а душу себе забрали. Так и живет с нами как грешница. Прогнать нельзя: духов обидеть — беда.

Обухов выслушал сказ камчадала и проговорил:

— Знать, не погибла, сердешная. Однако, Щербаку надо весточку дать о женке-то, хотя зачем ему такая неприкаянная…

После ухода казаков жизнь в острожке вновь потекла своим чередом. Ребятня оглашала окрест визгом и криками, мужчины отводили душу на рыбалке, а женщинам в летний сезон и вовсе о работе задумываться не приходилось: она сама шла им в руки. Они разбредались по окраинам селения в поисках съедобных кореньев и трав да на заготовку крапивы. За острожком на полянке перед родниковым озером, которое извивным ручейком пополняет реку, женщины развешивали на вешалах пучки крапивы для подвяливания. Неподалеку от них на обрывистом берегу озера сгорбилась Настасья, уставясь в воду, наблюдала, как парами ходили горбоспинные рыбины. Они плавниками разметывали налет ила на донной гальке. Время от времени самки, елозя брюхом по дну, осыпали галечник красной зернистой икрой. Вдруг самец, кругами ходивший рядом, замер. Рывок — зубастой пастью ухватил поперек верткого тела гольца — любителя поживиться икрой.

Сомкнул челюсти и разжал. Круговерть воды, закрученная его мощным хвостом, повлекла уже обмякшее тело хищника, складывая его вдвое. С чувством исполненного долга самец подвернул к самке, потерся о нее — и белая муть молок стала оседать на икру. Теперь уже самка заходила кругами — дозором от вездесущих прожорливых гольцов.

Настасья глядела на хождение рыб, на легкую рябь воды от набегающего ветерка, и эта тишь бытия успокаивала томление сердца от непонятного влечения к чему-то неосознанному, что угнетало ее, делало раздражительной к окружающему миру; оттого она всячески пыталась сторониться людей, ища уединения. Настасья давно уже приметила, что, только глядя на воду или огонь, душа ее обретала покой, и тогда, будто из тугих объятий, отпускал измучивший ее вопрос: почему она не помнит своего детства? Как оказалась тут и где ее род? От всплеска воды она вздрогнула и оглянулась. Недалеко от нее малыш, отбежавший от матери, бросил в озеро камень, поглядел на расходящиеся круги и, ухватив камень побольше, плюхнул им вновь. Взвизгнув от удовольствия, он снова начал выворачивать камень. Настасья осуждающе посмотрела на него и хотела уже его пожурить, но лукавый взгляд мальца блеснул на нее так, что щемящая сердце теплота разлилась по ее телу, но, пройдя волной, тут же отхлынула. Карапуз, шмыгая носом, попытался подальше кинуть камень — и вместе с ним рухнул в воду.

— Мам-ка-а-а! — резануло по сердцу Настасью.

Крик тонущего малыша оглушал, пронизывал ее насквозь. Неведомая сила, заслоняя извечную боязнь камчадалов к воде, толкнула ее в озеро. Прыгнув с обрыва, она подхватила барахтающегося ребенка на руки и, стоя по грудь в студеной воде, прижимала трепещущее тельце мальчугана. Будто небо разверзлось над головой Настасьи. Непомерным грузом сполох памяти обрушился на нее. Теперь в ушах четко и ясно звенел до боли знакомый голос сына, доносимый вернувшимся к ней сознанием: «Ма-ма-а!.. Не умирай!..»

— Степашка! Сынок мой! Сы-но-о-ок, — причитала она, тиская в объятиях испуганного ребенка.

Давая выход взрыву прорвавшихся чувств, она боялась оторваться от трепетного тела малыша. На крик сбежались

женщины. Увидев грешницу в воде с ребенком на руках, они испуганно дивились: как так, в воде и не тонет? Но, увидев слезы Настасьи, недоумение и страх быстро сменили на ярость:

— Тьфу-тьфу, нечистая!

— Брось ребенка! Гаеч его к себе брал, зачем мешаешь к богу уйти?!

— Сама грешная — и ребенку хочешь несчастья?

Крики женщин вывели Настасью из потрясения. Она повернула к пологому месту берега и выбрела из воды. В прилипшей к телу хоньбе, с которой струилась вода, поставила спасенного перед отступившими от нее камчадалками и прояснившимися глазами рассматривала растерявшихся женщин.

Глядя на ожившую лицом «грешницу», камчадалки, испуганно прикрываясь руками, косились на нее, переговариваясь.

— Верно, что от злых духов она. Гаеч и тот к себе не берет.

— Вон как злой дух-то из нее зыркает, — смелели женщины.

— Гнать из селения надо: погубит всех.

— Уходи, сгинь, грешница! — замахали они руками.

Не обращая внимания на их угрозы, она быстро направилась к берегу реки Камчатки, все еще пришептывая: «Степашка, сыночек! Кузьма!» Глядя на окрестные горы, Настасья с ошеломляющей ясностью осознала и место, где она находится сейчас, и куда ей надо, чтобы утолить неукротимое желание увидеть сына и мужа. Она не задумываясь столкнула в воду первопопавший бат, смело и ловко заработала шестом, направляя долбленку в сторону Нижнекамчатского острога… До головокружения роились, всплывая и всплывая, воспоминания о детстве, о родном роде Талача, о Кузьме и сыне. И тут же темной тенью выползали воспоминания о тех тяжких днях, прожитых в горах пленницей Тырилки, отчаянный побег, гул обвала… и черногривый пес, откопавший ее из-под лавины.

***

В Охотске еще весной, когда начали ремонт шитика «Фортуна», матрос Кузьма Щербак сорвался с реи. Переломанного, его снесли в лазарет Охотского порта под присмотр лекаря из команды Мартына Шпанберга. Так как «Фортуна» состояла на содержании Охотской канцелярии, то Щербак, только чуть

поправясь, сразу отписал челобитную командиру Охотска и Камчатки Девиеру. Указывая на увечье ноги и ребер, он просил отпустить его до полной поправки здоровья в Камчатку. Прописал и о малолетнем сыне, который проживал там в людях. Быстрый ответ немало удивил и тронул Кузьму. Еще бы: отпустить на вольное поселение в Камчатку до полной гожести к службам и даже выплатить жалованье на полгода вперед со дня увечья.

«Нет, как ни говори, а командир Девиер к простым людям честен», — думал Кузьма.

К исходу лета дружки — «матрозы» с «Фортуны» поведали окрепшему уже Щербаку радостную весть: женка его, Настасья, объявилась, живехонька и ныне здорова. Ранее-то вроде как была не в себе и обреталась при острожке Каменном у инородцев, кои ее и спасли.

Этим же шитиком, который готовили к плаванию на Камчатку, Кузьма Щербак засобирался выбраться из Охотска. Новую справу себе купил Кузьма у одного верткого вольноотпущенника, который завсегда вился при провизоре команды Шпанберга и зачастую вместе с ним пребывал в разных «беззаконствах да потехах». Сказывали, что сей молодец в прежние годы монашеком был, но от церкви отлучен, и будто ведает он, как приворотные зелья творить да вещие сны приговорные писать. Все у него для продажи имелось: и кафтанов, и обуток разных. Конечно, можно было бы простой кафтан подешевле у него купить, но Кузьма, хоть и втридорога, а взял форменный матросский.

«Ведь не пентюх какой или там забулдыга да ветрогон, а поди-ка, бывший матроз. Повидал немало в жизни, да и куда иду-то? Вновь судьба засветила радостью, так деньгу ли тутака считать? Однова живем!» — рассуждал он.

В торговом «купецком» доме Щербак накупил подарков: сладких пряников, холстов рудо-желтых на рубахи ребятишкам; Настасье и Обуховой женке на сарафаны взял шелк, черевчат да зелен, волнистой линией расписан, Артему — ноские, конской кожи сапоги якутского пошива. Не забыл приобрести и несколько узколезвенных ножей якутских. Он знал, что за такой нож любой камчадал увезет его на бату от Большерецка до верховий реки Быстрой. А там пеший переход — и желанная река Камчатка, где

тоже за подарки добрые инородцы труда не жалеют и на ходких долбленках быстро сплавят до самого Нижнего острога.

Сентябрило, когда Щербак попал на Камчатку. Через трое суток он уже по перелескам шагал к реке Камчатке. Солнце сияло как никогда. Сухая камчатская осень уже успела поджарить листья на деревьях. Желто-серые, скукоженные, они так и хрустели под ногами.

«Надо спешить. Хотя бы землянуху успеть устроить, пока не подошел дождливый месяц — грязевик. Зря свою избу-то продал. А у Обухова зимовать — своих семеро по лавкам», — рассудил Щербак, петляя знакомой ему нахоженной тропой.

Он время от времени вскидывал плечами, поправляя котомку, и вновь впадал в размышления о том, как встретится и что скажет Настасье. Он проиграл в уме разные варианты своих слов при встрече и все отвергал. То слова и действия ему казались глупыми, то не выражали душевного тепла. Незаметно в сознание вползало сомнение: «Поди-ка, дурна собой стала? Ить шалая, считай, была, а таковы передряги никому не впрок, особо женской породе… Всяка душевная скорбь завсе убожит». От таких мыслей стало пропадать настроение, и он вдруг почувствовал, что ноги ноют и просят отдыха. Щербак свернул к речушке, что серебрилась вдоль тропы. Скинул с плеч котомку и принялся стягивать сапоги, чтобы освежить ноги в прохладе вод… Неподалеку от берега на почти безлистной с лишайным стволом осине сидел ворон и ржаво каркал. Это еще больше ухудшило настроение Кузьмы. Он схватил камень и запустил в птицу. Ворон чуть повел головой и, глядя на Щербака, вновь громко проскрипел.

Кузьма вдруг сорвался: он принялся швырять камнями в него, злобно крича:

— Чертова птица! Падальщик! Вещун беды! Убью!

Камни летели мимо. Ворон будто осуждающе покачал головой, хрипло каркнул на прощание и снялся с дерева. Щербак, смачно сплюнув, отшвырнул очередную каменюгу, которую еще не успел запустить в чернокрылого, босыми ногами вошел в воду. Стоя на осклизлых камушках, он заметил, как от берега к берегу шныряют проныры-гольцы и как осторожные темноспинные хариусы будто зависли над галечником переката. От холода заломило ноги. Он выбрел из воды, прилег у котомки и, вытянувшись, зашевелил онемевшими ступнями ног.

Вскоре его мысли опять вернулись к Настасье, и он упрекнул себя: «Эх ты, ворона подгуменная, чего-то еще морщишься да кобенишься. Ведь женка нашлась, а не утеха какая с гульбища вернулась. Сынок сколь времени лаской материнской обойден, опять же и сам, что пес бездомный». Перед глазами вновь явились лучистые глаза и смуглый румянец Настасьи. Затрепетало, заныло сердце Кузьмы, и он вновь заторопился. Поднялся и, не дав как следует проветриться онучам, начал обуваться, рассуждая: «Думал, что как окаменело тогда сердце, так камнем доселе и лежит, ан нет, видно, не огрубел еще сердцем я: ишь как внутри разгорается. Так и жжет, так и влечет к Настасьюшке. Оно и ясно: мне Степашка да она сама близки души на всем свете… Зря не купил у того монашека-пройдохи сон-заговор, от коего радость и любовь неминучая. Чую, что еще не прошло мое времечко счастливых целований. Спаси господь!»

Камчадалы — искусные батовщики. Ночью с той же проворностью, что и днем, гонят они по реке свои долбленки. Поэтому к исходу восьмого дня пути Щербак увидел Обухову заимку и указал хозяину бата. Пожилой камчадал кивнул головой и что-то скомандовал своему раскосому сыну, который, стоя в носовой части длинной долбленки, орудовал шестом. Сменив курс, бат понесся к берегу. Кузьма сошел на песок и помахал вслед отчалившим камчадалам, которые довольно улыбались ему красными от заходящего солнца лицами. Ножи Кузьма вручил им еще до отплытия, так как не за плату, а за подарки камчадалы от всего сердца исполняли любую работу. И подарок Кузьмы уже давно болтался у каждого на груди в ножнах из невыделанных сальных шкур. Ножи они повесили поверх кухлянок, чтоб все могли видеть бесценную в этих краях вещь, коей мог гордиться обладатель. По тропинке от реки Кузьма зашагал к заимке. Чем ближе подходил он к избе, тем больше сдерживал себя, чтоб не сорваться на бег. Артем Обухов увлеченно колол дрова, когда подошел Щербак.

— Ловок еще, ловок, — заговорил Кузьма.

Обухов выпрямился и отставил топор к поленнице.

— Кузя, знать, настигла весточка моя. С возвращением и радостью тебя, — распростер руки Артем.

— Да-да, спаси бог! — в объятиях товарища заговорил тот.

— Не шарь очами-то, в избе она. Тама, иди.

На ходу снимая котомку, Кузьма почти вбежал на крыльцо. Вошел в избу и, забыв перекреститься на угол с почерневшими от копоти иконами, сразу огляделся, ища ее глазами. Но женщин в прихожей не было, лишь ребятишки, повизгивая и громко шмыгая носами, возились у стены.

Щербак стал выискивать среди сопливой голопузой гвардии своего и, не определив, вышагнул на середину комнаты, поколебав тусклое пламя жировика, произнес:

— Степашка!

Мальцы прекратили возню и уставились удивленно на пришельца в диковинном кафтане и матросской шляпе. Тут из-за перегородки, отстраняя хозяйку, вынырнула Настасья и в нерешительности остановилась. Кузьмой овладела странная оторопь. Он почему-то сейчас вспомнил про неснятую шляпу и, сдернув ее, отмахнул со лба волосы. Он стоял перед ней, забыв все приготовленные слова, но глаза его были откровенней языка.

Улыбка сначала чуть тронула ее губы, потом, разомкнув их, обнажила белый ряд зубов, придав ликующему взору особую притягательность. Распахнутая радость сердец бросила их в объятия. Артем приоткрыл дверь в избу и поманил умиленную сценой встречи жену. Та, часто заморгав слезившимися глазами, вышла из избы и вопросительно уставилась на мужа.

— Пущай одне там, без твоих глаз. Подумай, чем вечоровать будем, ведь вроде и праздник ныне-то.

Жена, не сдержавшись, заплакала.

— Будя, будя, чего ты-то? — застрожился Обухов, а сам подумал: «Тем и силен русский человек, что может сострадать другому, делит с ним выпавшую судьбину».

После раздачи подарков Кузьма присел, взяв на руки Степашку, который уже перестал его чужиться. Женщины хлопотали у стола. Обухов помогал им.

Когда ужин был собран, а лавки застелены новыми травяными плетенками, Артем, убрав со стола коптящийся жировик, зажег большую сальную свечу, сбереженную к великим праздникам, и сказал:

— Кузьма, подь к столу, закусим чем бог послал. Мне тебя привечать — всегда за милую душу.

***

Свирепый февральский ветер срывал верхушки волн и с силой обрушивал их на судно, леденя палубу и опущенные паруса. Дубель-шлюп «Надежда» на глазах обрастал льдом. Почти сутки ветер гонит судно вдоль западного берега Камчатки. Выбиваясь из сил, команда скалывает и сбивает лед со снастей и скользкой палубы.

Мичман Алексей Шхельтинг не находил себе места.

Он расхаживал по каюте, сокрушаясь:

— Сколько же дуть ему? От самого Камчатского носа назад несет!

Подштурман Емельян Родичев, лежа на топчане, заметил:

— Охлынь, Алексей. Не совсем и худо: мачты да паруса целы, ветер стихает. Еще чуть поутихнет, и попробуем к Большерецку пристать. Чай, вдоль берега несет — не в море.

— Да что Большерецк! Нас ждут в новой гавани. Туда указ имею доставить провиант.

— Знать, не судьба, коли второй раз не можем обогнуть Камчадалию. Время зимнее, штурмовое. Благо еще льдов мало.

Дверь распахнулась, и в каюту почти влетел мокролицый боцман Герасимов и без доклада выпалил:

— Ветер сменился, дрейфуем к земле!

Родичев вскочил с топчана и, бурча, поспешно стал одеваться:

— Кабы с ходу не вытолкнуло на берег.

Мичман Шхельтинг обеспокоенно взглянул на подштурмана и распорядился:

— Сам проверь готовность плехтов, а я определюсь. — И пошел к тумбе с пель-компасом.

А на восточном побережье Камчадалии прошедшая пурга до боли в глазах забелила окрестные сопки новой гавани Святых апостолов Петра и Павла, в которой люди экспедиции Беринга устроили опорную базу для дальнего похода к неведомым землям. Капитан флота Алексей Чириков, кутаясь от пронизывающего сырого ветра, не утихшего после пурги, сидел в шлюпке, которую гнали к берегу матросы. Лица багровели от ветра. Чириков оглянулся на двухмачтовые пакетботы, стоявшие

в гавани, отделенной от Авачинской бухты сопочным мыском. Через борта парусников в воду летели белые комья снега. Это команды пакетботов очищали палубы от наносов пурги. Чириков сошел на берег, и когда лодка, покачиваясь на зыби волн, отошла от берега обратно к судам, он решил проверить верхний пост, находившийся на вершине горбатой сопочки, под которой спрятались от ветра и волн пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел». По заметенной тропе капитан флота пробирался меж корявых берез к посту наблюдения. По торчащему из сугроба обрубку пустого ствола дерева, приспособленного вместо дымохода, Чириков определил среди наносов караульную землянку. Пригнувшись, вошел в освещенное пламенем костерка помещение.

Сивоусый детина возлежал на топчане из березовых жердин, что-то рассказывая другому, который сушил над пламенем портянки и время от времени похохатывал. Увидя капитана, они вскочили, в суете развалив поленницу дров, сложенную про запас.

Сивоусый, тараща глаза на Чирикова, отрапортовал:

— Канонер второй статьи Прокофей Ефимцев и солдат Игнатий Ивонин в обзорном карауле!

Чириков махнул рукой, стягивая перчатку:

— Довольно, вижу, каков обзор ведете.

— Дак ить ветр скрозь душу пронизат. Скоченели напрочь, обогремся и вновь в обход, — засобирался командир.

— Попеременно дозорьте.

— Не с руки по одному-то. Словом обмолвиться не с кем, да бывat, что так в сугробе увязнешь — впору караул кричи.

Вместе со служилыми Чириков вышел из землянки. Он оглядел обширную Авачинскую бухту, отрезанную от океана цепью востряков, меж которых выпирал к небу вулкан. Ветер шелестел берестою каменных берез, спускавшихся с сопки почти до самой воды, гнал к берегу волны со льдинами, которые у подножия сопки били этот лед о камни и крошили в шугу.

«Недолго осталось ждать. С весны начнем изготовку, а в начале лета — в неведомые дали», — подумал Чириков и направился в порт.

Тут он заметил, что навстречу ему спешил денщик капитан-командора.

— Что стряслось? — бросил Чириков.

— Беринг ждет к себе, — выпалил длинновязый Хметьевский.

Чириков вошел в просторную горницу дома Беринга. Вдоль бревенчатых стен уже сидели лейтенанты флота: Чихачев, Ваксель и Плаутин, переговариваясь вполголоса. Командор Беринг что-то вымерял на карте Камчатки, разложенной на столе. Отрапортовав, Чириков подсел к столу.

Грузноватый Витус Беринг ястребиным взором оглядел присутствующих и заговорил:

— Сей малый консилиум собрал я ради репорта, доставленного мне из Большерецкого острога от мичмана Шхельтинга. За противными ветрами у Камчатского носа дубель-шлюп «Надежда» бросил якорь у Большерецкого острога. Известно вам, господа, что на шлюпе полторы тысячи пудов провианта. Как быть? — И, поворачивая лицо, оглядел каждого.

Первым поднялся Свен Ваксель:

— Ветры коль утихнут — льды подойти могут. Ждать, надеясь на удачу, лишь трата времени. Надо везти провиант по суше.

— По пять пудов на нарту в четыре-пять собак… Это же со всей Камчадалии каюров сгонять придется. А учесть, что в конце зимы не всяк камчадал имеет достаток в юколе для себя, не то чтоб для собак на столь тяжкую гоньбу… Сомнительно. Також не стоит забывать, господа, что может учиниться инородцам помешка в промысле на ясак, — рассудил Чириков.

— Перетрясти все острожки. Неужто не соберем должное число упряжек да прокорма к ним? Ныне, считай, провиант в Камчадалии, а как пойдет к нам в обход носа, да не дай господи… в такие-то погоды… Нет, риск опасен, — загорячился Ваксель.

Выслушав суждения каждого, Беринг решил:

— Дабы за неимением провианта не последовала остановка, отправиться нам в кампанию сего же, тысяча семьсот сорок первого году. Придется учинить сбор упряжек да каюров. — И обратился к капитану флота Чирикову: — Направьте от нас в помощь служилым Верхнего и Нижнего острогов по офицеру с командой, дабы дело не имело помех.

В начале марта назначенные офицеры в сопровождении матросов отъехали в главные остроги Камчатки. Лейтенант Ваксель прибыл к приказчику Нижнекамчатского острога с указом от Беринга. На следующий же день один за другим отряды служилых и казаков начали расходиться по острожкам аборигенов, сгонять в Большерецк предписанное число нартовых упряжек. Недовольство и обида не обошли ни одно жилище камчадалов.

С одним из небольших отрядов вызвался идти и сам лейтенант Свен Ваксель. Когда нежданные гости подкатили к острожку Пеучеву, то увидели толпящихся меж юрт возбужденных камчадалов. Дикий вопль несся из толпы. Ваксель был поражен увиденным зрелищем. К столбу привязан ремнем молодой полнолицый камчадал. Он отчаянно крутил связанными воедино руками, кисти которых были обмотаны горящей берестой. Безумно выкатив глаза, он исходил криком.

— Варвары! Освободить! — крикнул Свен и сам со служилыми бросился к связанному парню, расталкивая удивленных его ретивостью жителей.

С ревом и визгом освобожденный камчадал долго еще катался по сугробам, тыча в снег обожженные руки.

— Самосуд чинишь, ирод! — набросился лейтенант на тойона.

Недовольный тем, что прервали обычай расправы, Камак, оглядывая прибывших, заговорил, толмач Лазуков тут же переводил: «Теперь он не будет брать юколу в чужом балагане».

Рядом стоящий с Вакселем Лазуков заметил:

— Честный народ: честь духовну паче телесной боли чтит.

Немного успокоившись, лейтенант флота буркнул казакам:

— Действуйте.

Казачий десятник Степан Чуб достал бумагу и стал перечислять владельцев нарт.

— Камак, Кашуга… — выкрикивал он.

Камчадалы сгрудились вокруг своего тойона, любопытно поглядывая на ершистого офицера. Кашуга поцокал языком, удивляясь: «И как эти русские: смотрят на листок, а видят всех сродников?» Он придвинулся ближе к Чубу и, заглядывая в листок, отметил: «Никого я там не вижу. И впрямь, всемогущий народ, однако».

Камак бойко заговорил, Лазуков начал переводить. Но Чуб и сам понял, что юколы осталось, чтобы дотянуть до новой рыбы. Во многих жилищах голод, часть нартовых собак поедена, и каждую неделю кто-нибудь уходит из острожка в чащу умирать голодной смертью.

Выслушав толмача, Ваксель нахмурился:

— Толмачь ему: за прогон им дадут деньги. Шесть нарт пусть соберет, иначе прикажу потрошить их балаганы.

Выслушав, Камак зло блеснул глазами, думая: «Деньгами сыт не будешь», и заговорил, обращаясь к сродникам. Зашумели, загалдели камчадалы, размахивая руками. Тойон прикрикнул на них, и люди, нехотя подчиняясь, побрели к жилищам.

Чуб, глядя на недовольные лица и злобные взгляды камчадалов, заключил:

— Да… В других острожках и того хуже будет, особо в верховьях Еловки. По слухам, там совсем голодно ныне.

По острожкам западного побережья Камчатки шел отряд казаков во главе с Никифором Колыговым. Особо не церемонясь, казаки перетрясали балаганы аборигенов, выгребая остатки юколы для назначенных упряжек, и между делом за мелкие уступки наполняли свои мешки мехами. Уже разлилась вечерняя синева, когда отряд Колыгова въехал в острожек Утхолок. От дальней юрты быстро, словно сорвалась с места, отъехала собачья упряжка и растворилась в сумерках.

«Кого это на ночь понесло?» — мелькнула мысль у Колыгова, и он обратился к Чуркину, который в отряде был за толмача:

— А ну, собери всех нехристей да обскажи. Пусть ночь кумекают, а утром чтоб нарты с припасами и каюры готовы были.

Вскоре для гостей любезно освободили жарко натопленную земляную юрту и, к удивлению казаков, даже угостили юколой и пьянящей настойкой. После холодного дня казаки быстро разомлели и полегли спать. Как и всех, Никифора морил сон, но какая-то тревога не покидала его. Он оделся и выкарабкался наверх. Морозный воздух чуть приободрил Колыгова, и он осмотрелся. Так и есть: караульный Филька Баев, разгоряченный настойкой, закутался в тулуп и, завалясь на нарту, спал. Никифор толкнул его в бок. Тот вскочил и растерянно захлопал глазами, шаря рукой в поисках фузеи.

«Хоть кого поставь, все одно дрыхнуть будут. Разленились мирным временем», — подумал Колыгов и заговорил:

— Чей-то не нравится мне их ласка да приют. Чует сердце: хитрят нехристи. Поди, зажили ужо изрубцованные их спины?

— А… чего мелешь, — зевая, махнул рукой Филька. — Куды им ныне суваться-то, полна Камчадалия рассейских, — успокаивал Баев.

— Ты все ж блюди, Филька, — буркнул Колыгов и отошел.

Побродив вокруг юрты, Колыгов вдруг припомнил, как вечером спешно из острожка отъехала нарта, и совсем забеспокоился, но, поразмышляв, убедил себя в безопасности. На всякий случай все же решил спать в балагане, стоящем неподалеку от юрты. Он влез на второй ярус под жердевую крышу, умостился средь узлов невыделанных зверовых шкур и подумал: «Рассветет, заодно и в мехах пороюсь, авось шкурки бельков изыщутся: Аглае торбаза справить. Дочку-то славную она мне родила… С Меланьей сколь жил впустую. А с Аглайкой-то заживем справно…»

Колыгов проснулся от громких возгласов и суматохи. Высунув голову из-под тулупа, он посмотрел в щель между жердинами крыши и замер. Вокруг дымного отверстия юрты стояли с луками наизготове камчадалы. Безоружные же сбрасывали в юрту подожженные охапки бересты и вязанки веток. Двое потащили к дымоходу мертвое тело Филимона Баева и сбросили туда же. Камчадалы, переговариваясь, изредка пускали стрелы в дымоход жилища. Из отверстия юрты доносились брань, кашель и грохот выстрелов. Вот из клубов дыма стал высовываться ствол фузеи, но тут же на смельчака полетели горящая береста и стрелы.

«Бунт! — ударила мысль. — Фузею-то там оставил!»

В бессильной злобе Колыгов закусил руку, сдерживая ярость. Аборигены все подвозили и подвозили ветки. И вот из дымохода вместе с клубами дыма показались языки пламени. Среди ликующих победителей Колыгов узнал тойона с речки Подкагирной — Палана. По отдельным возгласам камчадалов Никифор понял, что бунтари с Утхолока и Подкагирной поедут осаждать Тигильский острог.

«Ведь чуял же недоброе, чуял! — укорял себя Никифор Колыгов. — Опять каша заварится, вновь кровушки хлебнем».

Он видел, как довольные расправой мужчины расселись по нартам и, не разбирая дороги, лавиной помчались в сторону Тигиля.

Женщины и дети после их отъезда еще позаглядывали в черный дымящийся провал на месте бывшей юрты и разбрелись по своим жилищам.

«Пронесло. Как же выбраться отсель? Ни одной собачьей упряжки не осталось», — осматривая острожек с крыши балагана, отметил Никифор.

И тут он заметил, что одна нартовая упряжка приближается к острожку.

«Вернулся кто-то, однако, впопыхах чего-то забыл», — подумал Колыгов и стал наблюдать.

У юрты одинокий каюр лихо затормозил остолом и, воткнув его в снег, легко вскочил и направился к балагану. Когда камчадал подошел к его укрытию, Колыгов от напряжения сжался. Порывшись в узлах на первом ярусе, каюр понес к нарте большой моток ремней. Уложив их, стал спускаться в свое зимнее жилище. «Вот он, момент!» И Никифор буквально слетел из-под крыши балагана, прыгнул в нарту и погнал собак в сторону Нижнекамчатского острога. На ходу он сбросил узел с ремнями и, размахивая остолом, подгонял собак. «Господи, неужто живым выдрался! Знать, смерть мне ныне не писана. Погодим ишшо!»

Весть о бунте потрясла приказчика Нижнекамчатского острога Колесова.

Он растерянно захлопал ресницами и переспросил у пятидесятника:

— Так и всех враз?

— Варфоломея Чудинова, Фильку Баева — всех как есть пожгли, ироды!

— Чего делать-то? В остроге малолюдство: всех разослал на сбор нарт. Вот беда… беда…

— Худо! Могут все наши малые отряды врозь побить и в острог нагрянуть, — рассудил Колыгов.

— В новую гавань! Известить командора Беринга да вспоможения на замирение инородцев испросить, — нашелся Колесов. Он вскочил с лавки и заходил перед Колыговым, размышляя вслух: — Да-да, в гавань Святых апостолов! Весть

важная — сам поеду. Ты, Никифор, всех от мала до велика — на стражу острога, а мне — ходкую упряжку да каюра надежного, не инородца.

— Лучшая упряжка у посадского Обухова. Он и в службу, и в гоньбу по надобности завсегда без отказа, — посоветовал Колыгов.

Колесов согласно потряс головой и распорядился:

— Управляйся, Никифор, мне сбираться след.

Через некоторое время с колокольни Успенской церкви тревожно забил вечевой колокол, созывая народ на сход.

***

В острожке Пеучев поздно ночью в юрту тойона Камака спустился человек. Разворошив тлеющие угли, он бросил охапку веток и протянул к костру руки, пошевеливая озябшими пальцами.

Не узнав пришельца, Камак, поднимаясь с лежанки, проговорил:

— Камак всегда рад гостю, кто бы он ни был.

— От Палана я, — прошептал пришелец.

Тойон встрепенулся от упоминания имени заговорщика и быстро подсел к гостю. Тот что-то нашептал Камаку, потом вопросительно уставился на него. Хозяин от неожиданной вести будто онемел.

— Почему молчишь?

— Думаю, — ответил тойон и, еще помедля, заговорил: — Зачем Палан поспешил? Тавач, сын Уммевы, толмачит у большого начальника русских, предупреждал ведь: только не сейчас. Много русских у Авачи. Победы не будет. Камак не поведет свой род на верную гибель. Да и корякский тойон Уммева сейчас не пойдет вам на помощь. Он сказу толмача тоже верит. Ай-ай, Палан, навлек беду на свой род, — посочувствовал Камак и засуетился, чтобы угостить гостя.

Но тот, озлобленный отказом, вскочил и, сдерживая себя, спросил:

— Камак хорошо подумал?

— Да, — твердо отрезал тойон.

— Трус! — бросил гость и по бревну быстро выкарабкался из юрты.

Камак вспылил, готовый силой доказать дерзкому пришельцу, что он никогда не был трусом. Но память, заглушая гнев, властно диктовала ему слова бывшего старейшины рода Талача: «Напрасная кровь рода не смывается никогда… никогда… никогда!» Это придавало Камаку уверенность в своей правоте, и, махнув рукой, он сел, глубоко задумался. Сердце его рвалось на помощь сродникам, а разум твердил другое: «Верная гибель роду… верная гибель».

В Нижнекамчатский острог Колесов вернулся с воинством. Отряды служилых из команды Беринга под началом прапорщика Левашова и казаки с начальным человеком Михайлом Борисовым направились замирять взбунтовавшихся инородцев западного побережья Камчатки. К концу апреля в новую гавань Петра и Павла они привезли плененных зачинщиков смуты. Сам командор Беринг допрашивал тойона Палана и его помощника Быргача. Осуждающе посматривая на Палана, камчуг Лазуков толмачил его дерзкие ответы командору, горько думая: «Эх, Палан, Палан! Горячий камень — твоя голова. Ведь упреждал я, что ныне не время. Слушать не хотел…»

После допроса тойона Палана и Быргача их под конвоем отвели к лодке, чтобы перевезти на пакетбот «Святой Петр» и держать там за неимением темницы в новом Петропавловском порту. Их усадили в лодку вместе с караулом, и они не спеша закачались по волнам заливчика Авачинской бухты. Когда до парусника оставалось немного, Палан зычно рявкнул, и связанные пленники враз сиганули в ледяную воду бухты. Закачалась лодка с оторопевшей стражей. Опомнившиеся конвоиры напрасно всматривались в черноту разошедшихся по воде кругов.

***

Чем сильнее кручина, тем радостней ее конец. Кузьма, преисполненный радостью и рвением, трудился теперь не покладая рук на благо возродившейся семьи. Вновь у него не призрачная, а ясная цель жизни. Он успел к зиме перебраться в землянку, которую устроил неподалеку от избы Артема, и за зиму с помощью Обухова наготовил леса для будущей постройки. Поэтому долгая камчатская зима для Щербака пролетела незаметно.

В один из весенних дней он вышел к речке с бадейками, зачерпнул воды из проруби и тут заприметил, что по берегу мчит нартовая упряжка. Каюр с короткостриженой бородкой, узнав Щербака, резко затормозил нарту.

— Кузьма! Ты ли, дружище?! — вставая с нарты, распрямился светловолосый детина.

— Евтихий, — признал его Кузьма.

В землянке Щербака долго еще беседовали приятели. Когда же Евтихий уехал, Кузьма не на шутку задумался. «А и впрямь, под лежачий камень вода не бежит. Евтишка-то при деле купца Трапезникова, а куды мне-ка? В промысле на пушного зверя я не силен, да и совсем удалились зверовые места. Токмо одно и есть, что он советует: присмотреть корги для сбора рыбьего зуба. Трапезников обещает отблагодарить за поиск, да и зуб, что сыщем, он купит. Прежде Кашуга сказывал, что ведает те места, где корги с зубом… Но чего-то не лежит душа моя к сему делу… И пошто Бог дал мне таку сумнительну душу. У другого-то не душа — кремень. Так не так, а деет. Надо и мне-ка так, не то карманы совсем опорожнили. До лета займусь, поди, а там избу поставим — и на службу куда определюсь». Поразмыслив, Кузьма пошел к соседу Артему Обухову.

Тот выслушал его и оживился:

— Не худая задумка. Коли Кашуга покажет лежки моржей, чего бы не спытать счастья. Я согласен.

На следующий день Щербак отправился в острожек Пеучев к Кашуге.

***

Серые облака многослойной шторой плотно задернули небо, и уже много дней кряду солнце не может пробить их тяжелую толщу. Стриженный «под горшок» Кузьма Щербак брел следом за низкорослым камчадалом, который вел их на дальнюю коргу, что расположена на северной стороне мыса, вдающегося в Теплое океан-море. Корги — лежбища морских зверей были и поближе к Нижнему острогу, но на той, куда они направились, веснуют морские гиганты — моржи. Щербак приостановился, поджидая следом идущего дружка Артема Обухова, и огляделся. От высоких снежных хребтов сбегали к морю

холмы с густыми темными гривками ольхачей. На ближних к морю безлесых холмах кое-где громоздились каменные гряды да выпирали взлобки, облизанные ветрами. Южные склоны береговых холмов хранили снег лишь в складках и впадинах, зато северные, белые от снега, только пестрели проталинами.

«Затягивает весна», — подумал Щербак и взглянул на Артема, который брел, согнувшись под объемистой котомкой. Короткая борода, немного темнее его светлых волос, делала Обухова посолиднее, чем был прежде.

Подойдя к Щербаку, он кивнул в сторону утесов, торчащих из воды:

— Зрил, каково ныне зверья со льдами нагнало?

— Сивучей да котов уймища. Кабы нам жир варить, то развернулись бы тут, но ить не та задумка наша.

— Лишь бы не попусту столь верст мерить пришлось.

— Кашуга сказывал, что во всяку весну там зубатое зверье видел. — И Щербак окликнул впереди идущего проводника: — Кашуга!

Мотнув черной косичкой, камчадал повернул к ним широкоскулое лицо.

— Погодь, передых устроим, — распорядился Кузьма.

Глядя на добродушного и старательного камчадала, бывшего своего холопа, Кузьма припомнил, как он поручился за него перед властями и убедил майора Павлуцкого отменить экзекуцию, назначенную для Кашуги за причастность к похищению Настасьи.

«И впрямь, чего проку было бы с той порки: лишняя беда человеку», — подумалось Щербаку.

Во второй половине дня путники вышли к цели.

С высоты скалистого берега хорошо просматривалась бухта залива, где торчали вдоль берега опрядыши. Бухта была забита льдом. На льдинах и на каменистой лайде под утесом отдельными группами расположились моржи. До путников доносился многоголосый рев самцов и отрывистый лай молодняка. Разводья меж льдов кишели от беспрестанно ныряющих, звонко фыркающих клыкастых животных.

— Как дивно их тута-ка, — загорелись глаза у Щербака.

— Больно велики. Вон, позри, каков лежит: сажени две будет. А зубы-то зубы… по полсажени торчат! Таких бы зубьев напромыслить… да… — оживился Обухов.

— Будя те. Хотя б каких. Оглядимся да с утра и почнем промысел. Конечно, оно бы для того ружье нарезное пульное да пороху поболе поиметь.

— Ништо, мы носками могем, — заверил Артем, поглаживая длинный гарпун.

— Однако, пойду барабарь ставить, — как бы спрашивая одобрения, сказал Кашуга и направился к распадку с ольховником.

Когда друзья подошли к стоянке, Кашуга, воткнув в землю палку над будущим кострищем и подперев ее рогатулькой, устроил таган. Подхватив котелок, он направился было к ручейку, бежавшему от снежника, как из-под кочки, поросшей густым кустарником, метнулась красная с огнистым отливом лиса.

— Ко-ко! — от неожиданности вздрогнул Кашуга.

Обухов, глядя на замелькавшую в кустарнике лису, определил:

— Бодро запетлял недолисок. Так у корги и шастают. Видно, средь морского зверя упади много имеется.

— Пошто недолисок-то? — поинтересовался Щербак.

— У дошлой лисы завсегда конец хвоста белый, а у этой еще не дошел: знать, не вызрел зверь-то.

Пока проводник суетился, устраивая шалаш, Артем еще раз наставлял Кузьму, показывая, как обращаться с гарпуном.

Он выразительными жестами колол мнимого зверя, поясняя ему:

— Покуда морж трубит, глаза у него прикрыты, тут-то ты проворь — подходи. Как открыл глаза, стой — замри.

Осмотрев копье Щербака, Обухов заметил:

— Неважно на древке сидит. — И принялся разматывать ремень, чтобы вновь закрепить костяной наконечник на древке, приговаривая при том: — Не для красы сия штука и угожества, а для крепости деется.

— Не свычен я к тому, — оправдывался Щербак.

— Позри сюды. Не учась, и лаптя не сплетешь.

Надвигались сумерки, а со стороны моря все еще доносились то трубный рев моржей, то шум плюханья их в воду.

— Зело любят оне бултыхаться-то, — заметил Щербак.

— Завсе так, морское-то зверье, — отозвался Обухов.

Во время чаевки перед сном Артем отрезал ломоть соленой рыбы и подал Кашуге.

Тот поморщился, отговариваясь:

— Рыба без душка — худой. — И продолжал грызть ссохшийся кусок красной икры, заедая мелко накрошенной молодой корой ольхача да изредка запивая чаем.

Утром, со связкой прочного кожаного линя, вооруженные гарпуном и копьями, путники двинулись со стана к корге. Из-за малого запаса пороха взяли с собой только одну фузею для обережки к случае великой нужды, а не для промысла. По каменистой круче спустились к морю и изрядно огорчились, не увидя на берегу ни одного моржа. Все звери, словно кучи валунов, темнели на льдинах залива, тесно сгрудясь, они спали у разводьев. Выбрав небольшое стадо моржей, охотники двинулись к ним по льду.

Артем определил ветер:

— Курил задул. Худо: может льды отогнать. Надо спехом дело править. Пойдем супротив ветра, не то ухватят дух человечий, враз уйдут в воду. — И, пригнувшись, заспешил к лежке моржей, увлекая спутников.

Подкравшись так, что ветер доносил до них сопение и похрапывание со стороны стада, Обухов присел на корточки и зашептал:

— Те, что черные, мальцы еще: зуб невелик, а та, что с краю, самка, ее тоже не след. В средине вон рыжий, того и бить будем.

— Больно велик, — вставил Щербак.

— Токмо бить на весь мах: толстокож, дьявол. Жиру, поди, в две ладони… Ну, с богом… Подходим к ним от воды, таиться уже нет проку, — выдавал последние наставления Артем.

Самец, первым почуяв опасность, открыл свои маленькие глазки. Обухов замер, остановились и Щербак с Кашугой. Морж затрубил. Стадо в панике с сипением и храпами неуклюже ринулось к воде. Обухов с плеча вонзил гарпун в тяжелую складчатую кожу зверя. Щербак, суетясь, тыкал копьем в плечи, в грудь моржа, мешая его продвижению к воде. Артем, раскинув линь, прикрепленный к гарпуну, ножом уже выдалбливал канавку во льду.

Заложив в нее поперечную палку, к которой привязан конец линя, крикнул Кузьме:

— Подь сюды, тут придержи, чтоб не выскочила. Теперь не уйдет, прихвачен.

Кузьма подскочил к Артему и ногами вдавил палку в углубление во льду. Линь от гарпуна натянулся, и морж остановился. Пока Обухов копьем расправлялся с самцом, Кашуга суетился около самки, которая вернулась на лед к задавленному во время паники детенышу. Она ластами и клыками пыталась подтолкнуть моржонка к воде, не обращая внимания на удары, которыми ранил ее Кашуга. Изловчившись, проводник все же нанес ей смертельный удар. Она сразу обмякла, повалилась рядом с моржонком и, прикрывая его ластом, сомкнула глаза, из которых катились слезы. Вскоре окровавленный самец в хрипах уже содрогался на льду.

Разгоряченный Обухов командовал:

— Пусть полежат, пошли к другому стаду.

— Нет. Льды отнесет — сгибнем, — отрезал Щербак, все еще поглядывая на слезящуюся моржиху.

— Эх, черт подери, зверя бери, сколь занадобится. Да на себе не упрешь. Ватагу бы поболе да шитик бы на гребях, — не унимался Обухов.

Кашуга поглядел на пролетавших сизых чаек и заметил:

— Чайка к берегу, однако, худо в море.

Артем уже отрубал клыкастую голову моржа.

— Эка махина пропадет. Сколь ворвани натопить можно, — глядя на огромную тушу, пожалковал Кузьма. — Не по сердцу такой промысел. Лучше по корге в каменьях ломаный зуб собирать, чем душегубство тако чинить.

Обухов удивленно взглянул на Щербака, но ничего не ответил.

К полудню ветер усилился, льды с моржами отнесло из залива, и лишь белеющая полоса в море давала знать об их присутствии. Осмотр лежбища мало чего дал. Нашли несколько кусков свежесломанных моржовых клыков и один старый.

— Видно, коргу-то кто почистил? Подождем, авось ветер сменится, да промыслим еще. Не вертаться же пустым с весновки, — невесело проговорил Артем Обухов.

Ветер не стихал.

Артем, посмотрев на взволновавшееся море, заметил:

— Прав Кашуга, воистину шторму быть. Поугонит льды: ветер-то береговой.

Переночевав под свист ветра и гул штормящего моря, промысловики с небогатой добычей отправились в обратный путь. Постепенно ветер стих, и небо стало очищаться от лохматых туч. Обухов обернулся еще раз на залив, как бы убеждаясь, не возвращаются ли льды, и подумал: «Верховей токмо чистит небо, а льдов не тронет. Эх, суденышко бы невеликое, вмиг бы те льды достали — да промышляй себе. Судно в море — великий прибыток».

Когда путники снова проходили мимо лежбища котиков, Обухов не выдержал:

— Кузя, не след пустыми вертаться. Не помешает выпластать несколько малышей. Хоть шкурья на торбаза взять, ить толикое число зверья.

Сбросив с себя котомки и прихватив копья да гарпун, они глазами выискивали место спуска к лежбищу.

— Тропина там, однако, — указал Кашуга и повел к спуску.

Промысловики только спустились со скальной тропы, как сивуч, сидящий в окружении своего гарема, поднял вверх усатую морду и, выкатив глаза, тревожно заревел. Его поддержал второй, третий — вмиг многочисленные стада котиков в диком страхе и суматохе повалили в воду.

— Че это? Неужели таков будкий зверь тут?

Не успел договорить Щербак, как с гулом резко содрогнулась земля, затрещали и посыпали каменьями утесы береговых сопок. Второй, более сильный толчок — будто выдернули землю из-под ног. Пыля, рушились отвесные скалистые берега. В страхе путники отбежали к морю. На их глазах вода отступала, обнажая влажную гальку и подводные, поросшие зеленью, скалы.

— Для обережки наверх метнемся: не к добру вода уходит, — опомнившись, крикнул Обухов.

Стремглав путники вскарабкались на обрыв холма и, подхватив котомки, заспешили подальше от береговой кромки. Переведя дух, они оглянулись.

Видя, как черные точки морских зверей все удаляются от берега, Щербак удивился:

— Ишь ты, смекалисты.

И тут же поразился увиденному. Будто из ничего, вспучивалась громадная морская волна и, все увеличиваясь, мчалась на обнаженный морской берег! Мощный грохот — и вода прибоя вместе с камнями взметнулась ввысь, сотрясая прибрежные утесы сопок. Водяная пыль заискрилась радугой.

— Бежим выше, — вырвалось у Щербака, и они побежали по пологому склону сопки на взлобок.

Второй удар волны содрогнул берег, придав беглецам силы.

Достигнув вершины сопки, друзья повалились наземь, переводя дух.

— С чего бы это так? — тяжело дыша, спросил Кузьма.

— Черт знат, — пожал плечами Обухов.

— Вовремя мы оттуда вынулись, раздавило бы, что мышонков… Чудеса тут, в Камчадалии… того и гляди, понапрасну сгибнешь.

Кузьма не ответил: он глядел на крутую зыбь стихающего моря.

— Поглянь, никак рядом с могилой сидим, — кивнул на чуть приметный холмик Обухов.

Щербак повернул голову и увидел серый плоский камень поверх просевшего холмика. Он подошел к могиле и прочел высеченную надпись: «Мореход Мошков».

Кузьма отшатнулся на миг, потом присел, трогая камень руками, словно не доверяя своим глазам, провел пальцами по выбитым буквам и выдохнул:

— Кондратий? Вот ты как объявился.

— Никак знакомец твой? — подошел к нему Обухов.

Щербак согласно мотнул головой.

— Ближе он мне… Первейший по здешним местам кормщик был. — И задумался, не сводя глаз с надгробного камня: «Эх, Кондратий, золота душа, и ты свет покинул… Только один, Настасьюшкин, камень с сердца снял, а ныне вот второй судьбина подложила».

Щербак поднялся и, отойдя, принялся резать дерн, чтобы поправить могилку. Его спутники, не докучая расспросами, помогали ему.

Когда подправленный холм могилы увенчал тот же камень, Кузьма проговорил:

— А ну-ка, чего у нас в торбе из харчей?

Обухов выложил все съестное у могилы и разделил на четыре части. Щербак к надгробному камню положил одну долю еды. Трапезничали молча, думая каждый о своем.

Перед уходом Кузьма, положив руку на могильный холмик, заговорил:

— Сиротливо, небось, одному отсель морем своим излюбленным дивиться?.. Уж не сам ли морской царь нас к тебе сюды-ка загнал, дабы свиделись? Земля — пух тебе, мил человек. Прощай, Кондратий — морская душа. Вечная тебе память.

С выходом на реку Камчатку они распрощались. Щербак с Обуховым пошли в низовья реки, а Кашуга побрел восвояси. Каждый по-своему думал о хождении к моржовой корге.

Щербак клял себя, что зря сбродил в такую даль, прибытку — грош, а время убил немалое.

Обухов же, хотя и имел недовольный вид, но втайне был рад, что узнал путь к корге. «Ништо, на сей раз осечка, пусть. В остроге два-три отчаянных человека, не таких, как Кузя, а способных пощупать моржишек, подобрать в сотоварищи, тогда можно будет промыслить моржового зуба».

Кашуга ликовал: «За такой пустяк — показать корги моржей — Кузьма такой нож подарил. У Камака такого нет. Нет, Кузьма не такой, как все». Кашуга время от времени вытаскивал нож, любовался им и вновь прятал под кухлянку.

ГЛАВА 3

Мартын Шпанберг хотя и пребывал в согласии с новым командиром Охотска и Камчатки Антоном Девиером, но из-за своего беспокойного характера частенько схватывался с ним, оставаясь недовольным его спокойной рассудительностью. Шпанберг намного раньше, чем Девиер, начал ремонт судов, на пристани затеял ремонт пакгауза для грузов, хотя тут, в Охотске, теплом еще и не пахло. Зима, будто с особой злостью перед своей кончиной, то и дело врывалась с моря. Мокрой пургой она залепляла да заносила все снегом и по нескольку дней кряду разгуливала по побережью Ламского моря.

Переждав напасть, люди выбирались наружу и вновь принимались откапывать от снега, обивать наледь с жилых построек и судов, и опять Шпанберг бежал к Девиеру, прося людей в помощь, чтоб наверстывать упущенное время, где снова натыкался на ухмылку командира Охотска:

— Все рвешься на шпагу зиму взять. Не суетился бы: сама падет.

В подготовке к навигации пролетела весна. А в конце мая обшарпанное, с обтрепанными парусами суденышко продралось сквозь льды к Охотску. Жалкий и измученный вид команды и столь раннее появление дубель-шлюпа «Надежда» из Камчадалии говорили о многом.

«Видимо, изготовка Беринга к плаванию от камчатских берегов не совсем удачна, что командор погнал в столь раннее время дубель-шлюп к Охотску, рискуя судном и командой», — подумал Шпанберг, принимая почту от изможденного мичмана Шхельтинга, воспаленные глаза которого выражали смертельную усталость.

— Каким чудом пробрался, Алексей? — обратился Шпанберг.

— А, — махнул рукой мичман, — далеко на юг ото льдов уклонялся, не чаял уж и выбраться. Да благо береговые ветра задули. Совсем не чаял. Полкоманды слегло от глада. Все в пищу пустили: и ременные снасти, и даже ботфорты. — И он кивнул на свои ноги в обутках, плетенных из пеньковой веревки.

Мартын лишь сочувственно вздохнул.

— Размещай своих в казарме. В первое время в работы их брать не буду, но залеживаться в отдыхе не дам.

Через два дня капитан-лейтенант Шпанберг послал вестового к Девиеру, чтобы тот направил к нему геодезиста Гвоздева для важного разговора. Девиера кольнуло, что важным разговором Мартын обходит его, но он все же распорядился, подумав: «Властолюбец сей Шпанберг: так и норовит все вершить сам».

Мартын Шпанберг давно приметил геодезиста. Крепкий, с открытым взглядом, выражающим волевой характер, этот человек, как казалось ему, мог быть надежной опорой в любых начинаниях. В этом мнении Мартын Шпанберг еще больше утвердился, ознакомившись со столь грамотным и подробным чертежом, с описанием мест, угодных к поселению, которое оставил геодезист Гвоздев. Шпанберг знал, что еще прошлой

глубокой осенью по команде Девиера лучшие люди из охотских обывателей: геодезист, поп, судовой мастер, сержант, три помощника и пяток служилых — ходили в местечко Малчикан для осмотра нового места под Охотск. Но совсем расположил его к Гвоздеву, когда получил указ из Сената опросить геодезиста о плавании к северо-восточным островам. Его приятно поразило, что сей молодец, оказывается, еще и мореход отменный. Заинтересованный сказом Гвоздева об островах и о Большой земле, Шпанберг не переставал удивляться простоте, с коей сказывал геодезист о тягостях плавания, этой рискованной затее на почти неподготовленном судне. Долго тогда Шпанберг расспрашивал его об островах, о Большой земле, сокрушаясь об отсутствии описания и судового журнала того плавания, и строил всякие догадки, где эти бумаги могли затеряться. После ухода Гвоздева он подумал: «Чует сердце, что эти русские парни уже побывали там, куда почти десять лет готовится командор Беринг. Храбр и честен душой сей геодезист. Надо приобщить его к своим делам. Нечего при Охоцке сидеть такому смышленому человеку. И что за страна эта Россия: имея таких людей, не доверяет им? Надо во что бы то ни стало разыскать журнал того плавания!»

Приход дубель-шлюпа в Охотск никого из охотских обывателей не оставил равнодушным. Все словно очнулись от зимней спячки: засуетились, забегали, ощущая на себе, как незаметно и вдруг навалилось лето со своими многочисленными заботами. Купцы, священники и прочий люд, предписанный в Камчатку, днями то осаждали двери портовской канцелярии капитана Шпанберга, то толпились у Охотской провинциальной канцелярии, добиваясь у Девиера отправки. В порту уже загружалось первое судно, идущее к новой камчатской гавани — Авачинской — в порт Святых Петра и Павла. Вполне полетнему пригревало солнце, но сырое дыхание моря не давало людям снимать теплые одежки.

В один из дней Девиер вызвал геодезиста. Гвоздев вошел в канцелярию. За столом у узкого оконца сидел писарь и с исчерканного листка перебелял текст в шнуровую книгу. Приподняв мохнашки бровей, он зыркнул на геодезиста и показал взглядом на думную комнату, подтверждая, что командир Охотска и Камчатки уже тут. Михайло, сдернув шляпу, шагнул

в думную к Девиеру. Всегда бравый геодезист показался командиру сникшим.

— Пошто скис?

— По делам достойным томлюсь. Вот ныне от Камчатки — Беринг, а от Охоцка — Шпанберг в море сбираются.

— Есть и тебе задача, не менее достойна. Сам ведаешь, что в этих бесхлебных, пустых подле моря местах даже людей Беринга и Шпанберга я не могу в полной мере обеспечить провиантом. Сколь важно ныне заселение Камчатки сошными людьми. Кому как не тебе, знающему Камчадалию не по сказам о ней, смогу я доверить сие заселение, — сказал Девиер и увидел, как оживился Гвоздев.

— Всегда рад быть полезным в любых делах, лишь бы не сиднем сидеть в Охоцке.

На следующий день геодезист уже хлопотал по подготовке к плаванию двух десятков семей, назначенных в Камчатку. Он беспрестанно ходил в канцелярию, разрешая возникшие спорные вопросы переселенцев. Перед полуднем, когда в очередной раз пошел к канцелярии, увидел у крыльца толпу зевак. Они толпились неподалеку от крыльца, глядя, как казаки к козлам притягивали ремнями служилого. Гвоздев посмотрел на его оголенную спину, на палача со скольцованным кнутом в руках и на рядом стоящего понурого бородача, видимо тоже ожидающего своей участи.

— За что же их? — спросил Михайло у кареглазого казачка.

— Сидельца в каморе побили, а он не прост оказался: бывший командир Охотска Скорняков.

— Как, он еще тут? Я-то думал, в Тобольске, где под сыском мается.

— Как же, тута пока был. Счас-то у порт в лазарет его Девирь… Дивь… тьфу ты… командир нонешний увез. Ясно дело, не простой кости сиделец-то.

Гвоздев мысленно упрекнул себя, что раньше не узнал и не свиделся со знакомцем своим. Как никак, а к нему он с пониманием относился. Надо проведать его.

К исходу дня Гвоздев завернул в чистую тряпицу кусок хлеба и, прихватив с собой котелок с горячей ухой из красной рыбы, направился к лазарету. В избе, отведенной под лазарет, кроме Скорнякова, лежали еще трое. Одного из них Михайло знал. Это блоковых дел ученик, которого недавно крепко придавило лесиной.

Скорняков лежал вниз лицом и не видел вошедшего Гвоздева. Рядом с бывшим командиром на низком топчане вытянулся темнолицый заросший детина, который поверх холщовой простыни будто придавил себя крепкими узловатыми руками…

«Руки-то ковырянные да обжегные — кузнец, однако», — подумал Гвоздев и окликнул Скорнякова.

Григорий Григорьевич повернулся и, согнав с лица грустную мину, выразил удивление:

— Гво-о-оздев… Ну и ну. — И, кряхтя, стал разворачиваться в постели, потом не без усилий в согбенной позе сел на топчане.

«Стар да совсем сед стал Скорняков», — отметил Михайло и заговорил:

— Я вот свидеться удумал да к случаю свежей ушицы захватил, авось нелишняя будет.

Он поставил котелок ближе к топчану Скорнякова и положил рядом хлеб.

Припухшее, в ссадинах лицо изобразило подобие улыбки, и он глухо выдавил из себя:

— Весьма погано, душа ничто не приемлет. А заботой тронут. Знать, не все еще позабросили меня. Да подсядь ко мне. Видит бог, как рад я встрече.

Гвоздев присел на топчан.

— Как дюжишь, Григорий Григорьевич?

— Не к царскому двору, чай, приближен, оттого и хирею да прозябаю; как сказывал мозговитый монах Герман: «Прежде лестию плененный, ныне же крестом спасенный». — И он откинул ворот рубахи, открывая крест.

От резкого движения болезненный стон вырвался изнутри, и Скорняков сразу чуть сник.

Виновато скорчив в ухмылке сизоватые щеки, он заметил:

— Нечестивцы доброго лупу мне задали. Очухаюсь ли? Оно ить разве небитым да неруганым проживешь на свете.

— За что посмели бивать-то?

— Затеял все ключарь, поганец. Первое время спьяна все лаял меня матерно, винил во всех грехах земных и грозил, что-де удавки на меня нет, так он и так изведет, самовольно. Все терпел я от обидчика, кой быстро забыл, как в ефрейторство моей волей был пожалован. На свете гнусных пакостей я много видел, но чтоб крысу в кашу заложить да узнику, судьбиной

битому, подать… Ужо погоди, ирод! Вот ту кашу с крысой на его рыле я и размазал. На крик караульный прибег, и вдвоем стоптали меня, окаянные. — Он помолчал чуть и добавил: — Сказывай, как ты?

Гвоздев рассказал о своих злоключениях в Тобольском приказе и взглянул Скорнякову в глаза.

Тот отвел взгляд и заговорил.

— Чуяло мое сердце, что ты невиновен… Ныне-то пуще совесть меня угрызет, что в колодке, как всех, тебя на сыск отправил… Хотя чего я опасался, то все одно мне воздалось. Сам видишь, — скривился в ухмылке Скорняков.

— Не будем об этом. Тем паче что я и ныне преисполнен решимости испытать судьбу в сих диких местах.

Скорняков улыбнулся и согласно потряс головой. Вспоминая свою молодость, Скорняков внутренне разговорился. Из-под седых кустистых бровей залучился блеск его глаз, говорящий, что неукротимые буйные силы этого человека еще живы и вовсе не погас в нем дух противоборства.

— И я смолоду был ненасытно жаден к знаниям. По нраву мне неуемность человеческой натуры. Токмо не захвати больше, чем способен поднять. Уповай лишь на себя, иначе жалок и мучителен конец для души своей обретешь. Был бы жив блаженной памяти Великий Петр, при нем таким, как ты, все дороги распахнуты были. — И он, потирая спину, наморщил мясистый нос. — Ноет да ломит, проклятущая… Поживем — увидим. Вдруг Господь Бог еще отдушину какую уготовил да планида моя ко мне лицом повернется. А то ныне ни к деятельным делам, ни к умственным занятиям душа не рвется. Ранее, кроме дел, писанием прозы облегчал свою душу. Теперь же все мои возвышенные идеалы пали, а суесловить да руки в письме лживить не хочу.

Наскучавшись по разговорам, Григорий Григорьевич еще долго изливал надломленную годами и судьбой душу. Спохватился он лишь тогда, когда синева вечера уже еле пробивала в темноту избы сквозь шитые рыбьей кожей оконца и смотритель лазарета, войдя в избу, засветил жировик.

— Заговорил я тебя, Михайло… Не обессудь: давно душу не распахивал.

— Ну, полно, — отнекивался Гвоздев от извинений Скорнякова, а сам подумал о нем: «Надо же, раньше-то каков недоступен и далек казался, а ныне вот прост и душевен, как человек. Чудно».

Все сильнее пригревало солнце, и приморье, будто нехотя, зазеленело. Лето вступало в свои права. Согласно уговору, в назначенный день Михайло Гвоздев спешил в канцелярию Охотска. Он посмотрел в сторону порта и увидел стоящее уже у причала подготовленное к плаванию судно. Видавший виды истрепанный бот «Святой Гавриил» после тщательного ремонта имел вполне надежный вид. Из его темного тела проросла свежеструганая новая мачта с реями, по крутым бокам бортов кое-где светлели новые брусья. Лишь залатанные паруса остались без замены, так как прибывшую в Охотск парусину Мартын Шпанберг и Девиер строго берегли для будущих походов экспедиций к неведомым берегам.

Гвоздев вошел в канцелярию. Командир явно поджидал его. Кивнув головой в знак приветствия геодезиста, Девиер вопросительно посмотрел на него.

Гвоздев заговорил:

— Как и велено: десять семей со скотом, скарбом и провизией собраны, токмо ждут последнего от вас повеления, дабы загружаться на бот.

— Вот что: поскольку ты Камчадалию знаешь, то порешим, что первую десятку семей не в Большерецкий острог да Милково займище поведешь, как прежде думалось, а веди их на самый дальний посад, куда указывал: в место, где… как оно… счас позрю в отписку, — заворошил бумагами он и, найдя письмо якутского воеводы Павлуцкого, которое Гвоздев еще прошлой осенью передал ему, прочел: — «Наиболее чаятельные для засевов земли поблиско от места стояния Успенской святой пустыни у речки Ключевки…» Тако место помнишь, не заплутаешь?

— Как не знать, бывал не раз. Вот токмо добираться туда со скотом по дебрям нехоженым морока; вдоль реки верст пятьсот ходу будет. Способнее плоты срубить и водяным путем сплывать по Камчатской реке. Да и лес тот на рубку жилья им опять же гож станется.

«Бывалый человек — великая находка для всяких дел», — подумал Девиер и сказал: — Как лучше делу, так и правь. Укажешь

им место — и сразу в Нижнекамчатский острог к приказчику Колесову. Вот ему пакет. Тут указ, чтоб без домех сразу к заселенцам служилого приставил для присмотра. Хлеб семенной одиннадцать сум передай по списку тому же Колесову, тут в письме все указано. Там же реестр затрат из казны на переселение.

— Такой ли доглядчик им нужон, коли в землепашеских делах несведущ? Кому воз везти, тому бы и вожжи в руки, — рассудил Гвоздев.

Командир покосился на геодезиста, проявившего вольность к его указаниям, но правота суждений Михайла все же нашла поддержку в душе Девиера, и он наставительным, но не резким тоном ответил:

— Дело державное, наверняка править след.

И, снисходительно улыбнувшись, подал ему пакет с указами на Камчатку.

При этом добавил:

— Иди загружай землепашцев… И с богом!

Девиер встал из-за стола, давая понять, что разговор закончен.

Все пять суток плавания до Камчатки Гвоздева беспокоило одно: не попасть бы в шторм. «Людям, не свыкшим к морю, такие прогулки — беда, а каково станет скотине? Не приведи господь!» Но погода, будто услышав его молитву, стояла на редкость тихой, и лишь ветерок чуть морщинил обычно неспокойное Ламское море. Бот «Святой Гавриил» у Большерецкого острога, разгрузив переселенцев, заспешил обратно в Охотск за второй партией крестьян.

Далекая земля Камчадалия приветливо встретила заселенцев. Ярко светило июльское солнце, высвечивая сочную зелень прибрежной тундры: осоку, ирис, поляны морошки и шишковника. Наскучав по земле, ребятня, щурясь от блеска моря, босиком бегала по вылизанной волнами лайде. Коровы обнюхивали щетину тундры, выискивая съедобные стебли, и время от времени, задрав хвосты, носились вокруг лагеря переселенцев. Все наслаждались вольностью.

Савелий Рыков, оглядев окрест, подошел к Гвоздеву:

— Куды дале-то?

Михайло, отвернувшись от моря, указал на белогривый горный хребет, отделяющий синеву неба от зелени дальних сопок:

— Вон под те камни, а там по реке сплывем. Седмицы две на путь уйдет.

Услышав их беседу, Дранка повернул к ним лицо с пунцовым шрамом:

— Да, с такой травки не жди молока прибавки. Неужто и в назначенных нам местах тако?

— Земля там матерая, не чета тутошнему взморью, — успокоил его Гвоздев.

— Будем поспешать, быстрей бы к месту, — заключил Савелий и суетящимся среди вещей крестьянам зычно крикнул: — Мужики, готовь сумы к вьюкам!

И вновь крестьяне вперемешку с коровами и вьючными лошадьми уже пробирались по тропе, ведущей в долину реки Камчатки.

В солнечный день июля на заимке купца Трапезникова Евтихий Санников лежал на широкой завалинке дома, томимый бездельем. На речку ставить сетку он отправил Тимошку Поротова, сам остался при хозяйстве. Как-никак, теперь он, приказчик купца Трапезникова, может иногда и лень погонять. Никифор Трапезников становится все более именитым купцом: не зря он торг мехами ведет не в Якутске, как многие купчишки, а все норовит продать в Иркутске, где многие из знатных людей уже считают за честь быть с ним в знакомстве. Солнышко припекло бок, Евтихий перевернулся на другой и стал поглядывать, как сгорбившийся Михайло Поротов возился у грядки вдоль амбара, высевая репу.

«Сдал совсем Михайло, стареет», — подумал он и, всполошенный лаем псов, поднялся с завалинки.

Евтихий глазам своим не поверил, протер их и снова всмотрелся.

— Михайло, гля, невидаль какова.

Поротов подошел к нему, и оба уставились на приближающихся вьючных лошадей, коров и крестьян.

— Ба-а, тож животина с ними. Считай, смолоду видеть не приходилось. Жаль, Тимошки нет, тот и вовсе ни коров, ни коней не зрил. Пойду его скличу.

Когда Поротов с великовозрастным сыном Тимошкой прибежали, у заимки уже располагалась шумная ватага переселенцев. Мужики развьючивали лошадей, женщины суетились с узлами,

Евтихий же помогал Гвоздеву. Тимошка Поротов в нерешительности остановился поодаль от животных, а отец вгляделся в знакомое лицо.

— Едрена кочерыжка! Никак Михайло Гвоздев?

Тот улыбнулся Поротову и ответил:

— Здоров, здоров, стреляный служака. Эвон сколь тебе земляков враз привел с Лены-то.

— Видано ли дело, чтоб сошные люди на посад в Камчадалию, да с бабами рассейскими, с мальцами и всей животиной… Чего же деется-то? Однако, по-рассейски и тут жить почнем. Чисто невидаль, уж не сон ли? — зачастил Поротов.

Гвоздев взглянул на Тимошку:

— Окреп твой паря-то. Не признал меня, поди?

Тот засмущался и отвел взгляд.

Отец ответил за него:

— Признал, да коней с коровами чужится: ить впервой видит. А ну-ка, поди Евтихию помоги сумы-то снять, вишь, одному несподручно.

— А не куснет? — усомнился Тимошка, поглядывая на лошадь.

Ивашка Рыков, помогая отцу спутывать ноги лошадям, чтобы они далеко не разбрелись на выпасе, видя нерешительность камчатского паренька, усмехнулся и подумал: «Каков верзилистый, а неотесан».

Поротов, насупившись, зыркнул на Тимошку:

— Кому грю!

Тот, не сводя глаз с лошади, у которой суетился Евтихий, подошел к ним.

— Поддержи суму, я тороки развяжу. — И Евтихий, погладив коня, зашел к нему с другого бока.

Придержав суму, дернул за ременные вязки. Тимошка, с трудом удержав пудовик, напрягся и грохнул сумой о землю.

— Чего там тяжко так?

— Сошники да лемеха: к землепашному делу справа, — ответил Гвоздев.

Старый Поротов обратился к геодезисту:

— Для людишек-то авось амбар открыть? Хоть и лето, а под крышей-то ночью лучше. Амбар ить все одно пустой. Никифор ныне все под метлу выгреб да по весне укатил в новую гавань Святых апостолов на Аваче. Обещали ему господа важные, кои

там к походу изготовились, что-де ждут они шлюп «Надежда» в ту гавань. Вот он к ней и спешил, чтоб до Охоцка с мехами перебраться, а там ужо, как всегда, до Иркуцку пойдет.

— И то верно: на полу — не на земле спать. Отпирай ворота! — поддержал его Гвоздев.

Поротов, обернувшись к Тимошке, который уже разговаривал с рыжим пареньком, показывая ему острый крюк на палке для промысла рыбы, крикнул ему:

— Тимошка! Подь сюды.

Тот подбежал, оставив Ивашке Рыкову на рассмотрение крючок.

— Дуй к реке да проверь сетчонку в улове. Крючить-то, вижу, проку нет. Можешь с собой пацанов этих прихватить. — И он посмотрел на Гриньку, подбежавшего к Ивашке Рыкову, и добавил: — Рыбы надо, Тимоха, ишь гостей сколь навалило. Дуй.

— Да-а, свежей бы рыбки не мешало, — заметил Гвоздев.

— Старый сам устроит их, а мы пойдем за ковшом браги потолкуем, — пригласил Евтихий Гвоздева.

Вскоре, похрустывая косточками глухарятины, раскрасневшиеся от браги Евтихий и Гвоздев вели беседу.

Ночь уже вызвездилась, когда Гвоздев вышел из избы. Изводящий храп упившегося Евтихия, казалось, проходил не только сквозь щели, но и через стены избы. Гвоздев отошел от жилища и увидел невдалеке яркий костер. Из темени донеслось конское ржание. За мыслями Михайло все ближе и ближе подходил к костру. На ветру, словно грива скакуна, трепалось пламя костра, вокруг которого, накинув зипуны и полушубки родителей, сидели в ночном дозоре крестьянские дети, охраняя лошадей. Гвоздев узнал рыжего Ивашку, который что-то рассказывал, жестикулируя. Рядом с ним на корточках сидел Тимошка Поротов и на длинных прутиках поджаривал куски рыбы. Спиной и боком к Гвоздеву полулежали еще двое, коих он пока не признал. Гвоздев остановился и вслушался.

Ивашка загадочным голосом говорил:

— И вот, когда тех разбойников мимо нашей Калуги проводили, мы с Гринькой сами их видели. Бородищи — во-о! Глаза так и ядят нутро…

Гвоздев решил подшутить и прохрипел из темноты:

— Кто разбойников зрить хотел?!

У костра на миг онемели. И вдруг под резкий девичий крик сидящие к Гвоздеву спиной взметнулись с земли и сбились у опешившего Ивашки.

Обнаруживая себя, Гвоздев заговорил, приближаясь к костру:

— Ну и дозор: возглас и то душу вам в пятки вогнал.

Он присел, чувствуя их скованность.

— Чего столбенеете, крепко струхнули, небось?

Ивашка Рыков ответил:

— Не очень. Это вон она всполошила. — И кивнул на Виринею, которая все еще таращила на него испуганно-удивленные глаза.

Чтобы снять неловкость от своего появления, Гвоздев спросил Тимошку:

— Угостишь чуприками-то? Иль спалить удумал рыбу?

Тот спохватился, выбрал аппетитный кусок и передал ему, потом начал раздавать всем. Гринька, нырнув в темень, вернулся с охапкой кедрача и подбросил в костер. Треск смолистого лапника и едкий дым, от которого кое-кому приходилось уворачиваться, совсем рассеяли у всех смятение.

— А здорово пужанули-то, — захохотал первым Гринька.

Его поддержал Ивашка:

— Вирька-то как ужаленная сиганула чрез огонь, ха-ха-ха…

К его смеху присоединились остальные, и вскоре часть дозорных, хохоча до слез, каталась по траве, припоминая все, что было даже несмешным.

Гвоздев, глядя на разгул веселья, тоже похохатывал вместе с ними, поглядывая на Виринею, которая, прикрываясь платком, заливалась как колокольчик.

«Девица-то весьма спелая уже, — подумал Михайло и припомнил, как в дороге он частенько ловил ее взгляды на себе, но отогнал эти мысли. — Пустое: голодной куме — хлеб на уме».

Вдоволь насмеявшись, все вновь сбились вокруг костра, и Тимошка заговорил:

— И я видел воров-разбойников наяву, токмо нашенских, камчадальских. — И, чуть помолчав, начал свой рассказ о том, как вели на казнь Федьку Харчина и других пущих изменщиков.

Гвоздев поднялся и молча, не мешая рассказчику, отошел, направляясь к избе, в надежде, что ему удастся все-таки заснуть. Проснулся он поздно. Приподнялся, тряхнул головой, огляделся. В избе он был один. Со двора доносились голоса крестьян, собирающихся в путь.

«Евтихий, поди, помогает вьючить лошадей. Однако, меня не будит, чтоб отоспался», — подумалось ему, и он стал одеваться, все еще находясь под впечатлением ото сна.

А снилась ему глазастая Вирька.

«И пошто во сне чувства человеческие глубже, чем наяву? — подумал он и сам себе ответил: — Человек так устроен, что в моих летах одному тяжко. Правда, чего греха таить, иногда уж так захочется любить, что всех бы девок на свете перецеловал. А успокоившись, помыслишь да опять отринешь соблазны до лучших времен своей жизни. А будет ли такое времечко?»

***

Лишь к концу июня два крупных плота подчалили к устью речушки Ключевки, бегущей от подножия Крестовской сопки. Переселенцы, оглядывая место, где им предстояло жить, впитывали глазами холмы, по которым вольготно разбрелись кряжистые березы. К падям и к речушке жались великаны-тополя и их темнокорые спутницы чозении.

Привязав плоты за растущие у берега ивы, крестьяне принялись сводить с плотов скотину да переносить на берег пожитки.

— Акулина, ешьте-корень! Чего варежку-то открыла, не вишь: торбу водой топит! — строжился Дранка на жену, которая засмотрелась на высоченную Крестовскую гору.

— Страх-то господен, сдиваться не могу: до небушка эта горелая сопка, а дым-то так и прет из нее, — причитала она, сходя с плота.

— Ивашка, а ну, огонь раздуй: онучи да обутку просушить, — крикнул сыну Савелий.

Михайло Гвоздев, взваливая на себя последнюю суму, взглянул с плота на берег, где толпились люди, лошади, кучами громоздилась кладь, и подумал: «Вот они, не с ружьем, а с плугом… Принимай, земля!»

Он вышел на берег, свалил с себя суму и выдохнул:

— Все! Тут и есть отменное место для пашни. Бог в помощь вам, крещеные.

Переселенцы враз загомонили.

— Да-а, не заметно тут чистого поля, широкого раздолья. Самим дерева корчевать да новины готовить, а это не враз деется, — заключил Лука Дранка.

— Ясно, не в един год Божьего благословенья ждать надо, — согласно закивал головой Потап Брагин.

— Тут поляны-то для вольной пахоты сыскать можно, чтоб поперва пенья-коренья не ворочать, — заметил Гвоздев.

— Неужто в такой страсти, под самой огнедышащей крутягой жить станем? — усомнилась Акулина.

— Слава те господи, хоть до места дошли: не то как калики перехожие другой год уж скитаемся, — вторила ей жена Брагина.

— Назад пути, считай, с корнем вырваны. Шутка ли, за море-окиян забраться, — заключил Дранка.

— Дранка, ты пугал, что места тут студеные… Позри округ: хоть щас паши да сей, — ухмыльнулся Потап.

— Как слышал, так и баял, — буркнул тот. — Будет ли еще родить-то эта земля?

— А я так скажу: земля всегда дает свое, но смотря какой народ на нее садится — трударь аль пшик, — сказал, будто отвесил, Савелий Рыков.

«Твои бы речи да богу в уши», — подумал Дранка, а Рыков продолжал:

— Насколько разуменья мово хватает: не в особицу, а обчеством, как исстари ведется, дела вести след. Жилье ставить, поля готовить и сена в зиму — да, забот у нас ныне столь, что голова кругом. Сегоды же спехом ставим шалаши и изготовимся, чтоб с утра — и с богом.

— Дай оттерпеться с пути-то, — возразил Лука.

— Мешкать проку нет, — отрезал Савелий Рыков и уже к Гвоздеву: — Пойдем обозрим место, где способнее избы ставить да пашни заводить.

Гвоздев и Рыков, пробираясь сквозь шеломайник в рост человека, пробрели опушку леса и стали подниматься на гривку увала, чтобы сверху оглядеть окрест. Впереди, раздвигая листастые пучки и сочные стебли медвежьего корня, пробирался Савелий Рыков. Вдруг перед ним во весь рост поднялся медведь.

Удивленно рассмотрев оторопевших путников, зверь сделал презрительную мину, лениво опустился на все лапы и не спеша побрел в сторону, лишь заколыхалась его бурая холка.

— Ушел, лохматина, — выдохнул Гвоздев и, глядя на все еще оторопевшего Савелия, добавил: — Сколь меха враз ушло.

— От внезапа сердце аж захолонуло. Тут не до его меха: своя-то шерсть до си дыбится, — сознался Савелий и заключил: — Дика и привольна сторонушка. Не чаял я такое тут зрить.

С увала они оглядели местность. Михайло Гвоздев с трудом узнавал некогда обжитые места.

«Однако, щедра тут землица, хоть и сурова с виду, коль так скоро заросли-задичали места, где стоял старый Нижнекамчатский острог», — подумал он.

Выбрав место и оставив землепашцев, Гвоздев прошел в камчадальский острожек Кыллуша, находящийся неподалеку. В некогда людном острожке грозного тойона-бунтовщика Голгоча — лишь две семьи аборигенов, которые оставлены были тут приказчиком Камчатки с целью удобства для казенной гоньбы. Остальных сродников в назидание за прошлый бунт переселили вверх по течению Камчатки на ее приток — речку Козыревку.

Гвоздев без труда договорился с нынешним тойоном острожка, чтобы утром тот подогнал ему два бата для перевозки казенных грузов и его самого в Нижнекамчатский острог, отныне главный острог Камчатской землицы.

Утром Гвоздев выбрался из-под полога, который он поставил поодаль от шалашей переселенцев, и принялся собираться в путь. Вскоре с увесистой котомкой, вместившей весь скарб, он направился к берегу реки, куда еще с вечера стаскал все необходимое к отправке в Нижнекамчатский острог. К речке льнул чуть розовеющий от зари туман. Заря разгоралась. Огненные полосы текли, расходясь по востоку, пока не высунулось солнце.

Щурясь от восхода, Гвоздев подошел к реке. Тут он увидел, как под обрывистым бережком Виринея, умывшись, заглядывала в воду на свое отражение. Михайло остановился, боясь ее спугнуть, и невольно засмотрелся. Виринея крупным гребнем принялась расчесывать свои длинные, как льняная кудель, волосы.

«Ишь ты, так и льют вдоль стана. Прямо глаз не отвесть», — подумал он.

Почувствовав взгляд, она обернулась и, обдав его брызгами синих глаз, подхватила подол длинного сарафана, юркнув под обрывистый берег, припустила в сторону крестьянских шалашей. Михайло улыбнулся.

«Краса-девица. А и впрямь невеста: сквозиста, легка, приглядна», — размыслил он и увидел, как из небольшой речушки вынырнули два бата и направились к нему.

— Вот и они, — вглядываясь в камчадалов-батовщиков, определил Гвоздев и сошел на галечник, направляясь к своей поклаже.

Виринея отбежала немного и, замедлив движение, чуть отдышалась.

«Чего это я от человека, как от зверя, ринулась».

И, оглянувшись, увидела, как Михайло с камчадалами уже загружал свою кладь в долбленку.

«Авось что-то сказать мне хотел, а я… чумная», — укорила она себя и неспешно побрела к лагерю.

Она давно уже ловила себя на том, что неравнодушна к этому крепкому, с рубленым, будто из камня, лицом человеку. Его открытый, обезоруживающий взгляд всегда источает силу и надежность.

«Так и мнится мне, что он по сердцу прост и по чувству добр, да во всем достойный муж», — подумала она и припомнила разговор своего тятеньки с матушкой о нем: «Вот, Вирька, тебе такого в мужья захомутать. Орел: по полету вижу». — «Чо в нем красы: одне скулы да усы. Служилые… оне все — перекати-поле: лишь блазнить да бросать мастаки», — встряла тогда мать.

Повспоминав, Виринея вздохнула: «Эк, матушка, такого ли не желать, да по нраву ли я ему? И пошто я завсе его чураюсь? Дура! Вот дура! Щас уедет — и поминай как звали». Виринея невольно повернула назад. Стук ее сердца заглушал шорох береговой гальки, по которой она шла.

«Вон, садится уже к ним. Все! Неужто больше так и не увижу его?» — подстегнула мысль, и она побежала.

Слабый ветерок сгущал туманы в облака, которые на глазах таяли под лучами взошедшего солнца. Михайло заметил бегущую Виринею, когда баты уже отчалили.

Он, удивляясь, привстал в верткой долбленке и бросил батовщику:

— Чуть погодь!

Тот попытался остановить бат, но глубина и стремнина делали свое дело. Долбленку сносило вниз. Виринея остановилась и, не сводя глаз с Гвоздева, взмахнула рукой.

Не давая себе отчета, она вдруг крикнула:

— Бывайте к нам! Завсяко-просто!.. Возвращайся!

Гвоздев лишь согласно мотал головой и искренне улыбался, пока можно было различать ее лицо. Какое-то светлое чувство затеплило его душу, и он все глядел на удаляющуюся фигурку в светлом сарафане, которая занозой входила в его сердце.

«Да, годы-то идут, а ласки не вижу. Зверь и тот к ней охоч. Не разметать бы свою жизнь с попутным ветром, — подумал он и, вздохнув, возразил себе: — А чего об этом мусолить. Нет, не потеряна еще вера в предбудущее, и пока душа горит неведомым, до семьи ли тут? Рано жениться: ведь два огня в одной душе гореть не могут. Видно, планида моя такова».

Виринея не сводила глаз с батов, уходящих в понизовье к горизонту, заваленному черными тучами. Лишь когда второй бат скрылся за огибень, она почувствовала, как пылают ее щеки, и чувство неловкости за свой порыв откровения овладело ею.

«Ништо, пусть, пусть знает, что по сердцу он мне», — успокаивала она себя.

***

Вот уже много дней кряду, как тревожат предгорную тишь громкие голоса людей, мычание коров, визг пил, стук да звяк топоров. Впервые дикую землицу разлиновали валки никогда не кошенной травы. Переселенцы спешат обжить, обустроить место, волею судьбы избранное им для поселения. Ежедневно чуть свет они от мала до велика из шалашей расходятся по означенным обществом работам.

Гринька Брагин и Ивашка Рыков были подручными на устройстве поскотины, отгораживали пастбище для животных. Устраивать же саму лесную изгородь — осек — выпало на долю Гринькиного отца Потапа и молчаливого крестьянина Антипа Тюменцева. Гринька с Ивашкой работали наравне со взрослыми. Они рубили из молодых берез колья, растаскивали их

по линии осека, где Потап и Антип крест-накрест вбивали эти колья в землю, связывали вицей и укладывали на них целые лесины с ветками. Июль был на исходе, и в лесу кусты жимолости синели от сладкой в здешних местах ягоды. Подростки, таская колья, между делом успевали захватывать пригоршней жимолость и не мешкая отправлять ее в рот, отчего их руки и рот до ушей стали темно-синими. Со склона увала, по которому они вели осек, просматривались безлесые поляны со скошенной травой. На некоторых из них уже стояли стога сена, огороженные от потравы скотом жердевой изгородью. Так как мужчины в основном были заняты на постройках, то косили и стоговали сено женщины и дети. Оттуда доносились говор, смех и плач малышей. Ивашка всмотрелся в косарей, выискивая Вирьку, за которой с самого Охотска исподтишка приглядывает, но в видимом ему пространстве ее не обнаружил, а увидел свою мать. Они с теткой Акулиной, Вирькиной матерью, проходом в две косы шли по поляне, вдающейся в лес. Ивашка залюбовался работой матери.

«Ишь как вразмах косу-то ведет, я, поди, так не смогу», — подумал он и принялся топором подрубать очередную лесину.

Потап, увидя, что Антип норовит вбить кол в стороне от намеченной линии, заговорил:

— Нет-нет, погоди, ставь далее, дабы и вон та опушка в поскотину попала. Больше воли скоту будет.

— Не хватит ли? Эдак всю Камчадалию огородим, и так уж сколь ден колотим, лесу тьма извели, а конец не виден.

— Антип, земля-то ничейная, для свово скота же готовим. Хороший осек — пастуху полдела.

Солнце покатилось за полдень, когда Антип березовой вицей стянул очередную крестовину кольев, распрямил спину и, оглядев поляну, где мельтешили косынки, сарафаны и душегрейки женщин, заметил:

— Брюхо урчит — полдничать пора. А этот тюха Фома скот до си к бабам не подогнал.

Ивашка с Гришкой тоже перестали затесывать колья и присели на лесину. Они знали, что назначенный в пастухи Фома к полудню должен был подогнать коров сюда поближе, чтобы женщины смогли их подоить, после чего все вместе отполдничать. Хотя, наевшись ягоды, Ивашка с Гринькой голода не чувствовали, но побывать за общим столом было бы не грех.

— А, будь он киловат, этот Фома. Всяко дело изнахратит, даже в пастухах с него проку нет, — отозвался Потап и, воткнув топор в дерево, сказал сыну: — Гринька, а ну, ягоды хоть по жмени нам поднесите.

Ребята метнулись к ягоднику, а Потап подсел к Антипу, вытирая пот рубахой, молвил:

— Все бы тут ладно, да шибко комаристо: заедают напрочь.

Из-под увала донесся истошный крик женщин, и мужики, подхватив топоры, бросились на крик. Ивашка с Гринькой увидели, как там, на поляне, побросав косы и грабли, женщины, на ходу подхватывая детей, с криками устремились к увалу навстречу Потапу и Антипу. Вооружившись кольями, парни тоже побежали вниз.

Потап вылетел на поляну и, не видя причины паники, остановился перед бегущими женщинами:

— Стойте!

Решительные лица спасителей, видимо, подействовали, и женщины столпились перед ними.

— Чего орете?! Бегаете чего?!

— Так ведмедь же!

— Да не один, целая стая!

— Вон, вон оне!

Потап посмотрел: из травы на покос вывалилась медведица с двумя медвежатами. Она водила носом и удивленно посматривала на косарей, как бы думая, какой отпор дать небывалой дерзости пришельцев.

— Тутошние звери все без яри. Поглазеет да прочь подастся, — успокаивал их Потап.

Антип, качнув головой, удивился:

— Вот любопытница… с пацанами пожаловала: непуганый зверь тут.

Один медвежонок выбежал вперед, обнюхал оброненную кем-то косынку и, звонко фыркнув, вернулся к мамаше. За непослушание та поддела его лапой так, что он вкатился в некошеную траву, а сама, будто нехотя, развернулась и удалилась вслед.

— Вот огородим все, ходить не станут, — сказал Потап и тут увидел, как из-за мысочка леса показались коровы.

В предчувствии обеденного отдыха все оживились, быстро забыв о непрошеных гостях.

Вечером, когда солнце коснулось гор, Потап Брагин, забив очередной кол, выдохнул:

— Шабаш. — И, посмотрев на поляну, добавил: — Бабы тож побрели уже.

Ивашка, помня наказ отца, чтоб из лесу с пустыми руками не ходить, вырубил несколько жердин для хозяйства, обтюкал топором ветки и спросил Гриньку, который тоже готовил себе ношу:

— На рыбалку идем?

— А как же, — согласился тот.

Вскоре, сбросив жерди у своих балаганов, Гринька с веснушчатым Ивашкой, захватив с собой крючья, устроенные, как научил их новый дружок Тимошка Поротов, поспешили к реке.

— Живой твари да зверя тут поболе, чем где допрежь жили. Насторожить бы петлю или ловушку какую, — заговорил Гринька.

— Погодь зимы-то.

— И рыбы здесь по реке шибко плавится, поиначе, чем на Лене-то, — продолжал Гринька Брагин, но Ивашка перебил его:

— Я даич тако улово нашел. Пошли туда, там рыбу цеплять ловчее. Вон, у той березы, что на бугре.

— Айда, — согласился тот.

Они подошли к одинокой березе-растрепе. Вся скрюченная и изогнутая, она противостояла тут всем разгульным ветрам.

Ивашка указал на речную заводь:

— Вон у той поточины так и плещется: с нее-то и крючить след.

Перебравшись на корягу, с которой хорошо просматривалось галечное дно реки, они выжидали, когда темноспинные рыбины подплывут ближе, к опущенному на дно крючку. Выдернув две рыбины, Ивашка перебрался на берег и поджидал Гриньку, яростно отбиваясь от тучи наседающих комаров.

— Будя тебе, ведь и этих не донесешь, коих уже вытянул.

— Тут покрупней ходят, а тех брошу, — вошел в азарт Гринька.

— Для ча попусту живность изводить-то? Пойдем ужо, — не унимался Рыков.

— Отстань, короста липучая, все ты поперек меня идешь! Сам знаю!

Ивашка встал и, подхватив под жабры свой улов, направился к поселению.

«Хоть в лесу, хоть на речке — всегда лишь бы больше истребить ему. К чему жадничать-то?» — недоумевал обиженный Ивашка.

Совсем стемнело, когда Ивашка в построенном из кольев шалаше, плотно прикрытом травою, пробрался на свое спальное место. Стоял густой запах травы и подвяленных на солнце стеблей пучки. Отец у костра, доводя отточенное лезвие плотницкого топорика, нудно елозил камнем по металлу: «Зи-и-и… зи-зи-зи…»

С лежанки, устроенной в шалаше, мать упрекнула его:

— Отец, будя тебе. Щас и так ночи коротки. Не намаялся за день?

— Спать, спать, кто ж делать все будет, — ворчнул тот, входя в шалаш.

— Не в един день, — не сдавалась матушка.

Савелий прилег и заговорил с женой:

— Там есть еще чего косить-то?

— День-два посшибать меж берез. Трава-то местами велика, но кормового в ней чуть.

— Да-а… — только и произнес он.

Савелий за это время и сам заприметил, что здесь в каждом почти дереве есть ранняя гниль сердцевины.

«Значит, сырости тут много, — думал он, — а от сырости излишней трава дуром-то и прет. Худо, коль так, ведь хлебушку-то лишняя влага не впрок будет…»

— Тятьк, а тятьк, пошто всем избы заобычные рубите, а наша больно оконистая выходит?

— Я, сын, хочу хоть единожды в жизни срубить избу по душе своей, как того мне мера и красота подскажет. Светлая изба будет, с печью и трубой, чтоб в горенках ни дыма, ни сажи. Тут зверя много: окончины есть чем затянуть.

— Боже, можно ли тако? Извеку в избушках-курюшках жили, и щас обойдемся. Чай, не боляре, в светелках-то жить. Кто его ведат: наобещали, поди, что подати первые годы не станут брать, а как почнут? Где вольную копехшу брать за трубу-то платить? — отозвалась мать.

— Вот и другие так же рассудили да светлые избы ставить забоялись. Три года без податей разных обещано нам. Чего еще?! Хоть столь по-людски пожить.

Слушая разговор родителей, Ивашка вспомнил курную избенку в Качуге. Плотный едкий дым, из-за которого видно человека лишь по пояс, клубился у прокопченного потолка и вытягивался в волоковое оконце в стене. В закопченном углу на божнице, темной от времени и сажи, лишь по праздникам появлялось в избе белое пятно — полотенце над иконой, но ненадолго. В темной избе с маленькими оконцами бледнели лишь выскобленные верха лавок да стол. Ивашка так и не смог представить себе, как же будет в избе без сажи и дыма.

Поразмышляв немного о новой избе, он снова заговорил:

— Тятьк, народ-то тутошний никак совсем дикоплеший: напрочь дичится. Даич один за мной и Гринькой зыркал из кустов, а как мы пошли к нему, такого деру дал, лишь треск в кустах.

— Поживем — увидим, — отмахнулся Рыков-старший.

— Тятьк, пошто столь собак тут. Стаями носятся и что волки воют, а не лают.

— На воле-то завсегда они дичают. К зиме-то всех их хозяева по упряжкам разберут… И будя тебе тятькать. Спи ужо!

***

Сразу по возвращении Гвоздева в Охотск его разыскал вестовой от Мартына Шпанберга. Михайло Гвоздев не заставил себя долго ждать и вскоре уже был в канцелярии Охотского порта.

Когда Гвоздев зашел к капитану Шпанбергу, тот, приподнимая голову от бумаг, будто клювом, повел своим крупным с горбинкой носом в сторону геодезиста и, в улыбке обнажив крепкие крупные зубы, на приветствие молвил:

— Рад, что в здравии тебя вижу, присядь ближе. Честно сказывай: дел настоящих желал бы ныне?

— Тут, пребывая в закоснении, о таких делах надежда лишь и оживляет мое сердце, — сознался геодезист.

— Да, сие рвение мне ведомо. По себе знаю: горько, когда препоны на пути. Я вот тоже и поныне стремлюсь всеми силами быть полезен России и на дальних пределах сыскать да умножить славу ее, но знаю и то, что трижды горько, когда вдруг поймешь, что радения твои впустую и никому не нужны.

Гвоздев утверждающе кивнул головой и заговорил:

— Горько и нелестно… Который год уже в Сибири да Камчатке при многотрудной службе состою. И в сим труде своем никоя пользы для себя не обрел. А возьми однокашников по академии. В ближайших к Московии местах… те давно уже ходят в геодезии подпоручиках. Про наш рискованный поход к неведомой землице, оказалось, Сенат и знать не знал доселе, а мне никаких рангов и поныне, лишь застенок на два года да пытки понапрасну. Слава богу, хоть вконец не извели. Вот так рвение мое оценено. Одно лишь тешит да вдохновляет, что не им, а России-матушке да совести своей служу.

— Коли так, слушай… — И Шпанберг принялся читать ордер, присланный ему Берингом с камчатской гавани Петра и Павла: «Благородный господин капитан… По сему ордеру отправить из Охоцка Ламско-Пенжинским морем одно морское судно из команды вашей в удобное время… учинить осмотр и опись побережья во всем непременно… А буде в том судне вам нужда, то извольте обретающего при Охоцком правлении геодезиста Михайла Гвоздева… послать из Охоцка к упомянутой Уде-реке… И выдать ему, геодезисту, и служилым денежное жалованье, на сколькое время надлежит, и провиантом сухопутным от экспедиции удовольствовать, а ежели чего не имеетца, то оного, також служилых и подвод да денежного жалованья извольте требовать от охоцкого командира Девиера, и чтоб о даче тех подвод в пути от места до места… дана была подорожная. И выданы б были ему, геодезисту, для роздачи подвозчикам поверстные деньги по силе плаката, а буде где подвод нет, то ему итить по берегу и пешком… с лодками…»

Шпанберг посмотрел в оживившиеся глаза геодезиста:

— Ну как?

— Рад всей душой, но Девиер?..

Мартын Шпанберг прервал его:

— Нынешний охоцкий командир — не то что бывший Скорняков, гордец и враль, алчущий власти, этот чтит указы командора и поперек не пойдет.

Который день уже над Охотским краем густо месились тучи. У устья дикой речки Уды дымил необычный в этих нехоженых местах костерок. У огня, ссутулившись, сидели плотницкий десятник из Охотской команды Шпанберга Фролов и толмач-тунгус Итанка.

— Парит. К дождю, однако. Взмок ужо, а одежку не скинешь: комар заедат. Тут, на взморье, и то спасу нет от проклятущего, а каково ныне в верховьях реки? Не завидую я Гвоздеву. И на кой ляд попер реку смотреть, когда сказано: берега моря да устья рек описать. Ну пусть, пусть погрызет его гнусье, не все ему над нами строжиться, — рассуждал Фролов.

Итанка усердно грыз подвяленную закисшую кетину и время от времени согласно кивал головой с загнутыми сзади косичками волос. Ветерок начал сносить дым в сторону от Фролова, и тот, продернув колодину, сел под дым. Взглянув на толмача, подумал: «И как его комарье не донимат?» Ветер опять сменил направление, и Фролов принялся из припасенного для костра плавника мостить стенку у костра, чтобы она попридерживала дым. Потом на огонь бросил охапку зеленой осоки. Белый едкий дым закрутился меж стенок и свалился в сторону Фролова.

Тот закашлялся:

— Тьфу, черт! В таком не усидишь.

Итанка хихикнул:

— Пошто из себя копченка делай. Комар надо самого кушай, боится пусть. — И он, ухватив горстью гущу комаров, сжал их и, слизнув с ладони, съел. Лукаво поглядывая на Фролова, выжидал.

Тот, хохотнув, ответил:

— Теперь ты у меня юколы не получишь, пока в округе комарье не пожрешь. — И добавил: — Будя сидеть, пошли сплывем: глубины в речке померим. Не то вернется скоро наш неугомон-ретивец, а у нас дела нет.

Они подошли к берегу реки, где стояла лодка, и Фролов показал Итанке затеску на ольхе, уже затянувшуюся ржавым соком:

— Отсюда будешь грести вон на ту косу, а я шестами стану мерить да на каждом пометки ставить. Хорошенько приметь затеску да мотри, дабы не снесло.

Тот согласно кивнул головой:

— Моя добре, затески знай. — И полез в лодку.

Худой, с темным обветренным лицом, Михайло Гвоздев возвратился с верховий речки к вечеру. Умываясь холодной речной водой, он наслаждался, делая примочки на искусанные лицо и шею, потом подошел к костру.

— Заели, небось? — спросил десятник.

— Особливо там, продыху нет от гнусья.

— Вот, ушицы отведай, Михайло Спиридоныч. Мы тут того… все, как велено, справили, вон и мерные шесты у полога лежат.

— Там промерил, где указал? Едва смею верить: ведь течение реки немалое.

— Сам дивился ловкости инородца. Как указал ему, так и держал он на ходу лодку: шел без сноса.

— Когда так, то похвально.

После трапезы Гвоздев, захватив с собой журнал, который ему предписано было вести, и гонимый комарьем, направился к берегу Ламского моря, которое теперь все чаще стали называть Охотским. На продуваемой ветром лайде он умостился на полузамытой песком коряге и огляделся. Слева высился угрюмый останец каменного массива, выходящего к морю. Он, будто черный великан, шагнул от берега в воду, чтобы поплескаться с волною. Усталые, но цепкие глаза Гвоздева нащупали вдали очертание острова, которое от пасмурной погоды замутилось, сливаясь с тусклым небом. Гвоздев открыл журнал, где на первой странице был подклеен указ Мартына Шпанберга. Михайло еще раз пошарил глазами по давно знакомому тексту… «От Охоцкого устья в Уцкую сторону сей весь берег в морском пути неизвестен. Того ради тебе, Михайло Гвоздеву, надлежит: двести верст вдоль берега на юг от Охоцка смотреть: реки, кои текут в море, измеряя глубину в устьях, особо р. Уды, угодные по ней пашенные места и наилутшие места рубок леса для судов. Смотреть острова, лежащие на море, кои от берега в виду. Быть на них самому для лутчаго описания и обсервации. Исправно писать диюрнал для составления ландкарты. Во всем должно быть прилежное старание, что из репортов твоих впредь усмотрим, и по исполнении сего удовольствован будешь…»

Михайло едко ухмыльнулся и размыслил: «Слава богу, время не токмо морщин на лице добавило. Знаю я эти „удовольствии“, отведал, как и отведали знатные мореходы, кои тут в нищете сгинули, тот же Буш, Сметанин, Мошков Кондратий, а взять Ивана Федорова да и Генса — всех удовольствовали, кого смертью голодной, кого муками… Почему отдавшие жизнь

на благо Отчизны в голодной и холодной старости прозябают лишь на милости народа? Почему цари видят токмо ближних, кто глаза мозолит да при случае шепнет на ухо, а не тех, кто животы кладет, славу и пользу России-матери умножая? Почему наветом можно перечеркнуть все полезные деяния для отечества и даже жизнь? Почему кто больше радеет, не щадя живота, тому больше недоверия и обид несносных чинится?.. Боже, как же умерить бунт души, дабы не впадая в грех смириться?!»

Гвоздев тяжело вздохнул, посмотрел, как морщинится ветром море, и, повернув голову к биваку, крикнул:

— Поутру на остров пойдем, лодку просмотрите. — И подумал: «От напастей всех токмо в труде и есть забвение».

Утром Гвоздев, выбравшись из полога, взглянул на море. Волны так же, как вчера, усердно вылизывали лайду да крушились у подножия скалистого останца. Тучи местами очистили небо, будто разверзли бездну синевы.

Он подошел к своим спутникам, уже суетившимся у костра:

— С хорошим утром вас. Подхарчимся — да в путь. — И направился к реке, поглядывая на свои ладони рук, веслами отшлифованные до блеска.

Фролов посмотрел ему вслед: «Знать, не раздумал. Другой не почел бы за нужду в таку волну к острову еще тащиться, а этот сам умается с нами, но не отступится, коль решил. Придется идти».

***

Вот и пролетел хлопотный месяц август — густырь. Камчатка являла переселенцам свою щедрость. В округе густо было от жимолости, голубики, брусники, черемухи и рябины, а разных грибов и подавно. К осени небо стало выше и строже и как бы холодинкой из бездны синевы предупреждало: бери-собирай дары новой землицы, камчатская зима долга — поесть спросит.

Теперь, когда крестьяне перебрались жить в избы, которые крепкими белыми грибами уселись на склоне пологого холма, спускающегося к речке Ключевке, распорядок жизни переселенцев сменился. Женщины присматривали за скотом в поскотине и припасали на зиму все, что давала природа. Антип Тюменцев целыми днями заготавливал клепку, строгал, подгонял ее, собирая

бочки, бадейки, ушаты. Чтобы не заводилась в них плесень за время зимнего хранения съестных припасов, его жена тут же выпаривала их с можжевельником, после чего раздавала эти посудины в каждый двор по очередности.

Рубкой амбаров и сараев для скотины теперь занимались лишь четверо из крестьян. Сараи они рубили из неошкуренных лесин, чтобы успеть к зиме закончить со стройкой. Некоторые дворы уже были огорожены жердевыми заборами. Савелий Рыков настоял все же: где возможно, сошить землю, не дожидаясь будущего года. И теперь с ближних к селению полян наносило дымом от пала, которым выжигали сухую траву с отцветшим буро-малиновым кипреем да кустарниками, завесившимися седой вуалью паутины. Осень стояла сухая; с огнем шутки плохи, того и гляди, от пустоши и лес огнем займется. Поэтому поляны выжигали с надежной охраной. Длинными прутяными вениками сбивали огонь, подходивший ближе к лесу.

Кустарниковая целина на подъем тяжелая, и, чтобы дела на вспашке шли быстрее, решили пахать сменными лошадьми: ежедневно в сошной упряжке, состоящей из шести лошадей, две лошади заменялись на свежих. Каждое утро Лука Дранка и Ивашка из табуна пригоняли к пашне назначенных лошадей, и, пока они их спаривали в связку, Савелий Рыков правил огнищевую соху. На ее деревянный зуб-полоз он надевал сошник, настраивал клиньями полицу для отвала земли. Не просто сошить целину новин, потому и долго настраивают соху. Для вспашки дерна лемех-сошник надо было выставить почти плоско, чтобы брать глубину не более чем полтора-два вершка, иначе корни кустарников да деревьев не дадут сошить. Вот и сейчас, когда лошади были уже готовы к подпряжке в соху, Савелий все еще пыхтел у сохи, вымеряя угол отвала деревянной полицы.

Уловив нетерпеливый взгляд сына, он ответил:

— Кто ленив с сохой, тому весь день плохой.

Ивашка и сам уже понимал это, так как за прошлую седмицу они вспахали чуть больше десятины земли. Плохо, что лошади еще не спаровались, как обычно, да земля кореньями будто прошита так, что дважды по одной борозде соха в соху проходить нужно. А если еще и соху как след не настроить, и вовсе не сошить, а себя мучить да люд смешить.

Лука Дранка повел свою лошадку впрягать в борону.

«Боронить легко, но нудно: по одному следу походи-ка сорок, а то и полсотни раз. Не-ет. Эта работа не по мне», — размыслил Ивашка, глядя, как Дранка вяжет лямки постромков к двум спаренным боронам-двадцатизубкам.

Ивашка вспомнил, как раньше, когда он годами и ростом был еще не так велик, помогая отцу боронить, всегда ездил верхом на пристяжной лошади и, подгоняя ее, направлял по пахоте. Но пахать целину — не боронить. Теперь он должен водить лошадей, запряженных в соху попарно — цугом, да время от времени подменять отца на сохе, постигая науку, необходимую потомственному пахарю.

Изготовившись, отец кивнул ему:

— Трогай.

Ивашка потянул за уздечку Гнедого, и вереница лошадей, натянув плетенные из ремней потяги, побрела вслед за ним. Савелий, углубив сошник, напряженно ссутулился над сохой и пошел настороженно, чувствуя ее как продолжение своих рук. Поскрипывала ременная упряжь, пропитанная дегтем, похрустывали корни дерновины, взрыхленной сошником, — и вскоре запах конского пота и дегтя смешался с запахом собственного пота Савелия. Чтобы не терять времени на развороты лошадей, распашку вели от середины по кругу. Частые остановки из-за зацепов за крупные корни злили отца. Опасаясь очередного зацепа, он чуть приподнял соху и не успел вовремя заглубить ее, оставил участок невспаханной земли.

— Куды тянешь! Будь ты пронят! Вон огрех каков остался. Пять назад!

Ивашка осадил лошадей и, приподняв морду Гнедого, принялся пятить его. Запряженная сзади Гнедого кобыла куснула за напирающий на нее круп коня, тот, взбрыкнув, мощно лягнул ее. Кобыла шарахнулась в сторону, дернув за потяг так, что сгрудила всех лошадей в кучу, и, оборвав свой постромок, выскочила из упряжки.

— Ну-ну, балуй! Нечистый дух! — рявкнул Савелий и, бросив соху, кинулся ловить кобылу, чтобы та не унеслась в табун.

Схватив за обрывок ремня, он подвел ее к упряжке.

— Паршивец! Окаяни тебя! Прибью под горячу руку! — отвесил подзатыльник сыну, срывая на нем досаду за вынужденную

остановку. — А ну, дуй в амунку. На стене там веревки-плетенки. Неси ту, что покороче, в два маха, не более. Да живо!

Ивашка, сбегав в селение, вернулся с ременной веревкой, и они вновь принялись за пахоту. Через каждую дюжину кругов они останавливались заменить сошник. Его положено точить через четыреста сажен вспашки, но так как пахота делалась на общество, то на поле снесли сошники со всех дворов, чтобы не терять время на заточку, а менять их. Вечером каждый точит свой и к утру отдает вновь в работу. Поэтому задержки на смену сошника были краткие.

«Так пахать можно еще. И кони осенью сильней, чем весной, и без паутов спокойнее», — рассудил Ивашка.

Видя, как взмок отец, он попросил:

— Тять, а ну, дай я пройду. — И остановил упряжку.

Савелий мотнул рыжей головой, стрясая пот, закисший на кустистых бровях, и согласился. Ивашка взялся за рукояти сохи, торчащие из колоды полоза, и стал примеряться.

— Больно долго ладишься, командуй ужо.

— Трогай, — подражая отцу, крикнул Ивашка.

Савелий повел лошадей, то и дело поглядывая на сына.

Соха в его руках беспрестанно выскакивала наверх, и борозды получались кривые и нечистые, но отец помалкивал.

«Не враз дается, пусть, все одно еще поперек ходить со вспашкой, там и выровняется», — думал он.

На втором кругу у Ивашки от напряжения заломило в плечах и стала уставать поясница. Он сильнее подналег на соху, и та, дернувшись, врезалась, будто якорь, в землю.

Но отец уже остановил лошадей и наставлял:

— Знать, корнище, чуть выдерни — и пусти с подрезом.

Когда вымотавшийся Ивашка, заливаясь потом и не чувствуя рук, запросил подмены, Савелий, ухмылясь, заключил:

— То-то, не от росы урожай, знать, от поту.

За работой Ивашка и не заметил, как пролетело время, и лишь увидя, что Виринея принесла своему отцу Дранке узелок с едой, определил, что пора полдничать. Он окинул взглядом окрест и, не увидев матери, подумал: «Скоро и нам мамка принесет, тогда и отдохнем как след».

Ведя Гнедого под уздцы, он нет-нет да и поглядывал в сторону, где работал Дранка. Он видел, как тот принял узелок

у дочери и пошел в тенек под березку, а она, взяв коня под уздцы, повела его по пахоте, подменяя отца. Давно уже нравится Ивашке эта светловолосая, с голубыми, как цвет льна, глазами Вирька. Правда, она чуть постарше Ивашки, ну два года — разве это срок? Ему припомнилось, как они недавно ходили вместе по ягоду. Так и стоят в глазах фиолетовые жесткие листья голубики, сизые ягоды можжевельника — и над ними ослепительный блеск ее улыбки. Нет краше-лучше ее никого!

— Беспуть этакий! Неужто до сих пор лошадь не чуешь?! Не видишь, что из кожи вылупиться готова, а ты тянешь! — разразился в ругани отец.

Задумавшийся Ивашка вздрогнул и принялся осаживать лошадей. Крестьянская основательность в деле и любовь к порядку, ужившиеся в душе Савелия, не могли мириться с тем, что делалось спустя рукава. Он выдернул глубоко врезавшуюся в землю соху, отмотал с колоды обрывок постромка и, подойдя к сыну, огрел его вдоль спины.

— Делай, как положено! Не на год приехали — на жизнь!

Ивашка крутнулся от хлесткого удара, обжегшего спину, и, глядя отцу в глаза, ответил:

— Полно, тять, лишь бы хулить.

— Огрызаться бушь, перекоробь тебя враг!

Они и не заметили, как подошла Ульяна.

— Чего ты на ребенка ощетинился? — заступилась она за сына.

— Помолчи, порожня мельница, — беззлобно ответил он.

Согнав хмурь с лица, Савелий, взглянув на лошадей, которые стояли понуро и изредка вздрагивали, бросил Ивашке:

— Отпряги их.

Потом обратился к жене:

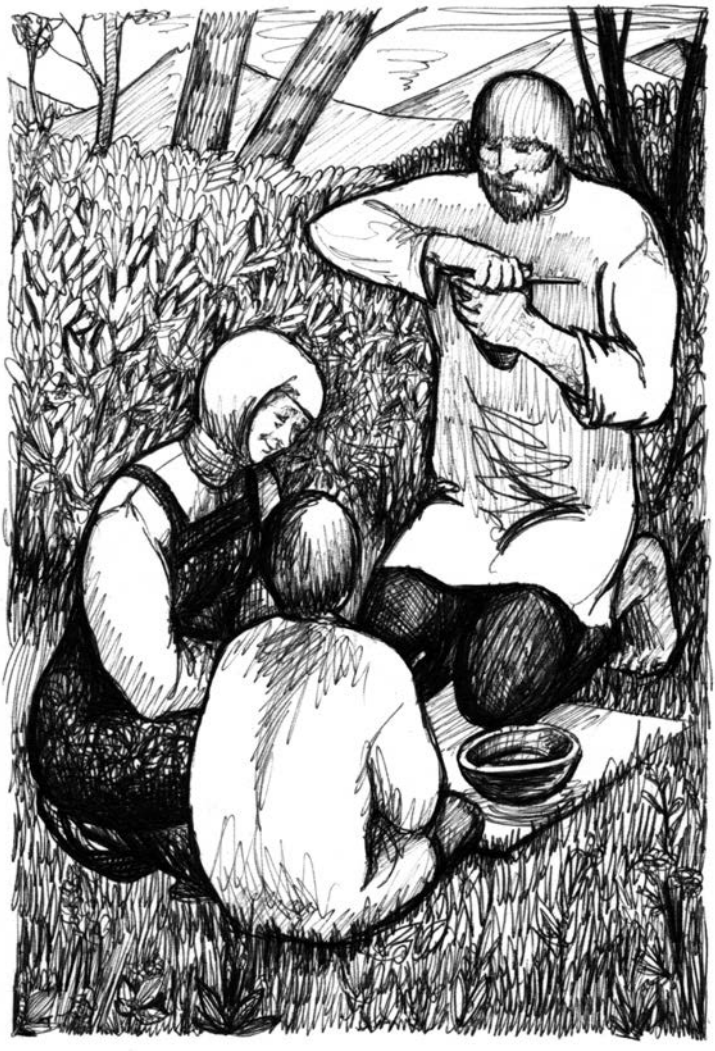
— Солнце к паужину пошло, а тя до сих нет, чтоб тя хрустнуло!

— Да что ты, совсем лайкий стал, как собака. Ребенка мордуешь. Кто ж так учит.

— Сыну желай добра — ломай ребра.

— Будя, будя самоваром пыхтеть. Пошли в тенек: снедать, поди, приспело.

— Давно пора, — буркнул хозяин.



— И так спешила, вон, вздых перевести не могу. Нынето стадо беспастушное, дак пока все поляны обредешь, дабы свою буренку сыскать, сколь время убьешь, — частила она, расставляя деревянные миски на расстеленный в тени деревьев платок.

Ульяна из туеска поплескала водой на руки мужа и подала полотенце.

Потом в одну из мисок налила молока, приговаривая:

— Ванятка-то любит хлеб в обмочку с молоком кушать, а с парным тем паче.

Нарезая тонкими ломтями ржаной хлеб, Савелий уже без сердитости в голосе заметил:

— Ну, матка, что там еще в печи, быстро на стол мечи.

Она из корзины выставила глиняный горшок с варевом из рыбьего мяса с зеленью и кореньями.

— Вот, здору сготовила, горячий ишо. — Обернувшись, крикнула Ивашке: — Сынок, поспешай. — И добавила: — Я ему кедровых шишек вот сорвала. Много их ноне — пропасть. Весь стланик шишкой усыпан.

— А, лишь мусорить брюхо, — махнул рукой Савелий.

Глядя, как аппетитно частят ложками рыжие, как осень, отец и сын, она заговорила:

— Благо, хоть тут в лесу эти поляны, божьи пазухи, сыскались, а не будь их, сколь сил на корчеванье-то убить бы пришлось. Потап Брагин сказывал, что за увалом еще для пахоты в лесу пазухи нашел. Однако, сегоды туды выжигать пойдут.

— До зимы успеть бы всем по десятине вспахать да заборонить, чтоб к весне залог каждому хозяину имелся, а боле-то нынче не поднять, — отмахнулся Савелий.

На послеобеденный отдых к Рыковым подошел Лука Дранка.

— Своих рыжиков подкармливашь?

— А как же, не святым духом, тут рыбы в реке больше, чем воды, — чего не жить, — ответила Ульяна.

— И впрямь: моя Акуля також худа была, а ныне бока округлели, — усмехнулся Дранка и привалился на траву. Поглядывая в сторону дыма от выжига травы, он заметил: — Опасно палы ходют; сухмень тут осенью. Ныне утром опять иней был — к сухой погоде.

— Жечь-то полбеды, а вот после пала сразу пахать под гарью — сажи наешься, — ответил Савелий.

— Ну и земелька тут, будь она неладна. Добрые пахари и то черева подорвут, — начал опять Дранка.

— Земля как земля.

— Да слышу я, как ты то и дело из матушки в мать понужаешь.

— Эт норов такой. А землю бранить грех. Она всему начало. Первые годы, ясно, не мед. Вот новую земельку подымем, черным паром постоит, и коль поболе успеем напахать, то и под озимь часть землицы пустить бы не грех.

— Все ты спешишь жить, Савелий. Сам на измор горбатишься и всех того и гляди в гроб вгонишь. Тут-то сколь рыбы, а зверья… В лес токмо вошел — и медвежатина. Готовь всего, а в зиму живи не печалься. Чего ты удумал ныне распашку вести? С весны бы, как положено, и начали. Сколь сил нечеловечьих положили, чтоб жилье успеть срубить. Думали, осенью отдышимся да зимой зверья подловим, рухлядишко-то не помеха, чтоб зажить безбедно, — выговаривал ему Лука.

— Эх ты, курицын сын. Без соли ни мяса, ни рыбы в достатке не заготовишь. На эту зиму привезенной соли у нас хватит, а потом… В краю, где деньги не в чести, токмо на хлеб и можно все достать. Вот и смикить: надо спешить с пашней аль нет?

Пока отец с Лукой разговаривали, а мать собирала в корзину посуду, Ивашка завалился на спину и глазел в небесную синь осеннего неба. Управившись, мать подсела к нему и огляделась.

— Так и валятся наземь листья. Вот и подкатила осень на пегой лошаденке.

Ивашка перевел взгляд на дерево, под которым лежал, и увидел, как на ветках редкие листья трепещутся, словно бабочки на ладонях.

Мать вздохнула:

— Если к октябрю лист с березы осыпется начисто, жди суровой зимы. Так у нас на Лене было. — И, посмотрев на молчавшего Ивашку, добавила: — Ты, сыночек, на тятьку-то не серчай. Он обидел, он и пожалеет. Хорош тот, кто хорошему учит, а крестьянить-то, сынок, ой не просто. Ну, я пойду.

И, поправив ему волосы на лбу, поднялась.

ГЛАВА 4

Заметно поскучнело солнце, и настал укорот дням. Кузьма Щербак только что закончил класть печь-каменку в своей новой избе. Он вынес наружу корыто с остатками глины и огляделся.

«Вечереет, а Настасьи со Степашкой до си нету-ка. Не заблукали бы, грибы собираючи», — забеспокоился он.

Кузьма отошел в сторонку от избы, чтобы посмотреть на нее. Уже который раз он так поглядывал на творение рук своих и всякий раз довольствовался: «Изба на славу: просторна и высока в меру». Казалось бы, радоваться надо, что из старой землянки наконец-то перебрался в рубленую хоромину, но радости-то нет. Когда он еще рубил стены, Артем Обухов удивил его вестью, будто слышал, что у речки Ключевки ставят селище крестьяне.

— Ну, плутни. Пустой слых, — отмахнулся тогда Щербак.

Ан нет: третьего дня Обухов вновь обсказал ему, де сам зрил, как сошные жгут да пашут себе новины. Тут-то Кузьма и потерял покой. За эти дни он всяко думал о своей жизни, и выходило, что жизнь его лишь ощербатила, а мало чему научила. Потому как, чем бы он ни занимался, все не то: ни мореходить, ни казачить душа не лежит. Промыслом либо охотой — тоже не приемлет душа. Чем и как жить? Этот вопрос крепко донимал Щербака. Оттого и в душе у него будто какая-то пустота, крадущая радость жизни. Чем больше Кузьма раздумывал об этом, тем яснее становилось, что избу он поставил не в том месте.

«Знать бы раньше про крестьян, там бы и жилье рубить. Чего ни скажи, а нутро русское так и тянет к земельке», — рассудил Щербак и вздохнул.

На следующий день Кузьма плыл вверх по Камчатке к селению землепашцев. Самому посмотреть, убедиться. Вернулся домой, окрыленный увиденным. Он подошел к избе, подхватил бросившегося к нему сына и покружил его. Поставив Степашку на ноги, вместе с ним вошел в избу.

— Настасьюшка, гляди-ка, чего привез! Такого тут допрежь не видывали! — снимая котомку, выпалил Кузьма. — А ну-ка, поднеси ковши.

И, достав из котомки жбанец, налил в подставленные ковши молока.

— Пейте, пейте же. Это молоко! Эх, заживем-ка теперь! Хлебушек свой да молочко — ну как тама-ка, в местах родимых.

Настасья подивилась на молоко и, чуть отпив, поставила ковш на стол.

— Не кисло, не сладко и не горько. Однако, зачем эта белая вода?

Кузьма опешил.

— Это же молоко! Мо-ло-ко! Понимаешь? — загорячился он.

Она улыбнулась и пожала плечами.

Степашка, глядя на мать, тоже намеревался поставить ковш, но Щербак погладил его по голове:

— Особо детям от молока польза. Пей, сынок. Все допивай.

Степашка выпил.

— Молодец, казак, атаманом будешь.

— Угу, — мотнул головой сын и потянулся за полным ковшом Настасьи.

— Вот это ладно, сынок, — облегченно вздохнул Щербак и продолжил: — Возьму письменную мочь на посад к пашенным, и после зимы начнем крестьянить. Так-то, мои чернобровые.

Сменив промокшие конской кожи сапоги на сухие торбаса, Кузьма направился к выходу.

— До Обухова я, совет держать.

Смеркалось, когда Щербак вернулся домой. Перед входом мимо него из двери вышмыгнул Степашка.

Осуждающе глядя на мужа, Настасья упрекнула:

— Не надо нам молоко. Который раз сынок за избу мчит.

Кузьма заулыбался:

— Свыкнет, не беда.

***

Получив от Михайла Гвоздева одиннадцать сум семенного зерна для землепашцев и строгий указ от начальника Охотского края и Камчатки Антона Девиера, приказчик Нижнекамчатского острога Колесов долго ломал голову, пребывая в сомнениях, кого посадить к переселенцам в старосты. Лишь когда Щербак подал прошение на подселение к землепашцам, Колесов решил, что оттягивать с назначением старосты нельзя. Вскоре

денщик привел к нему казачьего пятидесятника Никифора Колыгова.

Приказчик, смерив взглядом крепкого матерого казачину и в душе одобрив свой выбор, заговорил:

— Намерен я пожаловать тебя в конные казаки. — А сам пристально всматривался в Колыгова, пытаясь уловить его реакцию на этакую весть.

Зная, что у конных казаков жалованье выше, Никифор принялся соображать.

«Где ж тут кони? Уж не подвох ли каков?» — напрягал свои извилины Колыгов и недоуменно поглядывал из-под нависших бровей.

Колесов, довольный, что загнал в тупик собеседника, снисходительно ухмыльнулся и назидательно произнес:

— Отныне жить тебе среди землепашцев, коих на речке Ключевке посадили. Крепко смотреть, дабы радели в разведении хлебов, исполняя волю государыни. Знать, не задарма им из казны на каждый двор по пятьдесят рублев выдано да скотом и зерном подмога содеяна. Смотри, чтоб вовремя сеяно и собрано хлеба было. Во всем будь старостой и спрос чини строго. Сам ведаешь: места здесь богаты, кто ж тут так себе, без нужды особой горб гнуть станет? Потому без палки и понука нельзя. За то и назначаю тебе жалованье, как конному.

— Токмо вот… у меня кроме держалой женки дочь двух лет от роду. Где жить там стану? Избу одному к зиме не поднять, — замялся Колыгов.

Приказчик скривил лицо, выказывая свое разочарование:

— Кто там староста — я или ты?! И жилье поставят, коль ты не дурак! Еще раз грю: крепко смотри, дабы не жили там праздно. Недоглядишь оком, заплатишь боком! Больше двух ден на сборы не даю. Иди.

Колыгов, как и другие камчатские служилые, беспокойной жизнью к оседлости не приучен и был всегда легок на подъем, но сейчас вышел от приказчика, ошарашенный своим назначением. Ему уже как-то не хотелось покидать насиженное за последние мирные годы гнездышко да в предзимье тащиться с семьей на голое место. «Рвать ясак, ходить в набег — дело свычное, а тут за землепашцами смотреть. Дело новое, неясное. Суетиться ради этого есть ли резон?»

И покумекав еще, вспоминая юркоглазую дочурку свою, забавницу Любашку, рассудил: «И впрямь, будто за хвост семья казака держит».

Не доходя до дома, он в нерешительности остановился.

«Чего же деять? Идти собираться, не то с дружками новость обмозговать?» — подумал он и свернул на другую улочку.

Наутро Колыгов проснулся поздно. Томила жажда. Он подошел к бадейке, зачерпнув ковш воды, отпил немного, плеснув остатки в ладонь, охладил волосатую грудь и крепкую шею.

«Вчера угарный день вышел. С приятелями столь браги выдули. Никак до полночи песни в четыре-то хайла орали, покуда не сморились напрочь. Как разбрелись по избам — не помню. А ныне надо успеть за день собраться, завтра ужо баты для провозу приказчик выдаст. Тяжко… а успеть надо», — туго ворочал мозгами Никифор.

Он еще повспоминал вчерашнюю бузу, довольствуясь тем, что казаки откровенно завидовали его назначению. Особо запали в душу слова Якима Мухоплева: «Мне бы тако: знай лежи на боку да смотри за реку. Ни походов тебе, ни суеты и лишений, одним словом — барин». Никифор даже взбодрился от этих воспоминаний и, выпятив грудь, подумал: «Ба-а-арин… Я порядки-то свои заверну круто».

На следующий день дружки-товарищи Колыгова помогли загрузить в баты нехитрые пожитки и к ним три куля соли да два десятка кубов нерпичьих шкур, залитых ворванью — жиром, топленным с морских зверей. Все это Никифор приобрел в мен за свою избу, которую он уступил вновь прибывшему в Нижний острог священнику-миссионеру Феофилакту. Колыгов знал цену соли и жиру и надеялся, что от продажи этого товара крестьянам он всегда будет иметь хлеб, столь желанный русскому человеку, особо в Камчадалии. Кроме того, Никифор получил от приказчика несколько фунтов пороха и три десятка жеребьев для обережки землепашцев на случай измены инородцев.

Вскоре замелькали мокрые шесты батовщиков, отбывающих казенную гоньбу, и караван из четырех батов двинулся вверх по реке. Осенний покой мироздания царил вокруг. Вода в дремотных проточках реки Камчатки отливала сталью казачьего палаша.

В такое время убылая вода чиста так, что даже на глубинах реки просматриваются пески да каменишники ее дна. Маловодьем обнажились осередыши. От береговых огибней и островов посунулись в реку их сухие песчаные языки. Колыгов, сидя в последнем бату, размышлял: «И чего там они уже надеяли… эти посельщики? Хоть бы жилей себе наставили, не то до весны не дотянут, а с меня спросится. Придется, однако, и мне ноне в землянке зиму горевать. С запретом на вольное хождение по острожкам безвестно жить стали. Не ведаешь, в каком остроге да местечке чего творится. Худо это. Вот еду, яко кот в мешок: посельщиков, поди, и вовсе уже там нет, поразбрелись куды?»

К исходу второго дня баты подходили к назначенному месту. Много лет живший на Камчатке Колыгов хорошо ориентировался на местности и узнавал знакомые места. Вот по правую руку проточка ведет в озеро Куражье, которое казаки прозвали так за его неспокойствие. Вон там, на плешине, стоял некогда сожженный Нижний острог. Колыгов всматривался в берега, выискивая приметы прошлого, и вдруг от удивления выпучил глаза: на пологом склоне у речки Ключевки раскинулось селение. Свежерубленые избы и строения вытянулись в улочку. Черные заплатки пашен залатали осеннюю пестроту окрестности. Все это непривычно оживляло столь дикую местность.

Колыгов, переведя дух, прошептал:

— И пашни ужо… Вот это хватка-а-а!

Он хотел было поделиться своим изумлением с женой Аглаей, которая сидела рядом, держа на руках разморившуюся осенним теплом дочку, но передумал: «А, чего она поймет».

Солнце уже цеплялось за западный хребет гор, когда баты ткнулись к берегу. Приказав ждать, Колыгов выбрался на берег и побрел к селению. Иван-чай уже давно отцвел и пушился так, что идти по его зарослям было трудно: пух забивал и щекотал ноздри, вис на бровях и одежде. Никифор, обходя поляны с иван-чаем, жался к зарослям шиповника, у которого уже зрели и наливались соком плоды. Вскоре он набрел на утоптанную тропу, ведущую к селению.

Как ни старался Никифор Колыгов держаться независимо, начальственно, но, войдя в селение, где у домов суетились крестьяне, которые, бросив занятие, с любопытством поглядывали на сурового бородача, что-то смутило его.

От крестьянских одежд, вида самого селения повеяло на Колыгова истинно русским духом так, что у него защемило сердце. Он почувствовал, что глубоко сидевшее в нем нечто сокровенное так и рвется наружу, как на свидание к самому родному и близкому. Но, совладав с чувством человека, давно не видевшего родины, он остановился у ближней избы и спросил у статной сероглазой женщины:

— Хозяин где?

— Там, в амбаре. — И, шагнув за угол избы, она крикнула: — Лука! Служилый к нам.

Колыгов смерил взглядом тщедушного Луку Дранку и с напуском распорядился:

— А ну, скличь сюды всех.

— Так я чо, старшой есть, — возразил тот, но Колыгов прервал его:

— Никаких старших. Скличь, коль говорено, да живо!

Зыркнув на грозного казачину, Дранка припустил по избам. Колыгов, заложив руки за спину, стоял, окруженный любопытной ребятней, не зная, то ли пугнуть, то ли пусть глазеют. Когда крестьяне собрались к избе Дранки, Колыгов оглядел мужиков-поселенцев, в большинстве кряжистых крепышей, и, подумав: «Надо сразу их под пятку загнать, тут токмо вожжи распусти — не взнуздать», насупился.

— Назначен я к вам сюды во власть. Отныне все решать мне, и токмо. Напожизнь так будет, пока я тут. Стану фатерой вон на том подворье, в избе с чисторубленными углами. Как поставите мне жилье, враз уйду. А щас, кто средь вас головой был, останься, а остальные — на берег. Там казенная кладь да мои пожитки в батах. Все сюды, живо.

Мужики попереглядывались, но побрели к берегу.

Савелий подошел к Колыгову:

— Я тут за артельного.

Никифор смерил взглядом рыжебородого здоровяка и спросил, указывая на облюбованную им избу:

— Чья изба?

— Моя.

— Ишь ты, у всех избы в охряп рублены, а себе угол в угол, в обкладку жилье поставил. Часом, не забыл, что ты сошный человек? Мотри не вздумай мне поперек вставать.

— У меня и без того забот хватит.

— Похвально… Мне такую же избу… поусядистей, и углы чтоб как стегнутые. С утра всех ставь мне на жилье. Да чтоб работали с потьма до потьма.

Савелий Рыков только краем уха слушал Колыгова, его досаждала мысль: «Все дела спутал. Прибыл на нашу голову, чтоб тебя в дырявый пим, идол окаянный».

Пока они беседовали, с берега с кожаной сумой на горбу подошел Лука и опустил ее наземь:

— Куды это?

Никифор полупал глазами и повернулся к Савелию:

— Куды хлеб семянной?

— Неси ко мне в подклеть, — ответил тот и направился к своему двору.

Дранка взялся за суму и крикнул жене, которая неподалеку скоблила потемневшую от воды лохань:

— Акуля, подсоби-ка.

Та подошла и легко набросила на мужа суму с семенным хлебом.

«При такой стати еще и силушка водится», — удивился Колыгов и обратился к Луке:

— Сам-то аршин с шапкой, а женку взял таку добру, где токмо сыскал? Кличут-то как тебя?

— Дранкой.

— И впрямь, — заметил Колыгов, глядя на изуродованное лицо Луки, и добавил: — Чего такой-то?

— От ведмедя едва пятки убрал. — И побрел с сумой ко двору Савелия.

Акулина, довольная комплиментом Колыгова, одарила его ласковой улыбкой и мягко грудным голосом заговорила:

— Дранка — это улошное прозвище, а так мы Поповы… Как вас-то прикажете величать?

Колыгов отвел взгляд от ее приятного лица и как-то неуверенно и сбивчиво ответил:

— Го-господин… староста.

Уходя в сторону берега, Колыгов ощущал растекающуюся по телу теплоту. «Чего это со мной? Так и вдарило в поджилки… Стою перед ней, что приморожен. Хороша-а-а женка. Не-е-ет, у этого Дранки не по Афоньке-то шапка».

Совсем стемнело, когда Колыгов с дочерью на руках, а следом за ним смущенная Аглая вошли в избу Рыковых. Колыгов сдернул шапку и перекрестился на образа, освещенные лучиной, то же проделала и Аглая. От свежеиспеченного хлеба стоял плотный ароматный дух, от которого у Колыгова закружилась голова.

Он, чуть замешкавшись, ссадил дочку с рук и пробасил:

— Примай, хозяева, постояльцев.

— Пожалуйте, милости просим, — поклонилась хозяйка.

— Проходь, проходь, — отозвался Рыков и, запалив лучину, провел их в теплую горенку за печкой. Воткнув в держак лучину, сказал: — Тут и располагайтесь, щас почаюем вместе. Ульяна-то моя кулебяку с рыбой затеяла.

Колыгов покосился на мерцающую лучину и ответил:

— Не дело с таким огнем-то.

— Лучшего не имеем, — посетовал хозяин.

— Найдем, — буркнул тот и вышел во двор к своим пожиткам.

Вскоре он занес две плошки с ворванью и засветил жировики. От ровного пламени в комнатах стало чуть светлее.

Суетившаяся у печи Ульяна заметила:

— Другое дело. Нам такого не иметь.

— Коль возжелать, все поиметь можно, — отозвался Колыгов.

Ивашка со своего топчана наблюдал за Колыговым и его моложавой женой.

«Вот так казачина. Вылитый тать-разбойник. И как они его не боятся?» — подумал он о его жене и дочери.

Ульяна поставила рыбный пирог на стол.

Колыгов шумно втянул носом воздух и крякнул.

— До того ж хлебистый дух, хоть ножом режь, — сказал он и проглотил слюну.

Утром не привыкший рано вставать Колыгов проснулся, когда крестьяне уже вовсю работали. На берегу они выпиливали нужные бревна из ранее припасенного ими впрок леса и шкурили их. Работали споро, зло и молча. У каждого к зиме были свои неотложные дела, а теперь вот еще забота — староста объявился.

Колыгов, постояв во дворе, побрел к берегу смотреть работу.

Он подошел к Рыкову и спросил:

— Где ставить удумал?

— Где сам захочешь встать избой, там и поставим.

— Ставь в общий ряд, — и обратился ко всем: — Мужики, вижу я, сами-то радеете, а вот женки ваши?

— Им забот хоть отбавляй, — за всех ответил Потап Брагин.

— Дак вот: завтра с утра чтоб все шли на сбор ягоды, какая еще водится. Ведь я в зиму, считай, ни с чем остаюсь.

Все молчали. Слышно было, как жужжат отогревшиеся на солнце осенние мухи.

Колыгов продолжил:

— Да и грибки мне в зиму не лишние будут, но коли сбирать их уже поздно, — с каждого двора мне по туеску соленых поднесете.

Савелий не выдержал:

— Не велик шиш, и сам спину погнешь.

— Чего?! — вытаращился Колыгов.

— Того! — распрямился Савелий. — Оброка с нас тебе не писано!

Не терпящий, чтобы ему перечили, Колыгов злобно уставился на Рыкова:

— Перечить власти?! Да я тебя…

Он направился было к Савелию, но, увидев, как его узластая кисть руки сжала топорище, развернулся и пошел к селению.

Рыков с маху вогнал топор в бревно.

— Вот паразит еще навязался! Будто с ясашных, подать рвет…

Все притихли, с опаской и сочувствием поглядывая на Савелия.

— Да, однако, плохой в житье этот староста, черт его подери, — заметил Потап.

— Как же с ним под одной крышей теперь-то? — посочувствовал Дранка.

— Будя! Давай работать, — сказал Савелий, а сам подумал: «Быстрей бы срубить ему да отвязаться».

За работой они не заметили, как вернулся вооруженный Колыгов и с фузеей наизготовку подступил к ним.

— А ну, Савелий! Побунтуй ныне… — И навел на него фузею.

Тот распрямился и, катая желваками, уставился в черные, как из могилы смотрящие, глаза Колыгова.

Никифор приказал:

— Эй вы, посельга драная, а ну, живо — два бревна сдвиньте и его к ним вяжите.

Крестьяне оторопели.

Староста повел в их сторону дулом и рявкнул:

— Шевелись, идолы!

Опомнившись, крестьяне откатили два ошкуренных бревна, положили под них подкладки и подошли к Савелию.

Тот отмахнулся и, рыкнув: «Сам!» — стянул с себя рубаху и лег на бревна.

— Дранка, прихвати ноги и руки, — скомандовал Колыгов и бросил два саженных ремешка.

Когда тот управился, Никифор злорадно ухмыльнулся:

— Со всяким так будет, кто поперек пойдет. Теперь на пять десятков шагов отходите.

Размотав с пояса кнут, Никифор подошел к Рыкову и, положив неподалеку от себя фузею, громко объявил:

— От имени самодержицы нашей государыни Анны за смуту Савельке Рыкову десять плетей объявляю. — И принялся со знанием дела полосовать широченную спину Савелия.

Боли Савелий не чувствовал. Зло и обида, кипящие в нем, выжигали душу. Он не проронил ни стона, лишь горькие слезы обиды срывались с рыжих ресниц. Управившись, Колыгов не спеша смотал кнут и, подняв фузею, направился в селение как ни в чем не бывало.

Оглянувшись, напомнил:

— Про грибки не запамятуйте.

Потап Брагин, торопливо чиркнув по ремешкам, освободил Савелия от ременных вязок и предложил:

— Пойдем спину-то холодной водицей окатим. — И тут же Дранке: — Скажи бабам: пусть отвар из подорожника да мази уготовят.

Когда Савелий поднялся и побрел с Потапом к речке, бревна с красными полосками от окровавленного кнута опять закатили в штабель. Посудачив немного меж собой, крестьяне затюкали топорами.



***

Отбушевала цветной метелью осень, и теперь в полную силу властвовал месяц темных ночей — октябрь. Некогда кудрявые гребни увалов и сопок ощетинились голыми березняками, в которых вольно загулял ветер-листобой. Прячутся в лесные чащобы сытые глухари, да от страха жмутся к земле зайцы, не зная, с какой стороны ждать опасность: отовсюду шум голого леса.

Настало время посадки нартовых собак на привязь. Оживились камчадальские острожки. С летовок к зимним жилищам вернулись камчадалы и принялись готовиться к сезону охоты: уже недалеко то время, когда пожалуют сборщики ясака. Беда и разор тому, кто не сможет вовремя уплатить дань. Хотя и отодвинулись в прошлое те времена, когда казаки силой навязывали инородцам ненужные им товары за несносную цену и каждый раз объявляли камчадалов должниками, но и теперь у сборщиков всегда находился повод и средство для вымогательства, так как чащина — подарок сборщику ясака — не отменена. С тех пор как среди камчадалов появилась прослойка тойонов, быстро почувствовавших вкус привилегий и власти, жизнь обитателей Камчадалии стала труднее: им приходилось задабривать не только сборщиков ясака, но и своего тойона.

Разрозненные старыми и новыми обидами родовые общины камчадалов теперь редко шли на помощь друг другу, надеялись каждый на себя. Разобщением камчадалов власть добилась спокойствия в столь далекой окраине, но для полной покорности иноверцев Святейший синод то и дело в Камчадалию направлял священников-миссионеров.

Но доносить до душ иноверцев слова Божьих заповедей жизни почти никому не удавалось, так как все святоши вскоре после прибытия в столь дикий край сами отходили от истин Божьих. Церковные дела вели формально, от случая к случаю и вскоре делались пособниками приказчиков в деле обирания камчадалов, вовсе не заботясь об их духовной жизни. Лишь после прибытия одержимого миссионера Феофилакта крещение аборигенов как средство замирения и приобщения инородцев к новой жизни начало здесь набирать силу.

Но крепки корни народа — его обычаи. Жители Пеучева острожка, несмотря на хлесткий от ветра дождь, собрались у юрты тойона Камака. Они жались к сваям под навесы островерхих балаганов, ежились от холода, но не расходились, ожидая камлания. Сегодня сын тойона, рожденный в великую пургу его третьей женой, впервые смог выговорить заклинание и по обычаю обязан в худую же погоду примириться со всемогущим богом Кутхом, который и решит: жить ему дальше или нет.

Все с нетерпением ждали начала обряда, поглядывая на взъерошенный сухими бодыльями холмик земляной юрты. Из входного отверстия жилища — лаза клубился дым, прижимаемый к земле непогодой. Дым, будто пойманный в капкан злой дух, извивался, клубясь, метался в разные стороны от юрты, пытаясь высвободить ноги, завязшие в капкане-лазе, рвал себя на части, рассеиваясь по ветру, но тщетно. Вот из-под ног злого духа в отверстии юрты из дыма появилась старуха с небольшим бубном и колотушкой. Поводила скукоженным от старости, морщинистым лицом, оглядывая собравшихся, потом сошла с юрты, затопала ногами, обутыми в чажи из собачьей шкуры, и, наклонив бубен к земле, принялась колотить в него. Тотчас из юрты выскользнул малыш лет четырех, нагой, и принялся бегать вокруг старухи.

Когда она закончила громыхать в бубен, голыш, стуча зубами от холода, припустил вокруг жилища, выкрикивая на ходу заклинание:

— Лейся, беда, что с гуся вода.

И так он должен бегать до тех пор, пока старуха не пропоет все заклинания и призывы злым и добрым духам.

Гортанным голосом камчадалка заголосила, призывая их к себе. Ее голос менялся в подражание звукам. Она то трубила олененком-сироткой, то гагаркой плакала от горя, а то вдруг из груди ее рвался пронзительный крик обеспокоенной чайки; рык медведя вскоре же сменялся гоготом гуся. Сопровождая звуки движениями, она то птицей, то зверем металась по склону юрты, потом покружилась, постукивая в бубен, и принялась в каждую сторону выкрикивать просьбы к духам и богам:

— Пусть ласковый Коач в глаза твои свет радости вселяет! Пусть Завина свою кручину выльет теплым дождем! Пусть Великий Кутх отмерит тебе время быть с отцом-матерью!

Посиневший от дождя и ветра ребенок, сделав последний круг, всбежал на юрту — и словно растворился в дымоходе. Обряд окончен. Все расходились. Теперь будут ждать: выживет ли сын тойона или заберет его бог в подземное царство. В юрте закоченевшего малыша подхватили на руки и принялись растирать тельце медвежьим жиром, смешанным с диким медом из осиного гнезда.

На исходе дня к острожку Пеучеву ходко шел бат. В непромокаемой камлейке, шитой из рыбьих кож, наброшенной поверх кухлянки, широкоскулый Кашуга гнал долбленку. Уже семь ночевок он в пути. Исполняя казенную гоньбу, возил денщика камчатского приказчика с почтой до Верхнекамчатского острога и обратно, в Нижний острог. Кашуга спешил домой.

Скоро сезон охоты, а у него еще не готова собачья упряжь. Нарту он проверил, ремешками стянул где надо, а вот с упряжью — беда. Некоторые ремни на алыках ссохлись за лето, некоторые погрызли собаки — менять надо, а где достать лахтачью шкуру на столь прочные ремни? Раньше, до запрета на вольное перемещение, просто было: поехал к морю — и коли не сам заготовил, то выменял у береговых сродников и нерпичий жир — ворвань, и лахтачьи ремни да шкуры, а ныне лишь тойон добивается весною разрешения на перемещение к морю для заготовки морского зверя. Камак и в эту весну с двумя родниками ездил жировать на побережье. Ремни и жир у него имеются, и, как ни думай, а придется идти к нему за ремнями да ворванью. Расплата одна — мехами.

Когда бат выскользнул на пологий берег, Кашуга выскочил из него и, пряча лицо от косого дождя, выбросил из долбленки сетку и десяток рыбин, которых он выловил в прошедшую ночь. Чуть выдернув бат, перевернул его вверх дном. Прежде чем тащить рыбу к себе в юрту, выбрал самые крупные кижучины и решил отнести их Камаку, чтобы тот был покладистее и не назначал великую цену за все, что придется впредь у него одалживать. Кашуге не терпелось быстрее рассказать тойону

и о диковинах, которые увидел он неподалеку от острожка рода Голгочей — Кыллуша. По зарубкам на лесине, спущенной в лаз юрты, Кашуга пробрался в жилище и остановился у костра, держа в руках травяной мешок с рыбой.

Камак как должное принял подарок и через проход в другую юрту отнес женщинам, которые при свете костра сучили нитки из просохших, заготовленных еще летом стеблей крапивы.

Сбросив мокрую камлейку у костра, Кашуга присел на колодину и, дождавшись Камака, заговорил:

— Кашуга видел других светлоголовых — авачх. Хотя они без ружей, но всемогущее тех, что живут уже тут. Неведомые звери бродят рядом с ними. Из головы торчат костяные копья, а глазищи, как у собаки Козей из подземного царства Гаеча.

Камак внимал каждому слову рассказчика.

— Ты, Камак, сможешь на медведе проехать? — спросил гость.

— Ни-ни, — мотнул тот головой.

— А у них звери побольше медведя, хвостатые, и авачх на них верхом скачут. Кашуга сам видел. Живут эти люди в острожке совсем без вала и частокола, ничего не боясь.

Камак представил себе, как бы он смог объездить медведя, и, усомнившись в вероятности этого помысла, ухмыльнулся, подумав: «Однако, проделки лукавого беса Канною, который всегда вселяется в того, кто переест мухомора».

Прищурив раскосые глаза, он заговорил:

— Камак знает меру мухоморного зелья, и его бес Канною не путает.

Кашуга с видом обидевшегося человека, но сохраняя достоинство, продолжил:

— Тоен сам увидит это в любой день. Тут близко: нет и одной ночевки в пути.

После затяжных дождей солнечный день был особо приятен. В этот день с утра тойон острожка Пеучев Камак трем молодым псам, которыми он решил пополнить свою упряжку, обрубил хвосты. Глядя на беспокойно крутящихся за обрубками своих хвостов собак, подумал: «Совсем другой вид стал у собачек». Вспомнил про диковинных зверей, о которых ему поведал Кашуга. «Вдруг и впрямь такое на этом свете. Надо бы увидеть».

Вскоре он с Кашугой погнали гонкий бат в сторону речки Ключевки.

***

Гринька Брагин с утра уже крутился у избы Рыковых, поджидая Ивашку. Между ними давно уже был уговор: как погода установится, они сходят за дальний увал. Там, когда еще огораживали поскотину, они обнаружили в зарослях кедрача вырытый в склоне схорон. Стены его были уставлены жердочками, устроен топчан из кольев, у входа свалены вязанки сухих дров. Видимо, кто-то обустроил под схорон старую медвежью берлогу. Летом они раза два наведывались туда, но ничего нового там не появилось, и ребята решили, что хозяин навсегда забросил это место. Свою находку друзья условились держать в тайне.

Когда Ивашка вышел из избы, Гринька упрекнул его:

— Засоня, уговор забыл?

— Сам засоня. От зари дратву сучим с батяней. Не закончили бы, так и не выпустил.

— Пошли быстрей, — кивнул Гринька.

— Коли опять там никто не объявлялся, то давай трубу из дуплистого дерева смастерим да сверху просунем над кострищем. Будет, как изба, не то, коли огонь развести, так от дыма задохнешься.

— Да, вход-то туда, что нора, — согласился Гринька.

Когда они добрались до места, то с трудом признали его. Безлистные березы и ольховник оголили место, высокая некогда трава пожухла и упала. По склону увала кое-где темнели сгустки кедрового стланика. Определив нужную им разлапистую чащу кедрача, друзья нырнули под нее и очутились у зияющего чернотой отверстия. Ивашка за ветки стланика оттянул свисающую над входом дерновину, расширив проход. Пахнуло гнилью. Пригнувшись, Гринька влез в схорон.

Пока Ивашка приспосабливал распорку под дерновину, Гринька высунулся к нему и сообщил:

— Все как было. Давай трубу мостить, да вход надо заделать так, чтоб зимой снег внутрь не задувал.

— Ты иди туда, а я сюда: гнилую колоду поищем, — распорядился Ивашка и пошел по склону увала, собирая на ходу оставшуюся на ветках синюю ягоду.

«Сколь голубели-то», — удивился Ивашка.

Он присел к неосыпавшимся ягодным кустам и протянул руку, но, будто ужаленный, вскочил. Из-под куста на него пустыми глазницами уставился череп человека.

— Гринька! Сюды!

Уловив в голосе друга тревогу, Гринька стремительно бросился к нему.

— Позри, — указал Ивашка.

— Шкеле-е-ет, — только и вымолвил тот.

Лишь сейчас Ивашка рассмотрел торчащие из-под сухой травы ребра и другие кости.

— Чо делать-то?

— Старосте поведать след.

— А схорон?

— Давай вход прикроем сухотравьем, станет не видно, — предложил Гринька.

— Кто же это? Нашенский аль нет?

— Как знать, пойдем отсель, — торопил Гринька.

Ивашка взял палку и потрогал череп, потом перевернул его и, увидев под ним клок волос, закричал:

— Вроде как русый.

— А ну тебя, — отмахнулся Гринька и пошел прочь.

Ивашка ворохнул волосы — на солнце блеснула крупная золоченая серьга. Он подгреб ее палкой к себе и, ковырнув землю, потер серьгу.

— Нашенский. Казак, — догнав Гриньку, доложил ему.

— А почем знать.

— Клянешься, что никому?

— Вот те крест!

— Позри, — раскрыл ладонь Ивашка.

— Ух ты! Точно, казачья серьга. Можа, там еще есть?

Ивашка удивленно взглянул на дружка.

— Да, по одной же носят, — осознал тот и с завистью добавил: — Везучий ты.

Старосту Никифора Колыгова дружки нашли у его новой избы. Он присматривал за тем, как делали амбар для казенных надобностей. К рассказу ребят он отнесся без интереса.

— Мало ли в Камчадалии мест, костьми усеянных. Всех не перехоронишь, — только и молвил он.

Удивившись равнодушию Колыгова на столь сногсшибательную, как казалось им, весть о скелете человека, Ивашка с Гринькой не знали, что им теперь предпринять. Страстное желание с кем-нибудь поделиться новостью овладело ими и искало выход.

Они чуть постояли в нерешительности, и тут Ивашка предложил:

— Пойдем Вирьке расскажем.

— Угу, — спешно согласился тот.

— Ноги в руки, дуй не стой, — сорвался с места Ивашка.

Виринею они разыскали на второй поляне поскотины. Неподалеку от изгороди-осека она, облизанная до ушей своей комолой коровой, вымучивала ее вымя над подойником. Корова Поповых была одной из лучших во всем крестьянском стаде, потому как давала много молока. Ласково с гордостью хозяева называли свою коровушку — ведерница.

Виринея доила комолую и разговаривала с ней в полной надежде, что она ее понимает:

— Звездочка, нагулялась по травушке сочной, вишь, как после дожжей вновь зазеленела муравушка. Кушай, кушай, скоро снег завалит зеленую, а на сухом корму зимушка-то долга покажется.

Корова повернулась к Виринее и, будто в благодарность за добрые пожелания, вытянув шею, шершавым языком лизнула ее в щеку, обдав теплым дыханием. После чего понимающим взглядом крупных влажных глаз уставилась на нее, словно спрашивала одобрения за свой поступок.

— Будя, будя тебе, лизунья ты моя.

Первым подбежал запыхавшийся Ивашка.

— Вирька, мы убитого казака нашли! — выпалил он.

Она перестала доить и поднялась, поправляя длинный сарафан. Застегнув верхнюю часть не сходящейся на груди душегрейки на палочку, висевшую на тесемке, она мило ухмыльнулась:

— Вы такие вракуны. Ну вас: наплетете чего хошь.

— Ей-богу! Там лишь пустые косточки от него да череп, — подтвердил подбежавший Гринька.

Она оглядела их и хихикнула:

— Смешные вы… Гринь, ты чего отквасил губы-то. Этак бушь вечно полоротый ходить? А ты, Вань, под солнышком-то

рыжий совсем — ну чисто опенок. — И, чуть помолчав, добавила: — Брешете, черти полосатые.

«И этой наша весть не нужна. Еще дразнится. А Ванька-то — точно опенок», — подумал Гринька, в ухо Ивашке прошептал:

— Покажи ей…

— Эх ты, невера, погляди. — И Ивашка, вынув из кармана серьгу, подал ей. — Глянется?

— Из-под черепа он выгреб, — уточнил Гринька.

Виринея рассмотрела сверкающий в лучах солнца металл и отдала обратно:

— Теперь ты богач, Вань. Отцу отдай: пусть он матушке твоей на серьги переделает, не то продаст кому.

— Ты, Вирька, про серьгу ни гугу: у нас уговор, — предупредил Гринька.

— А мне то надо… Ну, идите, додаивать буду. Потом череп да косточки покажете.

Друзья побрели от нее, а она вновь принялась из коровьего вымени выжимать в подойник звонкие струи молока.

Под густым завалом осека лежали Камак и Кашуга.

Кашуга шептал тойону на ухо:

— А вдали… вон еще такие звери, из голов, вишь, наконечники копий торчат.

Камак несколько раз протирал глаза и кусал свою руку, чтобы убедиться, что это не наваждение от проделок лесного беса Канною. Он во все глаза рассматривал неподалеку стоящую комолую корову и светловолосую девушку.

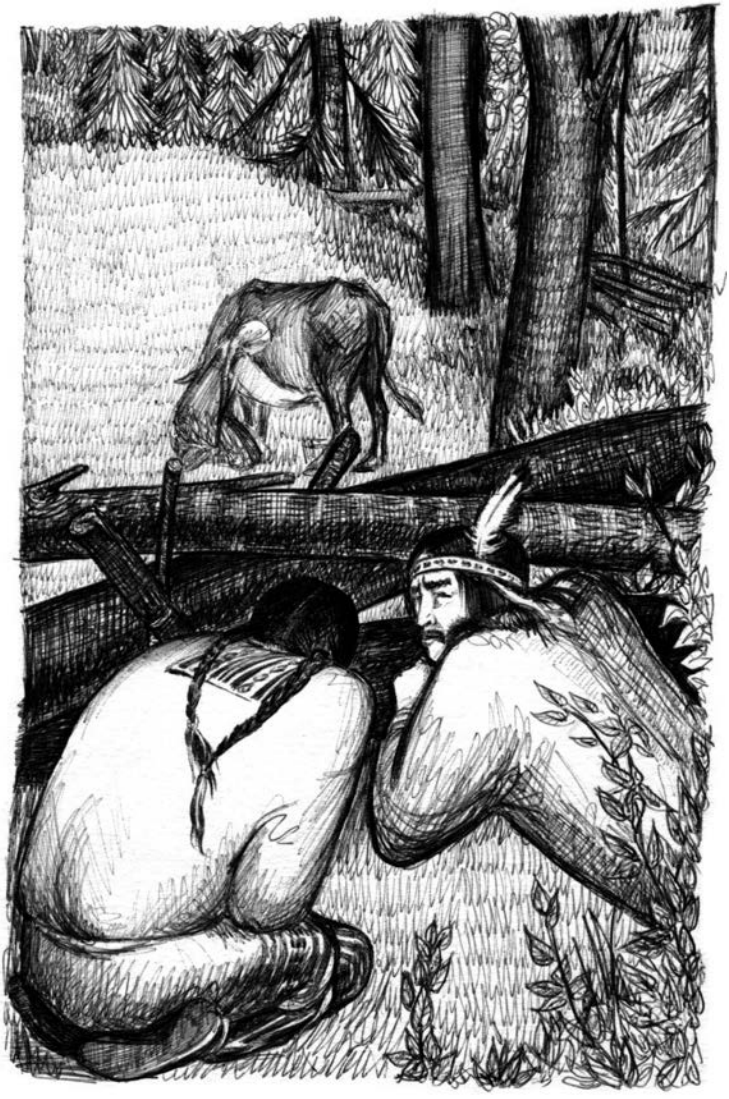
«Что она делает? Камлает, однако, усмиряя это чудище», — подумал Камак и чуть прополз вдоль осека, чтобы получше рассмотреть «камлание» и вызнать секрет усмирения этих существ.

Корова, уловив шорох сухих веток, донесшийся из-под осека, забеспокоилась. Она шумно вдохнула и закрутила головой.

Поглаживая по нагревшемуся от солнца боку коровы, Виринея заговорила:

— Звездочка, пошто молоко-то прижала? А ну, отпусти, не балуй, милая, отпусти.

Камак, увлекшись, высунул голову и уставился на Виринею. Она невольно повернулась в его сторону — душераздирающий



крик-испуг разорвал тишину. Корова, взбрыкнув, метнулась от нее в сторону изгороди, опрокинув подойник. Камак и Кашуга, подумав, что неведомый зверь кинулся на них, бросились напролом по лесу.

Услышав испуганный крик Виринеи, недалеко отошедшие Ивашка и Гринька не мешкая помчались к ней. На бегу Ивашка разглядел, как от осека меж деревьев петляли двое, удаляясь в сторону реки. Виринея сидела на земле у опрокинутого подойника, зажав лицо руками.

— Вирька, чо с тобой?! — запыхался Ивашка.

Та открыла бледное лицо и со страхом вымолвила:

— Лешой… лешой там. В космах весь, глаза огнем горят. Ох, страх неуемистый.

— Ух, язви его! Это же ясашный человек… в топольнике только замелькал, — переведя дух, вымолвил подбежавший Гринька.

— Двое их, сам зрил, когда в тайгу дуром перли, — уточнил Ивашка.

— Вот варнаки, чо им надо. Прям неоткуль взялись. Я как забоюсь чего, так завсе говорю: с нами крестная сила — тем и выручаюсь. А тут так спужалась, что заговорные слова забыла, — стала приходить в себя Виринея.

Она поднялась с земли, посмотрела на корову, которая стояла невдалеке и будто бы виновато поглядывала в их сторону.

— И Звездочку-то спужали: молоко разлила… Матушка-то не похвалит.

— Спужается, небось: ты своим криком не токмо ей, но и мне душу в пятки вогнала, — рассудил Ивашка.

— Мы же лишь от тебя ушли, чужаки тут как тут. Однако, при нас еще, окаянцы, скрадом подошли.

Подобрав подойник, Ивашка спросил:

— Еще доить будешь?

— Нет, пойдемте домой.

Они шли в сторону селения, разговаривая о случившемся.

— Интересно, они по-нашенски слышат аль нет? — заинтересовался Гринька.

— Кабы слышали, к чему тогда толмачи, — заключил Ивашка.

— Ой, как он из-за осека зыркал, сущий сатана. До сих пор сердце трепещет.

— Ты как вскричала, Ивашка аж передернулся да как с испугу-то чесанул к тебе, что не догнать.

— С каких это ты щей взял, что я испужался? Сам, поди, струсил, — напустился на Гриньку Ивашка за задетое самолюбие.

— Я-то ничуть, вот те хрест, — крестообразно мотнул кистью руки Гринька.

На вершине стога сена хрипло прокаркала ворона. Ивашка выдрал ком земли с корнями трав и запустил в нее.

— Ты еще тут, — ругнулся он.

Подгоняемый страхом, Камак первый примчался к берегу, оттолкнул бат и впрыгнул в него.

Подхватил со дна долбленки шест — и тут услышал крик Кашуги:

— Меня, меня, тоен!

Он чуть придержал бат, и Кашуга, забежав по пояс в воду, ухватился за борт и перевалился в долбленку. Камак не мешкая погнал бат вниз к своему острожку.

Кашуга, переведя дух, спросил:

— Теперь тоен верит Кашуге?

— Камак никогда не забудет, как этот зверь бросился за ним. Кашуга не скажет родникам, что Камак испытал страх.

Кашуга согласно мотнул головой.

Ночью Ивашке снились цветные сны. Будто под нарами в схороне они с Гринькой нашли горшок с золотыми монетами. Радостные, они выбрались на волю, но тут череп казака с серьгой заклацал на них челюстью.

«Мое, все мое», — скрипели челюсти.

Друзья бросились наутек, но череп катился за ними и ржавым голосом ворона каркал им вслед: «Мое-е! Мое-е!»

Потом снилась Вирька с небесными глазами. Она бегала по лугу и ловила бабочку. Когда Ивашка пригляделся, то увидел, что это вовсе не бабочка, а золотая серьга казака. Ветер развевал длинные волосы Вирьки, оттого она была еще красивее.

Утром Ивашка твердо решил подарить ей серьгу. Он сидел за своим амбарушкой и караулил, когда Вирька пойдет по воду к речке.

Тут его и разыскал Гринька.

— Где пропал? Пойдем схорон-то доделывать?

— Чо-то брюхо пучит. Давай с полудня пойдем. — И, глядя на Гринькину недовольную мину, схватился за живот и принял болезненный вид.

— Ладно, — буркнул тот и увидел, как Виринея с коромыслом через плечо пошла к речке.

Гринька хотел сразу пойти за ней, но, заметив, что Ивашка увидел ее, воздержался, подумав: «Я ее у речки встречу, а то он будет дразниться». Гринька ушел и окольным путем побежал к речке Камчатке. Он знал, что Вирька ходит по воду к Камчатке, хотя все берут воду из речки Ключевки, и он что есть духу припустил туда. Спрыгнув с крутого бережка на галечник, он сел на камень и стал поджидать ее.

Виринея неспешно шла по тропе, изредка срывая с голых кустов шиповника янтарные ягоды, и, надкусив прочную кожуру, высасывала сладкую мякоть, оставляя лишь шершавые семечки. Ей было приятно ходить по воду к тому месту, где впервые, как ей казалось, она открыла свои сокровенные чувства другому человеку.

«Где он ныне, этот мужественный человек? Михайло Гвоздев авось и впрямь сюда вернется», — подумалось ей.

На подходе к речке ее догнал Ивашка.

— Куды тебя понесло? — удивилась она.

— Так… просто.

— Один… без дружка. Опять повздорили?

— А ну его, — все увиливал от ответа Ивашка.

— Коль так, без дела идешь, то на, неси бадейки. — И, сняв с плеча расписное коромысло, надела на костистые плечи Ивашки.

Как ни осторожничал при ходьбе Ивашка, все равно бадейки сильно раскачивались.

— Вань, смотри: бадейки-то сами до воды убегут, — посмеивалась она.

Они уже подошли к берегу, когда Ивашка осмелился и остановил Виринею. Стараясь делать взгляд с любезинкой, уставился на нее.

— Чо так смотришь? Глаза свернешь, — удивилась Виринея.

— Давай завсегда в дружбе будем. Я тебя всю жизнь привечать и почитать буду, ей-богу, Вирька.

Сидящий под берегом Гринька, услышав такое, обомлел. «Вот ты каков, проныр лукавый. Пока я думал, он уже… „Брюхо пучит“… Враль!»

Виринея, подумав, ответила:

— Тебе одного дружка мало?

— Чо, Гринька-то… Я как тебя давно не увижу, так какая-то пустота у меня в середке. Вот, возьми, это тебе. — И он подал ей казачью серьгу.

— У тя чо, Вань, до рубля семь гривен не хватает? Такой ведь подарок не скроешь. А как тятенька прознает? Нет, Вань, — отстранила она серьгу.

— Я все равно ее для тебя беречь буду. Сам в перстень переделаю.

Виринея улыбнулась и, заглянув в Ивашкины глаза, будто шибанула его:

— Вань, мне другой люб.

— Гринька, поди?! — вырвалось у него.

— Нет, Вань, а ты не серчай. Мы же с тобой дружны.

У затаившегося Гриньки отлегло от сердца. «Знать, я ей нравен-то; пора выходить». И он поднялся из-под берега. Его внезапное появление смутило Ивашку и Виринею.

Она, взяв бадейки, спустилась к реке, а Гринька ехидно усмехнулся:

— Вот ты как? Худое ботало, со мной не пошел, а у Вирьки так и вертишься под ногами, как черт перед заутреней, — и брюхо не болит.

Расстроенный отказом Вирьки, Ивашка и так еле сдерживался, чтобы не кинуться на Гриньку, выследившего его тайну.

— А ты, небось, от зависти на дерьмо исходишь, — зло ответил он.

— На меня зубы-то не щерь. Не от меня, поди, от ворот поворот получил… Хм, девий пастух.

— Ах ты, гад! — Ивашка бросился на Гриньку.

Виринея, меж тем набрав воды, поднялась из-под обрыва и, увидев, как бывшие дружки в драке катаются, подминая под себя жухлую траву, мутузя друг друга, поспешила к ним.

Поставив бадейки, она принялась их растаскивать.

— Полно, полно вам! — Но, видя безуспешность своих попыток, схватив бадейку, окатила их водой: — Вот вам, дураки!

Холодная вода подействовала: драчуны вскочили и, утирая расквашенные носы и губы, разошлись, не обращая внимания на Виринею.

Отходя в разные стороны, они оглянулись, обозвав друг друга:

— Опенок!

— Недотепа и жадина!

Виринея прыснула, глядя на расходившихся петухов, и, подхватив бадейку, вновь пошла к воде.

«Тоже мне, женихи».

До вечера Ивашка не показывался дома.

При свете лучины он прошмыгнул в свой закуток, но отец, сшивая конскую сбрую, окликнул его:

— Подь сюды.

Ослушаться Ивашка не посмел.

Не глядя на сына, отец заговорил:

— Где тя носит весь день? Пошто ольховых веников не наломал, как велено? Давно не…

Он поднял глаза на Ивашку и сменил строгий тон.

— А, тебя уже отпотчевали. Ну, зло не худо, а то я хотел. Ишь рожа-то вспахана, лишь посеять да заборонить… Ладно, иди. Больше ты у меня побродишь без дела, — пригрозил он и продолжил свое занятие.

Досель молчавшая, чтобы не обратить внимание мужа на столь позднее появление сына, и теперь довольная, что все в доме закончилось миром, заговорила мать:

— Молочка хоть испей, весь день голодом носишься. С Гринькой, поди, опять сцепились. Чо за дружба така: то водой не разлей, то бьются насмерть.

***

Истрепанный лютым штормом дубель-шлюп «Надежда» под рваными парусами грузно бороздил водную гладь заштилевшего моря. Шлюп тянул вдоль западного побережья Камчатки к Большерецкому острогу.



Во время частых остановок судна штурман Василий Ртищев и геодезист Михайло Гвоздев съезжали на берег, делали описание местности и проводили необходимые исчисления. После длительной штормовой погоды особо приятным казалось присутствие на небе солнца. Несмотря на пронизывающий ветер, матросы команды подолгу толпились на палубе, чтобы ухватить солнечного тепла да поглазеть на трехрядные уже заснеженные хребты гор Камчадалии.

В каюту к мичману Шхельтингу вошел боцманмат Герасимов и доложил:

— Марсельный парус починить нет возможности. Все, чем можно шить, употреблено на другие паруса. Воду от течи еле успеваем уливать, оттого и идем с креном. До Большерецку итить признаваю за погибель. Надо высмотреть место и вставать на ремонт шлюпа.

Выслушав боцманмата, Алексей Шхельтинг подумал: «Как бы и впрямь с бедой не обрататься» — и прошелся по каюте, размышляя: «Легко сказать: встать на ремонт. Без жилья в зиму да без провизии. Это уж точно погибель и людям, и судну. Да еще казенный груз надо доставить в острог Чекавинский».

Обернувшись к Герасимову, распорядился:

— Чаще меняй матрозов в трюме на отливе воды. Будем идти, покуда удобность время и силы человечьи позволять будут.

С вечера на вахту заступил Михайло Гвоздев. Он бегло окинул взглядом штурманскую каюту, будто убеждаясь, все ли на месте: вахтенный журнал, пель-компас, склянки и маятниковые часы да астролябия, — потом обратился к штурману Василию Ртищеву:

— Где ныне обретаемся?

— У устья Чекавки стали. Поутру надо матрозов — по шлюпкам да завозом в устье сей речки входить, дабы грузы для тутошних служилых снять. Определение сего места я уже сделал, а ты ночью по звездам проверь. — И он показал Гвоздеву свои расчеты.

Когда Ртищев ушел, Михайло, придвинув к себе жировик с мерцающим пламенем, начал переписывать набело ранее сделанные пометки по описанию берегов. Из-под гусиного пера потянулись ровные строки… «Река имеет множество устей, кои весьма мелки и в россыпях. На устье по берегу лес

лиственничной и березняк, токмо суковатый и к строению судов неудобный. Також пахотных земель имеется мало и недовольно, и земля неугодная, песок серой…» От писания Гвоздева отвлек шум, донесшийся с палубы. Он прислушался.

Боцманмат Герасимов распекал задремавшего на вахте матроса:

— Проякорь тебя возьми! Я те покажу, как бдить положено. Я те зубы-то вычищу!

Гвоздев взглянул на часы: подходило к полуночи.

«Исчисления справлять пора, — подумал он и, отодвинув бумаги, выглянул из каюты. — Ишь ты, месяц что льдышка, и звездам несть числа», — отметил геодезист и взялся за астролябию.

Утром Василий Ртищев принял вахту у Гвоздева. Просматривая журнал, он пробежал глазами: «10 дня октября 1741 году с полуночи. Лунное сияние и блистание звездное. Мороз. Ветер силы убавил». Ртищев проглядел расчеты исчисления места по звездам, которые проделал Гвоздев, и отметил себе: «Хотя и не навигаторским наукам учен, а исчисления пути проделал так, как штюрману надлежит».

* * *

В это же время не менее жестокие шторма ярили Восточный океан, в который еще в начале лета ушли на поиски доселе с востока неведомой Америки пакетботы экспедиции Беринга «Святой Петр» и «Святой Павел». После четырехмесячного скитания по просторам Великого океана пакетбот «Святой Павел» одиноким странником тащился к берегам Камчатки. Волны с негодованием обрушивались на строптивца, отважившегося нарушить извечную недоступность этого океана, пытались накрыть его и поглотить в пучину вод, но пакетбот поплавком отыгрывался на волне и упрямо шел к цели.

Штурман Иван Елагин безразлично смотрел на набегающие валы волн, которые перехлестывали через борта бота, окатывали палубу, оставляя на ней мелкую серебристую рыбешку, и с хлюпаньем сливались с судна, освобождая его от непомерного груза, после чего пакетбот, будто вздохнув полной грудью, поднимался над волной, чтобы через мгновения вновь схлестнуться с белым гребнем очередной водной преграды.

Елагин, оглядев нижние поставленные паруса и повернувшись к гардемарину Кондратьеву, заговорил:

— Семен, передай боцманмату: пусть опустит марселя в полстеньги: вишь, как клюем носом. Хоть и стих ветр, но еще в силе.

Когда гардемарин, застучав каблуками по трапу, исчез, штурман поглядел на раскрасневшегося от напряжения рулевого матроса, который уже отстоял полторы вахты, и, сочувствуя, отвернулся.

«Невесело… Дюжина служилых одержана цинготной болезнью. Сам капитан Чириков слег, а також лейтенант Чихачев и профессор де ла Кроер. Вчера после полудня за борт опустили мертвых штюрмана Михаила Плаутина да канонера Ивонина. Пресной воды всего четыре бочки, коли вскорости Камчадалии не достигнем, всех цинга покосит», — размыслил он.

К концу дня волнение заметно стихло, но наползли низкие тучи и густо сыпануло крупой. Когда снежные космы отнесло, заблестело вечернее солнце. На палубе засвиристела боцманская дудка, матросы заспешили наверх.

Надрывным голосом боцманмат прокричал:

— Марсели до топа! Фок, бизань, грот на гитовых и шкаксели станови!

Матросы устремились по веревочным лестницам к реям. Штурман Елагин, довольный распорядительностью боцманмата, подумал: «Понимает, сукин сын, что сколь возможно спешить след» — и обратил внимание, что на первой мачте долго не распускается парус.

Он взял рупор и крикнул боцманмату:

— Чего на фок-мачте спят?!

Тот повернулся к рубке и, приложив ладони ко рту, ответил:

— Фок-марсель вдоль полотен разорвало, скатываем для ремонта.

Не успел Елагин выругаться от досады, как с марса — деревянной площадки на вершине мачты — раздался крик в несколько глоток:

— Земля-я-я!

Елагин сорвался с места и вскоре уже сам карабкался вверх по веревочной лестнице…

Спустившись на палубу, он направился в каюту капитана. Алексей Чириков повернул бледное, с потрескавшимися губами лицо и вопросительно взглянул на Елагина.

Тот радостно заблестел глазами:

— Впереди земля!.. Камни высокие в снегах. Думаю, что места оные подлежат быть Камчатке!

Радостная весть подействовала на Чирикова.

Он улыбнулся, обнажив вспухшие десны, и проговорил:

— Ты уж, Иван, остерегись, кабы в радости да спешке неведомые рифы не просмотреть. Вдруг это не та земля, что ожидаем. Да из-за скорого ношного времени к берегу особо не льни, ходи вдоль земли до свету.

К утру задул попутный ветер, и гардемарин Кондратьев растолкал спящего прямо тут же, в штурманской каюте, Елагина и доложил:

— Ветр марселевой задул. Сияние луны таково, что виден мыс, как будто бы Ваua, что на входе в Авачинскую губу.

Спросонья, переваривая информацию, штурман спросил:

— Что из парусов?

— Дрейфуем под бизанью.

Елагин встал и, выйдя из каюты, вгляделся.

— Черт возьми! Это и впрямь Ваua! А ясно-то, яко днем, — и распорядился: — Подъем! Всех наверх!

Вскоре он записал в вахтенном журнале: «...10 дня октября 1741. В девять часов утра миновали Ваua и пошли в устье губы Авачинской благополучно и бросили дагликс-якорь на глубине семь саженей, грунт песок с илом. Пеленг — огонь на маяке. Штиль. Палили из пушек для призыву из гавани нам шлюпки. Астрономии профессор де ла Кроер жестокою цинготною болезнию умре».

Когда прибыла шлюпка из гавани Святых апостолов Петра и Павла, прапорщик Левашов поднялся на судно.

Изможденная команда трижды прохрипела «ура», и штурман Елагин, обняв прапорщика, заговорил:

— Команда чуть жива. Провизия-то в гавани имеется?

Тот улыбнулся и ободряюще похлопал штурмана по плечу:

— Слава богу, на днях галиот «Охоцк» сюда полторы тыщи пудов провианта привез. Теперь вам помереть не дам.

Когда капитана Чирикова положили на носилки, чтобы опустить в шлюпку, он спросил Левашова:

— Беринг вернулся?

— Командор не объявлялся. А Шпанберг тут, в Камчадалии, вознамерен зимовать в Большерецке, где собраны все его пять судов.

— Потом, потом, — слабо махнул кистью руки Чириков.

Через две недели усиленное питание и отвар кедрача поставили Чирикова на ноги. Его деятельная натура не терпела безделья, и он, хотя был еще слаб, приказал Левашову принести из канцелярии деловые бумаги.

Вот уже второй день, как налетевший на гавань Святых апостолов ураган гнул к земле прочные каменные березы, ломал и выворачивал их с корнем. Порывы ветра сорвали купол с походной церкви, стоящей неподалеку от канцелярии, а на песчаной кошке у порта повалили наземь и разметали камчадальские балаганы. И теперь между казармами и амбарами порта то и дело проносились по ветру доски, катались колья, жерди, а то громыхали, перекатываясь, нарты, унесенные от жилищ. Стены прочно рубленного офицерского дома содрогались от порывов ветра, который все же находил в добротной рубке щели и проникал в комнату Чирикова. Тот подсел ближе к печи, завывающей трубою, и размыслил: «В море-то ныне жестоко… Где затерялся Беринг? Неужто так на юг и ушел в поисках теперь уже явно не существующей земли де Гамы? Эх!.. Эти заморские профессора! Хотя грешно худо поминать покойников, но де ла Кроер в своих деяниях похвалы не заслужил… Даже обсервации и то в большей мере за него геодезист Красильников справлял». Поразмышляв, Чириков припомнил, что Левашов сообщил ему о Шпанберге. «С пятью судами тут. Разве более дел, указанных Сенатом, нет, дабы весь флот к Камчатке привязать? Негоже это…» — рассудил Чириков.

Вскоре он писал письмо Шпанбергу: «…Для сочинения обстоятельной генеральной карты Камчатского или Пенжинского моря, из которой можно будет видеть, как далече от мест присутственных: Иркуцкой провинции и прочих городов российских — западные берега упомянутого моря отстоят. А подлинно ль тот западный берег так лежит, как положен на старых картах, в верность знать неможно. Посему, имея в своей команде

достаток в судах, благоволите послать геодезии прапорщиков, дабы описать западный и восточный берега Камчатки...»

На следующий день ветер внезапно стих, и из низких туч крупными хлопьями повалил снег. Вызванный прапорщик Левашов вошел в комнату к Чирикову.

Тот, не обращая внимания на его рапорт, прервал:

— Как суда в бухте претерпели ураган? Не имеют ли какой вреды?

— Отстоялись за сопочкой в гавани. Порух и порчи избежали. На ремонт церкви и прочих шкод дюжего ветра уже служилых выставил, — бойко ответил комендант порта Левашов.

— Когда думаешь открывать зимний путь до Большерецкого острога?

— Все наизготове, но ден десять еще выждать надо.

— По первопутку отправь геодезии прапорщика Красильникова в команду Мартына Шпанберга, а с ним для Шпанберга сей пакет. — И, отдавая бумаги, спросил Левашова: — Еще вести какие есть?

— Нет. Вот токмо до вас домогается новый приказчик Камчатки Василий Чередов. Он прибыл сюда на галиоте «Охоцк».

— Чего хочет?

— Засвидетельствовать свое почтение и испросить, будут ли какие указания. Смею заметить, питух и дебошир изрядный. Трезв не бывает.

— Пусть исправно следует указаниям воеводской канцелярии да радеет во имя вседержавной императрицы Анны Леопольдовны. А мне почестей не надо.

Но не ведали еще на окраинах России, что царица Анна Леопольдовна со своим малолетним сыном Иоанном уже тряслась по ухабам дорог в зашторенной наглухо карете под строгим присмотром гвардейцев Преображенского полка, отправляясь в далекие Соловки на вечную ссылку, а на трон российский вступила Елизавета — дочь Петра Великого. Из Петербурга и в Петербург потянулись обозы вельмож: одни — к престолу, другие — в Сибирь, в опалу. С новым рвением заработали заплечных дел мастера Преображенского приказа, пытая и карая неугодных новой владычице. Взбодрилась петровская гвардия, согретая лаской его дочери. В надежде на милость подняли головы уже состарившиеся соратники

и сторонники Петра, расправляли грудь русские купцы и заводчики. С рваными ноздрями и урезанными языками брели в далекий Охоцк и Камчадалию особо ретивые сторонники царицы Анны. А пока на околицах Российской империи в неведении своем еще чтили свергнутую императрицу.

ГЛАВА 5

В один из морозных дней к приказной избе Нижнекамчатского острога подкатили пять нартовых упряжек. Вывалив алые языки и часто дыша, собаки сразу повалились на снег.

В заиндевелом полушубке новый приказчик Камчатки Василий Чередов, стуча промерзшими каблуками сапог, вошел в избу и рявкнул на сидящего писаря:

— Встать!

Тот в недоумении вскочил и уставился на странного гостя.

— Чего вылупился, крыса! Колесов где?

— Изволит быть у себя в доме.

— Сюды его, мигом! — распорядился гость и шагнул от порога.

Писаря будто ветром сдуло. Вскоре он, с торчащим из-за уха гусиным пером и без шапки, уже семенил вслед за Колесовым.

Колесов вошел в приказную избу, а писарь повернулся к служилому, сопровождающему Чередова, и поинтересовался:

— Кто таков?

— Новый приказчик Камчадалии.

— Каков по натуре будет-то?

— А… лишь пьяные кумпании водить, — махнул тот рукой и добавил: — Весь путь по пустякам всех ругает матерно да мордобой чинит.

— Похоже… — согласился писарь и побрел в избу.

Там уже беседовали приказчики.

Чередов потер руку об руку и прервал Колесова:

— Ты, сукин сын, на радостях, что сменяю тебя от столь дальней службы, крепочку бы принес. Вишь: дрожью исхожу.

— Эт завсегда, — протянул Колесов, обескураженный таким обращением, и кивнул писарю.

Уловив знак, тот без лишних вопросов шмыганул в соседнюю комнату и, позвякав черепками, занес ковш раки. Чередов выпил жалованную жидкость и, крякнув, шумно потянул носом.

Приподняв бровь, оценил:

— Пойдет.

— Когда дела принимать будешь? Прямо счас или позже?

— Какие еще дела?

— Проверить казну, просмотреть окладную книгу острога и присудных к нему острожков.

— А писарю сие ведомо? — поинтересовался Чередов.

— Ведомо, он делами и правит при мне.

— Как служит?

— Хваток в деле, но вороват.

Чередов молча подошел к писарю и ударом сшиб его с ног.

— Как служишь государыне, крыса?! Вздерну и не моргну!

Тот, зажимая рукой разбитое лицо, вскочил и покорно уставился на нового приказчика. Чередов отошел от него.

— А теперь прими все дела, да не дай бог… понял?!

— Да-да, — согласно мотнул головой писарь, сокрушаясь про себя: «За что Господь наказал? Сам у себя дела принимать, видано ли. Придется все утайки показать. Этот и впрямь вздернет, ирод бешеный».

Чередов повернулся к Колесову:

— Веди в жилье да прикажи, где каюрам обогреться: завтра им в путь до гавани. Комендант порта Левашов просил упряжки сразу отпустить. Там в порту чванливый капитанишко Чириков сидит: из похода пришел, земли новые открыл. К себе не допускает. Да и черт с ним!

Колесов, заглядывая в заблестевшие глаза Чередова, вкрадчиво заговорил:

— Ты уж изволь на денек упряжки придержать. Мне оне как раз кстати, не то собранных в остроге нарт, чтоб пожитки мне в гавань доставить, нехватка. Вроде незаметно, а понабралось всего.

— Хм… рухляди пушистой с ясака накрал, сукин сын?

— Зачем так сказывать, — заозирался Колесов, — я и о твоей особе беспокойство проявил: на первое время десяток лисок тебе приберег, а далее сам сообразишь, как править дело.

— Не боязно с краденым? А донесет кто, будто вымогал и прочим незаконным путем отдарки срывал?

— «Крал, вымогал»! Сказывай легше… Оно ить — русская душа! Ведаешь, что могешь подскользнуться, а все же поступаешь на авось… хоть и побаиваешься. Не без того.

Чередов ухмыльнулся:

— То-то… говорю как есть: накрал да боишься.

— Чего ты заладил: «накрал» да «накрал»! — окрысился Колесов.

— Ладно, черт с тобой, нарты придержу, но мне все тонкости ясашных дел поведай.

— А как же, как же, рад душой, — отлегло от сердца у Колесова.

— Ты ворованное-то вези на судах экспедиции, не то охоцкий командир вытрясет.

— Ведаю сие, так и мыслю, — старался уже свернуть разговор Колесов.

Через день он зашел попрощаться к Чередову.

Тот, оглядев его богатую шубу из хребтов сиводушчатых лисиц, заметил:

— В такой не простудишься.

Набросив на плечи овчинный полушубок, Чередов вышел проводить.

С крыльца оглядел вереницу нарт и, увидев в одной двух молоденьких камчадалок, заметил:

— Куды этих-то. Ить вывоз их из Камчадалии… сам ведаешь?

— Да не мои; купца-мелошника Петрова. Он со мной до гавани увязался.

— По харе вижу: врешь, сукин сын, да понимаю, что в порту до весны скуку скрасить надо, — начал спускаться с крыльца Чередов.

Колесов подумал: «Черт дернул меня тут весь обоз остановить. Надо бы подальше от лихого глаза прибыток свой упрятать. Непонятен Чередов мне, а коли так, надо бы поостеречься. Такие, поди, за добро злом да хулой воздают. И чего он так со мной. Особа я знатная и благородная, да и небеден теперьто. Невежлив, как мелкочинный служака» — и, спустившись вслед за ним, подал Чередову руку:

— В Якуцке будешь, непременно наведайся: буду рад.

— Коль не схватят тебя да не убьют меня, — ухмыльнулся Чередов.

Колесов повернулся и поспешил в нарту. Скрипя полозьями и раскатываясь на поворотах улочки, нарты покатили из острога. С высокой сушины, торчащей из густого подлеска, ворона громко прокаркала так, что Колесову послышалось: «Пора… пора!»

Он повернул голову в ее сторону и сплюнул:

— Тьфу, тварь, каркаешь, как и Чередов. — И, отвалившись на плетеную спинку нарты, успокаивая себя, размыслил: «Конечно, пора… Отмыкал свое в столь диком краю… Чего ж, ни в добре, ни в славе отсель возвратиться? Вон, говорят, Чириков Америку открыл — ему слава, а мне… что смог, то и добыл. Теперь перевезти бы без домех. Не тебе, недоумок Чередов, меня поучать, как и что провозить. Вот возвернусь на матерую землю, в Якуцк, закачу почестей пир во благополучие возвращения. Детям и внучкам своим закажу, дабы рухляди пушистой славу пели бы веки вечные. Ясак, что родник, из коего пить и не испить. Знай тряси-сотрясай народишко».

Алексей Чириков в канцелярии порта разбирал бумаги, прибывшие из Большерецкого острога. По делам экспедиции за прошедшее лето Мартын Шпанберг писал скупые сведения, а что касается нужд его команды, тут все описано до подробностей.

Прочитав письмо, Чириков вспылил: «Мыслимо ли: собрать в Камчатку весь флот и столько людей, а о прокорме их с лета не подумать?! И зачем таким флотом к Японии, у которой уже бывал? В делах общих меня чужится, а помощи просит… Да бог с ним, кабы токмо ему, а то людям помочь след».

Через некоторое время, вызвав прапорщика Левашова, капитан-лейтенант давал ему наставления:

— Извольте отправить провизора к верхнеавачинским камчадалам, дабы закупить у них полторы сотни оленей для пропитания людям команды Шпанберга. Заготовьте указ приказчику Верхнекамчатского острога, дабы подобрали в тайге великую лесину, годную на мачту, и доставили ее в Большерецк для ремонта судна «Михаил», а також к весне непременно отправить туда же предписанное число пудов бараньего жиру и смолы. Особо отметить, дабы платили инородцам как положено. Не то ведаю: лишь дай команду, дров наломаете по своему радению да широкой натуре.

Когда Левашов вышел, денщик Чирикова, гардемарин Кондратьев, доложил:

— Приказчик Камчатки Колесов.

— Зови.

В расстегнутой лисьей шубе, Колесов, держа в руках шапку, перешагнул порог и низко поклонился.

Вздохнул на полную грудь и зачастил:

— Батюшка, капитан флота, будь отцом милостивым. Отблагодарствуйте изволением с вами по весне отбыть до Охоцку. Буду вас почитать, яко первейшего добродетеля.

Чириков откровенно улыбнулся:

— Отблагодарствовать, говоришь? Тогда скажи, милейший, инородцы ныне опять зимой в голод впадут или обойдется?

— Как знать… Завсегда к весне мрут от нехватки в еде, потому как лодыри несусветные.

— А хлебопашцы обустроились в зиму?

— Бес их ведает. Но старостой туда крепкого человека назначил. Тот заставит и пахать, и сеять, но норовист: ни разу не доложил, как и что.

— Хм, выживут ли — не ведаешь, а сеять заставит… А ясаку собрано в достатке?

— Завсегда, сколь писано, сбираем исправно.

Лишь тяжкий вздох обронил Чириков в наступившей тишине и, хлестнув Колесова взглядом, закончил беседу:

— К весне галиот «Охоцк» изготовится, с ним и уйдешь.

Довольный Колесов вышел из канцелярии и подумал: «Как все удачно: без взятки обошлось». Вспомнив, что шапка в руках, натянул ее и направился к казарме офицеров младшего чина.

Чириков сел за стол и изготовился дописывать донесение в Сенат, но перед глазами все еще стояло слащавое лицо Колесова.

«Вот она, власть, — лишь себе в рот класть. В бедах кого хошь винят, а от дел бегут», — заключил капитан-лейтенант и, тряхнув головой, отгоняя образ, начал писать.

* * *

В Большерецке никогда еще не было так людно. На рейде у острога стояли бригантины «Архангел Михаил», «Михаил», дубель-шлюп «Надежда» и «Святой Иоанн». Матросам и служилым в казармах при остроге не хватало места, и многие

из них устраивались на зиму на судах. Вечерами кабак через открытую дверь дышал винными парами и табачным дымом. Далеко разносились матросская брань, смех и повизгивание непотребных женок. Для удержания должного порядка в остроге Мартын Шпанберг назначил отряд дозорных под командой прапорщика Ушакова, которые нередко разгоняли и растаскивали дерущихся служилых.

Когда по первопутку Шпанберг получил долгожданную почту из гавани Святых апостолов Петра и Павла, он взял пакет и закрылся у себя. Распечатал письмо от Чирикова и, бегло просмотрев, откинулся на спинку стула.

«Все ж отыскал Америку… Раз Чириков вернулся, то и командор вскоре будет…» — размыслил он.

Не этого ожидал Шпанберг. Удача Чирикова его не радовала. После опроса геодезиста Гвоздева о забытом плавании тысяча семьсот тридцать второго года к неведомым землям Шпанберг опросил тогда всех оставшихся в живых из команды Гвоздева. И — удача: у рудознатца Гардеболя обнаружился пропавший журнал плавания, который попал к нему от умирающего подштурмана Ивана Федорова с наказом передать его только в Адмиралтейств-коллегию. Изучив журнал, Мартын Шпанберг уверовал, что Америку надо искать в более северных водах океана, а не там, куда по указке де ла Кроера ушли пакетботы командора Беринга. Он ожидал, что Беринг и Чириков, если и вернутся, то ни с чем. Потому-то и собрал на Камчатку весь флот, чтобы в случае их неудачи самому выйти в море и высадиться на ту Большую землю, куда не удалось сойти Гвоздеву. Чувство досады овладело Шпанбергом. Он вскочил со стула, швырнул письмо на стол и заходил по комнате.

«Куда же теперь?! Опять к Японским островам? Я туда, а Чириков по весне в Охоцк и далее в Петербурх на репорт в Адмиралтейство за почестями», — толпились мысли.

Он взял письмо, вновь вчитался и скептически хмыкнул:

— Уже поучает меня… Геодезиста своего в помощь прислал. Дудки! Я сам с усам! До тепла еще время есть, подумаю, как быть.

Прибытие в Большерецк геодезии прапорщика Красильникова, участника плавания к берегам Америки, и с ним вестей от Чирикова из нового порта Святых апостолов Петра

и Павла всколыхнуло настороженную ожиданием жизнь обитателей острога. Все заговорили о сыскавшейся новой землице — Америке, к которой собирались-готовились восемь многотрудных лет.

В офицерской казарме, куда определили Красильникова, было многолюдно от любопытников, желающих из первых уст услышать о столь таинственной землице.

Геодезиста засыпали вопросами, не давая подробно обсказывать ответы, удивлялись и вновь спрашивали:

— Так и не вернулся Дементьев?

— Ты гля, дюжину матрозов неужто побили?

— Оборуженных-то за понюх табаку не взять?

— И боцманмата Савельева с людьми? Ну, это никак хитростью дикари взяли…

— Коль огней костровых во множестве виделось, знать, людная земля — эта Америка. Царице нашей в ясаку прибавка заметная может статься.

Лишь когда свечерело, Михайло Гвоздев заступился за гостя:

— Будет, будет вам. Довольно с расспросами. С дороги, смаялся, небось, а вы пообступили. — И уже обращаясь к Красильникову: — Пошли в кабак, похарчиться время.

Из-за многолюдства в остроге кабак работал по установленному распорядку: сначала кормили офицеров старших и младших чинов, а потом допоздна матросов и прочий люд. В кабаке тускло, чадно и шумно. Красильников с Гвоздевым прошли к длинному столу для унтер-офицеров, за которым уже сидели несколько человек. Пока они усаживались на лавку около мичмана Шхельтинга, к столу подошли Мартын Шпанберг и рудознатец Симеон Гардеболь. В темном, облегающем сухое тело кафтане, в коротких штанах, в таких же темных чулках с бантами под коленом, Гардеболь, качнув темными длинными прямыми волосами, склонил голову в знак приветствия и улыбнулся, обнажив крупные редкие зубы. Рядом со Шпанбергом, на котором ярко-красный кафтан, обложенный золотым галуном, а поверх наброшен зеленый камзол с отворотами на рукавах, Симеон Гардеболь казался темной тенью капитан-лейтенанта. Поправив белый бант, Мартын Шпанберг прищелкнул длинными светлой кожи ботфортами и чуть кивнул выпирающим мощным подбородком и орлиным носом

на приветствие поднявшихся в почтении офицеров, молча сел на отведенное ему место за столом, что и послужило началом вечерней трапезы. Раньше офицеры питались по своему усмотрению: харч готовили им их денщики, но Мартын Шпанберг в своей команде ввел строгий распорядок приема пищи, считая, что это дисциплинирует и сближает офицеров.

Окинув взглядом сотоварищей, Шпанберг уловил ожидание в их взглядах и, подняв чарку с двойным вином, встал:

— За приумножение успехов нашей экспедиции!

Все поднялись, послышались возгласы:

— Виват русскому флоту!

— Слава Чирикову!

Шпанберг покосился в сторону Красильникова, упомянувшего Чирикова. На лице Мартына Шпанберга будто углубились и без того резкие впадины, идущие от глаз до уголков губ. Он молча выпил. Вскоре капитан-лейтенант, а вместе с ним и Гардеболь покинули застолье. За столом оживились. Вновь завелись разговоры об Америке. Поднимали тосты за фортуну, за капитана Чирикова, за Россию.

Подхмелевший мичман Шхельтинг встал на лавку и, размахивая чаркой с вином, заговорил:

— Господа, то, что писал ученый монах Чудова монастыря Карион Истомин, восславляя гишпанца Колумба, ныне подойдет и к россиянам! — И принялся декламировать стихи монаха:

— Америка, часть четверта,
Новоземля взнань отперта.
Волнохищна Америка,
Людьми в нравах, в царствах дика.
Тысяцми лет бысть незнанна,
Морем зело отлиянна…

— Слава России!

— Виват Америке! — выкрикивали пьяные голоса, заглушая Шхельтинга.

Геодезисты Гвоздев и Красильников быстро сдружились, всегда находя обоюдоинтересные темы разговоров.

Однажды, когда Красильников, рассказывая подробности плавания к Америке, начертал приближенный путь бота «Святой

Павел» и нанес полосу берега земли, которую удалось им увидеть, Михайло Гвоздев, оторвав взгляд от чертежа, уставился на товарища:

— Верно, на северо-запад сей берег уходит?

— Да, видимо, так и простирается, — утвердил тот.

Гвоздев задумался, лишь досадно покачивая головой: «Знать, Большой берег, куда я не смог высадиться, — часть Америки?! Эх! Подштюрман Иван Федоров! Кабы не твое нетерпение да норов, не выпустили бы удачу из рук!..»

* * *

После спокойного по характеру приказчика Колесова Василий Чередов карой небесной обрушился на сонную жизнь нижнекамчатских служилых и обывателей. Во всем он видел непорядки и нерадение. В первый же день он лично избил целовальника в кабаке, потому как тот не сразу же, а после сомнений поднес ему чарку крепкой раки. Десять ударов кнута назначил кузнецу Саламатову за то, что уже полдень, а горячих углей в горне нет. За оправдывание, что заказов в кузницу нет, добавил еще пять ударов. Задремавшему на смотровой башне казаку писарь, семенивший рядом с новым приказчиком, записал двадцать ударов кнута. После обхода острога к Чередову скликали казачьего десятника Степана Чуба.

Чуб прошел мимо писаря, который отвернул от него побитое лицо, и заглянул в приоткрытую дверь приказной. Убедившись, что Чередов там, Степан вошел, сняв шапку.

Приказчик окинул его взглядом и нахмурился.

— И это казачий голова?! Как стоишь, олух? — рявкнул приказчик.

Писарь за дверями съежился, Степан подтянулся.

— Вот так-то, — назидал Чередов. — Караул ты разводишь?

— В беспокойное и лихое время — я, а ныне чередуются сами.

— Вдругорядь за нерадение казаков порку получать будешь с ними наравне. А ныне собирай казачий круг — говорить буду.

Вскоре над воротами крепости зазвякал вечевой колокол. Когда казаки столпились у приказной избы, Чередов вышел на крыльцо, окинул взором собравшихся и заговорил:

— Ныне на приказе я, Василий Чередов! Гляжу на вас: табор, а не казачий круг! Кто в чем, а не в единых кафтанах, как должно. Объявляю на завтра сбор. Явиться всем в казачьей справе и оборуженным.

— С провиантом? — донеслось из толпы.

— Без харчей! О другом повестит писарь, — закончил Чередов.

Из-за него вышагнул писарь и, с трудом шевеля разбитыми губами, начал читать указ Охотской канцелярии:

— «…По челобитию камчатского приказчика Колесова, сына боярского, и по помете на выписке командира Охоцка и Камчадалии Антона Девиера, Степка Чуб за многие ево службы и радения приверстан в казачьи пятидесятники, а також казачьева сына Тимошку Поротова приверстать в казачьи десятники за службы да кровь и раны отца ево, Михайло Поротова».

Прочитав, писарь развернул другой лист. И продолжил:

— «За нерадение к приставленным службам сечь кнутом Ивашку Саламатова, Степашку Черных, Авдейку Тарабыкина… в назидание другим. Василий Чередов».

Посмотрев, как палач команды Селиванов изготовился с кнутом у козел, Степан Чуб подумал: «Круто берет Чередов: пошибче Мерлина».

Утром у приказной избы толпились казаки. В потертых, штопаных кафтанах, они скучились перед крыльцом, поджидая приказчика, и переговаривались:

— Руки зябнут фузею-то держать.

— Неужто и в мразы в кафтанах караул стоять?

— Пустое. Поперва покуражится да отступит. Все так-то.

На крыльце появился Чередов. Казаки стихли. За ним из приказной вышли писарь и новоявленный пятидесятник Чуб. Приказчик сошел с крыльца.

— Все за мной, — обронил он и направился за ясашную избу.

Тут все увидели, что на двух жердинах подвешено по два кожаных мешка, набитых снегом. Невдалеке кусок холстины растянут на крепостной стене.

Чередов умостился на табурет, поставленный за избой, и скомандовал:

— Становись!

Топча снег, казаки встали в два ряда. Приказчик оглядел их и подошел к низкому казаку. Тот вытянулся, выставив клин бороды.

— Пошто в треухе, а не в казачьей шапке?

— Все обыскал. Невесть куды пропала. Авось мальцы затаскали, — выпалил он.

Чередов повернулся к писарю:

— Запиши пяток.

И приблизился к казакам, стоящим без фузей.

— Где фузея?

— Давечь утопла при переправе.

Чередов бросил через плечо:

— Этому десяток…

И обратился к следующему:

— Твоя?

— Не выдали за неимением в казне.

— А твоя?

— В избе стоит за поломкой курка.

— На первый случай пять плетей, — оценил приказчик и, подойдя к табурету, сел. Махнул рукой Чубу: — Командуй!

Степан вышагнул и заговорил:

— Зараз каждый в беге по тропе должен палашом посечь тесемки у кулей. По одному — подходи!

Первый рослый казак, чуть замявшись, шагнул и, выхватив из ножен палаш, бросился на мешки. Он успел ударить лишь по двум тесемкам, как уже проскочил жерди. Мешки закачались, но висели. Чередов поманил его пальцем. Тот подошел. Приказчик взял палаш и провел пальцем по острию.

— Это что? — указал он на зазубрины.

— Женка, однако, дрова им колупала, — заморгал тот.

— Пиши — четыре.

Пока писарь усердно выводил фамилию казака и назначенное количество ударов, меж жердей пробежал казачок в треухе. Ему удалось срубить три мешка.

Чередов ухмыльнулся и кивнул писарю:

— Один остался. Запиши ему одну.

Мешки подвязали вновь, и так, пока все не пробежали меж жердей. У кого сколько несрубов оставалось, тому столько же

ударов кнута и предписывалось. Никому из казаков не удалось срубить четыре мешка.

Казаки зароптали:

— Тако содеять неможно!

— Развороту нет, никак!

— Коль никто не может, зачем писать в вину?

Чередов кивнул Чубу. Тот не спеша вынул палаш и волчком крутнулся меж жердей. Момент, и он стоял уже за жердинами, поправляя на голове встопорщенный от резкого движения оселедец. Мешков на жердинах не было.

— Ух ты-ы-ы… — вырвался вздох у казаков.

Пока Степан Чуб из-под срубленных мешков вытаскивал свою свалившуюся с головы шапку, казаки, признавая свою нерасторопность, переговаривались:

— Ловок донец.

— Я и палаша не узрил, лишь блеск да посвист.

— Так-то! — укорил казаков Чередов и приказал пальнуть из фузей по холстине, с тем чтобы попасть в обведенный на ней круг. Первый выпалил, пуля шлепнула в круг.

— Похвально, — заметил Чередов.

У второго выстрела не последовало. Казак еще и еще щелкнул кресалом, но порох не запалился.

Служилый виновато повернулся к приказчику:

— Однако, порох сырой.

— Десяток ему.

У следующего не оказалось пуль.

— Десяток тоже, — скомандовал Чередов.

Тому, кто не попадал в круг на холстине, писарь вписывал по пять ударов плетей.

Закончив осмотр, Чередов встал и обратился к Чубу:

— Степан, в помощь Селиванову назначь кого там, а то ему на полдни хлестать хватит.

Приказчик собрался уходить, но повернулся и для казаков добавил:

— Я же говорил, что табор, а не войско. Не приведи господь, с такими в набег или оборону держать. Через две седмины вновь посмотрю, а ныне, кто заслужил, — под кнут!

Долго со двора в приказную избу доносились щелканье кнута и стоны да вопли служилых. Кляня приказчика

и злобствуя в душе, разбредались по домам битые казаки. И их злобствования зависели от числа ударов кнута.

«А и впрямь, что после тиха приходит лихо», — думали одни.

«Ништо, казак терпелив до зачина, а займется — ужо покажем», — грозились в душе другие.

«Прежде веку не помрем», — стонали третьи.

То проверки, то учения, которые всегда кончались поркой казаков за нерадение, в постоянной тревоге и ожидании заспешило время. Приближался срок сбора ясака. Когда февраль-ветродуй одел в панцирь настов снега Камчадалии, казаки заметно прибавили в ретивости к службе. Старались все, дабы попасть сборщиком ясака в более богатые острожки. На службу выходили в полной казачьей справе, не отлучались с постов: не дай господь, Васька Бешеный, как окрестили Чередова казаки, узрит — извиваться под кнутом непременно.

Ночью Степан Чуб вышел проверить посты, у ворот его окликнул казак:

— Кто? Отзовись, не то пальну!

— Я те пальну, протри гляделки! Ночь-то светла, — проговорил Степан, подходя к караульному, и спросил: — Озяб, небось?

— Известно дело…

— Неужто и впрямь не признал меня?

— Признал… Дак порядок… А чего не признать, светло, что днем. Вон новичок народился, что серп сверкает, — кивнул наверх казак.

Тихон задрал голову.

— Звезды-то редкие, поди, — к вьюге?

— Известно дело, к пурге, — поддакнул казак и кивнул в сторону: — Гля, наш Бешеный от Марфы Мухоплевой вынулся. Сюды идет.

— Как знаешь, что от Марфы?

— Все ведают. Он, нечестивец, и не таится. Якима намедни крепко побил, а теперь-то в Большерецкий острог с почтой отослал. Вот и шастает туда.

— Да, ходок отменный, — вставил Чуб.

— Щас прицепится к нам, бузотер. Спьяну токмо дай поерепениться. А коли Марфа не приветила — беда.

— Сюда идет, — заключил Чуб и добавил: — Ты того: он спор-перекор не терпит, сатанеет враз. Я пойду та на башне караул проверю.

— Известно дело, — мотнул головой караульный.

Чередов, шатаясь, подходил к казаку.

— Стой! Отзовись, не то пальну!

— Отзовусь. Как же.

Он подошел к служилому и уставился на него:

— Глаза есть?! Меня не зришь!

— Дак тот раз бивали за то, что не окрикнул.

— Кому перечишь! — с размаху ударил Чередов.

Караульщик уклонился, и удар пришелся в шею.

— Запорю! — заорал Василий, казак съежился и, ожидая своей участи, уставился на Чередова.

Видя покорность, приказчик сжал кулак и, выставив вперед, пригрозил:

— Мотри в оба!

Отшатнулся и прошел в ворота крепости.

Степан Чуб уже спустился с башни и встретился с Чередовым.

Тот сразу же ударил Степана.

— Экий буй! Лупить по загривку! — взорвался Чуб и ударом сбил Чередова с ног.

Тот вскочил, выхватил саблю. Степан заколебался и отступил к перилам. Чередов с криком: «Брысь с дороги!» — с саблей бросился на Степана.

Тот отступал, поднимаясь по ступеням башни. Чередов с остервенением изрубил саблей пузатый вычурный столб опоры навеса над ступенями. Красноролжий, с бешеными водянистыми глазами, он, рыча от яри, с силой сек перед Чубом воздух и перила, поднимаясь вслед.

Степан пожалел, что не надел свой палаш, и крикнул караульному на башне:

— Савелий! Зараз изготовь палаш. Кажись, голова наш того, свихнулся.

Чередов остановился, взглянул на Степана из-под белесых бровей и, вонзив саблю в ножны, проговорил:

— Степка, мотри… Ты у меня косточками на дыбе похрустишь. А без палаша еще на службе встрену, могу и посечь, — развернулся и пошел к своему дому.

Спускаясь со ступенек, Чуб, косясь на изрубленные в щепы перила, подумал: «А и впрямь бешеный».

* * *

От холодов зябли январские дни. Зима стояла крепкая, сугробистая. Несмотря на стужи, река Камчатка у селения землепашцев не замерзала. На островах и на берегу реки ивняк загустел от сверкающего инея.

Лишь замерцал рассвет, Савелий Рыков уже грохнул об пол охапкой дров и, поколдовав у печи, разжег ворох смолянистых щепок.

Заглянул в спаленную комнату:

— Ульяна, я ужо со скотиной управился, а ты все вылеживаешься. Вставай, провожай нас.

Подошел к топчану, на котором под дерюжным одеялом посапывал сын:

— Ивашка, пока лошадь запрягу, чтоб был готов.

Тот вскочил, утвердительно тряхнул рыжей шевелюрой и потянулся.

Из спаленной комнаты вышла Ульяна:

— И в праздник ни свет ни заря завелся. Ведь не простое воскресенье, а Аксинья-полузимница. В такой день не грех и без дела побыть.

— Полузимница она и полукормица: кормов-то еще до лета сколь надо. Кто же знал, что тут тако снегу навалит. А не дай господь, еще подсыпет, и вовсе дальние зароды сена не возьмешь. Чем скотину кормить? Вывозить надо — не до отдыха тут.

— Ся год все для нас в новину, — сочувствующе вздохнула она и, забрякав посудой, спросила: — Мужики-то в такой день схотят ли ехать?

— Одни поедем.

Отец вышел. Ивашка, накинув на плечи длиннополый азям, сунул ноги в валенки и выскочил вслед за отцом.

Вскоре он влетел в избу, стуча зубами.

— Ух ты! Калена стынь сегоды. Пока до ветру сходил, дрожь проняла с головы до пят.

Мать осуждающе качнула головой.

— Подь ты весь к боли. Вечно налегке мчишь, потом бухыкаешь.

Дверь распахнулась, в избу повалил клубастый морозный воздух.

Из проема двери просунулась рыжебородая физиономия отца.

— Ивашка! Куды вторы вилы подевал?

— Там, у подклети стоят.

— Я вот, подхвати тебя! — ругнулся отец и хлопнул дверью так, что с потолка сеней куржа осыпала его плечи.

— Вечно ты на место ничего не ставишь, сколь ни талдычь тебе, — ворчнула мать.

После завтрака Ивашка с отцом выехали за сеном к дальним зародам. Савелий в зипуне из самотканого сукна стоял на коленях в санях и время от времени колыхал вожжами, пошлепывая лошадь по ее взявшимся инеем бокам. За отцом в санях на охапке соломы Ивашка свернулся клубком, поджав ноги под полы своего азяма. Собакой повизгивали полозья саней, далеко разносилась звень от копыт лошади. Отец поднял большой воротник зипуна.

— Донимат морозец-то, — помолчав чуть, добавил: — Недолго теперь: в феврале-то переломится. Выдюжим. Вот снегу тут — пропасть. Благо, что дров из сухостоин летом заготовили. Ныне бы без дров зубами-то пощелкали. По таким сугробам как их волочить, — рассудил он.

Пока ехали по наторенному в снегу пути, Ивашка раздумывал: «Коли рано вернемся, сгоняю на лыжах, проверю петли, что на ушканов насторожил. Гринька-то на прошлой седмице опять соболя дымником выкурил. Да, в охоте всегда Гринька наперед меня».

Ивашка вздохнул и плотнее вжался в солому.

Савелий остановил лошадь. Надо было сворачивать с наезженного пути в сторону зарода сена, к которому лишь вела набитая лыжная тропа. Рыков вышагнул на лыжню, потопал по ней — не провалился.

«Удержит ли конягу? С пустыми санями авось и проберемся, а с возом…» — размыслил он и, взяв лошадь под уздцы, повел ее за собой по затвердевшему следу лыж.

В избе Поповых в это утро тоже рано засветилось оконце. Акулина зажгла жировик и, одевшись, вышла в сарай задать скотине корм да почистить.

«Лука с Никифором Колыговым с вечера после бани допоздна бражничали. Ныне-то, пока Лука проспится, сама поуправлюсь, — подумала она. — Что-то Лукашка совсем заплох. К хозяйству стал относиться спустя рукава, да и ко мне… В сорок годков-то мне не одним хозяйством жить. Спаивает его Колыгов. Со всеми грозен, а Лукашку задабривает. Ворвани для жировика на всю зиму дал, баньку уговорил вместе срубить… Все из-за меня, так и вьется вокруг. Отведи, Господи, стрелы лукавого дьявола. Не хочу такой любви коверканной, нечистой. Такова у меня уже была с Лукашкой моим: больше похоти, чувства чуть. Мудрена жизнь: вроде бы и грешно мужней женке думать о другом, а вот приятно, что и ему ты по нраву», — размышляла она, выгребая из скотских яслей солому.

Управившись, она вошла в избу. Сбросила полушубок. Муж и дочь еще спали. Виринея во сне бежала навстречу Михайлу Гвоздеву, появившемуся из темных туч над рекой. Он приветливо улыбался и распростер руки.

«Ты звала меня, я тут», — гремело в округе.

«Да, да».

Она бросилась к нему в объятия.

«А как же Ивашка? Вон он — за тобой».

Виринея оглянулась, и впрямь, за ней стоял Ивашка Рыков и в вытянутой руке держал сверкающий перстень, сделанный из серьги казака. Под лучами солнца рыжий Ивашка был весь будто облит золотом. Он стоял как золоченый идол и умоляюще смотрел на нее. Виринея повернулась к Гвоздеву.

«Забери! Забери меня от отца-матушки! Отсюда забери!» — взмолилась она.

Услышав голос дочери, Акулина подумала: «Надо пучок чернобыльника у входа повесить от беса: Вирька-то никак с ним говаривает по ночам».

И, спохватившись, она поставила на загнеток печки миску вчерашней каши для домового. Так уж повелось исстари, завсегда в день Полузимницы задабривать лохмача-домового, дабы не докучал.

Вирька проснулась. Перед глазами все еще будто в тумане стоит он и держит ее на руках, а она, счастливая, обвила руками его крепкую шею и прильнула к обветренному мужественному лицу. Улыбнувшись, она подумала: «Стоит лишь загадать чего,

враз привидится. Сладко мечтать: будто все наяву, всамделишно было». Хмель радостных мечтаний то бодрил, то ввергал ее в грусть. Облик Михайла Гвоздева стал уже забываться ей, но ее воображение дополняло и делало его образ все притягательней. Она вспомнила, как перед новым годом, в самый ворожейный в году Васильев вечер, они с матерью выливали воском свою судьбу. И у Вирьки, несмотря на то что она усердно произносила молитву-заговор и думала только о нем, воск в воде застыл пауком. Эта ворожба хоть и опечалила мать и Вирьку, но она не хотела верить этому предсказанию и всем сердцем надеялась на лучшую долю. Вот и сейчас сон словно подтверждал ее надежду. Она принялась вновь в мыслях перебирать приятное сновидение.

Акулина тихо подошла к проему двери и, таясь, посматривала на дочь, которая время от времени задумчиво улыбалась.

«Не-ет домовой и бесы тут ни при чем… Видно, от зрелости девка по ночам томится», — подумала она и отошла к каменке.

Сердцетрепещущее чувство наполняло Виринею, окрыляло ее душу, распирало добротой и радостью ко всему земному. В такое время она плохо ощущала себя, потому как полностью растворялась в своих мечтаниях о том, чей образ вызвал в ней это чувство. Она вышмыгнула из-под одеяла и, порывшись в своем сундуке, достала осколок зеркальца — материн подарок — и потом долго оценивающе вглядывалась в черты своего лица, излучающего притягательную силу первоцветения.

Лука Дранка проснулся лишь тогда, когда в горенку из кухни донесся вкусный запах. Акулина в честь праздника пекла ржаные оладьи на коровьем масле. Он встал, погладил лысину и принялся разминать грудь.

— Акуль, — прохрипел он, — поднеси водицы. Мутит душу, так и поднимат все.

— Поднести бы тебе ухватом. Все дела позабросил, лишь бы налакаться. — И, черпнув из бадейки ковшом, понесла ему.

Дверь распахнулась — с морозным воздухом ввалился Никифор Колыгов с туеском в руках.

— Будь в здравии, хозяюшка! Жив Лукашка-то? — с порога начал он и, снимая тулуп, продолжил: — Чем же ты меня



вчерась отпотчевал, черт драный? Я глаза еле продрал, и душа в такой тоске морщится — слов нет.

Колыгов присел на лавку и поглядел на Акулину с лукавой приветливостью. Уловив его взгляд, она чуть смутилась.

Никифор подумал: «Все ж есть на чем глаз погреть у Акулины» — и обратился к Дранке:

— Неужто еще не очухался, сидишь как сыч.

— В башке гудит да изжога мучит. Жгет огнем опалимым… — покачал головой тот.

— С росхмели завсегда голова болит. Я ныне своего перегона захватил, не то что брага, с него не занеможешь. — И он с полу поднял туесок и поставил на стол.

Лука, натянув рубаху и порты, прошлепал босыми ногами до бабьего угла в кухонной комнате и, плеснув воды в ладонь, смочил лицо и протер глаза. Подолом рубахи вытерся и подошел к столу.

Поближе разглядев Колыгова, заметил:

— Ты никак в новую справу вырядился?

— Ить праздник, небось. — И от улыбки глубокие морщины собрались у висков Колыгова. Ему было приятно.

«Раз Дранка заметил, то Акулина и вовсе», — мелькнула мысль.

Колыгову все больше нравилось показывать и мнить себя не только богатым, но и знатным, особенно перед Акулиной.

Лука умостился поудобней на лавке и придвинул ковш к туеску гостя.

Оглянулся на хлопочущую у печи жену:

— Акуль, поднеси-ка чего заесть, мы тут по случаю праздника…

— Опять с утра начинаете, — недовольно упрекнула она.

— Дак свят день до обеда, — нашелся Лука.

— Вон Рыков чуть свет с сыном за сеном укатил, небось, о хозяйстве печется. А тебе ежедень свят.

— Замолчь! Ешьте-корень. Рыков ныне не указ. Мне староста — указ! Вот он! Живо ставь на стол, — взвинтился Дранка.

Колыгов ухмыльнулся приятной ему речи хозяина и с властной ноткой в голосе заговорил:

— Будя вам вздорить. Ты уж, Лука, сразу расходился, как вошь на голове. Акулина, не из-за чего серчать: без сена не останетесь… Я вам грю.

Поставив на стол еду, Акулина заглянула в горенку:

— Вирька, в бадейках воды чуть, сходи по воду.

Когда Виринея прошла мимо застолья, Колыгов повел глазами и отметил себе: «Пригожа птаха, в мать голубоглазая». Одеваясь, Вирька спиною чувствовала взгляд Колыгова.

«Так и сверлит паучьими глазами», — подумала она и, захватив бадейки, выскользнула из избы в морозную стынь.

Когда Виринея занесла в избу обледенелые бадейки, отец, уже пошатываясь за столом, что-то мямлил, пытаясь заглянуть в глаза Колыгову, а тот вновь подливал в ковш раку. Мать в бабьем углу толкла в ступе сухой ячмень.

Виринея поставила бадейки и подошла к ней:

— Матушка, я к Рыковым схожу? Тетка Ульяна обещала поучить узоры для кокошника вязать.

— Иди, иди, — согласилась Акулина.

Вскоре Дранка похилился и, клюнув носом, уронил лысоватую голову на дощатый стол. Колыгов вышел из-за стола, взгреб Луку и легко перенес на топчан.

Уложив хозяина, подошел к Акулине:

— Слаб совсем твой мужик-то.

Акулина окинула взглядом крепкого бородача и молвила:

— Супротив такого-то, конечно.

— Я во всем еще в могуте, — заиграл замаслившимися глазами Никифор.

Акулина утупила в пол очи, а Колыгов продолжил:

— Смяла ты мою душу, Акулина, и видеть того не хочешь. С другими бы не цацкался, а пред тобой во мне волнительность ненужная так и сбивает пыл.

— Полно об этом: в пристяжные женки я не гожусь. Грех и стыд.

— Бабий стыд до порога: переступила и забыла. Неужто не видишь, как я возгораюсь к тебе?

Акулина с опаской подняла глаза на него:

— Я не гульная баба, зачем со мной так? Это вам ни забот, ни хлопот: лишь блудом блудить да женок смущать, а у меня семья, хозяйство. Не разумею я сего.

Колыгов с укоризною хмыкнул и заговорил:

— Вот взять — блоха, какая гадость, и та смекает в блуде сладость. А ты? Чего твой Дранка? Ведь ты с ним всю жизнь лаптями

пол метешь. А я тебя в меха наряжу. Лишь твое слово — и все, чего возжелаешь.

Первая оторопь от такого разговора прошла, и Акулина оценивающе взглянула на Никифора, поедающего ее глазами, и ухмыльнулась:

— На проезжем навозе и трава не растет, так что не о чем говорить.

— Так в женки тебя возьму, Аглайку прогоню, коли так!

— Полно, Никифор, об этом. У всех мужиков на устах мед, а на сердце лед.

Никифор заиграл желваками, теплота во взоре исчезла, оставляя лишь блеск в глазах, брови поползли вниз.

— Знать, по добру не хошь? Я ить на силок пойду: казак, поди, от роду. А казакам, что плохо лежит, — нам дадено. Подумай еще, кабы пожалеть не пришлось.

Колыгов быстро зашагал к выходу, схватив тулуп и грохнув дверью, вышел из избы.

— Ушел, черт глазатый, — выдохнула Акулина.

Прислушиваясь к своему сердцебиению, подумала: «Вот привязался-то» — и подошла к столу убрать посуду, но, постояв чуть, опустилась на лавку и задумалась: «Господи, отчего все вспятилось во мне? Пошто не ведаю, как быть-то? Да, что греха таить, жизнь-то проходит, а сердце так и не выплеснулось любовью да негой, о коей лишь мечталось… Ить до сих пор сердце повязано тайной кручиной о несбывшемся. Замуж выдали — не спрашивали, жизнь складывается не так, как душа просит. Для чего же Бог дал сердце женкам? Неужто лишь для боли?»

* * *

Савелий Рыков с лошадью под уздцы пробрался до сена.

На выдувке перед зародом развернул сани и, выдернув из-под клока соломы вилы, заметил:

— Не то чтоб под бастрык, хоть полвоза бы удалось протащить.

Ивашка отца не слышал, он во все глаза читал следы на снегу.

Вокруг зарода сена мыши бисером следов прострочили сугробы снега. Тут же цепочкой вился след рыжехвостой.

Одна узорчатая строчка следов враз обрывалась на отвесном сугробе.

«Знать, сова подхватила мышонка», — размыслил Ивашка и услышал:

— А ну, метнись наверх да подавай как следует.

Ивашка ухватился за ствол одной из березок, придавливающих вершину зарода, подтянулся и, опершись ногой о вилы, которые отец предусмотрительно воткнул в сено, забрался наверх. Сбросив снег и оттащив связанные меж собой березки к середине зарода, Ивашка принялся сбрасывать слежавшиеся пахучие пласты сена.

Уложив на санях с полвоза, Савелий махнул рукой:

— Полно. Так опробуем.

С груженными санями лошадь сразу стала проваливаться по колено в снег и шла тяжело. В более мягком сугробе розвальни проседали, буровили перед собой сугроб. Вскоре от лошади пошел пар. Савелий передал уздечку сыну, а сам упер ся сзади вилами в сено, помогая коняге. На перемете между березняками лошадь провалилась по брюхо и остановилась. Савелий перевел дух, огляделся.

— Сажен шесть проломиться бы, а там опять снегу меньше. — И скомандовал сыну: — Понужни-ка, — а сам подналег на воз.

Ивашка стеганул лошадь, та рванулась, перемолачивая снег передними ногами. Сани чуть продвинулись и, съехав полозом в выбитую лошадью снежную яму, завалились набок.

— Но! Шальная! — Ивашка в сердцах стеганул лошадь.

В неимоверном напряжении она вырвала сани из-под сена.

— Тьфу ты, торопыга! Не видишь, что похилилась? Тебя бы промеж лопаток стегануть! — выругался Савелий, у которого с запарки грудь ходуном.

— Думал — проскочим, — буркнул сын.

— «Проскочим», — передразнил тот и, отходя, добавил: — Сам я дурень, ведь чуял, что по такому снегу зряшное дело затевал, да порожним вертаться не схотел.

Он присел на сани, посмотрел на подрагивающую от перенапряжения лошадь и подумал: «Как бы потроха не подорвала».

Ивашка понаблюдал, как сквозь морозный воздух остуженное солнце уже валилось к торчащему на сопках густолесью. Он представил теплую избу, и вспомнилось, что сегодня не простое воскресенье.

«Мамка, поди, чего испекла», — подумал он, и сразу захотелось есть.

Он повернулся к задумавшемуся отцу:

— Чо делать-то?

Савелий встрепенулся.

— Перво дело — роздых коняге дадим да домой. Будя пластаться без проку. А как дале-то, ума не приложу.

Когда Савелий с сыном подъехали к дому, Ивашка, соскочив с саней, направился было открывать ворота во двор, но Савелий остановил его:

— Погодь, я к Колыгову проскочу. Скажи матке, пусть на стол готовит.

В темных сенях Савелий нащупал дверь и, грохнув в нее кулаком, отворил. Вошел в избу, сдернул шапку, перекрестился на красный угол по-писаному и поклонился.

— Будьте здоровы, хозяева.

— Ково черт принес, — донеслось из горенки, и оттуда вышел со всклоченной шевелюрой Колыгов.

— А… Чего тебе? — удивился приходу Савелия хозяин.

— Сено с дальних зародов из-за снегов не взять.

— А мне чего?

— Ползимы впереди. Скотину кормить нечем. А скотина для пахаря завсе нуже живота. Подохнет скот. Чего делать-то?!

— Сам кумекай.

— Ты определен в старшинство, дак чини содейство.

— Чего мелешь, при чем тут я? Твоя скотина — ты и мозгуй!

— Забыл, Никифор, при чем ты? До самой зимы хоромы да амбары, кои тебе вовсе не нужны, рубили — силой принуждал, от земельных дел нас отринул. Про здешние снега великие не упредил нас. Мы бы по осени сено к избам завезли. Видно, забыл ты, что на государевом деле мы, и скотина у нас в большей части казенная. Ты же староста, с тебя и спросится.

По мере того как сказанное доходило до сознания Колыгова, его хмурое скуластое лицо принимало растерянный вид.

— Хм… и впрямь. Как же сено волочить? Авось собаками, — осенило его.

Савелий про себя подумал: «Как же я не допер? На нартах до торной дороги, а там с перегрузом на розвальни».

Он облегченно вздохнул:

— Верно, Никифор. Токмо упряжек испроси у приказчика — и сено, считай, у каждого во дворе будет.

Довольный, что удалось ему выйти из столь сложного положения, Никифор поднялся и, выразив на лице значимость своей особы, пробасил:

— Ступай! Да наперед обо всем всегда меня упреждай. Собак испрошу. Хотя постой, — оживился он, — а чем с вас за собак-то взясти?

— Тебе от нас ни в молоке, ни в хлебе отказа нет. Чего еще с нас, тем паче мы трудари государевы.

— Заладил: «государевы» да «казенные»! Чего-то же надо взясти? Как же мне не взясти?

— Ан не дадим. Пусть скот дохнет, с тебя и спрос!

— Ну-ну, Савелька! Мотри! Я с задору-то… Мало, видно, учил тебя! Иди! Сам подумаю, с кого и чем, — вспылил Никифор и отвернулся, не глядя на выходящего Савелия.

Два дня Колыгов собирался в Нижнекамчатский острог. Из припасов, собранных с крестьян, он приготовил угощения приказчику да дружкам: полпуда сбитого масла коровьего и пять караваев духмяного ржаного хлеба. На лыжах Никифор добрел до близлежащего камчадальского острожка Кыллуша и вскоре на гонкой нарте с каюром подкатил к дому. Забрал подарки и выехал в Нижнекамчатский острог.

Свежие продукты питания в столь диком краю, как ничто другое, пришлись по душе приказчику. Чередов расположился к Колыгову и заверил его, что каждую последующую седмицу в селение крестьян будет посылаться по пять нартовых упряжек в счет казенной гоньбы до тех пор, пока крестьяне не управятся с сеном. Проведав Мухоплева и Удачина, вызвав у них зависть рассказами о своем бытии, Колыгов через день с опухшим от попоек лицом выехал домой. Вслед за ним из Нижнекамчатского острога выкатила нарта с толмачом и казаком, чтобы оповестить тойонов ближайших острожков об очередности отработки в крестьянском селении.

Камак со старшим сыном, которому шла уже восьмая зима, возвращались домой из ближайшего лесочка. За спинами у них болтались луки и колчаны со стрелами. В плетенных из ивняка снегоходах-лапках они шли по сугробам к острожку.

— Отец, скоро я смогу стрелой пробивать таллинки?

— Скоро. Если в юрте будешь меньше сидеть.

— А на медведя меня возьмешь?

— Покрепче станешь, возьму. Подходит мне время повалить сорокового медведя, и он будет опасен — так накамлали.

В острожке их уже поджидали толмач и казак с вестями из Нижнекамчатска. Камак подошел к приезжим.

Толмач сообщил:

— Наказная память тебе от приказчика. — И кивнул на казака.

Тот поднялся с нарты, отдал Камаку свернутый трубкой лист бумаги: «Велено тебе, тоен, не мешкая снарядить две нарты да послать к речке Ключевке в селение пахарей под команду тамошнего старосты Колыгова. Через семь ден взамен этим туда же вышлешь других каюров».

При упоминании Колыгова Камак насторожился.

Недовольство отразилось на его скуластом лице, и он подумал: «Камак не хотел бы иметь дело с этим ненасытным волком», но, дослушав, что столмачил ему с виду забитый и запуганный толмач, повернулся к казаку:

— В месяц трескающихся деревьев каюрам надо жить в тепле, а собакам в сытости.

— Жилье каюрам будет, а о прокорме их, також собак думай ты, тоен. В сей бумаге так и означено.

Сдерживая себя, Камак заблестел глазами.

— Думал, эту зиму не будем голодать. Но русский тоен больше, чем прежде, берет нарты на казенную гоньбу. На посылку упряжек к Ключевке не хватит остатков юколы, припасенной для дел повинных! Опять забирать юколу у родников?! — все больше горячился тойон. — Руки и сердце жжет мне эта бумага! — И он швырнул свиток в снег.

Не дожидаясь слов толмача, казак прикрикнул:

— Шалишь, тоен! Придет отряд — повинуешься!

Толмач поднял грамоту и подал Камаку. Тот гневно прожег взглядом казака. Взяв грамоту, Камак намерился уходить.

Служилый остановил его вопросом:

— Так будут нарты?!

— Будут, — зло бросил тойон и зашагал к своей юрте.

Усаживаясь в нарту, казак скомандовал толмачу:

— Теперь гони в острожек Каменный.

Прибывших с упряжками каюров Колыгов размещал на постой по избам крестьян. Из всех один Кашуга сносно понимал по-русски, и Колыгов где через него, где и сам, а он тоже кое-что кумекал по-ительменски, объяснялся с камчадалами. Кашугу он повел в семью Поповых. Во дворе они встретили хозяина.

— Принимай инородца. Тебе сено подвозить будет. Изготовьтесь как след, а с утра и почнете. Да не балуй, Лука, нехристя! Посуровше с ним! — сказал Колыгов и направился к своему дому, ссутулившись от мороза.

Дранка открыл ворота.

— Гони сюды упряжку, — махнул рукой.

Камчадал взял за ошейник насторожившегося вожака и повел во двор. Псы косились на Дранку, осторожничали, диковато озирались на постройки.

— Не кусливые?

Кашуга лишь улыбнулся в ответ и провел упряжку за избу в огород. Вывел собак из упряжки, привязал за жердевую ограду и принялся расторочивать нарту.

Лука, глядя на его занятие, думал: «Как на таких саночках сено возить? Разве что по навильнику?»

Кашуга отвязал два кожаных мешка и снял с нарты. Из одного вытащил юколу.

Раздав собакам по пластине сушеной рыбы, он повернулся к Луке:

— Убрать надо. — И взвалил один мешок на себя.

— Пособлю, — отозвался хозяин и подхватил второй мешок. — В сарай занесем, — добавил при этом и пошел.

Кашуга направился вслед. Распахнув дверь, из которой повалил густой пар, Дранка нырнул в сарай. Когда Кашуга шагнул за ним в духоту и полумрак сарая, он почувствовал, что, кроме них, в сарае кто-то еще. Что-то бугрообразное глазастое с шумом выдохнуло воздух и утробно затрубило:

— М-му-у!..

Бросив юколу, Кашуга с криком вылетел из сарая и принялся зарываться в снег.

За ним выскочил Дранка:

— Ты чо?!

Глядя, как он зарылся в сугроб, и поняв причину, Лука захохотал. Из избы вышла Акулина. Посмотрев на мужа, огляделась.

— С чего ты?

— А вон, в снег по пятки нырнул, Звездочки убоявшись. Ну и работничка подсунул Колыгов. Ха-ха-ха.

— Задохнется, небось, чего веселишься. Тащи его из снега.

Дранка перестал смеяться и подергал Кашугу за ногу.

— Будя те, вылазь. Не черт, а корова это. Вылазь-вылазь — мужик, а что дите малое.

Тот зашевелился, высунул из сугроба голову и, увидев Луку, поднялся.

С опаской поглядел на сарай:

— Злой дух?

— Не-ет, корова, — улыбнулся Лука. — Однако, не видел таких-то. Она худа не деет. От нее лишь добро. Что вам собака, то нам корова да лошадь. Уразумей?

— Угу, — мотнул головой тот.

— Пойдем в избу, не то озяб тут, глядючи на тебя.

Когда вошли в избу, Лука указал:

— Вот тут верхнюю лопоть сымай, а спать будешь в углу под образами, хоть на лавке, хоть на полу. Тулуп да дерюжку какую на то сыщем.

Когда Кашуга стянул с себя длиннополую парку, Лука усадил его на лавку к столу.

— Стемнеет — повечоруем, а щас скажи мне, чем народишко ваш занимается тут, в Камчадалии?

Кашуга полупал глазами и заулыбался.

— В толк не взял? — рассудил Лука и продолжил: — Чего деете… како дело во главе?

— Зывем, однако.

— Хм… Неужто можно жить, ничего не дея? А тут продыху нет, особо летом…

Виринея поглядывала на гостя из своей горенки. Добродушное лицо, живые юркие глаза, волосы, собранные в косички.

«Вовсе не дикоплешие, как говорил Ивашка. Человек — только чудной», — отметила она.

Вечеровали, Вирька и вовсе не спускала глаз с Кашуги. Когда все принялись есть кашу из общей чашки, он долго разглядывал расписную деревянную ложку, поднес ко рту, примеряя. Потом вынул из ножен дареный нож и сострогнул черпак у ложки наполовину. Вирька прыснула в ладонь. Лука поперхнулся кашей и готов был разразиться руганью.

Акулина метнула взгляд на мужа:

— Пущай, скажу Антипу, нову выстругает.

Кашуга как ни в чем не бывало попробовал кашу и сказал:

— Юколу надо, толкуша будет. — И вышел из-за стола, направляясь за юколой, но, вспомнив, что она там, где страшное существо, растерялся и огорчился от догадки: «Вдруг эти большие собаки русских всю юколу уже съели? Чем же буду кормить своих собачек?»

Он приуныл и жалобно взглянул на хозяина:

— Твоя собака му-у-у всю юколу съела?

Дружный смех за столом удивил Кашугу.

Сквозь смех Дранка проговорил:

— Да не ест корова юколу. Пойдем, принесу рыбу твою.

Возвратившись, довольный Кашуга раскрошил кусок юколы и хотел высыпать в кашу, но Лука остановил его:

— Погодь. Щас отдельно кашу наложим — и твори, чо хоть.

Акулина поставила отдельную миску с кашей.

Кашуга перемешал кашу с юколой и принялся уплетать, время от времени повторяя:

— Ладна толкуша.

После каши взялся за ковш с квасом, глотнул. От резкого кваса его передернуло. Он понюхал содержимое, глядя, как Лука с наслаждением выпил из своего ковша, тоже, зажмурив глаза, осушил ковш.

Открыл заслезившиеся от ядреного напитка глаза и протянул ковш:

— Еще. Кашуга большой чаевщик.

— Не чай это, а квас, — поправила Акулина и наполнила снова.

Кашуга показал на миску из-под каши, произнес: «Каса» — и, ткнув в ковш, добавил: «Кас».

Вирька хихикнула:

— Квас, а не кас.

Тот, улыбаясь, затряс головой.

— Ква-асс, — повторил он и припал к ковшу.

Довольный Кашуга вышел из избы и занес мешок юколы, показывая на него, сказал Луке:

— Отдарок тебе и женкам.

— Не надо, мы таку не едим.

— У Кашуги другой нет. Все бы отдал.

— И на этом спасибо. А рыба пусть в сенях лежит, — отговаривался Дранка.

Наутро Лука запряг лошадь в сани и зашел в избу. Поморщившись от спертого воздуха, подошел к спящему на тулупе Кашуге:

— Однако, любитель подрыхнуть, вставай, готовь свою свору. — И обратился к уже суетившимся домочадцам: — Теплее одевайтесь: морозно на дворе.

Они вышли во двор, когда Кашуга изготовился с нартой, Лука позвал его и предупредил:

— Смотри, чтоб твоя свора мне лошадь не повредила, ишь как заходятся в лае.

Кашуга искоса посмотрел на крупного зверя, запряженного в большую нарту, который спокойно, беззлобно стоял, понурив голову, и ответил:

— Держать буду. Езжай первый.

Акулина и Виринея в полушубках и теплых платках прошли и умостились на санях. Дранка снял вожжи с кола и, повалившись в сани, понукнул конягу. Когда они отъехали, Кашуга прикрикнул на собак и остолом огрел особо ретивого пса, рвущегося вслед лошади. Застопорив нарту остолом, отвязал ее от жердевого забора, сел в нее. Притормаживая остолом и покрикивая на вожака, он выехал со двора Поповых за хозяином.

Из двора Брагиных выходила лошадь. Собаки Кашуги, свернув, бросились к ней, чуть не опрокинув нарту. С силой вонзив остол в снег, Кашуга застопорил ее. Вскочив, он пинками принялся усмирять псов. Вскоре, повизгивая, собаки выполнили волю хозяина и вновь послушно побежали под его команду.

Пока Лука дожидался Кашугу, Савелий Рыков со своим сыном и камчадалом приткнули к нарте жерди, опертые на лыжи, и нарта стала походить на малые розвальни.

«Башковит этот Савелий. Эдак удобней. Надо бы себе такто», — отметил Лука и увидел бегущую упряжку Кашуги.

Лука махнул ему и, оставив лошадь на накатанной дороге, пошел к сену.

Подсадив на скирду женщин, Лука растолковывал Кашуге:

— Они сено сбросят, а ты в нарту поболе клади и до меня вези. Да быстрей оборачивайся — вот и вся морока.

Дранка взял охапку сена и, положив на нарту, примял ее. Вторую охапку положил чуть с навесом.

— Вот так, дабы больше вошло, — поучал он.

Когда первую охапку разгрузили у дороги, неподалеку от саней, Лука спросил:

— Сам управишься, а я тут на сани буду воз укладывать?

Кашуга согласно мотнул головой и, развернув упряжку, помчался к зароду. Загрузив очередной раз нарту, он задрал парку и начал стягивать порты. Вирька, ойкнув, отвернулась.

Акулина, поняв намерения Кашуги, прикрикнула:

— Кашуг! Чего мостишься на виду? Устыдился бы… А ну, брысь под зарод, чтоб не видели!

Тот удивленно посмотрел на женщин и, не понимая, чего это они строжатся, заулыбался.

— А ну, уйди с глаз, не то слезу — я те вилами-то отпотчую.

Кашуга, надернув штаны, недоуменно похлопал глазами и, придерживая сено на нартах, гикнул на псов. Отъехав подальше, он остановил собак и присел у нарты.

Акулина покачала головой:

— Вроде как стыда у них на это нет. Вот те и дикость их, дочка.

Хотя на нарту сена укладывалось помалу, Кашуга старался. Его беговые собаки челноком метались между зародом и санями Луки.

Когда Дранка уложил на сани добрый воз, кивнул Кашуге:

— Собачек тут привяжи, а сам мне подсобишь сено сбросить, быстрее обернемся.

Кашуга забрался на воз сена и уцепился за воткнутые вилы. Так высоко Кашуга еще никогда не ездил, да на такой сильной

собаке, которую русские зовут лошадь. До тех пор пока лошадь не тронулась, ему не верилось, что она одна может сдвинуть с места такой воз. Но воз качнулся, поехал. Удивлению и радости не было предела.

«Кашуга едет на большой собаке русских. Никто из сродников об этом и не мечтал. Жаль, что не видит тоен Камак. Еще больше бы зауважал меня», — думал он.

Третий воз привезли, когда уже смеркалось. Женщины хлопотали у печи, готовя ужин и пойло для животных, а Лука с Кашугой стоговали сено.

Окончив работу, Лука слез со стога и заключил:

— Хваткий ты на работу, паря.

Но Кашуга уже занялся кормежкой своих псов.

После ужина Акулина поставила на стол большой самовар:

— Почаюем, не то продрогли на зароде.

Виринея принесла из сеней миску с патокой. Попробовав, Кашуга вылупил глаза от удивления. Лишь раз в жизни ему удалось попробовать осиного меда, но навсегда он зарекся зорить их гнезда.

Кашуга прислушался, огляделся подозрительно и спросил:

— А где злая муха? — И, ткнув себя пальцем в руку, изобразил: — З-з-ззы… ой!

Виринея засмеялась:

— Вечно он чего да выдумат.

— Про осу, небось, говорит, — рассудила Акулина и добавила, обращаясь к нему: — Это не мед — патока.

— Не мухин? — крайне удивился тот.

— Нет-нет, ну тебя к богу. Ешь, не смеши.

После ужина Дранка занес в дом две жердочки и лыжи. Из-под топчана достал топорик, пилку и принялся мастерить приставки к нарте.

Кашуга сел около печки, взял полено и тоже увлекся, что-то выстругивая.

Пролетела неделя, на смену каюрам приехали другие. Но первая партия вместе с Кашугой просили Колыгова оставить их до конца работы. И тот, учтя, что собаки этих инородцев уже пообвыкли до скотины, да и сами камчадалы втянулись в непривычный для них труд, решил оставить этих и отправил прибывших обратно.

Когда все сено было перевезено, Кашуга собрался домой.

На прощание он занес из сеней фигурку человека-рыбы, вырезанную из дерева, и отдал Виринее:

— Хантай-бог. Огонь охраняй, юрта сторожи.

Она взяла деревянного идола и заметила:

— На тебя похож: и щеки, и глаза — вылитый Кашуга.

Тот заулыбался, видя, что подарок понравился ей. По-русски поклонился ей и Акулине и вышел во двор. Лука положил ему в нарту мешок с юколой, который он пытался подарить ему. Несколько кружков мороженого молока да буханку хлеба вынесла Акулина.

— Это детям твоим. Ну, бывай здоров. Хороший ты мужик, ей-богу, — сказал Лука и отворил ворота.

Кашуга гикнул, и свора понесла его восвояси.

Смеркалось, когда с мешком на горбу Кашуга спустился в юрту тойона Камака. У костра сидели две жены Камака и для сетей сучили нитки из волокон крапивы. Камак о камни оттачивал копье, с которым он ходит только на медведя. Окинув взглядом лучащегося новостями Кашугу, тойон отложил копье и, будто невзначай, обронил пару слов женщинам. Те, захватив с собой кудель и нитки, ушли через проем в женскую юрту, откуда доносились голоса детей.

Кашуга положил мешок и под любопытным взглядом заговорил:

— Я вернулся усталым, но мое сердце стало большое и счастливое. Я был долго у русских, живущих сытно. У меня осталось много юколы. Кашуга видел у русских больших понимающих зверей. Они добрее собаки. Кашуга ездил на них! Кашуга был в юрте, где живут эти звери: лошедь и корова!

Камак поднялся:

— Ты говоришь мне правду? Ты можешь сказать это перед всеми сродниками?

— Да, тоен! Кашуга ел русскую толкушу и мягкие сухари с молоком. Мало съешь, а долго сыт. Кашуга ел много меду, и его не укусила ни одна злая муха, — сыпал на ошеломленного Камака новостями сродник.

Потом полез в мешок и вынул круг мороженого молока, подал недоверчивому тойону:

— Вот, дали белую воду — молоко.

Камак понюхал и отгрыз кусочек.

— Положи в миску, растает, и пей, а вот тебе и мягкие сухари. — И он вытащил полбуханки хлеба.

Тойон помял его, понюхал и, поцокав языком, вымолвил:

— Камак верит Кашуге. Но говоришь ты, как не о русских людях, казаков-то я знаю.

— Кашуга тоже так думал, но теперь он хочет пожать руку русскому. Кашуга тоже хочет иметь корову и лошедь. Кашуге нравится квас, молоко и мягкий сухарь: с ними и зимой нет голода.

Камак насторожился, лицо его вдруг помрачнело.

— Ты печалишь мое сердце. Небо меркнет, когда я представлю, что мой народ откажется от своих обычаев.

Кашуга оторопел. Вертким соболем заметались думы: «Хотел как лучше… Плохо, коль тоену стану не по нраву… О чем бы сказать?»

Тут его осенило, и он зачастил:

— Кашуга хочет, чтобы у тоена было то, чего нет у других. Я видел женку с глазами, как небо в месяц зеленеющих трав. Ее волос светлее нитки крапивы. Таких женок ни у кого из потомков Кутха не было.

— Камаку приятно слушать Кашугу. Садись, обскажи подробней, — заинтересовался тот.

* * *

Прошагали ясные звонкие месяцы зимы, и подошел пуржистый март. Он будто чистил закрома зимушки, выбрасывая и выметая оттуда остатки снега. Сердился, строжился новый хозяин, разметая так, что неделями вьюжились над Камчаткой пурги. Но как март ни хмурился, а весной все-таки запахло. По сопкам завиднелись ольховники, потемнели их ветки, стали набухать почки, чтобы вскоре отяжелить ольхачи лиловыми сережками.

На сбор ясака по близлежащим острожкам Чередов выехал сам. В Хапиченском острожке приказчик потребовал поклона от тойона, но тот заупрямился.

Пятидесятник Чуб пояснил:

— Камчадалы — народ гордый: кланяться не больно приучены.

— Я научу, — отрезал тот и приказал пороть до тех пор, пока тойон не даст согласия на поклон.

После того как тойон испустил дух, взбешенный его упорством Чередов приказал облить непокорного водой и замороженного поставить средь острожка. Назначив тойоном другого камчадала, который собрал с запуганных жителей острожка меха в подарок приказчику, Чередов заставил выгнать всех жителей из жилищ, пересчитал их, сверил с записями в окладной книге и, выбрав приглянувшуюся молодую камчадалку, забрал ее в аманаты. Отправив в Нижний острог свои подарки и молодку, Чередов с отрядом направился к Пеучеву острожку. Ночью перед их выходом из Хапиченского острожка на легкой гонкой нарте выехал камчадал упредить тойона Камака о приезде грозного приказчика.

Под утро, когда гонец сродников покинул юрту Камака, тойон рассудил: «С волком лисой быть надобно — не то обдерет». Когда отряд Чередова подъехал к Пеучеву острожку, у юрты тойона их встретили женщины с туесками пьянящей настойки и три камчадала. Двое из них держали большое деревянное блюдо, на котором скомканная собачья парка была обложена сверху огнистыми лисьими шкурками.

Третий камчадал — Кашуга — вышагнул вперед, три раза низко поклонился Чередову и заговорил:

— Тойон Камак передает свои поклоны и просит русского тойона и его лутших людей к себе в юрту.

Толмач путано и нескладно перевел.

Чередов выслушал его и недовольно повернулся к Степану:

— Найди другого толмача, вишь, как говорит, да еще так ли толмачит?

— Добрых и смышленых толмачей в экспедицию Беринга забрали, — ответил тот.

Окинув взглядом кучу лис на блюде, Чередов улыбнулся и заметил:

— Говорил: научу кланяться. — И добавил: — Меха в мои мешки.

Степан Чуб, толмач и целовальник с писчиком вслед за Чередовым подошли к зимнему жилищу Камака.

— Удумали же пакость: сквозь дым входить, — ругнулся Чередов и, цепляясь за бревно, по глубоким затескам спустился

в юрту. Оглядевшись в освещенной пламенем костра просторной, с бревенчатыми стенами юрте, гости увидели Камака, лежащего на топчане, а перед ним на травяных плетенках расставленные чашки и туески с рыбой, толкушей и сушеной мякотью кипрея. Камак, кряхтя, привстал и заговорил, приглашая к кушанью.

Толмач повторял вслед за ним:

— Злые духи вселились в спину Камака, но он сильнее их боли и встретит гостей от всего сердца.

Когда вошедшие расселись вокруг еды, из прохода, ведущего в другую юрту, вышли нарумяненные женщины и поднесли туеса с крепкой настойкой. Камак плеснул себе в ковш немного настойки и отпил, после чего женщины наполнили ковши для гостей. Чуб удивился, не увидев среди молодух Канучь. Он вслушался, детей тоже не слышно.

«Хитер плут. Знать, встречу загодя уготовил. Своих жен да детей из юрты в другие упрятал, а сюда незамужних молодок. Прознал, что Бешеный в потехах с женками любит пребывать», — подумал Чуб.

Когда гости осушили ковши, из проема вышел Кашуга и прошел за костер. Взял бубен — юрту наполнили его тугие громыхания. Из соседней юрты в легких, облегающих тело хоньбах плавно выплывали камчадалки. Они остановились друг перед другом и, помахивая пучками священной травы тоншичь, плавно поводили плечами, напевая протяжную ходилу. Движения их плеч все убыстрялись и переходили на бедра. Изображая влюбленную парочку медведей, они под ритм бубна входили в экстаз. Чередов впервые видел такое. Забыв про еду, он не сводил взоры с танцующих. Камак, наблюдая за ним, видел, как волчьи злые глаза приказчика добрели, шаря по упругим в танце телам.

Тепло юрты и крепкая настойка подействовали и на Степана. У него разгорелось желание увидеть свою утеху — Канучь. Он вспомнил свою первую встречу, когда она танцевала Бахию…

«Э нет, у ней задорней выходит», — подумал он.

Спохватившись, что наверху ждут служилые, он на ухо Чередову шепнул:

— Зараз размещу служилых и возвернусь.

После чего кивнул толмачу и вылез с ним из юрты.

Подозвав казачьего десятника, Чуб распорядился:

— С толмачом рассуй усех на постой. Зараз покумекай, где на ночь пост-рогатку схоронить. Ясак с утра брать будем… Та прознайте, в какой юрте Канучь, женка Камака. Кликни ее: нехай идет к себе. Камак зовет.

— Угу, — мотнул тот и с толмачом направились к другому жилищу.

Степан спустился, когда раскрасневшиеся девицы, закончив танец, убежали через проем в другую юрту.

Кашуга подживил огонь в костре, а Чуб сам столмачил слова Камака:

— Доволен ли русский тойон?

Чередов дрожащей рукой, наливая себе в ковш настойки, замотал головой:

— Скажи ему, Степка, молодец он! Только пусть еще девки попляшут. Ох и ладно они душу задорят.

Чуб заговорил, и Камак улыбнулся.

Тут по бревну с зарубками в юрту легко соскользнула статная камчадалка.

«Канучь», — обрадовался в душе Степан.

Она, оглядев гостей, спросила Камака:

— Ты звал меня?

И по-русски добавила:

— Может, русским гостям чего надо?

Камак недоуменно уставился на нее, а Чередов воскликнул:

— Степка, гля, по-нашему знает!

Увидев Степана, у Канучь запылали щеки.

Чередов повернулся к Камаку:

— Скажи: пусть останется тут.

Степан столмачил.

Камак кольнул жену взглядом и повернулся к приказчику:

— Доброму гостю в моей юрте отказа нет.

Чередов махнул ей рукой:

— Иди сюда, темнобровая. Садись.

Канучь подошла:

— Сесть с мужчинами за большой стол камчадалка не может — грех.

— Ты все говорить так бойко можешь?

— Все, — сказала она и, блеснув на Степана взором, поджала губы.

Камак захмурился, силясь понять, о чем они говорят, и Канучь повернулась к нему:

— Гости хотят смотреть танцы.

Он согласно кивнул головой.

Из проема вышмыгнул Кашуга и взял бубен. На сей раз в быстром ритме зашелся бубен. Подергивая плечами и бедрами, женщины встали в круг. В ритмичных движениях они опустились на колени, передергивая плечами, изгибались так, что касались затылками пола. В кругу осталась лишь Канучь. Она плавно извивалась и быстро в ритм бубну подергивала бедрами.

Чередов, явно удивляясь, произнес:

— Какова вихлявая. Возможно ль эдак. Слышь, Степка, заберем ее. Толмачом своим сделаю! Какова, а? Глаза так и блещут.

И вновь толкнул Чуба в бок.

— И вон ту тоже возьмем… А давай всех их заберем: плавко танцуют… Ты, Степка, токмо меня почитай, и будешь при мне как у Христа за пазухой… Понимай березовой башкой, — сказал и опять уставился на гибкое тело Канучь.

«Ишь как разгорелся: всех готов охомутать, в похоти останову не ведая. Почитать тя… Как не так. Слюбились собаке потяг да алык», — подумал Степан и принялся ловить вопрошающие взгляды Канучь.

Он вспомнил, как она его крепко, до одури целовала, будто выплескивала себя через сердце.

Смолк бубен, и танцовщицы удалились.

Чередов с маху осушил еще ковш настойки и обратился к Камаку:

— Приглядны и задористы женки, особо та, что понимает русский говор.

Когда Степан столмачил, тойон заулыбался:

— Камак особо рад, когда нравится гостю его женка.

— Я хочу ее взять в толмачи к себе в острог.

Тойон чуть задумался, припоминая, как однажды брат его третьей жены, камчуг Лазуков, предупредил его: «Камаку будет больше веры от сродников и оленных людей, если он избавится

от бездетной жены Канучь. Она говорит по-русски, а ты нет. Подумай об этом».

Блеснули хитринки в глазах Камака, и он заговорил:

— Камак отдает Канучь, но русский тоен разрешит Камаку ходить к морю за жиром и морским зверем не только в месяц, когда выходит зеленая трава, но и в месяц отлета уток.

— Ходи, черт с тобой!

— У меня нет карманов, чтобы положить твое обещание. Дай бумагу, которую Камак будет показывать казакам, что твое слово — правда.

Чередов ткнул задремавшего писаря:

— Отпиши грамотку, что-де Камаку, тоену Пеучева, за усердие и пущее радение бывать дозволено у моря ради промыслов в любое время. Да живо, крыса!

Тот, пошатываясь, но проворно вышмыгнул наверх и вскоре вернулся с бумагой и чернильницей. Погрев чернила у костра, умостил под бумагу пустое деревянное корыто и быстро начертал грамотку. Поднес к Чередову и ткнул пальцем в место его подписи. Тот, размашисто чиркнув подпись, подал бумагу Чубу и велел столковать Камаку.

Выслушав, Камак, забыв на миг о мнимой своей болезни, поднялся было на ноги, но, опомнившись, сел и, приняв бумагу, заговорил:

— Если русский тоен сдержал слово, Камак сдержит его дважды.

Он подозвал Канучь.

Показав на Чередова, сообщил:

— Ты теперь его. Танцуй для них. — И повернулся к приказчику: — Коли доволен, отпусти Камака болеть в юрту Кашуги. Женщины будут тут танцевать, сколько пожелает русский тоен.

Чередов поспешно согласился и обратился к поскучневшей вдруг Канучь:

— А ну, глазастая, зови девок — танцуйте.

Канучь, пропустив Кашугу, который придерживал Камака, ведя его к бревну лаза, взяла бубен и, постукивая в него, затянула протяжную ходилу. К ней, покачиваясь, подошли камчадалки.

Когда Камак с Кашугой выбрались из юрты, тойон распрямился и хлопнул Кашугу по плечу:

— Ловко я этому волку бездетную жену за такую волю выменял. Жировать будем, однако. Жир в другие острожки на мех менять станем. Всегда будет чем откупиться и от ясака, и от ненавистного крещения. Хорошо заживем, Кашуга! — И про себя подумал: «Когда Камак заимеет много мехов, он купит себе белоголовую жену, ту, что камлает у рогатых чудовищ. Тогда Камак станет всемогущим, как сын Кутха».

В самый разгар танца девиц безудержная страсть наполнила Чередова. Он встал и, покачиваясь, поманил Канучь. Та приблизилась, Чередов облапил ее и притиснул к себе. Канучь ловко выскользнула, оттолкнув гостя.

— Но-но, дуреха! Иди ближе, задарю да зацелую. Жить по-божески станешь, не в прокислой юрте. Иди… моя теперь!

Ухватив ее за рукав хоньбы, поддернул к себе и принялся тискать.

— Уйди! Уйди! Не для тебя танцевала. Степан! Степан! — вырывалась Канучь и, готовая сорваться к Чубу, с надеждой умоляла взглядом.

Чередов на миг отпрянул.

«Евонная подруга, однако», — мелькнула догадка, и он прикрикнул:

— Куды! Я те ринусь! — И стрельнул в сторону Степана: — А ты брысь! Да навсегда отлепись от нее… Чего уставился! Аль плетей не нюхал?! Дак скажу — враз растелешут! Моя она! — И вновь обхватил Канучь: — Кротка будь, покорна!

Чубу стало не по себе. Глядя, как Чередов лез к ней целоваться, он еще раз стрельнул взором и, встретив ее отчаянный, рвущий душу взгляд, резко отвернулся и быстро выкарабкался наверх. Сошел с юрты и, сдернув с себя шапку, хлопнул ею о снег.

«Сам повинен у том: позвал ее. Ведь знал повадки его!» — укорил себя Степан.

Перед глазами так и стоит багровая шея Чередова и ранящий сердце ее взгляд. Он присел на нарты и задумался.

«Зараз воспрянуть супротив него!.. Не-ет, чо гутарить: по казачьим заповедям, она теперь его. Он выменял — не я! Подь он к черту, Бешеный!.. Робеешь, казак, — упрекал себя Степан. — Слаб духом та покорен стал до робости. Эх, Степка Чуб, и впрямь тихости у тебя преисполнилось. Неужто теперя

обречен, яко человек подлой породы, на усяк крик приседать? Откуда в тебе это?!»

Глубоко вздохнул Степан, огляделся вокруг, поднял шапку и, стряхнув с нее снег, нахлобучил на голову.

Цепкие мысли не отпускали его: «Крепко в душе сидят заповеди казачьи. Як святость — не переступишь… Канучь, что ясырь, ему досталась, ему и владать… Уймись, душа… Аль она тебе женка? Блудниц в Камчадалии немало… Хотя вот сколь годков, а к ней страсть моя неуемна. И у нее також ко мне, чуял это, а все не мог решиться забрать к себе. Этот же зараз — увидел и охомутал… Одна светлинка в душе была, и ту Васька Бешеный заслонил. Душа бунтует, а разум усмиренье шлет… Как быть?»

Долго еще Чуб сидел, продираясь в чащобе растрепанных чувств.

***

В Приморье задули теплые ветра. Забитый хлесткими пургами, занесенный снегом Охотск заслезился капелью с крыш. Скорняков-Писарев в изрядно потертом кафтане сидел за дощатым столом в небольшой каморке казармы младших офицерских чинов. В этой каморке он жил с разжалованным генерал-майором, вице-президентом Адмиралтейств-коллегии Федором Ивановичем Соймоновым, сосланным в Охотск. Злой волей судьбы граф Соймонов оказался при команде экспедиции Беринга, для которой в свое время разрабатывал инструкции да указы. Становление на престол Анны Леопольдовны соратникам Соймонова поломало карьеры, а кабинет-министру Волынскому Артемию это восшествие стоило жизни.

Было что вспомнить Скорнякову и Соймонову, бывшим генерал-майорам, некогда влиятельным при дворе. Уважая Соймонова, Мартын Шпанберг подобрал ему работу в своей канцелярии, оберегая от нелегкой работы на солеварне. По прибытии в Охотск Соймонов прознал, что в лазарете после сильных побоев находится сотоварищ по петровской службе Скорняков, и упросил старого знакомца Девиера держать Скорнякова не в каморе со всеми, а на поруках до окончания сыска.

Сыск по делу Скорнякова шел крайне медленно. Основные обвинители, Витус Беринг, мичман Хметьевский, часто

и подолгу не бывали в Охотске, что не способствовало ускорению сыска, в котором Иркутская провинциальная канцелярия была не заинтересована, так как придерживалась стороны Скорнякова в нападках на медлительность и расточительство экспедиции Беринга.

От скуки Скорняков-Писарев уже который раз перечитывал книжицу из небольшой библиотеки Соймонова. Григорий Григорьевич оглядел потрепанный переплет книжки и вчитался:

Ода
блаженныя памяти государыне императрице
Анне Иоанновне
на победу над турками и татарами
и на взятие Хотина 1739 года

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верьх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл;
В долине тишина глубокой.
Внимая нечто, ключ молчит,
Которой завсегда журчит…

Скорняков оторвался от чтения и задумался.

«Который раз читаю, а не могу насладиться. Померкли для меня Антиох Кантемир и Тредиаковский. Думал, что лучше их стихов и не увижу, ан нет. Каков размер… Такого в нашем языку не бывало. Влечет в выси, трепетать сердце понуждает, вот кабы еще не Анне писано».

Скорняков открыл последнюю страницу оды, прочитал фамилию автора и рассудил: «Какой-то студент Ломоносов… Коль не оставит словесные упражнения — быть в России великому пииту! Я-то совсем забросил писание. Головой немощен стал да телом слаб. Старость не утаишь… А тут еще принужден положением скорбным своим немочи душевные влачить. Не жизнь — маета, под смотрением. До возвышений ли душевных тут…»

Громыхнув в дверь, вошел служилый Охотской канцелярии:

— Велено доставить в канцелярию.

Скорняков не спеша поднялся, накинул на плечи потертый полушубок и с непокрытой седой шевелюрой вышел вслед за конвоиром.

Тот, будто вилы, на плечо положил фузею и, шагая за Скорняковым, заговорил:

— Теплынь-то ранняя ныне. Капель-то какова. Баско… Сегоды ить Евдокия — замочи подол, а бывальцы сказывают, коли Евдокия напоит курицу, знать, майский Никола накормит корову. Вот как…

Скорняков оглянулся на него и отметил себе: «Сошный человек, знать. Девиер тоже пахарей расселить не может, а службой их занимает».

Видя, что арестанта не разговоришь, служилый молча побрел вслед за Григорием Григорьевичем.

«Как ни оборван одежкой, а видно, чистопородный: с простолюдином не враз и заговорит», — сделал вывод конвоир.

Когда Скорняков вошел к Девиеру, тот, смахнув слезу с глаз, поднялся и взволнованно проговорил:

— Есть все же Бог, Григорий… сам читай… не могу говорить, видишь, раскис, как лапоть… Сколько лет душа надеждой изнурена.

Скорняков вытаращился на Девиера:

— Антон, неужто благие вести?

Тот попытался взять себя в руки.

— Не столбеней! Уже полгода на престоле дочь Петра! Да-да, старый гвардеец! Вице-канцлер Остерман, лукавец Миних сосланы. Тебя, меня и Соймонова помиловать, вернув чины и званья!

Скорняков опустился на лавку.

— Не знаю, что и молвить. Застило очи, сдавило грудь, — тяжело дышал Григорий Григорьевич.

Уже откровенно промокая слезы платочком, Девиер выдавил из себя:

— Дождались-таки, Гриша. Иди, обнимемся в такой-то час.

Скорняков встал, и обнялись состарившиеся соратники Петра, подрагивая телами, сдерживали слезы радости — столь редкий подарок судьбы.

Из Охотска весть о новой царице попала в Камчатку лишь в начале мая. В Большерецком остроге на рейде стояли уже подготовленные к плаванию суда команды Шпанберга: «Архангел Михаил», «Святой Иоанн», бригантина «Михаил» и дубель-шлюп «Надежда». Команды занимались загрузкой морского и сухопутного провианта.

В рубленой светлице при остроге Мартын Шпанберг, выслушав доклад прапорщика Ушакова о наличии провианта, заметил:

— Лучше иметь нечто в запасе, нежели оного в пути недостанет. Соленья надо бы добавить. Расстарайся, прапорщик: пусть провизоры скупят по острогам соленой рыбы.

— Ведомо вам, капитан-лейтенант, что даже пуд юколы по весне тут стоит шесть рублев, а ныне из-за многолюдства в Камчадалии и по восемь не сыщешь. Соленую рыбу русские обыватели всю распродали, посему надежды мало на пополнение солониной.

— Сколь возможно, но сыщи, — закончил разговор Шпанберг и, посмотрев в след уходящему прапорщику, вновь придвинул к себе папку с бумагами.

На папке старательно выведена надпись: «Имянной список морским и адмиралтейским служителям и протчим чинам людям, имевшимся в команде от флота капитана Шпанберга». Он поперелистывал страницы и остановился на листе с пометкой: «Дубель-шлюп „Надежда“».

Проглядев реестр, размыслил: «Все заобыкновенные к морскому ходу люди…»

А вслух добавил:

— Время — мерило истины.

И задумался: «Пожалуй, штюрманом на „Надежду“ определю Василия Ртищева, на Шхельтинга посмотрю еще. Помощником к нему — геодезист Гвоздев. С посылкой на Уду управился превосходно. Да и после в описании берегов исправлял положенное хоть на суше, хоть в морских хождениях со всею ревностью. А коли уж начистоту, то не наша экспедиция, а он первым добрался до закатной стороны Америки… Да бог с этим… Если там, в Сенате, сразу не прознали, ныне ни к чему… Влечет меня к нему не схожей ли судьбой?»

И Мартын Шпанберг припомнил тот радостный для него и печальный июль тысяча семьсот сорокового года, когда он с рапортами и картами открытых новых Курильских земель и Японии был вызван в Сенат. Уже в Якутске чиновник провинциальной Иркутской канцелярии осведомил его, что вице-губернатору пришел указ Сената об освобождении Витуса Беринга и назначении начальником экспедиции его, Шпанберга. Мало

того, поведал и то, что от доверенных лиц он уведомлен, что на сим указе настояли вице-президент Адмиралтейств-коллегии Федор Иванович Соймонов и сам кабинет-министр Артемий Павлович Волынский. С гордым чувством победителя выехал тогда Шпанберг из Якутска, чтоб как на крыльях воспарить до Петербурга. Но злая судьба! В Усть-Куте его встретил гвардейский — каптенармус Друкорт и вручил указ Верховного тайного совета об отмене столь желанного сердцу решения Сената. С чувством раздавленной гордыни вернулся тогда он в Охотск.

Мартын Шпанберг вздохнул и размыслил: «Сколько сил понадобилось, чтоб перебороть себя, заставить вновь радеть России ради… И я бы смог открыть Америку, да по-толковому: с высадкой и описанием. Кабы всегда фартило мне… Вот и ныне придется третий раз идти к островам, туда, где хожено, сокрыв свой замысел… и не идти нельзя…»

Его мысли прервал вбежавший прапорщик Ушаков:

— Мартын Петрович! Виват! Елизавета, дочь Петра, — на престоле!

— Не горлань. Спужал, — встрепенулся Шпанберг. — Сказывай толком.

— «Святой Гавриил» из Охоцка вести доставил: преображенцы к престолу Елизавету Петровну привели.

Не зная, радоваться или печалиться данной вести, Мартын Шпанберг распорядился:

— Поторопи штюрмана бота, пусть почту без промедления несут.

Щелкнув пятками ботфортов, бравый Ушаков быстро вышел.

Михайло Гвоздев зашел в комнату штурманов, заговорил с Шхельтингом. В распахнутую дверь донесся шум.

Василий Ртищев выглянул.

— Чего это плотнишный десятник с ревом «виват» у казармы младших чинов носится? Неужто спьяну? — посомневался он и подсел к сотоварищам.

Проем двери заслонила фигура Ушакова.

Переводя дух, он торжественно заговорил:

— Благородные господа штюрмана, к обедне извольте прибыть в церковь, принять клятвенное обещание новой царице нашей — Елизавете Петровне!

Не избалованные вестями в столь дальних местах России офицеры флота опешили от важного сообщения, а прапорщик исчез так же внезапно, как и появился.

— Что-то на престол одне ба… — Шхельтинг осекся и поправился: — Царицы восходят.

Поглядывая друг на друга с явным желанием высказаться, они молча переваривали новость в себе.

«Новая царица… Народ всколыхнется ли духом? Оно бы и я взбодрился да возликовал сердцем, кабы знал, что увидит она свой народ. Поймет ли, что все же больше тех людей, кои не славы ради, животы не жалея, тут обретаются — пользы матери России желаючи. Увидит ли, что в столь просторных окраинах крещеные да инородцы наипаче в ее призрении да милости нуждаются…» — размыслил Гвоздев.

ГЛАВА 6

С приходом весны накатилось беспросветное от забот время. Как только апрель согнал снега с плешин опушек леса, в округе селения крестьян заполыхали палы. Павшие бодылья пучки и шеломайников, перевитые сухими космами трав, кустарники горели живо, с треском. Без палов ни сносной травы на лугах не возьмешь, ни к пашне не приступишь, издавна рассуждали так крестьяне.

Спозаранку Гринька Брагин зашел за Ивашкой Рыковым. Во дворе он застал все их семейство. Савелий Рыков, насупившись и сопя, заколачивал новые деревянные зубья в борону. Ивашка вилами накладывал на носилки навоз, густой запах которого витал по двору. Мать Ивашки, тетка Ульяна, размоченным хлебушком с руки подкармливала пугливого глазастого жеребенка. Гринька поздоровался.

Савелий приподнял лохматую рыжую бровь и за всех ответил:

— Будь здрав с утра пораньше.

Ивашка кивнул Гриньке:

— Щас, навоз с мамкой доносим.

— Я подсоблю, — буркнул Гринька.

Савелий отвлекся от работы и спросил:



— Гляжу, Потапа во дворе не видать. Чем родитель-то занят?

— В избе теленочку на перво время загородь ставит.

— Знать, отелилась ваша буренка. Вот теперь сестреницам твоим и молозиво будет, — встряла в разговор Ульяна и поинтересовалась: — Бычка аль телочку принесла?

— Бычка. Шерсть черная, а на лбу белый завиток. Всю ночь с часу на час ждали, я-то до полуночи в сарае дежурил. А молозиво токмо теленочку. Мамка сказывает, вот Великий пост кончится, тогда уж все хлебать станем.

Когда остаток навозной кучи они разнесли по огороду и засобирались уходить, Рыков окликнул сына:

— Ивашка, недолго: сегоды на большом аласе огнище держать будем.

Тот кивнул головой:

— Мы у озера сетки на дичь выставим да напрямки к пожогам до вас и выйдем. Гринька сказывает, что у того кормового озера утка дуром прет: селезень, гагарка, острохвост да гусь.

— Это так: пока пролетная идет, поспевать след, — согласился Савелий и, вздохнув, добавил: — Крестьянская жизнь вся из поспешания. Одно не закончили, уже другое дело у ворот: и палы жечь надо, и корчевать уже время, не то до Троицы не поспеть отсеяться в срок, а с июня опять же новины поднимать, чтоб выстояться успели… А по двору… Голова кругом.

Из сарая выглянула Ульяна:

— Ивашка, как возвертаться будешь, нарежь березовых веток для гуменных метелок.

— Угу, — отозвался тот, и они с Гринькой, забросив котомки за плечи, вышли со двора.

В нахлынувших заботах летело время. Весна набирала силу, но земля отходила медленно, так как заснеженные горы все еще дышали на долины холодом. Крестьяне беспокоились: не все привычные им приметы можно было применить к этой заморской земельке. Они собирались, судили-рядили да гадали: затяжная или короткая будет весна — не упустить бы посевной срок.

* * *

В Нижнекамчатском остроге давно не было такого оживления. Второй день не закрывались двери кабака. Почти всяк житель острога побывал там: кто заливал горькой настойкой

гнев души, кто слушал суды-пересуды, укрепляя тем самым свои мысли, разбежавшиеся от великой вести, которую два дня назад принародно объявил бирюч. Как только открылся летний путь, по вскрывшимся ото льда речкам из Большерецка сюда был доставлен указ новой государыни Елизаветы Петровны.

Указ царицы касался всех. Инородцев он радовал, так как ограничивал ясак. Теперь приписано с человека брать по одной шкуре зверя, какой где промышляется. Радовал указ и тойонов: на них возложен суд и расправа над сродниками. Это еще больше возвеличивало их среди соплеменников. Довольны остались и посадские люди, так как царица повелела по всей Камчадалии завести школы для обучения детей казачьих посадских и инородцев без всякой на то платы. Недовольствовали лишь казаки и служилые. Царица нанесла удар по их устоявшейся вседозволенности. Больше всего их задел пункт указа, где сказано: «Старых долгов, которые казаки на инородцев почитали, править на них под жестким истязанием не велено. Инородцев приводить всех в христианскую веру, а новокрещеных освободить от ясаку на десять лет».

Указ Елизаветы был длинным. Говорилось в нем и об умножении землепашества, и о посылке в Камчадалию проповедников из Святейшего синода с довольной церковной утварью и со всем, что потребно для обращения в веру столь дикого народа. Но каждый впитал лишь то, что трогало его и волновало. Рекой лилась брага в кабаке. Казаки облегчали душу руганью и дракой, вымещая наболевшее на ближнем.

На Обуховской заимке шла загрузка батов домашним скарбом. После именного указа приказчик Чередов без проволочек выдал посадским людям, Кузьме Щербаку и Артему Обухову, наказную мочь на подселение к землепашцам. Этой мочью с них, как и с крестьян, на три года снимались все государевы тяготы. Так же, как и переселенцам с Лены, им за счет казны причиталось денежное пособие, зерно и скот. Три бата Щербаку и пять многодетному Обухову в счет казенной гоньбы прислал Чередов для перевозки их семей.

Еще зимой Артем Обухов сомневался, идти ли в сошные люди, как задумал Щербак, или нет. Но зимний приезд в острог Колыгова, который щедро угощал своих знакомцев духмяным

хлебом да молоком — диковиной в этих местах, подействовал на Артема больше, чем уговоры Щербака.

«Молоко да хлебушек и моей многоротой ораве не лишними станут», — рассудил тогда он и решился.

Перед полуднем вереница батов отчалила от Обуховской заимки. Узкобортные, они плавно заскользили вверх по течению реки, набирающей весеннюю силу. Вслед за ними от берега отошла брюхастая лодка Обухова, в которой отцы семейств, Кузьма и Артем, везли самое сокровенное — своих детей. Дружно загребая, они беседовали.

— Знать, в пахотники подались, — отметил Артем.

— Я человек затравный: куды потянет душой, не отступлюсь. Поверь-ка, так и влечет крестьянить, — отозвался Щербак.

— Земельного дела и я не гнушаюсь, тем паче сам из крестьян, — рассудил Обухов и задрал голову вверх.

Над ними грузно тянули лебеди. В береговых сопках эхо четко вторило их курлыканью.

— Ништо, Артем, избы ладненькие срубим. Гусей да серых уток на перво время и в тех местах довольно, ходовой рыбы в реке полно — не помрем, а там обзаведемся и хлебушком, — бодрил соседа Щербак.

Увидев низко идущих лебедей, дети закрутили головами. Степашка попытался привстать в лодке.

Щербак прикрикнул на сына:

— Сиди! Каков вертячий! Кудлата твоя голова. — И подумал: «Приедем — остричь надо».

Вот и скрылись из виду башни Нижнекамчатского острога, купол церкви, и выступающий в реку утес заслонил заимку Обухова. Крутяги взъерошенных гор теснили реку с обеих сторон. Временами срывавшийся ветерок то здесь, то там вспахивал речную гладь. Щербак огляделся. Все его радовало: и неохватная высь неба, и солнце меж гор, и тронутый зеленым налетом лес на сопках, и то, что он есть, и его жена с сыном, да сотоварищ Артем с семьей, — всему был рад Кузьма: он был счастлив. Счастлив от необоримого желания к крестьянской жизни, к труду хлебопашца, непомерно трудному, повседневному. Теперь у него не призрачная цель жизни, а ясная как божий день. Щербак по своему опыту уже знал, что стоит лишь решиться, сделать первый шаг к задуманному,

как жизнь открывает новую страницу судьбы. Кузьма окинул взглядом неподалеку идущий бат, в котором сидела Настасья, и подумал: «Благо, что память у ней вновь воссияла, как бы я без нее-то? Мило душе почувствовать приятство!»

Артем Обухов покосился на мечтательного Кузьму и спросил:

— Чего такой задумчивый?

— Эх! Душе без песни тесно, — улыбнулся Щербак и с новой силой заработал веслом в такт Обухову.

К исходу второго дня баты и лодка Обухова приткнулись на галечник у селения крестьян. Разгрузив поклажу, отпустили батовщиков. Кузьма в окружении ребятни отправился в селение.

Ступив на тропу, огляделся и спросил у сына:

— Степашка, глянется тута-ка. Ишь горелая сопка-то до небушка.

— Угу, — сверкнул глазенками Степашка и с артемовской ребятней запетлял меж кустарников.

Пока мальцы рассматривали жеребят, взбрыкивающих вокруг кобылиц, Кузьма подошел к крайнему дому. Во дворе увидел рыжего паренька, который возился с кадью, скобля ее изнутри. Щербак вошел во двор. Телега у амунишника, санирозвальни, прислоненные к сараю, на изгороди под солнцем просушивались сермяги, зипуны, тулупы. Бороны составлены у избы, рядом соха с новыми ременными постромками.

«Однако, знатный сохарь тут обретается», — подумал Кузьма и спросил увлекшегося делом паренька:

— Хозяин где?

Тот вынулся из кадки и кивнул:

— В избе.

Щербак, чуть переступив порог, низко поклонился иконам в красном углу, затем хозяевам:

— Мир и благо дому твоему, хозяин.

Увидев Щербака, Савелий Рыков поднялся с холстины на полу, где он перебирал зерно, и ответил поклоном:

— Будь и ты здоров, мил человек. Почто к нам и откуда сам-то?

— Прежде служил, а ныне как посадский. Вот сюды крестьянить определен.

У Рыкова вздернулись брови:

— Один?

— Две семьи нас из Нижнего острога.

— Знать, в нашей артели прибыло, — заключил Савелий и, присаживаясь на лавку, сказал: — Садись, гостюшко, да обскажи ладком.

Щербак сел и, обратив внимание, что стол застелен скатертью, подумал: «Настольник холщовый, занавески у икон без копоти — чиста светелка. Сошный, а как барин дом поставил. Себе також устрою» — и поинтересовался:

— В малое время, а тако поднять осилил.

— Не пластались бы, как савраски без узды, дак столь не сделали.

— Эт верно, не поцарапаешь, и чирей не сядет, — согласился Щербак.

Наговорившись с гостем, Рыков вышел с ним и показал дом Колыгова, после чего обратился к сыну:

— Ивашка, запряги Гнедка да дуй на берег: скарб подселенцев привезешь.

Щербак застал Колыгова у амбара. Чертыхаясь, тот распутывал сетку.

Увидев Щербака, Колыгов удивился.

— Чего тут? С дозволением или так бродишь? — оставил работу Никифор.

— Кабы я в камчадальский острог шел, а в русское селение указом ходить не заповедано, — осадил насторожившегося Колыгова Щербак.

«И впрямь, о русских селах сказу не было», — отметил себе Колыгов и, скрывая свою промашку, насупился:

— Все одно, по селу без ведома старосты не шастай! Чего пожаловал?

— К тебе. Вот наказная память. — И Щербак подал ему грамотку.

Колыгов повертел ее и, чуть замявшись, отдал обратно:

— Сам прочти.

Когда Кузьма прочел, староста заговорил:

— Так бы и сказал, что под мою власть пришли, а то крутишь тут.

Выдернув из рук Щербака бумагу и взглянув в его серые глаза, Колыгов продолжил:

— Чего рыбьи шары-то выкатил? Ты мне тут книгу будешь вести для крепости.

Щербак вспомнил, как он с отрядом Колыгова объясачивал камчадалов в верховьях Жупановской речки, и спросил:

— И отписки всем давать, как в Олокино.

У Никифора брови подлетели вверх, он взором проколол Кузьму.

— Кажной мне не указ! Запомни, Щербатый, кто старое вспомянет… лучше подобру со мной. Тут моя власть. — И, немного успокоившись, добавил: — Давай о деле. Перво время поживете в моем амбаре. Тепло щас — не околеете. Кашеварить на дворе станете. Корчевать, пахать и сеять, как все, а избы меж делом рубить — за лето управитесь. Все! Веди домочадцев, амбар отпертый.

Кузьма вышел со двора, гикнул ребятишек и зашагал к реке. Не слюбились ему речи Колыгова, отчего попортилось настроение. Он вышел на околицу села, огляделся и отметил себе: «Вот где надо стать избой. Крыльцом в сторону солнопека. Вид на сопку благостный».

До позднего вечера Артем и Кузьма обустраивали добротно рубленный амбар под жилье. То и дело к ним подходили крестьяне, знакомились, помогали кто чем мог: кто нес тесовую доску, кто лавку, кто жердей. Смеркалось. На костре закипала похлебка. Настасья с женой Обухова суетились у костра.

Щербак посмотрел на чумазого сынишку, который барахтался со своими сверстниками, и позвал его:

— Степашка, будя возиться. Поддерни сопли да поди умойся. Вечорить скоро.

Артем Обухов поддержал его:

— А ну, все брысь на речку. Да до блеску чтоб поотмылись.

Ребятишки ватагой помчались к воде. К костру подошел Савелий Рыков.

— Обустроились? — обратился к мужикам и добавил: — Чего особо надо, без всякого спрашивайте, завсегда отказу не будет. С нуждой в совокупности воевать след. Оно ить две головешки и в поле теплятся, а одна и на шестке загаснет.

— Каждому по себе худо жить, — поддакнул Обухов.

Савелий поставил на землю туесок и на него положил узелок с хлебом:

— Вот хлебца да молока мальцам.

Обухов и Щербак согнулись в низком поклоне.

— Полно спину-то гнуть, еще сгодится, — отмахнулся Савелий.

— Как же добрым людям в ноги не поклониться, — отговорился Щербак. — Спаси бог тебя, Савелий. Правда, нам уже хлебца сегоды да и молочка женка кривого мужика Луки жаловала. Но в такой еде лишку никогда не бывало…

— Вот и ладно, — тряхнул бородищей Савелий. — Давайте помыслим, с чего вам дела начинать.

После длинного разговора порешили, что с утра идут на корчевку, а женщины вместе с Ульяной Рыковой займутся вязкой рыбных сетей.

Когда все улеглись спать, Щербак вышел из амбара во двор, подсел к тлеющим угольям костра и задумался.

«Сколь многое враз нужно стало… А тут еще вот-вот по половодью густая рыба пойдет. Сетей наработать, рыбьего жиру натопить, пока самая жирная рыба чавыча будет. Да и многому поучиться след: с хомутом да дугою ладить, с сохою тож, — разбредались его мысли. — А, чего об этом… Хорошо, что лес на избы уже заготовлен впрок — это полдела. Крестьяне — люди сердешные. Правильно, что решился крестьянить. Оно ить, ведомый сердцем не собьется в миру».

И опять Щербака заполнило хорошее настроение и желание сделать добро ближним. Он вздохнул полной грудью и осмотрелся. В стенку амбара смачно шмякнулся майский жук. Темень. Лишь изба Колыгова светилась оконцем.

«Что волчье око, — подумалось Кузьме, и он размыслил: — Все хорошо, кабы не этот скорпий Колыгов».

* * *

Вечерело. Над куполом церкви и над башнями Нижнекамчатского острога перистое облако раскаленным палашом обжигало небо. Моложавая, лет тридцати трех камчадалка, опершись на балясину церковного крыльца, стояла и слушала молебен, доносившийся через распахнутые двери церкви.

С прибытием в Нижнекамчатск иеромонаха Феофилакта — посланца Священного синода молебны в церкви стали проводиться ежедневно. Особенно после прихода сюда именного

указа царицы, которым Феофилакт смог застращать Чередова так, что тот сам стал наведываться в церковь и приказал всем крещеным под страхом расправы посещать молебны.

Протяжный певучий баритон рокотал, клубился под сводами моленной, вырываясь наружу. Красивая черноволосая головка камчадалки мечтательно была чуть закинута назад, губы тронуты улыбкой. В доносившемся до ее слуха умиротворяющем голосе попа ей чудились знакомые оттенки желанного ее сердцу голоса Степана, который теперь всячески избегал встречи с ней. Вовсе не раскаяние привело Канучь к церкви, а нахлынувшая страсть увидеть того, по кому изнылось сердце. Она знала, что живущие в остроге русские и крещеные камчадалы теперь почти не пропускали вечерней молитвы, потому-то и пришла сюда, где можно без особых поисков увидеть его, Степку Чуба.

С тех пор как приказчик Чередов забрал Канучь, жила она среди молодух, определенных им себе в наложницы. Молодок Чередов часто менял, а знающая русский говор Канучь оставалась неизменно старшей в девичьей горнице приказчика, выполняя все его распоряжения. Вот и сейчас Чередов, дождавшись вскрытия реки, укатил на батах вверх по Еловке, и Канучь была уверена, что этот злой и дерганый Васька вернется с отдарками и опять с новой молодкой.

«Коль богатый русский начальник, пусть берет себе женок. Камчадалы тоже держат жен, сколько смогут прокормить», — размышляла она.

Канучь никак не могла взять в толк, почему же Степан тогда не забрал ее, уступил этому Ваське и теперь отворачивается от нее? Однажды, когда ей так же удалось вырваться из дома Чередова и встретить Степана, тот наговорил ей обидных слов, после которых Канучь долго ревела у себя в горнице среди не понимающих ее молодух. До сих пор ее душу ранят те слова Степана: «Зараз ты непотребна женка. Место тебе удостойно другое!..» Канучь стояла перед церковью и думала: «Эх, Степка, Степка... С Камаком я жила — ты приходил, ныне у Чередова... Почему же я непотребна стала? Ты всегда был мне желанный. Зачем, зачем не взял меня? Не сама я к Ваське пошла. Кабы можно было женкам выбирать, лишь тебя бы и выбрала! Чередов-то все больше молодками занят: ко мне

почти не пристает, хотя и русские одежки дарит. Поняла я его: ему больше лести говаривать надобно да на молодок взор его вовремя направлять — так свою корысть да покой блюсти удается».

Вечерня закончилась. Канучь сошла с крыльца и стала поодаль. Из церкви повалил люд. Вон и Степка — встрепенулась Канучь. Выпирающий нос, русые усы да волнистая кочка волос на голове.

«Весна: малахай-то свой лисий снял», — отметила Канучь и направилась к нему.

— Степка, постой.

Тот сдержанно зыркнул на бывшую утеху и сбавил ход.

Как она поравнялась, заговорил:

— Упреждал ить. Чо як короста липучая.

— Не терпит сердце. Утешь, Степан, лишь о тебе все думы.

— К чему язык бить попусту.

— Степка, такой вечер, побудь со мной. Сам все поймешь.

Чуб заозирался.

— Ступай, куды шла. Люди на нас таращатся. Бешеный вернется, злобу на мне срывать почнет.

Холодность и недоступность Степана разбивали все мечтания и надежды Канучь.

Обида да невесть откуда взявшаяся злоба вдруг взъярили ее, Канучь вспыхнула.

— Знай, Степка! Я не гульная женка! Нет! Сердце по тебе горит, а ты… ты стариком пахнешь! Не нужен ты мне! Не нужен! — задыхалась она и, не отдавая отчета своим словам, добавила: — Вернется Васька — быть тебе битым!

Развернулась и побежала в сторону дома приказчика.

Степан вышел из ворот крепости и свернул к обрывистому берегу речки Радуги. В ушах все еще бился отчаянный голос Канучь: «Я не гульная! Я не гульная!»

Он остановился, глядя на полноводную в весеннем разливе речку, и задумался: «Ишь, в русские одежки облачилась… Еще краше стала».

Таявшая в сердце Степана тоска стала разгораться. Он тяжело вздохнул и принялся себя успокаивать: «А, нехай, чо кручиниться, наплюнь. Одному свычней: лег — свернулся, встал — встряхнулся…»

Долго не мог догореть закат. На смену перистым облакам из-за гор выползали темные, густого замеса тучи. Чуб так и стоял у берега, пока им не овладело глубокое молчаливое равнодушие.

***

Ранним утром Кузьма Щербак и Артем Обухов вместе с крестьянами направились на корчевку гарей. В холщовых портах и рубахах с пуговицами из мелких позвонков, подпоясанные веревками, они несли заступы, пилы и топоры. Туман густо устилал реку, откуда доносился призыв крякового селезня: «Жви-жви-тень! Жви-жви-тень!»

На околице села березы слезились и исходили соком в туески, пристроенные к их стволам.

Крестьяне шли, переговариваясь:

— Поскорчуем с гарей лесок, видней станет.

— Все одно этих новин мало: отбивать землю от леса придется еще.

— Тут отбивать особо не разойдешься. К речке ближе не пойдешь — смекай сам: коли вода аль болотина у пашни… знать, зяблые для хлеба места.

— Конешно дело, землю для хлеба из-под березняков да ольхачей подавай. К тому же от сего лесочка зола дюжее утучняет земельку.

Неподалеку от тропы захлопал крыльями глухарь.

— Спужал, чертяка, — буркнул впереди идущий Савелий Рыков.

Тропинка уводила крестьян мимо осека с непастушьим стадом коров. Оттуда из-за перелеска доносились ребячьи голоса. Это Ивашка с Гринькой отлавливали из табуна лошадей, чтобы привести их к гарям. Дальше дорожка вывела к прошлогодним пашням — черным парам, ждущим весеннего сева. Крестьяне уже подходили к полянам с выжженным кустарником, обгоревшими стволами деревьев, как их догнали гарцующие на лошадях Ивашка с Гринькой. На поводке за Гринькой бежала одна лошадь, а не две, как у Ивашки.

Дранка окликнул Гриньку:

— А где мой долгохвост?

— Бежал, как все, вдруг шарахнулся — и в табун. Лишь копытами сбрякал. Чуть руку мне не вырвал.

— Тьфу! Растяпа, а не ездовой. Самому теперь итить, — проворчал Дранка и нехотя свернул с тропы.

Согласно решению схода общины, крестьяне для удобства в работе разделились на пять вытей-связок. В каждую выть входило две-три семьи, которые должны раскорчевать доставшийся по жребию участок. Если на распашку земли, сев и жатву на мирском сходе выти подбираются по согласию, то есть по милу, то на разовые и прочие работы разбивка крестьян проводилась по наличию в семье тягловой силы и мужских рук. Таковы уж обычаи, заведенные с зарождения деревенского мира, для равнения загрузки на всякую душу, числящуюся в общине.

У места работы крестьяне, попавшие в выть-связку к Дранке, разделились по два человека на лошадь. Щербак попал к Дранке, но так как тот еще не вернулся со своей конягой, Кузьма стал помогать Потапу Брагину, который с Гринькой начал обкапывать корни кряжистой, в полтора обхвата березы. Кузьма топором рубил оголенные уже корни.

«Благо корнищи берез поверху идут, не то не добраться бы к ним», — подумал он.

Углубляя обкоп, Брагин заговорил:

— Гринька, метнись наверх да закрепи веревку, щас потянем, авось и повалится.

Тот ловко вскарабкался на березу и оттуда сбросил наземь один конец веревки. Когда Гринька спустился, дернули лошадью.

— Гля, даже не колышется, — удивился Потап.

— Крепко сидит, еще корешки искать след, — заключил Щербак и принялся углублять подкоп под корни.

Втроем они орудовали заступом, топором и просто руками, выгребая землю из-под березы. Вновь рванула лошадь — лишь качнулась вершина. Помогая лошади, все трое ухватились за веревку и потянули, напрягая жилы. Тщетно.

— Могутна. Тут можно всю силу положить, — покачал головой Потап и оглянулся, услышав топот копыт.

Подскакал Дранка и виновато заметил:

— Сколь время убил, пока выловил своно норова. — И пригрозил жеребцу: — Ух, морда!

— А ну, в два коня дернем, — предложил Потап.

Лука Дранка привязал своего жеребца и понужнул:

— Пошел, разом!

Береза стояла. Потап бросился к дереву и, нервничая, принялся еще раз прощупывать рукою под корневищем. И, чего-то нащупав, вскинул голову:

— Гринька, чего этот-то не оттяпал?

— А чо, он чуточный, с палец, не боле…

Потап рубанул корешок, береза вздрогнула и начала крениться.

— Вот те и чо-почо. Больно рассудительный, паря, — посуровел Потап.

Чуть дернув, лошади повалили березу.

— Дров-то на ползимы, — подметил Дранка, отвязывая свою конягу.

Брагины принялись распиливать березу, а Щербак и Дранка направились на свой участок.

К полудню из-за перелеска высыпала гурьба ребятишек. Шумной ватагой они с котомками подходили к месту работ. Впереди них в шерстяном сарафане и белом платке шла Вирька. Она вела за руку двух маленьких девочек. Крестьяне, оставив работу, направились с пожога на лужайку к ручейку.

— Гринька, ладом коней-то стреножь, — бросил Потап и, глядя на приближающихся дочек, заулыбался: — И меньшухи мои пожаловали.

Увидев отца, одна из малышек зазвенела голоском:

— Тятя! Тятя! Мы тебе кисель с молоком хлебать несем.

— Ох вы трудницы мои сердешные, — подхватил дочек на руки Потап.

Щербак подошел, когда Обухов принял узелок от своих ребятишек и умащивался на лужайке, неподалеку от бойкого родничка, бьющего из нутра лесистого увала.

Степашка подскочил к Кузьме и протянул узелок:

— Вот, матушка собрала. — И добавил: — Тять, я с ними на увал схожу?

Щербак взъерошил сыну волосы:

— А со мной полдничать не хошь?

— Не, мы не хотим, — за него ответили обуховские ребятишки, и все вместе они сыпанули в лес, лишь засверкали пятки.

Окинув вспотевшего Щербака взглядом, Обухов заметил:

— Работай до поту, поешь в охоту.

— Дело свычное, — ухмыльнулся тот и пододвинул котомку к обуховской.

Щербак шагнул к роднику, истекающему ручейком, и присел умыться.

— Как чиста, будто и нет воды, — подивился он.

Потрапезничав, Кузьма Щербак откинулся на травку, прижимая подснежники, и уставился в синь неба. Тенькали синички в зарослях на увале, наносило дымком от близкого пожога.

— Красота — и токмо, — вымолвил он.

Неподалеку от отдыхающих крестьян прошел Колыгов. В напущенных на сапоги кожаных портах, подвязанных ниже колен ремешками, он брел с мотком сетей за плечами.

Крестьяне заговорили:

— Ишь, гачи оленьи натянул. Дичи промыслить подался.

— Вот жизнь: днями без дел. Лишь зубы скалит да голит и все с других сорвать норовит.

— А чуть чего, дак горлой да силой берет. Прет как бык, поневоле отступишься пред ним.

Щербак поднял голову.

— На чужо добро горло-то у него широко, — со знанием дела встрял он и посмотрел, как на не поваленном еще дереве пожога крупный ворон клювом охорашивал себя.

* * *

В один из дней к дому Никифора Колыгова в сопровождении двух служилых подошел поп Ермолай. Никифор за домом перекапывал осеннюю вспашку под огород-репище. Увидев гостей, заспешил к ним.

— Бог в помощь, — изрек Ермолай.

— Спаси бог, отче. С чем пожаловал?

— Новый приход осмотреть. Каковы нужды у паствы к Богу. Село окрестить, поди, не в острожке инородческом обретаетесь.

— Эт верно, — поддакнул Колыгов.

Ермолай с прищуром поглядел на Колыгова и пропустил сквозь свою ладонь клиновидную бородку.

— По сказу согласен, а в деле поперек Бога норовишь.

— Как же, отец Ермолай?

— Сам в избу влез, а боговы дела где творить? С чего село ставить след? Хотя бы с часовни, коли не с церкви! Как басурманы, прости господи неразумных, — осердился поп и добавил: — Указ государыни ведом? От Священного синода сюда слуги боговы присланы. А тут? Каково радение к Богу? А, староста?!

У Колыгова от напускной строгости попа заметались мысли: «И впрямь, нерадение, как есть нерадение».

Он виновато заморгал и зачастил:

— Будет часовня, враз поставим, отче.

Чуть помолчав и согнав недовольство с лица, Ермолай проговорил:

— Чего стоять: принимай меня да людишек скличь. К полудню молебен отслужу да в домы своя возвернусь.

— Ко мне в избу, отче, заходь, заходь, — спохватился Колыгов, взял из рук служилого сундучок и направился в избу, бросив через плечо служилым: — А вы тут будьте.

Распахнув дверь, Никифор гаркнул:

— Аглайка, мечи на стол, живо!

И суетно добавил для Ермолая:

— Хлеб аржаной, молочко да масло коровье — все у нас ныне водится.

Никифор метнулся под топчан, выхватил оттуда пару огнистых шкурок лис и преподнес Ермолаю:

— Тебе, отче, не отринь подарок-то.

Поп взял лис, погладил искрометный мех и с лукавством в голосе заявил:

— Не дорог подарок… почтенье мило.

Поняв намек, Колыгов пожал плечами:

— Сошные люди… Чего с них брать тут, кроме харча.

— В сих местах харч — золото.

— Порадею, отче. Пустым не вернешься.

Поп улыбнулся, довольный понятливостью старосты, и с нетерпением посматривал на стол, вокруг которого хлопотала жена Колыгова.

Ермолай глубоко вздохнул и доверительно заговорил:

— Вижу, ты человек с понятием. Ныне тяжела богова служба. Этот неугомон от Синода — отец Феофилакт ни нам, ни себе покоя не ищет. Мыслимо ли: по три раза в день молебны затеял, яко в великих да стольных городищах. Посему и я ежедень

службами занят. Твердит он: в диком краю слово Божье пастве донести да умножить приход верующими — во сто крат угодней Богу сие, нежели от таких же деяний в местах обжитых. Все попрекает мя, что-де казаки тут распущены в нравах, противные Богу деяния творят, что-де и я в беззаботстве об агнцах господних пребываю, мирским потребам духовные предпочел.

Я ему возразил: тут не Московия. Кто же нас здесь кормить, одевать станет, коли одному богословию предадимся, а о хлебе насущном пещись времени не оставим? Да и возможно ль в такой глуши дикость, злобу да алчность в людях переломить? Так он мя уж напрочь закорил: «О Боге мысли! Ты богов слуга, во имя Господа и деять должен! Пастве будь нужен заботой своей да деяниями добрыми, они и прокормят тя...» Морока с ним. Смогу ль смириться?! Хм... подношениями прожить тут вознамерен... Куда там, одну юколу да траву подносят. Это не в Московии! Эх, там бывало: в Святое воскресенье на Святой седмице куличи да пасхи, а яиц-то, яиц нанесут... Потом режешь их пополам да в кадушки рядами. Солью пересыпешь и до конца лета с квасом потреблять хватало. А тут?! О воздаянии ли на том свете пещись?!

Никифор сочувственно мотнул головой.

— Завсе тут попы нам в помощь были, а не в обузу. Хм... ежедень в церкву ходить, видано ль? А я-то гляжу: бока твои заметно опали, отче, — сказал он и выглянул во двор. Крикнул соседу, который возился во дворе вокруг новой брички: — Антип, спехом, всех до единого собери к моей избе.

Тот поднял голову и попытался возразить:

— Дак... кто где...

— Кому грю! Одна нога здесь, друга там! — рявкнул Колыгов.

Антип, сбросив фартук, заспешил со двора. Из мужиков один Антип работал в селе; делал телеги, мастерил сбруи лошадям да за огородом из бересты выгонял деготь, столь необходимый в крестьянском хозяйстве. Закинув уздечку на плечо, он направился в засеку отловить лошадь и на ней поспеть к дальним пожогам да на гари, где крестьяне раскорчевывали новины.

После длительной трапезы поп и староста, раскрасневшиеся, вывалили из дома к собравшимся.

Увидев попа, крестьяне закрестились.

Ермолай приосанился и зычно гаркнул:

— Крещеные! Подходи, означу в церковную книгу каждого. Угодно Богу знать рабы своя, дабы воздавать ему за веру и покорство, после чего сотворим молебен во славу Господа Бога, освящающего селище ваше и жили.

Тут поп спохватился, что нет при себе сундучка.

Он обернулся к служилым и мотнул головой:

— Сундук и лавку.

Те стремглав бросились в дом и вынесли сундучок и лавку. Ермолай умостился на скамье, достал шнурованную книгу, чернильницу и перо.

— Подходи, называйсь, — скомандовал он.

Первым подшагнул близстоящий Лука Попов и назвался:

— Лукашка, сын Попов, в миру Дранка.

— Крещен?

— Слава богу, — перекрестился тот.

— Отроки есть?

— Дщерь Виринея, осьмнадцати лет от роду. Крещена.

Тут встрял Колыгов:

— Чего жалуешь батюшке на крещение села?

Дранка замялся и поскреб за ухом.

Колыгов наседал:

— Из харчей чего пожалуешь?!

— Дак… каравай хлеба смогу да туес сметанки.

— Мало! — заключил Колыгов. — А маслица?

Дранка посмотрел на жену и, не поняв по выражению лица ее настроение, брякнул:

— Туес коровьего масла.

— Пиши, отче, — удовлетворился Колыгов.

Закончив с поборами, Ермолай вынул из сундука ризу, облачился в нее, достал кадило, плеснул туда ворвани и поджег. Вышел на окраину села, дождался, пока селяне сгрудятся перед ним, и затянул молитву. Распевая низким басом, он зашагал по улочке селения, останавливаясь у изб, окуривал входы кадилом, призывая Всевышнего оградить жилье от нечистой силы.

Обойдя все избы, Ермолай повернулся к бредущим вслед за ним селянам и пробасил:

— Отныне и навеки! Сие селище крещеных людей, что поставлено у святиков — божьего дара, бьющих ключами из тверди земной, — нарекаю Ключевским… Аминь!

Крестьяне закрестились.

Поп уже собрался уходить, как из толпы крестьян донеслось:

— Отче, благослови выборного пахаря на первый взмет земли.

Ермолай повернулся к ним:

— Такое надо бы в праздник Благовещенья содеять. — Но, еще раз окинув взглядом щедрые подносы крестьян, молвил: — Кого избрали?

Савелий Рыков просунулся вперед и по взмаху руки попа подошел к нему, смахнув шапку с огнистой шевелюры.

Подняв перст и уставясь в небо, Ермолай что-то прошептал к Всевышнему и, осенив Савелия крестом, громко забасил:

— Воздай нам, Боже, благорастворение воздухов, дабы бысти пашням с паром да перемочками дожжей — дара небесного-о-о…

Под молитву, осеняя себя, клонили лбы крестьяне.

Служилые загрузили подношения в бат, поп Ермолай уже было угнездился в долбленку, как спохватился:

— Никифор, тебе ж ордер от Чередова. Чуть не запамятовал. — И, порывшись в сундучке, подал Колыгову лист бумаги.

Когда баты понесли попа Ермолая в сторону Нижнекамчатского острога, Колыгов покрутил бумажку с писаниной и направился к своему дому. Проходя мимо Антипа, послал его за Щербаком. Кляня в душе Колыгова, Антип вновь побрел к засеке.

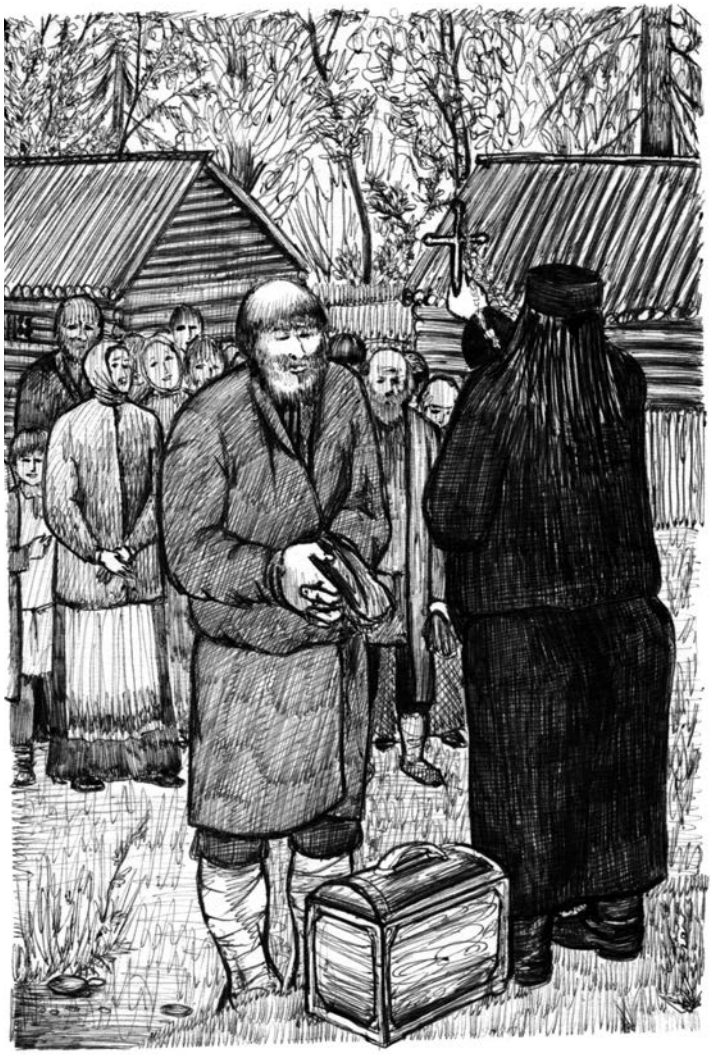
— Вот змей гремучий, не даст сегоды поработать, — пробурчал он.

Колыгов поджидал Щербака на крыльце. Разморившись на солнышке, Никифор уже начал дремать, когда подошел Кузьма.

— Читай, — подал Колыгов бумагу.

Тот развернул лист и, прокашлявшись, начал:

— «С указу командира Охоцкого края и Камчадалии велю тебе, старосте Никишке Колыгову, смотреть строго, дабы пашенные людишки не предавались лени, хлеб бы засеяли



и взрастили с умножением. Також тебе, староста, на время сева и сбора хлебов призывать с окрестных острожков инородцев для поучения хлебопашеству и особо огородному делу. Нерадивых властью, данной тебе, сечь. Чередов».

Колыгов хмыкнул и забрал бумагу.

— Ступай прочь, — махнул Щербаку и, поднявшись, вошел в избу.

«Напекло голову, — подумал он и лег на топчан. — Хитер Васька: ордером напомнил о хлебе. Пужается: вдруг хлеб не уродит, дак упредил меня. Я и виноват буду, — размышлял Колыгов. — А и впрямь, кто его тут растил… Возьми да не уродись. Э, парень, однако, я в капкан посунулся… Можа, пахать да сеять уже след, сколь же корчевать. Вдруг не радеют уже и их пороть надо? Как знать?.. Надо бы у Дранки все повыведать, не то поп упрекнул в нерадении, да, не приведи господь, с хлебом промах — петли не миновать. Вот заботушек подвалило: часовню поставить, камчадалов сбирать на поученья, а главное, хлеба в сроки засеять… Камчадалов учить хлеба водить… сумнительно. В огородах овощ растить смогут. Вон моя Малашка — в Нижнем репу сажала, пока семена были, да не одна она. Сие камчадалы добре приемлют, особо женки».

И Никифор вспомнил свою держалую женку Меланью, которую оставил со второй воспитанницей, Улитой, в Нижнекамчатске.

«Где ныне она, Малашка-то? Зимою была еще там. Постарела заметно. Улита-то, ясно дело, у кабака в непотребных женках пребывает, а вот она… чей-то жалко становится. Заберу, однако, сюда, пусть с Аглайкой огородничают. Аглайка-то ей как дочь, а мне она ныне не в домеху, — подумал Колыгов и удивился себе: — Чей-то я с годами слабеть духом начал: какая-то жалость да ненужная рассудительность вылазить стала…»

Его размышления прервала Аглая. С вязанкой черемши и с дочкой вошла в избу.

Юркоглазая девчушка подбежала к отцу и протянула подснежники.

— Тятя, гля, цветочки! Тебе. А мама себе черемши набрала, — зазвенела она и поцеловала Колыгова в свободный от бородищи пятачок щеки.



Тот приподнялся, нюхнул белый букетик и погладил дочурку по головке:

— Ласковая ты моя.

— Возьми, тятя, цветочки, я потом много нарву.

— Любушка, мне и этих довольно, — таял от умиления Никифор и, нагнувшись, чмокнул в пухлую щечку дочери.

Радостная, та заспешила за вышедшей матерью. Колыгов глубоко вздохнул и лег снова.

«Кто ж меня еще так от души целовал-то? Кроме моей матери да этой вот крошечки — никто… А и целовать-то вроде как не за что. Всю жизнь поставил на хапок да на силу. Как тут не разгонишь доброту да ласку по задворкам души. Мечталось, мехов подкоплю да жить безбедно начну. Все временил, жил как попади… А сколь жить-то осталось. Эх! Судьбина… Нешто, думал, что совсем настоящая жизнь уже мимоходом прошла, ан нет, краем да ухватила: вот дочка, кровинушка моя, душу греет, да…»

Воспоминания об Акулине Поповой разгладили морщины на лице. Перед глазами возникло доброе, с мягкими чертами русское лицо, в уши полился ее приятный грудной голос… Никифор думал об Акулине, и его обида на ее неподатливость таяла. Колыгов невольно улыбнулся.

«Ты гля, чо со мной деется. Как увижу ее, в душе все ломается. Все ново и незабыкновенно у меня к ней. К другим женкам у меня тако не было. Эх, Акулина — очи голубины, в твое синеглазье так бы и впорхнул всей душой. Возмечтать о тебе и то волнительно да приятно… Нет, несправедлив Господь: такому щуплецу Дранке ядрену женку иметь. Поговорю с ней, душу открою, а там видно станет», — решил Никифор.

Утром другого дня Колыгов собрал крестьян, вышагнул к ним и заговорил:

— Ныне указ имею: выявить средь вас нерадивцев и сечь нещадно!

И повернулся к Дранке:

— Скажи: прежде когда пахоту начинал?

Тот замялся:

— Дак время пахать-то.

— Слышали! — затвердел голос старосты. — Пошто не пашем?!

Крестьяне возмущенно на Дранку загалдели.

Савелий Рыков пояснил:

— Места тут студенее ленских; по утрам земля еще мерзла. Неужто сам не видишь?!

Потап Брагин ткнул кулачищем в бок Дранке:

— Угораздило тя вякнуть!

Тот заершился на Потапа, Колыгов оборвал их:

— Дранку не трожь! Еще увижу — у меня суд скор! — И, кашлянув в кулак, продолжил: — Савелий, определи сам, кого поставить рубить часовню. Меж делом аль всем миром в отдельные дни, но к лету стоять часовне! Також будет ведомо: указано вам, дабы инородцев поучать труду крестьянскому. Сегоды же Акулина, женка Попова, столкует моей женке да Щербаковой, как обзаводиться репой да другим овощем. Помните, дело государево радением живо.

Колыгов развернулся и важно зашагал к дому.

Он сходил к смолокурне Антипа, берестянкой черпанул из жбана терпкого запахом дегтя и принес домой. Густо смазал сапоги, пропитал подошву у торбасов своих и жениных, вынес их во двор проветрить. Зашел за избу и увидел, как Акулина повела к себе в дом Аглаю и Настасью. От безделья Колыгов походил из избы во двор и обратно, потом из-за каменки вытянул лагун и налил браги. Перед полуднем он обошел селение и, дождавшись, когда Аглая с Настасьей вышли со двора Поповых, направился к Акулине. Брага придавала бодрости и довольства самим собой.

Колыгов знал, что Акулина одна в избе: Вирька всегда в это время уносила отцу еду.

Колыгов застал ее за столом. Акулина подняла удивленные глаза на вошедшего.

— Будь здорова, хозяйка.

— Спаси бог, Никифор. Садись полдничать. Бурдук из ячменной муки — угощу.

— Брюхом сыт, а вот… — недоговорил он.

— С чем пожаловал? — отодвинула она еду.

— Смекай, девка, — вскинул бровью Колыгов.

Она посмотрела на него и, отведя взор, пожала плечами.

— Больно лик у тя празнишной… Да ты сядь, чего стоять-то. — И посунула по лавке расшитый холщовый полавочник.

Никифор с лукавством в голосе ответил:

— Можа, любить тебя пришел.

У Акулины округлились глаза:

— Грех и думать так. — И учтиво продолжила: — Все-то вы суесловите, а мне ить хлопотать по дому да двору надо, ведь куда ни ступишь, все дела находятся. Так с чем пожаловали?

Колыгов, вкладывая во взгляд свое желание, уставился на нее. Подавив смущение, Акулина в улыбке блеснула зубами.

— Чего пришел-то? Глаза продавать? Так смотришь…

— Женка ты не худа, глядеть и то любо-дорого, — все напористее давил Колыгов.

— Экой ты, право, — покосилась на него она и с чувством собственной хитрости продолжила: — Говорун каков. Давечь-то с людьми, как рот отворишь, так ругань сотворишь, а тут…

Колыгов катнул желваками и подступил к ней.

— Пустое. Скажу напрямуху. Акулина, неужто не видишь: люба ты мне. Так бы и обнял, так бы и лобызал! Готов пасть пред тобой да в ноги кланяться! — ловил ее взгляд Никифор.

— Завсегда так: до чужого — сам не свой? — охладила его пыл она.

— Тьфу ты! Язык твой — крапива: так жечь и норовит. Аль чем не угодил, чего ко мне холодна, ровно каменка нетоплена? Неужто не видишь?! Горю страстью опалимой! Не хочу, чтоб наши попутья разошлись! Не хочу!

Акулина поднялась с лавки и отступила от него. Никифор обхватил ее и принялся лобызать.

— Да с полна ли ума так деять! — отбивалась она и, захватив со стола ковш с киселем, выплеснула Колыгову в лицо.

Момента оторопи Колыгова хватило ей, чтобы выскользнуть из цепких объятий.

Она растворила дверь в избу и зло закричала:

— Прочь! Прочь! Унеси тебя лешой. Народ скличу!

Расшитым полавочником Колыгов смахнул кисель с лица и бороды, красный от возбуждения и злобы, выскочил, чуть не сбив ее с ног.

— Погоди, шельма! — скрипел зубами он, шагая в сторону речки.



После пыла и задора, еле сдерживая ярь, Колыгов, как необлегченный бык, сопя и вздымая грудью, шел напролом, не разбирая тропок.

— Все! Нет пощады ни ей, ни Дранке! Его за нерадение запорю! Сама придет — в ноги бросится. Воистину баят: всяка ягода не так кисла, когда ее морозец вдарит… — злорадствовал Никифор.

Вечером того же дня Лука Дранка долго не мог уснуть. Акулина уже задула жировик, а сон к нему так и не шел.

— Слышь, Акуль, чей-то саврасый наш чуть чего, бегом бежит в табун — и все тут. Можа, кобыла чья гулят?

— Спи, мне-то чего.

— Как чего, сегоды с корчевки два раза убегал, а как пойду да словлю, сколь время отнимат…

— Ну тя, донимать своим конем, — отвернулась она.

Дранка помолчал чуть и вновь заговорил:

— Слышь, Акуль, Колыгов-то меня жалует. Утром-то как заступил… Чего я ему так люб? На всех яко зверь; и соли дает, вон у нас ее сколь, и ворвани: всю зиму, считай, лучины не знаем. Николи еще старосты нас так не жаловали… Слышь, Акуль.

— Всяк человеку в товарищах потреба. Вот и держится тебя, — ответила, а сама подумала: «Знал бы, как этот сатана обступил меня — продыху нет».

Лука вздохнул и задумался: «Надо бы с ним еще дружнее стать, тогда и вовсе можно не горбатиться с землей-то. Тут вон сколь рыбы, зверя. Напромыслил бы с лета — и зимуй без горя, чего горб гнуть». Дранка давно почувствовал, что нет у него тяги к земле, хотя он и знал хозяйство, но не было к крестьянскому делу любви. Легкая жизнь всегда манила его и вызывала зависть. Долго еще о жизни размышлял Лука, пока не уснул.

Утром Колыгов вновь собрал крестьян. Оглядел всех и, не увидев Акулины, Аглаи, Настасьи, послал Щербака скликать их.

— Так оне огородному делу навыкают, — заметил тот.

— Будя навыкать, втолковала, и будя, — нахмурился староста.

Когда все собрались, Колыгов заговорил:

— Смотрел я вечером места корчевок. Чей клочок у увала?

— На том наделе связка Дранки корчует, — ответил Савелий.

— Так я и знал, — проговорился Колыгов и всем телом повернулся в сторону Луки: — Пошто меньше всех скорчевано?

— Дак эта… — замешкался тот. — Коняга сдурел, чуть чего — наутек. Пока хожу… вот и время.

— Как радеешь, черт драный! — взревел Никифор. — У всех не сдурели, твой сдурел! Ништо, мы ему дурь выбьем, — загорелся Колыгов и принялся разматывать кнут.

И только тут крестьяне заметили, что староста был подпоясан кнутом.

Раздувая ноздри, Колыгов крикнул:

— Щербак, пропишешь в книге: «За нерадение Лукашке Драному — десять плетей».

Лука оторопел и выкатил на Колыгова единственный глаз…

— Постой! — выступил вперед Савелий Рыков и, горячась, заговорил: — Испокон дружба и обхождение меж обчеством. Круговая порука в общине: по окончанию своей работы всяк деет вспоможение ближнему. Дела крестьянские не так просты: то одно, то друго, а времечко идет. Так что подтянем и ту связку к сроку. Кнут тут не в помощь! Несправедливо!

— Все глотку рвешь, Савелька! Ты усердие свое около земли кажи! Староста тут я! Даже в орде начальных почитают! Справедливости хошь? Знай: сила — справедливость! Вот!

И, сотрясая кнутом, повернулся к Дранке.

— Скидывай рубаху да порты! Заупрямишься, силой возьму — не возрадуешься. Ложись тут! — приказывал Никифор, сжимая рукоять кнута.

Крестьяне молча супились, недоуменно и злобно косясь на старосту. Лука молча стягивал рубаху. Перед поркой Никифор стрельнул в сторону Акулины.

«Не видать в ней раскаянья: глаза смеются надо мной», — отметил Колыгов и, глядя на улегшегося перед ним Луку, со злобой размахнулся. Со свистом кнут рассек воздух, и крик Луки резанул слух.

* * *

Обширны пределы России. Если в одном ее краю давно уже отсеялись, то в другом еще ждут время вспашки. Свыше тысячи лет на Руси занимаются земледелием, а нет единого

срока-времени начала пахоты и сева. Ежегодно в разных местах по-разному. Оттого работа землепашца не только костоломна, но и мудрена. Часом опоздаешь — годом не наверстаешь.

До чего же надо быть слитым с природой-матерью воедино, чувствовать ее дыхание как свое, чтобы стать способным понимать, как и когда лучше использовать ее плодородную силу.

Пришло время, и крестьяне всяк по-своему определили время начала вспашки. Для этой работы у каждого сохаря было уже все готово, но в этот день до позднего вечера пахари еще раз проверяли и конскую сбрую, и остроту лемехов сохи. Еще вчера на мирском сходе крестьяне разобрались по согласию на выти, произвели раздел земельки пахотной. Как ни суди, а в две-три семьи лучше и быстрей пойдет дело. Тогда и в одной упряжке пойдет больше лошадей, да и на подмену еще останется.

Староста Никифор Колыгов тоже не дремал. Уяснив свою ответственность за землепашество, он побывал уже у приказчика в Нижнекамчатском остроге и на летнее время испросил к себе в помощь двух казаков да толмача для сбора инородцев из острожков на обучение землепашеству. Первая партия камчадалов, устроив балаганы на окраине села, уже поджидала, какое же чудо будут показывать эти русские, которым подвластны неведомые существа. Опасаясь нерадения крестьян, Колыгов уже решил, что завтра силой погонит их пахать землю, но вечером Савелий Рыков сам подошел к нему.

— Дождались сроку. С утра на вспашку. Я совместно с Потапом Брагиным да Лукой Дранкой в одной выти пахать вознамерен. Как себе управимся, Кузьме Щербаку вспашем, а Обухова к выти Антипа Тюменцева определили.

— Да, пока казна им лошадей подошлет, помогать след. Верно. А в обучение скольких камчадалов возьмешь?

— Ты вот что, Никифор, коли хошь дело наше не загубить да службу свою справить, пусть они пока токмо издали навыкают. Не хуже меня ведаешь, как они скотины еще чужатся.

— Оно и впрямь, будь по-твоему: прикажу ныне лишь со стороны глазеть.

Ранним утром Ивашка и Гринька, отловив в осеке лошадей, гнали их в сторону новины — осенней пахоты. Легкий ветерок с дола от речки Ключевки наносил нежным запахом тополиного клея.

«Скоро совсем распустится тополь да черемуха, и настанет лето», — подумал Ивашка, подскакивая на жеребце в такт его бегу.

Перед пашней они нагнали телегу, на которой Савелий Рыков вез соху, упряжь и прочее необходимое для пахоты. Он шел, держа вожжи в руках, переговариваясь с идущими рядом Брагиным, Щербаком и Лукой Дранкой.

— Помнишь, Лукашка, меня корил, что-де осенью за пашни взялись? Коли тогда бы не выпахали новины, где бы ныне пшеницу-то сеял?

Дранка, конечно, знал, что под пшеницу земелька с осени готовится да по весне сначала взмет ее сохою делают и потом вновь в два-три прохода ту новину поперек да вкось вспахивать надо, и чаятельно на треть вершка поглубже прежнего, дабы материчка захватить, вспушить, уготовить из земли теплую колыбель для пшенички. Это не овес, который можно сеять после первой вспашки под борону.

Поэтому с чувством виноватости он пробурчал:

— Вот, ешьте-корень, мало ли чо сказал, авось к слову.

Лошадь чуть замедлила ход, Савелий прикрикнул:

— Иди, пока вожжой не ожег.

Колыгов с казаками разделил камчадалов на группы и разводил их к пашням. Камак, Кашуга и еще несколько камчадалов оказались у пашни Савелия Рыкова. Они уселись под березу и стали поджидать крестьян. Увидев подъехавших верхом Ивашку и Гриньку, которые на поводках вели еще по две лошади, камчадалы встали и сгрудились за березой, готовые и любой миг сорваться с места.

Кашуга выступил чуть вперед:

— Не бойтесь, это добрая собака русских — лошедь. Кашуга тоже ехал на ней.

Сродники недоверчиво косились на Кашугу, но настороженность их все не уменьшалась. Вскоре на пашнях, как казалось камчадалам, крестьяне и лошади сгрудились в бесформенные толпы. Ржали лошади, суетились крестьяне, громко бранясь на коняг, особо оттуда, где в упряжь впрягались разнокалиберные лошади да было меньше навыка у пахарей.

— Балуй, анафема!

— Стой! Разрази тя гром!

— Куды норовишь! Пропасти на тя нет!

Лишь после того как впрягли лошадей да отладили сохи, крик и шум уменьшился. Заходили взад-вперед по пашням взмыленные лошади, утомленные в согбенной позе пахари да рядом идущие сменщики, взбудораженные от криков и суеты. Гринька с Ивашкой водили лошадей, а за сохой менялись мужики.

После Савелия Рыкова, который, широко перекрестясь на восток, первым начал пахоту, над сохой уже нависал крепыш Потап Брагин. К его широкой груди прилип медный крестик.

На пятом кругу Савелий, не отстающий от Потапа, сказал Дранке:

— Замени Потапа.

Лука налег на соху. От напряжения его глаз будто бы выпучился и сверкал в сторону перекошенной шрамом части лица, которое стало бледным, мрачным и потным.

Вскоре Рыков окликнул Щербака:

— А-ну, Кузя, полей земельку потом. У нас было бы поле, а соху каждому сыщем.

Щербак боялся, что с непривычки у него совсем не получится, поэтому волновался и осторожничал. Сделав несколько огрехов, получая подсказки от рядом идущих, он лишь на втором кругу почувствовал уверенность. Глаза его заблестели, белесые волосы прилипли ко лбу, по заострившемуся носу скатывался пот.

Когда Рыков подошел его менять, он сквозь стиснутые зубы обронил:

— Еще могу.

— Эт нехудо. Зело запальчивый. В крестьянском деле завсе: либо всего себя отдавать, либо не браться. Тут так — худа трава с поля вон, — рассудил Савелий и сменил Щербака.

Когда за сохой пахари поменялись по два раза, дали отдых лошадям. Свели их с поля на пробивающуюся молодую травку.

Ивашка поглядел, как лошадь задергала кожей на животе, отгоняя овода, и, прихлопнув его, заметил:

— На потну лошадь овод так и валится. Ишь как гудут.

Крестьяне подошли к лагуну с квасом и, поочередно наполняя ковш, смачно крякали, утирая обмоченные усы и бороды, потом расселись на траву.

Кашуга, узнав Щербака и Луку Дранку, подошел, улыбаясь, и заговорил:

— Кашуга любит Щербак, любит Лука.

Щербак поднялся и, пожав ему руки, похлопал по плечу:

— Э, паря, и ты в ученики попал?

— Способен крестьянить, зело охоч до труда. Изрядно мне зимою вспомог, — сказал Дранка и, указывая на лагун, предложил: — Кашуг, отведай.

— Касс, — уточнил тот.

— Испей — поймешь.

Прищурившись от выпитого, Кашуга протянул Дранке ковш:

— Тоен Камак касс хотеть.

— Чего же, поднеси и ему, — наполнил ковш Лука.

Когда Кашуга поднес квас Камаку, Савелий Рыков, повернувшись к Луке, заметил:

— Отдай им лагунок, пусть все попьют. Для них-то невидаль. А Ивашка в село метнется да другой лагунок подвезет.

Лука, подхватив лагун, понес камчадалам. Вскоре они морщились, фыркали от резкого кваса, посмеивались друг над другом. Пока сродники занимались квасом, Кашуга осторожно подступал к чалому коню Луки Дранки, которого помнил еще с зимы. В руках он держал кусок юколы. Кашуга цокал языком и протягивал рыбу.

Дранка ухмыльнулся и крикнул:

— Кашуга, юколу сам ешь. Лошади травку подавай. Вот… — И он, нарвав пучок травы, подошел к ближней лошади.

Та, мягко шевеля губами, взяла с рук Дранки траву и мощно задвигала челюстями

Кашуга тоже нарвал траву, и когда конь взял и у него с рук, он в восторге запрыгал и, подскочив к сродникам, жестикулируя, быстро заговорил:

— Зря Кашуга боялся, сколько много рыбы в зиму надо для лошеди! Она ест траву! Травы много. — И он принялся рвать траву.

Глядя на него, и другие нагнулись за травой. И вот уже с охапками трав камчадалы то и дело подходили к лошадям, кормили их, радуясь, как дети. Крестьяне наблюдали за камчадалами и, посмеиваясь, переговаривались.

Савелий Рыков поднялся с земли:

— Брехать — не пахать. Почнем дале заботушку свою.

И вновь затрудились на пашне лошади и люди, и вновь пласт к пласту ложилась земелька за полицей сохи. Обходя пашни, Колыгов с толмачом подошли к камчадалам, глазеющим на пахоту,

как на забаву русских. Никифор глянул, как идет за сохой Савелий, и сам залюбовался.

Потом, окинув взглядом инородцев, заговорил:

— Внимайте, крапивное семя! Чрез год-другой хлеба сеять ужо заставлю. Будя вам просто так на земле жить-то!

Постояв немного, кивнул толмачу и побрел к другой пашне.

К полудню в березняках замелькали платки и сарафаны женщин и то тут, то там замельтешили русые головы ребятни. Пахарям несли обед.

Виринея с двумя узелками подошла, когда Настасья, Ульяна да жена Потапа Брагина уже расстелили скатерть на траве и выставляли съестное.

Увидев Вирьку в легком сарафане, Кашуга ткнул Камака в бок:

— Тоен помнит, что говорил Кашуга о русской женке. Смотри, Камак, Кашуга говорил правду. Какие белые плечи и ноги! Какие глаза и волосы!

Камак во все глаза рассматривал Виринею.

Когда крестьяне подсели к скатерти, Савелий Рыков отставил две крынки молока и отложил буханку хлеба:

— Угостим, поди?

— Конечно.

— Так Богу угодно, — поддержали его пахари.

Лука Дранка кивнул дочери:

— Вирька, снеси инородцам, пусть отведают.

С крынкой молока и буханкой хлеба Виринея подошла к сидящим у березы камчадалам и, увидев Кашугу, улыбнулась, блеснув зубами:

— Кашуга, здравствуй.

Кашуга разулыбался и, гордый тем, что тут все русские его знают, обвел своих сродников взором, заговорил:

— Кашуга шипко узнал Вирьку. Совсем хорошо Вирька.

— Вот, угости дружков, я еще поднесу, — отдала она хлеб и молоко.

Камак не мог отвести глаз. Когда Виринея принесла вторую крынку и ковш, Кашуга уже делил хлеб, довольно цокая языком.

Покончив с едой, Камак отошел и подозвал Кашугу:

— Камак видит, как русские уважают Кашугу. Кашуга знает, с кем мне говорить о Вирьке?

— Кашуга не может добыть много мехов за Вирьку, поэтому скажет Камаку. Говори с Лукой. — И скорчил гримасу, изображая Дранку.

— Камак зауважал Кашугу еще больше. Ты прав, за нее надо много мехов. Ее взгляды, как стрелы меткого лука. Они попали в Камака. Зови Луку.

После обеда Дранка лежал на спине, заложив за голову руки, и смотрел в бездонье весеннего неба. К нему подсел Кашуга и поманил за собой.

Как только подошли к Камаку, тот заговорил:

— За Вирьку в месяц трескающихся деревьев Камак сможет дать Луке мехов, сколько тот запросит. Лука станет богатым, как большой русский тоен. Подумай. Ответ Камак будет ждать в месяц сбора сараны.

Дранка полупал глазом, слушая гортанную речь камчадала, и, пожав плечами, сказал:

— Толмач придет, тогда скажешь.

Услышав слово «толмач», Камак возразил:

— Не надо толмач, Кашуга скажет.

Тот, мотнув головой, начал:

— Лука Камаку дает Вирьку. Камак мехов даст много, во-о! — поднял руки Кашуга.

До Луки дошло.

— Во, ешьте-корень, не время об этом, — а сам подумал: «С такой горы мехов забогатеть можно» — и добавил вслух: — Кашуг, скажи ему: осенью потолкуем. Осень. Вразумел? А ныне не время.

Кашуга в знак согласия мотнул головой и сообщил Камаку:

— Лука будет говорить в месяц отлета уток.

В трудной крестьянской работе замелькали дни. После того как сдвоили подготовленную с осени пахоту, приступили к распашке пожогов под овес. Деньки стояли теплые, крестьяне спешили: не опоздать бы с посевом. Пропустишь время посева — неурожай тут как тут.

В один из дней Савелий Рыков подошел к Колыгову:

— Мы тут обществом мядка овсяного поставили. Вот-вот созреет. Скажи своим казачкам, пусть медведей в округе попугают. Больно беспокоят, лошадей да коров гоняют, лешие.

— Овсяного, говоришь? Скажу, погоняют. Токмо мядок-то ко мне притащите. — А сам подумывает: «Скоро рыба гуще в речки попрет, медведь от скотины и отринется».

— Дак гонять-то они будут?

— Не в меру передерзлив ты, Савелька! Делай, как власть велит!

— Ладно, — качнул рыжеволосой головой Рыков.

Вот и закончилась весновспашка. Дозревала целомудренная камчатская земелька. Прогрелась, запарила и стала издавать посевной запах, различимый лишь хлеборобу. Савелий Рыков утром побродил по пашне, растирая в ладонях землю, нюхал ее, мял, но, не переборов сомнения, захватил горсть земли и сошел с пашни. Уселся под оттрусившуюся пыльцою ольху. Он думал о вчерашнем сходе общины, на котором долго спорили и все же порешили: завтра начинать сев. Савелий сжал в руке землю, отпустил, она постепенно рассыпалась.

«Вроде и время ужо, а кто его ведат в этих-то местах. Не засеять бы рано, токмо семена на погад пустить. Оно ить: как зерно спать уложишь да как разбудишь — так и сыт будешь».

Его размышления прервал говор, доносившийся из-за перелеска. Рыков поднялся и пошел на голос.

Лука Дранка в белой рубахе с опояском, в новых крашеных портах босиком вышагивал по пахоте своей десятины и размашисто разбрасывал семена из висевшего на груди лукошка. Бормоча под нос какие-то заклинания, он, увлеченный, прошел, не обращая внимания на вышедшего к его пашне Рыкова. С каждым шагом Луки золотым дождем сыпалось из его горсти зерно.

«Вот черт драный, начал ужо, — глядя на Дранку, заметил себе Рыков. — Поспешно идет по полю, эдак и проплешин в посеве не избежать».

Савелий посмотрел, как в нарядных сарафанах, подвязанные платочками стояли Акулина и Виринея, ожидая знака от Луки: когда же вести под уздцы им лошадь с бороной, чтобы заборонить семена, и вздохнул: «Все как должно. Сев — праздник! А я ныне все в сумлении».

Дождавшись, когда Дранка выкидал все из лукошка, Рыков крикнул ему:

— Пошто без нас начал, и не рано ль, Лука?

— Ранний посев, коли не зародит, зато и семян не теряет. Извелся, весь ожидаючи, а опоздаешь — вовсе беда: лета-то тут чуть. А про свою выть не забыл. Сегоды сам управлюсь, а завтра вам в помочь.

— Ну, с богом! — пожелал Рыков и направился в селение.

Проходя мимо крупной березы, он вошел под ее крону и сквозь ветви посмотрел на солнце. Сощурился и, заморгав заслезившимися глазами, отметил: «Слепит еще несносно. Знать, не поздно сеять-то, а вот не рано ли? Подожду-ка еще денек». На следующий день Савелий Рыков, а равняясь на него, и другие крестьяне в праздничных одежках вышли на пашни.

Вот и наступил один из ответственнейших дней крестьянского труда. Посеешь вовремя, согреется зернышко на пригреве солнца, взойдет да и будет вбирать в себя соки земли, чтобы потом сполна отдать эту силушку земную едоку хлебному. Испокон на Руси по важности работы — ритуал да праздник! По крестьянскому обычаю, севцом хлеба может быть только старший в семье. Вот и зашагали по пашням бородачи, наговаривая молитвы-просьбы с извечной верой и надеждой к земле-кормилице. То и дело насыпают севцу в лукошко отборного зерна, и он вновь размеренно машет рукой из стороны в сторону. Сеять не пахать: тут не силушка нужна, а рука верная.

Колыгов распорядился казакам развести камчадалов по пашням, а сам, учитывая праздничный день, отправился допивать поднесенную крестьянами овсяную бражку. Смотрят ительмены на посев, а думы их о другом. Идет месяц первой рыбы. Истосковались за зиму по свежей да жирной, нет никакого терпения. Все родники перебрались уже летовать к местам лова рыбы и жируют! Нет, не интересно уже смотреть и даже кормить лошадей. Рыбы, рыбы просит душа и воли! Здесь держит лишь страх возмездия. А пахари знай сеют, и невдомек им, что своим благородным насущным трудом здесь, в дикой Камчадалии, они засевают семя нового, более совершенного склада и образа жизни в еще слабо подготовленные пашни: души этих весьма способных аборигенов. Пусть, конечно, до будущего урожая далеко, и он будет зависеть от того, как будет обрабатываться это чувствительное поле — душа камчадала.

После сева на своих полосках пашни крестьяне засеяли общинный выдел — для помощи больным, сиротам либо просто на черный день. Так уж повелось. К вечеру в селении закурились баньки. После главного сева мужик отпаривается, конь отстаивается, а там пора и огороды сажать.

После дневной отсидки в тенечке у лагуна браги Никифор Колыгов вышел на улочку, постоял, и ноги сами понесли в сторону избы Поповых. Проходя мимо, он увидел, как Акулина и Виринея в огороде сеяли репу. Набирая в рот семена, они с силой, раздувая щеки, расплевывали их на подготовленную землю.

Колыгов остановился, поглядывая на тронутые солнцем округлые плечи и руки Акулины, и, глубоко вздохнув, окликнул ее:

— Хозяйка!

Акулина подошла к жердевой изгороди, у которой стоял староста. Колыгов отвел взгляд.

— Ты вот чего. Завтра моя Аглайка да Меланья в огороде сеять почнут горох да репу. Ты присмотри.

— И всего-то, — блеснула синью неба на него Акулина.

Никифор с шаткой надеждой на свою задумку заговорил:

— Удумал в баньке выпариться у вас, как ранее, да отметить сей важный день. Лукашка, поди, не воспротивится бражкой побаловаться.

— Сегоды мы баньку не топим. Вчера свой хлеб отсеяли и побанились. Сегоды мы в помочи, там и мыться станем. Никифор, оставь Лукашку и меня в тихости. Христом Богом молю — оставь!

— Как?! — закипел из-за отказа Колыгов и, не сдерживая хмельной вспышки злобы, закричал: — Без мово ведома сеял! Я ныне к его пашне камчадалов услал! Все противу меня деете! Ужо погоди-и…

Колыгов быстро зашагал прочь, обдумывая, как наказать Луку, чтобы сделать больнее ей, заставляющей трепетать зачерствевшее его сердце.

У дома Никифора нагнал казак:

— Три нехристя утекли.

Хмурый староста остановился и вопрошающе поднял брови.

Казак ответил:

— Кто их ведат. Утром к пашне Дранки их сам отвел, а днесь нигде нет. Все на месте, а их след простыл.

— Чьи были?

— С Хапиченского острожка камчадалы.

— Так… ну, черт драный, за все поплатишься, — проговорил Колыгов в адрес Дранки и уже для казака добавил: — Неотложно гони к тойону того острожка. Коли через день беглецов сюды не доставит, будет бит сам. Так и передай!

Казак направился к берегу. Долготечен летний день. На гонком бату камчадал-батовщик к исходу дня доставил казака и толмача в Хапиченский острожек. Причаливаясь, они увидели у берега множество батов, казачьих лодок, а неподалеку расставленные пологи служилых. На поляне возле двухъярусных островерхих балаганов толпились служилые. Камчадалы угощали гостей. Сам приказчик Чередов решил проехать по острожкам. Он сидел с тойоном на колодине перед разброшенной травяной чирелой, на которой стояли угощения: чуприки из свежей рыбы, отваренные головки рыб, молодые побеги сладкой травы да черемши.

Казак с толмачом пробрались к тойону, чтобы заговорить, но Чередов, увидев их, поманил к себе:

— Пошто тут?

Выслушав казака, приказчик махнул рукой:

— Гони назад. Ныне сами тойоны суд над соплеменниками деять должны. А у Колыгова я завтра буду.

Посланцы ушли, а Чередов подумал: «Кстати это. Позрю, как тойон суд чинить станет» — и заговорил:

— Худые вести. Тебе я верю. Власть ныне дана тебе великая, а родники тебя не чтят. Указам твоим перечат.

Когда толмач перевел, тойон встал и, сделав обиженное лицо, сказал:

— Тоен Кешлея и его родники всегда делают так, как велит русский тоен.

— Это так: и ясак вовремя, и подарки от тебя немалые. Даже новый поп Феофилакт доволен: пол-острожка крещение приняли, — а сам подумал: «Хотя мне это не по нраву. Когда всех окрестят, с кого ясак собирать-то? На десяток лет Елизавета Петровна крещеным отсрочку в ясаке велела» — и спросил: — Ты послал к сошным людям в учение?

— Послал, там быть до месяца цветения сараны.

— Они ослушались тебя, тоен. Властью, жалованной тебе, должен их наказать.

— Будет по-твоему! — обронил тойон и заговорил с рядом сидящими камчадалами.

Те, подскочив с мест, вскоре подвели троих беглецов. Один из них доедал на ходу запеченную в костре рыбу. Тойон заговорил, беглецы виновато понурили головы.

— Пусть русский тоен прикажет казакам бить виновных, — сказал Кешлея.

Толмач перевел.

— Э нет… Сам секи, токмо сам. Тогда чтить тебя станут, — возразил Чередов и приказал казакам отдать кнут тойону.

Тот замялся, но кнут взял и гортанно, громко, как бы взбадривая себя, заговорил. Камчадалы безропотно стянули с себя кухлянки, и один спокойно лег на траву.

— Сюда, сюда, — указал Чередов, вставая с колоды, и добавил: — Потешимся, однако.

Когда камчадал подошел к колоде, кто-то из казаков выкрикнул:

— Порты-то спусти с него.

Толмач подошел и, чуть сдернув с наказуемого порты, приказал ему ложиться на колоду. Тот вытянулся на ней и недоуменно косился на тойона. Кешлея подошел и замешкался.

— Учи! Учи его! Бери власть, коли дадена! — загоготал Чередов.

Тойон размахнулся и хлестнул камчадала. Основная часть удара пришлась по земле за колодиной, но камчадал вскочил как ужаленный и, выкрикивая угрозы в адрес тойона, стал наступать на него.

— Э-э! — кивнул казакам Чередов. — Не по нраву ему. Повяжите как след.

Казаки скрутили его и, прихватив ремнями к колоде, отошли. Чередов гоготнул очередной раз и обратился к казаку:

— Антип, покажи тоену, как пороть надо.

Антип взял кнут, примерился — и рассек воздух. Пока в крике извивался камчадал, кровоточащий рубец раскраивал его спину.

Чередов подошел к тойону:

— Вот так, по пяток плетей каждому сможешь, значит, тоен ты — власть надежная. А не то: не лезь в волки, коли хвост собачий. Тоеном другой, достойный станет.

Выслушав толмача, Кешлея заиграл желваками, напрягся и взял кнут у казака.

В смятении стояли собравшиеся камчадалы, глядя, как тойон порет провинившихся. Видано ли дело — не врагов бить, а родников. Ведь они не нарушили обычая, лишь захотели рыбы. За это даже Великий Кутх не наказывает! А тойону такая власть?!

* * *

До полуночи добирались казак с толмачом обратно в Ключевское селение. Казак разбудил Колыгова.

Тот тяжело поднял похмельную голову и, разлепив глаза, прохрипел:

— Чего?

— Завтра Чередов с казаками здесь будут, — огорошил его казак.

Колыгов подскочил.

— Как тут?!

— Ныне он в Хапиченском заночевал. Там с беглецами расправиться обещал, а завтра сюда. Так и сказал.

«Вот забота. Надо почестен пир умыслить. Это он любит… Да и многое чего любит, прохиндей», — поворочал мозгами Никифор и проговорил:

— Добре, подумаю, как встреть. Иди.

С утра пошел дождь, омывая живительной влагой землю, давая жизнь побегам нового. Колыгов уже обежал крестьянские дворы, и казаки стаскивали к нему в дом все из съестного, что могли они дать. Хотя в это время и трудно с мукой, но нашли для нескольких караваев хлеба. Рыба, медвежатина, овсяной кисель, молоко — все годилось к предстоящей встрече. Закрутив подготовку к приему важного гостя, Колыгов накинул непромокаемую накидку из рыбьей кожи и пошел к реке Камчатке: авось приближается отряд с приказчиком. Подошел к береговому обрыву, от реки нанесло сырым холодком, лишь нудный дождь безуспешно засевал вспаханную ветром рябь реки. Немного постояв, вернулся в селение, размышляя: «В таку пропасть вряд ли из острожка в реку сунутся. Поди, рано я приказал хлеба печь да заеди готовить».

Лишь к полудню день разведрился, прыснуло солнце на блестящую от влаги зелень. Крестьяне расходились из изб по своим

заботам. Савелий Рыков направился в конец селения, где Кузьма Щербак с Обуховым обустраивали срубы своих изб, которые подняли им крестьяне помочью. Он вышел на пригорок, зеленый от молодой травы, и, мимоходом заметив: «Расти травка — молока прибавка», направился к свежим, исходившим смолою срубам. Тут он увидел, как из-за кустарника от реки вышла группа людей. В промокших одеждах, они шли напролом к селению. Рыков подошел к избе, на крыльце которой что-то тесал Щербак.

— Здоров, Кузьма. Пришел помочь стропила поставить, как и уговорились. Кличь сюда Артема, да и почнем.

— Будь здоров, Савелий. Я вот гляжу, служилые с приказчиком к нам пожаловали, а Колыгова средь них нет. Однако, не встретил, задаст ему Чередов.

Идущий впереди казаков человек свернул к срубам. Служилые, толмач, три молодые камчадалки, купец-мелочник с двумя холопами, гнувшимися под узлами, — все направились за ним. Это был приказчик Чередов. Подойдя к избе Щербака и узнав его, приостановился. Рыкову он показался с виду строг, в движениях резок, собою сух.

Приказчик властно заговорил:

— Щербак, неплохо, что и в ненастье при деле.

— Трудимся, лба перекрестить некогда, — ответил за Щербака Савелий.

— Так и должно быть, дабы без шкод да убытков казне государевой. Где изба Колыгова?

Рыков указал, отряд двинулся.

Колыгов, увидев подошедших, опешил и шагнул навстречу:

— В тако ненастье?

— Будь оно… до нитки промок! Когда отчалили, не было, а в пути застал. Сыщи в сухое облачиться да для сугреву чего, — проворчал приказчик.

— Все сыщем, все сладим! Входи в избу, а служилым казаки в амбаре все уготовили.

Вскоре перед амбаром запылал костер, у которого казаки сушили одежды и жарили медвежатину. В избе суетился Колыгов, угощая приказчика и купца. После крепкой браги и сытной еды раскраснелось лицо Чередова, и пошли разговоры.

Колыгов принялся обсказывать Чередову про пахоту и сев, но тот махнул рукой:

— Полно! Тебе тут из навозу видней. Вот и правь.

Купец хихикнул, Никифор насупился.

Чередов хлопнул Колыгова по плечу.

— Чего с тя взять! Вот видел, каких молодок мне Кешлея подарил?! Те, что со мною пришли, Канучь при них. Да, куда ты их определил? — встрепенулся он.

— В женской половине, — успокоил Колыгов.

Удовлетворенный, приказчик продолжил:

— А чего… при мне тут лутшие камчадальские мужики забогатеют. Я им на вольный промысел морского зверя волю даю… Оттого и мне свой резон, не без этого. Так видел девок? Показать? — Чередов хмелел на глазах.

Купец залупал замаслившимися глазенками и, разглаживая тощую бороденку, закивал головой:

— Давай, давай, рассмотрим как след… Василей, ну продай мне одну.

— Погодь, купчишка! Узнаю, какая получше, — загоготал Чередов.

Разговор напомнил Колыгову про Акулину, и он вновь затомился злобой.

Чередов ткнул его:

— А ну, пусть Канучь приведет молодок, позрим.

И тут Колыгова осенила мысль, от которой он даже вздрогнул и едко усмехнулся:

— Нашли чего смотреть. Вот тут есть девица… м-м-ых! Краса и весьма спелая. Самый прыск!

Купец пьяным голосом промямлил:

— Василей, кажи своих девок, неча трепать язык о зубы.

Когда Канучь завела молоденьких камчадалок, которые пугливо жались к ней, Чередов скомандовал:

— В той горенке разоблачи их да выведи на показ.

Колыгов посоветовал:

— Бражки им поднеси, смелее станут. — И, нацедив ковш, пошел за ними.

Канучь вывела обнаженных стройных девиц. От смущения у них пылали щеки, они прикрывали рукою глаза. У купца расплылось лицо в улыбке, глаза жадно зашарили по девичьим телам.

Погладив свою бороденку, заговорил:

— Девичье тельцо — натрушено сенцо. Василей, ну продай!

— Не скули, сукин сын! — отмахнулся тот и уже Никифору: — Чего, неужто у тя краля тут лучше?

— Сравнений нет, — буркнул тот.

— А еще пригожи женки тут водятся? — покосился на него Чередов.

— Есть… У Щербака Кузьмы женка-камчадалка, и статью, и красой — дивна.

— Ну коль так, староста, медом те в уста за токо! Как свечереет, веди на погляд Щербакову женку да эту… как ее?

— Виринею, — уточнил Колыгов.

Чередов кивнул головой и продолжил:

— Поди, от приказчика-то не полиняют.

И загоготал под хихиканье купца. Просмеявшись, приказчик махнул рукой Канучь.

— Уводи девок, не то эти посглазят. Ишь как на чужо добро поуставились, — ухмыльнулся Чередов и придвинул к Колыгову свой ковш: — Плесни за твою добру весть.

Канучь вывела камчадалок. Сердце ее переполняли ненависть и бессильная злоба на Чередова и казаков, которые исковеркали жизнь этих и многих других молодок, в том числе и ее, Канучь. Чем, чем она может помочь хотя бы этим, оторванным от семьи и привычной им жизни, текущей по истари заведенным обычаям? Ничем! И это угнетало ее бунтующую душу. Когда она завела девиц в женскую половину дома Колыгова, ее осенила мысль.

Она обратилась к Аглае:

— Присмотри за ними, дабы не ушли, а я к речке схожу, в лодке, однако, платок забыла.

Аглая согласилась, и Канучь направилась на край селения, где видела Щербака у строящейся избы. От быстрой ходьбы она запыхалась. Савелий Рыков, Щербак и Обухов устанавливали стропила уже на избе Обухова. Им помогал Ивашка.

Канучь подошла к ним и, переведя дух, заговорила:

— Щербак, спрячь Наусчичь. Чередов с Колыговым худо замышляют. Вечером взять ее у тебя хотят. Да еще упреди девку Виринею, ее тоже Колыгов Чередову обещал.

Кузьма опешил:

— Верно сказываешь?

— Делай, как говорю. — И, уже уходя, обернулась: — Щербак не скажет, что Канучь была у него?

— Не выдам… Никто не выдаст, — заверил тот.

Савелий Рыков спросил:

— Кто она?

— Канучь с Настасьей моей из рода Талача, а ныне Чередов ее за хозяйку держит.

— По-нашенски бойко знает, — заметил Рыков.

— Молодец, что упредила. От этих волков всего ждать можно. Иди, Кузьма, отведи ее в скит, где старец Исайя жил. Пусть день-два там со Степашкой пообретается, — посоветовал Артем Обухов.

Ивашка спрыгнул с крыши избы:

— Батяня, я Вирьку упрежу.

— Сначала матке ее все обскажи, да боле ни гугу.

Мотнув рыжей шевелюрой, Ивашка припустил к Поповым. Акулину он нашел в огороде и зашептал ей на ухо.

— Господи, — всплеснула та руками, — нашел, ирод, как за живое-то взять. Чего же деять-то?! Доченька моя, господи! — вскочила Акулина.

— Тихо, тетка Акулина! Я знаю, где Вирьку спрятать, никто не сыщет: место у нас есть потайное…

— Ой, Ванюшко, сынок! Бежим к Вирьке, она в осеке у коров. — И заругалась непонятно на кого: — Вот идол, достал, достал меня, сатана!

Виринею они разыскали в дальнем углу осека. Подоив корову, она собиралась уже идти домой. Запыхавшись, мать поведала ей причину их появления.

— И почто я им нужна?

— Глупая, надругаются над тобой пьяные мужичищи. Посиди ужо, дочка, там, где Ивашка сказывает. Поснедать да теплого чего из белья с Ивашкой передам. Иди, доченька, схоронись от греха, не то, поди, скоро искать тебя станут.

— Угу, — согласилась Виринея, и они с Ивашкой направились было в сторону схорона, но Акулина остановила их.

— Молоко с собой возьми. Пить там будешь. Да не выходи из сокрытия, пока Ивашка за тобой не придет, и не отзывайся, — все наставляла она.

Взяв подойник, Ивашка повел Виринею, а Акулина, оглядываясь, заспешила в селение.

Свечерело. Из дома Колыгова доносились песни, когда казак, посланный за Настасьей и Виринеей, вернулся.

Купец уже лежал на лавке, свесив до пола руки, храпел, а Колыгов, развалясь на топчане, напевал частушку:

— «Ой, не надо мя просить буйну травушку косить. Не пахать, не косить, девкам жамки бы носить!»

Увидев вошедшего, Чередов с Колыговым повернулись к нему.

Тот заговорил:

— У Щербака сын занеможел, и его женка повезла на бату в Нижний острог. Сказывают-де, отец Феофилакт мастак детей излечивать от недугов.

— А Вирька где? — не стерпел Колыгов.

— Лука сказывает, будто ушла корову доить да запропала.

— Хм… ста-рос-та! — презрительно протянул Чередов.

Колыгов рявкнул:

— Луку, черта драного, сюды! Живо!

Когда Луку привели, Колыгов поднялся:

— Крестьянишь с нерадением да еще и указу первого человека Камчадалии противишься! Пошто девку не шлешь, коли звана?

— С утра была, а ныне как пропала. Везде искал. Да и каков с девки спрос. Хозяин в доме я, спрашивай, чего надо.

Чередов вскочил с лавки и с размаху ударил Луку.

— Как говоришь?! С начальными людьми, будто с равными! В пыль сотру!

Лука вытер разбитые губы.

— Для богомерзких поступков других девок ищите.

Блеснули злые волчьи глаза Чередова.

— Пороть! Пороть, пока не скажет, куда упрятал ее!

Во дворе у Колыгова засвистела плеть. Никифор и Чередов сидели на крыльце, глядя, как казаки полосуют растелешенного Дранку. Крик его уже прекратился, лишь мычание вырывалось из обмякшего тела.

— Окати водицей да спроси, где девка, — приказал Чередов.

Казак окатил водой голову Луки, а остаток воды выплеснул на окровавленную спину.

Дранка захрипел, казак пригнулся к нему:

— Где, где дочь?

— Гады, — лишь выдохнул тот.

— Пори еще, — махнул Чередов.

Колыгов встал с крыльца и возразил:

— Не испустил бы дух сошный. Пойду я сам к нему в избу, у женки дознаюсь, а ты пожди меня, — и уже казакам: — Будя душу вынимать. Оттащите в его двор, пусть дома очухивается.

Никифор вошел в горенку избы Поповых, колыхнув пламя на лучине.

— Здоров, — протянул он и уставился на встрепенувшуюся Акулину, которая в тревожном ожидании сидела у стола. — Где Вирька?

— Нету. Сами не знаем, чего и думать. Всегда засветло уже дома. — И промакнула передником деланные слезы.

За дверями избы послышались тяжелые шаги, и что-то шмякнулось на крыльцо. Акулина забеспокоилась.

— Твово упрямца приволокли.

Она выскочила из избы и склонилась над бесчувственным телом мужа.

— Забили, забили насмерть, — запричитала она.

— Не вой, очухается… Это твое упрямство… И Вирьку сыщу. Все переверну вверх дном. У меня баловать… не-ет! Подумай крепко да ныне и приди, не то поздно станется. — И Колыгов зашагал прочь.

Пока он ходил, Чередов, повалившись на топчан, уснул. Колыгов стащил с него сапоги и, обхватив, уволок приказчика в другую горенку, где уложил, прикрыв покрывалом. Хотел было с лавки утащить купца, но постоял, послушал, как все ниже и ниже забирает его густой храп, махнул рукой. Задул жировик и вышел из духоты на крыльцо. Во дворе уже никого не было. Казаки угомонились и притихли в амбаре.

«Никуды не деться тебе, Акулька, дочку-то вызволять придешь», — присел он на крыльцо и стал поджидать.

Акулина позвала на помощь соседа Потапа Брагина, и вдвоем они втащили Луку в избу, стянули прилипшую к спине рубаху.

— Порешили… никак насмерть забили мужика, — всхлипывала Акулина.

Брагин ее успокоил:

— Дышит. Твори отвар да исцеляй спину, дело наше холопское: меж кнутом и батогом вся жизнь, будь она проклята!

Акулина оживила огонь в каменке, поставила котел с водой и, юркнув в амбар, занесла несколько пучков травы для отвара. Пока варила и остужала отвар, Лука пришел в себя и застонал. Акулина мочила тряпицу в теплом отваре и протирала изрубцованную спину мужа.

— Пи-ить! — прохрипел Лука.

Она метнулась к бадейке и с ковшом подошла к лежащему на животе Дранке.

— Как же попоить? — И, чуть приподняв ему голову, полила на сухие губы мужа, но вода почти не попадала в рот. Намочив тряпицу, подсунула к его губам. Лука с шумом всасывал влагу, а она все подливала на тряпицу. Лука напился, перестал стонать и вскоре ровно засопел.

От жалости к нему и от чувства своей причастности ко всем бедам, свалившимся на их семью, сердце Акулины рвалось на части.

Она подошла к иконе, поблескивающей в красном углу, встала на колени перед ней и взмолилась:

— Господи! Иисусе Христос, Сын Божий! Помилуй мя грешную. Вразуми, как быть?! Доченька расцвела, чтоб украсить собой зарождение будущей жизни. Неужто в это время ее на погад пущу?! Неужто не предстанет ей с косы волюшку снять по закону Божьему?! Беспощадной удавкой опутал, злодей! — От бессильной яри Акулина заголосила. Горе и обида распластали ее на полу перед иконой. — Боже! Как жутка бабья долюшка! Почто ко мне жизнь не пригожа, не ласкова? Нет мочи жить! Не-ет! — И, вскочив, она бросилась из избы.

Очнулась Акулина, стоя по колено в воде. Река ласково омывала ноги и тихо плескалась у берега.

«А Вирька? Доченька, чего же это я!» — остановила себя она и выбрела из воды.

Она представила, как таится в сыром схороне ее дочь, пережидая опасность, и не ведает она, что беду эту может отвести только мать, смяв свою душу и сердце. Акулина, чуть постояв, медленно побрела к дому Колыгова. С плеча бесшумно соскользнул узорчатый, вязанный дочерью платок.

Колыгов уже начал терять веру в то, что Акулина придет, когда услышал шаги. Он поднялся с крыльца ей навстречу.

У Акулины — ни смущения, ни стыда: зло вытеснило все чувства.

— Бери меня. Да отступись от Вирьки и Луки, — погасшим голосом проговорила она.

— Пришла, — облегченно вздохнул он. — Пошли в избу.

Она зашла в избу и остановилась.

— Знай, ненавижу тебя, Никифор! Грех падет на тебя за это.

Безудержная страсть заполнила хмельного Колыгова.

— Будя уросить! Иди сюды. Грех-то с орех, — увлек ее он к топчану.

Ей было гадко и до тошноты нехорошо, а он лез целоваться, обдавая ее перегаром и наговаривая лести:

— Голуба синеглазая, сколь же я этого ждал! Ни Вирьку, ни тебя в обиду не дам.

Лишь боязнь за дочь сдерживала Акулину, чтобы руками и зубами не вцепиться в горло Никифору, и заставляла ее преодолевать отвращение к нему, к себе, к жизни.

Утром с больной головой Чередов вышел к столу, за которым уже сидели расхмелевшиеся Колыгов и купец.

Приказчик растер рукою припухшее лицо и спросил Колыгова:

— Ну, сыскал ту молодицу?

— Нет. Вот казаки у реки ее плат подобрали. В селе сказывают: будто утопла. — И показал на кружевной платок.

— Ладно, пока буду камчадальских девок тискать, — сказал он и, откровенно почесав свой блуд, сладко зевнул, потянулся к ковшу.

Через день Чередов со своей свитой уехал из села, а Виринея и Настасья вернулись домой.

* * *

Все теплей и ярче светило солнце. Стаивали белые шапки с вулканов да горных крутяг, окаймляющих плодородную долину реки Камчатки. Ниже, на сопках, разливом нежной зелени каменная береза сокрыла темные сгустки кедрового стланика. А на угорах и увалах вокруг Нижнекамчатского острога поляны зажелтели в сгустках цветущих одуванчиков.

С гор пошла коренная вода. Река наполнялась вздувшимися притоками. Береговые ивы да черемухи будто забрели в половодье, чтобы мыть-полоскать свои ветви. В реки густо пошла рыба, сюда из дебрей сходились камчатские медведи — заядлые рыболовы. Все живое пришло в движение. Трудно усидеть весь день в остроге. Жители расходились кто на сбор трав да съедобных кореньев, кто на добычу свежего мяса.

В отсутствие приказчика Чередова жизнь в Нижнекамчатском остроге протекала спокойнее, а когда еще и священник Феофилакт выехал в камчадальские острожки для крещения инородцев, то и вовсе некая сонность овладела жизнью селения. В церкви сначала молебны проводились через раз, потом совсем перестали. Почти все уже казаки и семьи посадских откупились от присутствия на молебнах. Вот и сегодня с утра в церковь к отцу Ермолаю подошли трое. Они прошли в людскую, и вскоре из боковой двери с одутловатым от вечернего потребления браги лицом вышел Ермолай. Пришедшие засуетились, доставая из мешков подношения.

— Вот чавыча, только что солью взялась. Во рту так и тает, отче, да недолисок с того сезона сохранился. Прими и не обессудь, что времени быть на служении не выкроим. Сам ведаешь: рыба ходовая, прошла и нет.

Ермолай согласно покачивал головой, уже косясь на второй мешок.

— Тут жбан ворвани да десяток уток засоленных. Не взыщи, отче, — откланялся второй и добавил: — Только пометь: всю седмицу не смогу на моления попасть.

Приняв мешок дымленого мяса у третьего, он щепотью перекрестил их:

— За подношения будете добротой Иисуса Христа вознаграждены во веки веков. Отпускаю вас, чады мои возлюбленные. Воспойте хваление ради Богу и теките в домы своя.

Просители ушли, а Ермолай, окинув подносы, подумал: «За молебны-то несли по чуть, а тут будто вину свою сокрывают, не скупятся… Нет, с Феофилактом каши не сваришь, хоть потайно от него успеть себе провианту наготовить да передых от сей скудной постной жизни содеять». Окликнув церковного служку, хромого отставного казака, чтобы тот помог ему донести дары до дома, он взвалил два мешка на себя, и они вышли из церкви.

На площади у кабака им повстречались два казака. Они поздоровались с попом, а чуть пройдя, запустили ему в спину похабным матом и зашагали прочь.

В один из жарких дней Феофилакт вернулся. Архимандрит спешил попасть к обедне и, выбравшись на берег с лодки, велел дьячку проследить за церковным скарбом и вещами, а сам направился к церкви.

«Пора бы и колоколу звенеть», — подумал он и тут увидел, что двери Божьего храма заперты на замок.

Феофилакт опешил.

Осмотрелся и, увидев паренька, гонявшегося за собачонкой по бурьяну, подозвал:

— Сбегай до избы отца Ермолая, скличь его.

Вскоре к церкви прикондылял казак-служка. Попахивая бражным духом, осклабился и, нашарив ключ в кармане, отворил двери в церковь, виновато потупя взор. Феофилакт, сдерживаясь, прошел мимо него в храм Божий. Он и так был недоволен. Две седмицы проездил, в трех острожках побывал, и лишь в одном удалось убедить пять камчадалов, а в Пеучев да Каменном острожке слушали его с опаской и злобою.

Хромоногий служка хотел войти вслед за архимандритом, но тот обернулся, проколол его взором:

— Вон, чтобы духу твоего не было в храме. — И поморщился.

Служка остановился, заморгав глазами.

— Хотя постой.

Феофилакт вышел и увлек его от входа в церковь, куда уже подносили с берега вещи.

— Сказывай как на духу. Где отец Ермолай? И долго ли церковь взаперти?

— Дак как уехали… — И служка, выложив все, что видел за эти дни, добавил: — Ермолай-то нонесь с угару спит непробудно. Поднять неможно.

Утром отзвонил церковный колокол, и хотя народу пришло совсем чуть, Феофилакт отслужил молебен и прошел в келью, где его поджидал Ермолай.

Ермолай стоял, избегая прямого взгляда, и заговорил, поглядывая в оконце, через которое лучился свет:

— Вчера простуду из себя гнал. После бани-то крепочку приять пришлось, да уснул накрепко.

— Крепко, видать, занеможел, — подыграл ему Феофилакт.

И, не сдержавшись, хлопнул ладонью по святцам, лежащим на столике.

— Плутуешь, отец Ермолай! С непотребной женкой Улитой живешь блудно! Пиешь беспробудно. Несешь унижение святой церкви, ослабляя веру у прихожан, кои и так тут в великой дикости да глубочайшем невежестве пребывают! Самовольно церковь затворил! Угодно ли сие Богу?! Синод анафемствует тя, отпотчевав шелепами! — кричал Феофилакт на поникшего головой Ермолая, который, сделав скорбную мину, ягненком взглянул на взъяренного архимандрита и молвил:

— Каюсь, бес попутал. — И трижды перекрестился.

Феофилакт заходил по тесной келье, до хруста сжимая пальцы бледных рук.

Немного успокоившись, он сел, осуждающе поглядывая на Ермолая, заговорил:

— Властью, данной мне, лишаю тебя, отец Ермолай, ежегодного жалованья. Без руги поживи. Помни слова: «По вере вашей будет вам».

У Ермолая отвисла челюсть, он опустился на лавку.

— Как жить стану?

— Вижу я, у тебя не худо получается прихожан сотрясать в свою пользу. Однако алчность твою в тебе не побороть, так направим ее на деяния Божьи, и воздаст Всевышний за это. Для поддержания и умножения достоинства и чести церкви велю тебе в христианском селе Ключевском ежедень службы править. Да не часовню, а церковь приходскую миром ставить. От прихода и жить станешь. Помни: без веры народу быть, что на море без весла!

— Приход-то невелик там, — встрял Ермолай.

— К осени еще переселенцы подойдут, сие мне ведомо. Да и инородцев привлекай к сошному труду богоугодному. Умножай паству всяк путем. В этом суть слуги божьего!.. — долго еще ему назидал архимандрит.

Ермолай уже через раз слышал его из-за камариль налетевших мыслей. Лишь к полудню он вышел от Феофилакта и направился домой собираться.

«Воистину это он от зависти», — мелькнула у него мысль.

ГЛАВА 7

Настал самый длинный летний день — Петр Солнцеворот. Крестьяне его чаще называли днем Акулины-комарницы — начала нападок комаров на скотину, отчего те носятся, задрав хвосты. С этого дня наступает время прополки пашен. А там — сенокос, вторая прополка и жатва. Теперь галопом молодого теленка, закусанного комарьем да оводом, вприпрыжку поскачут летние деньки, незаметные в труде да в заботах.

Июньские туманы по утрам плотно заливали низины и пади. До полудня туман рассеивался, и наступала жара. Теплота и влажность в долине способствовала буйнотравью, которое забивало всходы хлебов так, что крестьяне вновь взялись за соху, чтобы пропахивать овес. Посеянную рожь приходилось полоть вручную.

Вечерело, когда Потап Брагин, опершись на жердевой забор, крикнул:

— Сосед!

Из растворенной в избу двери вышла Акулина, жена Дранки:

— Здравствуй, Потапушка, чего тебе?

— Будь здорова, голуба. Ты чо пекешь? Ишь как духмяно. Где Лукашка? Оздоровел ли? Гляжу я: вы с Вирькой ужо всю седмицу одне по ярице окарачь ползаете, а овес-то ваш прахом зарос. Травища прет. Его бы малой сохой пройти само время.

— Где ему пахать ишшо. Ходить-то он ходит, а чего содеет, согнется, за бока хватается да голосом ревет от боли. Даечь всю ноченьку орал дурниной — так невмочь ему. Видно, черева отбили. Ныне-то бражки для облегчения испил и до си полеживат, кашель в оба конца.

— Я-то думал, в поправе ужо он.

Акулина вновь зачастила:

— Ни, все сами с Вирькой правим. Да на все рук не хватает. Чо и говорить, сусед: слободного времени где взять, хоть глаза завяжи да в омут бежи.

— Тогда я сохой по твоему овсу пройду. Вот с Щербаковым полем закончу и пройду, ты токмо после поправь где руками-то.

— Будь добр, Потапушко. Прямо и не знаю, как доброту твою отблагодарить. Конечно, полюшко-то не забросим: как-нибудь

сладим с доченькой-то, — и, спохватившись: — Тю, лешой! Заболтал. У меня каравай в печи, — кинулась в избу.

Вынув запеченные коркой караваи хлеба, она закрыла печь заслонкой и на прогретую лежанку, устроенную на печи, настелила сухой травы.

Подошла к посапывающему мужу:

— Лука, вставай, соляной пар примешь. Потроха прогрей, авось легче станет.

Он продрал глаза, поднялся с топчана и, кряхтя, пошел к печи. Акулина соленой водой облила траву и, когда Дранка, оголившись, улегся на печи, накрыла его дерюжиной.

Наутро, провожая жену и дочь на пашню, Дранка сказал:

— Пойду веников из ольхи наломаю: Звездочке желудок закрепить след. Гляну: весь двор запакостила.

После порки пьяными казаками Лука Дранка осунулся, пожелтел, стал слабым и тихоречивым.

Акулина поглядела на него:

— Ты бы из дому не выходил, Лука.

— Чо сидьмя сидеть, ково выпаривать, — вскинул бровью Лука.

Акулина, подумав: «Господи, неужто полегчало ему да хворь на убыль пошла», махнула рукой:

— Ладно, токмо тише ты, не сразу.

Когда Акулина и Виринея подошли к пашне, рядом, на своей десятине, уже копошился Кузьма Щербак с семьей. Настасья и Степашка выдирали осот и пырей, стаскивали его в кучи. На другом конце поля, где всходы совсем забила трава, Щербак косой смахивал верхушки трав. Вскоре подъехал с сохою Брагин, и они с Щербаком начали пропашку овса. Из-за зелени кустарников вышел Колыгов и направился к пашне Поповых. Он остановился у поля.

— Акулина, подь сюды.

Та разогнулась и с каменным лицом побрела к нему.

— Здоров, Акуль! Вышла бы вечером на околицу посумерничать, — ухмыльнулся он.

— Твое счастье, Никифор, что нет серпа при мне, жеребец проклятый! Уходи! Мало ты мне набедил?! Людей скличу, уходи!

Сбежала ухмылка с липа Колыгова, и будто глубже осели, затаились глаза, он прошипел:

— Неймется все! Чертова баба! Ужо зажалеешь! — И, крутнувшись, пошел прочь.

Не только у крестьян, но и у камчадалов каждый погожий день на учете. В уловах на реках ставят они сети, на перекатах речек устраивают запоры и направляющие загороди для удобства лова рыбы. Много рыбы надо камчадалам для себя и собак. Заложить в ямы, накрыв дерном, насушить юколы на долгую зимушку да успеть из рыбы натопить жиру. Потому много, что больше половины этих заготовок при отсутствии соли сгнивает начисто либо поедается червями. Кроме рыбы, ительмены в летний сезон с помощью усиленного костяной пластиной лука да стрел должны умудриться промыслить медведя, горного барана, чтобы насушить, надымить мяса, а их кожи пустить на ремни, обувь и одежду. Не всем удается это сделать, посему основная надежда камчадала всегда на рыбу, травы, коренья и ягоду, заготавливаемые впрок. Камчадалам, живущим на побережье, медведя с лихвой заменяют тюлени. Тут и прочная кожа для всех надобностей, и жир на зиму, и мясо, которое они паровят к зиме. В каменных ямах разводят костер. Когда камни нагреваются, забрасываются туда ветки ольховника, а сверху мясо. Пар и едкий дым пропитывают мясо, делая его неприятным для мух.

В острожках и на летних стоянках никто не сидит без дела. Кто заготавливает и подсушивает сарану и кипрей, кто крапиву подвяливает для ниток на сети, кто скоблит жирные шкуры зверей, смазывает их жеваной рыбьей икрой и, сворачивая, мнет ногами, чтобы через некоторое время вновь скоблить каменными скребками, сбривать с них шерсть да красить в настоях из коры и ягоды.

Лето для камчадалов — сезон подготовки к нелегкой зиме. Летом строятся новые и расширяются ставшие тесными жилища, каменными теслами вырубаются и обстругиваются столь необходимые им долбленки — баты, деревянная посуда. Ставятся на сваях балаганы для хранения припасов. Нет, летом аборигену сидеть некогда.

Несмотря на свою занятость, подстегиваемый желанием заиметь в жены Виринею, Камак в один из дней, загрузив в бат несколько нерпичьих шкур, залитых ворванью, выехал с Кашугой в Хапиченский острожек.

Камак знал, что тойон Кешлея и часть его сродников приняли крещение, а значит, не будут платить ясак. Камак был уверен, что он один имеет дозволение вести заготовку жира на побережье в любое время, и посему на ворвань он сможет скупить у сродников меха, которые не пойдут теперь в ясак.

Причалив груженый бат, они нашли Кешлею у строящейся избы. Он сидел в тенечке под деревом и посматривал, как родники устраивали ему жилье на русский манер. Камака больше поразило другое. Неподалеку от строящейся избы суетилось еще несколько человек, возводя часовню в камчадальском острожке. Такого еще не было ни в долине извилистых рек, ни во всей стране, подвластной Кутху. За ними присматривал казак, оставленный приказчиком в помощь тойону. Увидев Камака, Кешлея высокомерно кивнул ему головой и не поднялся навстречу. Пересилив себя, Камак подошел к нему.

— С чем пожаловал? — буркнул тот.

— Прослышал я о твоем крещении. Теперь Кешлея и его сродники не будут платить ясак, и они смогут за этот мех купить у Камака жир тюленя. Камак привез жир, он верит, что в месяц трескающихся деревьев Кешлея отдаст ему меха.

Тот ухмыльнулся и окинул Камака лукавым взглядом.

— Камак думает, что Кешлея прост, как щенок семи дней отроду. Ясак отменен царю, но чащина русскому тоену Чередову осталась. Ему нужны подарки. Кешлея сам будет получать от родников ясак и дарить русскому тоену. Жир тюленя не нужен. Мои сродники сами готовят его, когда захотят, на то есть бумага русского тоена Чередова.

Камак вспыхнул:

— Камаку не о чем больше говорить с Кешлеей. — И повернулся уходить.

Тойон остановил его.

— Знай, Камак, что я теперь не Кешлея, а Тимошка Черных — брат русских, — высокомерно вознес голову он.

— Прощай, Кешлея! — бросил Камак и зашагал прочь.

За ним засеменил Кашуга.

Запрыгнув в бат, Камак взялся за шест, Кашуга оттолкнул долбленку, и они поплыли вверх по течению. Прогибая шест, Камак мощно упирался, в душе его клокотала злоба.

Он процедил сквозь зубы:

— Продался! Как русский тоен, станет обирать своих сродников. Из гниды всегда вырастает вошь!

Надежда на получение к зиме мехов, нужных за Виринею, что ветхая долбленка на волне, так и зашаталась, норовя потонуть.

Поиграв желваками, Камак бросил:

— Пойдем к речке Каменных Топоров к тоену Чегечу.

Кашуга знал, что сродники из острожка Каменного, куда они направились, строптивы. Ни одного бунта не было без их участия, а к крещению и русскому образу жизни они и вовсе не тянулись. Кашуге же нравилось у русских: и их разнообразная еда, и всегда сухое недушное жилище, и добрые их звери, дающие вкусное молоко. Непонятно, чего так осерчал на тоена Кешлею Камак. Ведь сам же Камак собирает со сродников меха на отдарки русским за крещение да еще и на ясак.

В острожке Каменном тойон Чегеч встретил гостей по обычаю. В жаркой, влажной юрте угощал их, пока те не откупились двумя бурдюками с ворванью. Кашуга явно объелся медвежатины. Так и стоит перед глазами темное мясо с чисто-белым жиром.

«Видимо, медведь сало нагуливал на кедрачах, у медведей-рыбников сала поменьше, да и в прожилках», — подумал Кашуга, сдерживая приступ тошноты от переедания.

Он развалился неподалеку от беседующих тойонов и слушал.

— Чегеч верен Кутху, или он принял веру русских? — заговорил Камак.

— Пусть крестится тот, кто не имеет ни головы, ни сердца. Скорее камни растают, чем будет крещение родников Чегеча.

— Камак доволен Чегечем. Камак привез жир тюленя и верит, что Чегеч в зиму даст Камаку мехов, тогда Камак всегда будет помогать во всем Чегечу.

— Русский тоен не любит Чегеча. Он не пускает родников к морю готовить жир. Чегеч возьмет жир и поступит так, как хочет Камак, который чтит Великого Кутха. Камак всегда найдет помощь у Чегеча.

Кашуга рассуждал: «Великий Кутх… где он? Никто его не видел. Русский Бог ближе, он живет в больших юртах — церквях, и, конечно, он лучше помогает русским, потому как многое они могут и живут сытнее…»

Когда Камак с Кашугой вернулись в свой острожек Пеучев, там их поджидал казак, прибывший взять людей на обучение землепашеству.

Не успел Камак задуматься, кого бы оторвать от неотложных дел, Кашуга подошел к нему:

— Меня посылай.

Тойон покосился на него и, подумав, согласился:

— Кашуга будет смотреть, чтобы Лука другому не продал красавицу Вирьку. Забери с собой молодого Лемшингу да Быргача, и езжайте.

* * *

Перед началом сенокоса Савелий Рыков побрел по лесным опушкам — аласам посмотреть на траву. Завтра будет Иван-травник — день, с которого обычно начинаются покосы трав. Трава тут, в Камчадалии, уже успела дойти, сочная вымахала; где по пояс, где по плечи.

«И когда только успела? Совсем недавно лишь проклюнулась, и вот поди ж ты… не ожидал», — удивлялся Савелий, проходя по густотравью.

Он обошел все места, удобные для кошения, и вернулся в селение. Его уже поджидали выбранные сходом мерщики, давшие мирянам клятву на честность. Это Потап Брагин и Антип Тюменцев. Потап встретил Савелия вопрошающим взглядом.

Тот заговорил:

— Трава везде ровная. Не след на худшие и лучшие угодья разбивать, отмеряйте по вытям на сорок восемь душ общины. — И, помолчав, добавил: — А коль травы недостанет с угодных мест, в лесу божьи пазухи, каждый по себе будем выкашивать.

Чуть посидев, мерщики, вооруженные мерными жердями — жезлами, и крестьяне направились в сторону раскорчеванных, но еще не паханных полян, чтобы их и ближайшие лесные опушки поделить под сенокосы. Начали с поляны, тянущейся от селения до реки. Подошедшие сгрудились у края.

Савелий указал рукой:

— Потап, бреди вперед, у тя брод, что у ведмедя. Надо вон тот кочкарник отсечь.

— Да… прямо не выйдет, надо будет чуток болотины ухватить, а за то вон у тех кустов надел прирезать на барышок.

— Ладно, — согласился Савелий, и Потап побрел, шаркая сапогами о траву, приминая тропу.

Антон Тюменцев прищурился и пробурчал:

— Куда его леший ведет. — И громко крикнул Потапу: — Бреди прямее, залучина выходит!

Тот оглянулся.

Все принялись указывать ему:

— Так криво!

— Держи на куст!

— Сдвигай, грю, на средину куста.

Потап выровнялся и побрел на куст. Крестьяне облегченно вздохнули.

— Так-то истинно, безобидно.

— Надо бы прокосить основной брод.

Весь день крестьяне делили наделы, сначала на выти, потом их разбивали на подушные семейные наделы, шумели, спорили, отстаивая высшее для земледельца — справедливость.

Вечером селение потонуло в звонком перестуке. Крестьяне отбивали косы, хозяйки припасали на завтрак еду, чтобы спозаранку выйти в день первой косы. В эту ночь у каждой избы пламенел небольшой костерок, у которого кто-то из семьи обязательно дежурил, охраняя свой дом от нечистого. Так уж повелось издавна, а обычай на Руси свят.

Далеко за полночь Савелий Рыков сидел на крыльце дома. Неподалеку раскаленной медью тлели угли костра. Савелий взглянул на открывшийся из-под туч молодой месяц.

«Грозный: рожками вверх. Знать, дождлив. Это завсе, как сено косить да как хлеб убирать… Сырости-то тут и так хватает. Из-за ее, клятой, хлеба в солому поперли в ущерб зерну. Да как бы плесень к хлебам не привязалась, не то — беда», — размышлял он.

Савелий поднялся, прошелся по двору, разминаясь, сладко зевнул и, взяв щепок, подживил костерок. «Звезды блекнут: скоро рассвет. Подниму Ивашку, не то соснуть бы надо перед покосом». И направился в дом.

Не поднялось еще солнце, как первая коса уверенно завжикала на поляне, подрезая росистую гущу травы. За ней вторая, робкая, с шепотом о траву. Это Акулина с Виринеей принялись за свой надел. Вчера, когда к ним в избу пришел Кашуга с двумя

сродниками и попросился в помощники, Акулина с Лукою решили оставить прополку пашни на камчадалов, которым будет подсказывать Лука, а самим взяться за покос, как все.

Дранка привел камчадалов на заросший травою клок поля и, нарвав охапку травы, вынес с пашни. Камчадалы с рвением взялись за дело. Дранка не успевал их останавливать. То они срывали лишь вершки сорняков, то выметали все подчистую вместе с рожью. Вконец измотавшись, Дранка погнал их с поля. Потом, остыв, подсел под березу к ним, недоуменно посматривающим на него. Дранка встал и, поманив Кашугу, направился к пашне.

Присел и, тыча пальцем то в стебель ржи, то в траву, повторял:

— Хлеб, трава. Трава, трава, хлеб. — И вырывал траву.

Кашуга смотрел на него недоверчиво:

— Кашуга знай хлеб, знай сухарь. Это трава!

Дранка криво усмехнулся:

— Ешьте-корень, беда с тобой. Неужто сразу сухари вырастут. Потом хлеб будет, осенью. Понял?

Кашуга, озаренный догадкой, вырвал стебелек ржи и принялся разрывать землю, будто искал клубни сараны, и, не найдя ничего, спросил:

— Где хлеб?

Набравшись терпения, Лука все же растолковал ему, и тот, запомнив стебельки ржи, начал вырывать траву, оставляя рожь.

— Вот-вот, ешьте-корень! Молодец, паря! — похлопал его по плечу Лука. — Ну, пойдем подкрепимся, да за дело. Слава те господи, вразумил!

Накормив камчадалов рыбной похлебкой с запашистым хлебом, налил им квасу.

— А ну, Кашуга, наверхсытку-то хлебни кваску.

Тот заранее прищурился и, поцокав языком, взял ковш. После трапезы все трое научились полоть, как следует, и Дранка, довольный, только и знал, что относил от них траву с пашни.

В полдень Кузьма Щербак, накосившись так, что заломило поясницу, пошел отдохнуть да заодно наломать березовых веников. От березы к березе так он и вышел к пашне Луки Дранки. Три камчадала усердно пропалывали поле, а Дранка развел огонь и подогревал обед.

«Вот те на… и хлебных пашен не чужатся инородцы. Ишь как в помощи отзывчивы. Однако, сердешный народец, хотя били его, разоряли да ожесточали донельзя. Знать, не палашом да фузеей, а сохой да пашней способнее раздвигать пределы России-матушки. В этом деле трудовой пот, поди-ка, крепче кровавого может статься…» — подумал он и, постояв чуть, взвалил вязанку веников на спину и побрел к своему покосу.

Вечером Щербак, Настасья и подросший Степашка, загруженные вениками, возвращались с покоса к своей еще не достроенной избе. Издали дом Щербака смотрелся ладненьким.

Проходя мимо дома Колыгова, увидели Никифора, который поглядывал, как Аглая с Меланьей поливают горох да репу.

Увидев Щербака, Колыгов крикнул ему:

— Кузьма, утром сход, захвати чернила да шнуровую книгу.

Утром Колыгов похвалил Луку Дранку, что тот правильно учит камчадалов, и объявил:

— Отныне на каждую семью даю инородцев. Содержите их в работе за вашим харчом. Дела скорее пойдут.

И поглядел на Кузьму.

— А ты ежедень помечай, у кого сколь камчадалов в работе. Так-то надежнее будет, дабы осенью не забыли мою доброту. На сегоды у Дранки опять Кашуга, Лемшинга и Быргач. У Брагина — Тимуч, Ликоч, Итатель… — принялся перечислять староста.

Когда он закончил, Савелий Рыков спросил:

— А коли они мне, к примеру, не нужны. Я не хочу, чтоб осенью за них ты с меня взыскивал.

— Коли радеешь за дело государево, должен взять. Кузьма, впиши ему означенных! — захмурился староста и, больше не говоря ни слова, зашагал прочь, оставляя рассуждающих крестьян.

— Хорошо, коль в помощь станут, а то лишь харч изводить.

— Бес подери таковы сходы! Раньше-то на миру в полное горло говори все, как мыслишь. Бывало, в ругани до хрипа исходишь, все выскажешь, зла в себе не оставишь, потом спокойно и работай себе. А ныне? Это ли общинный сход? Ни поспорь, ни скажи ему. На кой ляд он со свиным рылом в мирской устав-то?!

— Все одно, супротив не пойдешь: переломит.

Савелий Рыков, махнув рукой, заметил:

— Будя хороводить-то, мужики. Трава сегоды с утра сухая — ожидай дождя, спешить след, а лишние руки в хозяйстве всегда нужны.

— И впрямь, с утра коняга храпит да фыркат. Не иначе, сеногнойку натянет, — поддержал его Потап, и крестьяне начали расходиться.

Вскоре то здесь, то там в работе рядом с крестьянскими спинами поблескивали потные смуглые спины камчадалов.

В один из дней к Ключевскому селению причалили три бата, на них прибыл поп Ермолай со своими пожитками да церковной утварью, выделенной ему Феофилактом. К полудню они с Колыговым уже оглядывали срубленную часовню, которая была совсем не обустроенная изнутри.

— На перво время вели прирубить к часовне келью, дабы было где мне пребывать, пока церковь поставим, — и, взглянув на старосту, заметил: — Не морщись. Покорство и смирение Господь заповедал.

— Ладно, до зимы спроворим.

Через день несколько камчадалов да выбранные обществом Кузьма Щербак и Артем Обухов, часть в батах, часть пеше, направились в верховья реки Камчатки на заготовку леса для церкви. Вслед за пешими Кузьма Щербак и Кашуга повели двух лошадей, навьюченных топорами, пилами да веревками для сплотки леса.

Сенокос — любимая пора крестьянских будней. После дождливых дней погода выдалась солнечная, ветреная. В селении не осталось даже самых маленьких детей. С наделов доносилось мелодичное пение женщин, орудующих граблями. Бронзовели спины мужчин, стогующих сено, слышны были понукивания на лошадей, с помощью которых стаскивали копешки сена. Стоял нещадный зной, ветерок наносил пьянящее благоухание трав. В полдень все потянулись к реке. Отрадно после утомительного зноя поплескаться в прохладе вод.

После обеда Савелий Рыков сам стоял наверху, раскладывая сено, которое то и дело забрасывали ему под ноги два камчадала. Жена Ульяна и Ивашка подвозили копны. Казалось, ничего не предвещало беды. На фоне зеленых сопок и голубого неба блистали еще не растаявшими вершинами вулканы.

Ужасающий гул насторожил всех. Резкий толчок сбросил Савелия с зарода сена, камчадалы присели. Ульяна удержалась за уздечку испугавшейся лошади и с подбежавшим Ивашкой еле удержала ее, готовую сорваться в бег. Второй и третий толчки были слабее. Огромный столб черного дыма и пепла выметнула ввысь Крестовская горелая сопка, от которой донеслись гул, грохот и шум. Черная туча расползалась, закрывая небо, и вскоре сделалось сумрачно и страшно. В небе с треском засверкали молнии, воздух наполнился резким кисловатым запахом. Начал оседать пепел. Опомнившиеся люди, крестясь и причитая, бросив работу, в полумраке сыпанули в селение.

Пока крестьяне в панике от такой невидали прятались по избам, потянувший ветерок стал сносить пепловую тучу в сторону. Вскоре небо очистилось, вновь засверкало солнце, а из огнедышащей горы то и дело выметывались клубящиеся столбы чада, затягивая горизонт.

Крестьяне толпились на улочке, приходя в себя, переговаривались:

— Думал, кончину мира узрил.

— Си-и-ила! Так и смахнуло с зарода.

— Чего там, у мя вон каменка вся обрушилась.

— А у нас избу так шатнуло — бревна из дверных колод совсем вон вышли.

— Сажей-то все запорошило, ровно снегом.

Видя обеспокоенность крестьян, один из казаков зашел в избу к Колыгову. Спокойная Аглая с дочкой перебирали свежие клубни сараны, а Меланья мастерила из бересты лукошко. В горнице тяжелые от браги похрапывали Никифор и Ермолай.

Казак растолкал Колыгова:

— Сопка вновь дурачить удумала. Землю шипко тряхнула, крестьяне в село сбежались да судачат, убоявшись.

Никифор перевернулся на другой бок и прохрипел:

— Скажи, велю работать. Крепше трясения бывали, так что колокола на церкви в звон пускались, и ништо. Иди.

Казак вышел и гаркнул:

— Ништо! Хужей было. Нет нужды стоять-то!

— Будь оно неладно, столь дел добавило, — буркнул Савелий и, кликнув жену и сына, направился к сенокосу.

Другие тоже потянулись к брошенным делам.

В эту ночь мало кто в селении спал. Ночью все, что творилось на горелой сопке, было виднее и слышнее. Подрагивала и гудела земля. Темный столб, вылетавший из жерла горы, ночью виделся красным. Сопка будто тяжко дышала, с гулом выплевывая пепел и раскаленные каменья, которые брызгами разлетались по темному небосводу и, светясь, падали на склон, катились, оставляя искрящийся след. Вниз огненной змеей истекала лава. Во все глаза смотрели крестьяне на захватывающее и настораживающее зрелище.

На другой день крестьян поджидало новое испытание. К полудню, отворачивая морды от присыпанной пеплом травы, заревели голодные коровы. К вечеру пришлось дать им свежего сена из копен и зародов. Обеспокоенные крестьяне решили гонять коров на пастбища за несколько верст от селения в лес, который не захватила пепловая туча. Пастухом определили Луку Дранку, который уже заметно окреп после побоев, а в помощь ему, подпасками, — Гриньку да Ивашку Рыкова. Оседлав лошадей, пастухи погнали голодное мычащее стадо по берегу реки Камчатки в таежный край.

Коровы и лошади, взбрыкивающие жеребята и телята то и дело растекались по кустам. Гринька с Ивашкой гонялись за ними, криком да звонким щелканьем кнута направляли стадо в непривычное для них место. Пепла на траве становилось заметно меньше, и вскоре скотина с жадностью принялась щипать траву.

— Все, — махнул парням Дранка и рассудил: — Дожжа крепкого теперь быть, дабы у нас-то посмыл сажу.

— Иначе доить далеко ходить, — заметил Ивашка.

— Гонять будем, — ввернул Гринька и спешился.

— Расседлайте коней, пусть пасутся, — проговорил Дранка, снимая седло.

Рычание и лай всполошили стадо. Ивашка, не успевший соскочить с лошади, понесся на шум. Стая псов, вылетев из леса, нагоняла жеребенка. Щелкая кнутом, Ивашка с криком поскакал навстречу. Собаки, свернув, отбежали и остановились, злобно поблескивая глазами.

Подскакал Гринька:

— Волки!

— Не, хвосты обрублены. Нартовые.

— Гля, жеребенок-то ногу волочит. Поди, прокусили. А ну, погоняем псов, — заершился Гринька и, устрашающе щелкнув кнутом, направил лошадь к собакам.

Ивашка последовал его примеру. Собаки разбегались и вновь сбегались, злобно щерились, вывалив языки, и все норовили подойти к стаду.

Гринька выругался:

— Вот гады! Не боятся… Из фузеи бы пальнуть. Эдак весь день начеку стоять придется.

Подъехал Лука. Узнав, в чем дело, озадачился:

— Да, ездовые псы на воле-то дичают. Ешьте-корень, одними бичами от них не отбиться.

Он спешился, подошел к хромающему жеребенку, осмотрел поджатую ногу и, почесав свою лысину, заметил:

— Как бы сухожилие не перекусили.

На следующий день крестьяне выпросили у Колыгова фузею и три заряда для обережки стада.

Как только отогнали стадо от селения, Лука Дранка отдал фузею Гриньке:

— Возьми, тебе способнее с этой штукой баловать. Подь она к черту!

До полудня собак не было, и стадо паслось мирно. Гринька спешился и хотел было положить фузею в шалаш, чтобы зря не таскать тяжесть, как в другом конце стада шарахнулись коровы и, содрогая землю, понеслись от собак, чуть не стоптав его. Почти перед Гринькой свора псов обтекла отставшего теленка. В одном клубке с жертвой замесились собачьи тела. К месту, где с остервенением горбилась свора над павшим, скакал Ивашка, щелкая кнутом. Гринька пальнул в толчею собачьих спин. Сквозь пороховой дым он увидел, как кинулись от телка собаки. Одна из них, отпрыгнув, скуля и перебирая передними лапами, волочила недвижимый зад. Подскакавшие Ивашка и Лука бросились ее добивать. Гринька подошел к растерзанному теленку.

— Наш, — узнал он по звездочке на бугристом лбу своего теленка. — Матушка-то опечалится, — огорчился Гринька…

Покончив с псом, подошли и Лука с Ивашкой.

— Ешьте-корень! Эдак нам скот изведут зверонравные псы. Гринька, давай освежуем телка, дабы мясо-то не пропало. А ты, Ивашка, обскачи, сгуртуй стадо-то, — распорядился Лука.

Пока они снимали шкуру с теленка, вернулся Ивашка:

— Двух лошадей недостает да коровы. Сдуру-то в лес уперли.

Дранка озадачился.

— Сам с мясом управлюсь, а вы спехом сыщите скот. Не дай господи — беда! Фузею-то с собой берите, коли чего, дак…

— Дойдем пеше, в лесу так способнее, — бросил Гринька и, прихватив фузею, направился в сторону леса.

Ивашка заспешил за ним. Пройдя мертвого пса, на траве они увидели пятна крови.

Гринька заметил:

— Раненые псы-то гоном погнали. Не враз теперь сюда сунутся.

— Жаль теленка. Отец тебя не похвалит, — посочувствовал Ивашка.

— Коли встретим псов, непоздоровится им, — потряс фузеей Гринька.

Из-за горизонта наползала хмарь. Вскоре клубящиеся тучи стали заполнять небо. Парни шли от поляны к поляне, прислушиваясь к звукам в лесу, меняли направления и вновь вслушивались в каждый шорох. Выйдя на поляну, поблескивающую листьями брусничника, они остановились.

— Никак уже матерая тайга пошла, — определил Гринька.

— Да, туда идти не след, давай вон за тем увалом глянем, — показал в сторону Ивашка.

— А как там не случится?

— Видно станет.

Когда они забрели за увал, тучи закрыли солнце. В лесу сразу стало сумрачно и неуютно.

— Возвернемся назад, — решил Гринька и пошел от увала.

— Не туда ить, вон как шли.

— При своем ли уме, Ивашка?

— Не туда же!

— Я боле твово по тайге шастаю, идем. Выйдем на тот брусничник, оттуда к ручью лесному, а за ним через гарь в низинку. С низинки-то не заплутаем, там рукой подать.

Ивашка зашагал за Гринькой, продираясь сквозь кустарник и обходя ветровалы. Они петляли по густому лиственничнику, но той поляны с брусничником не было.

— Я те говорил, — укорил Ивашка.

Гринька остановился.

— Счас вернемся к увалу, наверх метнемся да сообразим, куды идти.

Они влезли на лесистую сопочку и растерялись. Тучи густой куделью обложили окрест, придавив тайгу.

— Ни гор, ни солнца… Не могу в толк взять, в какой стороне Камчатка-то текет.

— Кажись, туда нам, — указал Ивашка.

— Сказанул… Мы же с этой стороны к увалу подошли. Давай вот так и попрем напротек, чо тут-то стоять, — предложил Гринька.

Ослепила молния, грохнул гром. Парни вздрогнули и сбежали с увала, направляясь, как порешили. Сначала застучал по листьям робкий дождик, потом сыпанул, все усиливаясь. Они побежали, потом прижались под вывернутую с корнем лиственницу. Отдаляясь, снова громыхнул гром, дождь заметно сбавил и вскоре вовсе перестал.

— Помнишь, на Лене каковы грозы? Громы, а молоньи-то, молоньи страшные, будто Боженька с неба слетал, — заговорил Ивашка.

— А… — отмахнулся тот. — Пойдем, не то вечереет.

И они вновь заколесили но тайге. Заредел лес, парни прибавили шагу.

— Уф-ф, запарился, как лошадь на взвозе, — проворчал Ивашка, стараясь не отстать.

Тайга расступилась, перед ними открылось огромное поле с вековым кочкарником, посреди которого виднелось озерцо. На нем горланили тугоперые гагары.

— Гля, топь-то какова, — вымолвил озадаченный Гринька, веткой отмахиваясь от тучи комаров, наседавших на него.

— Никак нечистый водит. Надо заговоренные слова говорить, — сказал Ивашка и зашептал.

Стоять на месте было совсем невозможно. Комары и мошка бились в лицо, лезли в порты и под рубаху. Постоянно обхлопываясь ветками, они развернулись и побрели в противоположную сторону. Комары с победным звонким писком вновь и вновь набрасывались на них — и они побежали во весь дух. Под ногами то и дело чавкали расслабленные дождем маслята.

Смеркалось. На их пути стали попадаться темные сгустки кедрача, елки в серых лишаях. Сбоку от них из можжевельника разлетелся выводок глухарей. Лес становился дремучее. Причудливо темнели ели, завешанные лишайниками, дыбились корневища вывороченных ветром деревьев. Глянешь — перекрестишься.

Увидев под ногами тугие маслянистые листья рододендронов, Гринька остановился:

— По всему видно, в горы прем. Дале будут места дикие, недоступные камни. Надо ночлег смекать. Утром солнце взойдет, по нему и выйдем к реке.

— Придется по-камчадальски деревянный огонь добывать, кресало-то не взяли, — опечалился Ивашка, поглядывая на мокрый от дождя лес.

— С фузейного бойка мох запалим, — обрадовался своей догадке Гринька и распорядился: — Давай лапник и дрова вот сюда стаскивать.

Вскоре парни, подбрасывая в костер ветки кедрача и елей, сушили свою одежду. Лапник, исходивший янтарной смолой, ярко вспыхивал, горел дымно, жарко. Парилась одежда, развешанная на жердинах у костра.

Надвинулась густая смолистая ночь, которая со всех сторон давила на огонь, делая его ярче, желаннее. К ночевке парни развели два таежных костра, установив дрова юрточкой, а меж костров настелили лапника и улеглись, время от времени отмахиваясь от редкого ночного комара. На свет костров из темени в огонь валились бабочки, мухи, прочая мошкара.

Поглядывая на костер, Ивашка заметил:

— Дрова больно горкие; с треском да искрой пылают, быстро прогорят.

— На ночь все одно не хватит, подкладывать след, — буркнул Гринька, умащиваясь на лапнике.

К полуночи задул ветерок. Зашумел, заскрипел лес. То здесь, то там с треском валились старые лесины. Неподалеку от ребят грохнулось оземь дерево, содрогнув почву.

— Ух как ахнула стволина во всю силушку, — повернулся Ивашка и добавил: — А зябко при ветре-то.

Пришлось вставать и делать из валежника стенки для костров от ветра. Часть неба очистилась, и, будто дырочки,

в ночи засветились звезды. Вскоре появилась тусклая луна, осветив края надвигающейся на нее тучи. Ивашка глядел, как она наступала на ущербную луну, будто пасть дракона, готового проглотить надкушенный каравай сыра.

— Гриньк, а чо, впрямь Бог месяц на звездочки крошит? — спросил Ивашка и резко крутнулся.

Гринька осердился:

— Чего ты, как сыч на колу.

— Дак искра в лапник осела: враз вспыхнем.

Долго еще не спал Ивашка и наконец согрелся, прижавшись спиной к Гриньке, и уснул.

Утром тучи еще гуще покрыли небо.

Гринька, пасмурный, как погода, кивнул дружку:

— Идем быстрей, околел к лешему.

И они, зябко ежась, побрели обратно.

У них уже давно подвело животы, и когда им попалась поляна с кустами жимолости, они бросились к ягоде. Поев, брели наугад по нехоженой тайге, натыкаясь на лесистые сопки, сворачивали и снова пробирались по буреломам и кустарникам. Ивашка то и дело задерживался у кустов с ягодой. Вот и сейчас, увидев родничок, поросший набирающим силу кипреем, он подошел к нему и обрадовался: куст красной смородины!

— Гринька, сюды! — крикнул Ивашка и принялся рвать ягоду.

Тот подошел и, глядя на него, сказал:

— Будя охминать за обе щеки. Зубы-то оскоминой отобьешь.

— С голодухи-то поешь.

— В тебя, как в худого коня… — недоговорил Гринька и воскликнул: — Живец ведь, чего молчал?!

Ивашка захлопал глазами.

— Вода-то ручьем в речушку, а та в реку стекает. Смекай.

— А-а-а, — дошло до Ивашки, и они, взбодренные, направились вдоль слабого ручейка.

Вышли к лесной извилистой речушке, заросшей кустарником. Прозрачная студеная вода неспешно струилась, омывая крутые бережки. В небольших уловцах речонки сонно ворочали темными спинами непуганые гольцы. Из береговых зарослей вспархивали утки.

— Воды три вершка, а сколь дивно дичи, — удивился Ивашка.

— Эх, кабы не спешить, — вставил Гринька и прибавил шагу.

Речка долго петляла по глухомани, пока чуть расширилась.

Частенько на пути встречались заслоненные травою медвежьи тропы со свежим пометом. Уже давно перевалило за полдень, а речушка все вела уставших парней. За ее кривунком они увидели чащеобразный куст кедрача.

— Перебредем за ореха… — осекся Ивашка и, ухватив Гриньку за руку, показал: — Медведи пасутся.

Гринька увидел около кедрача здоровенную матуху и двух медвежат. Она стояла, что-то пережевывая. Малыши, подражая матери, тоже гребли лапами землю, жевали, морщились и звонко фыркали. Потом затеяли возню, мешая матухе. Та бесцеремонно выдала им по затрещине и, ухватив носом воздух, насторожилась. Утробно рыкнув, вошла в кедрачи. Закачались макушки стланика, указывая ее путь. Медвежата будто перекатывались вслед за ней.

— Уф, хорошо, не увидела, — выдохнул Гринька.

— А фузея?

Тот ухмыльнулся:

— С дробью-то. — И добавил: — Ходить в лесу — видеть смерть на носу.

На каменной россыпи у речки Ивашка подобрал длинный прозрачный кристалл и показал Гриньке:

— Зри, боговы стрелы. Гром наметал.

Гринька со знанием дела кивнул головой, и они пошли дальше. Больше растерянность, чем удивление, вызвало у них то, что речка вдруг запетляла по кочкарнику и затерялась в обширном аласе.

— Все, заблудились, однако, живая погибель нам, — сел на колодину Ивашка.

— Ништо, у Бога дней много — выйдем. Пошли. Быстро.

— Куда бежать-то, хвост морковкой. Все-то ты знаешь, о другодень блудим, — укорил он Гриньку и передразнил: — «В тайгу чаще хожу, знаю, как свои персты!»

— Дурень ты! То на своих лесовых угодьях все ведаю, а тут без троп да примет. На умный ум рассуди: коли втекает речка, знать, и из болотины выход воды есть! Обойдем — увидим.

Пошли, пока вечер не застал, не то уйду один — узнаешь, почем сотня гребешков. — И, взвалив фузею на плечо, побрел вокруг кочкарника. Ивашка поднялся вслед.

Немного пройдя, Гринька крикнул:

— Человек! Гля, гля, вон, за болотиной!

И они в две глотки закричали:

— Э-ге-гей!

Человек остановился и, сложив руки у рта, откликнулся. Это был Кашуга, обвешанный утками. Он держал в руках охотничий лук и улыбался.

Кочкарник оказался не болотиной. Это речка, испетляв каменистую долинку, образовала много проточек, стариц, сливалась тут с многочисленными родничками и вытекала отсюда полноводной и быстрой. Проточки кишели горбоспинной красной рыбой. Шел нерест лососей.

Поглядев на фузею, Кашуга заговорил:

— Зачем охота далеко ходи. Кашуга рядом утка бей, рыба бери. — И указал в воду.

— Веди нас к людям, умаялись напрочь, — улыбнулся опухшим от комариных укусов лицом Гринька.

Когда они уже втроем шли вдоль речки, Ивашка показал Кашуге находку:

— Тако знаешь?

Тот, покрутив кристалл, мотнул головой и, подойдя к речке, всмотрелся в дно. Потом вынул из воды камень наподобие пушечного ядра и с силой грохнул его о валун. Камень распался на три части, сверкая гранеными кристаллами, отдающими синевой.

— Вот, — Кашуга ткнул пальнем в кристаллы, потом на наконечник стрелы и, взяв плоский камень, добавил: — Вжик-вжик.

— Ну и дела, — стоял очарованный Ивашка.

«Взять бы с собой, да сил нет», — подумал он.

Послышался стук топоров, когда путники стали переходить речку, по которой густо шла на нерест рыба.

Кашуга выхватил одну, потрогал большой горб рыбины и по нему определил вслух:

— Речка небыстра. На бату легко ходить.

Вскоре показался стан лесорубов, и уставшие дружки повалились у костра.

* * *

Лука Дранка один без парней собрал все стадо и пригнал в селение. Потапу Брагину поведал о беде и указал ему на притороченные к лошадям сумы с мясом теленка. Обеспокоенные селяне сбежались к дому Колыгова на сход.

Никифор из шума и гомона собравшихся уловил, в чем суть дела, и гаркнул:

— Будя глотничать! Нерадивцу Дранке добрую вздувку дать, дабы поваду не было.

Толпа загудела:

— Токмо бы драл!

— В деле помощь окажи!

Из толпы выступила Акулина.

Раскрасневшись от гнева, она наступала на Никифора:

— Тебе бы доброго лупу задать! Назвался старостой, думай, как скот сберечь. Глянь, в мешках лишь косточки, а был теленочек! Да бес с ним, робят-то, робят из беды вызволять след, а ты!..

— Но-но, мотри! — отступил Колыгов. — Твой пентюх недосмотрел! Завтра чтоб с ним пастушить шла! — приходил в себя Никифор.

Крестьяне вновь зашумели:

— Дело сказывай, Никифор.

— Как будем скот беречь?

— В тайгу идти, робят искать след!

— Там ливень весь день лил, сюда бы его.

Долго еще галдели на сходке, пока порешили навалившиеся вопросы.

Утром Дранка со всей своей семьей и приставленным к ним в охрану вооруженным казаком погнали скот на выпас. С другим казаком Савелий Рыков и Потап Брагин направились в соседний острожек, чтобы взять местных инородцев на поиски пропавших парней, а Никифор Колыгов с утра поплыл в Нижнекамчатский острог к приказчику просить изволения стрелять озверевших камчадальских собак. Нартовые собаки, выпускаемые с весны на вольное пропитание, уничтожали в округе гнезда птиц, всякую живность и даже рыбачили по-медвежьи. Приученные ходить в одной упряжке, они и охотились сворами, становясь врагом даже для крупных зверей и скота.

Акулина с Вирькой шли сзади стада, помахивая длинными хворостинами. По бокам стада на лошадях разъезжали Лука и казак. Сбоку от набитых скотом троп под кустом жимолости лежал нартовый пес, вожак своры, он взглядом провожал стадо. Откуда-то выпорхнула птаха, норовя присесть на ветку. Бросок пса, клацнули челюсти — и он ухватил птаху. Облизнувшись, пес перебежал под другой куст, и вновь его взор впился в двигающееся стадо. В стороне от него свора собак с нетерпением жалась к кустам. Коровы стали уже кое-где пощипывать траву и пошли медленнее и стали разбредаться. Задул ветерок, и вдруг резко грянул гром. Акулина метнула взор в небо, туч не было.

«Господи, уж не Христово ли знамение пало?» — подумала она и перекрестилась.

— Ба, матушка! Че деется, — указала Вирька на горелую сопку, которая после того страшного дня совсем было стихла.

Огромная туча расходилась над сопкой и сваливала за горизонт.

— Боженька мой! Опять, поди, страх господен на село нагрянет, — проговорила Акулина, отмахиваясь от комаров.

— Ни, ветр-то за гору, — успокоила Вирька, оглядывая с косогора, по которому они шли, простор.

Из зеленого леса, точно иглы, впивались в небо тонкие вершины сухостоя.

Со стороны казака хлопнул фузейный выстрел. Свора собак врезалась в будто взбешенное стадо. Опешившие Акулина и Вирька прижались к дереву, чтобы не быть растоптанными. Увидев свою комолую, которая, задрав хвост, бросилась вниз с косогора, они побежали за ней… Лес внезапно кончился. Перед ними лишь чахлые деревца стояли в воде болотца, отражавшего корявые ветви стволов. Между водой и кочкарником, опоясывающим болотце, по брюхо в грязи ворочалась их ведерница Звездочка. Задыхаясь от бега, они на миг остолбенели. Гнус-мошка живой пылью облепила их, лезла в глаза и нос.

— Ой! Милушка моя! В качкое место угодила! Вирюшка! Беда! Потонет ведь! Давай чего-то деять! — заметалась Акулина.

Вирька не знала, чего делать, она лишь уставилась на бьющуюся в тине и грязи корову, которая на глазах все глубже оседала в болото.

«Как же к ней подбрести, чтоб самим-то не утонуть», — билась мысль у Акулины и, увидев у берега сломленную ветром лесину, подбежала к ней.

— Давай подтащим да подсунем ей, авось зачепится как! Господи, поспешай, Вирюшка!

Они ухватили за один край, лесина лишь чуть шевельнулась.

— Одна, одна надежа! Дочка, ты за вершину ухватись, тут я сама. Не мешкай, гибнет Звездочка!

Вирька кинулась к вершине ствола, Акулина рванула деревину — и со стоном рухнула наземь.

— Чего, матушка, — метнулась дочь к матери, скорчившейся от боли.

Акулина попыталась встать, но, скрюченная болью, повалилась и, сдирая рукою с кочки мох, простонала:

— Отца зови.

Испуганная и ошеломленная случившимся, Вирька припустила через лесок к косогору. Душераздирающее мычание погибающей коровы она почти не слышала, так как была переполнена жалостью и беспокойством за мать.

Сгуртовав стадо, казак и Лука увидели бегущую Вирьку. Лука подскакал к ней.

— Матушке худо! Там, быстрее, — плакала Вирька, указывая в сторону болотца.

Лука спешился и устремился за ней. Когда Дранка вынес из леса стонущую Акулину, казак, выслушав его и Вирьку, заключил:

— Худо, паря. Давай ее в шалаш к речке поднесем да покумекаем, как в село спровадить. Там у Антипа женка-то сорванные потроха правит.

— Да, правит, — согласился Дранка, — токмо вот на руках столь верст не унесешь, а верхом с такой немочью не поедешь.

Акулина беспрестанно стонала, сжималась от боли. Лицо ее сразу осунулось, губы посинели, глаза так и лили боль и отчаяние. Они понесли ее к шалашу и увидели у берега бат, а у шалаша Ивашку и Гриньку, которым Кашуга показывал, как добывать огонь.

— О, потерянные нашлись, — заметил Лука.

— Счастлива женка твоя. На бату-то враз в селение и укатите, — ответил казак.

— Како уж тут счастье, — вздохнул Лука и добавил: — Слава те господи.

Забрав семью Дранки, Кашуга погнал бат в селение, а Гринька с Ивашкой остались с казаком при стаде.

Всполошенные новостью женщины селения, оставив работу, сбежались к Поповым. Несмотря на их врачевания, Акулине становилось все хуже. Она теряла сознание, бредила, восковым становилось ее лицо.

Бабы перешептывались у ее постели:

— Все… Видно, кровью внутрь исходит… Ни богослов, ни лекарь теперь не поможет… Вот беда-то, господи!

После очередного бреда разметавшаяся Акулина ясным взором окинула собравшихся и, глянув на удрученного Луку, тихо молвила:

— Побудем одни.

Бабы, понимая и сострадая ей, тихо выбрели из избы. Акулина слабой рукой погладила склонившуюся к ней Виринею и, жадным взглядом уставясь на миловидное светлобровое с конопушками лицо дочери, разомкнула губы в тусклой улыбке:

— Пеструшка ты моя, любая, прости матушку… Это меня Господь Бог карает за грех… Выдь, доченька, отцу повиниться хочу, — тихо прошелестела она.

Уже не сдерживаясь, Вирька с ревом вышла во двор.

Стоящий рядом Лука заморгал прослезившимся глазом.

— Будя, матушка. Чего удумала-то. Поправишься да встанешь, — вглядывался он в ее глаза, полные тумана-недуга.

— Ни… совсем залиховала, испомирать буду. Смертный узелок мой в сундуке в уголочке — найдешь. Подь ближе, повиниться хочу, чтоб спокойно уйти на вечну жизнь-упокой.

Лука подсел рядом и дрожащую руку положил да нее:

— Полно Бога гневить, Акуля. Не худо жили с тобою.

Она заговорила:

— Смолоду не любила тебя: лихорожий казался. Потом покорилась, смертный бой от тебя принимая. Но свыклась, приросла душой, так что содеянный грех мой казнит мя, всю душеньку истомил. Видно, из-за греха мово пришлось нам с горем-то обретаться. Родом и плодом своим, Вирюшкой, клянусь тебе: согрешила не по своей воле. Принудил к блуду лиходей.

Она взглянула на онемевшего Луку. По его лицу скатывались крупные слезы — он тихо плакал.

— Не молчи, скажи чего. Ить ради девства дочери поступилась. Рада бы все локти обгрызть, да поздно.

Лука трудно, будто чужим голосом, заговорил:

— Чего скажешь… Не вмещает мое сердце горести на обидчика. Грех твой отпущаю, Акуль, бог с тобой… Без тебя-то не мыслю быть-жить.

— И на том спаси тя господь, Лукашка. Покличь дочень… — недоговорила она.

— Вирька! — страшным голосом выкрикнул Лука.

Растолкав женщин, Виринея вбежала в избу и бросилась к матери.

— Матушка! Воспрянь! Воспрянь! Не хочу! Не хо-чу-у-у, — заголосила она.

Лука оторвал ее от матери, прижал к себе.

— Вот и спокинула нас матушка твоя. Не соизмерить, не унять горюшко, — всхлипывал он.

Вошедшие бабы закрестились, покрыли лицо Акулины платком и начали устанавливать лавки под образа, чтобы туда, обмыв, положить покойницу. Смеркалось, когда на лавках, устланных новыми рогожками, уложили Акулину в смертном одеянии, в красный угол избы нанесли икон от соседей. Зазолотились огоньки восковых свечей под образами и в руках у покойной. Вокруг по лавкам расселись крестьянки, отпевать покойную пришел поп Ермолай.

Следующий день начался в подготовке к похоронам. К полудню Никифор Колыгов, в хорошем расположении духа, прибыл из Нижнего острога. Он заручился поддержкой приказчика в своих деяниях, побывал в кабаке и даже у цирюльника Прошки. Правда, он сначала немного огорчился, увидев в его зеркальце свое побитое временем лицо. Борода крепко поседела и поредела, местами спуталась. Из ушей и ноздрей кустились волосы.

«Да, поневоле от такого прочь бросишься», — подумал он тогда об Акулине.

Прошка подстриг его, искусно подравнял бороду, как будто помолодил Никифора.

Подходя к селению, Колыгов издали увидел во дворе Поповых народ и подумал:

«У Дранки чего-то клубятся, авось опять утварил пакость? Зайду узнаю да, может, у Акулины ковш браги испрошу, не то крепко утром рыбой набился, что до сих пор на пойло тянет… Эта уж Акулина… Совсем от меня отворотилась девка. Больно норовиста… хотя это даже и не худо, — потрогал он свою прихорошенную бороду и довольно ухмыльнулся. — Да, испить бы не грех ради приятного брожения ума», — попирая свою гордыню, думал он об Акулине.

Увидев печальные лица крестьян, собравшихся во дворе, и теряясь в догадках, Колыгов прошел в избу. Стоявшие расступились. На миг оцепенев от увиденного, Никифор вышагнул к гробу, поколебав пламя свечей. Расширенными глазами впился в лицо покойной и медленно обвел взором сидящих крестьянок, отчего те еще больше утупили взоры и поникли. Живые черные его глаза потонули в густых с проседью бровях.

За спиной тихо переговаривались:

— Вот те на. Угасла за день…

— Молода ишшо, недопита…

Никифор стоял перед покойной, будто оглушенный, не видя, уставился на поблескивающие оклады составленных в красный угол икон, скорее стыдясь, чем боясь вновь посмотреть на лицо умершей Акулины. Ему казалось, что не только Дранка прожигал его своим слезившимся оком, но и другие. Никифор медленно и широко осенил себя крестом и только теперь стянул с себя шапку. Первый раз он перекрестился по душевному порыву, а не для приличия. Искренне сожалеющий о ее преждевременной смерти, он чувствовал, что не находит понимания у окружающих его крестьян. Ему все больше становилась не по себе, и, медленно развернувшись, Никифор вышел. Не глядя на собравшихся во дворе, зашагал к дому с непокрытой головой.

«Как? Пошто же так ей загинуть сталось?! Воистину, у смерти хайло ненасытное!» — ворочалось в мыслях.

— Превечный те покой, Акуля, — тяжко вздохнул он.

Колыгов вошел в избу и сел на лавку, теребя шапку.

За ним со двора вошла Аглая:

— На стол собрать?

— Оставь меня! — рыкнул тот и поднялся.

Наполнив ковш недозрелой брагой, махом выпил и завалился на топчан.

«Вот те и испил у Акулины… Медовуха мимо уха… Как коротка да бестолкова жизнь!» — размыслил он.

Надломилась зачерствевшая душа матерого казака. Засосал его червь еще не осознанной до конца своей вины перед Акулиной. Он поворочался, поскреб ногтями волосатую грудь и впал в раздумье.

«…Чего перед собой подличать-то… Кто я после этого? Дерьмо собачье… Ни в чем не успел, ничего в жизни не понял. Всю жизнь сердце в камень сжимал, прослабления ни себе, ни людям не дозволял… а все одно — ничего не добился… Лишь пустота и горечь в середке.

Иной раз сам чую, что зверем на людей иду, а озлобление это изнутри, оттого что нет мне счастья и удачи жизненной… Эх, Акулина, можа, ты и была моей половиной пред Богом, без коей и жить-то на свете — лишь маяться?!»

Тяжело вздохнув, Никифор сел, прислушиваясь к боли в сердце.

«Совсем в душевную тягость вогнала… Размяк чего-то мой кремушек», — подумал он и, отогнав назойливую мысль о воздаянии на том свете, поднялся, потянулся за ковшом.

К концу дня Камчадальская земля впервые приняла к себе под холмик крестьянское тело.

* * *

Который день лил дождь. Кузьма Щербак и Артем Обухов, попрятав одежду в шалаше, в одних исподниках вицей и веревками скручивали поперечные бревна на плоту. Им помогали Кашуга с Быргачем, которые тоже без одежки, лишь в набедренных повязках — махвах пыхтели рядом с ними, то и дело встряхивали головами, откидывая прилипающие к лицу мокрые волосы. На берегу под навесом у тлеющего костерка сидели еще два камчадала и из березняка заплетали вицы для сплотки.

Один из них, глядя на работающих под дождем, заговорил:

— Зачем так спешить? Наплачется вдоволь Завина, опять выйдет светить и греть Коач — тогда и делай.

— Любят русские своего доброго духа. Спешат к зиме ему большую юрту поставить, — заметил другой.

— Великий Кутх лучше русского Бога. Кутх никогда ничего не просит.

Второй понимающе кивнул головой и поддакнул:

— Даже наш тоен Кешлея, как стал братом русского Бога, сразу начал больше просить со сродников. — И осуждающе зацокал языком.

Артем Обухов распрямился, вытер лицо рукой и взглянул вверх навстречу секущему дождю.

В досаде он хлопнул себя по прилипшим к телу портам:

— И когда устанет-то? Льет и льет той день!

Кузьма Щербак отозвался:

— А я Бога молю, чтобы тама-ка у нас полил. Вспомню, как Ивашка с Гринькой обсказывали, чего сопка напакостила, — беда. Пусть травку да пашни промывать.

— Там бы и лил.

— Ништо, Артем, осталось лишь греби укрепить, да и сплывать можно, — успокаивал Кузьма.

— Сплывать… Вишь, вода вздулась. Как бы мимо села не проперло нас.

— Да ну, на бату вперед вышлем Быргача упредить-ка, дабы на берегу поджидали да помогли причалиться.

— Пойдем на передых, почаюем. Там видно станет, — кивнул Обухов, и они сошли с плота.

К концу дня тучи растащило, ночь вызвездилась, а утром над помытой Камчаткой прыснуло яркое солнце. Оно отражалось в сочной зелени, подступающей к ближнему вулкану Шивелучу, вершина которого подбелена уже новым снегом.

Кашуга налегке погнал лошадей в село, а плотовщики разделились по гребям и отчалили от берега. Прохладный ветерок на реке остужал, поэтому берег манил к себе зеленью уюта. Казалось, сомкнувшиеся берега все расступались, показывая новую гладь реки. И лишь зеленая полоска берегового леса отделяла эту голубизну от небесной. Плот, выходя на стремнину, набирал ход. Подмытые берега щетинились склоненными к воде деревьями. Из ветвей береговых зарослей сотнями глаз поблескивала спелая черемуха.

Упирались плотовщики, скрипели греби плота, идущего вдоль островка, курчавого от молодняка леса. На ветке, торчащей из воды, раскачивалась чайка. В береговых порослях таились утки, из-за зеленых сопок все выше высовывал голову заснеженный вулкан. Камчатка готовилась к осени.

В один из дней, когда крестьяне лошадьми вытаскивали бревна из воды и волочили их к месту постройки церкви, к берегу ткнулся бат. Из него вышагнул казак и направился к дому Колыгова. Крестьяне растаскивали бревна, сортируя их на тонкие и толстые. Толстые пойдут на нижние венцы церкви: им больше терпеть, а полегче бревешки — на верхние.

Увидев казака, один из крестьян заметил:

— Жди вестей: гонец из Нижнего.

— А, кабы в нашу радость те вести, — вторил ему другой.

Получив послание от приказчика, Колыгов вошел в избу и отдал письмо Ермолаю, жившему пока в его доме. Они уселись у стола, и поп развернул бумагу.

Вгляделся и прочел:

— «Памятуя указу ея величества государыни нашей и по настоянию игумена Феофилакта, указую те, старосте Никишке Колыгову, дабы ты в совете с отцом Ермолаем завел в селении приходскую школу да смотрел, дабы в школе обучали азбуке детей русских, також и камчадальских. В Большерецком остроге да в Нижнем таковы школы заведены. Посему не мешкай, к зиме проведаю. Василий Чередов».

Бросив бумагу на стол, Ермолай встал с лавки, сдвинув стол, и заходил по горенке.

— Стол не свороти чревом-то, — взметнул брови хозяин.

— Неймется Феофилакту! В праведники себя метит! Слыхано ли дело, обучать всех! А где их учить станем? — расходился поп.

Колыгову же весть об обучении детей пришлась по нраву. Он тут же представил, как его юркоглазая дочка бойко читает по слогам, делая то, в чем не разумел отец, и, удовлетворенный, ответил Ермолаю:

— Ты, гляжу я, горазд брюхом да задним умом. Коли церковь начнем рубить, так при ней и горенку для школы спроворим. Об этом токмо скажи, крестьяне не посчитаются ни с чем. Да не худо это. Мы-то лишь рявкаем да нельзякаем, а уму-разуму обучать лишь чрез задние ворота знаем.

— Природою да трудом всякую тварь Бог научает жизни. А грамоте учить — сколь мороки!

— Тебя-то учили, а вот меня тож никто не схотел… Будем школу ставить! Сегоды на сходе объявлю крестьянам, пусть

поспешат. А ты ужо, отче, кумекай сам: тяжко одному, проси кого-нибудь из ссылочных умников, их вон в Большерецке, что собак при острожках.

Смеркалось, когда Ивашка Рыков прибежал к Поповым. Виринея во дворе развешивала вязки грибов на просушку.

— Вирька, слышь чо! Скоро тут грамоте учить станут. Батяня сказал, хотя я и верзилистый уже, а в учение меня отдаст.

— Ой, кто ж и где учить станет, — отмахнулась она.

— Кто — не ведаю, а вот церковь срубят, и при ней школа будет… Ты-то в учение пойдешь?

— Какое учение… На пашне вровень со всеми, да и дома дел сколь. Отец за что тяжкое возьмется, в хворь впадает.

— Дак зимою, — не отступал Ивашка.

— Зимой сама бабья работа почнется. Лен-то сожнем, потом токмо и знай теребить да ткать всю зимушку. Это еще Звездочка утопла, а то не ведаю, чо и делала бы.

Ивашка ушел, а Виринея присела на крыльцо.

«Была бы матушка жива, авось бы и пошла…» — подкатил горький ком к горлу, и, заморгав повлажневшими глазами, стала вспоминать мать. Вот она, добрая, улыбающаяся, протягивает Вирьке подойник с дождевой водой: «А ну, Вирюшка, окатись водицей. В первый дождик завсегда так надо, дабы быть здоровой тебе. С подойничка, это чтоб корова молока полней давала».

Вирька не хочет: совсем не жарко еще, но под уговоры мать окатывает ее водой. Визг, веселый смех.

«Эх… как умилительно с матушкой», — вздохнула Виринея и, вспомнив, что надо еще готовить ужин, поднялась.

Шел август месяц — густырь да хлебосол. Савелий Рыков каждое утро теперь бывал на пашне. Неймется крестьянской душе, мучается, переживает за формирование стебля, за колошение, за налив зерна, старается помочь природе в творении таинства зарождения жизни. Вот и сегодня в розовое росистое утро стоит Савелий посреди полосок матово-зеленых хлебов. В низинке у реки туман залил березовую рощу. Глядя на хлеба — его совместное творение с природой, в душе Савелия поднялось что-то извечно не высказанное к благодатной земле-кормилице, к которой ему хотелось припасть да просить, просить помощи, без коей немыслимо крестьянское счастье.

От сильных дождей, хлеставших в конце июля, пшеница сильно вытянулась, полегла и не наливалась. Рыков подсел на корточки, рассмотрел колосок пшеницы и вздохнул: «Это ужо токмо во власти земли. Сейчас под налив зерна дождичек нужен, а не дуровые ливни». Он перешел на полосу ржи. Кое-где меж колосьев желтела сурепка, но рожь стояла кустистая, добрая, колосья сверкали в росе. Измочив руку о колосья ржи, Савелий огорченно подумал: «Ежедень туманы да роса, а это для хлебов — беда. Чего деять? Как бороться с этим? Вразуми, Господи! Надо просить попа, пусть икону в поле вынесет». Рыков не пошел смотреть овес, а зашагал к селению. На сходе крестьяне решили заказать Ермолаю молебен.

Утром крестьянки в чистых одежках, мужики с расчесанными бородами и смазанными коровьим маслом волосами под звон билы, которую недавно привез из Нижнего острога Ермолай, собрались к часовне. Отсюда и направилась процессия на пашни. Икону Николая-угодника нес за обещание выздороветь Лука Дранка, другие иконы несли крестьянки. За ними шествовал в рясе и с кадилом поп Ермолай, а следом все остальные. По ложбинам и увалам меж пашен двинулась пестрая кучка людей. Обойдя пашни, остановились у околицы села возле приготовленной лохани с водой и веником для окропления. На подстеленный холст встал Ермолай и начал молебен, окропя все четыре стороны. Поп несколько раз припадал к земле с особым благочестивым смирением пред Богом, всем своим видом выпрашивая у Господа желаемого блага для мирян.

Крестьяне только диву давались на усердие своего попа, думая: «Такому и поднести не жалко, что ни попросит».

Прошло несколько дней, а росы и туманы не проходили. Совсем затужили крестьяне.

Вечером за ужином, глядя, как Савелий задумчиво жует хлеб, жена Ульяна молвила:

— Будя удручаться-то. Ишь брови крышей напустил. Бог милостив, все обойдется, поди.

— «Будя…» Хлеба гибнут. Все! Все псу под хвост! Поточит ржа, опять давучим хлебом от голода спасаться! — встал из-за стола Савелий.

Ульяна знала, что рожь, пораженная спорыньей, пригодна лишь на солод. Голова трещит от такого хлеба. Недаром в народе

прозывают таковой — пьяным хлебом, поэтому больше не стала успокаивать мужа.

Ивашка допил молоко и повернулся к отцу:

— Тять, а коли сделать так, как мы с Гринькой на лугах перепелов выпугивали? Веревку натянул, да иди вдоль хлебов.

— Ба-а… воистину, — оживился тот. — Айда, сынок! Живо в амунку за заплетушкой, да счас и пойдем.

Ульяна всплеснула руками:

— Вечер ужо. Вот-вот темень падет.

— Посмотрим, примеримся, — и уже сыну: — Пошли.

Ивашка, выскакивая из избы, больно ударился об ободверину, Савелий улыбнулся:

— Вот русская душа: похвали — из портов выскочит.

Со следующего дня крестьяне стали ежедневно утром и вечером веревками стряхивать росу с хлебов. По случаю удачного решения борьбы с росою на хлебах крестьяне на сходе решили, что следующее воскресенье объявить заказным праздником. Это значит — нигде не работать. Да и шутка ли, с ранней весны ни единого дня отдыха. Выпадали на лето Божьи дни, что работать грех, так шли на помочь. Работа в помочи — не для себя, не грешна. Хоть до усмерти работай, все не переделать, а надо бы ягоды, грибов да рыбы напромыслить, не то со дня на день хлеба зреть начнут, и опять труд да забота непросветная.

В день заказного праздника Савелий Рыков с утра выгнал скотину в осек и еле удержал себя, чтобы не пойти на пашню.

«Нельзя! Решено миром — закон», — подумал он и вернулся к дому.

Ивашка уже проснулся и собирал котомку. Они с отцом еще с вечера решили: пойдут рыбачить на Ивашкино заветное место. В том улове рыба завсегда отстаивается, прежде чем вновь идти на нерест. Это место, кроме Ивашки, знал лишь Гринька Брагин, но его сейчас в селе нет, и можно не спешить: улово не займут. Гриньку отпустил отец потаежничать. Он преуспел в промыслах дичи. Недавно с гор принес полную котомку баранины, а чуть свет с отцом вновь ушли и к полудню вернулись с остатками рогача. Ивашке же в промысле не везет: в его ловушки и самострелы редко когда зверь наведается.

Ожидая сына, Савелий, чтобы не взяться во дворе за какую-либо работу, для умиления души полил ивовые колья

изгороди. Пускай прорастают милые его сердцу тальники. Захватив сеть и котомки, они направились. На долбленом бату, который Ивашка с Гринькой сделали еще в начале лета, Ивашка, сносно владеющий шестом, повез отца за остров к своему улову. Действительно, поставленная сетка быстро забивалась рыбой, так что перебирать ее приходилось часто.

Нагрузив бат рыбой, Савелий умостился в носу долбленки и, с опаской оглядывая юркий притонувший бат, спросил сына:

— Совладаешь?

Тот в ответ самоуверенно ухмыльнулся и, мотнув рыжей шевелюрой, отчалил долбленку. Чтобы сократить путь, он направил лодчонку по узкой проточке. Бат ходко шел по извилистому руслу. Свернув за поворот, проточка понеслась по шиверам переката. Шаркнув днищем, бат было потерял управление, норовя нырнуть под нависшую с берега лесину. Савелий, не успев перекреститься, бледнея, вцепился в борта. Неимоверным усилием Ивашка выровнял бат, который проскочил рядом со вспенивающими воду ветками лесины. Ничего не сказал Савелий. Когда они причалились, он молча вышел из бата и, срезав гибкую лозину, подошел к Ивашке, выгружающему рыбу в мешки.

Обняв сына, расцеловал его:

— Это, сынок, тебе за умение твое да навык.

И, отступив на шаг, хлестанул Ивашку так, что тот скрутился от боли.

Добавил:

— А это за дурь, что родителя спытанию подверг. — И, отшвырнув лозину, принялся складывать в мешки рыбу.

Обиженный Ивашка, почесывая спину и сопя, помогал ему.

Чтобы снять напряжение, возникшее между ними, Савелий заговорил:

— Будя сопеть-то. Не всяк злодей, кто часом лих. Впредь думай.

* * *

Отбыв месяц у крестьян, Кашуга вернулся в свой острожек и сразу же на летовке начал поправлять свой шалаш и юкольник. Он понимал, что теперь ему надо трудиться день и ночь, чтобы наготовить рыбы себе, собакам и положенную дань

тойону, которой Камак обложил всех родников. Кашуга, как и все рядом живущие на летовках камчадалы, то пластал пойманную рыбу, то развешивал ее… Трижды на день переворачивал пластины юколы, очищая их от личинок мух, прикрывал на ночь на случай дождя. Чтобы юколу не растаскивали чайки, он на шестах подвесил двух убитых птиц, а неподалеку поставил чучело человека.

Как-то, когда Кашуга пластал очередной улов рыбы на юколу, к месту его летовки подъехал Камак.

Он окинул взглядом полупустые вешала и заговорил:

— Завтра Камак повезет откуп тоену русских и их шаману за крещение. Сколько рыбьего жира и юколы наготовил Кашуга?

— Кашуга был у русских, Камак сам посылал туда. У Кашуги еще нет ни юколы, ни жира.

— Что может дать Кашуга взамен? Ведь Кашуга сам напросился на второй срок к русским, — посуровел Камак.

— Ничего нет, — развел руками Кашуга.

— У Кашуги хорошая нартовая упряжка. Камак найдет, кому отдать ее за юколу или меха. У Кашуги нет больше упряжки! — пригвоздил к месту опешившего камчадала тойон и быстро зашагал прочь.

Кашуга опустился на камень и зажал голову руками.

«Без упряжки не будет мехов на ясак, а это вовсе беда: заберут все запасы еды — и голодная смерть», — раздумывал он.

После полудня по реке прошли лодка, в которой ехал священник Феофилакт, и два сопровождающих бата с дьячком, казаком и толмачом. Кашуга проводил их долгим взглядом и, увидев, что они намереваются пристать к Пеучеву острожку, вдруг решился. Он прыгнул в бат и направил его вслед за ними.

Камак встретил Феофилакта на берегу и заговорил первым:

— Камак собрал выкуп за крещение. Завтра срок, и Камак повезет его в Нижний острог.

Феофилакт внимательно посмотрел на гордого тойона, и мягкая улыбка тронула его лицо.

— Неужто твой род так богат, чтобы, кроме ясака два раза в год, давать выкупы за крещение? Может, тойон хорошо подумает да примет крещение и избавит свой род от ясака и выкупов?

— Нет! — резко ответил тот.

Кашуга подошел, когда Феофилакт вновь вкрадчиво заговорил:

— Ведает ли тойон, что в русских острогах открываются школы, где детей будут обучать грамоте? Они смогут на бумагу записывать свои мысли, а також, по бумаге читая, узнавать думы и просьбы сродников.

Выслушав толмача, Камак, задумавшись, ответил:

— Мы всегда жили в дружбе с русскими, но своих детей в школу не дадим. Их научат быть русскими. Их научат кланяться не нашим богам! Мой народ никому не кланялся! Он любит или нет! Мой народ не хочет учиться и креститься!

Тут Кашуга выступил вперед:

— Я хочу креститься!

Камак на миг опешил, а Феофилакт, погладив свою бородку, изрек:

— Отрадно.

Тойон прожег взглядом Кашугу и пренебрежительно заговорил:

— Мне стыдно называть тебя родником. В моем сердце великая скорбь. Уходи из острожка! Тебе нет места среди нас!

Кашуга загорячился:

— Пусть Камак знает правду: родникам стало худо жить с тобой! Ты обещал не чинить зла и обид, жить по обычаям предков. Из-за откупов да ясака мы страдаем от голода и долгов. Ты упрям, Камак, а потому слеп и не видишь, как лучше жить! Кашуга не хочет так! Кашуга сам знает, как лучше! Ни Камак, ни Кутх не помогают Кашуге. Кашуга не верит, что есть Кутх! Русские не боятся Кутха!

— А подземный бог Гаеч, сотрясающий часто землю, есть?! А всегда теплая долина белых дымов с ревом и голосами духов — есть! А Гамулы, всегда топящие горы-юрты, — есть! Разве Кашуга не видит сам этого?! А где русский Бог?!

Кашуга подошел к лодке Феофилакта и, взяв из утвари икону, показал Камаку:

— Вот он, русский Бог. Кашуга его видит! Кашуга хочет креститься, хочет пахать и полоть хлеб, хочет иметь лошедь! Кашуга уходит жить к русским!

С этими словами он прыгнул в свой бат и зачастил шестом.

Играя желваками, Камак злобно смотрел ему вслед.

Феофилакт заговорил:

— Вижу, тойон, говоришь ты от себя, а не от своего народа. Поговори с ними, прежде чем везти откуп за крещение. Ты неволен им указывать, как жить! — И резко повернулся, направляясь к лодке.

Утром Камак повез откуп в Нижнекамчатский острог.

Кашуга застал Колыгова и попа Ермолая за вечерней трапезой.

Выслушав его, захмелевший Ермолай облапил Кашугу и чмокнул в лоб:

— Э, друг сладкий! Да ты мне прямо в подарок. Пусть Феофилакт знает, что и я тут радею. Похрестим тебя, завтра же похрестим. Староста вон и на посад определит. Верно реку, Никифор?

Пребывая в добром расположении духа, Колыгов согласно мотнул головой и заговорил:

— Щербак с Артемом себе славные избы вывели, и те поставим, раз крестьянить захотел. И оженим, коли схошь.

«А чего?!» — вдруг осенила его мысль, и он обратился к попу:

— Давай его на Улите оженим. Чего ей в Нижнем при кабаке обретаться. Малашка моя за ней все убивается, да и ты как-то словом обмолвился. Пусть тут живут, овощи разводят. А?.. — И повернулся к Кашуге: — А ну, черт раскосый, жениться хошь?

— У Кашуги нет мехов взять женку.

— Дурак! По-русски женим, без выкупа. Правда, отче?

Ермолай совсем был не против, чтобы его тайная утеха перебралась поближе, и согласно замотал головой:

— Славно говоришь, Никифор, славно. Будь по-твоему. — И обернулся к Кашуге: — Вот как у нас, когда все по-божески. Иди, в амбаре переспи, завтра все порешим.

* * *

Давно уже прошел Прошкин день в честь Прокопия-жнеца, пора бы и жать, да не вызревает зерно. Частые дожди августа сменялись южным ветром — курилом. Нанесет курил на небо сухой туман-мглу, через который припекает неяркое солнце, тогда желтеют, свариваются листья хлебов, покрываются

ржавыми пятнами, а колосья — клейкими медяными росами, несущими зерну болезни. Засолодеет зерно — быть пьяному, неедовому хлебу. То и дело ходят по пашням крестьяне, веревками сотрясают с хлебов росу, уповая на Божию милость. А тут еще ранние камчатские инеи не дают вызревать да наливаться колосу. Нет-нет да и прижмет утренник, глянешь на хлеба — лишь пересверк инея под негреющим ранним солнцем. Вот беда: по виду добротен хлеб уродился, не уступит ленскому, а поди ж ты, как тяжко зреет. Сокрушаются крестьяне. На их памяти еще не было столь позднего вызревания.

Они не сидели без дела, ожидая жатвы, а взметывали новые земли под черный пар. Жизнь не остановишь. Подходил праздник Оспожин пост. К этому дню обычно крестьяне управлялись с жатвой, а тут лишь наготове стоят еще отбитые литовки, с навешанными на них крючьями для выравнивания скошенной ржи, однокольные повозки с высокими копылками для вывоза снопов хлеба да опробованные остронасеченные серпы. В поле уже скошенный лен вылеживается под дождями и густыми росами, отопревает до срока. Ежедневно крестьяне, определяя время жатвы, растирают колосья на ладонях, пробуют зерно на зуб. Наконец-то затвердела рожь и отяжелели метелки у овса. Пора начинать страду.

Выстраданная крестьянами работа — жатва — тяжела, но вдвойне приятна своим результатом.

Косою не везде можно было валить рожь, и потому почти все крестьяне внагибку склонились над полем, будто поклоняясь земле-кормилице, орудовали серпами. В беспалых перчатках, чтобы не порезаться о стебли, они проворно захватывали горстями рожь, срезали ее, укладывали в ровные стопки, из которых тут же вязали снопы. Снопы составляли в суслоны — кучи для просушки и дозревания зерна. Через несколько дней дозревшую рожь из суслонов перевезут в амбар для обмолота. Утомительная, нескорая работа — жатва. За день лишь опытные жнецы в два десятка серпов могли сжать одну десятину, потому-то и не обходится этот труд без облегчающих тело и душу жнивных песен. Затянет одна жница, и вскоре со всех крестьянских наделов польются голоса, сливаясь в один душевный напев, витающий над полем. За песней и дело спорится; знай поспешай, коль погода стоит, да не забудь:

не успеешь убрать рожь, как овес подоспеет, а там и пшеница. Работали по вытям, как пахали и сеяли.

Жали все. Знатные жнецы, Савелий Рыков и Потап Брагин, первыми сделав зажинки, пошли, увлекая за собой остальных. За ними шли сноровистее других жена Потапа и Ульяна Рыкова, потом Гринька Брагин, Кузьма Щербак, следующие — Ивашка и Виринея. Чуть в сторонке Лука Попов-Дранка обучал Кашугу и жену Щербака Настасью. Кашуга недавно принял крещение и в честь попа, своего крестного отца, получил крещеное имя Ермолай Попов. На мирском сходе его, как способного и трудолюбивого, приняли в общину, зачислили в выть Савелия Рыкова на место выбывшей души Акулины Поповой. Кашуга ходил по селу с важным, гордым видом, со всеми здоровался и называл себя Поповым. Он даже сбегал на речку, где долго всматривался в свое отражение, трогал сам себя и спрашивал: «Неужто я теперь как русский?»

Кузьма Щербак, боясь порезов, осторожничал и поначалу немного отставал от ловкого Гриньки Брагина. Кузьма испытывал неловкость, что идет лишь в третьей ступени от хозяев семейств, и вкладывал в работу все свое старание. Приработавшись, он шел уже вровень с Гринькой и вскоре начал сам задавать темп. Обвязывая очередной сноп, Щербак разогнул уставшую спину и окинул хлебное поле.

Легкий ветерок гнал волны по колосьям.

«Нет, это не то море, известное по походам, это море крестьянского труда, море хлебопашца, — подумалось ему, и, вслушиваясь в слова мелодичной песни, которую выводили крестьянки, он в душе воскликнул: — Господи! Как хорошо жить! Вот он, труд, сердцу в радость и в довольство!»

Щербак оглянулся и увидел Кашугу, усердно срезавшего рожь, камчадал поднял голову и, перехватив взгляд Щербака, довольно разулыбался.

«Не токмо мне в довольство. Кашуга и тот старается. Колыгов в Нижний ему за женкой поехал», — рассудил Щербак.

* * *

В Нижнекамчатский острог Колыгов попал лишь к полудню. Зашел в приказную избу — никого. Направился к кабаку, от которого то и дело доносилось буханье дверей да скрип давно

не мазанных дверных петель. Колыгов вошел в кабачный мрак, к его удивлению, было людно и шумно. Он огляделся. Незнакомые в потертых и рваных кафтанах служилые и матросы шумно бражничали. Из дальнего угла худой матрос с припухшими от цинги деснами, шатаясь, прошел мимо Колыгова к целовальнику. Через плечо у него свисала шкура морского бобра.

— За кота на наш стол раки да заедок погуще.

Зная цену мехам, Никифор удивленно качнул головой.

К матросу подскочил служитель кабака:

— Исполню, для утробы есть все и для похоти. — И он лукаво кивнул в сторону.

Там на лавке сидели, ожидая приглашений, грубо нарумяненные, набеленные, с блестящими глазами непотребные женки. Увидев Улиту, Колыгов позвал ее. Та не спеша подошла и кокетливо поджала губы.

— Будя ошиваться тут. Со мной поедешь. При Меланье да Аглайке почнешь жить, как добры люди. Пошли.

Запуганная с детства Улита, не смея возразить, вышла вслед за ним.

Увидев пятидесятника Степана Чуба, Колыгов остановился:

— Чего за народ тут, кабак битком, да и небедно гулеванит?

Степан Чуб поведал Колыгову, что вернулись служилые командора Беринга. Год назад они потерпели крушение у неизвестных островов, только ныне остаткам команды удалось выбраться к устью реки Камчатки. Отдохнут тут да в гавань Святых апостолов Петра и Павла направятся. Остров, где зимовали, будто бы кишит морским зверем. Поэтому не с пустыми руками, а с добычей немалой вернулись.

Колыгов согласно качнул головой:

— Да видел, как в кабаке мехами трясут. Где ныне Чередов? Хочу на Улиту отписку взять.

— Зараз с начальными людьми той команды к устью укатил. С ними собрался до гавани Святых апостолов. За себя заказчика оставил, с ним и толкуй.

Колыгов с камчадалкой направился опять к приказной избе. Степан Чуб, взглянув ему вслед, подумал: «Стареет Колыгов, уже седого больше, чем черного, — и, пройдя чуть, вновь вернулся мыслями к нему: — Поукатался, дык лютовать меньше будет!» И он припомнил рассказ Канучь о том, как казаки

вымогали ясак и чащину с ее родников. «Вот и Канучь с казачьей руки до сих пор не устроена в жизни. Как камень, сдвинутый с горы, так и катится. Как и моя жизнь також. А ныне вовсе у меня замятье в жизни: большие помыслы сменял на мелочи обычны. Не по нутру бесцельно мне казачить. Подличать перед самим собой зачем? Страх заставляет?.. А перед кем же?! Пошто же весь народ российский гнется перед всяким вылезшим во власть?! Откуда страх сей? Не потому ль, що мало видим воли?.. С детства отцы то порют, то ломают, а дале барин гнет, ввалив кнута, и церковь лишь покорству учит… Неужто сей страх навечно вбит в народ, и мы с младенчества от матери забитой то впитаем?.. Неужто так?! Я сам-то чаще стал глушить задор, когда душа штормится! Зачем?! Потом ведь, совестью терзаясь, сам себя изводишь… И Канучь отвергаю зря, вещает сердце, но страх какой-то принуждает!» Чуб тряхнул головой, выводя себя из глубокомыслия: «Что это сред дня и вздумалось токо?» И зашагал в сторону сторожевой башни.

Вскоре весть о возвращении с островной зимовки команды Беринга, о несметном морском звере на тех островах облетела всю Камчатку.

ГЛАВА 8

В разгар жатвы хлебов к селению причалили плоты с новой партией переселенцев. Мычание голодных коров, понукание на лошадей, громкие возгласы крестьян да плач детворы огласили тихий в такую пору берег Камчатки. Росла куча поклажи на берегу, жались к ней бабы с ребятней. Они таращились на огромную сопку, на тронутый осенью лес, будто замешанный из тонкого листового золота берез да краснолистой осины, на свежие взодранные клочки пашен.

В стороне от крестьян сержант Емельян Басов, который привел этих переселенцев из Охотска, беседовал с Никифором Колыговым. Вечером вернувшие с поля крестьяне узнали новость и заспешили к шалашам переселенцев с угощениями: кто нес кулебяку с рыбой, кто можжевеловый квас, кто хлеб да молоко. Щербак принес к лагерю дымленой медвежатины. Мужики знакомились, беседовали. Щербак разговорился

с низкорослым крестьянином Кречетовым. Неподалеку от них крестьянка совала в рот пупастому ребенку соску, сделанную из коровьего соска и бараньего рога. Малец отталкивал рог с молоком и звонко кричал.

Мать строжилась на крикуна:

— Тишка, паршивец! Орешь без утиху. Забодай тебя бугай! Бери сосу-то!

Тут же рядом излишне худая женщина в длиннополом азяме, подпоясанном лыковой веревкой, журила сопливого мальчугана:

— Стой ты! Верченый как веретено. — И, посмотрев на соседку с кричащим ребенком, посоветовала: — От прозор глаза умой его угольком. Враз стихнет.

Ульяна Рыкова поднесла переселенцам молока и поставила перед костерком:

— Вот, робяткам-то с пути-дороги нелишне будет.

— Нам щас хоть сколь неси — подберем, как в худу кадушку воду лить, — ответила излишне худая крестьянка и, поблагодарив Ульяну, стала скликать ребятню.

До Щербака донеслась речь Савелия Рыкова, он беседовал с крупным, косая сажень в плечах, детиной — Штильниковым:

— Не в долгое время и жилей наставите, коли вместе, миром возьметесь.

Вдруг от коробок и переметных сум, стоящих еще не разобранными, донеслось пение петуха.

Щербак удивился:

— Ишь ты! Шибко… Пеуны тута-ка еще, поди, не орали.

Собеседник ответил:

— Един остался. Две куры были, в пути издохли.

Постепенно все мужики скучковались у костра, Савелий Рыков спросил:

— Мастеровые-то есть средь вас?

— Швец есть, сермяжник, а вот Нестор Кречетов ковать лошадей, телеги обувать мастак, — указал Штильников на соседа Щербака.

— Отрадно, не то коней ковать без сноровки — морока. А какие с вами лошади?

— Гнедые, соловые, караковые, — принялся перечислять один из крестьян.

— Не то. Кровей чьих? — оборвал Рыков.

— А… Смесь забайкальских с томскими, — поправился тот.

До поздней ночи расспрашивали друг друга крестьяне.

На другой день из привезенного с крестьянами казенного скота Кузьма Щербак и Артем Обухов получили по корове и по лошади. Третью лошадь на сходе решили отдать Антипу Тюменцеву, так как его лошадь недавно совсем ослепла от неведомой крестьянам болезни.

Камчатская осень затянулась, будто специально приостановилась, чтобы дать налюбоваться на себя. Но постепенно буйство красок таяло. Доселе ярко-малиновый кипрей уже почернел, надломился, словно и не было в его цвете столько жизненного тепла. Лес раздевался, становился черно-белым. Листья кружились, замирая на лету, устилали траву. От пышных зарослей кустарников уже торчали голые пучки веток. Стога сена запорошились багрянцем да желтизною листьев. В зеленые сгустки кедрачей набилось осеннее разноцветье, украсив их мрачные лапники. В вогнутых лодочками листьях поблескивала вода, не испаряющаяся от скромного солнца.

После жатвы в затяжные дожди крестьяне дергали репу, редьку да свеклу, срезали в кучу листья. В долгую зиму скоту все сгодится. Щедра Камчадалия на корнеплоды. Больших размеров выросли овощи. Диву даются камчадалы: «Не то что луковицы у сараны, да и искать не надо, рви дома у себя на репище». Затяжная осень на руку крестьянам. Спешат, ставят избы новые переселенцы, заготавливают впрок рыбу да ягоду, а селяне основное время проводят в амбарах на обмолоте зерна. Лишь по воскресным дням всем миром, оставив свои заботы, идут достраивать церковь. Сработали уже до куполов, немного осталось. Церковь крестьяне рубили не по чертежам, а по исстари заведенному: на мирской глаз да совет, как Богу нравится, так и вразумит он.

Обычно молотили хлеба не сразу, давая зерну дозреть в снопах, но и затягивать с обмолотом было не резон. Мыши объедали зерно и растаскивали.

В погожие дни от амбара Савелия Рыкова доносился перестук цепов. Ульяна из засек амбара подносила снопы, раскладывала их на разбросанные во дворе холсты, а Савелий с Ивашкой усердно молотили по ним.

Савелий глянул на сына:

— Ивашка, держало не обломи.

Тот ухмыльнулся шутке отца, и ему впрямь показалось, что палка ручки цепа тонковата и неудобно держится в руках… Он остановился, отставил цеп, снял со стены амбара другой, с ручкой потолще. Проверил, крепко ли к держалу цепью приковано короткое било, и с новой силой принялся молотить по снопам. Обмолотив снопы, они сняли с холстины солому, ссыпали зерно в короб, с которым Ивашка полез на крышу амбара. С наветренной стороны он посыпал зерно сверху на холстину, ветерок сносил в сторону шелуху и мусор.

Савелий запустил руку в кучку зерна и, шевеля ею, заметил:

— Нонесь рожь-то наливна удалась и суха: ишь под пальцами как пересыпается. Долго зрела, а знатное жито. Пшеница-то намного хуже, никудышна, можно сказать.

Ульяна, соглашаясь с ним, добавила:

— Урожай, поди, сам к десяти потянет, коли так обмолот пойдет.

— Вот если бы еще без просора зерна да мышеяди обойтись… Не мыслил, что мышей здесь прорва.

— Ты ужо совсем, отец, хошь, чтоб лошадь без спотычки и корова без передоя, — улыбнулась жена и добавила: — Давай передохнем, поясницу так и отнимат.

— Нет, как управимся, так и помолимся. Давай уж из правой засеки добьем рожь, тогда и вздохнем. — И он направился в амбар за снопами.

Во дворе у Луки Дранки тоже шла работа. Виринея, Кашуга с женой Улитой обмолачивали рожь. Лука, удрученный, что рожь у него удалась тощая, частью побита ржавчиной и что жизнь у него исковеркана, совсем запил. С легко солодеющей ржи он то и дело ставил брагу и, не давая ей вызреть, пил. Все заботы по двору и дому навалились на Виринею, и, если бы не определили к ним на постой временный Кашугу с Улитой, Виринея вовсе не ведала бы, как ей справиться с делами.

Кузьма Щербак с женой и подросшим Степашкой тоже молотили рожь. Кузьма размышлял: «Вот и дожили до своего хлебушка да молочка. Научится Настасья тесто творить из ситной муки на простокваше да печь разное, а то и блины по праздникам…»

Его мысли прервал подошедший Колыгов:

— Кузьма, как свечереет — на сход. Книгу, где отмечал работу камчадалов, захвати да подытожь, по скольку дней на семью пришлось.

Когда староста ушел, Кузьма опустил руки:

— Вот скорпий! По подсчету обирать начнет. Увидел урожай-то. Тьфу ты, идол! Ни в казачестве, ни в крестьянстве от него житья нету-ка! Ан не-ет. Чрез мою помощь тому не бывать.

Щербак вошел в избу, из-за иконы вытащил шнурованную тетрадь, изорвав ее, сунул в каменку и высек кресалом огонь.

— Все! Пусть порет! Несправедливость острее жала русскому нутру!

К вечеру от часовенки донесся звон билы, крестьяне потянулись на сход. У часовни стояли в ожидании селян Колыгов, поп Ермолай и прибывший из Нижнекамчатского острога заказчик Осип Расторгуев.

Когда все собрались, заказчик заговорил:

— Хрещеные! Как уговорено, из Охоцка переселенцам прислан семенной хлеб: по пуду на семью. Его и подвез я, на берегу получите. Також имею указ, чтобы те, у кого хлеба излишки, сдали этот хлеб в казну по цене за печатные деньги. По зимней дороге к вам приедет писарь из Нижнего, он и примет зерно.

— Чего же, коль царица наша уговор блюдет, нам сам Бог велел, — за всех ответил Савелий.

Удовлетворенный ответом заказчик отошел к попу, заговорил с ним.

Никифор Колыгов окинул взором крестьян и, нащупав Щербака, кивнул:

— А ну, Щербак, выдь да скажи: по скольку на каждого отработали камчадалы?

Толпа недовольно загудела.

Щербак выступил вперед:

— Не ведаю. Малец мой, паршивец, бумаги те пожег.

От неожиданности все стихли.

Колыгов, выпучив глаза, задохнулся от гнева.

— Да… да… кнута за это мало! — прорвало его. — Ах ты сукин сын! Запорю!

Заказчик и поп, услышав гнев Никифора, приблизились к нему.

Побледневший Кузьма заговорил:

— Не больно ершись, Никифор! Я ить в Охоцк да Иркуцк отпишу. Не инородцы мы, чтоб ясаком облагал. На то указа царицы нет!

От такой дерзости, сжимая кулаки, набычился Колыгов и рявкнул:

— Кнута! Кнута тебе!

Опомнившись, крестьяне загалдели:

— Прав Кузьма!

— Не трожь его, всем миром вступимся!

Савелий подшагнул к Колыгову:

— Чего яришься?! Тебе ни в чем от нас отказу нет! Зачем еще поборы с нас? Не много ль?!

Расторгуев тронул Колыгова за рукав:

— Они правы. Остынь.

Тот засопел и, махнув рукой, зло пробурчал:

— Расходитесь, черти!

Шумно и возбужденно крестьяне потянулись по домам, с уважением поглядывая на Щербака.

Успокаивая Колыгова, заказчик говорил:

— Не то время, Никишка. Указы разные да умники — будь они неладны. Конечно, не мешало бы хлебушка себе урвать, да этот грамотей средь них.

— Ништо, посмотрим, — выдохнул Колыгов.

На следующий день, когда Колыгов, провожая заказчика, вышел к реке, увидел идущий сверху плот. На плоту, кроме людей с пожитками, были лошадь и корова.

— Кого еще несет в зиму-то? — удивился Никифор, и они с Расторгуевым стали поджидать, когда плот причалится.

Вскоре с плота светлоусый молодец в казачьем кафтане подошел к ним.

— Куды навострился? — спросил Никифор.

— Сюды, однако. Тут Ключевское село?

— Чьих сам-то будешь и пошто сюды?

— Казачий десятник Тимошка Поротов. По указу Василия Чередова веду на подселение разоренных хлебных людей из Запороцковой заимки. Две семьи, как есть в отписке, к тутошнему старосте, — лихо отчеканил Тимошка.

— Я староста, давай письменну мочь.

Тимошка отдал сложенный вчетверо листок.

Колыгов принял письмо от Чередова и, зыркнув еще раз на паренька, заметил:

— Уж больно молод для десятника-то.

— За кровь и раны отца, по решению подполковника Василия Мерлина, приверстан был, — выпалил Поротов.

Упоминание о Мерлине враз испортило настроение у Колыгова, и он недовольно пробурчал:

— Знавал я твово родителя Михаила, и Мерлина знавал. — Чуть помолчав, добавил: — Вели выгружаться.

Расторгуев ухмыльнулся:

— Ну, Никишка, скоро у тя тут целый град землепашцев станет.

— А-а, — отмахнулся тот и заговорил: — Дык ты уж казачков у меня до морозов не забирай. Зверей попугать в округе, да так дела найдутся.

Распрощавшись, Расторгуев прыгнул в бат, и два камчадала отчалили его.

Колыгов дождался, пока крестьяне снесли пожитки на берег, свели лошадь и тощую корову, подозвал одного из крестьян:

— Сказывай, как жили, пошто в раззоре?

— А, чо-почо, паря, какова жизнь. Токмо нужду и пасем. Доброго лесу в тех местах мало. К зиме землянки да ямы для скота лишь успели устроить, травы хоть и перестоя, но набрали, а от лютых морозов в таких жилях скот не уберегли. Корова подохла в зиму, а лошадь по весне ослепла напрочь. Кое-как пашню подняли, но с июня там стали немалые инеи — и ничего из хлеба в семени так и не было. Еще в цвету все позябло. Вот недавно скосили одну солому, и та жестка на корм. А тут приказчик мимоходом заглянул, посмотрел на наше житье и велел сюда ехать, дабы скот и себя не поуморили.

— Невесело, — буркнул Колыгов. — В позднее время приехали, ройте себе землянки, а в зиму избы рубить станете. Скот поставим, есть тут у кого сарай поболе, — распорядился он и повернулся к Тимошке: — Пошли со мной, подводу за скарбом пригонишь.

Во дворе Рыковых Никифор увидел Савелия и, поговорив с ним, зашагал далее.

Савелий крикнул сыну:

— Ивашка, отлови коня да вывези поклажу с берега к амбару Колыгова.

Ивашка выскочил из амбара и, проходя мимо молодого усача, вгляделся в него.

— Не узнал, — молвил тот и добавил: — Помнишь, рыбу крючить обучал?

— Никак Тимошка?

— Я, — заулыбался тот.

— Гля, какой казачина стал.

— Казачий десятник, — поправил Тимошка.

— Да ну… уже… Батяня, глянь, это Тимошка! Помнишь, как сюды шли да привал у них делали? Во каков, уже казачий командир.

Савелий окинул взглядом казачка:

— Бравый паря, нехудо, коль так. — И уже Ивашке: — А ты до сих пор все малишься?

— Не скажи, — протянул тот и увлек гостя за собой отлавливать лошадь в осеке.

Утром другого дня Ивашка с Гринькой провожали дружка. Тимошка отвязал от плота свой бат и ловко впрыгнул в него.

— Остался бы еще, — сказал Ивашка.

— Ни, служба, — гордо ответил тот.

Гринька с завистью смотрел на казачью справу на Тимошке и его, как казалось Гриньке, вольность.

Истекал срок осени. Как пегая кляча, она добредала свои дни и дышала уже зимою. Густела на дороге грязь, холодный ветер обрывал последние листочки и рябил лужи. Земля зябла от первых морозов. Подошел день Кузьмы-Демьяна — охоты на зайцев. По реке шла шута — крошево молодого льда. На небольшой льдинке несло орлана-белохвоста, который с остервенением рвал чайку. Первый снег забелил кустарники и деревья, облепил пожухлую траву, открывая санный путь.

Наученные прошлой глубокоснежной зимой, крестьяне не мешкая проложили дорогу к месту заготовки дров. У стогов сена да за амбарами замелькали огнистые лисы, мышкуя по первопутку. Гринька потерял покой. В свободное от заготовки дров время он подготавливался к охоте. Артем Обухов и Кашуга согласились его взять с собой соболевать. Шутка ли, не каждого возьмут в тайгу надолго. Вечерами он зачастил то к Артему, то

к Поповым, где жил Кашуга. Вот и опять вечером он побежал к Артему Обухову: отец сказал, что тот уже приволок две лиски-сиводушки. Гринька вошел в избу, поздоровался, перекрестившись на темный угол, шагнул на свет от жировика и огляделся.

Над здоровенной печью во весь потолок были устроены полати, на которых возились и барахтались ребятишки. За печью — ткацкий станок, сбоку у оконца — стол, за которым сидел Артем и ел строганину из хариуса.

— Садись — угощу, — прожевывая, сказал тот.

— Ни, я сыт. Верно ли, что лис уже изловил?

Тот помотал головой:

— Уже и ободрал, шкурки там, в амбаре. Поехал упряжку нартовую обкатать, а их у зародов увидел. Нагнал да еле у псов отнял. Проскочил к лесу, глянул: ныне белка-то гужом валит, — закончил он и, состругнув мороженый пласт рыбы, положил в рот.

— Я вот еще: кукуль с собою брать? Там-то зимовье, как сказывали.

— Бери. Идем на угодья Кашуги, а у камчадалов какие там избушки, известно дело.

Гринька, удовлетворенный, шел домой, раздумывая: «Лис много, белки тьма, авось и соболя будет немало. Напромыслю мехов, поди, так и забогатеть можно». В эту ночь снилось Гриньке, как они с Обуховым да Кашугой обметом брали соболя, потом, будто пастух, гнал он черно-бурых, красных и сиводушчатых лис, потом на нарте разъезжал между полыньями и отдушинами на речках да выхватывал из них выдр. Много, много мехов надо Гриньке, чтобы стать вольным человеком и ходить, даже не как Тимошка Поротов в казачьей справе, а в купецком кафтане.

На другой вечер Гринька заспешил к избе Поповых. Вовсе не Кашуга был ему нужен, как он сказал дома, а лишний раз поглядеть на Виринею да поговорить бы с ней, коль получится. В избе Гринька застал за столом Кашугу, Луку Дранку и незнакомого ему камчадала. Лука показался Гриньке совсем худым, на его сморщившемся лице жалко поблескивал глаз.

Пьяным голосом Дранка заговорил:

— Гришутка, отведай камчадальской еды. — И двинул по столу миску пареной сараны с ягодой.

— Ни… А где Вирька? — выдал себя Гринька.

Дранка махнул рукой:

— Во двор ее спровадил, пока гостя приму.

Услышав имя Виринеи, Камак оценивающе зыркнул на Гриньку и что-то заговорил Кашуге. Гринька вышел, заглянул за избу и увидел ее. В наброшенном полушубке, Виринея сидела на перевернутых санях. Она глубоко задумалась. Виринея стала замечать, что многое в ней изменилось с тех пор, как умерла мать. Оставшись без внимания, ей было совсем одиноко с пьющим болезненным отцом.

Беспощадное время, будто ветром, сдуло первоцвет — первое безответное ее влечение к Михаилу Гвоздеву. Она уже перестала восторгаться утренними зорями, запахами трав и всем, чем удивляла чуткого человека природа. Как ни представляла она будущую свою жизнь, лишь беспросветные заботы да труд, которые уже полностью поглотили ее, только и виделись ей впереди.

«Неужто токмо это?» — горько отметила она и испугалась своей мысли.

Гринька кашлянул, чтобы обозначиться, и подошел:

— Чего нос повесила?

— Мятет меня с таким-то тятенькой жить. С чего веселиться, — попыталась улыбнуться она и посмотрела на него.

Гриньке показалось, что как-то долго смотрела на него Вирька, и совсем не так, как ранее.

Он заговорил:

— Вирьк, завтра на охоту мы уходим.

— Об этом все село знает, — вздохнула она.

— Вирьк, давай нательными крестиками обменяемся.

Она удивленно взглянула на него:

— Зачем с тобою-то?

— Крестовая подружка моя станешь. Чтоб знала, что друг я твой навсегда.

Виринея заулыбалась. Ее смеющиеся глаза засияли радостным светом. «Какой бравый стал Гринька…»

— Давай, коль так мудришь. — И она сняла свой крестик.

Гринька подал свой:

— Вот, глянется?

— Угу… Расскучал ты меня, Гринька, — сказала и насмешливо улыбнулась: — Напромыслишь мехов да забогатеешь — и про крестовую подружку свою не вспомнишь.

— Нет, Вирька, для того и менялся, чтоб знала ты — не забуду. Вот те крест!

— Поглядим, — заулыбалась она и, согнав улыбку, тяжко вздохнула: — Мне еще столько доспеть по дому надо, а они там расселись. Пойду гнать.

Виринея вошла в избу, когда Дранка уже прощался с гостем.

— Все будет как уговорено. Я хозяин в доме… понял?!

Лука еле стоял на ногах.

Камак вышел, Кашуга направился его провожать.

Тот обернулся:

— Камак не хочет, чтобы родники на берегу увидели Камака с Кашугой-Поповым.

Кашуга остался, помог Дранке добраться до топчана, уложил его со словами:

— Однако, спи, Лукашка. Плохо, когда всегда шатай-шатай. — И пошел в свою горенку к Улите.

Виринея занесла охапку льна и принялась его теребить.

* * *

Осенью поодиночке бригантины «Архангел Михаил» и «Михаил», потом дубель-шлюпы «Святой Иоанн» и, позже всех, «Надежда» вернулись в Охотск из плавания под командованием Мартына Шпанберга. Японии они на сей раз не достигли. Жестокий шторм разметал суда, которые, поблуждав по морям, вернулись в свой порт. В порту уже стоял бот «Святой Павел» команды Чирикова, а вскоре на боте «Святой Гавриил» сюда же, в Охотск, перебрались оставшиеся в живых после зимовки на острове матросы и офицеры погибшего Беринга.

Они и поведали сотоварищам о кончине на необитаемом острове свого командора. Чириков после своего прибытия в Охотск вскоре с немногими из команды отбыл в Якутск, дабы оперативнее решать вопросы снабжения экспедиции и дальнейшую ее судьбу. Мартын Шпанберг понимал нетерпение Чирикова: поскорее вырваться из этой дикости к Петербургу на отчет в Адмиралтейство, а также и то, что любой из них все едино нашел бы предлог, чтобы не оставаться вместе, как два неуживчивых медведя в единой берлоге. Посему этой новости Мартын не удивился, лишь кольнула сердце ревность на то, что Чириков если вырвется

один до столицы, то пожнет все лавры успехов, в коих и его, Шпанберга, трудов немалая толика.

Еще матросы не успели привыкнуть к земле после долгих морских скитаний, как в Охотск прибыл из Якутска караван вьючных лошадей и оленей. Подошла провизия на жалованье служилым, новые ссыльные да купцы с кладями. Когда Шпанбергу представили ссыльных, он долго беседовал с одним из них, бывшим подполковником Лопухиным, который за попытку дворцового переворота в пользу Иоанна IV разжалован в матросы и сослан навечно в Охотск. От него Шпанберг осведомился о делах при дворе и, к своему огорчению, узнал, что заклятый его враг Григорий Скорняков-Писарев ныне тайный советник императрицы по делам Сибири и Востока.

«Опять взлетел!.. Худо… Имеет он на нас неприятельскую руку: новые вранья деять станет», — подумал Шпанберг.

Оживился Охотск. Долго за полночь стали светиться окна кабака. Открылась отдушина нутра служилого люда, который роился у бражного места.

Несколько флотских офицеров сидели в душном приземистом кабаке и, заедая крепкое двойное вино жарехой, переговаривались, надеясь на скорое освобождение от долговременных трудов экспедиции:

— Эх, быстрей возвратиться бы… Враз женюсь!

Дружный смех сотоварищей заглушил брань за соседним столом, где спорили меж собою матросы:

— А, шхипер твой — дубье! Олух!

— Не дури! Не то на сивые патлы твои не позрю, так и хрясну!

Целовальник окликнул служку кабака, который беззлобно, для порядка, журил подвыпившего посадского. Лихо развернувшись на пятках, служитель кабака застучал бахилами о жердевой пол и подскочил к целовальнику, весь во внимании.

— Вон на стол тот отнеси-ка бражки, — подал жбан целовальник.

Один из офицеров, взгромоздясь на лавку, начал декламировать стихи:

— Весельство то лишь не порочно,
Раскаянья за коим нет…

Кабацкий угар набирал силу.

Мартын Шпанберг получил от Чирикова из Якутска послание, в котором тот сообщал, что в Якутске пробудет до вызова его в Адмиралтейство, а Шпанбергу предстоит не прекращать работу экспедиции по принятым ранее инструкциям.

«Хм, потеха! Я тут продолжай дело, а ты там — ордена и почести!» — саркастически ухмыльнулся Шпанберг, до коликов в сердце разжигая в себе зависть и обиду.

— Не-ет, я сам с усам! — вымолвил он и заходил, обдумывая, как быть далее.

На следующий день в канцелярии Охотского порта состоялся аукцион — распродажа пожитков Витуса Беринга. На аукционе присутствовали купцы и все, кто хотел у себя оставить память о командоре.

Перед собравшимися выступил Шпанберг:

— Благородные господа! Всепокорнейше прошу не скупиться, так как деньги эти ради памяти командора Витуса Беринга.

И пошел шумный, с азартом аукцион. Каждый пытался приобрести память о своем командоре. Мартын Шпанберг купил пожитков на сто шестьдесят рублей, Шхельтинг — на восемьдесят четыре рубля, прочие чины и матросы — на суммы меньшие. Михайлу Гвоздеву удалось приобрести лишь ветхий, красного цвета камлотовый подбой под кафтан. После аукциона Мартын Шпанберг вызвал к себе лейтенанта Вальтона, мичмана Хметьевского и геодезиста Гвоздева.

— Поскольку ни мне, ни Чирикову не ведано, когда нас отзовут, надобно продолжить описание северных берегов сего Охоцкого моря. На дубель-шлюпе «Надежда» вам и выходить до времени, пока льды возможности дадут.

— Когда ожидать конца деяниям нашим? — спросил Гвоздев.

— Уповаю, что разрешение сего вопроса продлится не далее чем наступит новый год. При государыне в советниках ныне Скорняков-Писарев, а он-то нас к царице выставит противными, уверен я.

Когда офицеры вышли, Шпанберг задумался: «Сидеть медведем тут не стану. Пойду к Якуцку, проведаю все да на перевале в зимовье останусь. Все вести там меня не минут, и коль чего, то с божьей помощью оттуда я быстрей, чем из Охоцка,

смогу нагнать тебя, Чириков. В Адмиралтействе вместе отчет держать будем!»

Вскоре дубель-шлюп «Надежда» снова бороздил бухты и заливчики Охотского моря. Выезжал на берег Михайло Гвоздев, исчислял, делал пометки в журнале, а вечером у свечи перебелял свои наблюдения. Вот и сейчас, сидя в каюте под покачивание на волне, он писал: «…Река выпадает из широкой пади. По одному боку сей реки имеется песчаная кошка без лесу». Он представил на миг, как на плесе у берега тонко свищут кулики, а за косою в ивняке отрывисто и осторожно кряхтит утка, и продолжил писать: «Из одного русла несен был густой лед, меж коего видел немалую с сучьями еловую лесину…»

* * *

На Камчатке зима вновь как бы испытывала терпение переселенцев. Она замела снегами пашни и теперь пургою штурмовала постройки селения.

В натопленной избе Виринея пекла ржаные лепешки всухую, без масла. Из побитого спорыньей зерна лепешки горчили.

«Не беда, что не в сладость хлеб, лишь бы в сытость был», — рассуждала она так же, как и крестьяне.

За окном бушевала пурга, наметая сугробы, нет-нет да и врывалась в избу через волоковое оконце, закручивала в горенке дым от каменки, показывая свою силу, и вновь отступала. Виринея подошла и задвижной доской чуть прикрыла волок. Лука Дранка сидел на полу и на малых жерновах, установленных на холстине, перемалывал подсушенную засолодевшую для браги рожь. Его лагун оказался пуст, так как вчера опять был у него не простой гость, а камчадальский тойон Камак, который за дочь обещает Луке дать богатый выкуп.

«Хоть и не по-христиански это, да чего подеешь, когда разломило всего, расхрястало. Сил нет вести хозяйство. Этот хлеб доедим, а там и на зуб положить нечего станет», — размышлял так Дранка.

Сбоку от него под лавкой — накрытое мокрой тряпкой проросшее зерно, от которого наносило запахом солода.

«Пора бы в сушку его», — подумал он и окликнул Виринею:

— Ты бы растеребила зерно да на просушку поставила.

— В этом я тебе не помощница. Не могу смотреть, как ты кажинное утро с браги начинаешь. Так жить сил моих нет, — раздраженно вскрикнула она.

Дранка вначале вспыхнул на ретивость дочери, но, призадумавшись, заговорил спокойно.

— Мне не легше твово, дочка. Вижу, как ты с темна до темна тянешься, не ведая еще, что твоих сил на прожизнь нам не хватит… — Он глубоко вздохнул и вновь заговорил: — Ништо, потерпи малость. Скоро заживем без забот и нужды. — Он многозначительно ухмыльнулся.

— С чего бы это, — зыркнула на него Виринея.

Лука, крякнув, сделал серьезное лицо, повернулся к ней:

— Слухай, дочь, таиться больше не стану. Приспело время тебе исполнить долг пред родителем. Решил я отдать тебя в жены тоену Камаку. Ништо, что нерусь, — богат зато. Чего тебе всю жизнь ворочать на полях, лиха да заботы терпеть.

Вирька, округлив глаза, смотрела на отца, не слыша его, а он все говорил.

— Видела, каковы обутки да одежку нам преподнес? — Он встал, поднял с сундука камчадальскую парку, прикинув на себя, отложил ее и, взяв расшитые торбаса, показал ей: — Тебе поднес. Легки да удобны. А эти вот мне… а ну, одену.

Обув торбаса, потопал ногами.

— Нет! Не-ет! — бросилась в свою горенку Виринея.

Дранка вздрогнул и, недовольный ее капризом, постоял, потоптался на месте, подошел к рыдающей дочери:

— Чего ревом реветь-то? Эх, балда осиновая. Как жить-то станем? Одна рубашка-перемывашка и та чуть жива. Сползет, и совсем голыми станем.

Виринея сотрясалась, уткнувшись в подушку.

Дранка вспылил:

— Замолчь! Кому говорено?! — И, тряся за плечи, поднял ее, посадил перед собой.

Она, всхлипывая, вытерла слезы.

— Ну чего губы собрала в курину гузку? На колени пред тобой, как пред иконой не паду! Я родитель те, смекай, девка! — Поиграв желваками, спросил: — Чего молчишь? Язык за щеку завалился?

— Моего согласья нет! Не-ет! — выкрикнула она.

Лука взъярился.

— Согласья твово мне не надо, а за упрямство — вот! — И он звонко влепил ей пощечину, приговаривая: — Чти отца своего кровного!

Чуть не сбив Луку, она выбежала из избы. В открытую дверь завихрила снегом пурга. Дранка высунулся из дверей, но в снежной кутерьме и в двух шагах ничего не было видно.

«Ништо, остынет, одумается», — прикрывая двери, подумал он.

Походил в избе взад-вперед, и нартовым псом заскулила по браге душа. Лука вылил из лагуна гущу и принялся хлебать ложкой. Давившая его сердце тяжесть отошла, и он замурлыкал себе под нос.

— Ни сохи, ни бороны, ни кобылы вороны… — В голове приятно закружилось. Он завалился на топчан, бурча: — Нет, я еще заживу могутно! Без заботушек, — вспомнил он Камака и вновь промурлыкал: — Лисья шапка малахай, куды хочешь помахай.

Заснеженная, не чувствуя холода, Виринея вошла в дом к Рыковым. Блеснув заплаканными глазами в угол, где меж занавесок виднелись икона да пучки сушеных трав от нечистого, она молча присела на лавку.

Ульяна так и ахнула.

— Чо с тобой, Вирька! — заспешила к ней она.

Вирька, зарыдав, уткнулась ей в живот. Поглаживая по мокрой от снега голове, Ульяна успокаивала ее. Высунувшимся из горницы Савелию и Ивашке Ульяна махнула рукой:

— Сами тут.

Виринея, успокоившись, заговорила:

— Мало того что пьяный понужает из матушки в мать, вымещая на мне обиды сердца, так удумал отдать меня камчадальскому тоену.

— Матушки! Совсем спьяну-то сдурел! — всплеснула руками хозяйка, продолжая выслушивать излияния души Вирьки.

Вскоре они уже чаевали с ней, Ульяна заверяла ее, что Савелий, который пошел поговорить с Дранкой, убедит его отступиться от своего замысла.

Савелий Рыков зашел к Дранке. В полумраке избы Лука стоял на четвереньках и дул в каменку, раздувая затухшие

угли. Отвыкшему от печного дыма в черных избах Савелию защипало глаза, он сразу чуть пригнулся. Язычок огня в печи вспыхнул, взвился и вновь задохся. Ворвавшийся через волоковое оконце ветер колыхнул сажу на паутине за печью, пахнул дымом из печи. Дранка закашлялся. Савелий поздоровался, тот обернулся и сел на пол.

— Садись, Савелий, чего зашел?

— Так, искоротать время. Гляжу, совсем ты, паря, в тоску впал.

— Насела хворобь да беда, поневоле лик от жизни повернешь, ешьте-корень! Одинок, что кочка в поле.

Савелий присел на лавку и, взглянув на торбаса на ногах Луки, спросил:

— Камчадальская обувка?

— Камак одарил. Скоро я трясти-то рямками не буду, заживу вольготно. Камчадал родней станет, мехами завалит за Вирьку-то.

— Чирей те на язык за то. По-божески ли это? Хм, родня… от седьмой курицы десятый цыпленок. Запомни: наживешь махом — уйдет прахом.

Дранка отмахнулся.

— А… свой ум в голове. Жизнь моя — разбитое корыто. Кто ныне я в общине? Не пристебай рукав, в тягость! Жить на милостыне? Нет, уж коли жизнь наперехрест пошла, камчадалить буду! Поживу, не горбатясь, на земле. — Подозрительно зыркнув на Савелия, добавил: — Чего, зари берут?

— Нет, не завидую я тебе. Не смогу я сидеть сложа руки да ждать удачи либо голода. Разве сердце вынесет так прозябать без труда? Мне труд в милость, его я люблю, особо когда вижу, что помог землице дать семя… Труд вечный, а не горбатясь, не проживешь! Да и не всем от земли брать, кто-то должен и ей свое тепло-заботу дать… — Помолчав, заговорил вновь: — Но не об этом речь, Лука. Не по-христиански ты мыслишь о дочери своей.

— Как родители жили, так и нас благословили. Хозяин — голова!

— Вот коли на мыслях поразмыслить-то: за камчадалом девке-то в стыд будет.

— Стыд не дым, глазами хлопать можно. Вон сколь казаков с камчадалками живут.

— То другое дело, — не сдавался Рыков.

— Я родитель! Будет так! Неча язык бить попусту, — начал заводиться Дранка и, чтобы увести разговор, посетовал: — Была бы брага, угостил тя. — Почесав под рубахой, добавил: — Вша заела.

Савелий поднялся и осуждающим взглядом пронзил его.

— Эх… анчихрист! Ничего не внял! Ведь под богом ходишь! Угостил бы я тебя березовой брагой, тьфу! — сплюнул Савелий и вышел.

— Иди-иди! Учить мя взялся! — крикнул вслед Дранка.

Расстроенный окончательно, он подошел к лагуну, принялся тщательно вытрясать из него остатки гущи.

Савелий Рыков пробрался к церкви, прошел в прирубленную к ней горницу. Еще в сенях услышал громкие голоса Ермолая и Колыгова. Стукнув для приличия в дверь, Савелий обмахнул с себя снег, вошел в горницу. За столом, кроме попа и старосты, сидел казак, оставленный в селении по просьбе Колыгова. Сдернув шапку, Савелий крестообразно мотнул рукой, они повернулись к нежданному гостю.

— В таку погоду-то? — протрубил Ермолай и через плечо проговорил: — Улита, поднеси-ка еще один ковш.

Улита, которую после ухода Кашуги на охоту Ермолай взял к себе экономкой, оставив черепки, с коими что-то колдовала, подала еще один ковш.

Савелий замотал головой:

— Ни-ни, спаси бог! Отец Ермолай, выдь в сени: слово к тебе есть.

Колыгов захмурился, отвернул от гостя голову. Ермолай встал из-за стола и вышел с Рыковым в сени.

Обдавая его перегаром, буркнул:

— Стряслось чего?

— Токмо тебе, отче. Вразуми Лукашку. Не богоугодное дело задумал: Вирьку-то, дочь свою, Камаку за меха норовит отдать. Кабы она с тоски-то живота не лишилась. Авось тебя послушает упрямец.

Поп заворочал глазами, соображая, мотнул головой:

— Схожу, поди, вразумлю его. — И они разошлись.

Ермолай сел за стол, Колыгов просверлил его взглядом:

— Чего он потайно от меня?

— Какая тайна. Дранка затеял девку свою Камаку за меха отдать, вот Савелька и просил, чтоб вразумил я его.

От новости Колыгов поперхнулся. Обида и зло на Савелия и на Дранку за то, что Никифора, как власть, пытаются уже обходить. Ревность к Ермолаю да за свою власть, которую он успел почувствовать, и даже иногда наслаждался этим, теша свое самолюбие, шевельнулась, все больше распаляя его душу. Угрюмо взглянув на казака, он кивнул ему, встал из-за стола.

Ермолай лукаво ухмыльнулся старосте:

— Вижу, к нему собрался… С тобою лбом сталкиваться не стану. Твое — усмирять плоть, мое — душу.

«Догадлив», — подумал Никифор, чуть притушил ревность к попу.

Когда они с казаком вышли в круговерть пурги, Колыгов распорядился:

— В моем амбарушке кнуты, дак захвати витень покороче, подходи к Дранке. Я там. — И, сопя, побрел по наметенным сугробам к дому Луки.

Дранка, нервничая, ходил по дымной избе. Его взвинчивали мысли: «Един раз фарт-удача забогатеть, и то все противятся, неужто русскому человеку в нищете, в грязи да труде непросветном прозябать суждено?! Нет уж, ешьте-корень! Не отступлюсь!»

За этими мыслями застал его ввалившийся Колыгов. Стряхнув шубу прямо в избе, он сразу напер на Луку.

— Чего, криворожий, удумал?! Кабы ты знал, дура, на сколь верст отсюда русских баб и для казаков не сыскать, а ты нехристю таку кралю? Да если тако, на казачий круг тебя за это, — заскрипел зубами Никифор.

У Дранки забагровела даже сизая лысина. Он впился глазом в ненавистного Никифора и, заглушая в себе покорность и страх перед вероломным старостой, закричал на него.

— Ты на меня зубы-то не щерь! Да, рожа крива, да душа прямa, не как у тебя, подлого. Знаю, давно ты в меня камнем метил! Из-за Акулины! Змеиный выползок! Блудным грехом жену мою венчальную! Семью раззорил! В доме нужда убожеска! Думаешь, на тебя удавки не найдется, аспид! — наступал на Колыгова Лука.

Люто ненавидя друг друга, они сближались. С выкриком: «Погубитель! Убью заживо!» — Лука, схватив со стола деревянный ковш, в щепы разбил его на лбу у Никифора.

— Ах ты! — прервал секундное замешательство Колыгов и ударом сбил его с ног.

Вошел казак.

— Крути его, — рявкнул Колыгов, скидывая с себя лисью шубу.

Казак навалился на Луку — его привязали на подставленные лавки.

Колыгов помял кнут, приговаривая:

— Ну, леший-красноплеший, я те покажу Акулину, все познаешь: и нерадение, и как с нехристями якшаться.

Вкладывая ярь и силу, Колыгов приступил полосовать спину Луки. Завывания пурги заглушали вопли, вырывавшиеся из избы Поповых. Когда устало плечо, Колыгов остановился.

Казак подошел к безмолвному Луке, поднял его голову, покосился на Никифора:

— Око под лоб увел. Как бы дух не испустил? Много ль такой худобе надо?

— Живуч, гад. Окати водицей, пока рука отдохнет.

Тот из бадейки окатил окровавленное тело, вновь приподнял голову Луки, послушал дыхание и заключил:

— Все. Однако, камусы протянул. Умолотил в гроб.

— Другим в пример будет, — буркнул Никифор, окольцовывая кнут.

Вернулись к Ермолаю.

— Плесни-ка за упокой, — с порога бросил Колыгов.

— Чего он? — поинтересовался поп.

— Упрямое семя. Видно, сердце не стерпело, — сказал Никифор. — Ты, отче, отпиши бумажку от меня приказчику.

Ермолай вскоре прочел отписку для Чередова:

— «…Понеже доношу: нерадивец из сошных людей Лукашка Попов, в миру Дранка, за нерадения и супротивные Богу дела бит кнутом, где и умре, упрямец».

Никифор удовлетворенно качнул головой, взяв бумагу, сказал казаку:

— Наладится погода, свезешь в Нижний.

Через три дня, когда стихла пурга, поп Ермолай, отпевая Луку, нарочито несколько раз повторил:

— …Господи, прости и упокой душу грешного и заблудшего Лукашки, коего постигла кара Божия.

Когда схоронили Луку, Виринея долго рыдала на расчищенной от снега могиле матери. После первых поминок Луки крестьяне на сходе решили Дранкину лошадь передать безлошадному члену общины Кашуге, а сироте Виринее, в случае нужды, помогать хлебом общинным.

От морозов зарозовели концы веток берез. Зима пошла на исход. Хоть и не сидят зимой без дела крестьяне, но забот у них намного меньше. По праздным дням они стали хаживать в гости друг к другу. Вот и сегодня к Савелию Рыкову обещал прийти отгащиваться Потап Брагин. Ульяна с утра напекла пирогов. Савелий надел из нового холста рубаху с расшитым воротом, подпоясался опояском с кистью, а баклагу с брагой поднес ближе к столу.

Время подходило к полудню, гостей все не было. Ульяна, набросив полушубок, вышла в сарай.

«Авось успею подоить корову, дабы потом поболтать с соседкой вволю», — размыслила она.

Корова была стельная, молока давала совсем мало, не сравнить с прошлыми годами. Это беспокоило Ульяну, она время от времени при доении стала повторять заклинания. Вот и сейчас, размяв вымя своей буренке, зашептала:

— Докуд я, раба божья Ульяна, дою тебя, буренка-матушка, ты стой стоючи, дои доючи, стой горою высокой, теки молоко рекою глубокой, стой не шелохнись, хвосточком не махнись.

Бухнув дверью, в сарай вошел Ивашка с охапкой лапника кедрача. Он с утра убегал проверить петли на зайцев, а по пути наломал для подстилки стельной буренке.

— Ма, я двух ушканов принес, — похвалился он.

— Вот и славно, сынок. Лишние не станут, — ответила она, немного досадуя на сына, что тот перебил ей заклинание.

Ивашка вышел, она вновь зашептала. Савелий уже заждался: чего не идут — свят день до обеда. Не успел подумать, как в избу вошел краснощекий крепкий Брагин с женою… Поклонясь, перекрестились, поздоровались с хозяином.

— На помин, как сноп на овин, — встретил их успокоившийся Рыков и обратился к отогревающемуся у печки Ивашке: — Скличь матушку, гости в доме.

Вскоре над застольем хлебный дух пирогов смешался с запахом духмяной каши и рыбы.

Осушив ковш браги, Потап похвалил хозяев:

— Плотная каша, ложку не провернешь.

— Каша — еда первостепенна… — ответил Савелий и, довольный собой, ввернул: — Не замесишь густо, коли в амбаре станет пусто. — Пододвигая малосоленую рыбу гостю, хозяин заметил: — Скорей бы пост кончался, тут, не в пример ленскому житью, мяса-то довольно имеется.

— Это так, — кивал Потап, глядя, как хозяин стал подливать чай его жене, хитро сощурился: — Как ухаживат. Ой, женка, мотри: рыжий да красный человек опасный, — загыгыкал он под лукавые улыбки соседок.

Насидевшись за столом, Ульяна повела гостью к ткацкому станку показать свои холсты, где они и умостились посудачить. Савелий с Потапом, приняв еще браги, откинулись на лавке, повели свои разговоры.

— Солома здешняя-то совсем не годна для корма скоту. Груба, сыреет. У меня так запарилась, местами заплесневела до пыли. Лишь в подстилку и пускаю ее.

— Да, — согласился Потап. — А у меня еще морока: в моем сарае-то на подворье скот переселенцев стоит. Колыгов удружил, леший его задави! Убирать ходим поочередно. Как почнешь навоз скрести, вот и крутишься, что черт на бересте. Тесно, негде корове хвоста откинуть.

— Совсем важен стал Никифор-то. Гусем ходит пред нами, все норку задирает. — Потап от браги расхрабрился. — Нужен он нам староста, как корове хомут! Чтоб ему хрустнуло!

Из горницы доносился голос жены Потапа:

— Она сама больше виновата стала. Ванюшка-то ейный понукает ее… куды тебе. А мне и в голову не пало, что она брюхо опять понесла-то. Ведь какова здоровущая: поперек толще…

Савелий ответил Потапу:

— Своего молодняка-то нет от скотины, вот он к тебе на постой подсунул.

— Эх, кабы не псы, — пожалковал Потап о теленке.

— А ты случаем во время Святок гнутые работы не вел? От этого приплод скота гибнет.

— Ну, тако я ведаю: лапти на Рождество плести нельзя.

— Да, всякому дню подобает забота своя. Скоро март, Благовещенье, а там опять готовка к весне, не зевай, — заключил Савелий.

Разговорчивая жена Потапа все частила:

— Так вот, с тех времен по счасну пору обиду и держит. А сама-то чуть что, набрешет, как на покойного…

Почесав за ухом, Потап вспомнил:

— Слышь, Савелька! Чего со скотом деется? Коняга моя плохо видеть стала да худа чего-то, поди, и борону сволочить не сможет. Надо баб поднадоумить: пусть бы опахали село от скотинной болезни.

— Верно, не хворь ли какая к лошадям тут вяжется? Опахать бы нелишне… Токмо об этом зубами лязгать не след. Дело тихое, не дай бог, поп прознает.

Потап согласно мотнул головой.

Антип Тюменцев весь этот день расчищал двор от снега, так как давно уже готовы все поделки для новой брички, а простора для ее сбора нет. В амбаре темно и тесно, во дворе лишь тропки

В мокрой от пота и снега одежке так заработался, что и не заметил, когда остыл. К вечеру заломила спина, и он, согнувшись, вошел в избу, разминая поясницу.

— Ведь говорила, в праздник не работай, — заворчала жена, выгребая недогоревшие угли из каменки, чтобы закрыть протопившуюся печь.

— Какова то работа: снег бросать, — буркнул Антип, сбросив одежку, полез на лежанку печи.

— Грейся ужо, пред сном редькой разотру, — с укором махнула на него жена.

Она разбросила скатерть на стол, выложила деревянные ложки, миску, из печи выхватила ухватом горшок с овсянкой.

— Ступай ужинать.

Антип, кряхтя, слез, подошел к лохани, над которой на веревочке висел горшок с горлышком — рукомойник. Отпихивая его руками, плескал воду в ладони, умывался. Обтерся рушником и с трудом сел за стол к парящей в миске каше. Жена пододвинула каравай хлеба.

— Велики укруги хлеба-то вышли, — заметил он, отрезая краюху.

— Лишь бы не тестян, а духмянен был, — угодливо ответила жена.

— Чего квасу-то не полон ковш?

— Да кушай ужо, все-то те не так. Знаю, зараз можешь полбадьи выдуть… — укорила она.

Антип строго взглянул на нее.

— И до чего до квасу таков алошный? Подам ишшо!

Антип заработал ложкой. Поужинав, они повернулись к красному углу, помолились и вышли из-за стола. Когда Антип, покряхтывая от растирания редькой, уже лежал в постели, жена развесила сырую одежку, обувь над печью, от которой струился теплый дух. Вытащив из-за печи осиновое полено, ножом-косырем стала щипать длинные лучины. Настрогав, запалила одну, вложила ее в светец и пододвинула под лучину горшок с водой. Поднесла ближе к свету прялку, умостилась перед ней. Лучина то запылает ярко, то вдруг смеркнет и, снова вспыхивая, освещает мрак избы. Жужжит веретенце в руках жены, Антип лежит, загадывает себе работу на следующий день.

Постучав в дверь, в избу зашла соседка. Зябко поежившись с морозца, поздоровалась с поклоном:

— Дай бог хозяевам доброго здоровья.

— А-а, Лукерья, — узнал Антип, — опять лясы точить пришла.

— Чего, милой? — не расслышала та.

— Медведь на ухо наехал?

— А, подь, сотона, — отмахнулась и, подсев к жене Антипа, зашептала на ухо.

Та согласно мотала головой.

В эту ночь, когда крепко уснули селяне, к дому Савелия Рыкова собрались бабы, вооруженные палками, серпами, косами. Из амунишника вытащили легкую соху, вынесли ее на околицу села. Не мешкая, сбросили одежку и, озябая на морозе, впряглись в соху. Нашептывая заклинания, они спешили опахать бороздою село. Часть баб, угрожающе размахивая оружием, шли рядом в дозоре. Они с остервенением набрасывались на всякие препятствия, встречаемые на их пути; то колотили жердь, лежащую поперек их дороги, то долго гнались за выскочившим из селения псом, перепугав его до смерти. Закончив опахивание, перезябшие, они отнесли соху на место

и тихо разбрелись по избам в надежде, что драгоценный для них скот пойдет на поправку.

В один из дней около двух десятков нартовых упряжек вбежало в Ключевское селение, наполнив его тявканьем, рыком, воем собак. Приказчик Камчатки Чередов со свитой из купцов, ссылочных офицеров, камчадальских молодок, толмачом Лазуковым, который вернулся от команды Беринга после зимовки на острове, да служилыми пожаловал в гости. Колыгов со своим казаком сбился с ног, разводя на постой нагрянувший отряд. Купцы, не теряя времени, развернули торг, выложив свой нехитрый, но дорогой товар прямо на снег перед церковью. Крестьяне толпились у товаров, ахали над ценами.

В сторонке Потап Брагин, встретив Щербака, засетовал.

— Купцы-то при приказчике совсем озверели. За погану материю таку цену дерут. Вот край как топор надо: чурку исколоть нечем, а брать у них не стал. Легше по весне сгонять в Нижний острог, там дешевле возьмешь. А порох-то, порох дороже самих денег, — не унимался тот.

— Порох тут завсегда в цене, — прервал его Кузьма, направляясь к товару, распрощался с ним.

Вскоре звякнула несколько раз била, народ потянулся в церковь на молебен в честь прибытия высоких гостей.

Когда после молебна Чередов со своими новоявленными дружками, ссыльными Ивашкиным и Сновидовым, вновь вошли в избу Колыгова, там уже стоял богато накрытый стол — затяжное гульбище началось: песни, пьяные выкрики, смех, повизгивание и плач молодок. Захмелевший приказчик облапил Колыгова.

— Молодец ты, Никишка! Сытно у тебя и весело мне. — Тыча пальцами в ссыльных, приказчик замямлил: — Это вот, сукины дети, при дворе царицы не последними были, а ныне… угодили. Друзья они мне! Я с них оброка собольми да лисами, как со всего ссылочного отребья, брать не стану. Люблю я их! Ивашкина больше уважаю, его тебе в село учителем ставлю. Тут сытней. Сновидова с собой, в Нижний, там устрою… — Чередов вдруг отшатнулся от Никифора, заершился: — А чего ты от меня тогда девку упрятал?

Никифор сделал вид, будто припоминает чего-то, и, осклабившись, молвил:

— Для мил дружка сережка из ушка. Будет те девка, ныне сиротой стала, беззащитна вовсе. — И позвал казака.

Когда в шумную душную горницу казак ввел Виринею с заспанным невинным лицом, все стихли.

— Шубу и платок долой! — уставился на нее Чередов.

Казак снял с нее полушубок, дернул за платок. Русый сноп волос окатил тело.

Гости загудели:

— Ух ты!

— Вот так птаха!

Никифор на ухо Чередову наговаривал:

— Христом Богом молю, Василий, токмо не тут. Сирота она. Хрещеная. Крестьяне так не оставят. К тому ж грамотей средь них имеется.

Чередов презрительно взглянул на него, буркнул:

— Ладно ужо. Заберу с собой.

Через два дня, изрядно подорвав зимние запасы продовольствия крестьян, свита Чередова, прихватив с собой Виринею, выехала в Хапиченский острог к крещеному тойону Кешлее.

Заказчик Нижнего острога Осип Расторгуев в сопровождении пятидесятника Степана Чуба и четырех казаков да толмача собрали ясак по ближним камчадальским острожкам. Объясачив Пеучев острожек, они к вечеру заехали в Хапиченский к Кешлее, расположились у него на ночлег, чтобы с ясаком не ехать в ночь. Смеркалось, когда в острог въехали нарты Чередова. Под команды тойона зашныряли по юртам камчадалы, готовя прием и подарки знатному гостю. Расторгуев и Чуб выкарабкались из юрты, где намеревались ночевать, подошли к Чередову поговорить. Но тот поздоровался и сразу оборвал их:

— О делах там, в Нижнем, потолкуем.

Неподалеку в окружении молодух стояла Канучь, взором черных глаз колола Степана. Он взглянул в ее сторону и медленно пошел к юрте. Давно не видел Канучь, как с осени уехала с Чередовым, так по всей Камчадалии и сопровождает его да хозяйских милашек. Совсем другим, еще более притягательным показался ему печальный, с укором взгляд ее умных глаз.

«Прочь упрямство да обиду обоюдную! Созрело сердце: нужна мне она, нужна!» — подумал Чуб, спиною чувствуя на себе ее взгляд.

В знак особого уважения Кешлея свою рубленую избу отдал Чередову, а гостей потчевал в зимней юрте. Гулянка Чередову сегодня не шла. Все мысли его были только о Виринее. Поэтому, осушив несколько ковшей пьянящей настойки, он вылез из юрты, распорядился, чтобы Канучь привела в избу Виринею. С тяжким сердцем Канучь спустилась в юрту, отведенную для молодух, поманила ее за собой.

«Чего ей сказать? Как уберечь? В глаза-то ей как посмотреть?» — казнила себя Канучь, пока они шли к избе тойона.

Перед входом она решилась: войдя в избу, Канучь подошла к Чередову, зашептала:

— Зачем тебе невинный цвет? Неужто камень вместо сердца? Возьми меня. Ради похоти не губи такую красу!

Василий грубо толкнул ее:

— Не камень — пламень в груди! Оттого нужон цвет, а не ты! Иди вон!

Поняв смысл своего появления тут, Виринея, оторопев на миг, бросилась к двери.

Чередов ловко ухватил ее за волосы.

— Стоп, мышонок! Цветочек ты мой… Пошто орешь-то, — потащил ее он.

Канучь выскочила из избы. Не помня себя она очутилась у юрты, где остановился Чуб.

— Степан! — крикнула она в лаз жилища.

Встревоженный ее голосом Чуб с палашом в руках появился в дымном лазе.

Вслед за ним высунулся Расторгуев:

— Чего? — Но, увидев одну Канучь, понимающе протянул: «А-а…» — и спустился к встревоженным казакам.

Канучь горячо заговорила:

— Не могу больше терпеть насильства! Не могу! Степан, спаси девку! Ведь русская, как и ты! Сирота! Неужто и тут забоишься?!

— Не из пужливых я, где? — возгорелся Чуб.

Они побежали к избе, от которой несся душераздирающий крик Виринеи.

«Авось смириться? — мелькнула у Степана мысль, но душевный взрыв ярости на себя за это придал ему решимости. — Не-ет, столько годов смирялся!»

Степан ворвался, когда Чередов скручивал руки жертве.

Не глядя на вошедшего, Чередов рявкнул:

— Вон! Сам управлюсь!

Чуб ухватил его сзади, отшвырнул от Вирьки.

— Довольно! Извергом над людьми быть!

Вылупив налитые ярью глаза, Чередов со стены сорвал свою саблю, бросился на Чуба.

— Порешу! — со свистом засек воздух перед собою.

— Охлынь, — выхватил свой палаш Чуб и, звякнув несколько раз о его саблю, плоской стороной палаша огрел приказчика по лбу.

— Нищеброд! Сукин сын! — с новой ярью бросился Чередов.

Блеснул палаш — перед приказчиком брякнулась сабля вместе с обрубленной кистью его руки. Брызнула кровь, Чередов упал в глубокий обморок. Чуб замахнулся, но вскрик притихшей было Виринеи остановил смертельный удар палаша.

Вбежавшая Канучь быстро одела Вирьку, вывела, приговаривая:

— Не оставайся тут, уходи! Уходи домой. — Подала ей лыжи Кешлеи которые она еще днем приметила у шалаша, стоящего перед избою.

Чуб постоял, сгоняя ярость, и, чиркнув палашом по ремешку от ножен сабли, перетянул Чередову руку, останавливая кровь. Потом вышел, еще ясно не представляя, что теперь делать, и наткнулся на Канучь.

Она умоляюще посмотрела на него:

— Степан, бежим! Я с тобою хоть куда!

Из-за избы к ним вывернул толмач Лазуков. Чуб ухватился за рукоять палаша.

Тот заговорил:

— Не надо. Знай, Тавач на твоей стороне. Я все вижу и слышу. Бегите в верховья реки Еловки к тоену оленных людей Уммеве. Скажи, что я жив и ты от меня. Только там вам спасение. Не теряйте время: берите лучшую нарту, а я у других подрежу потяги, чтобы не было погони.

С этими словами он взял кол, подпер дверь у избы.

Чуб и Канучь заспешили со сборами. Тавач-Лазуков помог им собрать нартовую упряжку, из других нарт принес юколы на дорогу им и собакам и напутствовал их:

— Езжай по нартовым следам вдоль Еловки. За перевалом в тундре найдешь стойбище Уммевы.

Упряжка рванула вперед, у Канучь беспокойство за Степана стало отступать вместе с удаляющимся острожком. Скрип тугого снега, трепетание сердца от присутствия рядом столь желанного человека врезались в память Канучь глубоким следом нарты.

Только под утро проснувшийся на посту пьяный служилый, услышав стук в дверь, охрипшие окрики Чередова, отпер его и поднял всполох. На двух нартах снарядили погоню, вооружив казаков фузеями. Через несколько поворотов нартового следа собаки, оборвав подрезанные потяги, облегченные, умчались прочь к своим острожкам, а служилые, оставшись на нартах, пеше вернулись в острожек, откуда уже уезжала свита Чередова, поспешая в Нижний к врачевателю, попу Феофилакту.

В Нижнекамчатском остроге на казачьем кругу, узнав о случившемся, казаки ахнули, аж гул пошел, и на поиски Чуба они выехали с неохотой, осуждая приказчика:

— Сам набедил, так и надо.

— Лютый, как зверь, мало, что не убил его.

Поэтому посланные на поиски вскоре вернулись ни с чем.

Степан Чуб и Канучь, не заезжая в острожки ительменов, катили на сильной упряжке к верховью реки Еловки. Хорошо, что расторопный Тавач-Лазуков снабдил их в дорогу юколой да из нарты Чередова притащил широченный бараний тулуп. Давая лишь краткий отдых собакам, они спешили, опасаясь погони. Закутавшись в тулуп, дремали поочередно, предаваясь каждый своим мыслям.

«Надоть, сколь лет борол свое сердце, но, слава богу, не поддалось разуму. Нет, не заменить человеку души! Вновь потянула воля, совсем не нужны и противны ныне потерянные в казачестве годы. Русской душе всегда запал нужен, а там зараз в огонь и в воду… Когда сам себе не хозяин — не человек ты! Вот что я вынес из этой жизни…» — размышлял Чуб.

Упряжка петляла по пойменному закуржевелому от инея лесу. Канучь открыла глаза. Синь неба опиралась на зазубренный, как каменные скребки, горный хребет. Солнце сверкало в хрустальных ветках тальника. На одной из веток раскачивался белый пушистый ком.

Канучь тронула Степана:

— Гля, робенок совы.

Чуб улыбнулся, увидев совенка, посмотрел на нее.

Канучь плотнее прижалась, заговорила:

— Степан, добрый дух любви давно живет в моем сердце. Я рада, что с тобою.

— Теперича, покуда жив, тобою владать буду, жалеть да кохать. — Он прильнул к ее щеке. — Дюже леденистая ты, милушка, кабы нутро не застудила. — И, укутав ее плотнее в тулуп, вздохнул. — На душе легко. Хошь, служивскую запою?

Она мотнула головой, Чуб затянул донскую казачью песню.

К концу дня покормили собак, дали им отдых. Смочили полозья нарт для лучшего скольжения. Посвежевшие собаки вновь резво взяли по снегопутью. К утру одолели перевал, въехали в заснеженный дол.

— Отсюда два солнца пути осталось, как сказывал Тавач, — подметила Канучь, оглядывая расходящиеся лесистые серые сопки.

Ее взгляд притягивала начинающаяся белоснежная тундра. Вскоре они уже катили по вольному простору тундры, под полозьями нарты похрустывал снег. На следующий день стали встречаться оленьи покопки — выбитый копытами снег. Значит, скоро желанное стойбище оленных людей. На очередной стоянке собаки вдруг стали беспокоиться, зарываться в снег.

— К пурге, однако. Как бы не пришлось бедовать в тундре. Спешить надо, Степан.

К полудню они заметили вдали темнеющие яранги зимнего стойбища, над которыми заиндевевшими деревьями висел дым. Уже различимы стали попарно запряженные оленьи упряжки у яранг, темные силуэты людей, когда навстречу гостям от стойбища понеслись собаки. Собаки у коряк мельче, чем камчадальские, густошерстные, со стоячими ушами и кольцехвостые, больше походили на зверовых, пригодных к охоте собак. Они, боясь подступиться к оскалившимся нартовым псам, заливались яростным лаем, но не мешали бегу пришельцев.

Ребятня, женщины да старики, оставшиеся в стойбище, вывалили посмотреть на приезжих. В одежках из дымленых оленьих кож толпились они, поглядывая на странных путников.



Застопорив нарту, Канучь заговорила. В соседнем камчадалам племени коряк многие знали ительменский говор, так как смешанные браки — тут явление частое.

Им показали ярангу тойона Уммевы и вслед за гостями сами двинулись к жилищу вождя.

Чуб и Канучь вошли в просторную юртообразную ярангу. Посреди горел костер, освещая вокруг себя несколько кожаных пологов для семей, живущих в этой яранге, и необходимую для быта утварь.

От костра навстречу им встал седовласый сухой человек и заговорил:

— Я чавчувен Уммева. Что привело ко мне русского с женщиной из рода кончал? Я вижу оружие. Не несете ли вы зло моему роду?

Видя, что Канучь затрудняется столмачить его речь, он повторил все по-ительменски.

Выслушав Канучь, Чуб заговорил:

— Здорово, тоен. Не людей твоих я побивать пришел. Сам смотри, отряд мой не во многих людях. Челом бью тебе, дабы пособил нам жизнь свою тут устроить. Знатный камчуг Тавач просил, чтоб кланялся я да напомнил тебе, что он жив-здоров.

Услышав имя Тавача, Уммева одобрительно кивнул.

— Что хочет найти русский в нашем краю?

— Воли.

— В тундре даже ветру вольно. Народ тут кочевой, неясашный. — Чуть подумав, вновь заговорил. — Уммева тоже любит волю и хочет, чтобы его соседи рода кончал тоже ее имели, как прежде. Голгоч и Харчин в своей гордыне не пришли ко мне за помощью и не побороли зла на своей земле, и ныне Тавач горит, как многие, желаньем, а медлит все. Молод еще, не ведает, что необузданным оленем мчит время, оно незаметно покрыло инеем и мою голову. Скоро я не сгожусь в помощь ему.

— Хведька Харчин — мой друг. Я крепость с ним держал, да неудачно.

Тойон многозначительно поднял брови, пригласил гостей к костру. Вскоре они уже угощались. На деревянных блюдах выставили перед гостями сушеную и мороженую оленину, заветное лакомство оленеводов — замороженный костный мозг да ямгаям — содержимое желудка оленя, смешанное с жиром и кровью.

За ярангой завыли-заплакали на пургу собаки, дым стал прижиматься к полу. Забеспокоились коряки, тойон послал паренька в юрту шамана, чтобы тот изготовился просить добрых духов о помощи. Было чему беспокоиться кочевнику. Вдруг налетит мокрая пурга, набьется в шерсть оленя — беда! Гибель стаду. А коль минует это, ледяной коркой подернутся сугробы — не прокопытить снег оленю, опять беда — голод. Все жители, а вместе с ними Степан с Канучь потянулись в юрту, над входом которой висела белая шкура оленя — знак обитания в юрте света и мудрости. Пока коряки сходились к жилищу шамана, он в ней разделывал только что убитую в жертву богам собаку. На жертвенном блюде вынес ее, повесил на вбитый кол, прицепил к жертве пучок травы. Обежал свою ярангу, приглашая духов на пир, и вошел внутрь. Все зашли следом, заполнив жилище.

Шаман выпил священные капли чирима — настойки мухомора с голубикой, взял свой магический бубен. В меховой шапке с волчьими ушами, в длиннополой кухлянке, увешанной костяшками, бусами, погремушками, он вытянул шею и затянул монотонные завывания.

«Каков шутной», — отметил Чуб, оглядел притихших, ожидающих чуда коряков.

Ритмично загромыхал бубен, мелко позвякивали бусы и украшения, в такт дерганиям шамана заизвивались ремешки, змейки, свисающие с одежды.

Из яранги вырывался, разносясь по тундре, бой магического бубна, вой, гортанные выкрики прорицателя. Со страшно искаженным лицом и дребезжащим голосом, под удары бубна он выделывал неимоверные скачки. Бросив бубен, шаман схватил очмнын — посох пастуха и в прыжках принялся бить невидимого противника, истерически повизгивая, рыча и успевая комментировать свои действия.

— Я догнал, схватил злого духа тундры Кыхтеу! — кричал, катаясь по полу, шаман и, подскакивая, сек воздух палкой.

Поежившись от дикого зрелища, Чуб подумал: «Готов, с ума спятился…» Он окинул взглядом стоящих, которые, отражая лицами сопереживание шаману, внимали ему, время от времени уклоняясь от его прыжков в сторону.

— Он уходит! Верхом на саджое! — завыл шаман, дико подскочив, упал к костру с пеной у рта.



Полежав чуть, стал подниматься, блуждая мутными глазами. Коряки расходились недовольные: не удержал шаман злого духа — быть пурге!

Начали налетать снежные всхлесты. В юртах загасили костры, дымоходы затянули шкурками. Коряки попрятались в пологи, запалив там в плошках мох, пропитанный ворванью, единственное отопление на период пурги.

Вскоре разобралась пурга — белая сутолочь.

* * *

Когда ошеломленная Виринея рассталась с Канучь и, нацепив лыжи, заспешила прочь, она и не думала, что может сбиться с дороги. Ее занимала лишь одна мысль: поскорее покинуть это ужасное место. По набитому следу нарт она вышла за острожек и тут замешкалась. Следы расходились то вправо, то влево. Выбрав более глубокую колею, шла до следующей развилки, все удаляясь от селения, вновь выбирала колею и двигалась вперед. Под утро мороз закрепчал. Нартовый след, петляя меж кустарников, все дальше и дальше вел уставшую Виринею. След вышел к круче, потянулся вдоль берега незамерзающей речки. Заглядевшись на черную воду, подмывающую кручу, она оступилась. Соскочившая с ноги лыжина откатилась, плюхнулась с кручи в воду. Виринея с холодеющим сердцем осела в глубокий снег.

— За что?! За что, господи! — взмолилась она, рыдая.

Виринея сидела, увязшая в снегу ногою, пока мороз не защипал щеки. Сбросив вторую лыжину, проваливаясь в сугробы, побрела. Такая ходьба быстро разогрела ее, но начала истощать силы. Виринея часто останавливалась, смерзшейся рукавицей вытирала пот со лба и, не давая себе остыть, вновь брела, сокрушая под собой нартовый след. Вскоре лишь пережитый кошмар толкал обессиленную Виринею вперед.

В лесистой низинке нартовый след уперся в зимовье. Не помня себя она ввалилась в приоткрытую дверь охотничьей избушки, без сил повалилась на припорошенный снегом земляной пол. Чуть отдохнув, огляделась. Толстые бревна сруба обледенели, с потолка белым кружевом свисала куржа. В углу топчан из жердей, под топчаном дрова для костра. Виринея поднялась, отгребла ногою снег от порога, прикрыла

щелястую тяжелую дверь. В зимовье стало темню и вовсе неуютно.

«Без огня тут не ужить», — подумала она и без страха за свою жизнь спокойно прошла к топчану и села.

За стеной потрескивали от мороза березки, стынь поджимала Виринею, сгоняя ее тепло внутрь. Сначала закоченели руки и щеки, потом ноги в камчадальских обутках, которые она надела под давлением Канучь и Улиты, когда они собирали ее дома в дорогу.

«Эдак в одночасье и замерзну», — мелькнула мысль, а перед глазами возникла картина, как крутил руки, рвал на ней одежку Чередов.

Виринею передернуло, она задумалась. «Жить-то не хочется… Куды брести? Опять в лапы этому пауку? Кто меня ждет? Кому нужна?..» Ей вспомнилось детство, когда были живы отец, мать, потом занесенные снегом кресты на их могилках. Горькая обида за неудавшуюся жизнь родителей, за свою обреченность до боли сдавила ее сердце, на щеки выкатились обжигающие слезы.

«Зачем такая жизнь? Лучше помереть, лучше помереть», — твердила она себе.

Одежда промерзала, сковывая Виринею панцирем. Она впадала в сладкую дремоту, почти не чувствуя тело, лишь крестик обжигал ей грудь.

«Гринькин, — слабо шевельнулась мысль, — неплох ты, Гринька, да не горит к тебе мое сердце».

Она с трудом, будто чужою рукой, достала крестик, поцеловала его.

«Прощай, Гринька, ближе тебя ныне никого нет», — прошептали губы.

Перед глазами Виринеи закружились снежинки, уже засыпая, она восхищалась их сказочной красотою.

Размыкая губы, беззвучно шептала:

— Метелинки, метелинки, метелинки…

* * *

После суматошного утра, когда бледного и ослабевшего от потери крови приказчика увезли в Нижний острог, Кешлея отрубленную кисть приказчика из избы швырнул к балагану

собакам. Тут он заметил, что у балагана нет его лыж. Призадумался тойон, походил вокруг избы и по только ему знакомой примете обнаружил след своих лыж.

«Сами лыжи не пойдут. Значит, кто-то один ушел пешком, а не все трое убежали на нарте, как думает Чередов», — рассудил он.

После полудня тойон уже был у зимовья, где и обнаружил замерзающую Виринею.

Почти двое суток Виринея металась в горячке и в бреду. Кешлея свел в свою юрту всех сведущих старух своего рода, чтобы те отхаживали ее растираниями и отварами. Виринея пришла в себя ночью. Тлеющие угли костра чуть пробивали мрак юрты. У постели сидела сгорбившаяся женщина и дремала.

«Вот и на том свете я… А это, поди, матушка меня поджидает».

Она окликнула:

— Матушка.

Камчадалка встрепенулась. Нагнувшись к ней, увидев ясный взор, окликнула кого-то. Появилась вторая сморщенная старушка, они непонятно для Виринеи заговорили. Одна заторопилась из юрты наверх, другая подживила огонь костра. Вскоре в юрту спешно спустился Кешлея, а вслед за ним другие женщины с разными закусками. Огонь играл бликами на светлых волосах и лице Виринеи, тойону она казалась еще необычнее, чем прежде. Он принялся предлагать ей разные закуски без всякого сомнения, что ей, как и ему, они кажутся изысканными. Он улыбался, гладил Виринею по рукам, пробовал есть сам, но она все отрицала. Ей ничего не хотелось, лишь слабость угнетала ее.

Видя бесплодность своих попыток, Кешлея чего-то наговорил камчадалкам и быстро выкарабкался наверх. Через некоторое время в нарте он мчался уже к Нижнекамчатскому острогу. Подъезжая к острогу, услышал звон колокола. Тойон торжественно перекрестился, прикрикнул на собак. Те прибавили в беге. Когда Кешлея вывернул из-за горы, сразу куполом церкви, башнями крепости и частоколом открылся острог. Тойон въехал в него. Закончилась обедня, и прихожане расходились по домам. Он без труда нашел священника Феофилакта, сдернув малахай, бухнулся перед ним на колени, беспрестанно

крестясь. Феофилакт унял его ретивость, усадил перед собой и вопросительно посмотрел на рослого круглолицего с мохнашками бровей и ресниц тойона.

Коверкая слова, но по-русски Кешлея заговорил:

— Кешлея, — начал он, но поправился, назвав себя христианским именем, — Тимошка Черных понимает по-русски и живет, как они. Тимошка Черных окрестил всех родников, хочет, чтобы русский Бог дал ему светловолосую женку, которых не было ни у одного потомка Кутха! Пусть все сродники знают доброту русского Бога! — И он с надеждой заглядывал в глаза Феофилакта.

— Мысль не худа, — отметил тот и, отведя глаза, задумчиво произнес: — Где же взять такову?

— Бог помог уже мне вырвать из лап Гаеча русскую женку, которая бежала ночью от раненого Чередова.

— От этого… — сдержался Феофилакт. Предчувствуя, что дело может сложиться во благо святой веры, переспросил: — Знать, сирота нашлась?

— В моей юрте уже, — гордясь, ответил тойон.

— Езжай к себе. О ней молчи, жди меня, скоро подъеду.

Кешлея закрестился, раскланявшись, вышел. Словно на крыльях, летела домой его нарта.

Виринея поправлялась. Камчадалки поили ее отварами, кормили, старались всячески угодить. Когда она встала с постели и захотела выйти из жилища, камчадалки заступили ей путь, давая понять, что наверх ее не выпустят.

Кешлея собрался уже снова ехать к Феофилакту, как в один из дней к его избе подкатила нарта. Феофилакт с дьячком да сопровождающим казаком, помолясь на часовню, вошли в избу тойона.

«Все, как у христианина, лишь беспорядок», — отметил себе священник и вскоре уже беседовал с хозяином.

— Это твоя женка? — кивнул Феофилакт на камчадалку, которая суетилась, приготовляя толкушу.

— Ни, моя летом в воду упала, Гаеч забрал.

— Чья же эта?

— Эту осенью у родника выменял за нерпичий жир.

— Тебе грех жениться на русской женке. Жена должна бысть одна! Так велел Господь Бог.

— Родник заберет эту, как только наловит соболей да откупится, — зачастил Кешлея и добавил: — Коли так хочет русский Бог, я ее и без соболей отдам.

— Похвально, — погладил бородку Феофилакт и скомандовал: — Веди сироту, показывай.

Когда Виринею силой втащили в знакомую до отвращения ей избу, она еще брыкалась и колотила руками по широченной спине Кешлеи.

— Усмирись, дочь моя! — остудил ее голос Феофилакта.

Вирька изумленно бросила взгляд на священника, дьячка и кинулась к Феофилакту.

— Спасите, спасите меня, не ведаю, за что мне наказанье! — зарыдала она.

Манием руки священник велел всем удалиться. Успокаивая, он гладил Вирьку по трясущимся плечам, терпеливо выжидая, когда она облегчит наболевшее сердце. Понемногу она успокоилась, он заговорил с ней о матери, об отце, о думах ее.

После чего вкрадчиво начал:

— Подумай, дочь моя, над словами Христа — нашего Спасителя: «Не добро бысть человеку единому». Всяк может обидеть, растоптать. Лишь Бог поможет, коли будешь угодна ему и покорна. Видно, тяжкий грех был на твоих родителях, что Господь отвернулся от них и от тебя. Так усмири в себе дух телесный, иди, куда указует Бог. «Милость хощу, а не жертвы», — завещал всеблагий. — Помолчав, давая Виринее вразумить сказанное, продолжил: — Скажи, готова ли ты покориться воле Божией и воздать ему себя, дабы обрести защиту Всевышнего?

Она взглянула в глаза Феофилакта, излучающие миротворческое спокойствие, согласно мотнула головой.

Феофилакт продолжил:

— Крепко подумай, дочь моя. Нелегка доля может статься. Усмирись, веруй, и воздаст Господь Бог. Веруешь в добродетель Божию?

Ровный баритон пастыря вселял веру и спокойствие в душу, Виринея осенила себя крестом:

— Верю, отче! Как повелишь, так и станется.

— Вот и ладно, дщерь. Послужи Богу, дабы умножить силу веры Христовой в народе безбожном. Стань женою венчальной



крещеному инородцу Тимошке Черных, поучай его и ближних труду христианскому да вере в Бога, и не отринет тебя Господь.

В этот же день Виринею обвенчали с тойоном Хапиченского острожка Кешлеей — Тимошкой Черных. На следующий день, по указке Феофилакта, Кешлея-Черных должен с Виринеей выехать, чтобы показаться во всех ближних острожках, дабы видели инородцы Божию благодать крещеному тойону.

Всю ночь камчадалки острожка шили для Виринеи и Кешлеи меховую одежду на русский манер. От гордости и счастья, выпавшего ему, тойон не находил себе места. Он, не дожидаясь утра, разослал гонцов в камчадальские острожки упредить о своем приезде с русской красавицей. Когда взошло солнце, Кешлея-Черных вывел Виринею в лисьей шубе и шапке, в расшитых торбасах, усадил ее на разброшенную в нарте шкуру медведя и сам, не отрывая взгляда от нее, уселся рядом.

Дал знак сопровождающим его родникам и бросил своему каюру:

— Гони!

Вереницей помчались нартовые упряжки по острожкам, вызывая восторг и зависть у камчадалов.

Узнав от посыльного Кешлеи о Виринее, Камак впал в ярость. Распугав обитателей своей юрты, он разметал все лежанки, разбросал ногами костер, задыхаясь от гнева, вылетел из жилища. Подбежал к балагану, осел на снег, обхватив голову руками. Сердце клокотало, разрывалось от обиды и яри на Кешлею

«Как посмел?! Я уже меха собрал везти Луке! Обхитрил! Как трусливая росомаха, крадя добычу медведя! О! Великий Кутх! Я вырежу весь гнусный род Кешлеи! — ударил кулаком в снег Камак, но, вспомнив о русских, заскрипел зубами: — Не дадут воевать… Эх, кабы не они! Все одно, не бывать такой несправедливости среди потомков Кутха!» — решился он и полез на верхний ярус балагана, где хранился усиленный китовой пластиной боевой лук.

Когда нарты Кешлеи под бой бубна въехали в Пеучев острожек, перед сгрудившимися жителями Кешлея высадил с нарты на показ жену, Камака в острожке уже не было. Обласканный русским Богом Тимошка Черных, оставив камчадалам Пеучева

два мешка юколы, дар от Христа, под громыхание бубна двинул свадебную процессию дальше. Утомленная шумным путешествием Виринея дремала, упряжки растянулись в цепочку, петляли меж густых зарослей. Никто и не заметил, как беззвучная стрела пронзила сердце крещеного тойона. Лишь позже, когда на крутом повороте он вывалился из нарты, перепугав Виринею, его смерть стала явной. Бросились по кустам родники, но поздно: где и когда нашел смертельную стрелу тойон Тимошка Черных, осталось тайной.

Хоронили его по русскому обычаю. Отпевать Тимошку прибыл сам Феофилакт. После похорон священник разговаривал с замкнувшейся в себе Виринеей.

Подняв на Феофилакта кроткий взгляд, она смиренно молвила:

— Не принял Господь моего покорства.

Феофилакт положил ей на плечо руку:

— Сдается мне, невестой боговой тебе статься надобно. Побудь пока белицей при Божьем храме, поисполняй все послушания да требы во время служб, тем самым в монастырь дорогу себе обретешь. Тогда звездами в небе возблещет твой путь к вратам рая, дщерь.

С Феофилактом Виринея новоявленной белицей уехала в Нижнекамчатскую церковь.

ГЛАВА 9

Петербургская зима с малыми снегами радовала Григория Скорнякова. Каменные пышные дворцы вельмож, ровные строгие проспекты будили воспоминания. Все, что попадало под его взор, сразу же связывалось с его молодостью и образом незабвенного царя Петра Алексеевича. В расписных, на рессорах санках Скорняков-Писарев, вновь сановный муж, мчал в Адмиралтейство. Там был назначен разбор плавания ботов «Святой Павел» и «Святой Петр» командора Беринга к берегам Америки… Посунувшись в оконце возка, Скорняков посмотрел на заколоченный шпиль Адмиралтейства, вздохнул: «Думал, больше и не увижу… Но вновь душе просторно! Оттого не так болит, ноет сердце».

Советника императрицы по делам северо-восточных окраин учтиво встретил президент Адмиралтейства граф Головин, они прошли в залу, где уже собрались чиновники флота российского в ожидании совета. Говор заметно стих, все расселись перед подготовленной картой, где был нанесен путь судов Чирикова и Беринга. Председательствующий совета, контр-адмирал Захарий Мишуков, зачитал сначала рапорт капитан-лейтенанта Алексея Чирикова, потом лейтенанта Свена Вакселя, попросил высказать свои суждения.

— На юг зигзаг понятен; а потом? — рассудил вслух Головин.

— Господа! Могу предположить, к чему сей поворот пути на норд, — указывая на изгиб линии хода бота «Святой Петр», продолжил Скорняков. — Отписку геодезиста Михайла Гвоздева о Большой земле на норд-вест от Камчадалии, которую они с Иваном Федоровым в плавании открыли, я еще в семьсот тридцать третьем году отослал промеморией в Иркуцк для пересылки к вам в Адмиралтейство. Но и поныне нет нигде бумаг тех. Тогда-то Беринг был уже в дороге по Сибири великой властью наделен, и все, касаемо морей, его бы не минуло. Из тех бумаг легко мог получить он мысли новые к походу в Америку. Уверен, что отписка та в его портфель осела! Смотрите, сей изгиб сему лишь в подтвержденье! Сначала он пошел на юг по предложению и мнению профессора Делиля, потом, не поимев земли, свернул не на восток, как Чириков ушел, а к норду стал он явно уклоняться, чтоб к северо-восточной той земле попасть. Об этом же и Ваксель в репорте нам пишет. Вот. — Он, взяв со стола рапорт Вакселя о плавании бота «Святой Петр», зачел: — «…Тогда он, капитан-командор, согласившись со своими обер-офицерами, велел держать еще ближе к норду в надежде такой, что скорея можно получить будет землю…»

— Выходит, Беринг был уверен о земле в сих водах, — рассудил Мишуков.

Скорняков с победным видом заявил:

— Все явствует об этом… Не потому ли столько лет неспешно к цели собирался?!

Мертвая тишина зала взорвалась:

— Как можно утверждать?!

— Мы эти годы столько сил на сей поход вложили!

— Попробуй в дальний край отправь чего!

— Он честен! Утаить не мог!

Председательствующий постучал по витиеватому графину, восстановив тишину, обратился к Скорнякову:

— Еще что есть?

Григорий Григорьевич, нахмурившись от услышанных возражений, подумал: «Позвольте, господа, я ужо доведу свою правду до конца» — и заговорил с металлом в голосе.

— Мне лучше знать! Я в тех краях дела вот тута ощущал. — Он похлопал себя по загривку. — Выходит, сей вояж за море лишь чрез десять лет сыскал то, что Гвоздев нам открыл. Так стоило ль за сим таков расход чинить?! А вот и мнение царицы!

Он из своей папки вытянул лист бумаги, подал графу Головину.

Тот прочел:

— «Милостивейший Николай Федорович… соблаговолите указать, дабы столь раззорительную нам Восточную экспедицию, от коей проку быть не надлежит, оставить. Людей ее использовать в Сибири по более потребным нам делам. Елизавет».

* * *

По ночам в Якутске еще стояли сильные морозы, но днями заметно отпускало, и на пригреве солнца в кустах нет-нет да свистнет по-весеннему синица. С санным обозом от Усть-Кута прибыл в Якутск важный гонец из Петербурга, бывший сержант Семеновского полка Алексей Шубин, который в тысяча семьсот тридцать первом году был сослан в Камчатку за то, что, любя тогда еще цесаревну Елизавету Петровну, пытался тайно освободить Долгоруких, чтобы возвести ее на престол. Ныне, когда Елизавета воцарилась, преданный сержант из ссылки оказался при дворе в чине полковника.

Он привез указ о роспуске экспедиции.

Промерзший до костей Шубин скоро разыскал капитан-лейтенанта Чирикова, вручил пакет. Пока денщик и офицеры, находившиеся с Чириковым, отогревали гонца, выпытывая у него вести со столицы, Чириков распечатал долгожданный пакет и жадно поглощал его глазами. Лицо его мрачнело. Он несколько раз перечитал строчки, которые полосовали его

по сердцу: «…посему экспедицию, от которой Сенат не малого плода быть не признавает, надлежит вовсе оставить!» Он опустил руки с листком указа, в голове гулко стучало: «Не малого плода! Не малого плода!» Чириков повлажневшими глазами досмотрел указ: «…посему без имяного повеления либо письменного от Адмиралтейства указа вам в Петербурх не выезжать, а следовать по назначению согласно прилагаемой инструкции Адмиралтейства…»

С болью в сердце Чириков опустился на сбитое кресло.

Прошел месяц, когда служилые почтовой службы экспедиции добрались из Якутска до Джугджурского перевала, где Мартын Шпанберг остался зимовать, поджидая вестей, чтобы ринуться отсюда в желанный всем существом Петербург. Он почти растерзал пакет, адресованный ему в Охотск от Чирикова, принялся глотать строчки. Но захлебнулся и уже по слогам прочел оценку Сената о деятельности экспедиции, в которую он вложил самые здоровые молодые годы. Рванул на груди мундир. Блестящими искрами брызнули пуговицы, он выскочил из зимовья на мороз.

— Никита! — крикнул он денщику, помогавшему почтарям возиться с нартами. Тот встрепенулся, подскочил к Мартыну. — Раки! Все остатки неси! — глубоко выдохнул он.

Стаивали снега. Уже почернели южные склоны сопок и косогоров, когда в Охотск с перевала вернулся с почтой Шпанберг. Он собрал офицеров в канцелярию порта. Все, предвкушая новости, шумливо расселись вдоль длинного дощатого стола.

Мартын Шпанберг заговорил:

— Господа, вестей немало. Первое, нам следует клятвенно принести обещание на верность племяннику ея величества Елизаветы Петровны, Петру Федоровичу, коего она избрала и наметила себе в наследники. После сего собрания прошу офицеров со всеми командами матрозов и прочих морских служителей прийти в Преображенскую церковь, где с твердою к Богу верой без лицемерия и притворства принесем присягу. Второе, Адмиралтейство извещает, что геодезисту Гвоздеву Михайло Спиридоновичу за верность и службу Отечеству присвоить звание геодезист-подпоручика с надлежащим увеличением жалованья кормового и денежного в платеже по плакату.

— Браво, Гвоздев!

— Михайло, радость-то!

— С тебя, Гвоздев, ныне же! — понеслось со всех сторон на геодезиста, который вроде бы и не обрадовался столь приятной вести.

Он действительно не сказать, что особо был тронут услышанным: за эти годы перегорела душа, притерпелась лишь нести лишения, не требуя взамен ничего, кроме минимального, жизненно необходимого. Он сидел под восклицаниями сотоварищей и молчал.

— О чем молчишь, подпоручик?! — с укором спросил Шпанберг.

Гвоздев, опомнившись, вскочил, зычно гаркнул:

— Рад стараться служить ее величеству императрице Елизавете Петровне!

— То-то, — ухмыльнулся капитан-лейтенант. — Он чуть помедлил, ожидая, пока успокоятся офицеры, и, запасмурнев, заговорил: — А об этом судите сами, господа. — И принялся читать указ не спеша, четко выговаривая наиболее важное. После чтения, помолчав перед онемевшими от вести офицерами, он добавил: — Не без подлой сущности Скорнякова многотрудная наша работа, что не един год доставляла нам премногие лишения, государыней признаваема как не имеющая плода, и посему она не пожелала нас вернуть в Петербурх. Адмиралтейство определило всем нам место службы в сибирских городах.

Молча, с кипящими сердцами расходились офицеры, сдерживаясь, чтобы не вылетело горячее словцо в адрес царицы. Они поносили, как могли, Адмиралтейство, Скорнякова, вымещая на них свое недовольство.

Михайло Гвоздев лежал на топчане в своей комнатке офицерской казармы. Противоречивые чувства владели им. С одной стороны, он был благодарен Скорнякову, так как уверен, что это он повлиял на его повышение в чине, и в то же время должен ненавидеть его, как и все, кто много лет вкладывал себя ради процветания России. Мыслимо ли, одной фразой «никоя пользы» перечеркнуть часть жизни, полную лишений! Растоптать душу! Не-ет, такое не простить, не забыть… С другой стороны, Михайло завидовал Скорнякову, что он не сломился в борьбе за свою правду, довел ее до конца.

Гвоздев мысленно перелистал свою жизнь, рассудил: «Вот те и Скорняков… Возвысил меня в бренной жизни, в духовной же крепко ущемил. С Федоровым у меня дела не получилось, и тут столько труда да лишений — и „никоя пользы“. Выходит, судьбина мне ни единого дела большого до конца довести не дозволила!» — горько вздохнул он.

* * *

Закончился сезон охоты, Гринька с Артемом Обуховым и Кашугой вернулись в Ключевское селение. Радость возвращения Гриньки померкла, когда он узнал, что Виринея отреклась от мирской жизни, живет при церкви в Нижнем остроге.

«Ни к чему теперь эта прорва мехов», — захандрил Гринька, поглядывая, как довольный отец перетрясает груды пушнины.

Кашуга с мехами тоже не остался без внимания. Как только Улита сообщила попу о возвращении мужа, Ермолай с Колыговым в тот же час пожаловали в дом Поповых. Довольный Кашуга улыбался, глядя, как полногрудая женка примеряла на голове росомашью шкуру. Поп и староста бесцеремонно принялись осматривать связки соболей и лис, удовлетворенно покачивали головами. Колыгов, предвкушая дележ, не сдержался, отложил чуть в сторону связку черных с синевою соболей. Поп, недовольно подернув бровью и будто невзначай, рукою сдвинул связку в общий ворох.

Никифор облапил Кашугу:

— Молодец, Кашуга! Тьфу ты, как тебя ныне-то по-крещеному? А, Попов Ермолай! Не худо отплатил за добру женку Улиту.

Ермолай тоже похлопал камчадала по плечу:

— Крестничек! Уважил крестного, уважил.

Колыгов, увлекая Кашугу, оторвал его от попа:

— Пошли со мной.

Они вошли в сарай, Никифор показал на лошадь:

— Вот, Ермолай, твоя теперь станет! За нее в другой сезон отдаришься.

Кашуга от радости вытаращил глаза и запрыгал:

— Мой! Мой лошедь! Ни у кого нет, у Кашу… Ермолая Попова — есть!

— Дык меха я того… — ввернул Колыгов.

— Бери, все бери, — радовался тот.

Пока Кашуга гладил и кормил лошадь, Колыгов вошел в избу, принялся складывать меха в большую торбу, с которой охотник вернулся домой.

— Ты чего это? — насупился было поп.

— Кашуга мне все отдал.

— Побойся бога, Никифор! Я же крестный ему! Можа, он не вразумел чего?

— Все вразумел. На вот тебе, отче, в знак мово почтенья, — швырнул ему связку соболей и пару лис.

— Оставь хоть женке чего, все-то не грабастай!

Никифор скорчил язвительную рожу.

— А-а… дурак я? Кабы его женка была… Все к тебе перекочует. Ну на еще, — расщедрился Колыгов и подбросил ему связку лис.

Столкав все в торбу, он покосился на шкуру росомахи в руках у притихшей Улиты, но, оставив ее, взвалил торбу на себя, вышел. Вслед за ним, вытащив из-под топчана пару связок соболей, коих зашвырнул туда во время отсутствия Никифора, поп с охапкой мехов ушел.

В один из дней, вернувшись от купцов из Нижнего острога, Артем Обухов повстречал на улице Гриньку. Смышленый в промысле, крепкий парень на охоте пришелся по нраву Обухову, он решил поведать ему то, что узнал в остроге.

— Слухай, паря. Кабы у меня не столь робят, коих кормить след, ништо бы не удержало: ушел бы промышлять морского зверя к островам, на коих бедствие терпели мореходы. Зверя там невидимо. Кто вернулся оттуда, сказывают: богатеями бы стали, коли цель такова была. Помысли, за един сезон промысла — сразу богач! Так вот, некто Емелька Басов, сержант, что крестьян к нам подвел, сбирает складственную кумпанию. Сам передовщиком идти на те острова назвался. По весне судно срубят — и на промыслы… Смекай, паря, твои меха в кумпанию сдать — и ты с ними. Дело молодое, тебе ли не дерзать!

Гринька шел домой, ошарашенный разговором. В голову лезли всякие мысли.

«Эх, Вирька, Вирька! Коли ты так, вот разбогатею — покусаешь локти! Токмо бы тятьку уломать», — вздохнул он.

Два дня как неприкаянный слонялся Гринька, не зная, как начать разговор с отцом. Все у него валилось из рук, ни к чему уже не лежала душа. После ужина, когда сытый отец прилег на топчан, Гринька решился.

Он подсел к нему, завел разговор:

— Вошло мне на ум пойти с кумпанией промысловых людей к островам. Сказывают, зверья там во множестве. Людишки туда уже подбираются, судно общим коштом ставить хотят… Чего бы мне не сходить, тять? Меха в казну общую сдам, а как вернусь, меха во много крат окуплю, могутный враз стану. Тебе же в помощь.

— Слухай всех. Заливают в три ручья. Ишь разбогатеть враз захотел. Рылом не вышел. Достанутся те курочьи титьки да собачьи рога, — хмыкнул отец. — На карбасах в окиян-море — шутка ли!

— Тут-то новоманерные суда, не карбасы. Уже не робенок я, в себе не сомневаюсь.

— Вижу, вымахал. Голова-то с овин, да в овине еще клин!

— Тять, пусти. Покою нет, ничо на ум не идет!

— Не звени комаром! Ей-ей, дубина по тебе сохнет! Таежничаешь — и будя, — застрожился Потап. — В семье пока я — большак! Сам решу, когда на отхожий промысел пущать! К лету в совершенство войдешь, на тебя уже полную десятину земли мне впишут, а не по две трети, как на молоду душу. Да на сестрениц твоих по трети добавят. Кумекай, потянем одни с маткой?! То-то заладил: терпежу ему нет, — буркнул в конце отец.

Гринька глубоко вздохнул и отошел прочь. В другие дни он опять пытался заводить разговоры на эту тему, но отец был непоколебим. Домогания сына не прошли бесследно для Потапа. Видя, как Гринька сделался вялым, безучастным ко всему, несколько раз Потап задумывался над услышанным от него. Как-то, послушав, как Обухов рассказывал мужикам о богатствах, которые привезли с собой вернувшиеся матросы, пьянствующие всю зиму на эти меха, Потап Брагин крепко задумался. Давно уже был задут жировик, а он, уставясь в мрак избы, думал: «Гриньке-то шибко думка в башку впала, ходит как неприкаянный. Упрям, истый я! И впрямь, сова не родит сокола, а такого же черта, как сама… А чего, счастье на тарелочке-то

не поднесут — пусть идет, коли почуял, что встал на твердую ногу. По силе да стати крепок… По молоду и я был — из первого десятка не выбросишь… Пусть спытает судьбу, покуда без податей живем, не то потом-то отписку испрашивай, что за него подать согласен платить, — морока. А с пашней, пока в силе еще, управимся».

Утром, когда Гринька проснулся, Потап подошел к нему:

— Проси Артема, поезжайте в Нижний да свезите меха в кумпанию.

Гринька взлетел с постели, поклонился отцу в пояс и, не сдержавшись, бросился ему на шею, чуть не повалив на пол.

В Нижнекамчатском остроге Артем Обухов и Гринька Брагин скоро разыскали сержанта Басова. Узнав причину их появления, Емелька, окинув взором Гриньку, заметил:

— Не по годам крепок недоросль. — Принял от него меха, прощаясь, сказал Гриньке: — На исходе снега пойдем лес рубить для шитика. За тобою зайдем. К тому времени изготовься как след. Идем-то в места сырые, холодные.

Они вышли от Басова, когда колокола зазвонили обедню. Обыватели спешили в церковь.

— Пошли, Гришутка, за удачу помолимся, — предложил Артем.

Тот поспешно согласился. Он и сам думал, как бы заманить Артема в церковь, ведь там Вирька! Взглянуть бы хоть глазком.

Молебен был на славу. Моленная тут намного просторней, чем в Ключевской церкви, а убранство-то — и сравнений нет. Икон только десятка три, а по углам висят златотканые хоругви с кистями. Одеяние у Феофилакта тоже богаче, чей у Ермолая. Гринька посмотрел на сверкающий на его груди амофор с крестом и золочеными кистями, на длинный с рукавами саккос из черного бархата и сам себе показался жалким, ничтожным в своем потертом полукафтанье. Обнаженная голова Гриньки еще больше втянулась в плечи. Он весь внимал попу, громыхавшему словами Псалтыря: «…Яко сень преходит живот наш и яко листвие падают дни человечи…»

Слова Феофилакта стали перемежаться с песнопением. Гринька узнал голос Виринеи. Она запевала нежно и тонко, ей вторили низкие голоса. Звуки заполняли моленную так, что он

не мог определить, откуда исходит пение. Не сдержался, крутнул головой, да так и остался: сбоку от него, совсем неподалеку, за резной решетчатой перильцей, появились две женщины и Вирька. Они закончили напев, поп заговорил вновь, а Гринька не сводил глаз с ее бледного божественного лица.

«Вирька, Вирька! Взгляни же, вот я!» — мысленно взывал Гринька.

Она чуть повела глазами в его сторону и, заметно сменившись в лице, отвела взгляд. Поп закончил, Виринея, замявшись было, вновь затянула мелодию. Феофилакт уловил заминку запевалы, стрельнул взором на Гриньку, который так и стоял, повернувшись к ней, и ничего кроме Виринеи не видел.

«Неужто живой смертию для нее умер я?» — поедая свою крестовую подружку глазами, сокрушался он.

После молебна священник подшагнул к Гриньке:

— Не пучь глаза, как на икону. Краса девка, на то и богова невеста. Грех смущать! Ей честь блюсти да молиться, как подобает бысть белице. Помни мой сказ, отрок! Изыди с богом.

Прихожане разошлись, Феофилакт вошел в келью к Виринее. Она подняла на него грустный взгляд.

— Одолевают мирские мысли, дщерь? Отринь их, не то умаешься душою. Уверуй, ты Божьих доброт достойна. — Погладил ее по русой голове и добавил: — Готовься, время в школу идти абевегу учить.

* * *

Непостоянна камчатская весна, словно мачеха: все хмурится, редко смеется. Но приспел срок, и забелела береста берез, брызнули мразобоины сладким соком. Выбрался медведь, забродил вдоль речных берегов, ожидая хода рыбы. Темные стаи дичи то и дело стали заслонять небо, начался перелет. А из лесков у болотин разносились тявканье да сжимающие душу крики лисьего гона.

Савелий Рыков вышел во двор, уворачиваясь от капели с сосулек; размыслил: «Опять затяжная весна будет: ишь каковы длинны сосульки-то, седмица мая прошла, скоро Иеремей-запрягальщик — время пахать, а тутошний май — коню сено дай, сам на печь полезай».

Он зашел в сарай, задал скотине сена.

«Кто знает, сколь еще тянуть-то до травы», — мелькнула мысль, Савелий доложил к сену по охапке одонья, осенних объедков.

Кузьма Щербак тоже управился по двору, вошел в избу. Степашка из ивовых прутьев мастерил мордушку для лова рыбы, Настасья покачивала подвешенную зыбку, напевая вновь родившемуся зимою сыночку: «Цаицка белая полетела куштовать...» Кузьма окинул взглядом домочадцев, улыбнулся.

«Благо не разнесло мою жизнь казачьим ветром. Вот он, смысл жизни, — радость и утешение!» — подумал он, подошел к зыбке, взглянул на розовое курносое личико, на пробивающийся светлый пушок на головке сына:

— Этот светел удался. Еще один пахарь Камчадалии.

— Кузьма, покацай. Я отнесу Улите Поповой семена репы да гороха.

Щербак присел на ее место, Настасья вышла из избы.

Мягкою дымкою синел весенний воздух. Солнышко добавляло тепла и света, оживляя Камчатку. Как только вскрылись реки, удрученный увечьем руки Василий Чередов собрался в Большерецкий острог. Его сумы и тюки загружали в баты.

«Авось с первым судном подошлет смену командир Охоцка», — размышлял он.

Феофилакт тоже присоединился к отряду приказчика, но с другой целью. В прошлом году он посылал письмо в Якутск к игумену Филевскому, с которым он вместе выезжал из Петербурга в дикий край нести веру Христову. Феофилакт надеялся, что с первым весенним судном на Камчатку игумен подошлет книги для открывшихся церковных школ, чтобы учить мальцов не только абевеге и часослову, но и цифири.

Большерецкий острог встретил их низкими тучами да сырым туманом. Лишь в июне пришло судно из Охотска. Получив почту, Василий Чередов огорчился. В указах от командира о его замене не было и намека, а наоборот, новый командир Охотска и Камчатки майор Зыбин прислал массу строгих наставлений и свое решение: оставить Чередова приказчиком Камчатки на второй срок. Отчаявшись, Чередов вновь впал в гульбища, награждая окружающих бранью да плетьми.

Услышав о подходе судна, Феофилакт вышел к берегу. Он изрядно был удивлен, когда на берег стали сгружаться клади с церковной утварью, потом с судна съехали несколько монахов и архимандрит, который при знакомстве с Феофилактом назвался Иосафом Хотунцевским. Посланная Священным синодом еще одна миссионерская группа прибыла на крещение инородцев Камчатки. Высокий, худощавый Иосаф распорядился монахам, те передали Феофилакту посылку от игумена Филевского. Вечером того же дня после молебна, который провел в церкви Хотунцевский по случаю прибытия их к цели, архимандрит пригласил к разговору Феофилакта.

Когда уединились, он заговорил:

— Отец Феофилакт, я наслышан о вас от игумена Филевского, который чтит ваши старания. Сколь велико число новокрещеных вами тутошних иноземцев?

Феофилакт был намного старше годами Хотунцевского, и ему не понравилась прыть молодого священника, которого Синод наделил высоким духовным саном.

Не показав недовольства на неприкрытый допрос, Феофилакт молвил:

— Сама цель — лишь дать крещение, не вселяя веру в Бога, — не льстила мне в моих деяниях. Однако скажу, что за год мною крещено восемь сотен душ. Узнав столь дикий край, возможно понять, что число немалое.

Всматриваясь в темнобородое, с глубокими морщинами лицо Феофилакта, в седины темной бороды, которые поблескивали от света свечки, Иосаф Хотунцевский приподнял серые брови, осветлив маленькие колкие глаза, заговорил:

— Одному похвально… Столь легко даются вере инородцы?

— Такого не скажу, но любопытен народец. И коли по добру понятие о вере доводить до истинного, то видишь в них сочувствие и веру. Забавно то, что, принимая веру нашу и манеру жить, пренебрегают некрещеными, насмешки всякие чинят и чтят их пред собой за невежд, гордыне предаваясь… Прости их, Господи! Не ведят, что творят!

— Я слышал, школы тут позавели?

— Деянья добрые — подспорье вере. Народ не бестолковый. Детишки их догадкой, умыслом иной раз русских недорослей превосходят.

Текучая усмешка вытянутого лица Хотунцевского погасла в его серой редковатой бороде.

— Наука дикарям? Семя знаний вредно между ними. К безбожию и ереси ведет.

Брови Феофилакта подлетели вверх к скуфье — походной шапке монаха, и он возразил:

— Великих дел Создатель так не учит! Поведай, какова же цель твоя?

— Чтоб тутошние дикари, не знающие Бога, просияли святым крещением! — возвышенно заговорил гость, процитировав слова Христа из Евангелия: — «На нем созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют».

«Вельми красно говариваешь», — подумал Феофилакт и распрощался с Хотунцевским.

Перед уходом тот заметил ему:

— Я постараюсь в год крестить поболе.

На следующий день, отдав часть книг ссыльному поручику Пражевскому, который обучал детей при Большерецкой церкви, Феофилакт заспешил к Нижнекамчатскому острогу.

Вскоре из Большерецка выступил отряд казаков сопровождать христианскую миссию Иосафа Хотунцевского, который, заручившись поддержкой приказчика Чередова, не намеревался долго задерживаться на Камчатке, а всеми средствами сыскать себе славы пред Синодом. По острожкам засвистели плети над спинами упрямых камчадалов, не согласных принимать крещение. Планы Иосафа быстро поголовно окрестить инородцев терпели крах. Все медленней наполнялись страницы шнуровой книги именами новокрещеных. К тому же все больше соблазняли меха, подносимые за отсрочку крещения. Уже лето перевалило за средину, а он добрался лишь до Машуринского острожка. Почти два дня казаки собирали камчадалов по летним станам, свозили их в острожек.

Когда собрали всех, долго через толмача вразумлял архимандрит, но, видя их полное безразличие к проповедям, объявил:

— Кто не примет крещения, сочтется шаманом, будет дран кнутом да посажен в колоды до вразумления.

Сердясь на то, что два дня потеряно впустую, он велел всех гнать к реке. Тойон острожка, поняв, что от него хотят

крещения, метнулся в свою юрту, принес свиток. Архимандрит развернул хорошо выделанную шкуру, на коей было начертано: «Сия грамота дана иноземцу Божошу за доброхотные к Отечеству заслуги. Посему иноземцам его рода никаких репрессалий по делу Камчадальской измены не чинить. В знак сего окрестить его сына и именовать отныне Егором Мерлиным. Свою руку подлинно приложил полуполковник Василий Мерлин».

Когда Хотунцевский прочел, тойон Егор Мерлин, показывая рукою в сторону сгоняемых к реке родников, сказал:

— Зачем погнал? Бумагу-мочь видишь?!

— Не на беду гоню. Это путь к благодати Божией! Ты крещен, отойди в сторону.

Отдав свиток тойону, Иосаф направился к собранным инородцам.

— Пусть разоблачатся! — скомандовал он.

Загалдели толмач и казаки, камчадалы с недоумением стаскивали с себя парки, кожаные порты.

К Иосафу подошел казачий десятник:

— Воды боятся нехристи. Не потопли бы?

— Не медли, загоняй в реку!

Камчадалы упирались, хватали с собою одежку, кричали по-своему:

— Хочу в новой кухлянке к Гаечу!

Выбиваясь из сил, казаки для острастки пальнули в воздух. Камчадалы повалили в воду. Иосаф принялся читать молитву, но крики казаков прервали его.

— Куды? Куды?! Назад! — стали гнать от реки инородцев.

Двое казаков сиганули в воду, вылавливая тонущих. Под угрозы с берега от сродников те вырывались, бросаясь вновь в воду, тонули.

Подбежал десятник:

— Потопим всех! Ишь к своему богу наладились чрез воду уходить! Лучше водой окатывать станем, скажи лишь!

От балаганов принесли берестяные чуманы, вытряся из них ягоду, казаки вместо купели, черпая воду, по знаку Иосафа окатывали каждого водою из чумана. Двух особо упирающихся растелешили тут же, и после пяти-шести ударов они согласились принять крещение.

Слухи о свирепом попе опережали отряд Хотунцевского. Камчадалы — кто готовил богатый откуп, кто уходил в глухие места. Иосаф, сокрушаясь, что дело идет не столь быстро, решил разделить миссию на несколько отрядов.

Два отряда казаков с монахами отправил к ичинским и авачинским камчадалам, а сам сплыл до Нижнего острога укрепить себя казаками, чтобы заняться самыми строптивыми еловскими да каменскими иноверцами.

В Нижнекамчатском остроге Иосаф направился к Феофилакту, чтобы поговорить с ним да привлечь к делам своим. Его он застал в церкви. Тот сдержанно встретил архимандрита, пригласил сесть.

Хотунцевский умостился поудобней на лавке и посетовал:

— Упрямцы эти камчадалы. Морока с ними, не в пример, как с другими инородцами.

Феофилакт пригвоздил взором собеседника:

— Пагубен путь избрал ты, Иосаф.

Тот отвел взгляд и молвил из проповеди:

— «Вся бо елико хощети яко сильный Бог творити можещи». — Слащаво улыбнувшись, вкрадчиво продолжил: — Но льзя ль не заблуждаться в столь сложной бренной жизни?

Видя притворство, Феофилакт, теряя сдержанность, заговорил:

— Смиренность твою вижу… С приказчика Чередова пример берешь? Не о народе мысль его, в грехопаденье пребывает! Неужто ты ему опорой стать намерен?! Народец возроптал… не дай же возопить от твоего крещенья! Известно: кнут да кровь — друзья не Вере — Силе! — И, отвернувшись к иконе, перекрестился, бормоча: — Боже прелюбезный! Яви мне свет евангельский.

Чувствуя, что разговор уходит не в то русло, Хотунцевский сухо обронил:

— Не для себя творю, для Бога.

— Пошто меха за откупы берешь… немалое число! Святого сана это осквернение! Не то чтоб сие деять, видеть недостойно бысть должно!

Иосаф хитро сощурил глаза:

— Коли туда повел, скажи: кого ты окрестил, разве прияли веру? Повидел я ужо: живут скопом, жен имея много, да идолам своим икону предпочтили! Где ж христиане, отче, коих ты нарек?!

— Не в день един приходит утвержденье. Та вера победит, где больше миротворства!

Поводив глазами по сторонам, Хотунцевский сделал попытку примирения:

— Полно, отче, вижу: гневлив ты. Всяк своему да внемлет житию. Бог милостив. В сим деле пагубы не вижу.

Феофилакт метнул в него хладный пламень глаз:

— И без того повсюду тут соблазн и алчность порождает зло! Христова вера — добродетели обитель! Она тянет долонь спасенья инородцу! Ты рубишь ту долонь деянием своим! Твое крещенье дышит сатаною!

Архимандрит вскочил.

— Поносные слова! Не крысься на меня! Свят будет, кто творит во имя веры! И воли Божьей не остановить! Без крови святость не бывает. — И направился к выходу.

Феофилакт бросил ему в спину:

— На зло да на хулу добра в ответ не жди!

Не найдя поддержки у Феофилакта, Иосаф из Нижнего острога выехал вниз по реке Камчатке к монахам в обитель Успенской пустыни. Там его встретили с пониманием. Обосновав в пустыне штаб-квартиру своей миссии, Иосаф с неугасаемым рвением продолжал массовое крещение камчадалов, вызывая всеобщее их недовольство.

* * *

Уже и на северных тундрах сбежали снега. Оленухи-важенки сбросили рога, а самцы начали отращивать молодые панты, любимое для пастухов лакомство, которое можно есть и сырым, и поджаренным на костре. Коряки сбивали стада, чтобы гнать их на летовки. Общие стада самцов, самок и оленят-каюю отъедались на зелени, поедая заодно с молодой травкой гнезда птиц, их яйца и птенцов. С появлением комара олени начинали худеть, их угоняли к лесу. Вслед за стадами тянулись и волки. Яранги на летних стоянках пастухи уже не ставили, обходились лишь пологами из шкур да летними чумами. Из года в год коряки кочуют своим родовым путем, поэтому на местах стоянок всегда можно найти и жерди, чтобы поставить полог или чум, и балаганы на высоких сваях, чтобы хранить пищу. Весной после выбраковки оленей запасливые

кочевники сушили оленье мясо, развозили его по местам будущих стоянок в балаганы.

Степан Чуб обвыкся быстро, стал уже в помощь пастухам Уммевы. Тойон чтил Степана за его проворность и удаль, которую Чуб показал при налете волчьей стаи. Да как не чтить незлобного человека, который может быстро кресалом высечь огонь даже в сырую пору и который имеет оружие огненного боя, может устрашить любого врага Уммевы.

В постоянных заботах пастухов Степан Чуб не заметил, как пролетела середина лета. В один из дней он сидел у своего полога под наносами дыма от дымаря из гнилушек, любовался свежим утром.

«Солновсход чуден везде… — заметил он и, окинув далеко разбредшееся стадо оленей, размыслил: — Олени поляну усю закопытили да затолочили, поди, скоро дальше пойдем».

Канучь с другими женками спозаранку ушла по ягоду. Молодые пастухи неподалеку от Чуба вели бой на чаутах, пытаясь захлестнуть один другого. Степан уже немного наловчился бросать чаут, но сноровки в метании еще не обрел. Под смех зевак парeньки захлестывали друг друга и подтягивали к себе.

«Надо поспытать свою сноровку», — решил Чуб, направился к ним.

Ему дали прокопченный, витой из оленьих сухожилий чаут, и перед ним, расставив ноги, изготовился Гейчале, сын Уммевы. Подбадривая себя, Чуб заходил, прицеливаясь к метанию.

— Що развесил мотню. Хучь трошки сопли-то утри. Щас зараз словлю! — метнул он чаут.

Петля прошла мимо Гейчале, он тут же метнул в ответ. Захлестнув голову Степана, он начал подтягивать чаут под смех окружающих.

— Вот нечиста сила! Стой! Ухи оторвешь, поганец! — сдался Степан. Чуть оправившись, загорелся: — Давай ще! — И повернулся к зевакам: — Смеетесь надо мной… Вот наловчусь, ужо поглядим!

Забаву прервали, так как мимо них два оленя лихо протащили нарту к чуму Уммевы. Каюр спешно переговорил с хозяином и умчался вновь.

Тойон подозвал Степана:

— Долг Уммевы проводить кочевого друга к верхним людям. Степан — мой друг, это и его долг.

Вскоре упряжка тойона заспешила вслед за нартой гонца из соседнего рода.

«Лиха побежка у оленей», — удивился Чуб быстрой езде по травянистой тундре.

Похороны коряк поразили Степана своей необычностью. Одетого в расшитые одежды покойника уложили на длинную нарту, запряженную двумя белыми оленями. Все родники, друзья, стараясь прикоснуться до нарты, тронулись к ближайшему возвышению, на котором уже приготовлен погребальный костер. Нарту с покойным установили поверх кучи дров и лапника, положили к нему его копье, лук, лыжи и прочее необходимое для жизни пастуха. Зарезали и освежевали этих белых оленей. Когда наварили мяса, запалили погребальный костер. Наблюдая за сжиганием, все ели оленье мясо.

— Знатный пастух Веля устал тут жить, заспешил к верхним людям, — сказал Уммева, его поддержали другие, согласно покачивая головами.

Когда Чуб и Уммева вернулись к своему стойбищу, у чума тойона поджидал их камчуг Тавач-Лазуков. По знаку Уммевы к костру поднесли угощения: сушеное мясо, кислые рыбьи головки, ягоду. Завелся разговор.

— Что скажет мне Тавач, живущий у кончалов? Не один год прошел, как мы виделись с ним.

— Нет, не забыл Тавач Уммеву, лишь замыслы мои все поправляла жизнь. Был взят я русскими в моря к неведомой земле. Повидел я народ с другими языками: тех, что не знаю я. Везде они свободно проживают. И русских в Камчадалии других я повстречал. Копают землю, хлеб растят, пасут же не оленей, а других зверей. Совсем не казаки: добры, гостеприимны. В раздумье я совсем уж замыслы свои отбросил было, да вновь такого насмотрелся… Не вынес я, с толмачества бежал.

— Что за беда еще пришла к кончалам?

— Поп Иосаф недавно объявился. С монахами казаков разослал по острожкам, а те плетьми согласье на крещенье вымогают. Ретивых садят в кандалы, в колоды, да голых к комарам. С отчаянья многие жизнь эту оставляют. Недавно Камака, к березе привязав, хлестали в кровь за то, что родников с летовок

не собрал. Они, прослышав о крещении, разбежались. И лишь за крупный выкуп он до зимы отсрочку испросил. Нигде спокойной жизни нет! Лишь слезы, крики и проклятья. От скорби воздух там отяжелел.

— А Чередов? — не удержался Чуб.

— Приказчик по себе чинит блуд да разор.

— Неужто не избыть в жизни лиха?! — загорелся Степан.

Уммева сидел, в суженные щелочки глаз смотрел поверх костра, солнце гулким бубном сваливается за тундрочку, красным огнем пронизывая вечерний туман.

Помолчав, тойон заговорил:

— Думы мои разбежались, как стадо, вспугнутое волком… Уммева не хочет быть куцым нартовым кобелем, везущим упряжку русских. Как и прежде, он готов помочь кончалам, коли они захотят.

Довольный Лазуков, взглянув на тойона, ответил:

— Затем я и пришел: поддержкой заручиться. Готовы будем, дадим знать. Зимою жди вестей.

На следующий день упряжка Уммевы унесла гостя к истоку реки Еловки, откуда Лазуков намеревался тайно пробираться по острожкам недовольных камчадалов, сколачивать их в силу.

* * *

Пролетело лето, вновь залохматилась осень. Землепашцы, убрав урожай, дергали уже репу. Как-то поп Ермолай завернул во двор к Кашуге. Тот с Улитой вытягивал из влажной после дождя земли репу.

Поглядев на большую кучу плодов, довольный Ермолай заговорил:

— Вам таку прорву без навыка за зиму-то не съесть. Что крестного не забудешь, верую. Но, Ермошка, свези пару кулей в Нижний острог отцу Феофилакту. Почтенье ему и вере нашей окажешь.

Не договорив, поп уставился на кол, торчащий посреди репища. Подшагнул, разглядел рожу идола, заплевался.

— Сожги! Сожги, иначе прокляну! — затопал он ногами.

Кашуга подскочил, вывернул идола, понес его к дровам, размышляя: «Чего он? Ажушак — хранитель посуды, в доме его не поставишь, а тут-то пусть репу охраняет…»

— Еще увижу, несдобровать тебе, Ермошка, — застрожился поп и уже без напуска в голосе добавил: — Так гони в Нижний-то, а ты, Улита, после вечерни приди на очищенье за то, что во дворе тако содержишь.

Завалив в бат три куля с репой, Кашуга погнал долбленку вниз по реке. Мешок с репой решил подарить Камаку: пусть ест да видит, какую сарану может теперь выращивать Кашуга — Ермолай Попов. С мешком репы на плечах он подходил к юрте тойона, когда увидел у балагана сидящих Лазукова и Камака. Они о чем-то увлеченно беседовали.

Кашуга сбросил перед ними мешок.

— Камак, это тебе русская сарана, — заулыбался он.

Упоминание о русских взбесило тойона, он вскочил.

— Не зажила спина, чтоб принимать подарки их! Прочь, Кашуга!

— Подарок мой! Я сам растил!

— Им и тебе у Камака нет веры! Знай, скоро вашу веру мы пору… — осекся тойон.

Лазуков встрепенулся, перебил его:

— Кашуга, подари репу мне. Я часто ел ее и оценю достойно.

Обиженный таким приемом Кашуга повернулся и, бросив через плечо: «Бери», — зашагал прочь.

— Горяч ты, Камак, дело так загубишь, — упрекнул тойона Лазуков.

Кашуга погнал бат в Нижний острог, мысленно все возвращаясь к осердившей его встрече. И чем чаще он припоминал свой разговор с Камаком, тем яснее ему становилось, что Лазуков с ним задумал недоброе против русских и их веры.

Отдавая мешки с репой Феофилакту, Кашуга поведал ему о своих сомнениях и добавил о себе:

— Ермолаю Попову стало шипко сытно и не худо жить.

После ухода камчадала Феофилакт совсем обеспокоился.

«Знать, верно: нет спокойствия средь инородцев. Опасно, коли так пойдет. Отпишу-ка я письмо игумену Филевскому. Купчишки к последнему судну в Большерецк сбираются, дабы в Якуцк выбираться, с ними и передам», — решил он и сел за письмо.

Из-под пера на лист побежали строчки: «…Дерзновение возымел донести и просить: не соблаговолите ли переправить

сие послание в Святейший правительствующий синод. Доношу вашему почтенству нижеписаное: с прибытием миссии архимандрита Хотунцевского и его невежественным, богопротивным способом крещения инородцев — чрез плеть да кровь, от коего лишь идет занесение имен в списки, а не влеченье душ к вере, по сказу многих крещеных инородцев чрез толмачей, а кто и сам российским языком говаривали мне, что-де великая шатость и недовольство учинилось меж камчадалами. Еду себе и для собак в зиму не готовят, так как прячутся, хоронятся от такого крещения. Вновь с усердием поклоняются своим языческим богам. А те, кто наладился церковь посещати, ныне стали тайно уезжать к корякам, дабы у их шаманов испрашивать совета и помощи от недугов разных. Показывая усердие свое для получения награды от Синода, архимандрит Иосаф несет Христовой вере вред! Також прошу Синод велеть Ыркуцкой канцелярии отзвать с Камчатки приказчика Чередова Василия, кой замерзелым, богопротивным житием своим порочит не токмо званье христианина, но и человека еси. — Феофилакт задумался, стал перечислять грехопадения Чередова. В конце письма приписал: — Посылаю сие с надежным новокрещеным иноверцем Ондрюшкою, работным купца Трапезникова».

Бухнул колокол к вечерне, и с колокольни грустным благовестом заструилась звонкая медь. Феофилакт засобирался к службе.

* * *

По-ительменски, след в след, чередою запечатали звонкие зимние дни. Отряд казаков с Иосафом Хотунцевским объявился внезапно. В Пеучев острожке все ительмены на сей раз были в сборе. Из зимних жилищ вытащили даже дряхлых стариков.

В кухлянке с длинными рукавами тойон Камак предстал пред Иосафом:

— Камак поручается тебе, великий русский поп, словом и жизнью, что мои родники поступят каждый по совести. Камак собрал их, говори, чего хочешь, но знай: Камак никогда не даст согласья на крещенье!

Дерзость тойона взбесила и без того взвинченного упрямством камчадалов архимандрита.

Он вышагнул к камчадалам:

— Против Христовой веры все — ничто! Сейчас увидите, как ваш упрямый тоен даст согласье на крещение, тогда вы все последуете его примеру! — И кивнул казакам.

Те навалились на Камака, раздели донага, схватив цепями руки и ноги, поставили перед всеми. Камчадалы взроптали, но боязливо посматривали на происходящее. Камак, униженный пред сродниками, казнил себя, не чувствуя мороза: «Зачем поверил слову коварного попа?! Эх! Этот Лазуков! Зачем отсрочил наказанье?! Ведь договор брать приступом острог — на месяц сильной стужи! Зачем было тянуть? Нет сил моих, чтоб отвратить крещенье! Однако, нам конец...»

Хотунцевский подошел к Камаку:

— Скажи, тоен, неужто тебе не хочется остаться лучшим мужиком в своем селенье? Неужто боль терпеть приятней? Да за упрямство Богу живота лишим, не то чтоб власти! Подумай, и пожмем в согласье руки.

Гордость и самолюбие заколебали силу его духа, но плетью обуха не перебить.

Набычившись, он процедил:

— Пожал бы руку белым людям, но вижу: не хотите нам добра! Ты обманул меня! Ты обещал: не будешь чинить зла, когда я соберу свой народ! Пусть знают все: великий русский поп — болтун! Средь нас ему нет веры! — выкрикнул он.

Хотунцевский не сдержался, влепил пощечину Камаку.

— Кнута! — распорядился он.

Казаки повалили тойона.

Пока палач разматывал кнут, Камак выкрикивал:

— Все, что Камак впитал с молоком матери, он будет хранить в своем сердце! Мы произошли от земли и уйдем в нее, а не на небо, как русские уходят!

Засвистел кнут, зарычал от боли тойон, сдерживая вырывающиеся крики.

Остановив палача, Иосаф присел к Камаку:

— Одумался?.. Согласен?

Тот прохрипел:

— Наши боги — это часть нас. Как от себя отказаться?! Устал я противиться! Повесьте меня: я — шаман!

— Пороть, — махнул рукой Хотунцевский.

Когда палача сменил казак, Иосаф вновь остановил порку и, обойдя забрызганный кровью снег, наклонился к Камаку:

— Ответь, согласен, иль еще? — И прислушался, что шептал упрямец.

— Нет моего согласья, я поступаю, как ительмен! Хочу в подземный мир!

Иосаф подумал: «Зачем туда, крещеным ты нам нужен здесь». Приподнимаясь, выкрикнул камчадалам:

— Видите!.. Согласье дал! Отныне быть ему Степаном Кузнецовым! Мы вас не станем бить, порядком подходите! — И повернулся к монахам: — Пишите всех, а сколь кому годов, по лику проставляйте. — Подманив казачьего десятника, распорядился: — С упрямца смыки снять. В одежки уверните. Пусть воскресает окрещенным.

Камчадалы, косясь на окровавленную спину тойона, подходили к монахам, называя свое имя.

Через несколько дней окрепший Камак с теми, кто еще был в силе, исчезли из острожка. Следы их нарт вели к Еловке.

Камак гнал свою нарту впереди сродников. Башлык кухлянки, подбитый росомахой, часто спадал с его головы, он, перестав надевать его, так и мчал с заиндевевшей гривой волос. У зарослей кедрача тойон остановил собак, наломал орехов, погнал дальше, разгрызая шишки и не щелкая орехи, жевал их, утоляя голод. Сбоку из нарты торчал усиленный боевой лук с колчаном.

Когда, уставшие от дальней дороги, они подкатили к стойбищу Уммевы, вдали показался еще один приближающийся отряд. Это на оленьих упряжках подъезжали сродники Уммевы с Панкары-реки. К вечеру стойбище оленных людей напоминало уже большой военный лагерь. Но Лазукова все еще не было. Камак из-за сильной головной боли и боли в спине от длинных разговоров с Уммевой отказался, а попросил у шамана исцеления. Шаман увел его в свою ярангу. Забухал бубен, запрыгал шаман, выгоняя злой дух из Камака. Сделав ему кровопускание из головы, облегчил состояние гостя. Наутро, увидев в стойбище Чуба и бывшую свою жену Канучь, гордый Камак отвернулся, прошел мимо.

Он лишь спросил тойона:

— Уммева верит знающим язык белоголовых?

— Наш друг Тавач тоже знает русский. Уммева верит сердцу, а не языку, — успокоил Камака тот.

После полудня большой отряд каменских камчадалов с тойоном Чегечем и отряд сидячих коряк с Юмтина острожка, а с ними братья Лазуковы подъехали к стойбищу. Вновь запылали костры, запарило на морозе свежее мясо оленей. После плотной трапезы тойоны и выбранные старшины воинства собрались в юрту Уммевы, чтобы согласовать действия.

Лазуков заговорил:

— Еще не все. Еловские, шантальские да крестовские пристанут по пути.

Камак не сдержался:

— К чему тянуть, я чудом уцелел! Чего вы запоздали?

— Домеха вышла. Нарвались на казаков Стефана Шапкина. Они, стращая некрещеностью, отдарки вымогали. Всех захребетников, мальцов в Юмтине острожке писали на ясак да сразу же правеж пытались учинить. Пришлось нам не стерпеть. Теперь многие из нас не смогут сказать, что не убивали казаков. Всех одиннадцать там у острожка положили.

От костра кто-то пробурчал:

— И до сидячих коряк уже добрались!

Брат Уммевы, прибывший с коряками, вскочил:

— Правильно! Не пускать к себе казаков! Недавно наш сосед Эвонто Косинков монаха Флавиана да сорок человек его в своей земле побил. Пешком от юкагиров в тундру к нам несли русскую веру!

Уммева поднял бровь.

«Со всех сторон протягивают руки», — подумал он и обратился вслух:

— Когда же выходить? Решайте!

Загалдели, горячо заспорили заговорщики. Долго еще советовались они, пока не пришли к единому.

Степан Чуб вывел Лазукова из яранги:

— Не робок я, Тавач. У Харчина, небось, поболе было люду, а прок известен… Зараз возьмем острог, злодея Хотунцевского удавим, а дале що? Крушить безвинных всех? За ними вся Россия! Тебе ль не знать о том, поди, сам видел корабли. Потом горячим головам опять петля да дыба… Окстись, Тавач! Нехай они все взвесят!

Лазуков вгляделся в глаза Чуба, спросил:

— Как быть, когда все решено? Не хочешь с нами в бой, останься.

— Не сторонюсь я. Ежели чего, то с вами, коли так решите. Но ни уму, ни сердцу моему не любо зряшно дело! Не ведаю, как быть, но хучь убей, а поиначе надо!

— Чего ты на совете не сказал?

— Не слухали б меня, ведь русских я кровей.

— Пойду к Уммеве, но снежную лавину не унять, — проговорил Лазуков, вернулся в ярангу.

Как только лагерь бунтовщиков утих, одинокий каюр тайно вышмыгнул в темноту ночи.

Размеренная жизнь Нижнекамчатского острога взорвалась полученным доносом. Забегали казаки, приводя в готовность пушки. Всем обывателям приказано было оборужиться, по сигналу быть на крепостных стенах. Тревогу забил набат, созывая с окрестных острожков казаков.

Осип Расторгуев, напуганный полученной вестью, послал гонца к приказчику Чередову в Большерецкий острог, а также отписал прошение о помощи казаками заказчику в Среднекамчатский острог. К вечеру обеспокоенные тревогой в острог вкатили нарты с монахами из Спасской пустыни и Иосафом Хотунцевским. Усиленные посты и дозоры охраняли встревоженный острог. На совет Осип Расторгуев призвал всех знатных особ, находившихся при остроге.

Круглолицый бородач Расторгуев вышел на середину приказной избы, тревожно заговорил:

— Господа, как пал слух о неспокойстве средь камчадалов, я, по наущению отца Феофилакта, послал верного нам инородца, новокрещеного Петра Орлика, на реку Еловку, дабы побыть там да посмотреть. Оттуда завсегда заводятся бунтарства. Вернулся он с опасными вестями: второй великий бунт решили уготовить. Их гневные вожди призвали в помощь кочевых коряков, а это сила, доложу я вам. Коль всею сворою попрут — спасения не будет. Часть бунтарей уже объединились — со дня на день осадят наш острог. Все как один желают смерти Иосафу да веру христианскую поклялись истребить! Казаков также всех побить, казну же раздуванить!

После тяжкого молчания заговорил Феофилакт:

— Вот как народ от веры отпугнул, за это раньше головы секли. Тебе ведь назидал я, Хотунцевский!

От купцов поднялся торговец мелочной лавки:

— Гонцов! Везде гонцов за помощью услать!

— Послал уже, — отмахнулся Расторгуев.

Казачий пятидесятник Удачин пробурчал:

— С таким крещеньем, чтоб тебе неладно! Щас кровушки хлебнем за все!

Недовольство Хотунцевским, который сидел с окаменевшим лицом, все возрастало.

Заказчик повернулся к нему:

— Коль выхода не сыщем от кровавой смуты, знай: выдам им тебя, чем многих животов лишиться гарнизону. Твердыне здешней пасть мне дозволенья нет! России это в слабость! Давайте думать все!

Удачин выкрикнул:

— Веди Орлика сюды, проведаем получше, авось чего решим.

Почти до полуночи с совета несся шум от споров, потом все направились в церковь на всенощное моление.

Иосаф Хотунцевский припал на колени пред иконой.

— Господи! Спаси от напасти дикой! Ведь ради Тебя впадал, бывало, в грех, чтоб агнцами паству Тебе умножить. Пречистую любовь Твою ценю превыше жизни! Коль будет так угодно, то пойду не дрогнув, но рано умирать! Содеять многое хощу в Твою же славу! — взмолился он.

После всенощной поутру два отряда казаков выехали на перехват крестовских и шантальских недоволыциков, дабы не дать соединиться силой.

* * *

После разговора Тавача с Чубом сомнения в бунте еще больше утвердились в Лазукове. Хотя Уммева настаивал немедленно выступать, Тавач-Лазуков убедил его дождаться остальных, чтобы не разминуться и не сорвать задуманное. На другой день Лазуков с братом выехали поторопить шантальских и крестовских камчадалов. Собачьи упряжки ровно бежали по сужающейся тундре, и вскоре обочь нартового следа замелькали запорошенные снегом кусты, деревья. Лазуков раздумывал.

Его мучили сомнения. Ища им разрешения, память уносила его на острова, где бедовал с командой Беринга. Единым братством там боролись с холодом, голодом да цингою, отвергнув все чины и разности кровей, делились крохами, теплом, лишь человека находя друг в друге.

«Знать, может ведь народ, дабы как к брату брат», — подумал Лазуков. И вспомнил, как потчевали его крестьяне в Ключевском селенье, с каким теплом душевным относились. Припомнил сытого, довольного Кашугу, который сам теперь сеет репу, хлеб и неголоден в зиму.

«Вот кабы так, довольно бы зажили. Прав Чуб: виновны тут не все! И этот бунт лишь зло умножит. Ни на островных братьев, ни на крестьян да обывателей рука моя не поднимется…» — раздумывал Тавач.

Он представил все многострадание от намеченных побоищ, которые этим не закончатся, так как придут другие казаки и вновь потечет кровь возмездия.

«Все! Решился, зачем, как трусливый пес: цапнул, а потом знай уворачивайся… Нет, стану, как Степан, против зла, но не огулом! А этот бунт мне надо предвратить! Страдания и кровь невинных нигде жизни не дадут!» — решился Лазуков и застопорил нарту.

Подождал, когда подъедет брат.

— Я старший. Повидел боле твоего и знаю… Послушай не ропща и сделай, как скажу. Шантальских встретишь — поверни обратно их, а сам гони опять к Уммеве. Пусть все вернутся по домам. Я никого не выдам! Все на себя возьму раскаяньем глубоким, и то убийство казаков моей виною станет. Пусть кровь моя не даст пролиться многой крови!

Брат изогнул в удивлении брови, недоверчиво посматривая на Тавача, хотел что-то спросить его, но тот прервал:

— Молчи! И сделай, как сказал! А хорошо подумаешь, поймешь, что брат был прав! Прощай! Гони к шантальским!

С приходом в Нижнекамчатск Лазукова с повинной тревога у обитателей острога спала. Вернулись отряды казаков, ходившие на перехват камчадалов. К их удивлению, упрежденные Лазуковым камчадалы оказались на местах. Захватив с собой лишь тойонов острожков, казаки вернулись в Нижний.

Монахи Спасской пустыни попарно расселись по нартам и укатили в свою обитель, оставив Хотунцевского в остроге. Вскоре и от Верхнекамчатского острога прикатил отряд казаков с озабоченным протрезвевшим приказчиком Чередовым.

Через несколько дней, когда казаки свезли в Нижний острог всех тойонов, вернувшихся с неудавшегося бунта, начался их допрос.

Заказчик Расторгуев представил первого допрашиваемого Лазукова:

— Беглый толмач. Знает, кроме своего корякского, чукотский и русский говор. Сказывают, в экспедиции Беринга толковал и заморских иноземцев. Пришел с повинной, тем и сбил весь бунт.

Иосаф, прищурив глаза, спросил:

— Не для того столь языков учил, чтобы смущать народец разный? — И, стрельнув взором в Феофилакта, пробурчал: — Вот оно, ученье, инородцам. Бунт во согласии — тому пример!

Лазуков ответил:

— Зачем народ смущать? Он знает сам, как лучше жить ему.

— Вот ты крещен. Во что ты веришь сам? — не унимался архимандрит.

— Тавач не юн, чтоб колебаться. Верю лишь в то, что проросло во мне!

Чередов, не выдержав своего безучастия, заерзал по лавке.

— Сукин сын! Какою корыстью побил казаков Шапкина Стефана да Иосафа норовил сгубить?

— В убийстве я винюсь. Страдает мое сердце, что не сгубили Иосафа мы. Плохие люди есть средь нас и вас, от них все беды. Их надо убивать, как зло! От нас — меня убить, коль зло содеял я, от вас же — Иосафа! Зачем же лить безвинну кровь других?

— Как смеешь ты, дикарь! — вскочил Иосаф.

Лазуков из-под парки вытянул крестик.

— Вот крест на мне такой же, как и твой! Но я таких обид и зла вовеки не свершал. Кто более дикарь?

— Заткните рот ему! Хулу несет антихрист! — завопил Иосаф.

Казаки вытащили Лазукова из приказной избы, ввели Камака.

Расторгуев представил его и сам же задал вопрос:

— За что хотел воевать русских?

— За Кутха! — блеснул тот взором.

— Ведь ты крещен? — встрял Феофилакт.

— Обманом, силой!

— Зловредный ты, шаман! Заговоришь на дыбе! — закричал Хотунцевский.

О камчадальских волнениях крестьяне узнали, лишь когда отряд казаков из Среднекамчатского острога вместе с Чередовым проезжали мимо селения к Нижнему острогу. Вечером того дня поп Ермолай сотворил всенощный молебен во спасение, и жители Ключевского селения положились на милость Бога.

Никифор Колыгов ушел с отрядом. Вскоре он вернулся с радостной вестью, что бунт не состоялся. Жизнь в селе потекла своим чередом, исстари заведенным крестьянами: с их заботами, огорчениями, радостью.

Вновь накатывала долгожданная робкая весна.

Пред Светлым воскресеньем — Пасхой — Савелий Рыков, отпустив жену да Ивашку с куличами в церковь, подложил под ноги дерюжину, встал на колени пред иконою помолиться да излить пред Богом душу.

Он трижды стукнулся лбом об пол и заговорил:

— Господь Бог, дарующий жизнь! Даруй же благодать Твоим рабам сошным. Содей же, чтоб столь дикая тут земелька родила хлеб ежегодно. Уж больно худой урожай на второй год дала. Порча да вызябание на ней труды наши на нет сводит. Отведи, преблагий, пагубы и от скотины: ить ныне к лету лишь полстада наберется ль. Зарастут тогда наши нивы трудного хлеба, не собаками же пахать. Господи! Поверни лицом к нам власти сибирские: семя выслали един раз и в покой вдались, зерном пьяным засевы не делать же! А еще, Господь Бог, прошу Тебя — вразуми, обнадежь на терпение: в мужиках зреет мысль — не крестьянить ли? Вот Потапа возьми: сам могутный еще, почище молодого ведет землепашество, ныне тож норовит вдарить в промыслы. Помоги же, Господе, в чем прошу Тебя! Ить абы как крестьянить — себя и землю мучить. Эдак мы не инородцев обучим труду сошному, а их науку тутошней жизни переймем. Умоляю, Иисус Христос! Внемли просьбам моим, не оставь нас, потому как вся наша

христианская жизнь на зернышке держится! А еще, Господь, посоветуй мне…

Крестился и кланялся иконе Савелий всю ночь до самого разговенья, доверительно и обстоятельно говорил и советовался с Богом. Давно уже вернулись с молебна жена с сыном, но не решались прервать его душеизлияние.

В этот же день к вечеру, когда Кашуга с Улитой пришли домой от Щербака, у которого гостили по случаю дня воскрешения Иисуса Христа, Кашугу осенила мысль: «Пусть божок Ажушак с этого дня тоже воскреснет да примется за свою работу». Он из-под топчана вытащил маленького пухлощекого идола, которого вырезал зимой, вышел в огород. Выдолбил на проталине ямку, воткнул в нее божка, а сверху прикрыл клочком соломы.

— Охраняй от злых духов огород, тут, в ямке, тебя поп Ермолай не увидит. — И, удовлетворенный, пошел в избу.

Вспоминая, как на гулянье завеселевший Кузьма Щербак лихо выплясывал под задорное треньканье балалайки Артема Обухова, Кашуга улыбнулся и пропел вслух одну запомнившуюся ему прибаутку Щербака:

— Молодая курица с петуном балуеца, а старая квохцет: никто не потопцет!

Звонко прищелкнув языком, подумал: «Шипко шутник Щербак! Хорошо с ним».

Как только вскрылись реки, зашныряли по ним гонкие верткие баты. Так уж повелось, что по весне к первому судну в Большерецк стекались купцы, приказчики и прочих чинов люд. Первым отправился в путь Феофилакт, дабы лично получить почту с первого судна. За ним из Нижнекамчатского острога в путь до Большерецка собирался отправиться караван из многих батов и лодок. Казачий пятидесятник Удачин с отрядом казаков должен был сопровождать к первому судну из Охотска бывших тойонов взбунтовавшихся камчадалов: Тавача-Лазукова, Камака-Кузнецова, Чегеча и других. Их в колодках направили в Охотск для сыска. С отрядом Удачина к первому судну заспешил и Хотунцевский со своей миссией. Приехавшие налегке монахи с архимандритом загружали в лодки тюки с пушниной.

Иосаф Хотунцевский, умостившись меж тюков, подумал: «Пока следственная комиссия дело бунта разберет, я уже буду

за Якуцком. Со столькими мехами да семью тыщами крещеных душ Синод, поди, меня не отринет».

Глубоко вздохнув, скомандовал казакам:

— Трогай не спеша.

Когда караван лодок проходил мимо Ключевского селения, Иосаф кивнул казакам:

— Пристанем да у отца Ермолая хлебцем разживемся.

Лодка свернула к берегу. С поручением Хотунцевского казаки заспешили к Ермолаю. Через некоторое время они вернулись вместе с попом, который решил собственной персоной откланяться архимандриту. Казаки развернули тряпицу и показали грубые ломти ржаного неприятного на вид хлеба.

Отец Ермолай, как бы виноватясь за такой хлеб, молвил:

— Ныне у всех такой, с головней, пьяный.

Иосаф с сомнением отломил от ломтя и пожевал.

После голодной длинной зимы хлеб, несмотря на свой отчаянный вид, показался ему все-таки съедобным, он кивнул одобрительно Ермолаю:

— И на том спаси бог.

Лодка отчалила, Ермолай осенил крестом их вслед.

Через две седмицы многочисленный отряд с Хотунцевским уже брел пеше, чтобы на речке Быстрой снова сесть в лодки и плыть до Большерецкого острога. Высланные задолго вперед гонцы пригнали в верховья реки Быстрой баты и лодки для сплава многолюдного отряда. Через несколько дней перехода отряд вновь загрузился в лодки, отпустив носильщиков-камчадалов, поплыл вниз. К исходу дня, увидев невдалеке от берега жилье, Иосаф, в надежде и тут запастись харчем, кивнул казакам, и они причалили к Запороцковой заимке. Иосаф вышел размять ноги, с казаком двинулись они к небольшому, в пять дворов, селению.

Селение в окружении чахлого леска, обглоданного огнем, топором и скотиной, да заросших пашен с кочковатой мокрой землей оказалось заброшенным.

На следующий день у Карымаевской заимки, увидев на берегу пасущуюся лошадь и двух коров, они вновь заспешили в селение землепашцев. Пять избенок, крытых дерном, с ветхими на вид хлевушками во дворах, уселись на солнечном

пригорке. Сбоку от изб стоял дом покрепче с рубленой банькой во дворе. У дома толпилось десяток крестьян.

Подходя, Иосаф и казаки услышали крик. Верзилистый казак охаживал кнутом растелешенного мужичка.

Увидев подошедших, тот, унимая норов, пробурчал битому мужичку:

— Моли Бога… подфартило те. Вставай, спрячь спину. — Обернувшись к подошедшим, заулыбался: — Нерадивец, бес его дери.

— Пошто дерешь? — вопросил Хотунцевский, глядя на смиренных крестьян, которые, увидев священника, закрестились.

— Дак сеять пора, а он медлит. Трава-то вон как лезет, — кивнул казак.

— Все не сеют либо он упрямится?

— Все на него глядят, ждут.

Драный мужичок оказался ершистым и, почувствовав, что есть кому пожаловаться, зачастил:

— Куды сеять-то? В землю сунь пальцы, зябнут! Одна коняга на всех осталась, репища копорылкой разбиваем!

Указывая на палку с большим крюком на конце, он продолжал выговаривать свои беды.

— А семян-то осталось чуть: в еду пускали, дабы дети кровные не околели с голода! Живем скверно, не лучше камчадалов. А этот понимает лишь пороть!

Уняв мужичка, Иосаф благословил крестьян, пообещав, что Господь увидит их скверное житие, и, не разжившись хлебом, они вернулись к лодке.

А в Большерецком остроге разнузданные попойки и дебош приказчика Камчатки Чередова отвернули от него не только посадских и казаков, но и купцов и прочий обитающий в остроге люд. Вернувшись из Нижнекамчатска, возомнив себя покорителем несостоявшегося бунта, он долго бесчинствовал в Большерецке.

В Троицын день после молебна на площади у церкви он раздел казачьего десятника и принялся стегать его плетью.

— За что? — отчаянно выкрикивал тот.

— За то, что женка твоя глянется! Крыса! — ярился приказчик, вызывая смех у своих дружков.

Вышедший на крики священник Феофилакт, воздав руки к небу, изрек:

— Доколь терпеть станете, люди!

Как будто искру в бочку пороха уронил он. Толпа смяла Чередова и его дружков, скрутила их, положив к паперти церкви, ринулась к приказной избе. Заказчик острога, оценив обстановку, велел забить Чередова в цепи и направился в церковь к священникам составлять мирской донос на приказчика. Казаки ревностно охраняли камору с ненавистным Чередовым, всячески досаждая ему.

Наконец-то прибыл из Охотска «Святой Гавриил» с почтой да с новыми ссыльными и купцами. Взяв ясак, колодников да монахов с Хотунцевским, ветхий бот «Святой Гавриил» покинул Камчатку. Архимандрит в черном клобуке стоял на корме бота. Будто вороньим крылом, ветер играл его черной длинной полой одежкой. К полудню на палубе послышались крики. Из-за бухт веревок вытащили бородатого мужичка с торбой. Безбилетного беглеца потащили в каюту к капитану. Хотунцевский, посматривая на бородача, признал в нем ершистого крестьянина из Карымаевской заимки.

«Бегут с Камчадалии пахари, — отметил себе он и вспомнил, как казак драл этого мужичка, понуждая сеять не в срок, и размыслил: — Холодную сию земельку в государеву пашню, видно, не превратят, потому что деят, яко и я крестил!»

От этой мысли Иосаф вздрогнул, отгоняя ее, оглянулся.

«Тьфу! Тьфу! Наваждение бесово», — мысленно открестился он и отвернулся в сторону скрывшейся за горизонтом Камчатки.

Пояснительный словарь

Алас — поляна травянистая.
Алтын — 3 копейки.
Аманат — заложник.
Балакидга — бог ветра.
Барабарь — шалаш травяной.
Бат — долбленая лодка.
Бельки — детеныши нерп.
Боотур — богатырь.
Бот — небольшое парусное судно.
Брамселевый (брамсельный) ветер — ветер, наполняющий нижние паруса.
Брыхтатын — огненные люди, русские.
Верповаться — идти на буксире.
До днесь — до этого дня.
«Добрый матроз» — матрос I статьи (опытный).
Еловские — живущие по реке Еловке.
Жеребья — куски металла вместо пуль.
Живота лишить — лишить жизни.
Жировик — посудина, наполненная жиром для освещения комнат.
Завина — заря.
Заводчик — зачинщик.
Зернь — азартная игра в кости.
Зуек — юнга флота.
Исправник — исполнитель.
Казенка — изба, где хранились казенные товары, ясак.
Коач — бог солнца.

Кончал — ительмен (по-корякски).
Кормовое жалованье — плата за службу продуктами.
Крестовская сопка — Ключевской вулкан.
Курильская землица — юг Камчатки.
Лайда — песчаная коса.
Ламское море — Охотское.
Лучшие (лутшие) люди — уважаемые, богатые.
Лютое зелье — порох.
Митг — бог моря.
Нутристая — внутренняя, закрытая.
Ордер — приказ, указ.
Пасть — капкан.
Пель-компас — компас для определения пеленга.
Пивень — петух.
Плехт-анкер — якорь.
Посадские — торговое и промышленное население городов.
Правеж — взыскание, сбор налогов.
Пря — споры, прения.
Рогатка — пост, скрытый караул.
Родники — люди одного рода.
Розыск — следствие.
Саджой — самец диких оленей.
Седмица — неделя.
«Слово и дело» — формула доноса с обвинением в государственном преступлении.
Служилый — солдат, служащий за жалованье.
Сродники — люди одного племени.
Студеное море — Северный Ледовитый океан.
Теплое море — Тихий океан.
Тоен (тойон) — вождь.
Толмач — переводчик.
Тополь в три бата — тополь, из которого можно выдолбить три бата.
Улово — место отстоя рыбы в реке.
Ушкан — заяц.
Хоньба — меховая одежда камчадалов.
Целовальник — хранитель казенных товаров, сборщик пошлины в казну.
Четью-петью — чтение псалмов с пением.
Яко — как.

Оглавление

От автора 3

Часть первая. Окровавленный мех
- Глава 1 6
- Глава 2 63
- Глава 3 117
- Глава 4 162
- Глава 5 210
- Глава 6 234

Часть вторая. Зяблые всходы
- Глава 1 291
- Глава 2 320
- Глава 3 348
- Глава 4 381
- Глава 5 413
- Глава 6 458
- Глава 7 509
- Глава 8 547
- Глава 9 588

Пояснительный словарь 621

Литературно-художественное издание

Николай Леонидович Бушнев

Ясак и пашня

Исторический роман
2-е издание

Художники:
Т. В. Бондарева, В. С. Блажевич
Подготовка оригинал-макета:
Е. Ю. Дорт-Гольц

Подписано в печать 27.06.2019. Формат 60 × 90 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная. Гарнитура PT Serif. Печать офсетная. Уч.-изд. л. 29,46. Усл. печ. л. 39. Тираж 100 экз. Заказ КП00-002366

Издательство «Камчатпресс»
683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 12а

Отпечатано в ООО «Камчатпресс»
683017, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, 12а